



Борис Васильев

МОРСКИ
БОЈНОВИ

Борис Васильев

Собрание сочинений в восьми томах

Том третий

Романы и повести

ТРАСТ-ИМАКОМ
РУСИЧ
СМОЛЕНСК
1994

ББК 84Р7

В 19

Васильев Борис. Собрание сочинений в 8 томах. Том 3. Романы и повести. Смоленск: ТРАСТ-ИМАКОМ, РУСИЧ, 1994.— 608 с.

В $\frac{4702010200}{3Д7(03)—92}$ Без объявления

ББК 84Р7

**ISBN 5-86171-006-6
ISBN 5-86171-026-0 (т. 3)**

**© Б. Васильев, 1994
© А. Макаренков, оформление
© ТРАСТ-ИМАКОМ совместно с
фирмой «Русич»**



завтра
была
война

ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА

Пролог

От нашего класса у меня остались воспоминания и одна фотография. Групповой портрет с классным руководителем в центре, девочками вокруг и мальчиками по краям. Фотография поблекла, а поскольку фотограф старательно наводил на преподавателя, то края, смазанные еще при съемке, сейчас окончательно расплылись: иногда мне кажется, что расплылись они потому, что мальчики нашего класса давно отошли в небытие, так и не успев повзрослеть, и черты их растворило время.

На фотографии мы были 7-м «Б». После экзаменов Искра Полякова потащила нас в фотоателье на проспекте Революции: она вообще любила проворачивать всяческие мероприятия.

— Мы сфотографируемся после седьмого, а потом после десятого,— ораторствовала она.— Представляете, как будет интересно рассматривать фотографии, когда мы станем старенькими бабушками и дедушками!

Мы набились в тесный «предбанник»; перед нами спешили увековечиться три молодые пары, старушка с внучатами и отделение чубатых донцов. Они сидели в ряд, одинаково картинно опираясь о шашки, и в упор разглядывали наших девочек бесстыжими казачьими глазами. Искре это не понравилось: она тут же договорилась, что нас позовут, когда подойдет очередь, и увела весь класс в соседний сквер. И там, чтобы мы не разбежались, не подрались или, не дай бог, не потоптали газонов, объявила себя Пифией. Лена завязала ей глаза, и Искра начала вещать. Она была щедрой пророчицей: каждого ожидали куча детей и вагон счастья.

— Ты подаришь людям новое лекарство.

— Твой третий сын будет гениальным поэтом.

— Ты построишь самый красивый в мире Дворец пионеров.

Да, это были прекрасные предсказания. Жаль только, что посетить фотоателье второй раз нам не пришлось, де-

душками стали всего двое, да и бабушек оказалось куда меньше, чем девочек на фотографии 7-го «Б». Когда мы однажды пришли на традиционный сбор школы, весь наш класс уместился в одном ряду. Из сорока человек, закончивших когда-то 7-й «Б», до седых волос дожило девятнадцать. А из всех мальчиков, что смотрят на меня с фотографии, в живых осталось четверо.

Наша компания тогда была небольшой: три девочки и трое ребят — я, Пашка Остапчук да Валька Александров. Собирались мы всегда у Зиночки Коваленко, потому что у Зиночки была отдельная комната, родители с утра пропадали на работе, и мы чувствовали себя вольготно. Зиночка очень любила Искру Полякову, дружила с Леночкой Боковой; мы с Пашкой усиленно занимались спортом, считались «надеждой школы», а увалень Александров был признанным изобретателем. Пашка числился влюбленным в Леночку, я безнадежно вздыхал по Зине Коваленко, а Валька увлекался только собственными идеями, равно как Искра — собственной деятельностью. Мы ходили в кино, читали вслух те книги, которые Искра объявляла достойными, делали вместе уроки и — болтали. О книгах и фильмах, о друзьях и недругах, о дрейфе «Седова», об Интербригадах, о Финляндии, о войне в Западной Европе и просто так, ни о чем.

Иногда в нашей компании появлялись еще двое. Одного мы встречали приветливо, а второго откровенно не любили.

В каждом классе есть свой тихий отличник, над которым все потешаются, но которого чтут как достопримечательность и решительно защищают от нападок посторонних. У нас того тихаря звали Вовиком Храмовым: чуть ли не в первом классе он объявил, что зовут его не Владимиром и даже не Вовой, а именно Вовиком, да так Вовиком и остался. Приятелей у него не было, друзей — тем более, и он любил «прислоняться» к нам. Придет, сядет в уголке и сидит весь вечер, не раскрывая рта, — одни уши торчат выше головы. Он стригся под машинку и поэтому обладал особо выразительными ушами. Вовик прочитал уйму книг и умел решать самые заковыристые задачи; мы уважали его за эти качества и за то, что его присутствие никому не мешало.

А вот Сашку Стамескина, которого иногда притаскивала Искра, мы не жаловали. Он был из отпетой компании, ругался как ломовой. Но Искре вздумалось его перевоспитывать, и Сашка стал появляться не только в подворотнях. А мы с Пашкой так часто дрались с ним и с его приятелями, что забыть этого уже не могли: у меня, например, сам собой начинал ныть выбитый лично им зуб, когда я обнаруживал

Сашку на горизонте. Тут уж не до приятельских улыбок, но Искра сказала, что будет так, и мы терпели.

Зиночкины родители поощряли наши сборища. Семья у них была с девичьим уклоном. Зиночка родилась последней, сестры ее уже вышли замуж и покинули отчий кров. В семье главной была мама: выяснив численный перевес, папа быстро сдал позиции. Мы редко видели его, поскольку возвращался он обычно к ночи, но если случалось прийти раньше, то непременно заглядывал в Зиночкину комнату и всегда приятно удивлялся:

— А, молодежь? Здравствуйте, здравствуйте. Ну, что новенького?

Насчет новенького специалистом была Искра. Она обладала изумительной способностью поддерживать разговор.

— Как вы рассматриваете заключение Договора о ненападении с фашистской Германией?

Зинин папа никак это не рассматривал. Он неуверенно пожимал плечами и виновато улыбался. Мы с Пашкой считали, что он навеки запуган прекрасной половиной человечества. Правда, Искра чаще всего задавала вопросы, ответы на которые знала назубок.

— Я рассматриваю это как большую победу советской дипломатии. Мы связали руки самому агрессивному государству мира.

— Правильно,— говорил Зинин папа.— Это ты верно рассудила. А вот у нас сегодня случай был: заготовки подали не той марки стали...

Жизнь цеха была ему близка и понятна, и он говорил о ней совсем не так, как о политике. Он размахивал руками, смеялся и сердился, вставал и бегал по комнате, наступая нам на ноги. Но мы не любили слушать его цеховые новости: нас куда больше интересовали спорт, авиация и кино. А Зинин папа всю жизнь точил какие-то железные болванки; мы слушали с жестоким юношеским равнодушием. Папа рано или поздно улавливал его и смущался.

— Ну, это мелочь, конечно. Надо шире смотреть, я понимаю.

— Какой-то он у меня безответный,— сокрушалась Зина.— Никак не могу его перевоспитать, прямо беда.

— Родимые пятна,— авторитетно рассуждала Искра.— Люди, которые родились при ужасающем гнете царизма, очень долго ощущают в себе скованность воли и страх перед будущим.

Искра умела объяснять, а Зиночка — слушать. Она каждого слушала по-разному, но зато всем существом, словно не только слышала, но и видела, осязала и обоняла од-

новременно. Она была очень любопытна и чересчур общительна, почему ее не все и не всегда посвящали в свои секреты. Зато любили бывать в их семье с девичьим уклоном.

Наверное, поэтому здесь было по-особому уютно; по-особому приветливо и по-особому тихо. Папа и мама разговаривали негромко, поскольку кричать было не на кого. Здесь вечно что-то стирали и крахмалили, чистили и вытряхивали, жарили и парили и непременно пекли пироги. Они были из дешевой темной муки; я до сих пор помню их вкус и до сих пор убежден, что никогда не ел ничего вкуснее этих пирогов с картошкой. Мы пили чай с дешевыми карамельками, ломали пироги и болтали. А Валька шлялся по квартире и смотрел, чего бы изобрести.

— А если я к водопроводному крану примусную горелку присобачу?

— Чтобы чай был с керосином?

— Нет, чтобы подогревать. Чиркнешь спичкой, труба прогреется, и вода станет горячей.

— Ну, собачь,— соглашалась Зина.

Валька что-то пристраивал, грохотал, дырявил стены и гнул трубу. Ничего путного у него никогда не выходило, но Искра считала, что важна сама идея.

— У Эдисона тоже не все получалось.

— Может, мне Вальку разок за уши поднять? — предлагал Пашка.— Эдисона один раз подняли, и он сразу стал великим изобретателем.

Пашка и вправду мог поднять Вальку за уши: он был очень силен. Влезал по канату, согнув ноги пистолетом, делал стойку на руках и лихо вертел на турнике «солнце». Это требовало усиленных тренировок, и книг Пашка не читал, но любил слушать, когда их читали другие. А так как чаще всего читала Лена Бокова, то Пашка слушал не столько ушами, сколько глазами: он начал дружить с Леной еще с пятого класса и был постоянен в своих симпатиях и антипатиях. Искра тоже неплохо читала, но уж очень любила растолковывать прочитанное, и мы предпочитали Лену, если предполагалось читать нечто особенно интересное. А читали мы тогда много, потому что телевизоров еще не изобрели и даже дешевое дневное кино было нам не по карману.

А еще мы с детства играли в то, чем жили сами. Классы соревновались не за отметки или проценты, а за честь написать письмо папанинцам или именоваться «чкаловским», за право побывать на открытии нового цеха завода или выделить делегацию для встречи испанских детей.

Я попал однажды в такую делегацию, потому что победил на стометровке, а Искра — как круглая отличница и общественница. Мы принесли с этой встречи ненависть к фашизму, переполненные сердца и по четыре апельсина. И торжественно съели эти апельсины всем классом: каждому досталось по полторы дольки и немножко кожуры. Я и сегодня помню особый запах этих апельсинов.

И еще я помню, как горевал, что не смогу помочь челюскинцам, потому что мой самолет совершил вынужденную посадку где-то в Якутии так и не долетев до ледового лагеря. Самую настоящую посадку: я получил «плохо», не выучив стихотворения. Потом-то я его выучил: «Да, были люди в наше время...» А дело заключалось в том, что на стене класса висела огромная самодельная карта и каждый ученик имел свой собственный самолет. Отличная оценка давала пятьсот километров, но я получил «плохо», и мой самолет был снят с полета. И «плохо» было не просто в школьном журнале; плохо было мне самому и немного — чуть-чуть! — челюскинцам, которых я так подвел.

А карту выдумала Искра.

В десятом классе Валентина Андроновна предложила нам тему свободного сочинения «Кем я хочу стать?». И все ребята написали, что они хотят стать командирами Красной Армии. Даже Вовик Храмов пожелал быть танкистом, чем вызвал бурю восторга. Да, мы искренне хотели, чтобы судьба наша была суровой. Мы сами избирали ее, мечтая об армии, авиации и флоте: мы считали себя мужчинами, а более мужских профессий тогда не существовало.

В этом смысле мне повезло. Я догнал в росте своего отца уже в восьмом классе, а поскольку он был кадровым командиром Красной Армии, то его старая форма перешла ко мне. Гимнастерка и галифе, сапоги и командирский ремень, шинель и буденовка из темно-серого сукна. Я надел эти прекрасные вещи в один замечательный день и не снимал их целых пятнадцать лет. Пока не демобилизовался. Форма тогда уже была иной, но содержание ее не изменилось: она по-прежнему осталась одеждой моего поколения. Самой красивой и самой модной.

Мне люто завидовали все ребята. И даже Искра Полякова.

— Конечно, она мне немного велика, — сказала Искра, примерив гимнастерку. — Но до чего же в ней уютно. Особенно если потуже затянутся ремнем.

Я часто вспоминаю эти слова, потому что в них — ощущение времени. Мы все стремились затянуться потуже, точно каждое мгновение нас ожидал строй, точно от одного

нашего вида зависела готовность этого общего строя к боям и победам. Мы были молоды, но жаждали не личного счастья, а личного подвига. Мы не знали, что подвиг надо сначала посеять и вырастить. Что зреет он медленно, незримо наливаясь силой, чтобы однажды взорваться ослепительным пламенем, всполохи которого еще долго светят грядущим поколениям. Мы не знали, но это знали наши отцы и матери, прошедшие яростный огонь революции.

Кажется, ни у кого из нас не было в доме ванной. Впрочем, нет, одна квартира была с ванной, но об этом после. Мы ходили в баню обычно втроем: я, Валька и Пашка. Пашка драил наши спины отчаянно жесткой мочалкой, а потом долго блаженствовал в парной. Он требовал невыносимого жара, мы с Валькой поддавали этот жар, но сами сидели внизу. А Пашка издевался над нами с самой верхней полки:

— Здравствуйте, молодежь.

Как-то в парную, стыдливо прикрываясь шайкой, бочком проскользнул Андрей Иванович Коваленко — отец Зиночки. В голом виде он был еще мельче, еще неказистее.

— Жарковато у вас.

— Да разве это жар? — презрительно заорал сверху Пашка.— Это же субтропики! Это же Анапа сплошная! А ну, Валька, поддай еще!

— Борькина очередь, — объявил Валька.— Борька, поддай.

— Стоит ли? — робко спросил Коваленко.

— Стоит! — отрезал я.— Пар костей не ломит.

— Это кому как, — тихо улыбнулся Андрей Иванович.

И тут я шарахнул полную шайку на каменку. Пар взорвался с треском. Пашка восторженно взвыл, а Коваленко вздохнул. Постоял немного, подумал, взял свою шайку, повернулся и вышел.

Повернулся...

Я и сейчас помню эту исколотую штыками, исполосованную ножами и шашками спину в сплошных узловатых шрамах. Там не было живого места — все занимал этот сине-багровый автограф гражданской войны.

А вот мать Искры вышла из той же гражданской иной. Не знаю, были ли у нее шрамы на теле, но на душе были, это я понял позже. Такие же, как на спине у отца Зиночки.

Мать Искры — я забыл, как ее звали, и теперь уже никто не напомнит мне этого — часто выступала в школах, техникумах, в колхозах и на заводах. Говорила резко и коротко, точно командуя, и мы ее побаивались.

— Революция продолжается, запомните. И будет продолжаться, пока мы не сломим сопротивление классовых врагов. Готовьтесь к борьбе. Суровой и беспощадной.

А может, все это мне только кажется? Я старею, с каждым днем все дальше отступая от того времени, и уже не сама действительность, а лишь представление о ней сегодня властвует надо мной. Может быть, но я хочу избежать того, что диктует мне возраст. Я хочу вернуться в те дни, стать молодым и наивным...

Глава первая

— Ясенько-ясенько-прекрасненько! — прокричала Зиночка, не дослушав материнских наставлений.

Она торопилась закрыть дверь и накинуть крючок, а мать, как всегда, застряла на пороге с последними указаниями. Постирать, погладить, почистить, прокипятить, подмести. Ужас сколько всего она придумывала каждый раз, когда уходила на работу. Обычно Зиночка терпеливо выслушивала ее, но именно сегодня мама непозволительно медлила, а идея, возникшая в Зиночкиной голове, требовала действий, поскольку была неожиданной и, как подозревала Зина, почти преступной.

Сегодня утром во сне Зиночка увидела себя на берегу речки. Этим летом она впервые поехала в лагерь не обычной девочкой, а помощником вожатой, переполненная ощущением ответственности. Она все лето так строго сдвигала колючие бровки, что на переносице осталась белая вертикальная складочка. И Зиночка очень гордилась ею.

Но увидела она себя не с пионерами, ради которых и приходилось сдвигать брови, а со взрослыми: с вожатыми отрядов, преподавателями и другими начальниками. Они загорали на песке, а Зиночка еще плескалась, потому что очень любила бултыхаться на мелководье. Потом на нее прикрикнули, и Зиночка пошла к берегу, так как еще не разучилась слушаться старших.

Уже выходя на берег, она почувствовала взгляд: пристальный, оценивающий, мужской. Зиночка смутилась, крепко прижала руки к мокрой груди и постаралась поскорее упасть на песок. А в сладком полусне ей представилось, что там, на берегу, она была без купальника. Сердце на мгновение екнуло, но глаз Зиночка так и не открыла, потому что страх не был пугающим. Это был какой-то иной страх, на который хотелось посмотреть. И она торопила маму, пугаясь не страха, а решения заглянуть в него. Решения,

которое боролось в ней со стыдом, и Зиночка еще не была уверена, кто кого переборет.

Накинув крючок на входную дверь, Зиночка бросилась в комнату и первым делом старательно задернула занавески. А потом в лихорадочной спешке стала срывать с себя одежду, кидая ее куда попало: халатик, рубашку, лифчик, трусики... Она лишь взялась за них, оттянула резинку и тут же отпустила: резинка туго щелкнула по смуглому животу, и Зиночка опомнилась. Постояла, ожидая, когда уймется застучавшее сердце, и тихонечко пошла к большому маминному зеркалу. Она приближалась к нему как к бездне: чувствуя каждый шаг и не решаясь взглянуть. И, только оказавшись перед зеркалом, подняла глаза.

В свинцовом зеркальном холодке отразилась смуглая маленькая девушка с круглыми от преступного любопытства, блестящими, как вишенки, глазами. Вся она казалась шоколадной, и лишь не по росточку большая грудь да полоски от бретелек были неправдоподобно белыми, словно не принадлежавшими этому телу. Зиночка впервые сознательно разглядывала себя как бы со стороны, любовалась и одновременно пугалась того, что казалось ей уже созревшим. Но созревшей была только грудь, а бедра никак не хотели наливаться, и Зиночка сердито похлопала по ним руками. Однако бедра еще можно было терпеть: все-таки они хоть чуточку да раздались за лето, и талия уже образовалась. А вот ноги огорчали всерьез: они сбегали каким-то конусом, несоразмерно утоньшаясь к щиколоткам. И икры еще были плоскими, и коленки еще не округлились и торчали, как у девчонки-пятиклашки. Все выглядело просто отвратительно, и Зиночка с беспокойством подозревала, что природа ей тут не поможет. И вообще все счастливые девочки жили в прошлом веке, потому что тогда носили длинные платья.

Зиночка осторожно приподняла грудь, словно взвешивая: да, это уже было взрослым, полным будущих ожиданий. Значит, такая она будет — кругленькая, тугая, упругая. Конечно, хорошо бы еще подрасти, хоть немного; Зина вытянулась на цыпочках, прикидывая, какой она станет, когда наконец подрастет, и, в общем, осталась довольна. «Подождите, вы еще не так будете на меня смотреть!» — самодовольно подумала она и потанцевала перед зеркалом, мысленно напевая модное «Утомленное солнце».

И тут раздался звонок. Он ворвался так неожиданно, что Зиночка было ринулась к дверям, но потом метнулась назад, торопливо, кое-как напялила разбросанную одежду и вернулась в прихожую, на ходу застегивая халатик.

— Кто там?

— Это я, Зиночка.

— Искра? — Зина сбросила крючок.— Знала бы, что это ты, сразу бы открыла. Я думала...

— Саша из школы ушел.

— Как ушел?

— Совсем. Ты же знаешь, что у него только мама. А теперь за учебу надо платить, вот он и ушел.

— Вот ужас-то! — Зина горестно вздохнула и примолкла.

Она побаивалась Искорку, хотя была почти на год старше. Очень любила ее, в меру слушалась и всегда побаивалась той напористости, с которой Искра решала все дела и за себя, и за нее, и вообще за всех, кто, по ее мнению, в этом нуждался.

Мама Искры до сих пор носила потертую чоновскую кожанку, сапоги и широкий ремень, оставлявший после удара жгучие красные полосы. Про эти полосы Искра никому никогда не говорила, потому что стыд был больнее. И еще потому, что лишь она одна знала: ее резкая, крутая, негибкая мать была глубоко несчастной и, в сущности, одинокой женщиной; Искра очень жалела и очень любила ее.

Три года назад сделала она это страшное открытие: мама несчастна и одинока. Сделала случайно, проснувшись среди ночи и услышав глухие, стонущие рыдания. В комнате было темно, только из-за шкафа, что отделял Искоркину кровать, виднелась полоска света. Искра выскользнула из-под одеяла, осторожно выглянула. И обмерла. Мать, согнувшись и зажав голову руками, раскачивалась перед столом, на котором горела настольная лампа, прикрытая газетой.

— Мамочка, что случилось? Что с тобой, мамочка?

Искра рванулась к матери, а мать медленно вставала ей навстречу, и глаза у нее были мертвые. Потом побелела, затряслась и впервые сорвала с себя солдатский ремень.

— Подглядывать? Подслушивать?..

Такой Искра навсегда запомнила маму, а вот папу не помнила совсем: он наградил ее необыкновенным именем и исчез еще в далеком детстве. И мама сожгла в печке все фотографии с привычной беспощадностью.

— Он оказался слабым человеком, Искра. А ведь был когда-то комиссаром!

Слово «комиссар» для мамы решало все. В этом понятии заключался ее символ веры, символ чести и символ ее юности. Слабость была антиподом этого вечно юного и яростного слова, и Искра презирала слабость пуще предательства.

Мама была для Искры не просто примером и даже не образцом. Мама была идеалом, который предстояло достичь.

С одной, правда, поправкой: Искра очень надеялась стать более счастливой.

В классе подружек любили. Но если Зиночку просто любили и быстро прощали, то Искру не только любили, но слушали. Слушали все, но зато ничего не прощали. Искра всегда помнила об этом и немного гордилась, хотя оставаться совестью класса было порой нелегко.

Вот Искорка ни за что на свете не стала бы танцевать перед зеркалом в одних трусиках. И когда Зиночка подумала об этом, то сразу начала краснеть, пугаться, что Искра заметит ее внезапный румянец, и от этого краснела еще неудержимее. И вся эта внутренняя борьба настолько занимала ее, что она уже не слушала подругу, а только краснела.

— Что ты натворила? — вдруг строго спросила Искра.

— Я? — Зиночка изобразила крайнее удивление. — Да что ты! Я ничего не натворила.

— Не смей врать. Я прекрасно знаю, когда ты краснеешь.

— А я не знаю, когда я краснею. Я просто так краснею, вот и все. Наверное, я многокровая.

— Ты полоумная, — сердито сказала Искра. — Лучше признайся сразу, тебе же будет легче.

— А! — Зиночка безнадежно махнула рукой. — Просто я пропадушка.

— Кто ты?

— Пропадушка. Пропавший человек женского рода. Неужели непонятно?

— Болтушка, — улыбнулась Искра. — Разве можно с тобой серьезно разговаривать?

Зиночка знала, чем отвести подозрения. Правда, «знать» — глагол, трудно применимый к Зине, здесь лучше подходил глагол «чувствовать». Так вот, Зиночка чувствовала, когда и как смягчить суровую подозрительность подруги. И действовала хотя и интуитивно, но почти всегда безошибочно.

— Представляешь, Саша, — с его-то способностями! — не закончит школу. Ты соображаешь, какая это потеря для всех нас, а может быть, даже для всей страны! Он же мог стать конструктором самолетов. Ты видела, какие он делал модели?

— А почему Саша не хочет пойти в авиационную спецшколу?

— А потому что у него уши! — отрезала Искра. — Он застудил в детстве уши, и теперь его не принимает медкомиссия.

— Все-то ты знаешь, — не без ехидства заметила Зиночка. — И про модели, и про уши.

— Нет, не все. — Искра была выше девичьих шпилек. — Я не знаю, что нам делать с Сашей. Может, пойти в райком комсомола?

— Господи, ну при чем тут райком? — вздохнула Зиночка. — Искра, тебе за лето стал тесным лифчик?

— Какой лифчик?

— Обыкновенный. Не испепеляй меня, пожалуйста, взглядом. Просто я хочу знать: все девочки растут вширь или я одна такая уродина?

Искра хотела рассердиться, но сердиться на безмятежную Зиночку было трудно. Да и вопрос, который только она могла задать, был вопросом и для Искры тоже, потому что при всем командирстве ее беспокоили те же шестнадцать лет. Но признаться в этом она не могла даже самой близкой подруге: это была слабость.

— Не тем ты интересуешься, Зинаида, — очень серьезно сказала Искра. — Совершенно не тем, чем должна интересоваться комсомолка.

— Это я сейчас комсомолка. А потом я хочу быть женщиной.

— Как не стыдно! — с гневом воскликнула подруга. — Нет, вы слышали, ее мечта, оказывается, быть женщиной. Не летчицей, не парашютисткой, не стахановкой, наконец, а женщиной. Игрушкой в руках мужчины!

— Любимой игрушкой, — улынулась Зиночка. — Просто игрушкой я быть не согласна.

— Перестань болтать глупости! — прикрикнула Искра. — Мне противно слушать, потому что все это отвратительно. Это буржуазные пошлости, если хочешь знать.

— Ну, рано или поздно их узнать придется, — резонно заметила Зиночка. — Но ты не волнуйся и давай лучше говорить о Саше.

О Саше Искра согласна была говорить часами, и никому, даже самым отъявленным сплетницам, не приходило в голову, что «Искра плюс Саша равняется любовь». И не потому, что сама любовь, как явление несвоевременное, Искрой гневно отрицалось, а потому, что сам Саша был продуктом целеустремленной деятельности Искры, реально существующим доказательством ее личной силы, настойчивости и воли.

Еще год назад имя Сашки Стамескина склонялось на всех педсоветах, фигурировало во всех отчетах и глазело на мир с черной доски, установленной в вестибюле школы. Сашка воровал уголь из школьной котельной, макал девичьи

косы в чернильницы и принципиально не вылезал из «оч. плохо». Дважды его собирались исключить из школы, но приходила мать, рыдала и обещала, и Сашку оставляли с директорской пометкой «до следующего замечания». Следующее замечание неукротимый Стамескин хватал вслед за уходом матери, все повторялось и к Ноябрьским прошлогодним праздникам достигло апогея. Школа кипела, и Сашка уже считал дни, когда получит долгожданную свободу.

И тут на безмятежном Сашкином горизонте возникла Искра. Появилась она не вдруг, не с бухты-барухты, а вполне продуманно и обоснованно, ибо продуманность и обоснованность были проявлением силы как антипода человеческой слабости. К Ноябрьским Искра подала заявление в комсомол, выучила Устав и все, что следовало выучить, но это было пассивным, сопутствующим фактором, это могла вызубрить любая девчонка. А Искра не желала быть «любой», она была особой и с помощью маминых внушений и маминого примера целеустремленно шла к своему идеалу. Идеалом ее была личность активная, беспокойная, общественная — та личность, которая с детства определялась гордым словом «комиссар». Это была не должность — это было призвание, долг, путеводная звездочка судьбы. И, собираясь на первое комсомольское собрание, делая первый шаг навстречу своей звезде, Искра добровольно взвалила на себя самое трудное и неблагодарное, что только могла придумать.

— Не надо выгонять из школы Сашу Стамескина, — как всегда звонко и четко сказала она на своем первом комсомольском собрании. — Перед лицом своих товарищей по Ленинскому комсомолу я торжественно обещаю, что Стамескин станет хорошим учеником, гражданином и даже комсомольцем.

Искре аплодировали, ставили ее в пример, а Искра очень жалела, что на собрании нет мамы. Если бы она была, если бы она слышала, какие слова говорят о ее дочери, то — кто знает! — может быть, она действительно перестала бы знакомым судорожным движением расстегивать широкий солдатский ремень и кричать при этом коротко и зло, будто отстреливаясь:

— Лечь! Юбку на голову! Живо!

Правда, в последний раз это случилось два года назад, в самом начале седьмого класса. Искру тогда так мучительно долго трясло, что мама отпаивала ее водой и даже просила прощения.

— Ненормальная! — кричала после собрания Зиночка. — Нашла кого перевоспитывать! Да он же поколотит тебя.

Или... Или знаешь что может сделать? То, что сделали с той девочкой, в парке, про которую писали в газетах!

Искра гордо улыбалась, снисходительно выслушивая Зиночкины запугивания. Она отлично знала, что делала: она испытывала себя. Это было первое, робкое испытание ее личных «комсомольских» качеств.

На другой день Стамескин в школу не явился, и Искра после уроков пошла к нему домой. Зиночка мужественно вызвалась сопровождать, но Искра пресекла этот порыв:

— Я обещала комсомольскому собранию, что сама справлюсь со Стамескиным. Понимаешь, сама!

Она шла по длинному, темному, пронзительно пропахшему кошками коридору, и сердце ее сжималось от страха. Но она ни на мгновение не допускала мысли, что можно повернуться и уйти, сказав, будто никого не застала дома. Она не умела лгать, даже себе самой.

Стамескин рисовал самолеты. Немыслимые, сказочно гордые самолеты, свечой взмывающие в безоблачное небо. Рисунками был усеян весь стол, а то, что не умещалось, лежало на узкой железной койке. Когда Искра вошла в крохотную комнату с единственным окном, Саша ревниво прикрыл свои работы, но всего прикрыть не мог и разозлился.

— Чего приперлась?

С чисто женской быстротой Искра оценила обстановку: грязная посуда на табуретке, смятая, заваленная рисунками кровать, кастрюлька на подоконнике, из которой торчала ложка, — все свидетельствовало о том, что Сашкина мать во второй смене и что первое свидание с подшефным состоится с глазу на глаз. Но она не позволила себе струсить и сразу ринулась в атаку на самое слабое Сашкино место, о котором в школе никто не догадывался: на его романтическую влюбленность в авиацию.

— Таких самолетов не бывает.

— Что ты понимаешь! — закричал Сашка, но в тоне его явно послышалась заинтересованность.

Искра невозмутимо сняла шапочку и пальтишко — оно было тесновато, пуговицы сдвинуты к самому краю, и это всегда смущало ее — и, привычно оправив платье, пошла прямо к столу. Сашка следил за нею исподлобья, недоверчиво и сердито. Но Искра не желала замечать его взглядов.

— Интересная конструкция, — сказала она. — Но самолет не взлетит.

— Почему это не взлетит? А если взлетит?

— «Если» в авиации понятие запрещенное, — строго про-

изнесла она.— В авиации главное расчет. У тебя явно мала подъемная сила.

— Что? — настороженно переспросил отстающий Стамескин.

— Подъемная сила крыла,— твердо повторила Искра, хотя была совсем не уверена в том, что говорила.— Ты знаешь, от чего она зависит?

Сашка молчал, подавленный эрудицией. До сих пор авиация существовала в его жизни как существуют птицы: летают, потому что должны летать. Он придумывал свои самолеты, исходя из эстетики, а не из математики: ему нравились формы, которые сами рвались в небо.

Все началось с самолетов, которые не могли взлететь, потому что опирались на фантазии, а не на науку. А Сашка хотел, чтобы они летали, чтобы «горки», «бочки» и «иммельманы» были покорны его самолетам, как его собственное тело было покорно ему, Сашке Стамескину, футболисту и драчуну. А для этого требовался суший пустяк — расчет. И за этим пустяком Сашка нехотя, криво усмехаясь, пошел в школу.

Но Искре было мало, что Сашка возлюбил математику с физикой, терпел литературу, мыкался на истории и с видимым отвращением зубрил немецкие слова. Она была трезвой девочкой и ясно представляла срок, когда ее подопечному все надоест и Стамескин вернется в подворотни, к подозрительным компаниям и привычным «оч. плохо». И, не ожидая, пока это наступит, отправилась в районный Дворец пионеров.

— Отстающих не беру,— сказал ей строгий, в очках, руководитель авиамodelьного кружка.— Вот пусть сперва...

— Он не простой отстающий,— перебила Искра, хотя перебивать старших было очень невежливо.— Думаете, из одних отличников получаются хорошие люди? А Том Сойер? Так вот, Саша — Том Сойер, правда, он еще не нашел своего клада. Но он найдет его, честное комсомольское, найдет! Только чуть-чуть помогите ему. Пожалуйста, помогите человеку.

— А знаешь, девочка, мне сдается, что он уже нашел свой клад,— улыбнулся руководитель кружка.

Однако Сашка поначалу наотрез отказался идти в заветный авиамodelьный кружок. Он боялся, как бы там ему в два счета не доказали, что все его мечты — пустой звук и что он, Сашка Стамескин, сын судомойки с фабрики-кухни и неизвестного отца, никогда в жизни своей не прикоснется к серебристому дюралю настоящего самолета. Попросту говоря, Сашка не верил в собственные возможности и от-

чаянно трусил, и Искре пришлось потопать толстыми ножками.

— Ладно,— обреченно вздохнул он.— Только с тобой. А то сбегу.

И они пошли вместе, хотя Искру интересовали совсем не самолеты, а звучный Эдуард Багрицкий. И не просто интересовал — Искра недавно сама начала писать поэму «Дума про комиссара»: «Над рядами полыхает багряное знамя. Комиссары, комиссары, вся страна — за вами!...» Ну, и так далее еще две страницы, а хотелось, чтоб получилось страниц двадцать. Но сейчас главным было авиамоделирование, элероны, фюзеляжи и не вполне понятные подъемные силы. И она не сожалела об отложенной поэме, а гордилась, что наступает на горло собственной песне.

Вот об этом-то, о необходимости подчинения мелких личных слабостей главной цели, о радости преодоления и говорила Искра, когда они шли во Дворец пионеров. И Сашка молчал, терзаемый сомнениями, надеждами и снова сомнениями.

— Человек не может родиться на свет просто так, ради удовольствий,— втолковывала Искра, подразумевая под словом «удовольствия» время будущее, а не прошедшее.— Иначе мы должны будем признать, что природа — просто какая-то свалка случайностей, которые не поддаются научному анализу. А признать это — значит пойти на поводу у природы, стать ее покорными слугами. Можем мы, советская молодежь, это признать? Я тебя спрашиваю, Саша.

— Не можем,— уныло сказал Стамескин.

— Правильно. А это означает, что каждый человек — понимаешь, каждый! — рождается для какой-то определенной цели. И нужно искать свою цель, свое призвание. Нужно научиться отбрасывать все случайное, второстепенное, нужно определить главную задачу жизни...

— Эй, Стамеска!

От подворотни отклеилось трое мальчишек; впрочем, одного можно было бы уже назвать парнем. Двигались они лениво, враскачку, загребая ногами.

— Куда топаешь, Стамеска?

— По делу.— Сашка весь съежился, и Искра мгновенно уловила это.

— Может, подумаешь сперва? — Старший говорил как-то нехотя, будто с трудом отыскивая слова.— Отшей девчонку, разговор есть.

— Назад! — звонко выкрикнула Искра.— Сами катитесь в свои подворотни!

— Что такое? — насмешливо протянул парень.

— Прочь с дороги! — Искра обеими руками толкнула парня в грудь.

От толчка парень лишь чуть покачнулся, но тут же отступил в сторону. Искра схватила растерянного Стамескина за руку и потащила за собой.

— Ну, гляди, бомбовоз! Попадешься нам — наплачешься!

— Не оглядывайся! — прикрикнула Искра, волоча Стамескина. — Они все трусы несчастные.

— Знала бы ты, — вздохнул Сашка.

— Знаю! — отрезала она. — Смел только тот, у кого правда. А у кого нет правды, тот просто нахален, вот и все.

Несмотря на победу, Искра была в большом огорчении. Она каждый день по строгой системе делала зарядку, с упоением играла в баскетбол, очень любила бегать, но пуговки на кофточках приходилось расставлять все чаще, платья трещали по всем швам, а юбки из года в год наливались такой полнотой, что Искра впадала в отчаяние. И глупое словечко «бомбовоз» — да еще сказанное при Сашке! — было для нее во сто крат обиднее любого ругательства.

Сашка враз влюбился и в строгого руководителя, и в легкокрылые планеры, и в само название «авиамоделный кружок». Искра рассчитала точно: теперь Сашке было что терять, и он цеплялся за школу с упорством утопающего. Наступил второй этап, и Искра каждый день ходила к Стамескину не просто делать уроки, но и учить то, что утерялось в дни безмятежной Сашкиной свободы. Это было уже, так сказать, сверх обещанного, сверх программы: Искра последовательно лепила из Сашки Стамескина умозрительно сочиненный идеал.

Через полмесяца после встречи с прежними Сашкиными друзьями Искра вновь столкнулась с ними — уже без Саши, без поддержки и помощи, и даже не на улице, где в конце концов можно было бы просто заорать, хотя Искра скорее умерла бы, чем позвала на помощь. Она вбежала в темный и гулко пустой подъезд, когда ее вдруг схватили, стиснули, поволокли под лестницу и швырнули на заплыванный цементный пол. Это было так внезапно, стремительно и беззвучно, что Искра успела только скорчиться, согнуться дугой, прижав коленки к груди. Сердечко ее замерло, а спина напряглась в ожидании ударов. Но ее почему-то не били, а мяли, тискали, толкали, сопя и мешая друг другу. Чьи-то руки стащили шапочку, тянули за косы, стараясь оторвать лицо от коленок, кто-то грубо лез под юбку, щипал за бедра, кто-то протискивался за пазуху. И все это вертелось, стлывалось, громко дышало, пыхтело, спешило...

Нет, ее совсем не собирались бить, ее намеревались

просто ощупать, обмять, обтискать: «полапать», как это называлось у мальчишек. И когда Искра это сообразила, страх ее мгновенно улетучился, а гнев был столь яростен, что она задохнулась от этого гнева. Вонзилась зубами в чью-то руку, ногами отбросила того, кто лез под юбку, сумела вскочить и через три ступеньки взлететь по лестнице в длинный Сашкин коридор.

Она ворвалась в комнату без стука: красная, растрепанная, в пальтишке с выдранными пуговицами, все еще двумя руками прижимая к груди сумку с учебниками. Ворвалась, закрыла дверь и привалилась к ней спиной, чувствуя, что вот-вот, еще мгновение — и рухнет на пол от безостановочной дрожи в коленках.

Сашкина мать, унылая и худая, жарила картошку на керосинке, а сам Сашка сидел за столом и честно пытался решить задачу. Они молча уставились на Искру, а Искра, старательно улыбаясь, пояснила:

— Меня задержали. Там, внизу. Извините, пожалуйста.

Всем телом оттолкнулась от двери, сделала два шага и рухнула на табурет, отчаянно заплакав от страха, обиды и унижения.

— Да что вы, Искра? — Сашкина мама из уважения обращалась к ней как к взрослой. — Да господи, что сделали-то с вами?

— Шапочку стащили, — жалко и растерянно бормотала Искра, упорно улыбаясь и размазывая слезы по крутым щекам. — Мама расстроится, заругает меня за шапочку.

— Да как же это, господи! — плачуще выкрикнула женщина. — Водички выпейте, Искра, водички.

Сашка вылез из-за стола, молча отодвинул суетившуюся мать и вышел.

Вернулся он через полчаса. Положил перед Искрой ее голубую вязаную шапочку, выплюнул в таз вместе с кровью два передних зуба, долго мыл разбитое лицо. Искра уже не плакала, а испуганно следила за ним; он встретил ее взгляд, с трудом улыбнулся:

— Будем заниматься, что ли?

С того дня они всюду ходили вдвоем. В школу и на каток, в кино и на концерты, в читальню и просто так. По улицам. Только вдвоем. Но ни у кого и мысли не возникало позубоскалить на этот счет. Все в школе знали, как Искра умела дружить, но никто, ни один человек — даже Саша — не знал, как она умела любить. Впрочем, и сама Искра тоже не знала. Все пока называлось дружбой, и ей вполне хватало того, что содержалось в этом слове.

А теперь Сашка Стамескин, положивший столько сил и

упорства, чтобы поверить в реальность собственной мечты, догнавший, а кое в чем и перегнавший многих из класса, расставался со школой. И это было не просто несправедливостью — это было крушением всех Искриных надежд. Осознанных и еще не осознанных.

— Может быть, мы соберем ему эти деньги?

— Вот ты — то умная-умная, а то — дура душой! — Зина всплеснула руками. — Собрать деньги — это ты подумала. А вот возьмет ли он их?

— Возьмет, — не задумываясь, сказала Искра.

— Да, потому что ты заставишь. Ты даже меня можешь заставить съесть пенки от молока, хотя я наверняка знаю, что умру от этих пенок. — Зиночка с отвращением передернула плечами. — Это же милостынька какая-то, и поэтому ты дура. Дура, вот и все. В смысле неумная женщина.

Искра не любила слово «женщина», и Зиночка сейчас слегка подразнивала ее. Ситуация была редкой: Искра не знала выхода. А Зина нашла выход и поэтому тихонечко торжествовала. Но долго торжествовать не могла. Она была порывистой и щедрой и всегда выкладывала все, что было на душе.

— Ему нужно устроиться на авиационный завод!

— Ему нужно учиться, — неуверенно сказала Искра.

Но сопротивлялась она уже по инерции, по привычному ощущению, что до сих пор была всегда и во всем права. Решение звонкой подружки оказалось таким простым, что спорить было невозможно. Учиться? Он будет учиться в вечерней школе. Кружок? Смешно: там завод, там не играют в модели, там строят настоящие самолеты, прекрасные, лучшие в мире самолеты, не раз ставившие невероятные рекорды дальности, высоты и скорости. Но сдать сразу Искра не могла, потому что решение — то решение, при известии о котором Сашины глаза вновь вспыхнут огоньком, — на этот раз принадлежало не ей.

— Думаешь, это так просто? Это совершенно секретный завод, и туда принимают только очень проверенных людей.

— Сашка шпион?

— Глупая, там же анкеты. А что он напишет в графе «отец»? Что? Даже его собственная мама не знает, кто его отец.

— Что ты говоришь? — В глазах у Зинойки вспыхнуло преступное любопытство.

Тут Искре пришлось замолчать. Но, сдав и этот пункт, она по-прежнему уверяла, что устроиться на авиазавод будет очень трудно. Она нарочно пугала, ибо в запасе у нее уже имелся выход: райком комсомола. Всемогущий райком

комсомола. И выход этот должен был компенсировать тот укол самолюбия, который нанесла Зина своим предложением.

Но Зиночка мыслила конкретно и беспланово, опираясь лишь на интуицию. И эта природная интуиция мгновенно подсказала ей решение:

— А Вика Люберецкая?

Папа Вики Люберецкой был главным конструктором авиационного завода. А сама Вика восемь лет просидела с Зиночкой за одной партой. Правда, Искра сторонилась Вики. И потому, что Вика тоже была круглой отличницей, и потому, что немного ревновала ее к Зиночке, и, главное, потому, что Вика держалась всегда чуть покровительственно со всеми девочками и надменно со всеми мальчишками, точно вдовствующая королева. Только Вику подвозила служебная машина; правда, останавливалась она не у школы, а за квартал, и дальше Вика шла пешком, но все равно об этом знали все. Только Вика могла продемонстрировать девочкам шелковое белье из Парижа — предмет мучительной зависти Зиночки и горделивого презрения Искры. Только у Вики была шубка из настоящей сибирской белки, швейцарские часы со светящимся циферблатом и вечная ручка с золотым пером. И все это вместе определяло Вику как существо из другого мира, к которому Искра с детства испытывала ироническое сожаление.

Они соперничали даже в прическах. И если Искра упорно носила две косички за ушами, а Зина — короткую стрижку, как большинство девочек их класса, то у Вики была самая настоящая прическа, какую делают в парикмахерских.

И еще Вика была красивой. Не миленькой толстушкой, как Искорка, не хорошеньким бесенком, как Зиночка, а вполне сложившейся, спокойной, уверенной в себе и своем обаянии девушкой с большими серыми глазами. И взгляд этих глаз был необычен: он словно проникал сквозь собеседника в какую-то видимую только Вике даль, и даль эта была прекрасна, потому что Вика всегда ей улыбалась.

У Искры и Зины были разные точки зрения на красоту. Искра признавала красоту, запечатленную раз и навсегда на полотнах, в книгах, в музыке или в скульптуре, а от жизни требовала лишь красоты души, подразумевая, что всякая иная красота сама по себе уже подозрительна. Зиночка же поклонялась красоте как таковой, завидовала этой красоте до слез и служила ей как святыне. Красота была для нее божеством, живым и всемогущим. А красота для Искры была лишь результатом, торжеством ума и таланта, очередным доказательством победы воли и разума над не-

постоянным и слабым человеческим естеством. И поэтому просить о чем-либо Вику Искра не могла.

— Я сама попрошу! — горячо заверяла Зина. — Вика — золотая девчонка, честное комсомольское!

— У тебя все золотые.

— Ну, хоть раз, хоть разочек доверь мне. Хоть единственный, Искорка!

— Хорошо, — милостиво согласилась Искра после некоторого колебания. — Но не откладывать. Первое сентября — послезавтра.

— Вот спасибо! — засмеялась Зина. — Увидишь сама, как замечательно все получится. Дай я тебя поцелую за это.

— Не можешь ты без глупостей, — со вздохом сказала Искра, подставляя тем не менее тугую щеку подруге. — Я — к Саше, как бы он чего-нибудь от растерянности не наделал.

Первого сентября черная «эмка» притормозила за квартал до школы. Вика выпорхнула из нее, дошла до школьных ворот и, как всегда никого не замечая, направилась прямо к Искре.

— Здравствуй. Кажется, ты хотела, чтобы Стамескин работал на авиационном заводе? Можешь ему передать: пусть завтра приходит в отдел кадров.

— Спасибо, Вика, — сказала Искра, изо всех сил стараясь не обращать внимания на ее торжествующую надменность.

Но настроение было испорчено, и в класс она вошла совсем не такой сияющей, какой полчаса назад вбежала на школьный двор.

Глава вторая

Летом Артем устроился разнорабочим: копал канавы под водопровод, обмазывал трубы, помогал слесарям. Он не чурался никакого труда, одинаково весело спешил и за гаечным ключом, и за пачкой «Беломора», держал, где просили, долбил, где приказывали, но принципов своих не нарушал. И с самого начала поставил в известность бригаду:

— Только я, это... Не курю. Вот. Лучше не предлагайте.

— Чахотка, что ли? — участливо спросил старший.

— Спортом занимаюсь, это... Легкая атлетика.

Говорил Артем всегда скверно и хмуро стеснялся. Ему мучительно не хватало слов, и спасительное «это» звучало в его речах чаще всего остального. Тут была какая-то странность, потому что читал Артем много и жадно, письменные писал не хуже других, а с устным выходила одна неприятность. И поэтому Артем еще с четвертого класса

преданно возлюбил науки точные и люто возненавидел все предметы, где надо много говорить. Приглашение его к доске всегда вызывало приступ веселья в классе. Острижки изощрялись в подсказках, зануды подсчитывали, сколько раз прозвучало «это», а самолюбивый Артем страдал не только морально, но и физически, до натуральной боли в животе.

— Ну, я же с тобой нормально говорю? — жаловался он лучшему другу Жорке Ландысу. — И ничего у меня не болит, и пот не прошибает, и про этого... про Рахметова могу рассказать. А в классе не могу.

— Ну, еще бы. Ты у доски помираешь, а она гляделки пялит.

— Кто она? Кто она? — сердился Артем. — Ты, это... Знаешь, кончай эти штучки.

Но *она* была. *Она* появилась в конце пятого класса, когда в стеклах плавилось солнце, орали воробьи, а хмурый Григорий Андреевич — классный руководитель, имеющий скверную привычку по всем поводам вызывать родителей, — принес микроскоп.

Собственно, *она* существовала и раньше. Существовала где-то впереди, в противном мире девчонок и отличников, и Артем ее не видел. Не видел самым естественным образом, будто взгляд его проходил сквозь все ее косички и бантики. И ему жилось хорошо, и ей, наверное, тоже.

До конца мая в пятом классе. До того дня, когда Григ принес микроскоп и забыл предметные стекла.

— Не трогать, — сказал он и ушел.

А Артем остался у доски, поскольку был дежурным и не получил разрешения сесть на место. Григ задерживался, класс развлекался как мог, и скоро с «камчатки» к доске стала летать пустая сумка тихого отличника Вовика Храмова. Вовик не протестовал, увлеченный Берроузовским «Тарзаном», сумку швыряли через весь класс, Артем картинно ловил ее и кидал обратно. И так шло до поры, пока он не сплоховал и не угодил сумкой в микроскоп.

Григ вошел, когда микроскоп грохнулся на пол. Класс замер, «камчатка» пригнулась к партам, отличники съежились, а остальное население в бесстрашном любопытстве вытянуло шею. Пауза была длинной; Григ поднял микроскоп, и в нем что-то зазвенело, как в пустой бутылке.

— Кто? — шепотом спросил Григ.

Если б он закричал, все было бы проще, но тогда Артем так бы и не узнал, кто такая *она*. Но Григ спросил тем самым шепотом, от которого в жилах пятиклассников вся кровь свернулась в трусливый комочек.

— Кто это сделал?

— Я! — звонко сказала Зиночка. — Честное-пречестное, но не нарочно.

Именно в тот миг Артем понял, что она — это Зина Коваленко. Понял сразу и на всю жизнь. Это было великое открытие, и Артем свято хранил его в тайне. Это было нечто чрезвычайно серьезное и радостное, но радость Артем не спешил реализовать ни сегодня, ни завтра, ни вообще в обозримые времена. Он знал теперь, что радость эта существует, и твердо был убежден, что она найдет его, нужно лишь терпеливо ждать.

Артем был младшим: два брата уже слесарили, а Роза — самая красивая и самая непутевая — как раз в это лето ушла из отчего дома. Артем в тот день собирался на работу: он только что устроился копать канавы и очень важничал. Отец с братьями уже ушли на завод, мать кормила Артема на кухне; Артем считал, что он один на один с мамой, и капризничал:

— Мам, я не хочу с маслом. Мам, я хочу с сахаром.

И тут вошла Роза. Взъерошенная, невыспавшаяся, в детском халатике, из которого давно уже торчали коленки, локти и клочок живота. Она была всего на три года старше Артема, училась в строительном техникуме, носила челку и туфли на высоком каблуке, и Артем был чуточку влюблен в жгучее сочетание черных волос, красных губ и белых улыбок. А тут никаких улыбок не было, а была какая-то невыспавшаяся косматость.

— Роза, где ты была ночью? — тихо спросила мама.

Роза выразительно повела насильно втиснутым в старенький халатик плечом.

— Роза, здесь мальчик, а то бы я спросила не так, — опять сказала мама и вздохнула. — Тебя один раз нахлестал по щекам отец, и тебе это, кажется, не понравилось.

— Оставьте вы меня! — вдруг выкрикнула Роза. — Хватит, хватит и хватит!

Мама спокойно и внимательно посмотрела на нее, долила чайник, поставила на примус и еще раз посмотрела. Потом заговорила:

— Я сажала тебя на горшочек и чинила твои чулочки. Неужели же сейчас мне нельзя сказать всей правды?

— А мне надоело, вот и все! — громко, но все же потише, чем прежде, заявила Роза. — Я люблю парня, и он меня любит, и мы распишемся. И если надо уйти из дома, то я уйду из дома, но мы все равно распишемся, вот и все.

Так Артем узнал о любви, из-за которой бегут из родного дома. И любовь эта была не в бальном наряде, а в стареньком халатике, выпирала из него бедрами, плечами,

грудью, и халатик трещал по всем швам. А в том, что это любовь, у Артема не было никаких сомнений, поскольку уйти из их дома от сурового, но такого справедливого отца и от мамы, добрее и мудрее которой вообще не могло быть,— уйти из этого дома можно было только из-за безумной любви. И гордился, что любовь эта нашла Розу, и немного беспокоился, что его-то она как раз обойдет стороной.

Отец категорически запретил упоминать имя дочери в своем доме. Он был суров и никогда не изменял даже нечаянно сорвавшемуся слову. Все молчаливо согласилось с изгнанием блудной дочери, но через неделю, когда взрослые ушли на работу, мама сказала, старательно пряча глаза:

— Мальчик мой, тебе придется обмануть своего отца.

— Как обмануть? — От удивления Артем перестал жевать.

— Это большой грех, но я возьму его на свою душу,— вздохнула мама.— Завтра Розочка празднует свою свадьбу с Петром, и ей будет очень горько, если рядом не окажется никого из родных. Может быть, ты сходишь к ней на полчаса, а дома скажем, что ты смотришь какое-нибудь кино?

— А какое? — спросил Артем.

Мама пожала плечами. Она была в кино два раза до замужества и знала только Веру Холодную.

— «Остров сокровищ»! — объявил Артем.— Я его уже смотрел и могу рассказать, если Матвей спросит.

Матвей был ненамного старше Артема и снисходил до расспросов. Старший, Яков, до этого не унижался и звал Артема Шпендиком.

— Шпендик, тащи молоток! Не видишь, в кухонном столе гвоздь вылез, мама может оцарапаться.

И мама в таких случаях говорила:

— Не надо мне никакого богатства, а дайте мне хороших детей.

На другой день Артем надел праздничную курточку, взял цветы и отправился к Розе. До нее было пять трамвайных остановок, но Артем сесть в трамвай не решился, опасаясь помять букет, и всю дорогу нес его перед собой, как свечку. И поэтому опоздал: в красном уголке общепита за разнокалиберными столами уже полно набилось чрезвычайно шумной молодежи. Оглушенный смехом и криками, Артем затоптался у входа, пытаясь за горами виногрета разглядеть Розу.

— Тимка пришел! Ребята, передайте сюда моего братишку!

Артем не успел опомниться, как его схватили, подняли,

в полном соответствии с просьбой пронесли вдоль столов и поставили на ноги рядом с Розой.

— Принимай подарок, Роза!

И тут только Артем увидел, что по обе стороны жениха и невесты сидят братья. Роза расцеловала его, а Яков пробурчал одобрительно:

— Молодец, Шпендик. Гляди отцу не проболтайся.

Роза прибежала по утрам, и Артем видел ее редко. А вот Петьку часто, потому что Петька заходил на их водопроводные канавы, учил Артема газовой сварке, и за лето они подружились. Петька все мог и все умел, и с ним Артему было проще, чем с братьями. Но это было летом. А к сентябрю Артем получил расчет и принес деньги маме.

— Вот.— Он выложил на стол все бумажки и всю мелочь.

— Для трудовых денег нужен хороший кошелек,— сказала мама и достала специально к этому событию купленный кошелек.— Положи в него свои деньги и сходи в магазин вместе с Розочкой и Петром.

— Нет, мам. Это тебе. Для хозяйства.

— У тебя будет костюм, а у меня будет удовольствие. Ты думаешь, это мало: иметь удовольствие от костюма, который сын купил на собственные деньги?

Артем для порядка поспорил, а потом положил заработок в кошелек и наутро отправился к молодым. Но в общежитии был один Петр: Роза ушла в техникум.

— Костюм — это вещь,— одобрил идею Петр.— Я знаю, какой надо: мосторговский. Или ленинградский. А еще бывает на одной пуговице, спортивный покрой называется. А может, ты на заказ хочешь? Купим материал бостон...

— А мне и в куртке хорошо,— сказал Артем.— Мне, это, шестнадцать. Дата?

— Дата,— кивнул Петр.— Хочешь, чтоб к дате?

— Хочу, это...— Артем солидно помолчал.— Отметить хочу.

— Ага,— сообразил Петр.— Значит, вместо костюма?

— Вместо. А про деньги скажу, что потерял. Или стащили.

— Вот это не пойдет,— серьезно сказал Петр.— Это просто никак не годится: первая получка — и вранье? Получается, с вранья жизнь начинаешь, братишка. Так получается? Это во-первых. А во-вторых, мать с отцом зачем обижать? Они тоже порадоваться должны на твое рождение. Так или не так?

— Вроде так. Только, это, а ты с Розой?

— Мы тебя отдельно поздравим,— улыбнулся Петр.—

А сейчас крой к маме и скажи, что меняешь костюм на день рождения.

Мама согласилась сразу, отец, поворчав, тоже, и Артем вместо магазинов, которые очень не любил, помчался к закадычному другу Жорке — советоваться, кого приглашать на первый в жизни званый вечер.

У Жорки Ландыса было два дела, которыми он занимался с удовольствием: коньки и марки, причем коньки были увлечением, а марки — страстью. Он разыскивал их в бабушкиных сундуках, до унижения кланчил у знакомых, выменивал, покупал, а порой и крал, не в силах устоять перед соблазном. Он первым в классе вступил в МОПР, лично писал письма в Германию, потом в Испанию, а затем в Китай, хищно отклеивал марки и тут же сочинял новые послания. Эта активность закрепила за ним славу человека делового и оборотистого, и Артем шел к нему советоваться.

— Нужен список, — сказал Жорка. — Не весь же класс звать.

Артем был согласен и на весь, лишь бы пришла она. Жорка достал бумагу и приступил к обсуждению.

— Ты, я, Валька Александров, Пашка Остапчук...

С мужской половиной они покончили быстро. Затем Жорка отложил ручку и выбрался из-за стола:

— Девчонок пиши сам.

— Нет, нет, зачем это? — Артем испугался. — У тебя почерк лучше. Натренированный.

— Это точно, — с удовольствием отметил Ландыс. — Знаешь, куда я письмо накатал? В Лигу Наций насчет детского вопроса. Может, ответят? Представляешь, марочка придет!

— Вот и давай, — сказал Артем. — С кого начнем?

— Задача! — рассмеялся Жорка. — Лучше скажи, кого записывать, кроме Зинки Коваленко.

— Искру. — Артем сосредоточенно хмурился. — Ну, кого еще? Еще Лену Бокову, она с Пашкой дружит. Еще...

— Еще Сашку Стамескина, — перебил Жорка. — Из-за него Искра надуется, а без Искры...

— Без Искры нельзя, — вздохнул Артем.

Оба не любили Сашку: он был из другой компании, с которой не раз случались серьезные столкновения. Но без Сашки могла не пойти Искра, а это почти наверняка исключало присутствие Зиночки.

— Пиши Стамескина, — махнул рукой Артем. — Он теперь рабочий класс, может, не так задается.

— И Вику Люберецкую, — твердо сказал Жорка.

Артем улыбнулся: Вика давно уже была Жоркиной мечтой. Голубой, как ответ из Лиги Наций.

День рождения решено было отмечать в третье воскресенье сентября. Они еще не совсем привыкли к слову «воскресенье» и написали «в третий общевыходной», но почта сработала быстрее, чем рассчитывал Артем: в среду к нему подошла Искра и строго спросила:

— Эта открытка не розыгрыш?

— Ну, зачем? — Артем недовольно засопел. — Я, это... Шестнадцать лет.

— А почему не твой почерк? — допытывалась дотошная Искра.

— Жорка писал. Я — как курица лапой, сама знаешь.

— У нашей Искры недоверчивость прокурора сочетается с прозорливостью Шерлока Холмса, — громко сказала Вика. — Спасибо, Артем, я обязательно приду.

Артема немного беспокоило, как поведут себя братья в их школьной компании, но оказалось, что как раз в этот день и у Якова и у Матвея возникли неотложные дела. Они утром поздравили младшего и отбыли за час до прихода гостей, предварительно перетасив в одну комнату все столы, стулья и скамейки.

— К одиннадцати вернемся. Счастливо гулять, Шпендик!

Братья ушли, а мать и отец остались. Они сидели во главе стола; мама наливала девочкам сидро и угощала их пирогами. Мальчики пили мамину наливку, а отец водку. Он выпил две рюмки и ушел, и осталась одна мама, но осталась так, что всем казалось, будто она тоже ушла.

— Мировые у тебя старики, — сказал Валька Александров, на редкость общительный парень, очень не любивший ссор и быстро наловчившийся улаживать конфликты. — У меня только и слышишь: «Валька, ты что там делаешь?»

— За тобой, Эдисон, глаз нужен, — улыбнулся лучший спортсмен школы Пашка Остапчук. — А то ты такое изобретешь...

Вальку прозвали Эдисоном за тихую страсть к усовершенствованиям. Он изобретал вечные перья, велосипеды на четырех колесах и примус, который можно было бы накачивать ногой. Последнее открытие вызвало небольшой домашний пожар, и Валькин отец пришел в школу просить, чтобы дирекция пресекла изобретательскую деятельность сына.

— Эдисон кого-нибудь спалит!

— А я считаю, что человеку нельзя связывать крыльев, — ораторствовала Искра. — Если человек хочет изобрести полезную для страны вещь, ему необходимо помочь. А смеяться над ним просто глупо!

— Глупо по всякому поводу выступать с трибуны, —

сказала Вика, и опять ее услышали, несмотря на смех, разговоры и шум.

— Нет, это не глупо! — звонко объявила Искра. — Глупо считать себя выше всех только потому, что...

— Девочки, девочки, я фокус знаю! — закричал миролюбивый изобретатель.

— Ну, договаривай, — улыбалась Вика. — Так почему же?

Искра хотела выложить все про духи, белье, шубки и служебную машину, которая сегодня в десять должна была заехать за Викторией. Хотела, но не решилась, потому что дело касалось некоторых девичьих тайн. И проклинала себя за слабость.

— Потому что у меня папа конструктор? Ну и что же здесь плохого? Мне нечего стыдиться своего папы...

— Артемон! — вдруг отчаянно крикнула Зиночка: ей до боли стало жалко безотцовщину Искру. — Налей мне сидро, Артемон...

Все хохотали долго и весело, как можно хохотать только в детстве. И Зиночка хохотала громче всех, неожиданно назвав Артема именем верного пуделя, а Сашка Стамескин даже хрюкнул от восторга, и это дало новый повод для смеха. А когда отсмеялись, разговор изменился, Жорка Ландыс начал рассказывать про письмо в Лигу Наций и при этом так смотрел на Вику, что все стали улыбаться. А потом Искра, пошептавшись с Леной Боковой, предложила играть в шарады, и они долго играли в шарады, и это тоже было весело. А потом громко пели песни про Каховку, про Орленка и про своего сверстника, которого шлепнули в Иркутске. И когда пели, Зина пробралась к Артему и виновато сказала:

— Ты прости, пожалуйста, что я назвала тебя Артемоном. Я вдруг назвала, понимаешь? Я не придумывала, а — вдруг. Как выскочило.

— Ничего. — Артем боялся на нее смотреть, потому что она была очень близко, а смотреть хотелось, и он все время вертел глазами.

— Ты правда не обижаешься?

— Правда. Даже, это... Хорошо, словом.

— Что хорошо?

— Ну, это. Артемон этот.

— А... А почему хорошо?

— Не знаю. — Артем собрал все мужество, отчаянно заглянул в Зиночкины блестящие глазки, почувствовал вдруг жар во всем теле и выложил: — Потому что ты, понимаешь? Тебе можно.

— Спасибо, — медленно сказала Зина, и глаза ее заулы-

бались Артему особой, незнакомой ему улыбкой. — Я иногда буду называть тебя Артемоном. Только редко, чтобы ты не скоро привык.

И отошла как ни в чем не бывало. И ничего ни в ней, ни в других не изменилось, но на Артема вдруг обрушился приступ небывалой энергии. Он пел громче и старательнее всех, он заводил старенький патефон, что принес Пашка Остапчук, он даже порывался танцевать — но не с Зиной, нет! — с Искрой, оттопал ей ноги и оставил это занятие. Мама следила за ним и улыбалась так, как улыбаются все мамы, открывая в своих детях что-то новое: неожиданное и немного взрослое. А когда все разошлись и Артем помогал ей убирать со стола, сказала:

— У тебя очень хорошие друзья, мальчик мой. У тебя замечательные друзья, но знаешь, кто мне понравился больше всех? Мне больше всех понравилась Зиночка Коваленко. Мне кажется, она очень хорошая девочка.

— Правда, мам? — расцвел Артем.

И это был лучший подарок, который Артем получил ко дню своего рождения. Мама знала, что ему подарить.

Но это было уже поздно вечером, когда черная «эмка» увезла Вику, а остальные весело пошли на трамвай. И громко пели в пустом вагоне, а когда кому-нибудь надо было сходить, то вместо «до свидания» уходящий почему-то кричал:

— Физкульт-привет!

И все хором отвечали:

— Привет! Привет! Привет!

Но и это было потом, а тогда танцевали. Собственно, танцевали только Лена с Пашкой да Зиночка с Искрой. Остальные танцевать стеснялись, а Вика сказала:

— Я танцую или вальс, или вальс-бостон.

Чего-то не хватало — то ли танцующих, то ли пластинок, — от танцев вскоре отказались и стали читать стихи. Искра читала своего любимого Багрицкого, Лена — Пушкина, Зиночка — Светлова, и даже Артем с напряжением припомнил какие-то четыре строчки из хрестоматии. А Вика от своей очереди отказалась, но когда все закончили, достала из сумочки — у нее была настоящая дамская сумочка из Парижа! — тонкий потрепанный томик.

— Я прочитаю три моих любимых стихотворения одного почти забытого поэта.

— Забытое — значит, ненужное, — попытался сострить Жорка.

— Ты дурак, — сказала Вика. — Он забыт совсем по другой причине.

Она прошла на середину комнаты, раскрыла книжку, строго посмотрела вокруг и негромко начала:

Дай, Джим, на счастье лапу мне,
Такую лапу не видал я сроду...

— Это Есенин,— сказала Искра, когда Вика замолчала.— Это упадочнический поэт. Он воспевает кабаки, тоску и уныние.

Вика молча усмехнулась, а Зиночка всплеснула руками:

— Ну и пусть себе упадочнический-разупаднический! Это изумительные стихи, вот и все. И-зу-ми-тель-ны-е!

Искра промолчала, поскольку стихи ей очень понравились и спорить она не могла. И не хотела. Она точно знала, что стихи упадочнические, потому что слышала это от мамы, но не понимала, как могут быть упадочническими такие стихи. Между знанием и пониманием возникал разлад, и Искра честно пыталась разобраться в себе самой.

— Тебе понравились стихи? — шепнула она Сашке.

— Ничего я в этом не смыслю, но стихи мировецкие. Знаешь, там такие строчки... Жалко, не запомнил.

— «Шаганэ ты моя, Шаганэ...» — задумчиво повторила Искра.

— «Шаганэ ты моя, Шаганэ...» — вздохнул Сашка.

Вика слышала разговор. Подошла, спросила вдруг:

— Ты умная, Искра?

— Не знаю,— опешила Искра.— Во всяком случае, не дура.

— Да, ты не дура,— улыбнулась Вика.— Я никому не даю эту книжку, потому что она папина, но тебе дам. Только читай, не торопясь.

— Спасибо, Вика.— Искра тоже улыбнулась ей, кажется, впервые в жизни.— Верну в собственные руки.

На улице два раза рывкнул автомобильный сигнал, и Вика стала прощаться. А Искра бережно прижимала к груди зачитанный сборник стихов упадочнического поэта Сергея Есенина.

Глава третья

Школу построили недавно, и об открытии ее писали в газетах. Окна были широкими, парты еще не успели изрезать, в коридорах стояли кадки с фикусами, а на первом этаже располагался спортзал — редчайшая вещь по тем временам.

— Прекрасный подарок нашей детворе,— сказал пред-

ставитель горно.— Значит, так. На первом этаже — первые и вторые классы; наверх не пускать, чтобы на перилах не катались. На втором, соответственно, третьи и четвертые, и так далее по возрастающей. Чем старше учащийся, тем более высокий этаж он занимает.

— Это удивительно точно,— подтвердила Валентина Андроновна.— Даже символично в прекрасном *нашем* смысле этого слова.

Валентина Андроновна преподавала литературу и временно замещала директора. Ее массивная фигура источала строгость и целеустремленную готовность следовать новейшим распоряжениям и циркулярам.

Сделали согласно приказу, добавив по своей инициативе дежурных на лестничных площадках со строгим уговором никого из учеников не пускать ни вниз, ни вверх. Школа была прослоена, как пирог, десятиклассники никогда не видели пятиклашек, а первогодки вообще никого не видели. Каждый этаж жил жизнью своего возраста, но зато, правда, никто не катался на перилах. Кроме дежурных.

Валентина Андроновна полгода исполняла обязанности, а потом прислали нового директора. Он носил широченные галифе, мягкие шевровые сапоги «шимми» и суконную гимнастерку с огромными накладными карманами, был по-кавалерийски шумлив, любил громко хохотать и чихать на всю школу.

— Кадетский корпус,— заявил он, ознакомившись с символической школьной структурой.

— Распоряжение горно,— со значением сказала Валентина Андроновна.

— Жить надо не распоряжениями, а идеями. А какая наша основная идея? Наша основная идея — воспитать гражданина новой социалистической Родины. Поэтому всякие распоряжения похерим и сделаем таким макаром.

Он немного подумал и написал первый приказ:

«1-й этаж. Первый и шестой классы.

2-й этаж. Второй, седьмой и восьмой.

3-й этаж. Третий и девятый.

4-й этаж. Четвертый, пятый и десятый».

— Вот,— сказал он, полюбовавшись на раскладку.— Все перемешаются, и начнется дружба. Где главные бузотеры? В четвертом и пятом; теперь на глазах у старших, значит, те будут приглядывать. И никаких дежурных, пусть шуруют по всем этажам. Ребенок — существо стихийно-вольное, и нечего зря решетки устанавливать. Это во-первых. Во-вторых, у нас девочки растут, а зеркало — одно на всю школу, да и то в учительской. Завтра же во всех девчоночьих

уборных повесить хорошие зеркала. Слышишь, Михеич? Купить и повесить.

— Кокоток растить будем? — ядовито улыбнулась Валентина Андроновна.

— Не кокоток, а женщин. Впрочем, вы не знаете, что это такое.

Валентина Андроновна проглотила обиду, но письмо все же написала. Куда следует. Но там на это письмо не обратили никакого внимания: то ли приглядывались к новому директору, то ли у этого директора были защитники посильнее. Классы перемешали, дежурных ликвидировали, зеркала повесили, чем и привели девочек в состояние постоянно действующего ажиотажа. Появились новые бантики и новые челки, а на переменах школа победно ревела сотнями глоток, и директор был очень доволен.

— Жизнь бушует!

— Страсти преждевременно будим,— поджимала губы Валентина Андроновна.

— Страсти — это прекрасно. Хуже нет бесстрастного человека. И поэтому надо петь!

Специальных уроков пения в школе не было из-за отсутствия педагогов, и директор решил вопрос волонтеристски: отдал приказ об обязательном совместном пении три раза в неделю. Старшекласников звали в спортзал, директор брал в руки личный баян и отстукивал ритм ногой.

Мы красные кавалеристы,
И про нас
Былинники речистые
Ведут рассказ...

Эти спевки Искра очень любила. У нее не было ни голоса, ни слуха, но она старалась громко и четко произносить слова, от которых по спине пробегали мурашки:

Мы беззаветные герои все...

А вообще-то директор преподавал географию, но своеобразно, как и все, что делал. Он не любил установок, а тем паче — указаний, и учил не столько по программе, сколько по совести большевика и бывшего конармейца.

— Что ты мне все по Гангу указкой лазаешь! Плавать придется, как-нибудь разберешься в притоках, а не придется, так и не надо. Ты нам, голуба, лучше расскажи, как там народ бедствует, как английский империализм измывается над трудящимся людом. Вот о чем надо помнить всю жизнь!

Это когда дело касалось стран чужих. А когда своей, директор рассказывал совсем уж вещи непривычные.

— Берем Сальские степи.— Он аккуратно обрисовывал

степи на карте.— Что характерно? А то характерно, что воды мало, и если случится вам летом там быть, то поите коня с утра обильно, чтоб аж до вечера ему хватило. И наш конь тут не годится, надо на местную породу пересаживаться, они привычнее.

Может, за эти рассказы, может, за демократизм и простоту, может, за шумную человеческую откровенность, а может, и за все разом любила директора школа. Любила, уважала, но и побаивалась, ибо директор не терпел наушничанья и, если ловил лично, действовал сурово. Впрочем, озорство он прощал: не прощал лишь озорства злонамеренного, а тем более хулиганства.

В восьмом классе парень ударил девочку. Не случайно и даже не в ярости, а сознательно, обдуманно и зло. Директор сам вышел на ее крики, но парень убежал. Передав плачущую жертву учительницам, директор вызвал из восьмого класса всех ребят и отдал приказ:

— Найти и доставить. Немедленно. Все. Идите.

К концу занятий парня приволокли в школу. Директор выстроил в спортзале все старшие классы, поставил в центре доставленного и сказал:

— Я не знаю, кто стоит перед вами. Может, это будущий преступник, а может, отец семейства и примерный человек. Но знаю одно: сейчас перед вами стоит не мужчина. Парни и девчата, запомните это и будьте с ним поосторожнее. С ним нельзя дружить, потому что он предаст, его нельзя любить, потому что он подлец, ему нельзя верить, потому что он изменит. И так будет, пока он не докажет нам, что понял, какую совершил мерзость, пока не станет настоящим мужчиной. А чтоб ему было понятно, что такое настоящий мужчина, я ему напому. Настоящий мужчина тот, кто любит только двух женщин. Да, двух, что за смешки! Свою мать и мать своих детей. Настоящий мужчина тот, кто любит ту страну, в которой он родился. Настоящий мужчина тот, кто отдаст другу последнюю пайку хлеба, даже если ему самому суждено умереть от голода. Настоящий мужчина тот, кто любит и уважает всех людей и ненавидит врагов этих людей. И надо учиться любить и учиться ненавидеть, и это самые главные предметы в жизни!

Искра заплодировала первой. Заплодировала, потому что впервые видела и слышала комиссара. И весь зал заплодировал за нею.

— Тише, хлопцы, тише! — Директор заулыбался.— Между прочим, в строю нельзя в ладоши бить.— Он повернулся к парню, усердно изучавшему пол, и в мертвой тишине сказал негромко и презрительно: — Иди учись. Средний род.

Да, они очень любили своего директора Николая Григорьевича Ромахина. А вот свою новую классную руководительницу Валентину Андроновну не просто не любили, а презирали столь дружно и глубоко, что не затрачивались уже ни на какие иные эмоции. Разговоров с нею не искали: терпеливо выслушивали, стараясь не отвечать, а если отвечать все же приходилось, то пользовались ответами наименее простейшими: «да» и «нет». Но Валентина Андроновна была далеко не глупа, прекрасно знала, как к ней относиться, и, не найдя путей к умам и душам, начала чуть-чуть, самую малость заискивать. И это «чуть-чуть» было тотчас же отмечено классом.

— Что-то наша Валендра заюлила? — громко удивился Пашка Остапчук.

— Льет масло в будущие волны страстей человеческих, — с пафосом изрекла Лена Бокова.

— Ворвань она льет, а не масло, — проворчал просвещенный филателист Жорка Ландыс. — Откуда у такой задрыги масло?

— Прекрати, — строго сказала Искра. — О старших так не говорят, и я не люблю слово «задрыга».

— А зачем же произносишь, если не любишь?

— Для примера. — Искра покосилась на Вику, отметила, что она улыбается, и расстроилась. — Нехорошо это, ребята. Получается, что мы злословим всем классом.

— Ясно, ясно, Искра! — торопливо согласился Валька Эдисон. — Действительно, в классе не надо. Лучше дома.

Но Валентина Андроновна вовсе не ограничивала свои цели классом. Да, ей хотелось властвовать над умами и душами строптивого 9-го «Б», но заветной мечтой оставалось все же не это. Она твердо была убеждена, что школа — ее школа, где она целых полгода правила единовластно, — ныне попала в руки авантюриста. Вот что мучило Валентину Андроновну, вот что заставляло ее писать письма по всем адресам, но письма эти пока не имели ответа. Пока. Она учитывала это «пока».

Неуклонно борясь со школьным руководством, она не думала о карьере даже тайно, даже про себя. Она думала о *линии*, и эта сегодняшняя линия нового директора вполне искренне, до слез и отчаяния представлялась ей ошибочной. Валентина Андроновна боролась не за личное, а за общественное благо. Ничего личного в ее аскетической жизни одинокой и необаятельной женщины давно уже не существовало.

В воскресенье веселились, в понедельник вспоминали об этом, а во вторник после уроков Искру вызвала классная руководительница.

— Садись, Искра,— сказала она, плотно прикрывая дверь 1-го «А», в котором принимала для разговоров наедине.

В отличие от Зиночки, Искра не боялась ни вызовов, ни отдельных кабинетов, ни бесед с глазу на глаз, поскольку никогда не чувствовала за собой никакой вины. А вот Зиночка чувствовала вину — если не прошлую, то будущую — и отчаянно боялась всего.

Искра села, одернула платье — это ужасно, когда торчат коленки, ужасно, а ведь торчат! — и приготовилась слушать.

— Ты ничего не хочешь мне рассказать?

— Ничего.

— Жаль,— вздохнула Валентина Андроновна.— Как ты думаешь, почему я обратилась именно к тебе? Я могла бы поговорить с Остапчуком или Александровым, с Ландысом или Шефером, с Боковой или Люберецкой, но я хочу говорить с тобой, Искра.

Искра мгновенно прикинула, что вся названная компания была на дне рождения и что среди всех не названы лишь Саша и Зина. Саша уже не был учеником 9-го «Б», но Зиночка...

— Я обращаюсь к тебе не только как к заместителю секретаря комитета комсомола. Не только как к отличнице и общественнице. Не только как к человеку идейному и целеустремленному...— Валентина Андроновна сделала паузу,— но и потому, что хорошо знаю твою маму как прекрасного партийного работника. Ты спросишь: зачем это вступление? Затем, что враги используют сейчас любые средства, чтобы растлить нашу молодежь, чтобы оторвать ее от партии, чтобы вбить клин между отцами и детьми. Вот почему твой святой долг немедленно сказать...

— Мне нечего вам сказать,— ответила Искра, лихорадочно соображая, что же они такое натворили в воскресенье.

— Да? А разве тебе неизвестно, что Есенин — поэт упаднический? А ты не подумала, что вас собрали под предлогом рождения — я проверила анкету Шефера: он родился второго сентября. Второго, а собрал вас через три недели! Зачем? Не для того ли, чтобы ознакомить с пьяными откровениями кулацкого певца?

— Есенина читала Люберецкая, Валентина Андроновна.

— Люберецкая? — Валентина Андроновна была явно удивлена, и Искра не дала ей опомниться.

— Да, Вика. Зина Коваленко напутала в своей информации.

Это был пробный шар. Искра даже отвернулась, понимая,

что идет на провокацию. Но ей необходимо было проверить подозрения.

— Значит, Вика? — Валентина ндроновна окончательно потеряла наступательный пафос. — Да, да, Коваленко много болтала лишнего. Кто-то ушел из дома, кто-то в кого-то влюбился, кто-то читал стихи. Она очень, очень несобранная, эта Коваленко! Ну что же, тогда все понятно, я... и ничего страшного. Отец Люберецкой — виднейший руководитель, гордость нашего города. И Вика очень серьезная девушка.

— Я могу идти? — спросила Искра, вставая.

— Что? Да, конечно. Видишь, как все просто решается, когда говорят правду. А твоя подруга Коваленко очень, очень несерьезный человек.

— Я подумаю об этом, — сказала Искра и вышла.

Она торопилась к несерьезному человеку, зная, что любопытная подружка непременно ждет ее во дворе школы. Ей необходимо было объяснить кое-что про сплетни, длинный язык и легкомысленную склонность к откровениям.

Зиночка весело щебетала в обществе двух десятиклассников, Юрия и Сергея, а вдали маячил Артем. Искра молча взяла подружку за руку и повлекла за собой; Артем двинулся было за ними, но одумался и исчез.

— Куда ты меня тащишь?

Искра завела Зину за угол школы, втиснула в закуток у входа в котельную и спросила без предисловия:

— Ты кто — идиотка, сплетница или предатель?

Вместо ответа Зиночка тут же вызвала на помощь слезы. Она всегда прибегала к ним в затруднительных случаях, но на сей раз это было ошибкой.

— Значит, ты предатель.

— Я? — Зина враз перестала плакать.

— Ты что наговорила Валендре?

— А я наговорила? Она поймала меня в уборной перед зеркалом. Стала ругать, что верчусь и... кокетничаю. Это она так говорит, а я вовсе не кокетничаю и даже не знаю, как это делают. Ну, я стала оправдываться. Я стала оправдываться, а она — расспрашивать, подлая. И я ничего не хотела говорить, честное слово, но... все рассказала. Я не нарочно рассказала, Искорка, я же совсем не нарочно.

Осторожно всхлипывая, Зиночка говорила что-то еще, но Искра уже не слушала, а размышляла. Потом скомандовала:

— Утрись, и идем к Люберецким.

— Куда? — От удивления Зиночка мгновенно перестала всхлипывать.

— Ты подвела человека. Завтра Вику начнет допрашивать Валендра, и нужно, чтобы она была к этому готова.

— Но мы же никогда не были у Люберецких!

— Не были, так будем. Пошли!

Вика гордилась своим отцом не меньше, чем Искра мамой. Но если Искра гордилась про себя, то Вика — открыто и победоносно. Гордилась его наградами: орденом Боевого Красного Знамени за гражданскую войну и орденом за высокие достижения в мирном строительстве. Гордилась его многочисленными именными подарками от наркома: фотоаппаратами и часами, радиоприемниками и патефонами. Гордилась его статьями, его боевыми заслугами в прошлом и его прекрасными делами в настоящем.

Мать Вики давно умерла. Первое время с ними жила тетя — сестра отца; позднее она вышла замуж, переехала в Москву и навещала Люберецких нечасто. Хозяйство вела домработница, быт был налажен, девочка росла и развивалась нормально, и тете не о чем было особенно беспокоиться. Беспокоился всегда сам Люберецкий. И с каждым годом беспокоился все больше именно потому, что дочь нормально росла и нормально развивалась.

Беспокойство выражалось в крайностях. Страх за нее породил машину, доставлявшую Вику в школу и из школы, в театр и из театра, за город и домой. Желание видеть ее самой красивой привело к заграничным нарядам, прическам и шубкам, которые были бы впору молодой женщине, а не девочке, только-только начинавшей взрослеть. Он сам невольно торопил ее развитие, гордился, что развитие это обогнало ее сверстниц, и тревожился замкнутостью дочери, не догадываясь, что замкнутость Вики и есть результат его воспитания.

Вика очень гордилась отцом и очень тяготилась одиночеством. Но была самолюбива, больше всего боялась, что кто-нибудь вздумает ее жалеть, и поэтому внезапный визит девочек был ей неприятен.

— Извини, мы по важному делу, — сказала Искра.

— Какое зеркало! — ахнула Зина: зеркала были ее слабостью.

— Старинное, — не удержалась Вика. — Папе подарил знакомый академик.

Она хотела провести девочек к себе, но на голоса вышел папа — Леонид Сергеевич Люберецкий.

— Здравствуйте, девочки. Ну, наконец-то и у моей Вики появились подружки, а то все с книжками да с книжками. Очень рад, очень! Проходите в столовую, я сейчас подам чай.

— Чай может подать Поля,— с легким неудовольствием сказала Вика.

— Может, но лучше я,— улыбнулся отец и ушел на кухню.

За чаем Леонид Сергеевич ухаживал за девочками, угощал пирожными и конфетами в нарядных коробках. Искру и Зину смущали пирожные: они привыкли есть их только по великим праздникам. Но отец Вики при этом шутил, улыбался, и ощущение чужого праздника, на котором они оказались незваными гостями, постепенно оставило девочек. Зиночка вскоре завертелась, с любопытством разглядывая хрусталь за стеклами дубового буфета, а Искра неожиданно разговорилась и тут же поведала о беседе с учительницей.

— Девочки, это все несерьезно.— Отец Вики тем не менее почему-то погрузился и тяжело вздохнул.— Никто Сергея Есенина не запрещал, и в стихах его нет никакого криминала. Надеюсь, что ваша учительница и сама все понимает, а разговор этот, что называется, под горячую руку. Если хотите, я позвоню ей.

— Нет,— сказала Искра.— Извините, Леонид Сергеевич, но в своих делах мы должны разбираться сами. Надо выработать характер.

— Молодец. Должен признаться, я давно хотел с вами познакомиться, Искра. Я много наслышан о вас.

— Папа!

— А разве это тайна? Извини.— Он снова обратился к Искре: — Оказалось, что я знаком с вашей мамой. Как-то случайно повстречались в горькоме и выяснили, что виделись еще в гражданскую, воевали в одной дивизии. Удивительно отважная была дама. Прямо Жанна д'Арк.

— Комиссар,— тихо, но твердо поправила Искра.

Она ничего не имела против Жанны д'Арк, но комиссар был все же лучше.

— Комиссар,— согласился Люберецкий.— А что касается поэзии в частности и искусства вообще, то мне больше по душе то, где знаки вопросительные превалируют над знаками восклицательными. Восклицательный знак есть перст указующий, а вопросительный — крючок, вытаскивающий ответы из вашей головы. Искусство должно будить мысли, а не убаюкивать их.

— Не-ет,— недоверчиво протянула Зиночка.— Искусство должно будить чувства.

— Зинаида! — сквозь зубы процедила Искра.

— Зиночка абсолютно права,— сказал Леонид Сергеевич.— Искусство должно идти к мысли через чувства. Оно

должно тревожить человека, заставляя болеть чужими горестями, любить и ненавидеть. А растревоженный человек пытлив и любознателен: состояние покоя и довольства собой порождает лень души. Вот почему мне так дороги Есенин и Блок, если брать поэтов современных.

— А Маяковский? — тихо спросила Искра. — Маяковский есть и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи.

— В огромнейшем таланте Маяковского никто не сомневается, — улыбнулся Леонид Сергеевич.

— Папа был знаком с Владимиром Владимировичем, — пояснила Вика.

— Знаком? — Зина живо развернулась на стуле. — Не может быть!

— Почему же? — сказал отец. — Я хорошо знал его, когда учился в Москве. Признаться, мы с ним отчаянно спорили, и не только о поэзии. То было время споров, девочки. Мы не довольствовались абсолютными истинами, мы искали и спорили. Спорили ночи напролет, до одури.

— А разве можно спорить с... — Искра хотела сказать «с гением», но удержалась.

— Спорить не только можно, но и необходимо. Истина не должна превращаться в догму, она обязана все время испытываться на прочность и целесообразность. Этому учил Ленин, девочки. И очень сердился, когда узнавал, что кто-то стремится перелить живую истину в чугунный абсолюте.

В дверь заглянула пожилая домработница:

— Машина пришла, Леонид Сергеевич.

— Спасибо, Поля. — Леонид Сергеевич встал, задвинул на место стул. — Всего доброго, девочки. Пейте чай, болтайте, слушайте музыку, читайте хорошие стихи. И, пожалуйста, не забывайте о нас с Викой.

— Ты надолго, папа?

— Раньше трех с совещаний не отпускают, — улыбнулся отец и вышел.

Искра долго вспоминала и случайную встречу, и возникший вдруг разговор. Но тогда, слушая немолодого (как ей казалось) человека с молодыми глазами, она со многим не соглашалась, многое пыталась оспорить, над многим намеревалась поразмыслить, потому что была человеком основательным, любившим докапываться до корней. И шла домой, раскладывая по полочкам услышанное, а Зиночка щебетала рядом:

— Я же говорила, что Вика золотая девчонка, ведь говорила же, говорила! Господи, восемь лет из-за тебя потеряли. Какая посуда! Нет, ты видела, какая посуда? Как

в музее, ну честное комсомольское, как в музее! Наверное, из такой посуды Потемкин пил.

— Истина,— вдруг неторопливо, точно вслушиваясь, произнесла Искра.— Зачем же с ней спорить, если она — истина?

— «В образе Печорина Лермонтов отразил типичные черты лишнего человека...» — Зина очень похоже передразнила Валентину Андроновну и рассмеялась.— Попробуй поспорь с этой истиной, а Валендра тебе «оч. плохо» вкатит.

— Может, это не истина? — продолжала размышлять Искра.— Кто объявляет, что истина — это и есть истина? Ну, кто? Кто?

— Старшие,— сказала Зиночка.— А старшим — их начальники... А мне налево, и дай я тебя поцелую.

Искра молча подставила щеку, дернула подружку за светло-русую прядку, и они расстались. Зина бежала, нарочно цокая каблучками, а Искра шла хоть и быстро, но степенно и тихо, старательно продолжая думать.

Мама была дома, и, как обычно, с папирсой: после той страшной ночи, когда за нею случайно подсмотрела Искра, мама стала курить. Много курить, разбрасывая по всей комнате пустые и начатые пачки «Дели».

— Где ты была?

— У Люберецких.

Мама чуть приподняла брови, но промолчала. Искра прошла в свой угол, за шкаф, где стояли маленький столик и этажерка с ее книгами. Пыталась заниматься, что-то решала, переписывала, но разговор не выходил из головы.

— Мама, что такое истина?

Мать отложила книгу, которую читала внимательно, с выписками и закладками, сунула папиросу в пепельницу, подумала, достала ее оттуда и прикурила снова.

— По-моему, ты небрежно сформулировала вопрос. Уточни, пожалуйста.

— Тогда скажи: существуют ли бесспорные истины? Истины, которые не требуют доказательства.

— Конечно. Если бы не было таких истин, человек остался бы зверем. А ему нужно знать, во имя чего он живет.

— Значит, человек живет во имя истины?

— Мы — да. Мы, советский народ, открыли непреложную истину, которой учит нас наша партия. За нее пролито столько крови и принято столько мук, что спорить с нею, а тем более сомневаться — значит предавать тех, кто погиб и... и еще погибнет. Эта истина — наша сила и наша гордость, Искра. Я правильно поняла твой вопрос?

— Да, да, спасибо,— задумчиво сказала Искра.— Понимаешь, мне кажется, что у нас в школе не учат спорить.

— С друзьями спорить не о чем, а с врагами надо драться.

— Но ведь надо уметь спорить?

— Надо учить самой истине, а не способам ее доказательства. Это казуистика. Человек, преданный нашей истине, будет, если понадобится, защищать ее с оружием в руках. Вот чему надо учить. А болтовня не наше занятие. Мы строим новое общество, нам не до болтовни.— Мать бросила в пепельницу окурки, вопросительно поглядела на Искру.— Почему ты спросила об этом?

Искра хотела рассказать о разговоре, который ее встревожил, о восклицательных и вопросительных знаках, по которым Леонид Сергеевич оценивал искусство, но посмотрела в привычно суровые материнские глаза и сказала:

— Просто так.

— Не читай пустопорожних книг, Искра. Я хочу проверить твой библиотечный формуляр, да все никак не соберусь. На ужин выпьешь молока, я ничего не успела готовить, а мне завтра предстоит серьезное выступление.

Формуляр Искры был в полном порядке, но Искра читала и помимо формуляра. Обмен книгами в школе существовал, вероятно, еще с гимназических времен, и Искра уже знала Гамсуна и Келлермана, придя от «Виктории» и «Ингеборг» в странное состояние тревоги и ожидания. Тревога и ожидание не отпускали даже по ночам, и сны ей снились совсем не формулярного свойства. Но об этом она не говорила никому, даже Зиночке, хотя Зиночка о подобных снах частенько говорила ей. Тогда Искра очень сердилась, и Зина не понимала, что сердится она за угаданные сны.

Разговор с матерью укрепил Искру в мысли о существовании непреложных истин, но кроме них существовали и истины спорные, так сказать, истины второго порядка. Такой истиной, в частности, было отношение к Есенину, которого Искра все эти дни читала, учила наизусть и кое-что из которого переписывала в тетрадь, поскольку книга подлежала скорому возврату. Она переписывала тайком от матери, потому что запрет, хоть и не гласный, все же действовал, и Искра впервые спорила с официальным положением, а значит, и с истиной.

— А я давно все понял,— сказал Сашка, когда она поведала ему о своих сомнениях.— Есенину просто завидуют, вот и все. И хотят, чтобы мы его забыли.

Такое простое объяснение Искру устроить не могло. А посоветоваться было не с кем, и она, основательно

подумав, решила расспросить при случае Леонида Сергеевича.

В школе царил тишина, словно не было неприятного разговора среди парт первоклашек, не было чтения крамольных стихов, да и самого вечера у Артема тоже вроде бы не было. Валентина Андроновна никого больше не вызывала, при встречах милостиво улыбалась, и Искра решила, что Леонид Сергеевич прав: все случилось под горячую руку. Никто не путал порядок вещей, истины оставались истинами — такими же чистыми, недоступными и манящими, как восьмидесятичники Гималаев. Искра по-прежнему усердно занималась, читала стихи и неформулярные романы, играла в баскетбол, ходила с Сашей в кино или просто так и регулярно выпускала стенгазету, поскольку была ее главным редактором.

И еще болтала с Зиной о разных пустяках, не подозревая, что подружка переживает самый сложный внутренний конфликт, страстно желая в кого-нибудь влюбиться, но не зная, кого же избрать для этой возвышенной цели.

Глава четвертая

Строго говоря, Зиночка постоянно жила в сладком состоянии легкой влюбленности. Влюбленность являлась настоящей необходимостью, без нее просто невозможно было бы существовать, и каждое первое сентября, заново возвращаясь в класс, Зиночка срочно определяла, в кого она будет влюблена в данном учебном году. Выбранный ею объект и не подозревал, что стал таковым: Зиночка не усложняла свою жизнь задачей кому-то понравиться — ей вполне хватало того, что сама она считала себя влюбленной, мечтала о взаимности и страдала от ревности. Это была прекрасная жизнь в мечтах, но в этом году старый способ себя почему-то не оправдал, и Зиночка пребывала в состоянии странного желания куда-то все время бежать и в то же время оставаться на месте и ждать, ждать нетерпеливо и отчаянно, а чего ждать, она не знала.

В пятом классе Артем вовсе не был предметом ее тайной любви (он был предметом в третьем, но не знал этого). Зиночка тогда спасла его от возмездия по страсти к сильным ощущениям: у нее была такая тяга к страшному — ляпнуть что-то, а потом посмотреть, что из этого выйдет. Из того опыта ничего доброго не вышло, но зато Зина всласть наревелась и долгое время ходила в героинях, даже за косы ее дергали сильнее и чаще, чем остальных девочек.

И этого было достаточно, и она не обращала на Артема ровно никакого внимания еще целых три года, успев заметить косички короткой стрижкой. А на дне рождения вдруг открыла, что сама, оказывается, стала объектом, что нравится Артему, что он совершенно особенно смотрит на нее и совершенно особенно с ней говорит.

Это было великое открытие. Зиночка невероятно возгордилась, стала пуще прежнего вертеться перед встречными зеркалами и испытывать острую потребность в разговорах о том вечере, о любви, тоске и страданиях. Вот тут-то на нее и наткнулась Валентина Андроновна и легко выпытала все, правда, все настолько запутанное, что запуталась сама и оставила это бесперспективное дело.

Все шло просто замечательно, если бы не два десятиклассника, проявившие энергичный интерес. Один был просто самый красивый парень в школе, которого за красоту девичье большинство регулярно выбирало старостой класса и который с завидным постоянством ничего не делал на этом высоком посту. Второй тоже был ничего, и Зиночка вдруг с ужасом поняла, что на нее свалилось слишком много счастья. Здесь надо было что-то решать, а решать Зиночка не любила, — страдала, убивалась и никогда ничего не решала.

Все всегда решала Искра. Зина выкладывала проблемы, Искра на мгновение сдвигала брови и выдавала программу. Точную, завершенную, не подлежащую сомнениям. И все было просто и ясно, но идти к подруге с вопросом, в кого влюбляться, казалось невыносимым. Искра строго осудила бы прежде всего саму постановку вопроса как явно скороспелую и отчасти мелкобуржуазную (все, что не было направлено на служение обществу, Искра считала мелкобуржуазным). А затем последовал бы логичный анализ собственного Зиновкиного существа, и тут выяснилась бы такая бездна недостатков, которые Зине предстояло изжить до того, как влюбляться, что сама возможность любви откатилась бы лет этак на сорок. И Зиновке тогда оставалось бы только плакать, потому что иных аргументов, кроме слез и полного отсутствия логики, у нее не было.

Дома на совет рассчитывать не приходилось. Зина появилась на свет, когда ее уже не ждали: через восемь лет после рождения Александры, а старшая, Мария, была совсем уже взрослой, с двумя детьми, и жила с мужем на Дальнем Востоке. У Александры тоже была семья, она заходила редко, и Зиновке в ее присутствии было всегда немного не по себе: она считалась маленькой на все времена. Оставалась мама, вечно занятая своей больницей, в которой

работала старшей операционной сестрой. Но мама — так уж получилось — была настолько старше, что уже не могла советовать, забыв те времена, когда влюбляются сразу в троих. С отцом, занятым по горло работой, совещаниями и собраниями, о таких вопросах говорить было бесполезно, и Зиночка оказалась предоставленной самой себе в ситуации сложной и непривычной.

На контрольной по алгебре ее осенило, и она написала три письма. Текст их отличался только обращением: «Юра, друг мой!», «Друг мой Сережа!» и «Уважаемый друг и товарищ Артем!». Далее туманно говорилось о чувствах, об одиноком страдающем девичьем сердце, о страшной тайне, которая мешает их дружбе в настоящее время, но, возможно, все еще обернется к лучшему, и ей, Зине, удастся совладать со своими страстями, и тогда она, одинокая и несчастная, попросит снова дружбы, которую сейчас — временно! — вынуждена отвергнуть. Сочинив послания, в которых дальнобойные обещания ловко затуманивались роковыми случайностями настоящего периода, Зиночка очень обрадовалась и подумала даже, что она ужасно хитрая и прозорливая. Правда, вопрос, кому их посылать, оставался без ответа, но с этим Зина решила пока не спешить: хватит и того, что она самостоятельно нашла выход, до которого никто на свете — даже Искра! — никогда бы не додумался. Поэтому она положила письма в учебник и немного повеселела. Контрольную при этом она, естественно, сделать не успела, но выдала математику Семену Исааковичу такого ревака, что старенький и очень добрый учитель поставил ей «посредственно».

Три дня она решала вопрос, кому — двоим! — отправлять письма, а кому — одному! — не отправлять. Но тут выяснилось, что два письма она куда-то подевала и осталось всего одно: «Уважаемый друг и товарищ Артем!» И поскольку выбора не было, она его и сунула Артему, когда рассаживались по партам после большой перемены.

Артем весь урок читал и перечитывал письмо, отказался выйти к доске, получил «плохо» и попросил запиской свидания. Зиночка не рассчитывала на свидание, но очень обрадовалась.

— Я, это, не понял, — честно признался Артем, когда они уединились в школьном дворе после уроков. — У тебя, это... неприятности?

— Да, — кротко вздохнула Зина.

Артем тоже завздыхал, затоптался и засопел. Потом спросил:

— Может, помощь нужна?

— Помощь? — Она горько усмехнулась. — Женщине может помочь только слепой случай или смерть.

Артем в таких категориях не разбирался и не очень им доверял. Но она почему-то страдала; он никак не мог взять в толк, почему она страдает, но искренне страдал сам.

— Может, это... Морду кому-нибудь надо набить? Ты, это... Ты говори, не стесняйся. Я для тебя...

Тут он замолчал, не в силах признаться, что для нее он и вправду может сделать все, что только она пожелает. А Зиночка по легкомыслию и женской неопытности пропустила эти три слова. Три произнесенных Артемом слова из той клятвы, которую он носил в себе. Три слова, которые для любой женщины значат куда больше, чем признание в любви, ибо говорят о том, что человек хочет отдать, а не о том, что он надеется получить. А она испугалась.

— Нет, нет, что ты! Не надо мне ничего, я сама справлюсь со своим пороком.

— С каким пороком?

— Я не свободна, — таинственно сказала она, лихорадочно припоминая, что говорят героини романов в подобных случаях. — Мне не нравится тот человек, я даже ненавижу его, но я дала ему слово.

Артем смотрел очень подозрительно, и Зиночка замолчала, сообразив, что переигрывает.

— Этот человек — Юрка из десятого «А»? — спросил он.

— Что ты, что ты! — всполошилась Зина. — Юрка — это было бы просто. Нет, Артем, это не он.

— А кто?

Зиночка догадывалась, что Артем просто так не отстанет. Надо было выкручиваться.

— Ты никому не скажешь? Никому-никому?

Артем молчал, очень серьезно глядя на нее.

— Это такая тайна, что, если ты меня выдашь, я утоплюсь.

— Зина, это... — строго сказал он. — Не веришь — лучше не говори. Я вообще не трепло, а для тебя...

Опять выскочили эти три слова, и опять он замолчал, и опять Зиночка ничего не услышала.

— Это взрослый человек, — призналась она. — Он женат и уже бросил из-за меня жену. И двоих детей. То есть одного, второй еще не родился...

— Ты же еще маленькая.

— А что делать? — отчаянным шепотом спросила Зиночка. — Ну, что делать, ну, что? Конечно, я не пойду за него замуж, ни за что не пойду, но пока — пока, понимаешь? — мы с тобой будем как будто мы просто товарищи.

— А мы и так просто товарищи.

— Да, к сожалению.— Она тряхнула головой.— Я поздно разобралась в ситуации, если хочешь знать. Но теперь пока будет так, хорошо? Пока, понимаешь?

— А ты маме очень понравилась,— сказал Артем, помолчав.

— Неужели? — Зиночка заулыбалась, забыв о своих несчастьях с женатым человеком.— У тебя замечательная мама, я в нее влюбилась. Я почему-то быстро влюбляюсь. Привет!

И убежала, стараясь казаться трагической даже со спины, хотя ей очень хотелось петь и скакать. Артем понимал, что она наврала ему с три короба, но не сердился. Главное было не то, что она наврала, а то, что он ей был не нужен; Артем впервые в жизни открыл, где находится сердце, и уныло — скакать ему не хотелось — поплелся домой. И как раз в это время в директорский кабинет вошла Валентина Андроновна.

— Полюбуйтесь,— сказала она и положила на стол два исписанных листка, вырванных из тетради в линейку.

В тоне ее звучала печально-торжественная нота, но Николай Григорьевич внимания на эту ноту не обратил, поскольку был заинтригован началом: «Юра, друг мой!» и «Друг мой Сережа!» Далее шло нечто маловразумительное, но директор дочитал и весело рассмеялся:

— Вот дуреха! Ну до чего же милая дурешка писала!

— А мне не до смеха. Извините, Николай Григорьевич, но это все ваши зеркала.

— Да будет вам,— отмахнулся директор.— Девочки играют в любовь, ну и пусть себе играют. Все естественное разумно. С вашего разрешения.

Он скомкал письмо и полез в карман. Валентина Андроновна рванулась к столу:

— Что вы делаете?

— Возвращать неудобно, значит, надо прятать концы в воду, то бишь в огонь.

— Я категорически протестую. Вы слышите, категорически! Это документ...

Она пыталась через стол дотянуться до бумажек, но руки у директора были длиннее.

— Никакой это не документ, Валентина Андроновна.

— Я знаю, кто это писал. Знаю, понимаете? Это писала Коваленко: она забыла хрестоматию...

— Мне это неинтересно. И вам тоже неинтересно. Должно быть неинтересно, я имею в виду... Сесть!

По его команде когда-то шел в атаку эскадрон. И, услышав металл, Валентина Андроновна поспешно опустила

на стул. А директор достал наконец-то спички и сжег оба письма.

— И запомните: не было никаких писем. Самое страшное — это подозрение. Оно калечит людей, вырабатывая из них подлецов и шкурников.

— Я уважаю ваши боевые заслуги, Николай Григорьевич, но считаю ваши методы воспитания не только упрощенными, но и порочными. Да, порочными! Я заявляю откровенно, что буду жаловаться.

Директор вздохнул, горестно покачал головой и указал пальцем на дверь:

— Идите и пишите. Скорее, пока пыл не прошел.

Валентина Андроновна остервенело хлопнула дверью. Терпение ее лопнуло, отныне она шла в открытый бой за то, что было смыслом ее жизни: за советскую школу. И отважно сжигала за собой все мосты.

Если бы не было вечера накануне, Искра заметила бы повышенную шустрость Зиновки. Но вечер был, привычная гармония нарушилась; Искра больше занималась собой, а потому и упустила из-под контроля подружку.

Совсем немного поработав на заводе, Сашка Стамескин стал заметно меняться. У него появилась какая-то усталая уверенность в голосе, собственные суждения и — что настораживало Искру — этакое особое отношение к ней. Он еще по-прежнему привычно поддакивал и привычно подчинялся, привычно присвистывая выбитыми зубами, и привычно мрачнел при очередных выговорах. И вместе с тем минутами появлялось то, что давали отныне завод, зарплата, взрослая жизнь и взрослый круг знакомств, и Искра не знала, радоваться ей или бороться изо всех сил.

В тот вечер они не пошли в кино, потому что Искре вздумалось погулять. А погулять означало поговорить, ибо идти просто так или молоть вздор Искра не умела. Она либо воспитывала своего Стамескина, либо рассказывала, что вычитала в книгах или до чего додумалась сама. Когда-то Сашка отчаянно спорил с нею по всем поводам, потом примолк, а в последнее время стал улыбаться, и улыбка эта Искре решительно не нравилась.

— Почему ты улыбаешься, если ты не согласен? Ты спорь со мной и отстаивай свою точку зрения.

— А меня твоя точка устраивает.

— Эй, Стамескин, это не по-товарищески, — вздохнула Искра. — Ты хитришь, Стамескин. Ты стал ужасно хитрым человеком.

— Я не хитрый. — Сашка тоже вздохнул. — А улыбаюсь оттого, что мне хорошо.

— Почему это тебе хорошо?

— Не знаю. Хорошо, и все. Давай сядем.

Они сели на скамью в чахлом пустынном сквере. Скамейка была высокой, и Искра с удовольствием болтала ногами.

— Понимаешь, если рассуждать логически, то жизнь одного человека представляет интерес только для него одного. А если рассуждать не по мертвой логике, а по общественной, то он, то есть человек...

— Знаешь? — вдруг чужим голосом сказал Сашка. — Ты не рассердишься, если я...

— Что? — почему-то очень тихо спросила Искра.

— Нет, ты наверняка рассердишься.

— Да нет же, Саша, нет! — Искра взяла его за руку и встряхнула, точно взбалтывая остатки смелости. — Ну же? Ну?

— Давай поцелуемся.

Наступила длинная пауза, во время которой Сашка чувствовал себя крайне неудобно. Сначала он сидел не шевелясь, пришибленный собственной отчаянной решимостью, потом задвигался, запыхтел, сказал угнетенно:

— Ну, вот. Я же ведь просто так...

— Давай, — одними губами сказала Искра.

Сашка набрал побольше воздуха, потянулся. Искра подалась к нему, подставляя тугую прохладную щеку. Он прижался губами, одной рукой привлек ее к себе за голову и замер. Они долго сидели неподвижно, и Искра с удивлением слушала, как забилося сердце.

— Пусти... Ну же. — Она выскользнула.

— Вот... — тяжело вздохнул Сашка.

— Страшно, да? — шепотом спросила Искра. — У тебя бьется сердце?

— Давай еще, а? Еще разочек...

— Нет, — решительно сказала она и отодвинулась. — Со мной что-то происходит и... И я должна подумать.

С ней действительно что-то происходило, что-то новое, немного пугающее, и поцелуй был не причиной этого, а множителем, могучим толчком уже пришедших в движение сил. Искра догадывалась, что это за силы, но сердилась на них за то, что они пробудились раньше, чем им полагалось по ее разумению. Сердилась и терялась одновременно.

Наступало время личной жизни, и девочки встречали эту новую для них жизнь с тревогой, понимая, что она — личная и тут уж им никто не поможет. Ни школа, ни комсомол, ни даже мамы. Жизнь эту нужно было встречать один на один: женщины, которые пробуждались в них так одинаково

и так по-своему, жаждали самостоятельности, как все женщины во все времена.

И в этот тревожный и такой важный период своей жизни Искру потянуло не к Зиночке, которую она упорно считала девчонкой, а к Вике Люберецкой. Гордой Вике, которая — Искра чувствовала это — уже перешагнула рубеж, уже осознала себя женщиной, уже приоровилась к этому новому состоянию и гордилась им. В первую очередь им, а уж потом — своим знаменитым отцом. Так думала Искра, но являться без предупреждения не хотела, уловив во время первого визита неудовольствие хозяйки. И еще в классе сказала:

— Я хочу вернуть Есенина. Можно мне прийти сегодня?

— Приходи,— ответила Вика, не выразив никаких чувств.

Искре это не понравилось (она все же надеялась, что Вика обрадуется), но решимость ее не поколебалась. Сделав уроки в школе — она часто так поступала, потому что устные предметы зубрить нужды не было, а письменные можно было приготовить между делом,— забежала домой, оставила маме записку, взяла Есенина и пошла к Люберецкой, с досадой ощущая некоторое волнение.

Вика ждала ее, открыла сразу, молча повесила пальтишко и так же молча пригласила в свою комнату. Там стояло огромное кресло, на которое хозяйка и указала, но сестра в него Искра не решилась. Она никогда еще не сидела в креслах и считала, что там ей будет неудобно.

— Спасибо, Вика,— сказала она, отдав книгу и усевшись на стул.

— Пожалуйста.— Вика, улыбаясь, смотрела на нее.— Надеюсь, теперь ты не станешь утверждать, что это вредные стихи?

— Это замечательные стихи,— вздохнула Искра.— Я думаю, нет, я даже уверена, что скоро их оценят и Сергею Есенину поставят памятник.

— А какую надпись ты бы сделала на этом памятнике? Давай проведем конкурс: я буду сочинять свою надпись, а ты свою.

Они провели конкурс, и Вика тотчас признала, что Искра вышла победительницей, написав: «Спасибо тебе, сердце, которое билось для нас». Только слова «билось для» они дружно заменили на «болело за».

— Я никогда не задумывалась, что такое любовь,— как можно более незаинтересованно сказала Искра, когда они немного поболтали о школьных делах.— Наверное, это стихи заставили меня задуматься.

— Папа говорит, что в жизни есть две святые обязанности, о которых нужно думать: для женщины — научиться любить, а для мужчины — служить своему делу.

Искра переходила к тому, ради чего явилась, размышляла, как повернуть разговор, и только поэтому не вцепилась в этот тезис, как бульдог. Она пропустила его, про себя все же отметив, что для женщины служить своему делу так же важно, как и для мужчины, поскольку Великая Октябрьская революция раскрепостила рабу очага и мужа.

— Как ты представляешь счастье? — спросила Вика, потому что гостя погрузилась в раздумье.

— Счастье? Счастье — быть полезной своему народу.

— Нет, — улыбнулась Вика. — Это — долг, а я спрашиваю о счастье.

Искра всегда представляла счастье, так сказать, верхом на коне. Счастье — это помощь угнетенным народам, это уничтожение капитализма во всем мире, это — «я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать»; у нее перехватывало дыхание, когда она читала эти строчки. Но сейчас вдруг подумала, что Вика права, что это не есть счастье, а есть долг. И спросила, чтоб выиграть время:

— А как ты представляешь?

— Любить и быть любимой, — мечтательно сказала Вика. — Нет, я не хочу какой-то особой любви: пусть она будет обыкновенной, но настоящей. И пусть будут дети. Трое: вот я — одна, и это невесело. Нет, два мальчика и девочка. А для мужа я бы сделала все, чтобы он стал... — Она хотела сказать «знаменитым», но удержалась. — Чтобы ему всегда было со мной хорошо. И чтобы мы жили дружно и умерли в один день, как говорит Грин.

— Кто?

— Ты не читала Грина? Я тебе дам, и ты обязательно прочтешь.

— Спасибо. — Искра задумалась. — А тебе не кажется, что это мещанство?

— Я знала, что ты это скажешь. — Вика засмеялась. — Нет, это никакое не мещанство. Это нормальное женское счастье.

— А работа?

— А ее я не исключаю, но работа — это наш долг, только и всего. Папа считает, что это разные вещи: долг — понятие общественное, а счастье — сугубо личное.

— А что говорит твой папа о мещанстве?

— Он говорит, что мещанство — это такое состояние человека, когда он делается рабом незаметно для себя.

Работ вещей, удобств, денег, карьеры, благополучия, привычек. Он перестает быть свободным, и у него вырабатывается типично рабское мировоззрение. Он теряет свое «я», свое мнение, начинает соглашаться, поддакивать тем, в ком видит господина. Вот как папа объяснял мне, что такое мещанство как общественное явление. Он называет мещанами тех, для кого удобства выше чести.

— Честь — дворянское понятие, — возразила Искра. — Мы ее не признаем.

Вика странно усмехнулась. Потом сказала, и в тоне ее звучала грустная нотка:

— Я хотела бы любить тебя, Искра, ты — самая лучшая девочка, какую я знаю. Но я не могу тебя любить и не уверена, что когда-нибудь полюблю так, как хочу, потому что ты максималистка.

Искре вдруг очень захотелось плакать, но она удержалась. Девочки долго сидели молча, словно привыкая к высказанному признанию. Потом Искра тихо спросила:

— Разве плохо быть максималисткой?

— Нет, не плохо, и они, я убеждена, необходимы обществу. Но с ними очень трудно дружить, а любить их просто невозможно. Ты, пожалуйста, учти это, ты ведь будущая женщина.

— Да, конечно. — Искра, подавив вздох, встала. — Мне пора. Спасибо тебе... За Есенина.

— Ты прости, что я это сказала, но я должна была сказать. Я тоже хочу говорить правду, и только правду, как ты.

— Хочешь стать максималисткой, с которой трудно дружить? — насильственно улыбнулась Искра.

— Хочу, чтобы ты не ушла огорченной... — Хлопнула входная дверь, и Вика очень обрадовалась. — А вот и папа! И ты никуда не уйдешь, потому что мы будем пить чай.

Опять были конфеты и пирожные, которые так странно есть не в праздники. Опять Леонид Сергеевич шутил и ухаживал за Искрой, но был задумчив: задумчиво шутил и задумчиво ухаживал. А иногда надолго умолкал, точно переключаясь на какую-то свою внутреннюю волну.

— Мы с Искрой немного поспорили о счастье, — сказала Вика. — Да так и не разобрались, кто прав.

— Счастье иметь друга, который не отречется от тебя в трудную минуту. — Леонид Сергеевич произнес это словно про себя, словно был еще на той внутренней волне. — А кто прав, кто виноват... — Он вдруг оживился. — Как вы думаете, девочки, каково высшее завоевание справедливости?

— Полное завоевание справедливости — наш Советский Союз, — тотчас ответила Искра.

Она часто употребляла общеизвестные фразы, но в ее устах они никогда не звучали банально. Искра пропускала их через себя, она истово верила, и поэтому любые заштампованные слова звучали искренне. И никто за столом не улыбнулся.

— Пожалуй, это скорее завоевание социального порядка,— сказал Леонид Сергеевич.— А я говорю о презумпции невиновности. То есть об аксиоме, что человеку не надо доказывать, что он не преступник. Наоборот, органы юстиции обязаны доказать обществу, что данный человек совершил преступление.

— Даже если он сознался в нем? — спросила Вика.

— Даже когда он в этом клянется. Человек — очень сложное существо и подчас готов со всей искренностью брать на себя чужую вину. По слабости характера или, наоборот, по его силе, по стечению обстоятельств, из желания личным признанием облегчить наказание, а то и отвести глаза суда от более тяжкого преступления. Впрочем, извините меня, девочки, я, кажется, увлекся. А мне пора.

— Поздно вернешься? — привычно спросила Вика.

— Ты уже будешь видеть сны.— Леонид Сергеевич встал, аккуратно задвинул стул, поклонился Искре, озорно подмигнул дочери и вышел.

Искра возвращалась, старательно обдумывая и разговор о мещанстве и — особенно — о презумпции невиновности. Ей очень нравилось само название «презумпция невиновности», и она была согласна с Леонидом Сергеевичем, что это и есть основа справедливого отношения к человеку. И еще жалела, что не напомнила Вике о таинственном писателе с иностранной фамилией Грин.

Ожидаемого и столь необходимого разговора по душам не произошло: признание Вики, что она не любит ее, не просто огорчило, а уязвило Искру. И дело здесь было не только в самолюбии (хотя и в нем тоже), — дело заключалось в том, что сама Искра очень тянулась к Вике, чувствуя в ней умную и тонкую девушку. Тянулась к хорошим книгам и разговорам, к уюту большой квартиры, к удобному, налаженному быту, хотя если бы ей сказали об этом, она бы яростно, до гневных слез отрицала эту слабость. Но больше всего она тянулась к отцу Вики, к Леониду Сергеевичу Люберецкому, потому что у самой Искры отца не было, и в ее представлении Люберецкий был идеальнейшим из всех возможных отцов, которого, правда, надо было немножко перевоспитать. И Искра непременно бы его перевоспитала, если бы... Но никакого «если бы» не могло быть, а пустыми мечтаниями Искра не занималась. И ей было немножко грустно.

Дома Искру ждали стакан молока, кусок хлеба и записка. Мама писала, что проводит ответственное заседание, придет поздно и что дочери следует лечь спать вовремя и не читать в постели романов; последнее слово было подчеркнуто. Искра поделилась ужином с соседской кошкой, проверила, все ли уроки сделаны, и решила вдруг написать статью для очередного номера школьной стенгазеты.

Она писала о доверии к человеку, пусть даже маленькому, пусть даже к первоклашке. О вере в этого человека, о том, как окрыляет эта вера, какие чудеса может сделать человек, уверовавший, что в него верят. Она вспомнила — очень кстати, как ей показалось, — Макаренко, когда он доверил Карабанову деньги, и каким замечательным парнем стал потом Карабанов. Она разъяснила, что такое «презумпция невиновности». Перечитав и кое-что поправив, начисто переписала и положила на мамин стол: она всегда согласовывала с мамой свои статьи. Потом постелила постель, погасила свет — последнее время она почему-то стала стесняться раздеваться при свете, — надела ночную рубашку, снова зажгла лампу и юркнула под одеяло. Достала припрятанного Дос Пассоса и стала читать, настороженно прислушиваясь, не хлопнет ли входная дверь.

То ли оттого, что приходилось прислушиваться, то ли оттого, что мысли о виновности и невиновности, о доверии и недоверии не вылезали из головы, то ли потому, что тело, освобожденное от пояска и лифчика, жило особой раскрепощенной жизнью, то ли от всех причин разом читать она долго не смогла. Заботливо спрятав книжку, легла на бок, подсунула под щеку ладошку и тотчас же уснула.

Ей показалось, что разбудили ее мгновенно, только-только начинался сон. Открыла глаза: над нею стояла мама.

— Надень халат и выйди ко мне.

Искра вышла, позевывая, теплая и розовая от сна.

— Что это такое?

— Это? Это статья в стенгазету.

— Кто тебя надоумил писать ее?

— Никто.

— Искра, не ври, я устала, — тихо сказала мать, хотя прекрасно знала, что Искра никогда не врала даже во спасение от солдатского ремня.

— Я не вру, я написала сама. Я даже не знала, что напишу ее. Просто села и написала. По-моему, я хорошо написала, правда?

Мать не стала вдаваться в качество работы. Пронзительно глянула, прикурила, энергично ломая спички.

— Кто рассказал тебе об этом?

— Леонид Сергеевич Люберецкий.

— Рефлексирующий интеллигент! — Мать коротко рассмеялась. — Что он еще тебе наговорил?

— Ничего. То есть говорил, конечно. О справедливости, о том, что...

— Так вот. — Мать резко повернулась, глаза сверкнули знакомым холодным огнем. — Статьи ты не писала и писать не будешь. Никогда.

— Но ведь это несправедливо...

— Справедливо только то, что полезно обществу. Только это и справедливо, запомни!

— А как же человек? Человек вообще?

— А человека вообще нет. Нет! Есть гражданин, обязанный верить. Верить!

Отвернулась, нервно зачиркала спичкой о коробок, не замечая, что всюю дымит зажатой в зубах папиросой.

Глава пятая

Зиночке снилось, что ее целует взрослый мужчина. Это было жутко, прекрасно, но не страшно, потому что где-то находилась мама; Зина знала, что она близко и можно позвать на помощь, и — не звала. Сон кончился, а с ним кончились и поцелуи, и Зина крепко зажмурилась, чтобы ее поцеловали еще хотя бы разочек.

Проснуться все же пришлось. Не открывая глаз, она ногами отбросила одеяло, дождалась, пока чуточку остынет, и села. И сразу увидела ужасную вещь: вместо летних трусиков, так ловко охватывающих тело, на стуле лежали противные трикотажные штанишки длиною аж до коленок. И весь сон, вся радость утра и вся прелесть нового дня пропали разом. Схватив штанишки, Зина в одной рубашке ринулась на кухню.

— Мама, что это такое? Ну, что это такое?

Родители завтракали, и она осталась за дверью, просунув на кухню голову и руку.

— Первое октября, — спокойно сказала мама. — Пора носить теплое белье.

— Но я уже не маленькая, кажется!

— Ты не маленькая, но это только так кажется.

— Ну, почему, почему мне такое мученье! — с отчаянием воскликнула дочь.

— Потому что ты садишься где попало и можешь застудиться.

— Не бунтуй, Зинаида,— улыбнулся отец.— Мы не в Африке, надевай, что климатом положено.

— Это мамой положено, а не климатом! — закричала Зиночка.— Все девочки как девочки, а я у вас как уродина!

— Сейчас ты и вправду уродина. Немытая, нечесаная и неодетая.

Горестно всхлипнув, Зина убежала. Мать с отцом посмотрели друг на друга и улыбнулись.

— Растет наша девочка,— сказала мать.

— Невеста! — добавил отец.

Они любили свою младшую больше остальных, старательно скрывали это и воспитывали дочь в строгости. Зина до сих пор ложилась спать в половине одиннадцатого, не появлялась в кино на последних сеансах, а в театрах бывала только на дневных спектаклях. Этот регламент (куда входили и злосчастные зимние штанишки) никогда очень-то не угнетал ее, но в последнее время она все чаще начинала скандалить. Скандалы, правда, зримых результатов не давали, но мать с отцом улыбались уже особо, с гордостью замечая, как взрослеет дочь. Семья была дружной, а после выхода старших замуж сплотилась еще больше. Все обсуждалось и решалось сообща, но, как это часто бывает в русских семьях, мать незаметно, без видимых усилий и демонстративного подчеркивания, держала вожжи в своих руках.

— Никогда не обижай мужа, девочка. Мужчины очень самолюбивы и болезненно переживают, когда ими командуют. Всегда надо быть ровной, ласковой и приветливой, не отказывать в пустяках и стараться поступать так, будто ты выполняешь его желания. Наша власть в нежности.

Мама неторопливо и осторожно готовила Зину к будущей семейной жизни. Зина знала многое из того, что надо было бы знать всем девочкам, и спокойно восприняла переход от детства к девичеству, не испытав свойственного многим потрясения.

Отец в воспитание не вмешивался. Он работал мастером на заводе вместе с отцом и братьями Артема, состоял членом завкома, вел кружок по изучению «Краткого курса истории ВКП(б)» и вообще был по горло занят. В редкие свободные часы он толковал с дочерью о международных проблемах. Зиночка слушала очень вежливо, помня о маминых словах, что мужчины болезненно самолюбивы, но все пропускала мимо розовых ушей.

Завтракала Зина в мрачном настроении, однако к концу завтрака жизнь перестала казаться трагической. Она весело чмокнула мать — отец уже ушел на работу,— рассеянно вы-

слушала очередные задания (простирнуть, подмести, убрать) и выскочила за дверь. И как только дверь захлопнулась, швырнула портфель, задрала платье и подтянула штанишки вверх до предела. Ноги там, естественно, были толще, резинки больно врезались в тело, но Зиночка хотела быть красивой. Совершив эту процедуру, она показала дверям язык и, взяв портфель, вприпрыжку — она еще иногда бегала вприпрыжку, когда забывалась, — помчалась в школу.

Но уже за углом Зиночка круто сменила аллюр, перейдя на решительный шаг чрезвычайно занятого человека: навстречу шел Юра. Красавец Юра из 10-го «А», бессменный староста и бездельник.

— Привет, — сказал он и пошел рядом.

— Привет, — сказала она как можно безразличнее.

— Что вечером делаешь?

— Еще не знаю, но буду очень занята.

— Может, в кино пойдём? — Юра продемонстрировал два билета. — Мировой фильм. По благу на последний сеанс.

Зиночка мгновенно прикинула: мама во второй смене, придет не раньше двух, отец... Ну, отец — это еще можно вывернуться.

— Или тебя, как малышку, в девять часов спать загоняют?

— Вот еще! — презрительно фыркнула Зина. — Просто решаю, как отказать одному человеку. Ладно, после уроков решу.

— Ты скажи, пойдешь или нет?

— Пойду, но скажу после уроков. Тебе ясно? Ну и топай вперед, я не хочу никаких осложнений.

Никаких особых осложнений не ожидалось, но Зина считала, что надо набить себе цену. Озадаченный красавец увеличил шаг, Зиночка, торжествуя, укоротила свой, и они прибыли в школу на вполне приличном расстоянии друг от друга.

Тут уж было не до учебы. Уроки тянулись с таким занудством, будто в них не сорок пять минут, а сорок четыре часа. Зиночка страдала, вздыхала, вертелась, схлопотала три замечания, а когда прозвенел последний звонок, вдруг пришла в ужас и не могла двинуться с места.

— Пошли, — позвала Искра. — Я вычитала одну интересную мысль. Да что с тобой?

— Ничего со мной. — Зина продолжала сидеть как истукан.

— А почему ты сидишь?

— Потому что мне надо к врачу. — Она сказала первое,

что пришло в голову.— То есть сначала к маме, а уж потом... Куда поведут.

И Артем, как назло, не уходил. Спорил о чем-то со своим Жоркой, а на нее и не смотрел. «Эх, знал бы, с кем я в кино иду, небось посмотрел бы!» — злорадно подумала Зина.

Не добившись толку от подружки, Искра ушла. А вскоре удалились и Артем с Ландысом, и Зина осталась одна. Тихо подкралась к окну и выглянула: на опустевшем школьном дворе одиноко маячил Юра.

— Ждет! — шепотом сказала Зиночка и даже пискнула от восторга.

Схватив портфель, опрометью вылетела из класса, промчалась по гулким коридорам, но возле входной двери остановилась. Предстать перед Юрой следовало спокойной, усталой и чуть равнодушной. У Зиночки не было никакого опыта свиданий, и все, что она делала сейчас, основывалось на интуиции. Она не размышляла — она действовала именно так, потому что по-иному действовать не могла.

— Привет.

— Чего это Артем на меня зверем смотрит? — спросил Юра.

— Не знаю,— несколько опешила Зина: она ожидала другого начала разговора.

— Ну, так как насчет кино? — Юра угасил смутные опасения, и глаза его вновь обрели влажную поволоку.

— Уладила,— небрежно бросила Зина.— Когда и где?

— Давай в полдесятого у «Коминтерна», а?

— Договорились,— отважно сказала Зина, хотя сердце ее екнуло.

— Я провожу тебя?

— Ни в коем случае! — гордо отказалась она и пошла, больше всего на свете интересуясь собственной спиной.

Так она и удалилась и, кто знает, может, всю дорогу до самого дома несла бы взгляд красивого мальчика на своей спине, если бы не встретила Лену Бокову. Лена готовилась в артистки, занималась у старенькой и очень заслуженной актрисы, а теперь бежала навстречу, смахивая слезы и некрасиво шмыгая носом.

— Ментика будочники забрали!

— А ты где была?

— А я и не заметила. Я разговаривала с одним человеком, потом он ушел, а мальчишки сказали, что Ментика будочники увезли.

Ментик принадлежал заслуженной артистке — довольно болезненной старушке, возле которой вечно суетились подростающие таланты.

— А болтала ты, конечно, с Пашкой Остапчуком.—
Зиночка не могла удержаться, несмотря на весь трагизм.

— Господи, да какая разница! Ну, с Пашкой, ну...

— А куда ты бежишь?

— Не знаю. Может, к Николаю Григорьевичу. Ты представляешь, что будет с ней? У нее же нет никого, кроме Ментика!

— К Искре! — воскликнула Зина, мгновенно забыв о приглашении в кино, влажных взглядах и собственной равнодушной спине.

Они побежали к Искре, и по дороге Лена вновь поведала историю исчезновения пса, а потом перед Искрой проиграла ее в лицах.

— Они с них сдирают шкуру, — свирепо уточнила Зина.

— Не болтай чепухи, они продают их в научные институты, — авторитетно заявила Искра. — А раз так, значит, должен быть какой-то магазин или собачий склад: это ведь не частная лавочка.

— Нам надо спасти Ментика, — сказала Лена. — Понимаешь, надо! Он пропал по моей вине, и вообще...

— Надо идти в милицию, — решила Искра. — Милиция знает все.

— Ой, не надо бы путать сюда милиционеров, — вздохнула Зиночка. — А то они привыкнут к нашим лицам и станут здороваться на улицах. Представляешь, ты идешь... с папой, а тебе постовой говорит: «Здрасьте!»

— Что меня угнетает, Зинаида, так это то меня угнетает, какой чушью набита твоя голова, — озабоченно сказала Искорка, надевая пальтишко. И тут же прикрикнула на Лену: — Не реви! Теперь надо действовать, а реветь будете в милиции, если понадобится.

В милиции им не повезло. Хмурый дежурный, не дослушав, отрубил:

— Собаками не занимаемся.

— А кто занимается? — настойчиво добивалась Искра. — Нет, вы нам, пожалуйста, объясните. Ведь кто-то должен же знать, куда свозят пойманных собак?

— Ну, не знаю я, не знаю, понятно?

— Тогда скажите, куда нам обращаться, — не унималась Искра, хотя Лена уже показывала глазами на дверь. — Вы не имеете права отказывать гражданам в справке.

— Тоже нашлись граждане!

— Да, мы — советские граждане со всеми их правами, кроме избирательного, — с достоинством сообщила Искра, ободряюще глянув на притихших подруг. — И мы очень просим вас помочь старой заслуженной актрисе.

— Вот какая настырная девчонка! — в сердцах воскликнул дежурный. — Ну, иди в горотдел, может, они чего знают, а меня уволь. Дети, собаки, старухи — с ума с вами сойдешь.

— Спасибо, — вежливо сказала Искорка. — Только с ума вы не сойдете, не надейтесь.

— Здорово ты его! — восторженно засмеялась Зина, когда они вышли из милиции.

— Стыдно, — вздохнула Искра. — Очень мне стыдно, что не сдержалась. А он старенький. Значит, я скверная сква-лыга.

В горотделе милиции за дубовой стойкой сидел молодой милиционер, и это сразу решило все вопросы. Недаром Искра была убеждена, что следует смело опираться на молодежь.

— Кольцовская, семнадцать. Собак бродячих туда забирают.

— У нас не бродячая, — сказала Лена.

— Не бродячая — значит, отдадут.

Они побежали на Кольцовскую, семнадцать, но там все уже было закрыто. Угрюмый косматый сторож в драном тулупчике в разговоры вступать не стал:

— Зачинено-заборонено.

— Но нам нельзя без собаки, понимаете, просто невозможно, — умоляла Лена. — Там старая актриса, заслуженная женщина...

— Послушайте, — твердо сказала Искра. — Мы будем жаловаться.

— Зачинено-заборонено, — тупо бормотал сторож.

— А сколько стоит, чтобы разборонить? — вдруг звонко спросила Зиночка.

Сторож впервые глянул заинтересованно. Засмеялся, погрозил корявым пальцем:

— Ай, девка, далеко пойдешь.

— Не смей давать взятку, — шипела Искра. — Взятка унижает человеческую личность.

— Трояк! — воодушевленно заорал сторож. — Как просить, так все у Савки, а как дать, так нету их.

Девочки растерянно переглянулись: денег у них не было.

— Вот, вот, — ворчал сторож. — Чирей и тот бесплатно не вскочит.

— Артем близко живет, — вспомнила Искра. — Беги, Зинаида! В долг: завтра в классе соберем!

Последние слова она прокричала вслед, потому что Зиночка с места взяла в карьер — только коленки замелькали.

— Их кормят тут? — спросила Лена.

— Зачем? — удивился сторож. — Они друг дружку едят.

— Ужас какой,— тоскливо вздохнула будущая актриса.— Каннибализм.

Задыхаясь, Зина постучала, но дверь открыл не Артем, а его мама.

— А Тимки нет, он ушел к Жоре делать уроки.

— Ушел? — растерянно переспросила Зина.

— Проходи, девочка,— сказала мама Артема, внимательно посмотрев на нее.— И рассказывай, что случилось.

— Стучилась ужасная вещь.

И Зиночка торопливо, но обстоятельно все рассказала. Мама молча достала деньги, отдала, а Зину задержала.

— Мирон, поди-ка сюда!

В кухню вошел большой и очень серьезный отец Артема, и Зина почему-то струхнула. Уж очень насупленными были его брови, уж очень уважительно он пожал ее руку.

— Расскажи еще раз про собаку.

И Зина еще раз, правда короче, рассказала про Ментика и сторожа.

— А тулупчик у него весь рваный. Его, наверное, собаки не любят.

— Ты будешь сорить деньгами, когда вырастешь.— Отец отобрал три рубля и вернул маме.— Это не такой уж страшный грех, но твоему мужу придется нелегко. Я схожу сам, а то как бы этот пропивоха не обидел девочек.

— Заходи к нам, Зина,— сказала мама, прощаясь.— Нам с отцом очень нравится, что ты дружишь с Тимкой.

— Артем — хороший парень,— говорил по дороге отец.— Знаешь, почему он хороший? Он потому хороший, что никогда не обидит ни одной женщины. Не знаю, будет ли у него счастливая жизнь, но знаю, что у него будет очень счастливая жена. Я не скажу этих слов ни про Якова, ни про Матвея, но про Артема повторю и перед богом.

Зине было очень стыдно, что она идет в кино не с Артемом. Но она утешала себя: мол, это единственный разочек, и больше никогда не повторится.

— Я слышал, ты обижаешь девочек, Савка? — грозным басом еще издали закричал отец Артема.— Ты с них берешь контрибуцию, как сам Петлюра?

— А кто это? — вглядываясь, юлил сторож.— Зачинено-забо... Господи, да это ж Мирон Абрамыч! Здравсьте, Мирон Абрамыч, наше вам.

— Отчиняй ворота и отдай девочкам собаку. Но-но, только не говори мне свои сказки. Я тебя знаю пятнадцать лет, и за эти пятнадцать лет ты не стал лучше ни на один день. Вытрите слезы, девочки, и получите собаку.

Сторож без разговоров открыл калитку. Ментик был

найден среди лая, воя и рычания. Девочки долго благодарили, а потом разбежались: Лена потащила Ментика к заслуженной артистке, а Искра и Зина разошлись по домам. И никто из девочек не знал, что этот день был последним днем их детства, что отныне им предстоит плакать по другим поводам, что взрослая жизнь уже ломится в двери и что в этой взрослой жизни, о которой они мечтали, как о празднике, горя будет куда больше, чем радостей.

Но пока радостей было достаточно, и если судить беспристрастно, то и самый мир был соткан из радостей — во всяком случае, для Зиночки.

Мало того что она сыграла главную роль при спасении песика и тем немножечко посрамила Искру, — дома оказался один папа, из которого Зина без труда выпотрошила, что вернется он не раньше часа ночи, так как его внезапно вызвали на завод. Грешный путь был свободен, и Зиночка пошла на первое свидание. Ей хотелось кричать на весь мир, но она все же не решилась этого сделать и поведала распивавшую ее тайну только знакомой кошке, имевшей большой опыт по части свиданий. Кошка выгнула спину, мурлыкнула и указала хвостом на крышу. Зина решила, что она указывает прямехонько на небо, и сочла это за добрый знак.

Она пришла раньше времени, но Юра был уже на посту. Увидев его, Зиночка тут же юркнула за рекламный щит и проторчала там лишних пять минут, пока полностью не насладились триумфом. Новоявленный поклонник не сходил с места, но отчаянно вертел головой.

— Вот и я! — сказала Зиночка как ни в чем не бывало.

Они прошли в фойе, где староста 10-го «А» угостил ее мороженым и ситро. Пить ей не хотелось, но она честно выпила свою половину, потому что это была не просто сладкая вода, а ритуальное подношение, и тут надо было вкушать и наслаждаться не сладостями, а вниманием, как настоящая женщина. И Зиночка наслаждалась, не забывая, впрочем, посматривать по сторонам, так как очень боялась встретить знакомых. Но знакомых не было, а тут прозвенел звонок, и они пошли в зал.

Фильма Зина почти не запомнила, хотя он, наверное, был интересным. Она честно смотрела на экран, но все время чувствовала, что рядом сидит не мама, не Искра, даже не парень из класса, а молодой человек, заинтересованный в ней больше, чем в фильме. Эта заинтересованность очень волновала: уголком глаза она ловила взгляды соседа, слушала его шепот, но только улыбалась, не отвечая, поскольку не понимала, что он шепчет и что следует отве-

чать. Дважды он хватал ее за руку в самых патетических местах, и дважды она высвобождалась, правда, не сразу и второй раз медленней первого. И все было таинственно и прекрасно, и сердце ее замирало, и Зиночка чувствовала себя наверху блаженства.

Возвращались по заросшей каштанами улице Карла Маркса, огрубевшие листья тяжело шумели над головами. И казалось, что весь город и весь мир давно уже спят, и только девичьи каблучки молодо и звонко взрывают сонную тишину. Юра рассказывал что-то, Зина смеялась и тут же намертво забывала, над чем она смеялась. Это было не главное, а главное он сказал позже. То есть не самое главное, а как бы вступление к нему:

— Посидим немного? Или ты торопишься?

Честно говоря, Зина уже отсчитывала время, но, по ее расчетам, кое-что еще имелось в запасе.

— Ну, не здесь же.

— А где?

Зина знала где: перед домом Вики Люберецкой в кустах стояла скамейка. Если б что-нибудь — ну, что-нибудь не так! — она могла бы заорать, и вышла бы либо Вика, либо ее папа. Зиночка была ужасно хитрым человеком.

Они нашли эту скамейку, и Зина все ждала, когда же он начнет говорить то, что ей так хотелось услышать. О том, что она ему очень нравится, что она красивая, что он давно ею любит и что она вообще лучше всех на свете. А вместо этого он схватил ее руки и начал тискать. Ладони у него стали влажными, Зине было неприятно, но она терпела. Заодно она терпела и жуткую боль от перетянутых резинками бедер; ей все время хотелось сдвинуть врезавшиеся в тело резинки, но при мальчике это было невозможно, и она терпела, потому что ждала. Ждала, что вот...

К подъезду бесшумно подкатила большая черная машина. Молодые люди отпрянули друг от друга, но сообразили, что их не видно. Четверо мужчин вышли из машины; трое сразу же направились в дом, а четвертый остался. И Юра опять медленно придвинулся, опять стал осторожно тискать ее руки. Но Зине почему-то сделалось беспокойно, и руки она вырвала.

— Ну, что ты? Что? — обиженно забубнил десятиклассник.

— Подожди, — сердито шепнула Зина.

Показалось или она действительно слышала крик Вики? Она старательно прислушивалась, но резинки нестерпимо жгли бедра, а этот противный балбес пыхтел в уши. Зиночка

отъехала от него, но он тут же поехал за ней, а дальше скамейка кончалась, и ехать Зине было некуда.

— Да отодвинься же! — зло зашипела она. — Пыхтишь, как бегемот, ничего из-за тебя не слышно.

— Ну, и черт с ними, — сказал Юра и опять взял ее за руку.

— Тихо сиди! — Зиночка вырвала руку.

И снова показалось, что крикнули за тяжелыми глухими шторами, не пропускавшими ни звука, ни света. Зина вся напряглась, наострив уши и сосредоточившись. Ах, если бы вместо Юрки сейчас была Искра!..

— Господи, — вдруг прошептала она. — Ну, почему же так долго?

Она и сама не знала, как сказала эти слова. Она ни о чем таком не думала тогда (исключая, конечно, ограбление и возможное насилие над Викой), но интуиция у нее работала с дьявольской безошибочностью, ибо она была настоящей женщиной, эта маленькая Зиночка Коваленко.

Распахнулась дверь подъезда, и на пороге показался Люберецкий. Он был без шляпы, в наброшенном на плечи пальто и шел не обычным быстрым и упругим шагом, а ссутулившись, волоча ноги. За ним следовал мужчина, а второй появился чуть погодя, и тут же в незастегнутом халатике выбежала Вика.

— Папа! Папочка!..

Она кричала на всю сонную, заросшую каштанами улицу, и в крике ее был такой взрослый ужас, что Зина обмерла.

— Понятых позови! — бросил на ходу первый, сопровождавший Люберецкого. — Не забудь!

— Папа! — Вика рванулась, но второй удержал ее. — Это неправда, неправда! Пустите меня!

— Телеграфируй тете, Вика! — Люберецкий не обернулся. — А лучше поезжай к ней! Брось все и уезжай!

— Папа! — Вика, рыдая, билась в чужих руках. — Папочка!

— Я ни в чем не виноват, доченька! — закричал Люберецкий. Его заталкивали в машину, а он кричал: — Я ни в чем не виноват, это какая-то ошибка! Я — честный человек, честный!..

Последние слова он прокричал глухо, уже из кузова. Резко хлопнули дверцы, машина сорвалась с места. Оставшийся мужчина оттеснил Вику в дом и закрыл дверь.

И все было кончено. И снова стало тихо и пусто, и только железно шелестели огрубевшие каштановые листья. А двое еще продолжали сидеть на укромной скамейке, растерянно глядя друг на друга. Потом Зина вскочила и

бросилась бежать. Она летела по пустынным улицам, но сердце ее стучало не от бега. Оно застучало тогда, когда она увидела Люберецкого, и ей тоже, как и Вике, хотелось сейчас кричать: «Это неправда! Неправда! Неправда!..»

Она забарабанила в дверь, не думая, что может разбудить соседей. Открыла мама Искры: видно, только пришла.

— Искра спит.

— Пустите! — Зина юркнула под рукой матери, ворвалась в комнату. — Искра!..

— Зина? — Искра села, прикрываясь одеялом и с испугом глядя на нее. — Что? Что случилось, Зина?

— Арестовали папу Вики Люберецкой. Только что, я сама видела.

Сзади раздался смех. Жуткий, без интонаций — смеялись горлом. Зина оглянулась почти с ужасом: у шкафа стояла мать Искры.

— Мама, ты что? — тихо спросила Искра.

Мать уже взяла себя в руки. Шагнула, качнувшись, тяжело опустилась на кровать, прижала к себе две девичьи головы — темно-русую и светло-русую. Крепко прижала, до боли.

— Я верю в справедливость, девочки.

— Да, да, — вздохнула дочь. — Я тоже верю. Там разберутся, и его отпустят. Правда, мама?

— Я очень хочу заплакать и не могу, — с жалкой улыбкой призналась Зина. — Очень хочу и очень не могу.

— Спать, — сказала мать и встала. — Ложись с Искрой, Зина, только не болтайте до утра. Я схожу к твоим и все объясню, не беспокойся.

Мама ушла. Девочки лежали в постели молча. Зиночка смотрела в темный потолок сухими глазами, а Искра боялась всхлипывать и лишь осторожно вытирала слезы. А они все текли и текли, и она никак не могла понять, почему они текут сами собой. И уснула в слезах.

А родители их в это время сидели возле чашек с нетронутым, давно остывшим чаем. В кухне сложился дым, в пепельнице громоздились окурки, но мама Зины, всегда беспощадно борющаяся с курением, сегодня молчала.

— Детей жалко, — вздохнула она.

— Дети у нас дисциплинированны и разумно воспитаны. — У матери Искры вдруг непроизвольно задергалась щека, и она начала торопливо дымить, чтобы скрыть эту предательскую дрожь.

— Я этого товарища не знаю, — неуверенно заговорил Коваленко, — но где тут смысл, скажите мне? Признанный товарищ, герой гражданской войны, орденосец. Ну, конеч-

но, руководство, мог ошибиться, мог довериться. Дочку сильно любит, одна она у него. Зина рассказывала.

Он ни словом не обмолвился, что сомневается в правомерности ареста, но все его существо возмущалось и бунтовало, и скрыть этого он не мог. Мать Искры остро глянула на него:

— Хорошо помню, как Люберецкий не хотел идти на эту должность — три дня уламывали. Уговаривали, просили, доказывали: партия, дорогой товарищ, требует укрепления нашей авиационной промышленности проверенными кадрами. Ты техническое училище окончил! Кому, как не тебе? Еле уломали.

— Уломали, — тихо повторил Коваленко. — А оно вон как. Ошибки не допускаете?

— Я сразу же позвонила одному товарищу, а он сказал, что поступил сигнал. Утром я уточню. Люберецкий — руководитель, следовательно, обязан отвечать за все. За все сигналы.

— Это безусловно, это конечно...

И опять нависла тишина, тяжелая, как чугунная баба.

— Что с девочкой-то будет? — вздохнула мать Зины. — Пока разберутся... А матери у нее нет, ой, несчастный ребенок, несчастный ребенок.

Андрей Иванович прошелся по кухне, поглядывая то на жену, то на мрачно курившую гостью. Присел на краешек стула.

— Нельзя ей одной, а, Оля? — Не ожидая ответа, повернулся к гостье. — Мы, конечно, не знаем, как там положено в таких случаях, так вы поправьте. Извините, как по имени-отчеству?

— Зовите товарищем Поляковой. Относительно девочки я к себе думала, да разве у меня семья? Я собственную дочь и то... — Она резко оборвала фразу, прикурила дымившую папиросу. — Берите. У вас нормально, хорошо у вас.

Встала, с шумом отодвинув стул, точно шум этот мог заглушить ее последние слова. Ее слабость, вдруг проравшуюся наружу. Пошла к дверям, привычно оправляя широкий ремень. Коваленко вскочил, но она остановилась. Посмотрела на мать Зины, усмехнулась невесело:

— Иногда думаю: когда же надорвусь? А иногда — что уже надорвалась. — И вышла.

Девочки спали, но видели тревожные сны: даже у Зиночки озабоченно хмурились брови. Мать Искры долго стояла над ними, нервно потирая худые щеки. Потом поправила одеяло, прошла к себе, села за стол и закурила.

Синий дым полз по комнате, в окна пробивался тусклый

осенний рассвет, когда мать Искры, которую все в городе знали только как товарища Полякову, затушила последнюю папиросу, открыла форточку, достала бумагу и решительным размашистым почерком вывела в верхнем правом углу:

«В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (БОЛЬШЕВИКОВ)».

Она писала быстро, потому что письмо было продумано до последнего слова. Фразы ложились одна к одной без помарок, легко и точно, и когда лист заполнился, осталось лишь поставить подпись. Но она отложила ручку, вновь внимательно прочитала написанное, вздохнула, подписалась и указала номер партбилета и дату вступления: 1917 год.

Глава шестая

В то утро Коваленки впервые за много лет завтракали в полной тишине. И не только потому, что Зиночки не было на привычном месте.

— Я с работы отпрошусь часа на два, — сказал Андрей Иванович.

— Да, конечно, — тотчас же согласилась жена.

Ровно в двенадцать Коваленко вошел в кабинет директора школы Николая Григорьевича. И замер у двери, потому что рядом с директором школы сидела мать Искры Поляковой.

— Триумвират, — усмехнулась она. — Покурим, повздыхаем и разойдемся.

— Чуть какая-то! — шумно вздохнул директор. — Это же чуть, это же нелепица полная!

— Возможно. — Полякова кивнула коротко, как Искра. — Поправят, если нелепица.

— Пока поправят, девочка, что же, одна будет? — тихо спросил Коваленко у директора. — Может, написать родным, а ее к нам пока, а? Есть насчет этого указания?

— Что указания, когда она — человек взрослый, паспорт на руках. Предложите ей, хотя сомневаюсь, — покачал головой директор. — А родным написать надо, только не в этом же дело, не в этом!

— Так ведь одна же девочка...

— Не в этом, говорю, дело, — жестко перебил Ромахин. — Вот мы трое — коммунисты, так? Вроде как ячейка. Так вот, вопрос ребром: верите Люберецкому? Лично верите?

— Вообще-то, конечно, я этого товарища не знаю, — мучительно начал Коваленко. — Но, думаю, ошибка это. Ошибка, потому что уж очень дочку любит. Очень.

— А я так уверен, что напутали там в каких-то отчетностях! Сам директор, знаю, как бумаги на ходу подписывать приходится. И Люберецкому я верю, просто запутался товарищ. И товарищ Полякова тоже так считает. Ну, а раз мы, трое большевиков, так считаем, то наш долг поставить в известность партию. Правильно я мыслю, товарищ Полякова?

Мать Искры помолчала. Постучала папиросой о коробку, сказала наконец:

— Прошу пока никуда не писать.

— Это почему же? — нахмурился Николай Григорьевич.

— Кроме долга существует право. Так вот, право писать о Люберецком есть только у меня. Я знала его по гражданской войне, по совместной работе здесь, в городе. Это аргументы, а не эмоции. И сейчас это главное: требуются аргументы. Идет предварительное следствие, как мне объяснили, и на этом этапе пока достаточно моего поручительства. Поэтому никакой самодеятельности. И еще одно: никому о нашем разговоре не говорите. Это никого не касается.

Искра тоже считала, что это никого не касается. И утром распорядилась:

— Никому не слова. Смотри у меня, Зинаида.

— Ну, что ты, я же не идиотка.

Вика в школу не пришла, а так все было как обычно. Мыкался у доски Артем, шептался со всем классом Жорка Ландыс, читал на переменах очередную растрепанную книгу тихий отличник Вовик Храмов. А в середине дня поползли слухи:

— У Вики Люберецкой отца арестовали.

Искра узнала об этом из записки Ландыса. На записке стоял огромный вопросительный знак и резолюция Артема: «Брехня!» Искра показала записку Лене (они сидели за одной партией). Лена охнула.

— Что за вздохи? — грозно спросила Валентина Андроновна. — Полякова, перестань шептаться с Боковой, я все вижу и слышу.

— Значит, не все! — неожиданно резко ответила Искра.

Это было новостью: она не позволяла себе грубить и в более сложных обстоятельствах. А здесь — пустяковое замечание, и вдруг понесло.

— Из Искры возгорелось пламя! — громко прошептал Остапчук.

Лена так посмотрела, что он сразу увял. Искра сидела опустив голову. Валентина Андроновна оценивала ситуацию.

— Продолжим урок, — спокойно сказала она. — Ландыс,

ты много вертишься, а следовательно, многое знаешь. Вот и изволь...

Искра внезапно вскочила, со стуком откинув крышку парты:

— Валентина Андроновна, разрешите мне выйти.

— Что с тобой? Ты нездорова?

— Да. Мне плохо, плохо!

И, не ожидая разрешения, выбежала из класса. Все молчали. Артем встал.

— Садись, Шефер. Ты же не можешь сопровождать Полякову туда, куда она побежала.

Шутка повисла в воздухе — класс молчал. Артем, помявшись, сел, низко опустив голову. И тут поднялась Бокова.

— Я могу ее сопровождать.

— Что происходит? — повысила голос Валентина Андроновна. — Нет, вы объясните: что это, заговор?

— С моей подругой плохо, — громко заявила Лена. — Разрешите мне пройти к ней, или я уйду без разрешения.

Валентина Андроновна растерянно оглядела класс. Все сейчас смотрели на нее, но смотрели без всякого любопытства, не ожидая, что она сделает, а как бы предупреждая, что, если сделает не так, класс просто-напросто встанет и уйдет, оставив разве что Вовика Храмова.

— Ну иди, — плохо скрывая раздражение, сказала она. — Все стали ужасно нервными. Не рано ли?

Лена вышла. Ни она, ни Искра так и не появились до конца урока. А как только прозвенел звонок, в класс влетела Бокова.

— Сергунова Вера, встань у нашей уборной и не пускай никого. Коваленко, идем со мной.

Ничего не понимающая Зиночка под конвоем Лены последовала в уборную, уже охраняемую самой рослой и бойкой девочкой 9-го «Б» класса. У окна стояла Искра.

— Читай. Вслух: Лена все знает.

— А чья это записка?

Подруги смотрели сурово, и Зина замолчала. Взяла записку, громко, как велено, начала:

— «Болтают, что сегодня ночью арестовали отца Ви-ки...» — Она запнулась, подняла глаза. — Это не я.

— А кто?

— Ну не я же, господи! — с отчаянием выкрикнула Зина. — Честное комсомольское, девочки. Не я, не я, не я!

— А кто? — допытывалась Искра. — Если не ты, то кто?

Зиночка подавленно молчала.

— Я сейчас отколочу ее! — крикнула Лена. — Она предатель. Иуда она проклятая!

— Подожди.— Искра не отрывала от Зины глаз.— Я спрашиваю тебя, Коваленко, кто мог натрепаться, кроме тебя? Молчишь?

— Ух, как дам сейчас! — Лена потрясла крепко сжатым кулаком.

— Нет, мы не будем ее бить,— серьезно сказала Искра.— Мы всем, всей школе расскажем, какая она. Она не женщина, она — средний род, вот что мы скажем. Мы объявим ей такой бойкот, что она удавится с тоски.

В дверь уборной время от времени ломились, но рослая Вера пока сдерживала натиск.

— Пусти их,— сказала Искра.— Это третьеклашки, они в штаны могут написать.

— Обождите! — с отчаянной решимостью выпалила Зина.— Я знаю, кто натрепал: Юрка из десятого «А». Я не одна была у дома Вики.

Девочки недоверчиво переглянулись и снова пронизательно уставились на нее. Зина посмотрела на них и встала на колени.

— Пусть у меня никогда не будет детей, если я сейчас вру.

— Встань,— сказала Искра.— Я верю тебе. Лена, Артема сюда.

— Сюда нельзя.

— Ах да. Тогда узнай, сколько у Юрки уроков. Пойдем, Зина. Прости нас и не реви.

— Я не реву,— вздохнула Зина.— Я же сказала, что слезы кончились.

Артему было рассказано все: на этом настояла Искра. Зина сознавалась, не поднимая глаз. Вокруг стояли посвященные: Лена, Искра, Жорка и Пашка Остапчук.

— Так,— уронил Артем в конце.— Теперь ясно.

— Помощь потребуется? — спросил Пашка.

— Сам,— отрезал Артем.— Жорка свидетелем будет.

— Не свидетелем, а секундантом,— привычно поправила Искра.

— Где стыкаться? — деловито осведомился секундант.

— В котельной. Надо Михеича увести.

Михеич был истопником и столяром школы и драк не жаловал. А особенно он не жаловал 9-й «Б», потому что раньше в нем учился Сашка Стамескин, и тогда угля не хватало, а Михеича ругали.

— Мы будем ждать вас,— сказала Искра.— На мостике.

Этот разговор происходил на последней перемене, а после шестого урока у дверей 10-го «А» Артем встретил Юрку.

— Надо поговорить.

— О чем, малявка?

Десятиклассники были школьной элитой и насмешливо относились даже к девятым классам. Насмешка была дружеской, но Артем не улыбнулся.

— Идем. Можешь взять Серегу.

— Сергей! — крикнул Юра в класс.— Нас на разговор девятиклашки зовут!

В коридоре ждал Ландыс, и к котельной они подошли четвером. Жорка забежал вперед, заглянул:

— Пашка дело знает!

Они вошли в полутемную, пропахшую пылью котельную. Жорка закрыл дверь на задвижку. Десятиклассники настороженно переглядывались.

— Я тебя сейчас, это, бить буду,— сообщил Артем, снимая куртку.

— Малявка! — нервно засмеялся Юрий.— Да я из тебя котлету...

— А в чем дело? — спросил Сергей.— Просто так, что ли?

— Он знает,— сказал Артем.— Видишь, ни о чем не спрашивает. А тебе скажу: дружок у тебя, это, дрянь дружок. Трепло дешевое.

Юрка был плотнее и выше Артема, да, вероятно, и сильнее, но драться ему приходилось нечасто. А Артему — часто, потому что рос он среди драчунов братьев, умел постоять за себя и ничего не боялся. Ни боли, ни крови, ни встречного удара. Он был ловок, увертлив, а жилистый его кулак действовал быстрее и точнее. Кроме того, кулак этот бил сейчас соперника, о чем, правда, сам Артем еще не успел подумать.

— Да что это он, всерьез? — забеспокоился Сергей.

— Тихо, Серега, тихо.— Ландыс, улыбаясь, держал его за пиджак.— Наше дело, чтоб все по правилам, без кирпичей и палок. А полезешь, я тебе буду зубы считать.

— Да ведь до первой крови полагается!

— А это не оговаривали. Может, сегодня и до последней дойдет.

Пока в котельной шла дуэль, Лена и Пашка водили Михеича по младшим классам и убеждали, что в окна дует и дети могут простудиться. Михеич ощупывал рамы негнущимися пальцами, подставлял небритую щеку и божился, что никакого ветра нет и в помине. Лена говорила, что есть, а он — что нет. А Пашка поглядывал на часы — во всем классе только у него да у Вики были часы — и размышлял, чем бы еще занять Михеича, когда дело со сквозняками иссякнет. За этим занятием их застал Николай Григорьевич: видно, они орали, а он шел мимо.

— Что вы тут делаете?

— Да вот они говорят, что дует, мол, а я говорю...

— Правильно,— сказал директор и закрыл дверь.

— Надо все проверить,— заявил Пашка.— Все окна на всех этажах. Слышали, что Николай Григорьевич сказал?

И они пошли по этажам, хотя Михеич призывал в свидетели господ бога, что ничего подобного директор не говорил. Медкомиссия — а они представились именно так — была придиричива и неумолима.

— Дует.

— Не дует.

— Нет, дует!

— Нет, не дует!

— Пора,— шепнул Пашка.— За это время можно полшколы переколотить. Я пойду на разведку, а ты отрывайся. Встретимся у мостика.

Лена так и сделала, внезапно оставив сильно озадаченного Михеича в пустом классе. Пашка ждал ее внизу, сказал, что в котельной пусто, и к мостику они побежали вместе. Там все уже были в сборе. Искра прикладывала мокрый платок к подбитому глазу Артема, а Жорка советовал:

— Лучше всего коньки оттягивают.

Зина стояла рядом, смотрела в сторону, но платку завидовала и скрыть этого не могла.

— Ну, как было дело? — поинтересовался Пашка.

— Классная стычка! — радостно сказал Ландыс.— Отделал он его под полный спектр, как Джо Луис. Раз так саданул,— я думал, ну, все. Ну, думаю, открывай счет, Жора.

— Хватит подробностей! — резко перебила Искра.— Все в сборе? Тогда пошли!

— Куда? — удивился Пашка.

— Как куда? К Вике.

Все замаялись, переглядываясь. Лена осторожно спросила:

— Может, не стоит?

— Значит, для вас дружба — это пополам радость? А если пополам горе — наша хата с краю?

— Это Ленка сдуру,— нахмурился Артем.

Шли молча, точно на похороны. Только раз Пашка сказал Артему:

— Ну и рожа у тебя.

— Завтра хуже будет,— туманно ответил Артем.

Подошли к дому и остановились, старательно — слишком старательно — вытирая ноги, Искра позвонила — никто не отозвался.

— Может, дома нет? — шепотом предположила Лена.

Искра толкнула дверь: она была не заперта. Оглянувшись на ребят, первой вошла в притихшую квартиру. Набились в передней в темноте; Искра нашарила выключатель, зажгла свет. В дверях своей комнаты стояла Вика.

— Зачем вы пришли? — глухо спросила она. — Я не просила вас приходить.

— Ты, это, не просила, а мы пришли, — объяснил Артем. — Мы верно сделали. Ты сама, это... потом скажешь.

— Ну, проходите, — бесцветно сказала Вика, помолчав.

Она посторонилась, ребята вошли и остановились у порога: в комнате было неприбрано, шкаф раскрыт; белье валялось на полу, точно сброшенное в нетерпении и досаде.

— Ты уезжаешь? — удивилась Зина.

— Поля, — кратко пояснила Вика. — Садитесь, раз пришли.

Но они не сажались. Стояли у двери, и каждый почему-то смутно ощущал вину.

— Во всех комнатах так? — тихо спросила Искра.

— Они что-то искали.

Помолчали.

— А где Поля? — опять спросила Искра.

— Уехала в деревню. Насовсем.

— Так. — Искра яростно тряхнула головой, только косы подпрыгнули. — За дело, ребята. Все убрать и расставить. Девочки — белье, мальчики — книги. Дружно, быстро и аккуратно!

— Не надо, — вздохнула Вика. — Ничего не надо.

— Нет, надо! Все должно быть как было. И — как будет!

И все очень обрадовались, потому что это было реальное занятие и реальная помощь. Мальчики ушли убирать столовую, а девочки — комнату Вики и спальню отца. И вскоре все оживились и даже заулыбались, и стало слышно, как в столовой азартно спорят Жорка и Пашка и как Артем урезонивает их. И даже Вика присела рядом с Искрой и стала укладывать белье.

— Ты написала тете?

— Написала, но тетя не поможет. Будет только плакать и пить капли.

— Как же ты одна?

— Ничего. — Вика помолчала. — Андрей Иванович приходил, Зинин папа. Хотел, чтобы я к ним перешла жить. Пока.

— Это же замечательно, это же...

— Замечательно? — Вика грустно улыбнулась. — Уйти отсюда — значит поверить, что папа и в самом деле пре-

ступник. А он ни в чем не виновен, он вернется, обязательно вернется, и я должна его ждать.

— Извини,— сказала Искра.— Ты абсолютно права.

Вика промолчала. Потом спросила, не глядя:

— Почему вы пришли? Ну, почему?

— Мы пришли потому, что мы знаем Леонида Сергеевича и... и тоже уверены, что это ошибка. Это кошмарная ошибка, Вика, вот посмотришь.

Вика поймала руку Искры в груди белья, крепко сжала ее и долго не отпускала. Потом улыбнулась; губы ее дрожали, по щеке ползла слезинка.

— Конечно, ошибка, я знаю. Он сам сказал мне на прощанье. И знаешь что? Я поставлю чай, а? Есть еще немного папиных любимых пирожных.

— А ты обедала?

— Я чаю попью.

— Нет, это не годится. Зина, марш на кухню! Посмотри, что есть: Вика сегодня не ела ни крошечки.

— Я вкусенько приготовлю! — радостно закричала Зиночка.

Потом пили чай, а Вика ела особую яичницу из самой большой сковороды. За дубовыми дверцами по-прежнему искрился хрусталь, все было на своих местах, и ребята устало любовались работой. А когда Вика спросила, почему у Артема такое красное лицо, и он сказал, что упал с лестницы, все принялись ужасно хохотать, и Вика рассмеялась тоже.

— Ну, и замечательно, ну, и замечательно! — кричала Зина.— Все будет хорошо, вот посмотрите. Я предчувствую, что все будет хорошо!

Но предчувствовала она, что все будет плохо, а сейчас изо всех сил врала. И Искра знала это, и Лена, и сама Вика, и только ребята со свойственной всем мужчинам боязнью мрачных предопределений верили, что их маленькие и мудрые подружки-женщины говорят сейчас правду.

— Ты завтра пойдешь в школу,— сказала Искра, когда прощались.

— Хорошо,— послушно кивнула Вика.

— Хочешь, я зайду за тобой? — предложила Лена.— Мне по пути.

— Спасибо.

— Дверь никому не открывай.— Искре захотелось поцеловать Вику, но она отмела эту слабость и крепко, по-мужски пожала руку.

Возле дома Искру ждал Сашка Стамескин. Он был в легкой куртке, продрог и сердился.

— Где ты была?

— У Вики Люберецкой.

— Ну, знаешь...— Сашка покачал головой.— Знал, что ты ненормальная, но чтоб до самой маковки...

— Что ты бормочешь?

— А то, что Люберецкий этот — ворюга! Он миллион растратил. Миллион, представляешь?

— Сашка, ты врешь, да? Ну, скажи, ну...

— Я точно знаю, поняла? А он меня на работу устраивал, на секретный завод. Личным звонком. Личным! И жду я, чтоб специально предупредить.

— О чем? — строго спросила Искра, подняв посерьезневшие, почти скорбные глаза.— О чем ты хотел предупредить меня?

— Вот об этом.— Сашка растерялся — он никогда не видел у Искры таких взрослых глаз.

— Об этом? Спасибо. А Вика что растратила? Какой миллион?

— Вика? При чем тут Вика?

— Вот именно, ни при чем. А Вика моя подруга. Ты хочешь, чтобы я предала ее? Даже если то, что ты сказал, правда, даже если это — ужасная правда, Вика ни в чем не виновата. Понимаешь, ни в чем! А ты...

— А что я?

— Ничего. Может быть, мне показалось. Иди домой, Саша.

— Искра...

— Я сказала, иди домой. Я хочу побыть одна. До свидания.

Разумом Искра понимала, что все правильно, но только разумом. А на душе было смутно, тягостно и беспокойно, и, когда разум отключался, откуда-то с самого дна всплывал беспомощный вопрос: как же так? Она вспоминала уютный дом, чай, который разливал хозяин, его самого, его разговоры, непривычные суждения, седину на висках и ордена. Ордена, которых в ту пору было так мало, что награжденных знали в лицо. И, все понимая дисциплинированным умом, Искра ничего не понимала.

Утром Вика пришла в школу с Леной, и класс встретил ее как всегда. Может быть, с чуть большим вниманием, чуть большим оживлением, но это казалось естественным, и она была благодарна классу. А должна была быть благодарной Искре, потому что Искра прибежала первой, успела собрать класс до ее прихода и сказать:

— Как обычно. Всем все ясно? Вовик, ты уразумел? Сейчас придет Вика, чтоб было все как всегда. Как всегда!

Но «как всегда» получалось три дня. А на четвертый, к концу уроков, Вику вызвали к директору. Отсутствовала она полчаса, вошла спокойная, но очень бледная.

— Семен Исакович, Николай Григорьевич срочно просит Искру Полякову и Артема Шефера.

— Пожалуйста, пожалуйста! — торопливо согласился математик.

Вика села на место, а Артем и Искра молча вышли из класса. В коридоре их встретил Серега из 10-го «А», чему они очень удивились, так как шли уроки и вообще этот этаж был их, а не десятиклассников.

— Вас жду,— пояснил он.— Валендра задала сочинение, а сама у директора. Теперь вас начнут тягать, так хочу объяснить.

— Мы знаем,— сказала Искра.

— Чего вы знаете? Ничего вы не знаете. В тот день после стычки нас Валендра встретила, когда я Юрку домой вел. А у него рожа — картина ужасов, твой приятель постарался. Ну, она вцепилась: кто да за что? Я и сказал: обычная драка. Подчеркиваю, я сказал. Юрке было не до разговоров, ты ему челюсть своротил.

— Ну, спасибо,— усмехнулся Артем.— У вас все трепачи в десятом или хоть через одного?

— А что я мог? Она как пиявка, сам знаешь. Гнала Юрку в поликлинику, чтобы он справку об избииении взял, но Юрка не пошел. Так что вали на обычную драку. Мол, из принципа.

— Сами разберемся,— перебила Искра.— Катись к своему Юрику.

В кабинете сидела Валентина Андроновна. Сидела сбоку стола, но устроилась удобно и уходить не собиралась.

— Вызывали? — спросила Искра.

— Обожди в коридоре, Полякова,— сказала Валентина Андроновна.

Искра молча смотрела на директора. Николай Григорьевич кивнул, она тотчас же вышла, а Валентина Андроновна улыбнулась. Улыбка была злой, и Артем это отметил.

— За что ты избил Юрия Дегтярева из десятого «А»?

— За дело,— буркнул Артем.

— Какое дело?

— Наше дело.

Спрашивала только она: директор молчал, глядя в стол. Поэтому Артем злился и грубил.

— Ну так я тебе скажу, почему ты его избил. Ты избил его потому, что отец Юры служит в милиции.

Новость была неожиданной: в школе никто особо не

интересовался, где работают чужие отцы. И Артем с искренним недоумением воззрился на учительницу.

— Да, да, нечего на меня таращиться!

Николай Григорьевич неодобрительно покачал головой.

— Ну, это уж слишком, Валентина Андроновна.

— Я разобралась в этом вопросе досконально, Николай Григорьевич. Досконально!

— Убейте меня,— вдруг громко сказал Артем.— Ну, это... Убейте!

И без разрешения вышел из кабинета.

— Шефер! — Валентина Андроновна вскочила.— Шефер, вернись!

— Не надо,— тихо попросил директор.— Валентина Андроновна, вы неправильно вели себя. Нельзя швыряться такими обвинениями.

— Я знаю, что делаю! — отрезала учительница.— Вам, кажется, разъяснили, до чего может довести ваш гнилой либерализм, так не заставляйте меня еще раз сигнализировать! А этот Шефер — главный заводила, думаете, я забыла ту вечеринку с днем рождения? Я ничего не забываю. И если Шефер не желает учиться в нашей советской школе, то пойдет работать. И я это ему устрою!

Директор скривился, как от зубной боли, но промолчал.

— Полякова! — крикнула учительница.

Никто не входил и не отзывался. Валентина Андроновна еще раз позвала, потом вышла — Искры возле кабинета не было.

— Полякова! Ты где, Полякова?

Искра появилась с лестничной площадки. Молча пошла на нее, в упор глядя странными глазами.

— Что вы сказали Артему, Валентина Андроновна? Что вы сказали ему?

— Это тебя не касается. Марш в кабинет.

— Он же чернее земли,— с упреком проговорила Искра.— Я спросила, а он выругался. Он так страшно выругался...

— Он еще и ругается! — с торжеством объявила учительница, входя в кабинет.— Вот плоды вашей надклассовой демократии!

Она имела в виду директорские беседы, спевки в спортзале, зеркала в девичьих уборных и вообще весь этот слунтяйский либерализм, который следовало выжигать каленым железом. Директор так и понял ее и опять промолчал, понутив голову.

— Где вы были вчера?

— У Вики Люберецкой.

— Ты подговорила ребят пойти туда? Или Шефер?
— Предложила я, но ребята пошли сами.
— Зачем? Зачем ты это предложила?
— Чтобы не оставлять человека в беде.
— Она называет это бедой! — всплеснула руками Валентина Андроновна. — Вы слышите, Николай Григорьевич?

Потом Искра определила взгляд Николая Григорьевича, но потом, дома. Тогда она только почувствовала, но не нашла определения. А взгляд был устало-покорным, и сам директор походил на смятую бумагу.

— Значит, организовала субботник? Как благородно! А может быть, ты считаешь, что Люберецкий не преступник, а невинная жертва? Почему ты молчишь?

— Я все знаю, — тихо сказала Искра.

А сама думала, что совсем недавно Валентина Андроновна называла Люберецкого гордостью их города. Думала, уже не задавая себе вопроса: как же так? Думала, просто отмечая жизненные несообразности. Просто набирая факты.

— Мы не будем делать выводов, учитывая твоё безупречное поведение в прошлом. Но учти, Полякова. Завтра же проведешь экстренное комсомольское собрание.

— А повестка? — уже холодея, спросила Искра.

Она все время ловила взгляд Николая Григорьевича. Но он прятал глаза.

— Необходимо решить комсомольскую судьбу Люберецкой. И вообще, я считаю, что дочери врага народа не место в Ленинском комсомоле.

— Но за что? — еле слышно выговорила Искра. Ей вдруг стало плохо, как никогда еще не было, но она удержалась на ногах. — За что же? Вика же не виновата, что ее отец...

— Да, конечно, — зашевелился директор. — Конечно.

— Я не буду проводить этого собрания, — мертвея от ужаса, произнесла Искра.

Тупая, тянущая боль возникла где-то в самом низу живота. От этой боли леденели руки, хотелось скорчиться, прижать коленки к груди и не шевелиться. Лоб покрылся холодным потом, Искра закусил губу, чтобы не выбежать или не упасть.

— Что ты сказала?

— Я не буду проводить собрания...

— Что-о-о?..

Кажется, Валентина Андроновна начала подниматься, рости. Кажется, потому что у Искры все поплыло перед глазами, она уже ничего не видела — была только эта боль. Боль, рвущая тело изнутри.

— Да ей же плохо! — крикнул Николай Григорьевич, вскакивая.

Он успел подхватить Искру, а то бы она грохнулась. Она цеплялась за него, улыбаясь из последних сил.

— Ничего. Извините. Ничего.

— Сестру! — рявкнул директор. — Что вы сидите, как клуша?

Очнулась Искра в медпункте на жесткой кушетке. Повела глазами, испуганно глянула вниз: платье взбито, воротник расстегнут. Сразу села, суетливо приводя себя в порядок.

— Да одна я тут, одна, не бойся, — добродушно сказала толстая пожилая сестра. — Ну, очнулась, красавица? И хорошо. Выпей-ка.

— Что со мной было? — Искра послушно выпила капли.

— Ничего страшного, у девочек это бывает. Ну, чего краснеешь? Дело естественное, растешь, а тут еще, видать, понервничала. Ты берегись, большая уже, понимать должна.

— Да, да, спасибо. А как я... Я сама к вам пришла?

— Директор принес, Николай Григорьевич. Прямо как доченьку, только что не целовал.

— Ужасно, — прошептала Искра.

— Ну, ты в порядочке? Тогда Николая Григорьевича кликну, он в коридорчике дожидается.

Она выглянула за дверь, и тотчас же вошел директор. Искра хотела встать, но он сам сел рядом на скользкую клеенчатую кушетку.

— Как дела, хороший человек?

— А откуда вы знаете, что хороший? — спросила Искра, улыбаясь.

— Ох, и трудно же догадаться было! До дома дойдешь или, может, машину где выпросить?

— Дойдет! — махнула рукой сестра.

— Дойду, — подтвердила Искра.

— Да и провожатых у тебя достаточно. А собрание будет через неделю, так что не волнуйся пока. Я сам в райком звонил.

— А Вика?

— А с Люберецкой пока ничего хорошего не обещаю. — Директор нахмурился и встал, привычно опираясь гимнастерку под ремнем. — Я поговорю, сделаю что смогу, но ничего не обещаю. Сама понимаешь.

— Понимаю, — вздохнула Искра. — Ничего я не понимаю.

В коридоре ждали Зиночка, Вика, Лена, Пашка, Жорка и Валька Александров.

— А где Артем?

— Ушел,— сказал Жорка.— Вернулся, взял сумку и потопал прямо с урока.

— Хоть о Шефере-то не беспокойся,— поморщился директор.— Ну, в другой школе будет учиться, не пропадет. Если бы просто драка, а...

— А драка, Николай Григорьевич, была справедливой,— сказал Валька Александров.— Я в тот день болел и могу беспристрастно обрисовать.

— Артем дрался из-за меня,— вдруг призналась Зина.— Потому что я ходила с Юркой в кино.

— Из-за тебя? — почему-то очень радостно удивился директор.— Точно из-за тебя?

— А что, из-за меня и подраться нельзя?

— Можно,— сказал Николай Григорьевич.— Можно и нужно. Только чтоб Артему твоему полегче было, напиши-ка ты мне, Коваленко, докладную.

— Что? — испугалась Зиночка.

— Ну, записку. Изложи, как было дело, вскрой причины. Полякова тебе поможет. И завтра, не позже.

— А зачем?

— Ну надо же, надо! — почти пропел директор.— Гора с плеч свалится, если будет такая записка, понятно?

Искру провожали до самого подъезда. Вначале она и слышать об этом не хотела, но на сей раз ее не послушались, и это было очень приятно. Возле дома постояли, погалдели, посмеялись и стали расходиться. Только Вика не торопилась.

— Идем, Вика! — крикнула Лена.— Нам по пути, и у нас есть Пашка.

— Я догоню.— И, когда все отошли, сказала: — Спасибо тебе, Искра. Папа не зря говорил, что ты самая лучшая.

Вспоминания о папе Вики были для Искры неприятны: ей уже казалось, что теперь-то она знает, кто он такой, этот папа. И чтобы скрыть то, что подумала, вздохнула:

— С комсомолом будет очень трудно, Вика.

— Я знаю.— Вика говорила спокойно, точно повзрослела за эти дни на добрых двадцать лет.— Мне все объяснила Валентина Андроновна. Мы долго говорили с ней наедине: Николая Григорьевича куда-то вызывали, и вернулся он какой-то... Какой-то не такой.

— С комсомолом будет трудно,— повторила Искра: для нее это было сейчас самым главным.— Но ты не отчаивайся, Николай Григорьевич обещал что-нибудь сделать.

— Да, да,— грустно улыбнулась Вика.— А потом, ведь собрание только через неделю.

Они опять крепко пожали друг другу руки, опять хотели поцеловаться и опять не поцеловались. Разошлись.

Глава седьмая

Искра заставила Зину написать записку, сурово отредактировала ее, убрав ненужные, с ее точки зрения, эмоции, и отнесла директору.

— Добре,— сказал Николай Григорьевич.— Может, и выгорит.

Вызвал через два дня:

— Оставили архаровца. Передай, чтоб завтра же явился.

Искра была в таком радостном настроении, что не выдержала и сбежала с последнего урока. Проехала трамваем, влетела в дом, постучала. Дверь открыла мама.

— А где Артем? — задыхаясь, выпалила Искра.

— Как так — где Артем? — В глазах матери мелькнул испуг.— Разве он не в школе?

— Нет, это я не в школе,— поспешно пояснила Искорка.— Я не была в школе и думала...

Тут она виновато замолчала и начала краснеть, потому что мама Артема неодобрительно качала головой.

— Ты не умеешь врать, девочка,— вздохнула она.— Конечно, это хорошо, но твоему мужу придется несладко. Ну-ка иди на кухню и рассказывай, что такое ужасное натворил мой сын.

И Искра честно все рассказала. Все — про драку, а не про Вику. Про драку и скандал с классной руководительницей, а о том, что Артем выругался, умолчала. И хотя умолчание тоже есть форма лжи, с этой формой Искра как-то уже освоилась.

— Ай, нехорошо драться,— сказала мама, улыбаясь без удовольствия.— Он смелый мальчик, ты согласна? У такого отца, как мой муж, должны быть смелые сыновья. Мой муж был пулеметчиком у самого Буденного, и я таскалась за ними с Матвеем на руках. Так вот, я уже все знаю. Этот негодник — я говорю о Тимке,— этот махновец прячется у Розы и Петра. А потом приходит домой и делает себе уроки. Очень трудно воспитывать мальчиков, хотя, если судить по Розочке, девочек воспитывать еще трудней. Сейчас я тебе объясню, где живут эти странные люди, у которых нет даже поварешки.

Мама растолковала, как найти общежитие, и Искра убежала, успев, правда, съесть два пирожка. Она быстро разыскала нужную комнату в длинном коридоре, хотела постучать, но за дверью пел женский голос. Пел для себя, очень приятно, и Искра сначала послушала, а уж потом постучала.

Роза была одна. Она гладила белье, пела и учила «Строительные материалы» одновременно.

— Сейчас придет,— сказала она, имея в виду Артема.— Я послала его в магазин. Ты — Искра? Ну, правильно, Артем так и сказал, что если кто его найдет, то только Искра.

— А вы Роза, да? Мне Артем рассказывал, что вы из дома ушли.

— И правильно сделала,— улыбнулась Роза.— Если любишь и головы не теряешь, значит, не любишь и любовь потеряешь. Вот что я открыла.

— Давайте я вам буду помогать.

— Лучше говори мне «ты». Спросишь, почему лучше? Потому что я глажу рубашки своему парню.— Она вдруг скомкала рубашку, прижала ее к лицу и вздохнула.— Знаешь, какая это радость?

— Вот вы... ты говоришь, что любить — значит терять голову,— серьезно начала Искра, решив разобраться в этом заблуждении и немножечко образумить Розу.— Но голова совсем не для того, чтобы ее терять, это как-то обидно. Женщина такой же человек, как и...

— Вот уж дудочки! — с веселым торжеством перебила Роза.— Если хочешь знать, самое большое счастье — чувствовать, что тебя любят. Не знать, а чувствовать, так при чем же здесь голова? Вот и выбрось из нее глупости и сделай себе прическу.

— Говорить так — значит отрицать, что женщина — это большая сила в деле строительства...

— У, еще какая сила! — опять перебила Роза: она очень любила перебивать по живости характера.— Силища! Только не для того, для чего ты думаешь. Женщина не потому силища, что камни может ворочать похлеще мужика, а потому она силища, что любого мужика может заставить ворочать эти камни. Ну и пусть они себе ворочают, а мы будем заставлять.

— Как это — заставлять? — Искра начала сердиться, поскольку серьезный разговор не получался.— Принуждать, что ли? Навязывать свою волю? Стоять с кнутом, как плантатор? Как?

— Как? Ручками, ножками, губками.— Роза вдруг оставила утюг и гордо прошлась по комнате, выпятив красивую грудь.— Вот я какая, видишь? Скажешь, не сильная? Ого! Мой парень как посмотрит на меня, так не то что камни — железо перегрызет! Вот это и есть наша сила. Хотите, чтобы мы увеличили производительность труда? Пожалуйста, увеличим. Только дайте нам наряды, дайте нам быть кра-

сивыми — и наши парни горы свернут! Да они за нашу красивую улыбку, за нашу нежность...

Вошел Артем, и Роза замолчала, лихо подмигнув Искре.

— Привет,— сказал он, не удивившись.— А сахару опять нет. Говорят, завтра в семнадцатом будут давать по два кило.

— Придется побегать,— без всякого огорчения заявила Роза, снова принимаясь гладить.— Мой парень — ужас какой сластена.

— Ну, чего там? — спросил Артем, раздевшись и поставив покупки.

— Все в порядке, завтра приходи в школу.

— «Разобралась в этом вопросе!» — с отвращением передразнил Артем кого-то очень знакомого.— Ну, болтуны. Вика ходит в школу?

— Ходит. Собрание через неделю. Может быть, удастся...

— Ничего не удастся, потому что всех сожрет Валендра. Уроков много задали?

Искра показала домашние задания, объяснила новое и ушла. В Артеме она была уверена: он все сделает, что решил, а решил он ни в коем случае не бросать дорогой его сердцу 9-й «Б». Так думала Искра, а сам Артем во всем девятом видел одну Зиночку Коваленко.

Неделя была как неделя: списывали и подсказывали, отвечали и решали, сочиняли записки, обижались, назначали свидания, плакали тайком. Только Валентина Андроновна ни разу не вызвала Вика, хотя Вика аккуратно готовила уроки и у других учителей отвечала на «отлично». Но это были все-таки мелочи, хотя класс все видел, все подмечал, делал свои выводы, и если бы об этих выводах узнала классная руководительница, то, вероятно, сочла бы за благо своевременно перейти в другую школу.

— Стерва,— определил Ландыс.

— Так о старших не говорят! — взвилась Искра.

— Я не о старших. Я о Валендре.

Артем получил взбучку от директора, посопел, повздыхал и уселся на привычное место рядом с Жоркой. А в субботу после уроков Вика предложила:

— Давайте с осенью попросаемся.

Все удивились, но не предложению, а тому, что оно исходило от Вики. И обрадовались.

— В лес! — крикнула Зиночка.

— На речку! — требовал Ландыс.

— В Сосновку! — сказала Вика.— Там и лес и речка.

— В Сосновку! — подхватил Жорка, мгновенно перестроившись.

— А там есть магазин или столовая? — спросила Искра.

— Я все купила. Хлеб возьмем утром, а поезд в девять сорок.

Сосновка была близко: они даже не успели допеть любимых песен. Спрыгнули на низкую платформу и притихли, пораженные прозрачной тишиной.

— Куда пойдем? — спросил Валька Александров: по жребию ему досталась корзина с харчами, и он был заинтересован в маршруте.

— За дачным поселком лес, а за ним речка, — объяснила Вика.

— Ты бывала здесь? — спросила Лена.

Вика молча двинулась вперед, за нею — Ландыс. Она оглянулась, кивнула, тогда он догнал ее и пошел рядом. Свернули в переулок, вышли на тихую заросшую улицу. Заколоченные дачи тянулись по сторонам.

— Быстро дачники свернулись, — сказал Жорка: его мучило молчание.

— Да, — односложно подтвердила Вика.

— Я бы здесь до зимы жил. Здесь хорошо.

— Хорошо.

— В речке купаются?

— Сейчас холодно.

— Нет, я вообще.

— Там купальни были. — Вика остановилась, подождала, пока подойдут остальные, и сказала, обращаясь преимущественно к Искре: — Вот наша дача.

Они стояли возле маленького аккуратенького домика, недавно покрашенного в веселую голубую краску.

— Красивая, — протянула Зина.

— Папа сам красил. Он любил веселые цвета.

— А сейчас... — начала было Искра и замолчала.

— Сейчас все опечатано, — спокойно договорила Вика. — Я хотела кое-что взять из своих вещей, но мне не позволили.

— Пошли, — буркнул Артем. — Чего глядеть-то?

Шли по заросшему лесу, шуршали листвой и молчали то ли от осеннего безмолвия, то ли еще неся в себе дачу, в которой оставалось навсегда прошлое их подруги. И рядом с этим опечатанным прошлым не хотелось разговаривать.

Вика вывела к речке — пустой и грустной, с затонувшими кувшинками. Ребята развели костер, и, когда затрещал он, разбрасывая искры, все облегченно заговорили и заулыбались, точно огонь высветил этот задумчивый осенний день из сумрака недавнего прошлого. Девочки принялись возиться с едой, а Вика, присев у корзины, надолго задумалась. Потом вдруг поднялась, оглянулась на Ландыса:

— Ты очень занят?

— Я? Нет, что ты! У нас Артем главный по кострам.

— Хочешь, я покажу тебе одно место?

Пошла вдоль берега, а Жорка шел сзади, не решаясь заговорить. Остановились над крутым песчаным обрывом; куст шиповника навис над ним, уронив унизанные красными ягодами плети.

— Я любила читать здесь.

Села, спустив ноги в обрыв. Жорка постоял, отошел к шиповнику, стал обрывать ягоды.

— Не надо. Пусть висят, красиво. Их потом птицы склюют.

— Склюют,— согласился Ландыс. Посмотрел на сорванные ягоды, хотел выбросить, но, подумав, спрятал в карман.

— Сядь. Рядом сядь, что ты за спиной бродишь?

Жорка поспешно сел, и они опять надолго замолчали. Он изредка поглядывал на нее, хотел пересесть поближе, но так и не решился.

— Ландыш,— вдруг тихо сказала Вика.— Ты любишь меня, Ландыш?

Так и спросила: «Любишь?» Не «Я нравлюсь тебе?», как было принято спрашивать, а — «Ты любишь меня?». Как взрослая.

Жорка глубоко вздохнул, шевельнул губами и кивнул, глядя строго перед собой: теперь он боялся смотреть в ее сторону.

— Ты долго будешь любить меня?

Ландыс хотел сказать, что всю жизнь, но опять не смог и опять кивнул. А потом добавил:

— Очень.

Голос у него был хриплый, да и губы что-то плохо слушались.

— Спасибо тебе. Поцелуй меня, Ландыш.

Он торопливо перебрался поближе, склонился, прижался губами к ее щеке и замер.

— И обними. Пожалуйста, обними меня крепче.

Но Жорка не умел ни целоваться, ни обниматься: юность — всегда борьба желания со страхом, и страх был пока непреодолим ни для него, ни для Вики. Он сграбастал ее двумя руками — неуклюже, за плечи,— прижал, осторожно целуя что подвертывалось: то щеку, то случайную прядку, то маленькое ухо. Вика приникла к нему, по-прежнему глядя вдаль, за речку, и так они сидели, пока издали не закричал Валька:

— Вика, Жорка, где вы там? Кушать подано!

Ели хлеб с докторской колбасой, пекли картошку, что

принес предусмотрительный Артем, пили ситро: на каждого досталось по бутылке. Потом пели песни, беспричинно смеялись, Пашка ходил на руках, а Артем и Валька прыгали через костер. И Вика пела и смеялась, а Жорка все время ловил ее взгляд. Она улыбалась ему, но больше к обрыву не позвала.

Вернулись в темноте и поэтому прощались торопливо, уже на вокзале.

— Завтра понедельник,— со значением сказала Искра.

— Я знаю,— кивнула Вика.

Они держали друг друга за руки и, как всегда, не решались поцеловаться.

— Может быть, я не приду на уроки,— помолчав, произнесла Вика.— Но ты не волнуйся, все будет как надо.

— Значит, на собрании ты будешь?

Искре очень не хотелось уточнять, хотелось избежать самого упоминания о завтрашнем собрании, но Вика, как ей показалось, чего-то недоговаривала. Пришлось проявить характер и спросить в лоб.

— Да, да, конечно.

— Вика, ждем! — крикнула Лена. Они с Пашкой стояли поодаль.

Вика еще раз крепко сжала руку Искры и ушла, не оглянувшись. А Искре вдруг очень захотелось, чтобы Вика оглянулась, и она долго смотрела ей вслед.

У дома ее опять ждал Сашка Стамескин.

— Значит, не взяли меня,— с обидой констатировал он.— Лишний я в вашей компании.

— Да, лишний,— сухо подтвердила Искра.— Нас приглашала Вика.

— Ну и что? Лес не Вике принадлежит.

Что-то разладилось у них после того разговора у подъезда. Искре было не по себе от этого разлада, она много думала о нем, но, думая, не могла забыть Сашкиных слов, что устраивал его на завод сам Люберецкий. И в этих словах ей чудилась какая-то трусливая интонация.

— Тебе хотелось поехать с Викой?

— Мне хотелось поехать с тобой! — резко отрубил Сашка.

От этой резкости Искра сразу потеплела: уж очень искренне звучали слова. Тронула за руку:

— Не сердись, пожалуйста, просто я не подумала вовремя.

Сашка сопел уже по инерции. Он добрел на глазах. Искра чувствовала это.

— Завтра увидимся?

— Завтра, Саша, никак. Завтра комсомольское собрание.

— Ну не до вечера же!

— А что с Викой после него будет, представляешь?

— Опять Вика?

— Саша, ну нельзя же так,— вздохнула Искра.— Ты же добрый, а сейчас говоришь плохо.

— Ну, ладно,— недовольно сказал Сашка, помолчав.— Ну я вроде не прав. Но послезавтра-то увидимся?

Чем меньше времени оставалось до понедельника, тем все чаще Искра думала, что будет на собрании. Она пыталась найти наиболее приемлемую форму выступления Вики, перебирала варианты, лежа в постели, и, почти засыпая, нашла: «Я осуждаю его...»

Да, именно так и надо будет подсказать Вике: «Осуждаю». Нет, она не откажется от отца, она, как честный человек, лишь осудит его нечестные дела, и все будет хорошо. Все тогда будет просто замечательно! Искра так обрадовалась, отыскав эту спасительную формулировку, что на радостях тотчас же уснула.

Вика в школе не появилась. Валентина Андроновна нашла Искру, предложила срочно сходить к Люберецкой и выяснить...

— Не надо, Валентина Андроновна,— сказала Искра.— Вика придет на собрание, она дала слово. А то, что ее нет на уроках, это же понятно: ей надо подготовиться к выступлению.

— Опять капризы,— с неудовольствием покачала головой учительница.— Прямо беда с вами. Скажи Александрову, чтобы написал объявление о собрании.

— Зачем объявление? И так все знают.

— Из райкома придет представитель, поскольку это не простое персональное дело. Не простое, ты понимаешь?

— Я знаю, что оно не простое.

— Вот и скажи Александрову, чтобы написал. И повесил у входа.

Писать объявление Валька отказался наотрез. Впрочем, Искра не настаивала, потому что эта идея ей решительно не нравилась.

— Где объявление? — спросила учительница перед последним уроком.

— Объявления не будет.

— Как не будет? Это что за разговор, Полякова?

— Объявление никто писать не станет,— упрямо повторила Искра.— Мы считаем...

— Они считают! — язвительно перебила Валентина Анд-

роновна.— Нет, слышите, они уже считают! Немедленно пришли Александрова. Слышишь?

— Валентина Андроновна, не надо никакого объявления,— как можно спокойнее сказала Искра.— Не надо, мы просим вас. Не надо.

Учительница молча смотрела на Искру. То ли на нее повлиял спокойный тон, то ли упрямство 9-го «Б», то ли она сама кое-что сообразила, но крика не последовало. Предупредила только:

— Пеняй на себя, Полякова.

Кончился последний урок, класс пошумел, попрятал учебники и остался, поскольку был целиком комсомольским. А чуть позже вошли Валентина Андроновна с молодым представителем райкома.

— Где Люберецкая?

— Еще не пришла,— сказала Зина: ее поднесло не вовремя, как всегда.

— Так я и знала! — чуть ли не с торжеством отметила учительница.— Коваленко, беги сейчас же за ней и тащи силой! Может, начнем пока?

Последний вопрос относился уже к представителю.

— Придется обождать.— Он сел за пустую парту. Парту Зины и Вики, но Зина уже убежала, а Вика еще не пришла.

— Нет, вы уж, пожалуйста, за стол.

— Мне и здесь удобно,— сказал представитель.— Народ кругом.

Он улыбнулся, но народ сегодня безмолвствовал. Валентина Андроновна и это отметила: она все отмечала. Прошла к столу, привычно окинула взглядом класс.

— У нас есть время поговорить и поразмыслить, и, может быть, то, что Люберецкая оказалась жалким трусом, даже хорошо. По крайней мере, это снимает с нее тот ореол мученичества, который ей усиленно пытаются прилепить плохие друзья и плохие подруги.

Она в упор посмотрела на Искру, и Искра опустила голову. Опустила виновато, потому что четко определила свою вину, доверчивость и неопытность, и ей было сейчас очень стыдно.

— Да, да, плохие друзья и плохие подруги! — с торжеством повторила учительница: пришел ее час.— Хороший друг, верный товарищ всегда говорит правду, как бы горька она ни была. Не жалеть надо — жалость обманчива и слезлива,— а всегда оставаться принципиальным человеком. Всегда! — Она сделала паузу, привычно ловя шум класса, но шума не было. Класс не высказывал ни одобрения, ни

возмущения — класс сегодня упорно безмолвствовал.— С этих принципиальных позиций мы и будем разбирать персональное дело Люберецкой. Но, разбирая ее, мы не можем забыть и кое-какие иные имена. Мы не должны забывать о зверском избиении комсомольца и общественника Юрия Дегтярева. Мы не должны забывать и об увлечении чуждой нам поэзией некоторых чересчур восторженных поклонниц литературы. Мы не должны забывать о разлагающем влиянии вредной, либеральной, то есть буржуазной, демократии. Далекие от педагогики элементы стремятся всеми силами проникнуть в нашу систему воспитания, сбить с толку отдельных легковверных учеников, а то и навязать свою гнилую точку зрения.

Класс загудел, когда Валентина Андроновна этого не ожидала. Он молчал, когда она говорила о Люберецкой, молчал, когда намекнула на Шефера и слегка проехала по Искре Поляковой. Но при первом же намеке на директора класс возроптал. Он гудел возмущенно и несогласно, не желая слушать, и Валентина Андроновна прибегла к последнему средству:

— Тихо! Тихо, я сказала!

Замолчали. Но замолчали, спрятав несогласие, а не отбросив его. Валентине Андроновне сегодня и этого было достаточно.

— Вопрос о бывшем директоре школы решается сейчас...

— О бывшем? — громко перебил Остапчук.

— Да, о бывшем! — резко повторила Валентина Андроновна.— Ромахин освобожден от этой должности и...

— Минуточку,— смущаясь, вмешался райкомовский представитель.— Зачем же так категорически? Николай Григорьевич пока не освобожден, вопрос пока не решен, и давайте пока воздержимся.

— Возможно, я не права с формальной стороны. Однако я, как честный педагог...

Ей стало неуютно. Она уже оправдывалась, а не вещала, и класс заулыбался. Заулыбался презрительно и неприемлемо.

— Прекратите смех! — крикнула Валентина Андроновна, уже не в силах ни воздействовать на класс, ни владеть собой.— Да, я форсирую события, но я свято убеждена в том, что...

Распахнулась дверь, и в класс влетела Зина Коваленко. Задыхаясь — видно, бежала всю дорогу,— затворила за собой дверь, привалилась к ней спиной, широко раскрытыми глазами медленно обвела класс.

— А Люберецкая? — спросила Валентина Андронов-

на.— Ну, что ты молчишь? Я спрашиваю: где Люберецкая?

— В морге,— тихо сказала Зина, сползла спиной по двери и села на пол.

Глава восьмая

В дни, что оставались до похорон, никто из их компании в школе не появлялся. Иногда — чаще к большой перемене — забегал Валька, а Ландыс вообще куда-то пропал, не ночевал дома, не показывался у Шеферов. Артем с Пашкой долго искали его по всему городу, нашли, но ни родителям, ни ребятам ничего объяснять не стали. Они почти не разговаривали в эти дни, даже Зина при-молкла.

Следствие уложилось в сутки — Вика оставила записку: *"В смерти моей прошу никого не винить. Я поступаю сознательно и добровольно"*. Следователь показал эту записку Искре. Искра долго читала ее, смахнула слезы.

— Что она сделала с собой?

— Снотворное,— сказал следователь, вновь подшивая записку в «Дело».— Много было снотворного в доме, а она — одна.

— Ей было... больно?

— Она просто уснула, да поздно спохватились. Тетя ее аккуратно в этот день приехала, видит, девочка спит, ну и не стала будить.

— Не стала будить...

Следователь не обратил внимания на вздох. Полистал бумаги — тощая папочка была, писать-то нечего,— спросил, не глядя:

— Слушай, Искра, ты же с ней все дни вместе — вот тут твои показания. Как же ты не заметила?

— Что надо было заметить?

— Ну, может, обидел ее кто, может, жаловалась, может, что говорила. Припомни.

— Ничего она особенного не говорила, ни на кого не жаловалась и никого не обвиняла.

— Это мы знаем. Я насчет обид. Ну, понимаешь, так, по-девичьи.

— Ничего не было, все спокойно. В Сосновку накануне ездили...— Искра впервые подняла глаза, спросила с трудом: — А хоронить? Когда будут хоронить?

— Это ты у родственников спроси.— Следователь дописал страничку, подал ей.— Прочитай и распишись. Тут.

«Дело» я закрываю за отсутствием состава преступления. Чистое самоубийство на нервной почве.

Искра пыталась сосредоточиться, но не понимала, что читает, и подписала, не дочитав. Встала, пробормотав «до свидания», пошла.

— А насчет похорон ты у родственников узнай,— повторил следователь.

— Нет у нее родственников,— машинально сказала она, думая в тот момент, что во всем виноват Люберецкий и что было бы справедливо, если б он немедленно узнал, как погубил собственную дочь.

— Я же говорю, тетка приехала.

На улице ждали Лена и Зина: их тоже вызывали, но допросили раньше Искры. Они стали рядом, ни о чем не спрашивая.

— Пошли,— сказала Искра, подумав.

— Куда?

— Тетя ее приехала.— Искре было трудно выговорить имя «Вика», и она бессознательно заменяла его местоимениями.— Следователь сказал, что насчет похорон надо у родственников узнать.

Зина тяжело вздохнула. Шли молча, и чем ближе подходили к знакомому дому, тем короче становились шаги. А перед подъездом затоптались, нерешительно переглядываясь.

— Ох, трудно-то как! — еще раз вздохнула Зиночка.

— Надо,— сказала Искра.

— Надо,— эхом повторила Лена.— Это в детстве — «хочу — не хочу», а теперь — «надо или не надо». Кончилось наше детство, Зинаида.

— Кончилось,— грустно покивала Зина.

Они еще раз глянули друг на друга, и первой к дверям пошла Искра. Ей тоже было трудно, тоже не хотелось сюда входить, но она лучше всех была подготовлена к подчинению короткому, как удар, слову «надо».

И опять никто не отозвался на звонок, никто не шевельнулся там, в наглухо зашторенной, дважды опустевшей квартире. Только на этот раз Искра не стала оглядываться в поисках поддержки, а толкнула дверь и вошла. Могильная тишина стояла в квартире. Тускло светилось в полумраке старинное зеркало, и Зина впервые посмотрела в него равнодушно.

— Есть здесь кто-нибудь? — громко спросила Искра.

Никто не отозвался. Девочки переглянулись.

— Нет никого.

— Этого не может быть. Когда уходят, запирают дверь.

— Теперь все может быть...

Искра осторожно заглянула в столовую: там было пусто. Пусто было на кухне и в спальне отца; остались опечатанный кабинет и комната Вики, перед которой Искра замерла в нерешительности.

— Ну чего ты боишься? — вдруг злым шепотом спросила Лена. — Ну давай я войду.

И отпрянула: на кровати лежала женщина. Лежала на спине, странно вытянув торчащие из-под платья прямые, как палки, ноги. неподвижные руки ее крепко прижимали к груди фотографию Вики: они хорошо знали эту окантованную фотографию.

— Мертвая... — беззвучно ахнула Зина.

— Дышит, кажется, — неуверенно сказала Лена.

Искра подошла, заглянула в остановившиеся, бессмысленные глаза.

— Послушайте... — Она запоздало вспомнила, что не знает, как зовут тетю Вики. — Товарищ Люберецкая...

— Мертвая, да? — в ужасе шептала сзади Зина. — Мертвая?

— Товарищ Люберецкая, мы подружки Вики.

Чуть дрогнули замершие веки. Искра собрала все мужество, тронула женщину за руку.

— Послушайте, мы подружки Вики, мы учимся в одном...

Она замолчала: «Учимся?» Нет, «учились»: теперь надо говорить в прошлом времени. Все в прошлом, ибо это прошлое прочно вошло в их настоящее.

— Мы учились вместе с первого класса...

Нет, ее не слышали. Не слышали, хотя она говорила громко и четко, заставляя себя все время глядеть в остановившиеся зрачки.

— Ну что? — нетерпеливо спросила Лена.

— Звони в «скорую».

Пока Лена дозволилась, пока приехала «скорая помощь», они пытались своими средствами привести женщину в чувство. Брызгали на нее водой, подносили нашатырный спирт, терли виски. Все было тщетно: женщина по-прежнему не шевелилась, ничего не слышала и лежала, вытянувшись, как доска. Впрочем, врачи «скорой» тоже ничего не добились. Сделали укол, взвалили на носилки и унесли, так и не сумев вынуть из рук портрет Вики. Хлопнули дверцы машины, взревел и затих вдаль мотор, и девочки остались одни в огромной вымершей квартире.

— Как в склепе, — уточнила Зина.

— Что же нам делать? — вздохнула Лена. — Может, в милицию?

— В милицию? — переспросила Искра.— Конечно, можно и в милицию: пусть Вику хоронят, как бродяжку. Пусть хоронят, а мы пойдем в школу. Будем учиться, шить себе новые платья и читать стихи о благодородстве.

— Но я же не о том, Искра, не о том, ты меня не поняла!

— Можно и в милицию,— не слушая, жестко продолжала Искра.— Можно...

— Только что мы будем говорить своим детям? — вдруг очень серьезно спросила Зина.— Чему мы научим их тогда?

— Да, что мы будем говорить своим детям? — как эхо, повторила Искра.— Прежде чем воспитывать, надо воспитать себя.

— Я дура, девочки,— с искренним отчаянием призналась Лена.— Я дура и трусиха ужасная. Я сказала так потому, что не знаю, что нам теперь делать.

— Все мы дуры,— вздохнула Зина.— Только умнеть начинаем.

— Наверное, все знает мама Артема.— Искра приняла решение и яростно тряхнула волосами.— Она старенькая, и ей наверняка приходилось... Приходилось хоронить. Зина, найди ключи от квартиры... Мы запрем ее и пойдем к маме Артема и... И я знаю только одно: Вику должны хоронить мы. Мы!

Мама Артема молча выслушала, что произошло в доме Люберецких, горестно покачала седой головой:

— Вы правильно рассудили, девочки, это ваша ноша. Мы говорили с Мироном и знали, что так оно и будет.

Искра не очень поняла, что имела в виду мама Артема, но ей сейчас было не до того. Ее пугало то, что ожидалось впереди: Вика, которую надо было где-то получать, куда-то класть, как-то везти. Она никогда не была на похоронах, не знала, как это делается, и потому думала только об этом.

— Мирон, ты пойдешь с девочками,— объявила мама.

— Завтра в девять, девочки,— сказал отец Артема.— Утром я схожу на завод и отпрошусь.

Эти дни Искра жила, не замечая ни времени, ни окружающих. Не могла ни читать, ни заниматься и, если оказывалась без дела, бесцельно слонялась по комнате.

— Пора брать себя в руки, Искра,— сказала мать, наблюдая за нею.

— Конечно,— тут же бесцветно согласилась Искра.

Она не оглянулась, и мать, украдкой вздохнув, с неудовольствием покачала головой.

— В жизни будет много трагедий. Я знаю, что пер-

вая — всегда самая страшная, но надо готовиться жить, а не тренироваться страдать.

— Может быть, следует тренироваться жить?

— Не язви, я говорю серьезно. И пытаюсь понять тебя.

— Я очень загадочная?

— Искра!

— У меня имя — как выстрел, — горько усмехнулась дочь. — Прости, мама, я больше не перебью.

Но мать уже была сбита неожиданными и так непохожими на Искру выпадами. Сдержалась, судорожным усилием заглушив волну раздражения, дважды прикурила горящую папиросу.

— Самоубийство — признак слабости, это известно тебе? Поэтому человечество истари не уважает самоубийц.

— Даже Маяковского?

— Прекратить!

Мать по-мужски, с силой ударила кулаком по столу. Пепельница, пачка папирос, спички — все полетело на пол. Искра подняла, принесла веник, убрала пепел и окурки. Мать молчала.

— Прости, мама.

— Сядь. Ты, конечно, пойдешь на похороны и... и это правильно. Другим надо отдавать последний долг. Но я категорически запрещаю устраивать панихиду. Ты слышишь? Категорически!

— Я не очень понимаю, что такое панихида в данном случае. Вика успела умереть комсомолкой, при чем же здесь панихида?

— Искра, мы не хороним самоубийц за оградой кладбища, как это делали в старину. Но мы не поощряем слабых и слабонервных. Вот почему я настоятельно прошу... нет, требую, чтобы никаких речей и тому подобного. Или ты даешь мне слово, или я запрю тебя в комнате и не пушу на похороны.

— Неужели ты сможешь сделать это, мама? — тихо спросила Искра.

— Да. — Мать твердо посмотрела ей в глаза. — Да, потому что мне не безразлично твое будущее.

— Мое будущее! — горько усмехнулась дочь. — Ах, мама, мама! Не ты ли учила меня, что лучшее будущее — это чистая совесть?

— Совесть перед обществом, а не...

Мать вдруг запнулась. Искра молча смотрела на нее, молча ждала, как закончится фраза, но пауза затягивалась. Мать потушила папиросу, обняла дочь, крепко прижала к груди.

— Ты единственное, что есть у меня, доченька. Единственное. Я плохая мать, но даже плохие матери мечтают о том, чтобы их дети были счастливы. Оставим этот разговор: ты умница, ты все поняла и... И иди спать. Иди, завтра у тебя очень тяжелый день.

Завтрашнего дня Искра боялась настолько, что долго не могла уснуть. Боялась не самих похорон: отец Артема и Андрей Иванович Коваленко сделали все, что требовалось, только не добились машины. Оформили документы, нашли место на кладбище, договорились обо всем, но машины так и не дали...

— Ладно,— сказал Артем.— Мы на руках ее понесем.

— Далеко,— вздохнула мама.

— Ничего. Нас много.

Нет, Искра боялась не самих похорон: она боялась первого свидания со смертью. Боялась мгновения, когда увидит мертвую Вику, боялась, что не выдержит этого, что упадет или — еще ужаснее — разрыдается. Разрыдается до крика, до воя, потому что этот крик, этот звериный вой глухо ворочался в ней все эти дни.

Утром за нею зашли Зиночка, Лена и Роза.

— Так надо, мама сказала,— строго пояснила Роза.— Вы девчонки еще сопливые, а там женщина нужна.

— Спасибо, Роза,— с облегчением вздохнула Искра.— Вот ты и командуй.

— К ним пошли. Ключи у тебя? Ну, к Люберецким, чего ты на меня смотришь? Надо же белье взять, платице понаряднее.

— Да, да.— Искра отдала ключи.— Знаешь, а я об этом и не подумала.

— Я же говорю, здесь женщина нужна.

— У нее розовое есть,— сказала Зина.— Очень красивое платице, я всегда завидовала.

Роза и девочки ушли к Люберецким. Искра побежала в школу: ее тревожило, что народу будет мало, а гроб придется нести от центра до окраины, и у ребят не хватит сил. Она собиралась поговорить с Николаем Григорьевичем, чтобы он разрешил пойти на похороны всему классу, а не только ближайшим друзьям: несмотря на многозначительные слова Валентины Андроновны на том памятном собрании, никто пока директора от должности не освобождал. Уроки к тому времени должны были бы начаться, но во дворе школы народу было — не пробиться. Младшие бегали, орали, визжали, толкали девчонок; старшие стояли непривычно тихо, стихийно собравшись по классам.

— Что тут происходит?

— Школа закрыта! — с восторгом сообщил какой-то пятиклассник.

Искра начала пробиваться вперед, когда дверь распахнулась и на крыльцо вышли директор, Валентина Андроновна и несколько преподавателей. Николай Григорьевич окинул глазами двор, поднял руку, и сразу стало тихо.

— Дети! — крикнул директор.— Сегодня не будет занятий. Младшие могут идти по домам, а старшие... Старшие проводят в последний путь своего товарища. Трагически погибшую ученицу девятого «Б» Викторию Люберецкую.

Не было ни криков, ни гомона: даже самые маленькие расходились чинно и неторопливо. А старшие не тронулись с места, и в тишине ясно слышался захлебывающийся шепот Валентины Андроновны:

— Вы ответите за это. Вы ответите за это.

Старшие классы и по улицам шли молча. Прохожие останавливались, долго глядели вслед странной процессии, впереди которой шли директор, математик Семен Исаакович и несколько учительниц. У рынка Николай Григорьевич остановился:

— Девочки, купите цветов.

Он выгреб из карманов все деньги и отдал их девочкам из 10-го «А». И математик достал деньги, и учительницы защелкали сумочками, и старшекласники полезли в карманы, и все это — и директорская зарплата, и рубли преподавателей, и мелочь на завтраки и кино — все ссыпалось в новенькую модную кепку Сергея, которую он почему-то нес в руке.

Во двор морга пустили немногих, и остальные ждали у ворот, запрудив улицу. А во дворе толпился весь 9-й «Б», но Искра сразу увидела Ландыса. У ног Жорки стоял обвязанный мешковиной куст шиповника с яркими ягодами, а сам Ландыс курил одну папиросу за другой, не замечая, что рядом остановился Николай Григорьевич. И все молчали. Молчал 9-й «Б» у входа в морг, молчали старшекласники на улице, молчали учительницы младших классов. А потом из морга вышел Андрей Иванович Коваленко и негромко сказал:

— Готово. Кто понесет?

— Мешок не забудьте,— сказал Жорка.

За ним шли Артем, Пашка, Валька, кто-то еще из их ребят и даже тихий Вовик Храмов. А Николай Григорьевич принял от Ландыса куст шиповника и снял кепку. И все повернулись лицом к входу и замерли.

И так длилось долго-долго, невыносимо долго, а потом из морга вынесли крышку гроба, а следом на плечах ребят

медленно выплыла Вика Люберецкая и, чуть покачиваясь, проплыла по двору к воротам.

— Стойте! — крикнула Роза; она вышла вслед за гробом. — Невесту хороним. Невесту! Зина, возьми два букета. Дайте ей белые цветы.

Зина строго шла впереди, а за нею, за крышкой и гробом, что плыл выше всех, на всю длину улицы растянулась процессия. Странная процессия без оркестра и рыданий, без родных и родственников и почти без взрослых: они совсем потерялись среди своих учеников. Так прошли через город до окраинного кладбища. Ребята менялись на ходу, и лишь Жорка шел до конца, никому не уступив своего места у ног Вики, и возле могилы не мог снять с плеча гроб. К нему подскочил Пашка, помог.

Вика лежала спокойная, только очень белая — белее цветов. Начался мелкий осенний дождь, но все стояли не шевелясь, а Искра смотрела, как постепенно намокают и темнеют цветы, как стекает вода по мертвому лицу, и ей хотелось накрыть Вику, упрятать от дождя, от сырости, которая теперь навеки останется с нею.

— Товарищи! — вдруг очень громко сказал директор. — Парни и девчата, смотрите. Во все глаза смотрите на вашу подругу. Хорошо смотрите, чтобы запомнить. На всю жизнь запомнить, что убивает не только пуля, не только клинок или осколок — убивает дурное слово и скверное дело, убивает равнодушие и казенщина, убивает трусость и подлость. Запомните это, ребята, на всю жизнь запомните!..

Он странно всхлипнул и с размаху закрыл лицо ладонями, точно ударил себя по щекам. Учительницы подхватили его, повели в сторону, обняв за судорожно вздрагивающие плечи. И снова стало тихо. Лишь дождь шуршал.

— Зарывать, что ли? — ни к кому не обращаясь, сказал мужик с заступом.

Искра шагнула к гробу, вскинула голову:

До свиданья, друг мой, до свиданья.

Милый мой, ты у меня в груди.

Предназначенное расставанье

Обещает встречу впереди...

Она звонко, на все кладбище кричала последние есенинские строчки. Слезы вместе с дождем текли по лицу, но она ничего не чувствовала. Кроме боли. Ноющей, высасывающей боли в сердце.

Рядом, обнявшись, плакали Лена и Зиночка. Рыдающую в голос Розу с двух сторон поддерживали отец и Петька, забыв о ссоре и торжественных проклятьях. Громко всхли-

пывал Вовик Храмов, тихий отличник, над которым беззлобно и постоянно потешался весь класс все восемь лет.

— Не уберег я тебя, девочка,— сдавленно сказал Коваленко.— Не уберег...

— Прощайтесь! — крикнула Роза, ладонями вытирая лицо.— Пора уж. Пора.

Подошла к гробу, встала на колени в жидкую скользкую грязь, погладила Вику по мокрым волосам, прижалась губами к высокому белому лбу.

— Спи.

А потом забили гвоздями крышку, гроб спустили в могилу, насыпали холм, и все стали расходиться. Только Ландыс с Артемом долго еще возились, сажая куст в изголовье. А девочки, Пашка и Валька терпеливо ждали у заваленной мокрыми цветами свежей могилы. И возвращались молча, но Зина уже не выдерживала этого молчания. Оно гнуло ее, пугало тем, что никак не кончается, становясь все нестерпимее и мучительнее.

— Грязные вы какие,— вздохнула она, оглядев Артема и Жорку.— Вас стирать и стирать.

Никто не ответил. Она поняла, что сказала не то, но молчать уже не было сил.

— Все ревели. Даже Вовик Храмов.

— Счастливый,— вдруг глухо произнес Артем.— Нам бы с Жоркой зареветь, куда как хорошо бы было.

И расстались молча, кивнув друг другу. Только Лена спросила:

— До завтра?

— Может быть,— сказала Искра.

Разошлись. И, уже подходя к дому, Искра вдруг вспомнила, что не видела сегодня Сашку Стамескина. Ни у морга, ни на кладбище. Ей стало как-то не по себе, и она начала лихорадочно припоминать всех, все лица, твердя, что Сашка был там, был, не мог не быть. Но лицо его не всплывало ни возле гроба, ни поодаль — не всплывало нигде, и Искра поняла, что его действительно не было там, куда никого не приглашают.

— Тебе тут открытка с почты,— сказала любопытная соседка.

Это оказалось извещением на заказную бандероль. Почерк был знакомым, но чей он, Искра никак не могла вспомнить. Ей почему-то очень хотелось узнать этот легкий аккуратный почерк, очень хотелось, и она, не раздеваясь, прошла к себе за шкаф, напряженно размышляя, кто же мог прислать ей бандероль. Сзади хлопнула дверь, Искра знала, что вернулась мама, и не оглянулась.

— Встать!

Искра привычно вскочила. Мать с перекошенным, дергающимся лицом лихорадочно рвала ремень, которым была перетянута ее мокрая чоновская кожанка.

— Ты устроила панихиду на кладбище? Ты?..

— Мама...

— Молчать! Я предупреждала! — Ремень расстегнулся, конец его гибко скользнул на пол, пряжку мать крепко сжимала в кулаке.

— Мама, подожди...

Ремень взмыл в воздух. Сейчас он должен был опуститься на ее голову, грудь, лицо — куда попадет. Но Искра не закрывалась, не тронулась с места. Только побледнела.

— Я очень люблю тебя, мама, но если ты хоть раз, хоть один раз ударишь меня, я уйду навсегда.

Она сказала это тихо и спокойно, хотя ее всю трясло. Ремень хлестко ударил по полу рядом. Искра дрожащими руками зачем-то поправила старенькое мокрое пальтишко и села к столу. Спинай к матери.

Она смотрела на извещение, но уже ничего не понимала. Слышала, как упал на пол солдатский ремень, как мать прошла к себе, как тяжело скрипнул стул и чиркнула спичка. Слышала, и ей было до боли жаль мать, но она уже не могла встать и броситься ей на шею. Она уже сделала шаг, сделала вдруг, не готовясь, но, сделав, поняла, что идти нужно до конца. До конца и не оглядываясь, как бы ни были болезненны первые шаги. И поэтому продолжала сидеть, незряче глядя на извещение о бандероли, написанное таким неуловимо знакомым почерком. За спиной опять скрипнул стул, раздались шаги, но Искра не шевельнулась. Мать подошла к шкафу, что-то искала, перекладывала.

— Переоденься. Все переодень — чулки, белье. Ты насквозь мокрая. Пожалуйста.

Искра вздрогнула от незнакомых нежных и усталых интонаций. Ей вдруг захотелось броситься к матери, обнять ее и заплакать. Зареветь, зарыдать отчаянно и беспомощно, как в детстве. Но она сдержала себя и опять не обернулась.

— Хорошо.

Мать постояла, аккуратно положила белье на кровать и тихо ушла на свою половину. И снова чиркнула спичка.

Глава девятая

Искра так и не поняла, кто послал ей заказную бандероль, но смутное беспокойство не оставило ее и утром. Она долго разглядывала извещение, уже догадываясь, но со страхом отгоняла от себя догадку. А она росла помимо ее воли, и Искра решила сначала зайти на почту: она уже не могла ждать.

На аккуратной бандероли адрес был написан печатными буквами, а отправитель не указан вообще. По виду это были книги, и Искра, забыв о школе, бегом вернулась домой. Едва влетев в комнату, рванула упаковку и села, уронив на колени знакомый томик Есенина и книжку писателя с иностранной фамилией «Грин».

— Ах, Вика, Вика,— со взрослой горечью прошептала она.— Дорогая ты моя Вика...

Искра долго гладила книги дрожащими руками, боясь раскрыть и обнаружить надписи. Но надписей не было, только в Грине лежало письмо. На конверте ровным, теперь таким знакомым почерком было выведено: *«Искре Поляковой. Лично»*. Искра отложила письмо, убрала обертку бандероли, сняла пальтишко, прошла за свой стол, села, положила перед собой книги и лишь тогда вскрыла конверт.

«Дорогая Искра!

Когда ты будешь читать это письмо, мне уже не будет больно, не будет горько и не будет стыдно. Я бы никому на свете не стала объяснять, почему я делаю то, что сегодня сделаю, но тебе я должна объяснить все потому, что ты — мой самый большой и единственный друг. И еще потому, что я однажды солгала тебе, сказав, что не люблю, а на самом деле я тебя очень люблю и всегда любила, еще с третьего класса, и всегда завидовала самую чуточку. Папа сказал, что в тебе строгая честность, когда ты с Зиной пришла к нам в первый раз и мы пили чай и говорили о Маяковском. И я очень обрадовалась, что у меня есть теперь такая подружка, и стала гордиться нашей дружбой и мечтать. Ну да не надо об этом: мечты мои не сбылись.

А пишу я не для того, чтобы объяснить, а для того, чтобы объяснить. Меня вызывали к следователю, и я знаю, в чем именно обвиняют папу. А я ему верю и не могу от него отказаться и не откажусь никогда, потому что мой папа честный человек, он сам мне сказал, а раз так, то как же я могу отказаться от него? И я все время об этом думаю — о вере в отцов — и твердо убеждена, что только так и надо

жить. Если мы перестанем верить своим отцам, верить, что они честные люди, то мы очутимся в пустыне. Тогда ничего не будет, понимаешь, *ничего*. Пустота одна. Одна пустота останется, а мы сами перестанем быть людьми. Наверное, я плохо излагаю свои мысли, и ты, наверное, изложила бы их лучше, но я знаю одно: нельзя предавать отцов. Нельзя, иначе мы убьем сами себя, своих детей, свое будущее. Мы разорвем мир надвое, мы выроем пропасть между прошлым и настоящим, мы нарушим связь поколений, потому что нет на свете страшнее предательства, чем предательство своего отца.

Нет, я не струсил, Искра, что бы обо мне ни говорили, я не струсил. Я осталась комсомолкой и умираю комсомолкой, а поступаю так потому, что не могу отказаться от своего отца. Не могу и не хочу.

Уже понедельник, скоро начнется первый урок. А вчера я прощалась с вами и с Жорой Ландысом, который давно был влюблен в меня, я это чувствовала. И поэтому поцеловалась в первый и последний раз в жизни. Сейчас упакую книги, отнесу их на почту и лягу спать. Я не спала ночь, да и предыдущую тоже не спала, и, наверное, усну легко. А книжки эти — тебе на память. Надписывать не хочу.

А мы с тобой ни разу не поцеловались. Ни разу! И я сейчас целую тебя за все прошлое и будущее.

Прощай, моя единственная подружка!

Твоя *Вика Люберецкая*».

Последние строчки Искра читала как сквозь мутные стекла: слезы застилали глаза. Но она не плакала и не заплакала, дочитав. Медленно положила письмо на стол, бережно разгладила его и, уронив руки, долго сидела не шевелясь. Что-то надорвалось в ней, какая-то струна. И боль от этой лопнувшей струны была совсем взрослой — тоскливой и безнадежной. Она была старше самой Искры, эта новая ее боль.

А в школе шли обычные уроки, только в старших классах они проходили куда тише, чем обычно. И еще в 9-м «Б» одна парта оказалась пустой: Искры в школе не было, Зиночка пересела на ее место, к Лене, и пустая парта Вики Люберецкой торчала как надгробие. Преподаватели сразу натывались на нее взглядом, отводили глаза и Зину не тревожили. И вообще никого не тревожили: никто не вызывал к доске, никто не спрашивал уроков. А потом в коридоре раздались грузные шаги, и в класс вошел Николай Григорьевич. Все встали.

— Простите, Татьяна Ивановна,— сказал он пожилой историчке.— Я попрощаться зашел.

Класс замер. Все сорок три пары глаз в упор смотрели на директора.

— Садитесь.

Сел один Вовик. Он был послушным и сначала исполнял, а потом соображал. Но соображал хорошо.

— Встань! — сквозь зубы процедил Артем.

Вовик послушно вскочил. Николай Григорьевич грустно усмехнулся.

— Вот прощаться зашел. Ухожу. Совсем ухожу.— Он помолчал и улыбнулся.— Трудно расставаться с вами, черти вы полосатые, трудно! В каждый класс захожу, всем говорю: счастливо, мол, вам жить, хорошо, мол, вам учиться. А вам, девятый «Б», этого сказать мало.

Пожилая историчка вдруг громко всхлипнула. Замахала руками, полезла за платком:

— Извините, Николай Григорьевич. Извините, пожалуйста.

— Не расстраивайтесь, Татьяна Ивановна, были бы бойцы, а командиры всегда найдутся. А в этих бойцов я верю: они первый бой выдержали. Они обстрелянные теперь парни и девчата, знают почем фунт лиха.— Он вскинул голову и громко, как перед эскадром, крикнул: — Я верю в вас, слышите? Верю, что будете настоящими мужчинами и настоящими женщинами! Верю, потому что вы смена наша, второе поколение нашей великой революции! Помните об этом, ребята. Всегда помните!

Директор медленно вглядываясь в каждое лицо, обвел глазами класс, коротко, по-военному кивнул и вышел. А класс еще долго стоял, глядя на закрытую дверь. И в полной тишине было слышно, как горестно всхлипывает старая учительница.

Трудный был день, очень трудный. Тянулся, точно цепляясь минутой за минуту, что-то тревожное висело в воздухе, сгущалось, оседая и накапливаясь в каждой душе. И взорвалось на последнем уроке.

— Коваленко, кто тебе разрешил пересесть?

— Я...— Зиночка встала.— Мне никто не разрешал. Я думала...

— Немедленно сядь на свое место!

— Валентина Андроновна, раз Искра все равно не пришла, я...

— Без разговоров, Коваленко. Разговаривать будем, когда вас вызовут.

— Значит, все же будем разговаривать? — громко спросил Артем.

Он спросил для того, чтобы отвлечь Валентину Андроновну. Он вызывал гнев на себя, чтобы Зина успела опомниться.

— Что за реплики, Шефер? На минутку забыл об отметке по поведению?

Артем хотел ответить, но Валька дернул сзади за курточку, и он промолчал. Зина все еще стояла, опустив голову.

— Что такое, Коваленко? Ты стала плохо слышать?

— Валентина Андроновна, пожалуйста, позвольте мне сидеть сегодня с Боковой,— умоляюще сказала Зина.— То парта Вики и...

— Ах, вот в чем дело! Оказывается, вы намереваетесь устроить памятник? Как трогательно! Только вы забыли, что это школа, где нет места хлюпикам и истеричкам. И марш за свою парту. Живо!

Зина резко выпрямилась. Лицо ее стало красным, губы дрожали.

— Не смейте... не смейте говорить мне «ты». Никогда. Не смейте, слышите?..— И громко, отчаянно всхлипнув, убежала из класса.

Артем собирался вскочить, но сзади опять придержали, и встал не он, а спокойный и миролюбивый Александров.

— А ведь вы не правы, Валентина Андроновна,— рассудительно начал он.— Конечно, Коваленко тоже не защищаю, но и вы тоже.

— Садись, Александров! — Учительница раздраженно махнула рукой и склонилась над журналом.

Валька продолжал стоять.

— Я, кажется, сказала, чтобы ты сел.

— А я еще до этого сказал, что вы не правы,— вздохнул Валька.— У нас Шефер, Остапчук да Ландыс уже усы бреют, а вы — будто мы дети. А мы не дети. Уж, пожалуйста, учтите это, что ли.

— Так.— Учительница захлопнула журнал, заставила себя улыбнуться и с этой напряженной улыбкой обвела глазами класс.— Уяснила. Кто еще считает себя взрослым?

Артем и Жорка встали сразу. А следом — вразнобой, подумав,— поднялся весь класс. Кроме Вовика Храмова, который продолжал дисциплинированно сидеть, поскольку не получил ясной команды. Сорок два ученика серьезно смотрели на учительницу, и, пока она размышляла, как поступить, поднялся и Вовик, и кто-то в задних рядах не выдержал и рассмеялся.

— Понятно,— тихо сказала она.— Садитесь.

Класс дружно сел. Без обычного шушуканья и смешков, без острот и реплик, без как бы невзначай сброшенных на

пол книг и добродушных взаимных тумачков. Валентина Андроновна торопливо раскрыла журнал, уставилась в него, не узнавая знакомых фамилий, но ясно слыша, как непривычно тихо сегодня в ее классе. То была дисциплина отрицания, тишина полного отстранения, и она с болью поняла это. Класс решительно обрывал все контакты со своей классной руководительницей, обрывал, не скандаля, не бунтуя, обрывал спокойно и холодно. Она стала чужой, чужой настолько, что ее даже перестали *не любить*. Надо было все продумать, найти верную линию поведения, но шевельнувшийся в ней нормальный человеческий страх перед одиночеством лишал ее такой возможности. Она тупо глядела в журнал, пытаясь собраться с мыслями, обрести былую уверенность и твердость, и не обретала их. Молчание затягивалось, но в классе стояла мертвая тишина. «Мертвая!» Сейчас она не просто поняла — она ощутила это слово во всей его безнадежности.

— Мы сегодня почитаем,— сказала учительница, все еще не решаясь поднять глаз.— Сон Веры Павловны. Бокова, начинай...те. Можно сидя.

Зина в класс не вернулась, и портфель ей относили всей компанией. Набились в маленькую комнату, сидели на кровати, на стульях, а Пашка — на коврик, подобрав по-турецки ноги. И с торжеством рассказывали о победе над Валендрой — только Жорка с Артемом молчали. Артем потому, что смотрел на Зину, а Жорке не на кого было больше смотреть.

— «Бокова, начинай...те. Можно сидя!» — очень похоже передразнивала Лена.

Зина отрevelась в одиночестве и теперь улыбалась. Но улыбалась грустно.

— А Искра так и не пришла? Надо же сходить к ней! Немедленно и всем вместе. И уведем ее гулять.

Но Искру увели гулять еще до их появления. Она весь день то сидела истуканом, то металась по комнате, то перечитывала письмо, снова замирала и снова металась. А потом пришел Сашка.

— Я за тобой,— сказал он как ни в чем не бывало.— Я билеты в кино купил.

— Ты почему не был на кладбище?

— Не отпустили. Вот в кино и проверишь, мы всей бригадой идем. Свидетелей много.

Пока он говорил, Искра смотрела в упор. Но Сашка глаз не отвел, и, хотя ей очень не понравилось упоминание о свидетелях, ему хотелось поверить. И сразу стало как-то легче.

— Только в кино мы не пойдем.

— Понимаю. Может, погуляем? Дождя нет, погода на «ять».

— А вчера был дождь,— вздохнула Искра.— Цветы стали мокрыми и темнели на глазах.

— Черт дернул его с этой растратой... Да одевайся же ты наконец!

— Саша, а ты точно знаешь, что он украл миллион? — спросила Искра, послушно надевая пальтишко: иногда ей нравилось, когда ею командуют. Правда, редко.

— Точно,— со значением сказал он.— У нас на заводе все знают.

— Как страшно!.. Понимаешь, я у них пирожные ела. И шоколадные конфеты. И все конечно же на этот миллион.

— А ты как думала? Ну, кто, кроме воров, может позволить себе каждый день пирожные есть?

— Как страшно! — еще раз вздохнула Искра.— Куда пойдем? В парк?

В парке уже закрыли все аттракционы, забили ларьки, а скамейки были сдвинуты в кучку. Листву здесь не убирали, и она печально шуршала под ногами. Искра подробно рассказывала о похоронах, о Ландысе и шиповнике, о директоре и его речи над гробом Вики. В этом месте Сашка неодобрительно покачал головой.

— Вот это он зря.

— Почему же зря?

— Хороший мужик. Жалко.

— Что жалко? Почему это — жалко?

— Снимут,— сказал Сашка категорически.

— Значит, по-твоему, надо молчать и беречь свое здоровье?

— Надо не лезть на рожон.

— «Не лезть на рожон»! — с горечью повторила Искра.— Сколько тебе лет, Стамескин? Сто?

— Дело не в том, сколько лет, а...

— Нет, в том! — резко крикнула Искра.— Как удобно, когда все вокруг старики! Все будут держаться за свои больные печенки, все будут стремиться лишь бы дожить, а о том, чтобы просто жить, никому в голову не придет. Не-ет, все тихонечко доживать будут, аккуратненько доживать, послушно: как бы чего не вышло. Так это все — не для нас! Мы — самая молодая страна в мире, и не смей становиться стариком никогда!

— Это тебе Люберецкий растолковал? — вдруг тихо спросил Сашка.— Ну, тогда помалкивай, поняла?

— Ты еще и трус к тому же?

— К чему это — к тому же?

— Плюс ко всему.

Сашка натянуто рассмеялся:

— Это, знаешь, слова все. Вы языками возите, «а» плюс «б», а мы работаем. Руками вот этими самыми богатства стране создаем. Мы...

Искра вдруг повернулась и быстро пошла по аллее к выходу.

— Искра!

Она не замедлила шага. Кажется, пошла еще быстрее — только косички подпрыгивали. Сашка нагнал, обнял сзади.

— Искорка, я пошутил. Я же дурака валяю, чтобы ты улыбнулась.

Он осторожно коснулся губами шапочки — Искра не шевельнулась, — поцеловал уже смелее, ища губами волосы, затылок, оголенную шею.

— Трус, говоришь, трус? Вот я и обиделся... Ты же все понимаешь, правда? Ты же у меня умная и... большая совсем. А мы все как дети. А мы большие уже, мы уже рабочий класс...

Он скользнул руками по ее пальтишку, коснулся груди, замер, осторожно сжал — Искра стояла как истукан. Он осмелел, уже не просто прижимая руки к ее груди, а поглаживая, трогая.

— Вот и хорошо. Вот и правильно. Ты умная, ты...

В голове Искры гулко стучали кувалды, часто и глухо билось сердце. Но она собрала силы и сказала спокойно:

— Совсем как тогда, под лестницей. Только бежать мне теперь не к кому.

Неторопливо расцепила его руки, пошла не оглядываясь. И заплакала, лишь выйдя за ворота. Плакала от обиды и разочарования, плакала от боли, что столько дней носила в душе, плакала от одиночества, которое сознательно и бесповоротно избрала сама для себя, и не сумела справиться со слезами до самого подъезда. По привычке остановилась перед дверью, старательно вытерла лицо, попыталась обрести спокойствие или хотя бы изобразить улыбку, но ни спокойствие, ни улыбка не получились. Искра вздохнула и вошла в комнату.

Мама курила у стола, как всегда что-то ожесточенно подчеркивала в зачитанном томе Ленина, делала многочисленные закладки и выписывала целые абзацы. Искра тихо разделась, прошла в свой угол. Села за стол, раскрыла Есенина, но даже Есенин плыл сейчас перед ее глазами. А вскоре она почувствовала, что сзади стоит мама. Повернулась вся, вместе со стулом.

Они долго смотрели друг другу в глаза. Глаза были одинаковыми. И взгляд их теперь тоже был одинаковым. Мама присела на кровать, сунула сложенные ладони между колен.

— Надо ходить в школу, Искра. Надо заниматься делом, иначе ты без толку вымотаешь себя.

— Надо. Завтра пойду.

Мать грустно покивала. Потом сказала:

— К горю трудно привыкнуть, я знаю. Нужно научиться расходиться, чтобы хватило на всю жизнь.

— Значит, горя будет много?

— Если останешься такой, как сейчас — а я убеждена, что останешься, — горя будет достаточно. Есть натуры, которые впитывают горе обильнее, чем радость, а ты из их числа. Надо думать о будущем.

— О будущем, — вздохнула дочь. — Какое оно, это будущее, мама?

На другой день Искра пошла в школу. Заканчивалась первая четверть — длинная и тягостная, будто четверть века. Проставляли оценки, часто вызывали к доске, проверяли контрольные и сочинения. И все вроде бы шло как обычно, только не было в школе директора Николая Григорьевича Ромахина, а Валентина Андроновна стала официально-холодной, подчеркнуто говорила всем «вы» и уж очень скупилась на «отлично». Даже Искре не без удовольствия заката «посредственно».

— Если хотите, можете ответить еще раз.

— Не хочу, — сказала Искра, хотя до сей поры ни разу не получала таких оценок.

Через несколько дней после этого разговора вернулся Николай Григорьевич. Занял привычный кабинет, но в кабинете том было теперь тихо. Спевки кончились, и директор унес личный баян.

С этим баяном его встретил на улице Валька. Молча отобрал баян, пошел рядом.

— Значит, вернули вас, Николай Григорьевич?

— Вернули, — угрюмо ответил директор. — Сперва освободили, а потом вызвали и вернули.

Он и сам не знал, почему его оставили. Не знал и не узнал никогда, что тихий Андрей Иванович Коваленко неделю ходил из учреждения в учреждение, из кабинета в кабинет, терпеливо ожидая приемов, высиживая в очередях и всюду доказывая одно:

— Ромахина увольнять нельзя. Нельзя, товарищи! Если и вы откажете, я дальше пойду. Я в Москву, в Наркомпрос, я до ЦК дойду.

В каком-то из кабинетов поняли, вызвали Ромахина, расспросили, предупредили и вернули на старую должность. Николай Григорьевич вновь принял школу, но спевок больше не устраивал. И Валька отнес домой его потрепанный баян.

А парту Вики Артем и Ландыс передвинули в дальний угол класса, к стене, и теперь за ней никто не сидел. Ходили на могилу, посадили цветы, обложили дерном холмик. Сашка Стамескин, никому ничего не сказав, привез ограду, сваренную на заводе, а Жорка выкрасил эту ограду в самую веселую голубую краску, какую только смог разыскать.

Потом пришли праздники. Седьмого ноября ходили на демонстрацию. Весь город был на улицах, гремели оркестры и песни, и они тоже пели до восторга и хрипоты:

Нам разум дал стальные руки-крылья,
А вместо сердца — пламенный мотор!..

— А Вики больше нет,— сказала Зина, когда они отгорланили эту песню.— Совсем нет. А мы есть. Ходим, смеемся, поем. «А вместо сердца — пламенный мотор!..» Может, у нас и вправду вместо сердца — пламенный мотор?

Проходили мимо трибун, громко и радостно кричали «ура», размахивая плакатами, лозунгами, портретами вождей. А потом колонны перемешались, демонстранты стали расходиться, песни замолкать, и только их школьная колонна продолжала петь и идти дружно, хотя и не в ногу. Вскоре к ним пристали отбившиеся от своих Петр и Роза, а когда отошли от гремящей криками и маршами площади, Искра сказала:

— Ребята, а ведь Николая Григорьевича не было с нами.

— Зайдем? — предложил Валька.— Он недалеко живет, я ему баян относил.

Пошли все. Дверь открыла невеселая пожилая женщина. Молча смотрела строгими глазами.

— Мы к Николаю Григорьевичу,— сказала Искра.— Мы хотим поздравить его с праздником.

— Проходите, если пришли.

Не было в этом «проходите» приглашения, но они все же разделись. Ребята пригладили вихры, девочки оправили платья, Искра придирчиво оглядела каждого, и они вошли в небольшую комнату, скупобставленную случайной мебелью. В углу на тумбочке стоял знакомый баян, а за столом сидел Николай Григорьевич в привычной гимнастерке, стянутой кавалерийской портупеей.

— Вы зачем сюда?

Они замялись, усиленно изучая крашенный пол и искоса

поглядывая на Искру. Женщина молча остановилась в дверях.

— Мы пришли поздравить вас, Николай Григорьевич, с великим праздником Октября.

— А-а. Спасибо. Садитесь, коли пришли. Маша, поставь самовар.

Женщина вышла. Они кое-как расселись на стульях и старом клеенчатом диване.

— Ну, как демонстрация?

— Хорошо.

— Весело?

— Весело.

Николай Григорьевич спрашивал, не отрывая глаз от скатерти, и отвечала ему одна Искра. А он упорно смотрел в стол.

— Это хорошо. Хорошо. И правильно.

— Песни пели,— со значением сказала Искра.

— Песни — это хорошо. Песня дух поднимает.

Замолчал. И все молчали, и всем было неуютно и отчего-то стыдно.

— А почему вы не были с нами? — спросила Зина, не выдержав молчания.

— Я? Так. Занемог немножко.

— А врач у вас был? — забеспокоилась Лена.— И почему вы не лежите в постели, если вы больны?

Директор упорно молчал, глядя в стол.

— Вы не больны,— тихо сказала Искра.— Вы... Почему вы больше не поете? Почему вы баян домой унесли?

— Из партии меня исключили, ребятки,— глухо, дрогнувшим голосом произнес Николай Григорьевич.— Из партии моей, родной партии...

Челюсть у него запрыгала, а правая рука судорожно тискала грудь, комкая гимнастерку. Ребята растерянно молчали.

— Неправда! — резко сказала от дверей пожилая женщина.— Тебя исключила первичная организация, а я была в горкоме у товарища Поляковой, и она обещала разобраться. Я же говорила тебе, говорила! И не смей распускаться, не смей, слышишь?

Но Николай Григорьевич ничего не слышал. Он глядел в одну точку напряженным взглядом, рукой по-прежнему комкая гимнастерку. Искра перегнулась через стол, отвела эту руку, сжала.

— Николай Григорьевич, посмотрите на меня. Посмотрите.

Он поднял голову. Глаза были полны слез.

— «Мы — красные кавалеристы, и про нас, — вдруг тихо запела Искра, — былинники речистые...»

— «О том, как в ночи ясные, о том, как в дни ненастные...»

Песню подхватили все дружно, в полный голос. Роза вскочила, отмахивая такт рукой и пристукивая каблучком. И все почему-то встали, словно это был гимн. А Петр взял с тумбочки баян и поставил его на стол перед Николаем Григорьевичем.

— «Веди ж, Буденный, нас смелее в бой!»

Искра пела громко и яростно, высоко подняв голову и не смахивая слез, что бежали по щекам. И все пели громко и яростно, и, подчиняясь этому яростному напору, встал Николай Григорьевич Ромахин, бывший командир эскадрона Первой Конной. И взял баян.

— «И вся-то наша жизнь есть борьба!..»

Много они тогда перепели песен под аккомпанемент старого баяна. Пили чай и засиделись допоздна, и матери дома их ругали извергами. А они были горды и довольны собой, как никогда, и долго потом вспоминали этот праздничный день.

Но праздники кончились, и опять потянулась нормальная школьная жизнь. Все входило в свою колею, и снова Артем мыкался у доски, снова что-то ненужное изобретал Валька, снова шептался со всем классом Жорка. Пашка до седьмого пота вертелся на турнике, а тихий Вовик читал на переменах затрепанные романы. Снова Лена гуляла с Ментиком и Пашкой, Зина, остепенившись, встречалась с Артемом и очень подружилась с Розой, и только Искре некуда было ходить по вечерам. Она читала дома, и напрасно Сашка писал отчаянные письма.

Все входило в свою колею. Николая Григорьевича из партии не исключили, но улыбаться он так и не начал и из кабинета выходил редко. А вот Валентина Андроновна, наоборот, стала изредка улыбаться классу, и кое-кто из класса — менее заметные, правда, — стали улыбаться ей, и та вежливость, которую с таким единодушием потребовал однажды 9-й «Б», постепенно становилась вежливостью формальной. Валентина Андроновна все чаще оговаривалась, сбивалась на привычное «ты», а если с некоторыми и не оговаривалась, то обозначала свое особое отношение особыми улыбками. Все входило в свою колею и должно было в конце концов войти. Все было естественно и нормально.

Только в конце ноября в 9-й «Б» ворвался красавец Юра из 10-го «А». Ворвался, оставив распахнутой дверь и не обратив внимания на доброго Семена Исааковича, обвел

расширенными глазами изумленный класс и отчаянно выкрикнул:

— Леонид Сергеевич Люберецкий вернулся домой!..

Все молчали. Искра медленно начала вставать, когда закричал Жорка Ландыс. Он кричал дико, громко, на одной ноте и изо всех сил бил кулаками по парте. Артем хватал его за руки, за плечи, а Жорка вырывался и кричал. Все повскакивали с мест, о чем-то кричали, распрашивали Юрку, плакали, и никто уже не обращал внимания на старого учителя. А математик сидел за столом, качал лысой головой, вытирал слезы большим носовым платком и горестно шептал:

— Боже мой! Боже мой! Боже мой!

Ландыса кое-как успокоили. Он сидел за партой, стуча зубами, и машинально растирал разбитые в кровь кулаки. Лена что-то говорила ему, а Пашка стоял рядом, держа обеими руками железную кружку с водой. С ручки свисала цепочка: Пашка оторвал кружку от бачка в коридоре.

— Тихо! — вдруг крикнул Артем, хотя шум уже стих, только плакали да шептались. — Пошли. Мы должны быть настоящими. Настоящими, слышите?

— Куда? — шепотом спросила Зина, прекрасно понимая, о чем сказал Артем: просто ей стало очень страшно.

— К нему. К Леониду Сергеевичу Люберецкому.

Сколько раз они приближались к этому дому с замершими навеки шторами! Сколько раз им приходилось собирать всю свою волю для последнего шага, сколько раз они беспомощно топтались перед дверью, бессознательно уступая первенство Искре! Но сегодня первым шел Артем, а перед дверью остановилась Искра.

— Стойте! Нам нельзя идти. Мы даже не знаем, где тетя Вики. Что мы скажем, если он спросит?

— Вот это и скажем, — обронил Артем и нажал кнопку звонка.

— Ну, Артем, ты железный, — вздохнул Пашка.

Никто не открыл дверь, никто не отозвался, и Артем не стал еще раз звонить. Вошел в дом, и все пошли следом. Шторы были опущены, и поэтому они не сразу заметили Люберецкого. Он сидел в столовой, ссутулившись, положив перед собой крепко сцепленные руки. Когда они вразной поздоровались с ним, он поднял голову, обвел их напряженным, припоминающим взглядом, задержался на Искре, кивнул. И опять уставился мимо них, в пространство.

— Мы друзья Вики, — тихо сказала Искра, с трудом выговорив имя.

Он коротко кивнул, но, кажется, не расслышал или не понял. Искра с отчаянием посмотрела на ребят.

— Мы хотели рассказать. Мы до последнего дня были вместе. А в воскресенье ездили в Сосновку.

Нет, он их не слышал. Он слушал себя, родные голоса, звучащие в нем, свои воспоминания, какие-то отрывочные фразы, отдельные слова, которые теперь помнил только он один. И ребята совсем не мешали ему: наоборот, он испытывал теплое чувство оттого, что они не забыли его Вику, что пришли, что готовы что-то рассказать. Но сегодня ему не нужны были их рассказы: ему пока хватало той Вики, которую он знал.

А ребятам стало не по себе, словно они проявили какую-то чудовищную бестактность и теперь хозяин лишь из вежливости терпит их присутствие. Им хотелось уйти, но уйти вот так, вдруг, ничего не рассказав и ничего не услышав, было невозможно, и они только растерянно переглядывались.

— Вы были на кладбище? — спросил Артем.

Он спросил резко, и Искру покорило от его несдержанности. Но именно этот тон вывел Леонида Сергеевича из протрации.

— Да. Ограда голубая. Цветы. Куст хороший. Птицы склюют.

— Склюют, — подтвердил Жорка и снова принялся тереть свои распухшие кулаки.

Голос у Люберецкого был сдавленным и бесцветным, говорил он отрывисто и, сказав, вновь тяжело замолчал.

— Уходить надо, — шепнул Валька. — Мешаем.

Артем зло глянул на него, глубоко вздохнул и решительно шагнул к Люберецкому. Положил руку ему на плечо, встрахнул:

— Послушайте, это... нельзя так! Нельзя! Вика вас другим любила. И это... мы тоже. Нельзя так.

— Что? — Люберецкий медленно огляделся. — Да, все не так. Все не так.

— Не так?

Артем в сумраке столовой прошел к зашторенным окнам, нашел шнуры, потянул. Шторы разъехались, свет рванулся в комнату, а Артем оглянулся на Люберецкого.

— Идите сюда, Леонид Сергеевич.

Люберецкий не шевельнулся.

— Идите, говорю! Пашка, помоги ему.

Но Люберецкий встал сам. Шаркая, прошел к окну.

— Смотрите. Все бы здесь и не уместились.

За окном под тяжелым мокрым снегом стоял 9-й «Б». Стоял неподвижно, весь белый от хлопьев, и только Вовик

Храмов топтался на месте: видно, ноги мерзли. У него всегда были дырявые ботинки, у этого тихого отличника. А чуть в стороне, подле занесенной снегом скамьи, стояли два представителя 10-го «А», и Серега почему-то держал в руках свою модную кепку-шестиклинку.

— Милые вы мои, — дрогнувшим, совсем иным голосом сказал Люберецкий. — Милые мои ребятки... — Он глянул на Искру остро, как прежде. — Они же замерзли! Позовите их, Искра.

Искра радостно бросилась к дверям.

— Я чай поставлю! — крикнула Зина. — Можно?

— Поставьте, Зиночка.

Он, не отрываясь, смотрел, как тщательно отряхивают друг друга ребята, как один за другим входят в квартиру. В глазах его были слезы.

До чая Искра и Ландыс увели Леонида Сергеевича в комнату Вики, о чем-то долго говорили с ним. А Лена собрала все ребячьи деньги в кепку-шестиклинку, и они с Пашкой сбежали в кондитерскую. И когда Зина позвала всех к чаю, на столе стояли знакомые пирожные: Лена старательно резала каждое на три части.

За чаем вспоминали о Вике. Вспоминали живую — с первого класса — и говорили, перебивая друг друга, дополняя и досказывая. Люберецкий молчал, но слушал жадно, ловя каждое слово. И вздохнул:

— Какой тяжелый год!

Все примолкли. А Зиночка сказала, как всегда, невпопад:

— Знаете почему? Потому что високосный. Следующий будет счастливым, вот увидите!

Следующим был *тысяча девятьсот сорок первый*.

Эпилог

Через сорок лет я трясся в поезде, мчавшемся в родной город. Внизу со свистом храпел Валька Александров, а будить его не имело смысла: Валька горел в танке и спалил не только уши, но и собственную глотку. Впрочем, профессия у него молчаливая: вот уж сколько лет часы ремонтирует. Эх, Эдисон, Эдисон! Это мы его в школе Эдисоном звали, и Искра считала, что он станет великим изобретателем...

Искра. Искра Полякова, атаман в юбке, староста 9-го «Б», героиня подполья, живая легенда, с которой я учился, спорил, ходил на каток, которую преданно ждал у подъезда, когда с горизонта исчез Сашка Стамескин, первая любовь Искры. И последняя: у Искры не могло быть ничего второго.

Ни любви, ни школьных отметок, ни места в жизни. Только погибнуть ей выпало не первой из нашего класса: первым погиб Артем.

Тут я не выдержал Валькиных завываний и сполз на пол. В темноте натянул брюки и выскользнул в грохочущий коридор купейного вагона. Было что-то около четырех, но у окна маячила грузная фигура.

— Не спишь, литраб?

Пашка Остапчук. В школе за ним остроумия не водилось: он умел ловко вертеть на турнике «солнце» да преданно любить Леночку Бокову. Война отняла у Пашки ногу и спорт, и к Леночке он не вернулся, хотя она ждала его до Победы, а Пашку ранило на Днестре.

— Свидание с юностью через сорок лет: и хочется, и колется, и поезд наш ушел. Потому и не спится, верно, литраб? А тут еще Эдисон рычит, как самосвал.

Пашку лихорадило от предстоящей встречи с городом, школой и Леной. Поскрипывая протезом, он метался по коридору и говорил. Про Днепр и 9-й «Б», про Лену, к которой так и не нашел мужества вернуться инвалидом, и про санитарку из госпиталя, что пригрела, утешила, а потом и детей ему нарожала. Он словно уговаривал себя, что верная жена его нисколько не хуже той юной, мечтавшей о сцене девочки, которая назло Пашке вышла в сорок шестом замуж, а через пять лет овдовела. Как раз в тот год мы приехали на открытие мемориальной доски в школе: так уж получилось, что с войны мы не вернулись в родной город. Я жил в Москве, Остапчук с Александровым — по иным местам, и из всех парней нашего класса в родном городе остался только Сашка Стамескин. Виноват, Александр Авдеевич Стамескин, директор крупнейшего авиазавода, лауреат, депутат и прочая и прочая. Павел болтал про фронт вперемежку со спортом, Александров хрипел, свистел и рычал, а я вспоминал город, знакомых, наш класс, и нашу школу, и нашего директора Николая Григорьевича Ромахина, чьей связной в подполье была Искра. В тот единственный раз, когда мы, уцелевшие, по личной просьбе директора приехали на открытие, он сам зачитывал имена погибших перед замершим строем выживших.

— Девятый «Б», — сказал он, и голос его сорвался, изменил ему, и дальше Николай Григорьевич кричал фамилии, все усиливая и усиливая крик. — Герой Советского Союза летчик-истребитель Георгий Ландыс. Жора Ландыс. Марки собирал. Артем... Артем Шефер. Из школы его выгнали за принципиальность, а он доказал ее, принципиальность свою, доказал! Когда провод перебило, он сам себя взорвал вместе

с мостом. Просторная у него могила, у Артема нашего!.. Владимир Храмов. Вовик, отличник наш, тихий самый. Его даже в переменки и не видно было и не слышно. На Кубани лег возле сорокапятки своей. Ни шагу назад не сделал. Ни шагу!.. Искра По... По...

Он так и не смог выговорить фамилии своей связной, губы запрыгали и побелели. Женщины бросились к нему, стали усаживать, поить водой. Он сесть отказался, а воду выпил, и мы слышали, как стучали о стекло его зубы. Потом он вытер слезы и тихо сказал:

— Жалко что? Жалко, команды у нас нет, чтоб на коленях слушали.

Мы без всякой команды стали на колени. Весь зал — бывшие ученики, сегодняшние школьники и учителя, инвалиды, вдовы, сироты, одинокие — все как один. И Николай Григорьевич начал почти шепотом:

— Искра, Искра Полякова, Искорка наша. А как маму ее звали, не знаю, а только гестаповцы ее на два часа раньше доченьки повесили. Так и висели рядышком — Искра Полякова и товарищ Полякова, мать и дочь.— Он помолчал, горестно качая головой, и вдруг, шагнув, поднял кулак и крикнул на весь зал: — А подполье жило! Жило и било гадов! И мстило за Искорку и маму ее, жестоко мстило!

Его било и трясло, и не знаю, что случилось бы тогда с нашим Ромахиным, если бы не Зина. И постарев она не повзрослела: шагнула вдруг к нему, взяв за руки своих взрослых сыновей:

— А это — мои ребята, Николай Григорьевич. Старший — Артем, а младший — Жорка. Правда, похожи на тех, на наших?

Бывший директор обнял ее парней, склоняя к себе их головы, и прошептал:

— Как две капли воды...

Через полгода, в начале пятьдесят второго, Николай Григорьевич умер. Я был в командировке, на похороны не попал и больше не ездил на школьные сборы. Павел тоже, а Валентин ездил. Нечасто, правда, раз в два-три года. Встречался с теми, кто уцелел на фронте или выжил в оккупации, ходил в гости, гонял чай с доживающими свой невеселый век мамами и стареющими одноклассницами, смотрел бесконечные альбомы, слушал рассказы и всем чинил часы. И самое точное время в городе было у бывших учеников когда-то горестно знаменитого 9-го «Б».

Самое точное.



ЖИЛА
была
Клавочка

ЖИЛА-БЫЛА КЛАВОЧКА

1

Встать в семь; умыться, прибраться, перекусить, привести себя в порядок, выйти из дома не позже восьми пятнадцати; автобус, метро с пересадкой, снова автобус, да еще пять минут ходьбы — девять часов ровно. Четыре часа работы плюс час перерыв плюс еще четыре часа — уже шесть вечера, день прошел; путь домой, не спеша, с магазинами — полтора-два часа; ужин, да уборка, да стирка, да с соседкой поболтать, да телик посмотреть — и, пожалуйста, половина двенадцатого, если не все двенадцать: день да ночь — сутки прочь.

Это — время.

Зарплата минус налоги, взносы в профсоюз, комсомол да «черную кассу» — на руки восемьдесят шесть рублей. Ничего, многие одиночки и меньше получают. Отложим за квартиру, свет, газ, там — лампочка перегорела, здесь — кран потек: семь в месяц, как ни вертись. На работе — обед в столовке, да дорога тридцать копеек в день в оба конца, да складчина: то кто-то рождается, то кого-то повысили, то праздник, то девичник — двадцать три, проверено. Да каждый день дома завтрак и ужин, да восемь обедов в субботы с воскресеньями — в общем, тридцатка, а то и все тридцать три выложишь. И — разное: десятку в город Пронск; кино или театр или торт себе для веселья; колготки или чулки (рвутся, проклятые, не поймешь, почему рвутся-то!) — еще пять, а то и семь, а всего расходов по этой статье не меньше двадцати. Если все сложить — восемьдесят рублей плюс-минус ерунда. И на все-все: на платье и белье, на пальто и сапожки, на перчатки и шапочку, на плащик и кофточку, на юбку и шарфик, на мыло, парикмахерскую, косметику, на концерт, на выставку или на электричку до природы доехать — на все-все без излишеств, без кусочка удовольствия откладывать удастся пятерку в месяц. А мебель? А море? К нему же съездить ой как хочется, глазком одним поглядеть, как там отдыхают. А Ленинград и Суздаль?

А меховой воротничок? А туфельки? А ресторан, в котором один раз в жизни была? И проигрыватель, пусть хоть трижды уцененный? А цветы самой себе, чтоб соседке Липатии Аркадьевне сказать: «Знакомый подарил...»?

Это — деньги.

Время — деньги: ни того нет, ни другого. Вертись в расчетах, прикидывай, можно ли второй стакан чая выпить или лучше так перебиться: у Людмилы Павловны скоро день рождения, на подарок скидываться придется, да и на девичник; так уж «самой» заведено, а она начальница. Значит, надо считать.

И Клава Сомова считала. Шевеля губами и усиленно морща кругленький, как у ребенка, лобик, складывала, делила и прикидывала, от чего нужно отказаться, чтобы что-то купить, как исхитриться, чтобы чего-то не покупать, и сколько раз можно пойти в кино, чтобы не залезать в долги. У нее никого, решительно н и к о г о не было во всем белом свете, кроме бабки Марковны, которой она ежемесячно посылала десятку. Это перенапрягало ее бюджет, но мама у края жизни просила за старуху, и Клава исполняла последнюю волю, хотя бабка эта ни с какой стороны не приходилась ей ни родственницей, ни даже знакомой. Клава знала в общем мамину историю, в подробности не вникала и слала деньги безропотно и бесперебойно. Она свято следовала маминим заветам, потому что считала маму умной, а еще потому, что ничего не имела, кроме этих заветов. Да и заветов-то было всего три.

Первый: жить так, чтобы, боже упаси, не влезать в долги, а, наоборот, ежемесячно что-то откладывать. Хоть рубль мелочью.

— Одна ты, Клавочка, а советчики далеко. Жизнь длинная: где споткнулась, где перегнулась, а где и сплеховала.

Клава в деньгах держалась, а в жизни раз сплеховала. Все, правда, за государственный счет сделали, но стыда нахлебалась. Врачиха три раза на беседу вызывала, о совети говорила, о женской гордости и о том еще, что нерожавшей опасно аборт делать: детишек может никогда уж не быть. Но Клава глядела на свои руки, пылала ушами да твердила, что мама неизлечимо больна, а потому чтоб дели все поскорее.

Второй завет — каждый месяц Марковне десятку отсылать. За то, что мама тоже была одна и в войну не эвакуированной оказалась, а просто беженкой: прибежала в город Пронск из города Красного в августе сорок первого в чем из постели выскочила и рухнула от страха и голода на улице Кирова. Очнулась у Марковны — да так у нее и

осталась. После войны в Москву подалась, дочь родила. И ей теперь завещала бабу Марковну, будто самое бесценное сокровище.

— Себе откажи, а Марковне чтоб каждый месяц. Денег не будет — платье последнее продай. За добро добром платят.— Мать пожевала искусанными губами.— А если случится что плохое, если совсем неумогу станет или обидит кто — к Марковне поезжай. Поняла? К Марковне.

Клава никогда и в глаза-то эту Марковну не видела, а деньги текли и текли, как при маме: за добро платили чем могли, и эта вырванная с кровью десятка тяжелее тянула, чем иные тысячи.

Мама помирала в больнице. В послеоперационной палате, куда никого не пускали, а Клаву пустили, дверь в коридор не закрывалась, напротив находился пост, виднелись край стола и пола сестринского халата. И мама последний завет шептала на ухо, чтоб не конфузить дочь, которой уже исполнилось двадцать, но которую она с материнским упорством продолжала считать несмышленной:

— Гуляй с оглядкой, мужик пошел ненадежный. На слово никому не верь. По себе знаю, как поверить захочется, когда скажут, что любят, а ты меня вспомни. А если и тебе счастья не выпадет, тогда...— Мать помолчала, колеблясь.— Тогда, как я, сделай. Подбери мужчину, чтоб непьющий, и роди. Тяжко одной ребенка тянуть, а век одной вековать еще тяжче. Так что рожай, благословляю. Коль в двадцать пять замуж не выйдешь — рожай, велю...

Этот последний завет воспринялся особо, недаром мать шептала его, щекоча ухо. В нем было не только будущее, но и прошлое, потому что мать в свои двадцать пять поступила так, как сейчас наказывала дочери, исплакавшись в одиночестве и не надеясь более выйти замуж. Приглядела чужого, да зато почти что непьющего, завлекала, исхитрялась в общежитии его принимать, рискуя пропиской, работой и комсомольским добрым именем. И думала сейчас, что рак у нее оттого, что никогда она полностью страсти не тратила и в мужских руках прислушиваясь к шагам в коридоре. Женщины, которые лежали с нею в многочисленных больницах (мама долго помирала, целых два года), в один голос утверждали, что ничего нет для их организма хуже, чем страсть эта половинная, чем богом проклятая однобокая любовь в общежитиях, что все женские недуги оттого, что ни засмеяться, ни вскрикнуть не смели они, и что будто бы это все сильно влияет на детей, напуганных еще до собственной своей жизни. И, наставляя сейчас дочь, умирающая стремилась вложить в нее решимость, которой

и самой-то недоставало. И еще — снять с себя непонятную, тревожащую тяжесть. Не физическую, а какую-то иную: мать не знала, откуда она взялась, эта тяжесть, но интуитивно жаждала откровения. Заложенная в ней нравственность, не придавленная соображениями, как ловчее устроиться, шевельнулась вдруг, расправила крылья и попыталась подняться над бытом, житейскими уловками, компромиссами и допущениями, но мать не знала, что такое душа и как она корчится, стыдясь того, в кого вложена, а потому, стремясь облегчить взлет собственной нравственности, учила дочь, как обойтись без нее.

Клава не почувствовала мучительной двойственности, которая так терзала мать в последние часы жизни. Она тоже ничего не знала о душе, а потому и совесть и нравственность были для нее понятиями абстрактными, существующими сами по себе и, конечно же, отдельно от нее, как пункты морального кодекса. Она покорно выслушала маму, то и дело вытирая слезы, поняла, что та сказала, но поняла умом, как и была приучена понимать. А ум склонен прикидывать, и Клава, слушая и согласно всхлипывая, уже решала, что это ей не подходит, что она по женским статьям лучше матери, а потому очень скоро встретит замечательного мальчика и они зарегистрируются во Дворце бракосочетания. И это было вполне естественно, и по-иному Клава и думать не могла, потому что ей исполнилось всего двадцать и она была убеждена, что молодость ей — навсегда.

В двенадцать Клава считала себя очень красивой, в шестнадцать — очень хорошенькой, в двадцать — очень симпатичной, а потом поняла, что все горазды потискать, но никто не спешит с предложением. В восемнадцать у нее был жених, но пожениться решили, когда он отслужит в армии, а на проводах Клава позволила, и жених растворился, как сахар. Мама тогда еще была жива, лежала в больнице по первому разу, все случилось у них в комнате, но соседка оказалась замечательным человеком и только за то ругала, что Клава чересчур расцедилась.

— Мужиков томить надо, подруга. Чем крепче томишь, тем дольше любовь. Ясно тебе?

— Как — дольше? — Клава считала, что любовь, как и молодость, концов не имеет; ее разуверяли, приводя примеры из кинофильмов и даже из художественной литературы, но она все равно так считала.

— Дольше с этим, — пояснила соседка Тома. — Потом другой будет, но его же найти надо!

Это было давно (четыре года прошло!), а женихов не было. Никто не дарил цветов, никто не водил в кино, никто

не целовал в полутемном подъезде так, что хрустели косточки. Каждое утро, вглядываясь в зеркало, Клава со страхом подмечала, что глаза начали выдавать в ней какую-то особую, ночную, совиную бесщужность одиночества. И тогда ей казалось, что уже не помогают загадочные тени на веках и даже новый лифчик, так ладненько сделавший фигурку, и она часто плакала по ночам.

Подходили ее сроки, веселая тревожность юности сменялась тоскливой суетливостью; Клава уже не срывалась вдруг на шумную улицу в безумной надежде именно сегодня, сейчас встретить того, кто будет любить ее всю оставшуюся жизнь, а плелась на кухню, где можно было встретить либо Липатию Аркадьевну, либо шалопутную Томку. С Липатией она пила чай, без любопытства выслушивая длинные рассказы о длинных романах, в которых бывшая администраторша всегда первой бросала влюбленных в нее знаменитостей.

— Вы помните Павла Стахова, Клавачка? Знаменитый был артист, знаменитейший! Женщины в провинции так и падали, так и падали. В окна по водосточным трубам на пятый этаж лазили, ей-богу! Ах, как он был влюблен в меня, как влюблен! Однажды прислал трамвай, набитый букетами. Ландыши, ландыши! Весь пол моего номера был усеян ландышами, и я не устояла. Вы — женщина, вы бы тоже не устояли. Я рухнула на эти ландыши как подкошенная...

Клава уныло удивлялась: с истасканной, заштукатуренной, как общежитие, Томкой было веселее. Свои романы она не сочиняла, а раскручивала здесь же, в их коммунальной квартире на трех одиночек. Начав знакомство с утверждения, что мужиков томить надо, она теперь уже не утверждала, а спрашивала:

— Томишься, подруга? Хочешь приведу для здоровья?

Клава испуганно отказывалась. Сначала брезгливо и громко, потом просто громко, потом тихо, потом... Потом были воскресенья, весна, солнце, воробьи. Клава мыла окна, надев старенький, еще школьный халатик, из которого давно выросла и теперь торчала плечами, животом, коленками, бедрами. Липатия уехала в гости, о чем важно и звонко объявила, соседка тоже прибиралась, грохоча за стенкой, и на душе у Клавы было на редкость покойно. Она с удовольствием наводила чистоту и даже что-то напевала, когда вошла Томка.

— Поешь, подруга? — Она замолчала, вглядываясь в стоявшую в оконной раме Клаву. — Симпомпончик! — Деловито понизила голос: — У меня сантехник замок вставляет.

Ничего парень, плечистый. Как кончит, скажу, чтоб к тебе зашел.

Клава хотела возмутиться, хотела отказаться, хотела затрясти головой и — не смогла. Почувствовала, как бросило в жар, как всю ее тянет: ноги, плечи, спину, живот. Сердце забилось, а грудь сжало, и она с ужасом услышала собственный лепет:

— Неприбратая я.

— Нормально, подруга, ты сейчас как люля-кебаб, аж скворчишь.

— Тома! — отчаянно зашипела Клава, спрыгнув с подоконника. — Я не знаю. Тома, я...

— Попроси окно закрыть, мол, измучилась, не закрывается. Потом бутылку на стол... Есть бутылка или одолжить?

— Тома, я боюсь.

— Для здоровья, подруга! Это ж — как анальгин принимать.

Клаве было и страшно и гадостно, а тело уже ломило и крутило, и все в нем ждало и жило сейчас надеждой. И уже недоставало сил сказать: «Нет!», уже глаза поглядывали на кровать, а дрожащие руки сами собой поправляли, взбивали, пушистили волосы...

Томка оказалась права: как анальгин. А после горько. И противно, и себя жалко, и вообще скверно. А дни бежали друг за дружкой, и Клава, засыпая, уже начинала подумывать о последнем мамином завете. И яростно презирала себя, вспоминая бесцеремонные пьяные руки...

2

Если оценивать Клаву Сомову сторонним мужским взглядом, то следует признать, что взгляд этот мог запросто с кем-то ее спутать. Небольшого росточка, полненькая, несмотря на отчаянные старания не полнеть, девушка с напряженным взглядом больших зеленых глаз, короткими волосами, толстенными, как подставочки, ножками была обыкновенно мила или мила обыкновенно. А если добавить к этому свойственную ей незаметность и всегда почему-то чуть растерянные движения, то выделить ее из московской толпы было совсем не просто. Тем более что и охотников выделять пока не находилось.

В этом были повинны два факта. Во-первых, как считала Клава, имя, которым наградила ее крестная мать. Теперь так никого не звали, имя казалось старушечьим, и, знакомясь, что случалось, правда, крайне редко, Клава пред-

ставлялась Адой, а потом забывала откликаться. Но тут уж ничего нельзя было изменить: она еще в шестнадцать написала насчет изменения имени в молодежный журнал, а оттуда ответили, какое это прекрасное имя и сколько Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда было с этим прекрасным именем. Но не станешь же мальчику при знакомстве о героинях рассказывать, вот и приходилось называть себя Адой. Это звучало красиво, коротко и немножко даже таинственно.

А второй факт: в их отделе координации встречного планирования, который, между прочим, подчинялся непосредственно главному управлению, мужчин вообще не водилось. Была начальница Людмила Павловна, была заместительница Галина Сергеевна, были старший инженер Вероника Прокофьевна и были девочки — Наташа, Оля, Лена, Катя, Таня, Ира и еще одна Наташа. Вот и весь коллектив, правда, очень разнородный. Галина Сергеевна, к примеру, замужем, Вероника Прокофьевна — брошенная, Оля — мать одиночка (ее все в отделе «мапой» звали; «мама плюс папа равняется мапа», — как Лена однажды выразилась), Наташа — разведенная, а вот Катя — счастливая: и замужем, и с малышом, и с двумя бабками, почему и училась в институте на вечернем отделении. И Таня тоже — вот-вот счастливая: с влюбленным женихом, папой да мамой и третьим курсом того же вечернего. Ну, а остальные — «ждущие», где окажутся: в брошенных, разведенных или «мапочках», как та же Ленка шутила. Шутить шутила, но сама не ждала: гуляла громко, звонко, отчаянно, «ночи напролет и дни навывлет». Никаких тайн она не признавала, говорить ей что-либо секретное было невозможно, но зато и над своей жизнью покрывало не опускала. Очередным своим «мальчишам» приказывала за нею на работу заходить и обязательно представляла всему коллективу:

— Номер тридцать девятый. Как тебя? Ах да, вспомнила: Андрюша. Точно?

А на другой день интересовалась:

— Ну, как вам мой свеженький?

Одобрjali редко. Чаще плечами пожимали, а Вероника Прокофьевна хмурилась и губки подбирала:

— Что ты нашла в нем, Елена? Не одобряю. Поматросит да и бросит, уж я-то их знаю.

— Так хоть поматросит! — хохотала Лена.

Она знала цену бабским пересудам и водила своих очердников, чтобы позлить родной отдел. Когда удавалось, смеялась, весело закидывая голову: зубки были ровненькими, беленькими, всегда ждуще влажненькими. Она очень

хотела, чтобы Ирка сдохла от зависти, но молчаливая, вся из себя такая загадочная Ирочка только улыбалась.

— По мелочи размениваешься, мать.

Вот за нею никогда никто не заходил, но все отлично знали, что если уж перед обедом солидный мужской голос попросит к телефону Иру, то после работы за ближайшим углом ее будет ждать темно-вишневый «жигуль», и Ирочка полетит к нему, асфальта туфельками не касаясь. А на следующий день у нее непременно появится картинная вялость, таинственные намеки на сквозняк в ресторане, и вся она будет особенно дерзко источать волнующий аромат французских духов, маленький флакончик которых стоил половину зарплаты. Таких духов не было ни у кого из знакомых, и Клава считала, что их выпускают только для киноартисток.

— Глупая ты, Клавдия,— сказала Наташа Разведенная.— Да духи эти нарасхват...

— Да кто же это из женщин их позволить себе может? — ахнула Клава.

— А они не для женщин выпускаются.

— А для кого же? Для мужчин, что ли?

— Именно что для мужчин. Вот увлеку какого-нибудь артиста-замминистра и получишь.

— А как же Ирочка? — шепотом спросила Клава.

— А вот как раз так же! — засмеялась Наташа Разведенная.

Лена и Ирочка были самыми знаменитыми девочками: у остальных все было обычным. Обычные интересы, обычные заботы, обычные секреты и обычные увлечения. Все они вечно куда-то спешили, вечно куда-то опаздывали, вечно кого-то ждали и всегда боялись, что кто-то куда-то не придет, а если и придет, так чтоб сказать: «До свиданья, дорогая, у меня уже другая». Оба телефона в отделе были постоянно заняты, и начальница Людмила Павловна сочла нужным распорядиться, чтобы по ее личному аппарату не звонили хотя бы до обеда. Девочки постоянно болтали о том, что где дают, кто что достал, перешил, связал или собирается доставать, шить или вязать. Не проходило дня, чтобы кто-то не притаскивал на работу сапожки, кофточки, туфельки, свитерочки, платья, юбки, и все детально обсуждалось, оценивалось и примерялось. И Клава носила, когда что-либо удавалось раздобыть, и Клава примеряла свое и чужое и горячо обсуждала свое и чужое, живя кипучими интересами всего отдела и стыдливо завидуя двум загадочным — Лене и Ирочке,— которые жили забубенной, пугающей, грешной, но звонкой и необыкновенной жизнью.

Отдел существовал по своему расписанию, и самым святым в этом расписании был час обеда. Кроме него, имелись еще два чая: один — до обеденного перерыва, второй — после него. Первый чай был необходим для разгрузки официального перерыва: напившись чаю с купленным в складчину тортом, пирожками или захваченными из дома бутербродами, женщины в обед бежали по магазинам. Семейные устремлялись за продуктами, одинокие спешили на разведку в промтоварные. Если кто-то где-то на что-то нарывался, то брал не только для себя. Это позволяло коротать второй, послеобеденный чай в благодушной атмосфере примерок и советов. Притом они неторопливо и старательно исполняли основную работу, успевали проводить профсоюзные и комсомольские собрания и были на хорошем счету.

Конечно, единственно потому, что руководила ими Людмила Павловна. Суровая, можно сказать, даже грозная начальница, но всем девочкам было известно, какая отзывчивая у нее душа. Год назад Вероника Прокофьевна вдруг пропала. Недавно на работу оформилась, с начальством за принципы сражалась — и нет ее. Ну нет, так нет, никто особо и не задумался, но Людмила Павловна заволновалась, забеспокоилась, и все узнали: от Вероники, оказывается, муж сбежал, и она так это переживала, что угодила в больницу с нервным расстройством. Вот там-то ее и обнаружила Людмила Павловна. Нашла, поговорила с врачами, организовала посещения, чтобы не всем табуном ходить, а каждый день по одной. И когда какие-то особые лекарства понадобились, на всех своих знакомых нажала и добыла то, что требовалось. Выходила Веронику Прокофьевну, подняла ее, пригрела, в специальный санаторий путевку достала, можно сказать, с того света к жизни вернула. И — в свой отдел на прежнюю должность.

Вот какой необыкновенной женщиной была Людмила Павловна. Все это понимали, все всё знали и все же чуточку побаивались. Естественно, про себя. И не потому, что была начальница безулыбчивой, как стихия, а потому, что точно знала, как надо поступать, как надо говорить и как следует реагировать, и не было — да и быть не могло! — ни одного вопроса, на который у Людмилы Павловны тотчас не сыскался бы ответ.

- Приличная женщина этого не наденет.
- Приличная женщина грудь не выпячивает.
- Приличная женщина на такое кино не пойдет.

Никто не спорил, но зато никто особо и не рвался в «приличные женщины». Тем более что определение страдало

непостоянством, и если, скажем, вчера «приличная женщина» никак не могла надеть мини, то сегодня она же твердо была убеждена, что удлиненная юбка уродует фигуру. Гораздо меньшим изменениям подвергалось другое унифицированное определение, которое употреблялось по отношению к миру внешнему, но несколько не реже: «советская женщина». Людмила Павловна не просто произносила привычные заклинания — она искренне полагала, что в них-то и заключена вся премудрость мира и потому ни о чем постороннем можно более не думать. А посторонним было все, что не касалось ее непосредственно.

Работа — касалась.

— Социализм — это учет, — произносила Людмила Павловна так, будто сама додумалась до этого максимум полтора мгновения назад. — Значит, наш отдел — самое социалистическое учреждение.

Последняя абракадабра действительно являлась ее творчеством. Все должно было быть учтенным, разложенным по полочкам и расписанным по параграфам. И так бы и случилось в руководимом ею коллективе, если бы не одно досадное обстоятельство: коллектив был женским, а женщины ничего не имеют против того, чтобы быть учтенными, но терпеть не могут полочек и яростно сопротивляются параграфам. И, привычно произнося формулы типа «приличная женщина» и «советская женщина», Людмила Павловна никогда не забывала делать поправку на специфику своих подчиненных.

Метод был проверенным: почаще бывать с народом. Девичники, дни рождения, квартальная премия — все могло быть предлогом, а если календарно наступал тихий период, то изыскивалась возможность встряхнуть коллектив энциклопедическим путем:

— Девочки, сложитесь, сколько там... Вероника Прокофьевна прикинет. Наташу Маленькую от работы освобождаю. Никаких излишеств. Наташа: торт, конфеты, немного вина. Как обычно.

— Это ж в честь чего? — спрашивала отчаянная Лена.

— Стыдно, — со строгой паузой говорила начальница, хмурясь сквозь очки. — Сегодня много лет назад прогрессивнейший человек своего времени и, между прочим, личный друг Карла Маркса закончил четвертую главу своего великого труда «Женщина и социализм». Неужели же мы, советские женщины, которым, по сути, и посвящался этот гигантский труд...

Все виновато замолкли. Вероника Прокофьевна подсчитывала, на столько тянет четвертая глава, а Наташа Ма-

ленькая готовилась к походу по магазинам. Она называлась Маленькой не из-за роста и уж тем паче не из-за возраста, а по совершенной пришибленности, была безропотна, безголова, безотказна — все «без», а потому числилась любимицей, получала премии и по субботам ходила к начальнице убирать квартиру.

Из старших — тех, кого уважительно называли по имени и отчеству, — самостоятельной считалась Галина Сергеевна. Вероника Прокофьевна, поначалу изображавшая из себя нечто очень прогрессивное, с уходом мужа потускнела, как нечищенный самовар. И во всем отделе оказалась одна «независимая держава» — как выразилась Наташа Разведенная — Галина Сергеевна. Поэтому к ней относились по-особенному, да и сама она была особенная. Людмила Павловна всегда ставила ее в пример остальным, хвалила со всех трибун, но — разве от девочек скроешь? — завидовала. И однажды не выдержала, сказала ближайшим, то есть Веронике Прокофьевне с Наташей Маленькой:

— Господи, да за шофера и я могла выйти. Хоть двадцать раз.

Естественно, крик души этот быстренько Галине Сергеевне передали, женский телеграф сработал. Ожидали, как она выкрутится, а заместительница так ответила, что тему эту тут же навсегда и закрыли:

— Женщина, девочки, за мужчину замуж выходит.

И никто — ни старшие, ни младшие — не догадывался, что за фасадом современной деловой женщины скрывается совсем не уверенная в себе жена и мать. Что прекрасная фраза верна лишь теоретически, а на практике Галина Сергеевна — в те времена еще просто Галка — вышла замуж за весьма целеустремленного человека.

— Решаем так, — сказал он сразу же после регистрации их брака. — В институт идешь ты — и помоложе, и память у тебя имеется. Это — первое. Ребенка заводим, когда ты на четвертом курсе будешь, оттуда уже не выгонят. Ну, а потом — машину с ветерком, и все у нас будет как у людей.

Галина Сергеевна родила девочку, защитила диплом, устроилась на хорошую работу, оставалась машина, чтоб «как у людей». Копили, отказывая себе во многом, но девочка оказалась болезненной, и деньги шли на врачей и санатории. Муж тихо пилил, а Галина Сергеевна, постоянно ощущая на своих плечах непомерную тяжесть благодарности, вечерами плакала, днем завинчивая нервы до последнего витка.

Вот так в подспудно равновесном кипении и пребывал отдел квартал от квартала и год от года. И еще бы долго

пребывал, если бы Клава Сомова не потеряла квартальную сводку. А квартал был на исходе, запрашивать дубликат означало нарушать сроки и лишитъ всех премии, и Клава некрасиво ревела, роясь в папках и шмыгая носом. Ревела она не от страха, а от пропажи этой проклятой сводки. Она искренне рвалась исполнять любые распоряжения, с удовольствием бегала на субботники, ездила на овощную базу или в колхоз. Она всегда трудилась на совесть и не могла по-иному трудиться, потому что мама говорила ей: «Если надо, Клабочка, то тут уж и через «не могу» все равно надо, ничего не поделаешь». Это когда она не хотела по утрам идти в детский сад. А теперь потеряла сводку, и все вдруг взорвалось.

Это Клава так считала, что взорвалось из-за сводки. А на самом-то деле все было чуть-чуть не так. На самом-то деле в главке выдали служебную тайну:

— У вас сокращение штатов.

Галина Сергеевна узнала об этом за неделю до Клавиной потери, Людмила Петровна — за месяц. Но начальницы это не касалось, а заместительница рыдала весь вечер. И когда пришел домой муж, зарыдала еще сильнее:

— Должность сократили! А я одна там тянула всю работу, как каторжная, а меня же и сократили!..

Муж помрачнел, походил, подумал. Долго курил на лестничной площадке и вернулся, просветлев:

— Какое у начальницы образование? Общее руководящее? А у тебя — по специальности. Туз. Основную работу кто ведет? Ты. Король. У кого большая дочь? У нас. Дама. У кого муж — рабочий класс? У тебя. Валет минимум. При таких козырях можно смело играть. Приписывали?

— А как же иначе главк премию получит? А мы — от главка.

— Вот и подсунь приписочки за прошлые года. Нет, не сразу, конечно, тут подумать надо.

— У нее везде руки.

— Так это ж нам плюс. Ей устроиться легко, а испачкаться страшно. И когда почувствует, что может биографию замарать, сама сбежит. Да еще тебя на свое же место порекомендует.

Вот такая началась неделя, и то, что Клава посеяла сводку, ровно ничего не значило. Пока. Пока заместительница не сообразила, как под эту утерянную сводку подсунуть прошлогодние приписки.

Это был тот редчайший день, когда у каждой имелось дело, жесткий срок и цифры, с которыми манипулировать надо очень внимательно, чтобы не запутать и без того

безнадежно запутанный суммарный баланс. И все обсчитывали свое, Вероника Прокофьевна прикидывала общие цифры, а Галина Сергеевна готовилась подогнать их под результат, чтобы получить две десятых процента сверх. А сама Людмила Павловна выполняла в эти часы главное: звонила бывшим однокашникам и в дружеской беседе узнавала, обещала, проверяла и напоминала, что без ее отдела они до конца дней своих не согласуют друг с другом собственных результатов.

— Антоныч, привет, Людмила Лычко беспокоит. Как жизнь, как половина? Целуй ее, она у тебя золото. А дети? Ну, что же ты хочешь: большие дети — большие заботы. Не отдыхал? Куда думаешь? В совминовский, конечно! Ну, бог даст, там и повстречаемся, если с путевкой не подведут. Что? Вот-вот, и я о том же. Какой у тебя план-то? А если по-честному? Так кто же вас увяжет, если не Людочка? Вот эту цифру и запишем, я ее с Гладышева получу. Да, да, ни больше ни меньше, со всей дамской аккуратностью. Господи, что бы вы делали без меня? Ну, можешь спать спокойно, поцеловались, перезвонимся...

Работа кипела, Клава редела, и никто не спрашивал, с чего это она ревет. Если в одном месте собрано более пяти женщин, редкий день обходится без слез. Когда делать особо нечего, интересуются, с чего это сослуживица в слезы ударилась, а когда дел по горло и ни в одном нуле ошибиться нельзя, самой зареветь хочется. Но спросить рано или поздно должны были, вопрос назревал не из любопытства, а по необходимости; Клава ощущала, что вот-вот он прозвучит, и редела еще отчаяннее.

— Клавдия, сводку.

Клава хотела ответить: «Сейчас!», чтоб оттянуть, отсрочить гнев, потом хотела просто взять да и убежать, потом еще чего-то захотела, но, себя пересилив, сказала еле-еле:

— Утерялась.

И хоть прозвучало еле-еле и слово-то вылетело не очень понятное, а все девочки считать перестали и на нее уставились. Наташа Маленькая сказала «Ой!», а Вероника Прокофьевна подошла к усыпанному входящими-исходящими Клавиному столу и отдельно произнесла:

— Совершенно секретный документ. Мы обязаны сообщить куда следует.

Тишина наступила: скрепку урони — грохотом отзовется. Все замерли и встали, будто на Клавиных похоронах.

— Да бросьте вы девчонку пугать,— тихо сказала Галина Сергеевна.— Переливаем из пустого в порожнее, а воображения, будто и вправду военные тайны. Оля, достань

прошлогодний отчет, возьмем среднее с поправкой на перевыполнение.

А саму радостно затрясло вдруг: вот он, момент, о котором муж толковал. Вот случай зайти с козырного туза, пока горячка, пока не разобрались, пока заняты все по горло. Оля уже у стеллажей копалась, а Галина Сергеевна с трудом ажиотаж сдерживала. Но не сдержала, влезла в спор, показав козырного туза раньше, чем пошла с него.

— Странно вы себе представляете наше учреждение,— поджав губы, сказала Вероника Прокофьевна посторонним голосом.

— Оно и есть странное,— усмехнулась заместительница.— Вот подсчитают нашу выдачу годного без коэффициента приятельства и закроют нас навсегда. И что, по-вашему, случится? Да ровно ничего, кроме реальной экономии народных...

Тут раздался грохот: мапа Оля отчетный том уронила. Все вздрогнули, оглянулись и еще раз вздрогнули: в дверях стояла Людмила Павловна.

3

— Томишься, подруга?

Клава не томилась, а гладила. Она любила гладить: от белья шел теплый парок, уютг творил гармонию, и все хорошо складывалось. И уютно думалось, чисто по-женски: ни о чем и обо всем сразу. А Томка вошла без стука, задала дурацкий вопрос, на который Клава давно уже научилась не отвечать, и села напротив. Глаз у нее был перевернутый, и Клава решила, что соседка опять влюбилась и опять в женатого.

— Гладим да стираемся, а для кого стараемся? — стихами вздохнула Томка.— Пошли ко мне. Водку пить.

— Сейчас борьба объявлена, и я водку не уважаю.

— На шампанское наляжешь ради борьбы. Пошли, пошли, юбилей сегодня.

В Томкиной комнате Липатия Аркадьевна, мурлыкая, накрывала на стол. Томка кутила на славу — с водкой, шампанским и красной икрой, но на столе было ровно три прибора. Томка поглядела на них, потрясла крашеной гривой и налила рюмки.

— Я водку не уважаю,— упрямо повторила Клава.— И борьба...

— Заткнись ты своей борьбой,— буркнула подруга.— Кладите закуску сами, ухаживать некому.

— Мне рассказывали, что водка исключительно завоевала весь мир,— сказала Липатия, изящно накладывая закуску.— Странная судьба женщины: поклонники не вылезают из-за границы, а наш удел — ожидание. Век стрессовых нагрузок и одиночества, что же вы хотите?

— Хотим, чтоб не было одиночества.— Тамара сердито тряхнула кудрями и подняла рюмку.— А у меня юбилей. Тридцать тли годика, как одна копеечка. До дна, подруги! Кто хоть каплю оставит, за зло посчитаю.

Напились. Томка ревела зеленой тушью и приставала:

— Нет, ты объясни, почему мы такие ненужные? Нет, ты все разясни, раз ты такая умная.

— Мы нужные, но мужчина ныне земноводочный. Цветов не дарит и без водки не вздыхает. И давайте петь. Я ехала... Я ехала в метро... Куда я ехала?

— Нет, ты скажи. Ты прямо скажи!..— приставала именинница к Липатии, которая хотела петь, ибо втайне считала себя непризнанной.

Но с пением пока не получалось, потому что Липатия никак не могла вспомнить мотив и слова одновременно, а вспоминала в розницу, и песня не складывалась. Клава громко икала, наглотавшись колючего шампанского.

— Нет, ты мне объясни, почему это я всегда третья лишняя? Если б размазня была вроде Клавки или старуха вроде тебя, тогда б у матросов нет вопросов. Так или нет?

— Объясняю,— враз протрезвев от обиды, сказала Липатия Аркадьевна.— Вы, Тамара, хорошая женщина, но, извините, неинтеллигентная. Вы задаете проблемы, которые давно решены человечеством. Вот, например, знаменитый Лепольд Миронович. Умница, чудо, какой талант, в меня — без памяти! Стреляться хотел.

— Чего же не застрелился?

— Да, так о несоответствии и одиночестве,— невозмутимо продолжала клопочущая от незаслуженных обид Липатия.— Женщины нужны для семьи и для страсти, и делятся они не по красоте и тем более не возрасту — это вообще, я извиняюсь, не принцип, если хотите знать,— а исключительно на жен и гетер.

— Ч-чего? — икнув, переспросила Клава.

— Точно! — Томка стукнула кулаком по столу и выругалась.— Точно, подруги, гитары мы, поиграют и откладывают. И бегом к своим законным. А еще говорили мне, что имя все определяет.

— Имя? — насторожилась Клава, сразу перестав икать.

— Имя, подруга, вот я — Томка, так мне всю жизнь мою томиться. Ты — Клавка, тебе кланяться.

— А я?

— А ты всю жизнь к мужикам липла, как пластырь, потому-то тебя с эстрады и выперли. Ну, чего, чего вытаращилась? Вцепиться в меня хочешь? Попробуй, я тебе последние волосенки начисто сведу.

— Девочки, девочки,— заверещала Клава.— Поцелуйтесь, девочки, милые, ну, прошу, ну, умоляю в смысле...

Поцеловались. Липатия поплакала, еще выпили, кое-как песню спели. А потом хорошо помолчали, душевно, и Томка сказала:

— Мы сверху только запачканные, вот что я вам скажу. А внутри мы чистые и, если нас поглядить хоть маленечко, сверкать начнем, что хрустальные бокалы. Точно говорю, подруги, на нас весь мир держится, мы, можно сказать, последний его шанс.

Так сказала истасканная, перештукатуренная, все знающая Томка, тринадцать лет глядевшая на мир из окошка кассы предварительной продажи железнодорожных билетов. Ее бросали и предавали, ее спаивали и продавали, а она все равно в хрусталь свой верила. И звенел тот хрусталь в ней в тот забубенный ее вечер, потому что исполнилось Томке ровнехонько тридцать три годика.

А на другой день Клаву лишили квартальной премии. Десяти рублей, на которые она очень рассчитывала. Но не просто лишили, а изъяли, и это было особенно обидно.

После обеда Наташа Маленькая принесла ведомость.

— Распишись.

Клава расписалась, Наташа забрала ведомость, но, вместо того чтобы выдать десятку, сказала:

— Тебе Людмила Павловна велела зайти. Сейчас же.

Клава испугалась. Она безотчетно боялась всякого начальника, но начальника в кабинете боялась неизмеримо больше. Кабинет как бы в степень возводил живущий в ней трепет, обладая самостоятельным влиянием, как обладает самостоятельным влиянием, скажем, каток для трамбовки асфальта: катится будто без человека, будто сам по себе, а попробуй-ка не уступи ему дорогу. Так и кабинет с ковровой дорожкой, голым, как Манежная площадь в полночь, столом и дубовыми панелями катится на подчиненного, а уж коли в него вызывают, то и самые отчаянные останавливаются перед дверью, чтобы начать вхождение с левой ноги.

— Вызывали меня? — спросила Клава, от страха забыв поздороваться.

— Признаешь себя виновной? — выдержав бесконечно начальственную паузу, спросила Людмила Павловна.

Клава начала многословно объяснять, но все равно

получалось, что сводка потерялась сама собой, без всякого Клавиного участия. Людмила Павловна слушала молча, и Клава стала увядать, еще не закончив рассказа.

— Вот твоя премия.— Начальница открыла папку и показала Клаве десятку.— Порядочные люди сами от нее отказываются, если понимают, что она незаконна. Ты могла это видеть в кино.

Для Клавы эти десять рублей были не премией, а долгом Липатии Аркадьевне за перешитые брючки из искусственного вельвета. Брючки эти стали узки мапе Оле, и мапа Оля предложила Клаве их совсем по дешевке. Клава обрадовалась, отдала деньги, и перешивать пришлось в расчете на премиальный червонец. И теперь она молчала не от несогласия, а от напряженных арифметических действий. Конечно, очень правильно поступил тот принципиальный товарищ в кино, который отдал свою премию как незаслуженную, но у него же наверняка с долгами был полный порядок. И Клаве сейчас было очень стыдно не перед коллективом, не перед страной и даже не перед Людмилой Павловной — ей до ушного пожара было стыдно перед Липатией Аркадьевной, уволенной год назад и теперь перебивающейся случайными заработками.

— Ты нанесла коллективу моральный удар,— говорила тем временем Людмила Павловна, все еще держа купюру за уголок на уровне глаз.— Поэтому я считаю, что будет правильно, если ты откажешься от премии в пользу пострадавшего коллектива.

— А брючки? — шепотом спросила Клава.

— Можешь быть в них,— великодушно согласилась начальница, которая все-таки была женщиной.— Если тебе хочется, я не возражаю.

Клава смотрела тупо, окончательно перестав соображать. Впрочем, от нее и не требовалось соображать, от нее требовалось «принять к сведению».

— Значит, товарищеский чай по случаю удачного завершения квартала за твой счет. Ты все поняла? Я передаю твою премию Наташе Маленькой для закупок.— Начальница поправила очки, подождала слез, не дождалась и помягчела.— На чай можешь прийти в брюках.

На чай Клава в разрешенных брюках не пошла, потому что их не на что было выкупить. Конечно, Липатия Аркадьевна отдала бы и так, но Клава считала это бессовестным и наврала, будто брюки ей начальница носить запретила. Понятное дело, чай (это ведь везде так называется: «чай») в десятку не уложился, Веронике Прокофьевне пришлось потрудиться над калькуляцией, но на всех вышло

заметно меньше, чем обычно. Девочки обрадовались без вопросов, а Галина Сергеевна спросила:

— Торты подешевели? Или конфеты?

— Сомова угощает,— съязвила Вероника Прокофьевна.

— Понятно,— сказала заместительница, ощутив в руках еще один очень серьезный козырь.

Клава все приняла как должное — раз велели, какие еще сомнения! — никому ничего не сказала, но, выйдя тогда из кабинета, почувствовала такую тоску, такую потребность, чтоб хоть за поллитру пожалели, что, пострадав и пометавшись, позвонила давнему, Томкой предложенному «анальгину» на работу и попросила прислать сантехника в квартиру номер семнадцать. Такой договоренности, правда, не было, и слесарь одиннадцать раз являлся незванным: жаждал утвердиться. Но Клава проявляла решимость и с помощью Томки всегда выпроваживала гостя несолоно хлебавши, а сейчас, сидя на девичнике, украдкой поглядывала на часы. Первой обычно уходила мапа Оля, и Клава держалась подле, чтобы сбежать под прикрытием. И как только мапа Оля поднялась («К сынуле!..»), выскользнула следом.

Слесарь ждал, хмуро подпирая стену. Поворчал насчет баб, которые время рассчитать не могут, и поехал на их этаж следующим лифтом: за счет разницы в лифтах Клава должна была отпереть входную дверь и крикнуть Липатии (если она дома), что-де это она, Клава, пожаловаться на головную боль и попросить до утра не беспокоить. Потянув время, Клава вошла в свою комнату, где, по-крысиному нацелившись, уже сидел сантехник; достала поллитру и отправилась в ванную. Приняв душ, надела тот самый халатик, из которого торчала частями, и, превратившись таким образом в люля-кебаб, вернулась к себе. А слесарь к тому времени прикончил ровно половину бутылки.

Женщину можно лишить любви, но лишить ее надежды на любовь еще никому не удавалось. Сколько бы раз она ни обманывалась, сколько бы раз ее ни обманывали, женщина упрямо будет верить, имея один шанс из тысячи. Так уж она создана, и никакие социальные, научно-технические и прочие сдвиги ничего изменить не могут. И когда подвыпивший гость схватил Клаву в дверях, ей сразу же почувдилось: любит. Любит! Ну, не может же с таким пылом тащить, если в сердце ледышка? Или может? А?.. Нет, не может, не может, и Клава то ли от обиды из-за десятки, то ли с трех глотков вина на «чае» бахнула:

— А ты... Ты меня любишь?

Слесарь лежал рядом, закрыв глаза, и сердце его еще колотилось. Клава слышала этот бешеный, только-только

начинающий убывать стук и поэтому спросила. А он приподнялся на локте, посмотрел на нее, как на явление природы, и захохотал.

— Тише!..— испуганно зашипела она, вмиг больно пожалев о своем никчемном вопросе.

Он спрыгнул на пол, прошлепал к столу, налил водки.

— Ну, ты даешь!..

Выпил, причмокнул, захрустел огурчиком. Клава лежала на спине, закрыв лицо локтем, и ей было стыдно. Не своего голого тела, а своего лица, по которому бесшумно бежали слезы.

4

В пятницу Людмила Павловна вызвала профорга. Вероника Прокофьевна пробыла в кабинете недолго, а вернувшись, сообщила, что в четыре собрание. Все очень недовольно зашумели (пятница ведь!), но профорг пояснила, что таково распоряжение свыше.

— Да, самое главное. Сегодня все должны подумать об экономии. Ну, там, электричество, копирка, бумага. Все в письменном виде сдать мне. Это для инспектирующих, пусть оценят активность. И на собрании чтоб не отмалчивались. Лена, ты, конечно, первой выступишь, а кто еще? Татьяна?

— У меня зачет завтра.

— Я выступлю.

И все очень удивились, потому что Галина Сергеевна никогда не выступала, хотя на собраниях отсиживала, как положено. А тут вдруг добровольно.

Девочки примолкли, и озадаченная Вероника Прокофьевна сразу прекратила опрос.

Все собрания — общие, профсоюзные, комсомольские — проводились только в рабочее время и строго по распорядку: докладчик — двое выступающих — решение. Но это собрание было особым, потому что кто-то должен был проверять, и Людмила Павловна отменила второй чай, введя инструктаж. Однако Галину Сергеевну она инструктировать не стала, спросив мимоходом:

— У вас, Галина Сергеевна, о чем речь пойдет?

— Самокритика,— улыбнулась заместительница.

— Очень хорошо,— кивнула начальница.— Самокритика — важный профиль.

Догадывалась она, что не все будет ладно на этом собрании. Кое-что услышала, кое о чем расспросила, кое-как узнала и пришла к выводу: ее заместительница намеревается устроить прощальный фейерверк, дабы унести на новое

место работы шлейф принципиальности, честности и прямоты. Можно уйти, хлопнув дверью, а можно — с бенгальским огнем, вскрыв недостатки и скрыв достоинства. Так полагала Людмила Павловна и, естественно, готовилась к встречному бою.

И Галина Сергеевна готовилась к бою. Муж определил диспозицию, выработал тактику, рассчитал силу и указал на резервы:

— Все козыри у нас. Бей и не давай опомниться. Чем настырнее будешь, тем скорее она место очистит. Действуй!

Старшие были озабочены, девочки нервничали — в недвижимом воздухе отдела, пропитанном духами, запахом кремов и помад, ощущалось нечто предгрозовое. И только Клава ничего не ощущала, поскольку все эти собрания ее вроде бы и не касались: она никогда не выступала, ее никогда не хвалили, но зато и не прорабатывали. И на всех собраниях она дисциплинированно молчала, старательно и неспешно думая о своем. Правда, сегодня пришлось потрудиться над экономией; долго страдала и вздыхала, а потом ее осенило, и она сразу же написала одно, но очень ценное предложение. Его, конечно, следовало подписать, но тут мапа Оля позвала помочь навести порядок на стеллажах, она пошла помогать, а пока расставляла пухлые «дела», исполнительная Наташа Маленькая взяла со стола ее записку и отдала Веронике Прокофьевне. А тут началось собрание: начальница рассказывала об экономии, девочки по-малкивали, гости-общественники важно кивали. А Клава вспоминала о последнем свидании, все еще переживая свой никчемный вопрос. Перебирала в памяти каждую секунточку, растягивая и разглядывая ее, как это могут делать только женщины, восстанавливала каждый взгляд, жест, интонацию, пытаясь понять и его и свое поведение. Ведь знала же, что «лекарство», что «как анальгин принять», ведь никаких иллюзий не питала, ведь сама не то что не любила — терпела, а надо же, не удержалась. Показалось, что не водочным перегаром на нее дышат, а нежностью, разомлела, разнежилась и... А он что? Посмотрел. Вроде даже внимательно, не просто так. И засмеялся. Как засмеялся? Насмешливо или радостно? Удивленно или растерянно? Вот какие насущные вопросы решала Клава, сосредоточенно глядя в рот выступающим.

К тому времени Людмила Павловна закончила свое сообщение. С достоинством опустила на стул и воззрится на Веронику Прокофьевну, но тут один из гостей — старичок в ехидных очках — потряс запиской.

— Один момент. Сообщение было красочным в смысле

экономии кнопок и скрепок, но вот имеем кардинальное предложение вашего же работника: «Мы переписываем цифры и только все запутываем, а если нас закрыть, то будет настоящая экономия». Весьма дельное предложение, замечу. Весьма!

— С больной головы на здоровую! — резко сказала начальница. — Есть еще у нас работнички, которые прикрывают собственное разгильдяйство громкими фразами.

— Позвольте несколько слов, — проговорила Галина Сергеевна. — В порядке самокритики.

Ничего этого Клава не слышала напрочь. Она ковырялась в своих личных проблемах и, кажется, начала понимать его интонацию, как в полудреме услышала собственную фамилию и вынырнула.

— ...я не оправдываю ротозейства Сомовой, но кто нам, советским руководителям, давал право самовольно лишать работника премии, с тем чтобы на эту премию — которая все же выписана! — устраивать коллективное питание с алкогольными напитками?..

Клава не верила сама себе: Галина Сергеевна. Пылает и негодует, а два старичка и старушка слушают в шесть ушей. И весь коллектив разом очнулся и от девичьих грез, и от женских дум и во все глаза уставился на выступавшую, приоткрыв подкрашенные губки. А поскольку Галина Сергеевна была настоящей женщиной, то изложение сухих фактов ей было не по силам, и на ожившую аудиторию выливались сложные смеси из действительности, слухов, сплетен, предположений и старых обид. Однако форме обличения Галина Сергеевна была прекрасно обучена и не забывала вставлять готовые блоки с упоминаниями о коммунистической морали в свете последних указаний и священном долге руководителей перед народом. И все это вперемежку с мужем, который является для нее образцом, потому что — рабочий класс, с больной дочерью и собственным высшим образованием.

Людмила Павловна сидела, не дрогнув, и девочки напрасно заглядывали ей в глаза. Проверяющие вертели головами, и уже не одна старушка — божий одуванчик, а все трое строчили вперегонки. И так были воодушевлены, что напрочь забыли о ведущей собрание перепуганной Веронике Прокофьевне, о повестке дня и даже о том, что они всего-навсего гости в низовой организации. Не успела Галина Сергеевна закончить свои обличения, как самый старший поворотился к начальнице.

— Истерика, — сказала Людмила Павловна.

Сказала очень спокойно, не вставая с места, и это об-

стоятельство показалось всем величайшим свидетельством правоты, хладнокровия и руководящей мудрости. И после этого одного-единственного, словно бы вскользь брошенного слова начальница не торопилась вскакивать и оправдываться. Выдержала паузу, медленно поднялась. Глянула мельком на раскрасневшуюся, жаждущую открытого боя заместительницу и неожиданно улыбнулась Клаве.

— Клавочка, ты получила премию за этот квартал?

Клава вскочила, как в школе, разинула рот и затрясла головой — сперва как «нет-нет», а потом как «да-да». Поступила она так не только потому, что боялась начальницы, а потому что бумажек боялась еще больше. В бумажке же, именуемой «Ведомостью на выдачу премиальных», стояла ее подпись. И Клава сначала пыталась сказать, как оно было на самом деле, а потом не как было, а как должно было бы быть.

— И что же ты с ней сделала?

Клава гулко проглотила комок и молчала, затравленно глядя на Людмилу Павловну.

— Не волнуйся так, ведь от тебя требуется только правда,— ободряюще улыбнулась начальница.— Ты пришла ко мне и попросила, чтобы на твою премию твои же подруги отметили радостное событие твоей женской жизни: накануне любимый человек сделал тебе предложение. В моем кабинете тогда как раз сидели наш профорг Вероника Прокофьевна и общественница Наташа Маленькая. Не стесняйся, Клавочка, радость твоя нам так близка и понятна, что никто тебя не осудит. К великому моему счастью,— тут Людмила Павловна мазнула по лицу заместительницы презрительным взглядом,— у меня оказались свидетельницы. Вероника Прокофьевна, так было дело с премией Клавы Сомовой?

— Совершенно верно,— деревянно закивала Вероника Прокофьевна.— Совершенно верно.

— А ты что скажешь, Наташа? Сомова расписалась в ведомости на квартальную премию?

— Расписалась,— поспешно подтвердила Наташа Маленькая.

— А теперь, Клавочка, ты все нам расскажи по порядку. Как ты пришла ко мне, как просила, чтобы мы все дружно отметили твое счастье, как я отказывалась, как за тебя Вероника Прокофьевна ходатайствовала, все расскажи. Ну? Говори, Клавочка, говори, никого не бойся.

Людмила Павловна уже владела не только вниманием, но и положением, и, после того как Наташа Маленькая с готовностью подтвердила чистую правду, она спокойно опустилась на свое место и далее разговаривала сидя, взирая на подчиненных с привычной точки зрения. И теперь получалось, что

не столько перед собранием и даже не столько перед комиссией, сколько перед нею стоят ее заместительница Галина Сергеевна и сотрудница Клавдия Сомова.

— Ну? Клавдия, мы ждем.

В душе у Клавы было темно и сыро, как в погребке. От нее требовали не просто лжи — с этим бы Клава как-нибудь смирилась, — от нее требовали лжесвидетельства. Клава не знала, что такое лжесвидетельство, но чувствовала, что подвели ее к краю и что у нее лишь два выхода: либо топить Галину Сергеевну, либо тонуть самой. Самой тонуть было до жути страшно, топить другого Клаве еще не приходилось, и она молча разевала рот, чувствуя, как между лопаток ручьем потек пот.

— Соврешь — лучше на работу не приходи, — прошипела в спину Наташа Разведенная.

Наташу Разведенную уважали все девочки, кроме разве Ирочки, которая во всем мире уважала только саму себя за целых два таланта: очень красивые ноги и очень красивые грудки. Наташа тоже была самостоятельной — если не державой, то герцогством. Выйдя замуж по безумной любви (все девочки были тогда в ресторане), она уже через три месяца застала мужа с незнакомой девицей в ситуации, исключающей разночтения, собрала чемодан и тут же ушла к подруге. Муж прибежал через час, плакал, убивался, становился на колени, всю ночь просидел под дверью. Наташа осталась непреклонной и через положенный срок добавила к своему имени горькое, но весьма современное прозвище. Бывший муж отпал, любовь зарубцевалась; Наташа Разведенная уверовала в принципиальность и старалась всегда поступать в соответствии со своей верой.

Все это и еще сотни иных историй, ситуаций, ассоциаций и воспоминаний промелькнули в пустой, как царь-колокол, Клавиной голове, и она не поняла — и некогда было, и вообще она медленно соображала, — не поняла, а всем существом, всей кожей, телом, нутром почувствовала, что погибла. И заревела отчаянно, громко, с истошным бабьим надрывом:

— А он не любит! Не любит! Не любит!..

И бросилась вон, натыкаясь на стулья. Не догнали, не нашли, не вернули, и собрание пришлось закрыть.

5

До того, как стать Разведенной, Наташа была просто Троицкой. Безумная любовь превратила ее в Сорокину, но безумная гордость вновь вернула ей девичью

фамилию, только уже с прозвищем, и это прозвище стало для их отдела куда более употребительным.

— Троицкая? Это какая же Троицкая? Ах, Наташа Разведенная! Ну, так бы и говорили.

После того страшного дня, когда она засорила на работе глаз, была отпущена в поликлинику, а потом пришла домой и, открыв своим ключом дверь, увидела чужой рай на собственном супружеском ложе, Наташа считала, что все у нее позади. Любовь и трепет, семейный очаг и дети, гармония души и неисчислимые хлопоты — словом, все то, что нормальная женщина называет счастьем. Счастье оказалось позади и вспыхивало, как стоп-сигнал, удерживая мужчин на почтительном расстоянии. И вместо всех женских радостей, вместо, так сказать, всего букета в руках остался один чертополох невероятной гордыни. Женщины вообще более склонны к этому чувству, тоньше разбираются в нем, а уж коли начинают холить да лелеять, чувство разрастается, как полип, рискуя задавить все прочие черты характера. И уж в чем, в чем, а в этом Наташа Разведенная преуспела с особой силой.

А пришла она тогда — со слезами, жгучей обидой, гневом, растерянностью, болью и чемоданом — к мапе Оле. И мапа Оля ее пригрела, успокоила, приласкала и утешила, как могла.

— Плюнь на все, Наташа.

Наташа плюнула, правда, не на все, но осталась у Оли и сынули Владика, названного в честь Третьяка, хотя наш прославленный вратарь никакого отношения к этому Владиду не имел. Оля была единственным, поздним и поэтому особо любимым ребенком двух изрядно покалеченных фронтовиков. Ей предписано было быть счастливой, но об этом не знал пьяный водитель «КраЗа», раздавивший инвалидный «Москвич» вместе с отцом и матерью. Это случилось семь лет назад; никакого Владика еще не существовало, но заодно не существовало и никаких родственников. У Оли хватило характера сдать экзамены на аттестат, обменять двухкомнатную квартиру на однокомнатную, окончить техникум и в двадцать родить мальчишку от отчаянного хоккейного болельщика. Болельщик нежно проводил до роддома и исчез, будто был святым духом и приснился в девичьем сне. Но Оля его не винила, считая, что в их встрече победа оказалась на ее стороне, и из девочки Оленьки, которую в отделе любили за доброту и покладистый характер, превратилась в сдержанную и всегда озабоченную мапу Олю. Только озабоченной она была для отдела и для себя, а вот сдержанной исключительно для отдела. Но об этом знала

одна Наташа Разведенная, которой можно было доверять самые страшные тайны.

Впрочем, не такой уж страшной представлялась Олина тайна, если вдуматься. Каждая душа — омут, но не в каждом омуте черти водятся. В Олином водились, и с этими чертями ни хоккейный болельщик, ни Владик, ни Наташа, ни заботы с хлопотами, ни солоноватый статус матери-одиночки ничего не могли поделать. Стоило Оле влюбиться — что, надо признаться, с нею происходило периодически, — как характер ее делался мягким, тягучим, нежным: черти вылезали из омута, отряхивались, оглядывались и... И предписывали Оле делать то, что хочет ОН. А ОН был точно таким же, как все ОНИ — прошлые, настоящие, будущие, — и Оля срочно добывала для Наташи Разведенной какой-либо совершенно уж невозможный билет: на Таганку или в Дом кино, на Райкина или на Аллу Пугачеву.

— Случайно, — говорила она, старательно отводя глаза. — А я никак не могу, никак. Такая жалость.

Наташа презрительно усмехалась и появлялась дома с последним поездом метро. И особенно румяная, особенно пушистая, особенно задумчивая Оля ждала ее на кухне за накрытым столом.

— Интересно?

Наташа подробно рассказывала, а Оля улыбалась, ахала, кивала, а мысли были далеки. Наташа прекрасно понимала это, гордо кривила губы, но в предложенную игру играла по правилам. Пока не возник Игорь Иванович, самолично открывший дверь, когда Наташа возвращалась в очередной раз с последним поездом метро.

— А вот и наша Наташа — угадал? Замерзла? Оленька, туш, чай и бокал шампанского!

И Наташа остолбенела второй раз в жизни. Но если в первый она вышла из столбняка с помощью слез, чемодана и бегства, то теперь реветь было вроде не к месту (хотя вдруг захотелось), о чемодане она не вспомнила, а мапа Оля улыбалась ей из-за плеча неизвестного мужчины. Но это были причины внешние, а вот внутренняя — одна, но именно из-за нее, из-за одной-единственной причины, Наташа Разведенная и пребывала в состоянии остекленения.

А всему виной была его улыбка — ослепительная, открытая, сияющая добродушием. Нет, не улыбка... Плечи. Чуть покатые, развернутые, шириной в дверь вагона метро... Нет, не плечи — волосы. Густые, темно-русые, с серебром на висках: такие волосы магнитом тянут к себе женскую руку... Нет, не волосы — глаза. Серые, чуть прищуренные, с ресницами, как у девушки. Да нет, не глаза — взгляд!

И голос! И рост! И — руки. Руки, в которые так хотелось нырнуть, а нырнув, свернуться котенком, стать маленькой, теплой, беззащитной...

— Да что с тобой, Наташка?

Вынырнула Наташка из самой себя.

— Я?.. Здрате. А я в Политехническом была, поэты выступали, Окуджава...

Сидели на кухне, пили шампанское. Мапа Оля улыбалась. И Наташа Разведенная улыбалась, только у одной глаза были влажные-влажные, а у другой сухие-сухие.

— В троллейбусе познакомились, смешно? И — сразу, с ходу, с первого взгляда, верите? И ничего не хочу скрывать, врать не хочу, выдумывать: женат я, понятно? Детей нет, жилплощади тоже, ясен вопрос? Развод — не проблема, хоть завтра, но надо бы, чтоб путем, так, девочки? На дураках нынче умные зябь поднимают, слышали?

Говорил не переставая, глаз от Ольги не отрывал, улыбался ярче стосвечевой лампочки и ушел под утро. Оля открыто — при Наташе! — расцеловала его, долго держала, приговаривая по-девичьи: «Иди. Ну, иди же. Ну, поздно уже». Наконец он оторвался, шагнул за порог; мапа Оля закрыла дверь, обернулась, привалилась к ней спиной. Глянула на Наташу уплывшими глазами:

— Ну?..

Наташа Разведенная хотела честно сказать, что обманет. Что на площадь зарится, что говорлив больно, что нахален и хорош, хорош и нахален, и не поймешь, чего в нем больше. Но посмотрела Оле в глаза, поняла, что не услышат ее, и вздохнула:

— Спать пора.

— Завидуешь!.. — отчаянно, звонко, торжествующе выкрикнула мапа Оля.

А потом был девичник за счет Клавиной премии, и Наташа не обратила внимания на маленький личный взнос только потому, что из гордой ее головы никак не желал уходить белозубый Игорь Иванович. Сиял, сверкал, переливался, как бриллиант, которого Наташа никогда в жизни не видывала, и подмигивал. Нехорошо подмигивал, двусмысленно, но, слава богу, мапа Оля этих подмигиваний видеть не могла. Потом профсобрание, дура Клавка, все как положено, и вдруг — Галина Сергеевна со своими обличениями. И снова эта дура Клавка...

— Соврешь — лучше на работу не приходи, — прошипела тогда Наташа Разведенная, и Игорь Иванович ей ободряюще улыбнулся, опять двусмысленно подмигнув.

Игорь Иванович появлялся три-четыре раза в неделю,

мапа Оля торжествовала, и Наташа не могла не признать, что для обыкновенного женатика новый знакомый нетипичен. Тем более что уж раз-то в неделю, а умудрялся оставаться на ночь; что он при этом говорил своей законной, Олю не интересовало,— женщины не терпят, когда обманывают их лично, но к остальному в процессе эволюции они как-то притерпелись. А Игорь Иванович весело играл с нею и с Владиком, таскал на руках и вдвоем и поодиночке, шумел, путал порядок, приносил шоколад и неразбериху, каждую фразу заканчивал вопросом, и Оля переселилась на седьмое небо.

— Счастье по троллейбусному билету, любопытно, а? В кино такое покажут, ведь не поверим, точно?

Теперь мапе Оле было уже не до «Современника» или Дома актера, а если сказать прямо, ей было не до Наташки. И Наташа Разведенная, сразу почувствовав это, ощутила такое дикое, такое злое одиночество, которое доселе никогда в себе и не подозревала. Она старалась приходить поздно, болталась по киношкам да кафешкам, терпела идиотские приставания, а из головы не шел, на миг не исчезал проклятый Игорь Иванович со своими плечами, голосом, взглядом, смехом, а главное — руками. Ах, как он прибирал к этим рукам дуру Ольку — мало ей было одного Владика! — открыто прибирал, весело, с шутками-прибаутками. И конечно же из-за жилплощади, а то из-за чего же еще? Ольга ведь совсем даже обыкновенная, без гордости, и ноги у нее короткие, если приглядеться. И вдобавок — мать-одиночка. Мапа. Ну, честно, кто на мапочек глаз-то всерьез кладет? Да никто: под бочок подкатиться — это с удовольствием, а чтобы с намерениями — да никогда! Девчонок навалом: только остановись на перекрестке — мигом со всех сторон ринутся, как на олимпийской эстафете, и вдруг какую-то Ольку-коротышку с довеском в три годика? Нет, явно в жилплощадь вторгнулся Игорь Иванович. Любовь с первого взгляда во все двадцать четыре квадратных метра...

Думая так не просто каждый день, а чуть ли не каждый час, Наташа, естественно, ни словечком, ни намеком, ни уголком губ в этих мыслях никому не признавалась. И не только потому, что мапе Оле намекать было бесполезно, — в смерч попала мапа Оля и, счастливая, над землей отныне парила,— но и потому, что сама Наташа Разведенная такую безнадежную тоску по своим собственным, личным квадратным метрам ощутила, что дважды в голос ревела, душ на полную мощность включая.

Суббота была очень даже рабочим днем, и, хотя никакого хозяйства у Клавы не имелось, а имелась комнатка, вылизанная до последнего миллиметра, мама велела прибираться, и Клава прибиралась. Вставала, правда, на час позже, но зато не мазалась, а, попив чаю, надевала чего поплоче и начинала перетирать все подряд. От двери налево вдоль по стеночкам неторопливо и старательно разными средствами и разными тряпочками.

Клава любила домашнюю возню — будь то уборка, стирка, а тем более глажение. Она вообще была создана для дома и семьи, а не для учреждений и коллективов. Дома господствовала гармония, дома Клава была умна и догадлива, дома у нее все получалось чисто, уютно и вкусно. А в отделе глупела, тупела, страдала, все у нее валилось из рук, и вечно она кого-то раздражала своей бестолковой медлительностью. Конечно же, каждую принцессу надо видеть в ее дворце, особенно когда она не просто чистит свое гнездышко, но и поет при этом.

Однако сегодня Клава не пела, а думала. На работе ей думать не случалось, но у себя она могла размышлять о чем хотела и сколько хотела. И Клава, усердно трудясь, неотрывно думала о своем кошмарном вопросе и о его кошмарном ответе. Теперь-то, после стольких страданий, страхов и слез, она убеждена была, что ничего в нем не прозвучало, что дура она несчастная и что ей следует набрать духу и сделать так, чтобы слесаревой ноги тут более не появлялось. С этой мстительной идеей Клава обращалась, как сапер с незнакомой миной, аккуратно ища, где же взрыватель, когда в дверь заскребли, и по тихой вежливости Клава вычислила Липатию Аркадьевну. И покраснелась, вспомнив о десяти рублях.

— Вы меня простите, у меня сейчас нету, но у меня будут, потому что скоро аванс, и я сразу отдам...

Она бессвязно лепетала, увидев свои перешитые брючки. Но Липатия Аркадьевна выглядела торжественно, в разговор вступать не стала, а, повесив брючки на спинку стула, скорбно поведала:

— Клавочка, вы себе представить не можете, какое горе. Он свободен, умерла моя лучшая подруга, а он страдал всю жизнь, я чувствовала это своей интуицией. И вот колокол бухнул, а мне впору надевать парик, потому что волосы посеклись исключительно от переживаний. Ах, какие были волосы! Он так любил ими любоваться, я это чувствовала своей интуицией.

Если на мужчину вылить кучу личных местоимений, у него в любом состоянии хватит здравого смысла спросить, кого имеют в виду. Но женщины руководствуются интонацией и умеют произносить коротенькое «ОН» так, что никаких вопросов не возникает. Поэтому Клава все сразу сообразила, тем более что Липатия Аркадьевна была одета так, будто шла на Вечер смеха в Останкино.

— Я всю жизнь мечтала его показать, и мне понадобится ваша опора. А ехать совсем пустяки, возле Донского монастыря, потому что он сам звонил в Моссовет, я в этом просто уверена, иначе почему в старом, а не в новом? Она же не дипломат, правда?

Клава слушала, уже одеваясь. Ей очень не хотелось идти на похороны неизвестно кого, но десять рублей сковывали, как кандалы. И они поехали, и Липатия тараторила всю дорогу.

— Клавочка, я так боюсь, что он не выдержит, увидев меня. Он совершит непоправимый шаг у разверстой могилы, и это исключительно катастрофически, потому что моя подруга бездыханна, а мы так любили друг друга. Может быть, мне избежать, а вы возложите? Держите букет, а я буду стоять в стороне, как «Неравный брак».

— А куда их класть? — сдавленно спросила Клава: она очень боялась покойников, только мамы не боялась.

— Там будет видно, — сказала Липатия, сунув Клаве цветы. — Вы меня спасете, как д'Артаньян королеву. Когда сомкнется вечность и все пойдут по домам, я шагну из-за колонны. Ах, что с нами будет, что будет? Единственно, что пугает, так это же все знакомые. Все кинутся целовать руки, обниматься — ах, эти актеры, они же сущие дети! Может, мне шагнуть из-за могильного камня?

К началу они опоздали, колонн не оказалось, и Липатия, выдвинув вперед Клавдию, сразу где-то потерялась. Народу было мало, Клава застенчиво положила цветы на белое покрывало, стараясь смотреть так, чтобы не видеть лица покойной. Все томительно молчали, Клава начала пятиться, а тут велели прощаться, и она в страхе бросилась к Липатии, собиравшей слезы в крохотный платочек.

— Ах, как он импозантен! — тихо вздыхала она. — Горе исключительно к лицу мужчинам. Сейчас он повернется и увидит меня, дайте опереться, Клавочка, на точку опоры, а то я все переверну.

Гроб поехал вниз, люк закрылся, провожающие скорбно направились к выходу. Липатия впилась в Клаву, но ничего не произошло. Никто не бросился, не закричал, не грохнулся на пол. Проществовали мимо.

— Как он посмотрел, как посмотрел! — жарко шипела Липатия. — О, несчастное, благородное существо, что оно творит с нами!

Выходили последними. В фойе толпились опечаленные с цветами, и на каталке стоял очередной гроб. Клава стала целиться, чтоб ненароком не увидеть покойника, но тут двери распахнулись, все разом задвигались, и каталку с гробом покатали прямо на нее. Клавдия заметалась, зашарахалась, вырвала руку и чуть ли не из-под колес кинулась в зал.

С Липатией они встретились только дома. Клавдия сбивчиво начала объяснять, почему она потерялась, но Липатия лишь печально улыбнулась.

— Знаете, почему я ушла? Исключительно потому, что он вызывающе интересен. Вызывающе! Это оскорбило мою женскую натуру. Ну, почему, почему, скажите мне, несчастная женщина, в тридцать лет потерявшая мужа, — вдова на всю жизнь, а мужчина и в семьдесят пять все еще жених?

Пока Клава провожала в последний путь неизвестную, пока шарахалась, терялась и ехала домой, начальница ее прибиралась. Собственно, прибиралась-то Наташа Маленькая, а Людмила Павловна сидела у телефона, положив перед собою список однокашников, и, болтая вроде бы о пустяках, продвигалась к цели неторопливо, как первопроходчик.

— Виталий Семеныч? Привет, Виталий, ни в жисть не угадаешь, кто тебе по домашнему названивает. Нет, не Ирина Петровна, дорогой, не она. Людочка это. Какая Людочка? А кто на курс младше учился и в тебя был тайно влюблен? Заважничал, вспоминать не хочешь. Лычко говорит, Людмила Лычко, вспомнил теперь? То-то! Ну, как жизнь молодая? Не очень, говоришь, она молодая? Ладно, брось приbedняться, вы, мужики, до ста лет у нас не стареете. По какому делу? Слушай, а где Костя Смагин, не в народном контроле, часом? А кто из наших там, не знаешь? Ну, добро, поцеловались, перезвонимся... — Клала трубку, делала отметку в списке, вновь набирала номер. — Федор Степаныч? Привет, Людмила Лычко беспокоит. Как кто такая? А кто в тебя был тайно влюблен в годы учебы? Я, дорогой, я. Что поделываю? Да конторой тут одной заведую. Есть идея собраться у меня, молодостью тряхнуть. Кости, говоришь, загремят? Ну, ты отпустил! Слушай, кто из наших в народном контроле окопался, не слышал, часом? Нет? Собрать вас всех жажду, вот и интересуюсь. Ну, бывай, поцеловались...

Звонила она с утра, список таял, но выходов обнаружить

никак не удавалось. Людмила Павловна охрипла и увяла, день катился под уклон, а до цели было столь же далеко, как и на заре.

— Зинаида Сидоровна? Зиночка, привет, дорогая, целую, красавица! Как цветешь, век не видала...

Нет, не вытанцовывалась цепочка, не объявлялся свой человек. Людмила Павловна вяла на корню, а тут еще Наташа Маленькая вазочку раскокала.

— Вот теперь и склеивай. Да хоть языком, учить вас, недоразвитых...

И тут ее осенило, от «недоразвитых», что ли. По странной прихоти женской логики вспомнила вдруг, что Галина Сергеевна замужем. Нет, о самой Галине Сергеевне она ни на мгновение не забывала, но тут не о ней, а о том, что непростительно неодинок, вспомнилось. Хорошо, мол, ей, гадюке, за мужниной спиной, хоть он всего-то навсего шофер. Стоп. Где?.. Да у Павла Ивановича в хозяйстве!

— Боржому! Быстро, у меня деловой разговор!

Слава богу, хоть Пал Иваныч оказался толковым: помнил, кто в него тайно был влюблен. Обещал тонко прощупать, тонко переговорить, тонко намекнуть; Людмила Павловна в нем не сомневалась, поскольку Пал Иваныч был калач тертый и у него вопреки поговорке рвалось не там, где было тонко, а там, где было надо.

— Ты, Пашенька Иванович, учти, что жена твоего шофера — работник ценный и я ее лишаться не хочу. Но, как всякий ценный, цену себе набивает, ты меня понимаешь? Что? Должна прејскуранту соответствовать? Двадцать копеек, гениально сострил. Вот об этом-то самом и мечтается нашему брату руководителю. Ну, падаю в ножки, поцеловались.

Звонок этот мог сработать не ранее середины недели, но Людмила Павловна и в понедельник зря времени не тратила. Заперлась в кабинете, продумала все варианты, составила небольшой реестрик, учитывая, что бумажка всегда сильнее действует, чем устная речь, хотя в школах учат наоборот.

Во вторник с утра гордая Галина Сергеевна начала метать растерянные взгляды. Сотрудницы их, возможно, и не замечали, но Людмила Павловна ликовала. Она-то знала, в чем дело, накануне отзвонив отзывчивому Пал Иванычу.

— Порядок,— сказал он.— А ты в самом деле была в меня втюрившись?

— В самом,— сказала.— Расцеловались, перезвонимся.

И вот теперь — взгляды. А к обеду нервы не выдержали, и последняя независимая держава испросила аудиенции.

— Слушаю вас, — приветствовала начальница, делая вид, что усиленно изучает бумаги. — Садитесь.

Приглашение садиться было с паузой, чтобы посетительница могла вдосталь ощутить слабость собственных коленок. И опять — вся в работе. И еще одна пауза, и еще раз — с недоумением:

— Слушаю же вас, Галина Сергеевна.

Галина Сергеевна шла с твердым намерением расставить все знаки препинания. Однако невыносимая занятость Людмилы Павловны и целые две паузы спутали ее, и начать пришлось с существа:

— Людмила Павловна, мой муж был вчера втянут... То есть вызван. То есть ему неверно осветили.

— Он в кого-нибудь врезался? — озабоченно осведомилась начальница.

— То есть... Это ж в каком смысле? — опешила заместительница.

— Он же, кажется, шофер? И если что-нибудь со светом, то вы не волнуйтесь, я постараюсь помочь. Естественно, если не было человеческих жертв. Ну, а если все дело лишь в материальном ущербе, то мы всегда должны понимать друг друга. Особенно мы, советские женщины.

Галина Сергеевна ничего не соображала. Она шла объясняться, была полна решимости продолжать борьбу — и вдруг...

— Позвольте, Людмила Павловна, я плохо понимаю. Я о том...

— Я ценю вас, дорогая, — растроганно вздохнула начальница. — Может быть, вы не догадываетесь, но даже люблю. Как исключительно приличную советскую женщину.

Соединение двух определений несколько озадачило саму Людмилу Павловну, и она замолчала. Ровно настолько, чтобы не дать заместительнице опомниться.

— Я не хочу с вами расставаться, а вы со мной хотите. В этом прочность моей позиции и ошибочность вашей. Положение вам известно: скоро к нам поступит новое штатное расписание, в котором...

Журчал голос, журчали слова, общий смысл был ясен, но собрать их воедино, обнаружить логическую связь Галина Сергеевна уже не могла. Личная обида, что сокращают именно ее, мешалась с козырными картами, проницательным мужем, больной дочерью, идиоткой Сомовой и танковым напором начальницы, которая все поняла и сейчас разделяет ее, как плотву для ухи.

— ...кошмарно, что вы научили Сомову написать записку о том, что нас следует закрыть.

— Я никого не учила.— Она уже оправдывалась, уже мельтешила.

— Оставьте, дорогая, я вам не Наташа Маленькая. Вы позволили себе высказывания в присутствии всего коллектива...

Опять зажурчало, зажужжало, слова сливались в сознании Галины Сергеевны. А у нее муж вчера пришел перекошенным: «Дура! Выскочила! Без доказательств! С туза!»

— ...приказ подписан, но расставания можно избежать.— Людмила Павловна вынула из папки бумагу, которую составляла на утро.— Схема нашей структуры. Я — вершина, Сомова — подножие. Вашу должность убираем.

— Меня? — робко спросила заместительница.

— Должность, а не вас, должность. А вас оставляем вместо Вероники Прокофьевны. Веронику — вместо Наташи Разведенной, Наташу — на место мапы Оли, Олю вместо Лены, Лену меняем на Иру, Иру — на Катю, Катю — на Таню, Таню — на Наташу Маленькую, а Наташу — на место Сомовой. Вот и все.

— А Сомову?

— Сомову? — Начальница посмотрела строго.— Из-за совершенной вами глупости могут приписать, что вследствие критики. Значит, надо думать.

— А...

— Понимаю. Да, на перемещении вы теряете двадцать рублей, но я обещаю вам и Веронике пробить персоналки. Полагаю, что теперь мы поняли друг друга?

О, какой вулкан буйствовал в душе Галины Сергеевны! Сжигал, повышал давление, рвался наружу алой краской, даже шея стала как у индюка. Рот разинула заместительница, дважды плямкнула пересохшими губами, как столетняя бабка, а потом напряглась и выдавила:

— А Наташа Разведенная?

— Умение подобрать к каждому работнику ключик — это и есть талант руководителя.— Людмила Павловна улыбнулась, мобилизовав для этого оскудевшие ресурсы обаяния.— Хотите боржомчику?..

7

Все шло заведенным порядком. Общественники накатали отчет о неблагополучии, вскрытом благодаря их бдительности. Однако по мистическим законам современности Людмила Павловна знала, что именно они написали,

еще до того, как была выведена первая строка. И хоть не обнаружилось однокашников в народном контроле, но добрая душа сыскалась.

— Помариновать помариную, но списать не удастся. Так что занимайте круговую оборону, уважаемая Людмила Павловна.

— Спасибо,— прочувствованно сказала начальница.— За мной не заржавеет, как говорится.

— Ну, это пустяки,— рокотал в телефонной трубке незнакомый, но весьма приятный баритон.— Ну, если уж чтоб дружбу поддержать, так свербит один пустячок. Вы ведь с Виталием Семеновичем накоротке, так звякните ему при случае, что у меня дочка с детства в его системе работать мечтает. С образованием аккурат по линии Внешторга, так что все соблюдено. Вот за это — поклон, это по-нашенски, Людмила Павловна, а кляuzu беру на контроль. Ну, всех благ.

Ах, какое торжество испытывала Людмила Павловна, положив трубку! Как четко и гениально просто была устроена эта прекрасная жизнь, в которой все стремились помочь друг другу. Нет, ради этого стоило бороться и работать, работать и бороться, и начальница решила сначала бороться.

— Девочки, срочно Галину Сергеевну ко мне!

После того памятного разговора поведение заместительницы удивляло и настораживало. Кажется, договорились, нашли то, что сближает, а не то, что разъединяет, но вместо того чтобы радоваться, Галина Сергеевна ходила как пришибленная. Будто вдруг превратилась в Наташу Маленькую, точно так же начав вздрагивать при стуке двери, громком голосе и телефонном звонке.

— Сомовой начали подсюсюкивать?

— Я...— Галина Сергеевна подавленно замолчала, беззвучно глотая слезы.

— Между прочим, пора действовать, дорогая. Да, действовать! Мне доложили,— ах, как сладко было хотя бы произнести эту магическую формулу! — что комиссия начала активную борьбу. Активную! И можно смело предположить, что Сомову скоро вызовут на ковер. Значит, надо упредить. Готовьте антисомовский материал.

— Людмила Павловна! — Галина Сергеевна совершила серию движений, будто намеревалась прямо со стула брыкнуться в ноги, но недоерзала.— Только не это, я умоляю, я не смогу. Это же под... под... подл...

— Что?

— Поддержка,— забормотала заместительница.— Товарищеская поддержка хотя бы со стороны Вероники Прокофьевны.

— Разумно,— подумав, согласилась начальница.— Разрабатывайте Наталью Разведенную.

Галина Сергеевна была прекрасным специалистом, разумной женщиной, добрым товарищем, но при этом отлично понимала, что скромная карьера мужа и собственное продвижение, персональный оклад и обещанное улучшение жилплощади, льготные поездки за границу и возможность послать дочь в пионерлагерь санаторного типа и еще великое множество учтенных и неучтенных мелочей находятся отнюдь не в руках профорга Вероники Прокофьевны. А жизнь текла по столь порожистому руслу, что сохранить семейную ладью в целости и сохранности можно было, только обладая гениальным лощманским дарованием. Каждый порог требовал компромиссов, компромиссы — нервов, нервы — здоровья, и Галина Сергеевна таяла, съезживалась, становясь все меньше и меньше, точно превращалась в мышку-норушку. Причем как бы не в одну, а в две мышки: внешнюю и внутреннюю. И если с внешней все было понятно, то внутренняя грызла ее денно и ночью, лишая покоя, достоинства, сил и сна. Галина Сергеевна начала скандалить в троллейбусах, орать в очередях, грубить всем подряд, то есть стала походять на рядового москвича восьмидесятых годов двадцатого столетия.

А Клава жила, не подозревая, что создана мощная антисомовская коалиция. Она была настолько поглощена своими проблемами, что даже история на собрании более ее не занимала.

Полмесяца посвятив скрупулезному изучению слесаревых интонаций, Клава пришла к твердому убеждению, что с этим «анальгинчиком» надо кончать. Что это и стыдно, и совестно, и вообще она — женщина и не может жить без гордости. А какая уж тут гордость, когда тебе в лицо смеются в ответ на самый главный вопрос? И, тщательно все обдумав, Клава пошла ставить в известность Томку, поскольку чисто по-женски нуждалась в еще одном голосе — неважно, «за» будет этот голос или «против».

Голос был «против».

— Ну и дура психическая.

Томка обсчиталась на семнадцать рублей, но Клава об этом не знала, а потому вместо того, чтобы пожалеть подругу, начала толковать про гордость.

— Тыфу на твою гордость! — заорала Томка.— Какая тебе, к дьяволу, гордость, когда о том, что мы — женщины, мужики либо после стакана вспоминают, либо раз в году на Восьмое марта?

Клава упорно талдычила свое, соседка, войдя в раж,

называла вещи своими именами, но главное совершалось: Клава Сомова с каждой фразой убеждалась в своей правоте. И, покинув не на шутку раскричавшуюся Томку, разыскала своего слесаря и все ему изложила. Чтоб никогда больше к ней не приходил, даже если кран потечет. Слесарь начал было гудеть, но Клава слушать не стала. Она так была горда, что решила тут же купить себе цветов. Какие подешевле. И пока она искала подарок самой себе, к ней пришла Вероника Прокофьевна. С обследованием по поручению профорганизации. Но поскольку Сомовой дома не оказалось, то принимала гостью соседка Томка, все еще клокотавшая от непонятной, но незаслуженной обиды. И, выложив все, что знала, а заодно и то, чего не знала, любознательной проверяющей, Томка ничего об этом визите Клаве не сказала. Сперва от злости, а потом просто позабыла, завертевшись в собственных делах.

Несмотря на то что Клава сама себе преподнесла цветы и тем как бы поставила точку, ее продолжало распираť свойственное только женщинам нетерпеливое желание исповедаться, с силой воздействия которого может соперничать разве что почесуха. Клава томилась, как брага, изнемогая от переполнявших ее новостей, но поделиться было не с кем, и исповедальная страсть кисла на корню. И скисла бы, если б в тот день к Оле не должен был заявиться Игорь Иванович. Он не оповещал об этом, но Наташа и так вычислила его по особому звону Олиного голоса, по особой чистоте ее смеха, по совершенно особой манере не идти, а лететь. И чем звонче смеялась мапа Оля, тем все угрюмее становилась Наташа, а к концу работы замешкалась, пропускающая всех, и едва ли не впервые оказалась с глазу на глаз с Клавой Сомовой.

— Спешить? — тускло спросила, на ответ не рассчитывая.

И поэтому Клава поспешно отреклась:

— Нет, что ты, что ты! Мне совсем некуда.

— Некуда? Идем в кафешку. Угощаю.

Клаве не хотелось идти в кафе, потому что, как на грех, на ней были не те туфли. Но она очень уважала гордую Наташу Разведенную, побаивалась ее решительности и завидовала ее комсомольской принципиальности, которой — она в этом была абсолютно убеждена — у нее самой было ничтожно мало. И поэтому тотчас же закивала, изображая радостное оживление.

В раздевалке кафе-мороженого им пришлось подождать, пока гардеробщик подавал плащики двум девицам в джинсах. Наташа что-то говорила, а Клава как обмерла, так и

не могла очухаться. Ей ни разу не подавали пальто за всю ее жизнь, и даже когда счастливая Наташа — естественно, еще не разведенная — пригласила в ресторан весь их отдел, Клава умудрилась вырвать свое пальтишко из чьих-то предупредительных рук. Сегодня такой номер мог и не пройти, и Клава страдала, мучительно соображая, куда нужно тыкать руками, чтобы попасть в рукава, и сколько может стоить эта процедура. Но тут услужливый старичок освободился, забрал одежонку, и Клава ничего осмыслить не успела.

— Ты что жмешься? — сухо поинтересовалась Наташа. — Может, надо куда? Налево дверь.

— Я потом, — зашептала Клава. — Вот старичок уйдет.

— Никуда он не уйдет, — сказала Наташа и двинулась в зал.

Клава нигде не бывала, кроме столовых-самоедок, очень робела и меню в руки не взяла. Наташа заказала две порции мороженого, вафли и немного крепленого вина с загадочным названием. Вино Клаве не понравилось, но она мужественно пила, потому что Наташа угощала и отказываться было неудобно. Вскоре у Клавы развязался язык, и она начала нести ахиною про женскую гордость и объясняться в любви. Наташа послушала и усмехнулась.

— У тебя есть мечта?

— Мечта? — Клава икнула от неожиданности и торопливо пояснила: — Это на меня так алкоголь действует. Какая мечта?

— Такая, чтоб во сне снилась. — Лицо Наташи стало злым, зубы скривились. — Глотни, что разыкалась?

— Аллергия. — Клава хватанула полбокала, прислушалась, но икота ее, кажется, захлебнулась. — Ребеночка хочется.

— Подумаешь, мечта! — фыркнула Разведенная. — Сегодня прижмись, через девять месяцев воплотишь. Или у тебя никого нет?

Вопрос был обидным, и Клава тут же решила поведать, какая она гордая. Но сейчас слесарь-орангутан, что хватал да волок, не мог поразить Наташу, не мог быть связанным с мечтой, и Клава проникновенно начала выдумывать. Вернее, не совсем уж сказки, а сочинение на тему мечты и гордости.

— У меня был один человек, — шипела она, перегнувшись через стол. — Свободный совершенно, непьющий, меня любил до безумия, жениться хотел. Вот. И мы совершенно сговорились и тоже решили в ресторане, чтоб все девочки. Вот. А я вдруг, понимаешь, это...

— Что?

— Ну, это. Должен был быть.

— Забеременела, что ли?

— Ну да. А он говорит, не надо, мол. Рано. Потребовал, словом. Или, говорит, нет, или, говорит, я уйду. И я, дура такая несчастная, пошла и... Избавилась.

— Это когда же? — заинтересованно спросила Разведенная.

— Это?..— В пустынькой голове Клавы вместо мыслей бродили хмельные пары, но она поднатужилась.— А в ап-реле. Помнишь, я неделю бюллетенила? Вот. Будто ангина. А врачиха вредная попалась, уговаривала не делать. В первый раз, говорит, исключительно опасно, детей может больше не быть. Вообще. Но я все-таки сделала, а потом выгнала его вон.

— Молодец! — Наташа Разведенная стукнула ладонью по столику.— А он что?

— В ногах валялся,— всхлипнула Клава.— Так умолял, так умолял, но я — твердо. Вот. То есть вон. Вчера опять приходил, но я даже на порог не пустила. Вот. Уходи, говорю, навсегда. И ничего, говорю в глаза, как в кастрюльки. А он заплакал, цветы на порог положил и ушел. Все.

— Да,— вздохнула Наташа Разведенная.— Гады они все. За одним, может быть, исключением.

Помолчали, пожевали.

— И все-таки выпьем за мечту,— решительно сказала Наташа Разведенная.— За злую и беспощадную.

— Выпьем,— бодро согласилась Клава. Чокнулась и добавила шепотом для самой себя: — Очень уж ребеночка хочется. Чтоб было о ком заботу проявить. А то ведь я одна да одна, как этот... хвощ.

И всхлипнула. Так беспомощно, так обиженно, будто сама еще была ребеночком, о котором мечтала во сне и наяву.

8

Не решаясь спорить на работе, заместительница возмущалась дома. Муж еще не появлялся, дочь лежала в больнице, и Галина Сергеевна бунтовала перед собственной матерью с криком, слезами, отчаянием и тремя порциями валерьянки.

— Я не могу, не хочу, не желаю!..

Не привыкшая к гибкости душа страдала и корчилась, и вместе с нею корчилась и Галина Сергеевна. Муж пришел,

когда она собиралась к Людмиле Павловне для решительного объяснения. Он слыл человеком основательным; оставливать, а тем паче спорить с нею не стал, но между прочим сказал:

— В подкидного дурака давно не играла? Так вот сейчас с тобой в этого самого подкидного играют, только козыри теперь уже на чужих руках. Можно выиграть при таком раскладе? Можно, если успеешь свои картишки другому дураку подкинуть. И вот в этого подкидного сейчас все играют, учти. Не ты, так тебе, такие дела.

— Не свои слова говоришь, не свои! — закричала жена с истеричным торжеством. — Научили? Повторяешь?

— А почему же за умным не повторить? — резонно спросил он. — Начальник у меня не бревно, и уж коли сказал чего при встрече, так лучше на ус намотать, чем мимо ушей пропустить. Тем более что разговорчик не простой был.

Жена куталась в платок, всхлипывала, вздрагивала, но уже молчала. Может, еще и не слушала, но кое-что и в этом случае в уши западало, а потому муж негромко продолжал:

— Дело же не в том, кто тобой командует, а в том, чтоб честным остаться, так? Значит, это и берем за основу. Это первое. А второе — у меня, как тебе известно, язва, я тяжести не могу таскать, а знаешь, сколько баллон моего автобуса важит? То-то. И вот Павел Иванович предлагает перейти на его персональную, положив мне при этом среднесдельную в месяц. А всего делов-то — привез да отвез, и машина весь день твоя, хоть в Домодедово кати. Ну, давай проявим характер, откажемся — думаешь, уговаривать станут? Да таких, как мы с тобой, хоть Енисей перекрывай. Вот потому я и говорю, что надо быть принципиальным в главном — ну там, честь коллектива, перевыполнение, чувство законной гордости — в этом ни шагу, умри, где стоишь. А в мелочах-то, Галочка, да ты ж у меня с высшим образованием, ты же понимаешь, что мы спасибо сказать должны, что нас заметили, выделили из общей массы: это ж какие перспективы?

— Значит, на гордость наплевать, да?

— Думать надо. Диалектически думать, тогда все себе объяснишь.

— Объяснишь... — Жена горько вздохнула. — Меня последней независимой державой звали.

— Опять прокол, — улыбнулся муж. — Ну где, скажи, найдешь сейчас независимую державу? Нет таких, разделлся мир: либо с империалистами, либо с нами. Эпоха так диктует, Галчонок, эпоха, поступь истории, как нас в университете учат.

Галина Сергеевна притихла, всхлипывала реже, уняла дрожь, только глаза еще оставались тоскливо отсутствующими, словно прощались. Муж понял, заговорил о будущем, об отпуске, о болезненной дочке, которую хорошо было бы загнать на все лето в детский санаторий. Жена слушала вроде бы безучастно, а перебила в самом неожиданном месте:

— Придется Наташу Разведенную к нам домой пригласить. Чтоб по-семейному поговорить, без нажима.

Муж облегченно перевел дух, поцеловал в щеку:

— Делай как велено.

И пошел телевизор смотреть.

У Клавы телевизора не было, и она занималась делением и вычитанием. Полученный аванс требовалось разделить по статьям обязательных расходов и вычесть из него незапланированные траты. Например, две пары чулок, которые она безнадежно порвала на работе об один и тот же стул, на который все боялись садиться, а она всегда забывала. И Клава, морща лоб, распределяла свои рублевки, но делала это по памяти, а лежавший перед нею листочек хранил совсем посторонние записи.

Там были имена. Признавшись в заветной мечте, Клава теперь с ужасом думала, какая же она мерзавка, что тогда струсила. Сейчас ребяточку шел бы четвертый годик, можно было бы и о втором думать, а она, изверг и дура, никого не имеет. А если бы тогда не струсила, то родила бы девочку — девочка обязательно должна родиться первой, чтобы потом помогать маме и братишкам, — и она назвала бы ее очень красиво. Например, Эллада, а сокращенно — Лада. Нет, Эллада — это, кажется, такой город, а вот, например, Констанция. И она написала: «Старшенькая — Констанция. А следующим будет Валерик». И тут в дверь поскребли, Клава перепугалась, заметалась, накрыла свои капиталы газетой и закричала, чтоб Липатия Аркадьевна входила без стеснения.

— Я хочу угостить вас чашечкой кофе, — сказала Липатия, входя с кофейником, тортом «Сюрприз» и шоколадкой. — У меня ужасный хаос из-за множества вещей на малых метрах. Конечно, кофе — это роскошь, но мы — женщины, и роскошью нас не испугаешь.

— Да, — сказала Клава. — А я долг вам хотела отдать.

Долг отдавать она не собиралась, а собиралась просить обождать еще полмесяца. Но тут так случилось, что пришлось вручить Липатии десятку, предназначенную бабке Марковне в город Пронск. «Перебьется эта Марковна, —

подумала Клава.— В следующем месяце двадцатку вышлю». Пока Липатия благодарила, Клава собрала свои рубли, список будущих детей и достала сахар, хлеб и масло.

— Изумительно,— сказала Липатия Аркадьевна, усаживаясь за стол.— Давайте пировать, пировать, пировать.

Тон был грустным, хотя она изо всех сил изображала веселье.

Клава ничего не поняла, но спросить постеснялась. Липатия Аркадьевна говорила и говорила, а Клава думала, до чего же плохо соседке, жалела ее до боли и все никак не могла решиться спросить.

— Знаете, я по уюту стосковалась. Да, да. Сейчас такое странное время, что все живут на кухнях. И все стали пить вино вместо чая: ведь чай требует уюта, а вино можно выпить и в подъезде. Я неуютная женщина, неуютная, молчите, я знаю, и вот пришла к вам. Рядом с вами оттаиваешь, Клавочка.

— Вам плохо? — собравшись с духом, спросила Клава.

Липатия по-птичьи склонила голову, помолчала. Потом посмотрела на Клаву и улыбнулась запрыгавшими губами.

— Знаете, Клавочка, люди исключительно лучше жизни. Да, да, исключительно лучше, я это знаю. Я знаю жизнь и людей, а сегодня подумала, что я никому не нужная запятая и что, может быть, больше не стоит. Вообще не стоит, и все. И стала собирать пилюли. Все подряд, что мне когда-либо прописывали. Набрала целый стакан — разноцветно и очень нарядно. И решила их все выпить. А потом...

Клава вскочила и долго трясла протянутой через стол рукой. Спазм лишил ее речи, она лишь разевала рот, но трясла рукой убедительно.

— Что с вами, Клавочка?

— Ста... Ста...

— С той поры я уже передумала и пришла к вам праздновать свое спасение.

— Стакан!..— выдавила Клава наконец.— Дайте стакан!

— Стакан?..— Липатия опустила голову, съежилась.— Ах, Клавочка, вы чудесная, но зачем же, зачем вы крадете игрушку?

— Где стакан с пилюлями?

— На окне в моей комнате,— тускло сказала Липатия.

Клава никогда не была у Липатии Аркадьевны. По слухам, усиленно распространяемым самой хозяйкой, комната ее была набита старинной мебелью, бронзой, хрусталем и картинами, и поэтому Клава открывала дверь с трепетом. А открыв, сразу увидела стакан с разноцветными таблетками на голом подоконнике, вошла, взяла его и огляделась.

Комната была пуста. Несколько платьев висели на стене, несколько флаконов стояли на сложенных друг на друге чемоданах, фанерный ящик изображал буфет, а старая раскладушка была аккуратно застелена байковым одеялом. Кроме этого, в комнате имелись еще два ящика, стул и колченогая табуретка. И больше ничего. Ничего решительно, и Клава шла к дверям на цыпочках, будто от покойника. Высыпала таблетки в унитаз, вымыла стакан, вернулась.

— А где... Где ваши вещи?

— Я их съела.

— Я ничего не понимаю! — сердито сказала Клава. — Вас обокрали?

— У меня никогда ничего не крали, потому что мне исключительно везло в жизни. Нет, я вас обманула, Клава, в детском доме у меня однажды стащили ботинки. Знаете, мальчишковые. Исключительно прочные ботинки, теперь таких не делают. Я хотела купить, чтобы было всегда тепло и сухо.

— В детском доме? — тупо переспросила Клава, опустив все остальное.

Детский дом и Липатия Аркадьевна, в которую были влюблены все артисты, никак не связывались в ее голове. А тут еще — пустая комната вместо ожидаемого гнездышка.

— Да, да. Мой отец исчез в сорок третьем году. Мне было два годика, потому что я родилась на второй день войны. Исключительно на радость маме и папе.

— Как исчез? Погиб?

— Говорили, что его вызвали в городскую управу, и он не вернулся. В оккупации это случалось. Потом мама умерла, а меня отправили в детский дом.

Клава во все глаза глядела на худую, нескладную Липатию, на ее морщинистую шею, редкие, пережженные красителем волосы, ввалившиеся щеки, опущенные уголки губ и ничего не могла понять. Она словно видела ее впервые, а знакомиться не решалась.

— Пейте кофе, Клава, остынет. Правда, кофе можно пить горячим, теплым или холодным, и все это исключительно вкусно. Знаете, один мой поклонник...

— Вы не старая? — шепотом спросила Клава.

Липатия Аркадьевна зарделась совсем по-девичьи. И торжественно тряхнула головой.

— Старость — это ощущение, которого я исключительно лишена.

— Получается, вам... сорок с кусочком. — Клава недаром была счетным работником. — А как же... А почему же... У вас была тяжелая жизнь?

— Ах, Клавочка! — Липатия беспечно махнула рукой. — Жизнь не чемодан, зачем же ее взвешивать? Она прекрасная, удивительная, сказочная, и каждой женщине достается всего понемножку. И тут исключительно важно, что помнить. Что помнишь, такая и жизнь.

Чувство, что с этой женщиной она незнакома, крепло в Клаве с каждой секундой. Незнакомой была интонация, лишенная обычной жеманности, взгляд, вдруг погрузневший, слова, в которых лишь изредка, как опознавательный знак, мелькало что-то привычное. Прежде Клава не стремилась узнать жизнь Липатии, где, как ей казалось, одна выдуманная любовь сменяла другую выдуманную, а теперь захотелось. Теперь показалось, что в этой чужой прошедшей жизни было что-то важное и для нее, и Клава с несвойственной настойчивостью требовала откровения.

— Да, Клавочка, детский дом — это прекрасно, потому что он — детский, а у кого хватит бесстыдства порочить собственное детство? Там было исключительно много ребятшек и исключительно мало еды, и я была худая, как кочерга. Нас учили шить, но боюсь, что не очень учили жить, во всяком случае, я до сих пор не встречала ни одного начальника, который вышел бы из нашего детдома. Я думаю, это потому, что из нас делали исключительно верующих людей.

— Верующих? — со страхом переспросила Клава. — Вас заставляли верить в бога?

— В коллектив, — строго сказала Липатия. — Нам внушали, что коллектив всегда прав, что он всегда умнее, честнее, благороднее и справедливее отдельного человека. Наверное, так воспитывают муравьев, и это исключительно правильно, хотя жизнь, увы, не муравейник, а жаль, потому что в муравейнике нет ни воровства, ни обмана и все ходят сытые. И я бы хотела быть обыкновенной муравьишкой, потому что у меня все равно нет детей, а там, в муравейнике, я бы ухаживала за куколками.

Клава с грустью подумала, что Липатия Аркадьевна совершенно права и что ей тоже хорошо бы было ухаживать за куколками. Она вспомнила о начатом списке, но решила не углубляться и спросила:

— Вы говорите, вас учили жить?

— Шить, — строго поправила соседка. — Хотя если правильно покопаться в душе, то я исключительно неспособная, и даже если бы меня учили жить, я бы все равно получила двойку. Но нас все-таки учили шить, и я ничему не выучилась, разве что пришивать пуговицы. А потом я пошла на швейную фабрику и пришивала пуговицы к мужским

сорочкам на специальной машине, и это было чудесное время. Ах, Клабочка, вы себе представить... Нет, представить вы можете, как я пела. Конечно, не за пуговицами, а в вокально-музыкальном кружке при Дворце. Это замечательно, что теперь у всех есть Дворцы, даже если они вместо любви, но я вышла замуж исключительно по любви. Его звали Тарасевичем Иваном Никитичем, ему было сорок два, а мне ровно двадцать, и я была исключительно счастлива, потому что могла быть его дочкой. А еще я была — вот вы ни за что не поверите! — я была румяная и даже толстенная, а он воевал и был два раза ранен, и полицаи постреляли всю его семью. «Липочка,— говорил он мне,— мы будем самыми счастливыми на свете, Липочка...»

По худому, изможденному лицу Липатии весело бежали кругленькие слезинки. Она шмыгала носом и улыбалась, и слезы прятались в морщинках, появляясь вдруг на кончике подбородка и уже оттуда кадая в кофейную чашку. Клава боялась шевельнуться, боялась дышать, и в комнате стояла такая тишина, что было слышно, как капают слезы.

— А потом его перевели в Москву с таким повышением, что нам дали — это в то еще время! — целые две комнаты на двоих. Прямо плодитесь и размножайтесь, как сказано в одной книжке, но я не могла размножиться, потому что застудилась еще в войну, потому что когда не вернулся наш отец, то совсем не стало дров. А муж все мечтал меня вылечить, и мы ходили по врачам. И, наверное, все было бы замечательно, только один раз мой Иван Никитич вернулся с работы, лег на диван и умер. А я не знала, что он умер, и готовила ужин, и болтала с Тамариной мамой — она еще была жива, — а Тамара...

— Какая Тамара? — шепотом спросила Клава. — Томка, что ли? Наша Томка? А где ж вы с мужем жили? У нас же трехкомнатная квартира, и у каждой по комнате.

— Да, да, — тихо согласилась Липатия. — Я исключительно напрасно завела разговор.

— Подождите! — Клава вскочила, метнулась к окну, вернулась. — Я в седьмой класс ходила, когда мы сюда переехали. Мы вашу комнату заняли, да, вашу?

— А зачем мне две комнаты? Мне совершенно не нужно лишнего, когда столько людей исключительно нуждаются. Не бойтесь, не бойтесь, мой муж умер в другой комнате. В той, где стоит раскладушка.

— Господи, — вздохнула Клава. — Я же ничего не знала. А вы были рыжая.

— Мне тогда исполнилось тридцать, — торжественно сказала Липатия. — Мне исключительно не на что было жить,

потому что как-то случилось, что мы нажили только ранения и болезни. А меня всегда тянуло к артистам — это очень смешно сейчас, правда? — вот я и пошла в гастрольную эстраду и стала Липатией Аркадьевной.

— Как так — стали?

— Скажите, можно управлять артистами, если вас зовут Евлампия? А меня зовут Евлампия, и мой отец был Авдей. И его убили фашисты, а я назвалась Липатией Аркадьевной и так всех запутала, что меня так зовут даже в паспорте. Но обман всегда приносит горе, Клавочка, и старайтесь никогда не обманывать. Я могу вам исключительно точно сказать, что если бы я осталась Евлампией Авдеевной, то не превратилась бы в Липатию Аркадьевну.

За внешней бессмыслицей скрывалась боль, и Клава все поняла. А поняв, ощутила вдруг, что она старше Липатии; встала, обошла стол и крепко прижала к груди беспутную ее голову.

— Обождите, Клавочка, обождите, — тихо сказала Липатия, боясь шевельнуться. — Сейчас вы прогоните меня и побежите отмываться индийским порошком. Я — воровка. Не верите? Я тоже не верю, но в обвинительном заключении было написано, что я присвоила столько, сколько мой покойный Иван Никитич не заработал за всю жизнь, даже если каждое его ранение оценить в три тысячи рублей. Да, да, Клавочка, я была под следствием, и хотя суд меня оправдал, но лучше бы он этого не делал, потому что я не могу работать ни в идеологии, ни в искусстве, ни даже в торговле. И все кадры ужасно пугаются, когда я об этом пишу в анкете, и меня с той поры так никто и не взял в трудоустройство. А ведь я ничего не прошу сказочного, я прошу исключительно об одном: пожалуйста, будьте так добры, позвольте мне сесть в стеклянную будку и продавать газеты. Я ничего не изменю в статьях и не украду ни одной копейки, только позвольте. Если женщине не суждено родить, то за что же убивать ее до конца жизни? За что?

— За что? — испуганным эхом откликнулась Клава.

— Вы знаете, что такое «левые» концерты? Вот и я не знала, но мне объяснил следователь. У меня был замечательный следователь, исключительно отзывчивый, про него надо писать романы. Да, да. Он мне показал кучу каких-то бумажек, назвал их, как меня, «липой» и сказал, что на них моя подпись. А...

Распахнулась дверь, и в комнату ввалилась развеселая Томка. За нею виднелись неизвестный Клаве мужчина, сияющий, как полная луна, и известный Клаве слесарь, нежно прижимавший к груди две бутылки водки.

— Вот она! — заорала Томка. — Люля-кебаб! Томится! Где гуляем, подруга, — у тебя или у меня? Лучше у тебя, а то у меня постелька настезь. — Тут она узрела Липатию. — А ты чего здесь? Гуляй отсюда, рыба прилипала. Ну? Тряси костями!

— Извините... — Липатия вскочила, суетливо переставляя чашки, кофейник, нетронутый торт. — Извините, пожалуйста. Вы исключительно правы, исключительно.

Клава сидела, как истукан, еще не осознав, что происходит. Мужчины уже вломились в комнату, «лунатик» улыбался у дверей, а слесарь по-свойски протопал к столу и водрузил на него бутылку.

— Торт оставь! — скомандовала Томка, сбрасывая пальто на пол. — Он тебе не по зубам, а мы враз схрумкаем.

— Да, да, извините, это лишнее, конечно, лишнее...

Руки Липатии тряслись, все в них прыгало и брякало, и этот звук полной растерянности, абсолютного бессилия и покорности одновременно пробудил Клаву. Она опомнилась вдруг, мгновенно и тут же вскочила.

— Вон.

Она сказала шепотом, но так, что все замолчали. И оравшая Томка, и приплясывающий, уже изрядно принявший слесарь, и дрожащая Липатия, и «лунатик» у дверей. Все стихло разом. Клава хотела крикнуть, но крикнуть не удалось, потому что ей опять сдавило горло. Тогда она схватила бутылку за горлышко и метнула ее, как гранату, в распахнутую дверь. Бутылка со звоном разлетелась в мокрые дребезги, а Клава схватила вторую бутылку и швырнула ее туда же.

— Стерва-а! — завопила Тамара.

Сбила с ног, навалилась, визжала, царапалась и ругалась скверно и громко. Клава отбивалась, как могла, кто-то их растаскивал, кто-то поднимал ее с пола. Она успела заметить, что «лунатик» в обхват держит плюющую Томку, и тут слесарь, по-мясницки хакнув, врезал Клаве твердым, как полено кулачищем. Все завертелось, Клава начала оседать, опрокидываясь в бездну, и последнее, что она увидела, так это как Липатия с противоестественной частотой лупит слесаря кофейником и кофейная гуща растекается по красной слесаревой физиономии...

На следующее утро Клава пришла на работу заштукатуренной. Несмотря на то что встала она на час раньше и весь этот час вместе с Липатией трудилась над

гримом, синяк просвечивал, как темное прошлое. Кое-как объяснив любознательным, что упала со стула, Клава заби-лась в свой угол и начала усердно трудиться, на зажигая света, хотя было темновато. Она наивно рассчитывала от-сидеться тут, как в норе, но уже через час была востребо-вана. Струхнув более обычного, Клава покорно направилась в кабинет, но, к великому ее удивлению, начальница была на редкость мила, добродушна и ласкова. Задала несколько вопросов по делу, сердечно поговорила о погоде и отпустила с миром. А отпустив, вызвала Веронику Прокофьевну.

— Синяк. Уточните, в каком дебоше. И давайте лекцию, пока доказательства на лице.

Людмила Павловна спешила, так как неизвестный бла-годетель с мужественным баритоном признался, что вольты¹ нить с письмом более не в силах. То ли инспектирующие перешли в атаку, то ли просто набивал себе цену; как бы там ни было, а тучи сгущались. К этому времени Галина Сергеевна наконец-то душевно поговорила с Наташей Раз-веденной и выяснила, что в тоске она, хоть стреляйся, ибо нет у нее никакой возможности получить собственные квад-ратные метры. Это обстоятельство так заинтересовало Люд-милу Павловну, что она рискнула обеспокоить самого Ви-лена Трофимыча, которого до сей поры берегла на самый крайний случай.

— Вилен Трофимыч, солнышко ты наше, выручай. При-перли твою однокашницу, и спасти может только одноком-натная квартира...

Долго вздыхал Вилен Трофимыч, пугал ревизорами, ло-мался и маялся. И все же столкнулись, когда Людмила Павловна намекнула насчет МГИМО: у Трофимыча балбес в дипломаты рвался, но аттестат его тянул максимум на администратора в кинотеатре средней руки.

— Ты гарантируешь — я гарантирую. По-деловому, Тро-фимыч.

— Добро, Людочка, замetano. Звякни через неделю.

Через неделю однокомнатная квартира практически ле-жала на столе, и Людмила Павловна вызвала Наташу Разведенную. Поговорив о том о сем, вздохнула сокру-шенно:

— Интересная, молодая, огонь в крови, а что же на личике? Тоска и неустроенность, я угадала?

— Это мое личное дело,— нахмурилась Наталья.

— Неустроенность,— озабоченно повторила начальница, будто не расслышав.— Поразительная несправедливость: са-мый уважаемый и принципиальный работник не имеет соб-ственного угла. Но есть возможность это исправить. Я пока

ничего не обещаю, это будет от многого зависеть, но все же пиши заявление.

Свобода — осознанная необходимость, как утверждают классики. Правда, необходимость порой так берет за глотку, что нужно быть основательно подкованным в теории, дабы упрямо ощущать себя свободным. Галине Сергеевне это ощущение давалось за счет сокращения дней ее на этой земле, а Наташе Разведенной несравнимо легче, ибо Наташа была злой. Злой и умной. И все поняла и начала деятельно собирать необходимые бумаги.

Но все это было за полмесяца до описываемых событий. А если вернуться к ним, то на другой день после появления Клавы с синяком Вероника Прокофьевна доложила:

— Подрались с соседкой.

Она добыла сведения от перепуганной Липатии, поскольку Томки дома не оказалось. Липатия живописала побоище с дрожью, негодованием и жуткими подробностями, и Вероника Прокофьевна доложила слово в слово, только поменяла плюс на минус.

— Чудесно, — улыбнулась начальница. — Готовьте диспут «Береги честь смолоду». И непременно ту старушку из общественности пригласите, которая конспектировать любит. Есть прекрасная закономерность: женщины с возрастом делают все нравственнее и нравственнее.

За всем этим стояло доброе имя Клавдии Сомовой, но сама Клава ни о чем не догадывалась. Она старательно лечила свои синяки и очень переживала из-за несчастной Липатии Аркадьевны. Теперь она летела домой и первым делом стучалась к соседке. Убедившись, что та покуда жива, принималась за ужин, на который под любым предлогом приглашала Липатию. То на пирог, то по поводу окончания трудовой недели, то просто так, без всякого предлога. Делала она это с упрямым постоянством, что вскоре привело ее на грань финансовой катастрофы. Но Клава колебалась недолго, решительно вычеркнув из расходов незнакомую бабушку Марковну из неизвестного города Пронска. А тут еще Томка объявила войну и вредила: то газ под картошкой выключит, то заварку из чайника сольет, то три ложки соли в молоко всыплет. И Клава так была занята Липатией, финансовыми пересчетами и борьбой с бывшей дорогой подругой, что не успела подготовиться к диспуту.

Мероприятие проходило по линии повышения культурного уровня. Когда-то они всем отделом объявили себя коммунистической бригадой, три раза вместе сходили в кино да раз в Третьяковку, а больше уж никуда не ходили, отделяясь тематическими собраниями, где один доклады-

вал, двое поддерживали, и все радостно спешили по домам. А потом и это заглохло, заилненное новыми веяниями, изучениями, читками и собраниями, где опять-таки один выступал, а двое поддерживали. Дела шли очень славно — и вдруг этот диспут о чести, которую надо беречь смолоду, а не с колыбели, как считала Клава. Она додумалась до этого в метро, потому что где-то в подсознании у нее гвоздем сидела мысль о Констанции и последующем Валерике. А додумавшись, твердо решила, что своих ребятишек будет воспитывать так, чтобы честь они берегли не потом, не с какого-то там времени, а с первого и до последнего вздоха. И еще решила: если ее вызовут, то она непременно скажет всем, что честь надо беречь не смолоду, а значительно раньше.

Основополагающий доклад делала сама начальница. Вдохновенно потрудившись четыре рабочих дня, Людмила Павловна исписала цитатами восемнадцать страниц и теперь внушительно читала притихшей аудитории афоризмы, дискутировать по поводу которых было не просто бессмысленно, но и небезопасно. Это избавляло скучавших слушательниц от необходимости что-то говорить, но больше всех была довольна старушка — божий одуванчик. Она торжественно кивала, слыша откровения, смело утверждавшие, что дважды два — четыре, и ничего не записывала, хотя держала наготове блокнот и ручку. Начальница читала, старушенция кивала, аудитория дремала — все шло, как обычно, привычно и прилично.

— Теория ценна своей связью с практикой, — изрекла Людмила Павловна, перевернув последний листочек. — И мы должны с принципиальной откровенностью осветить наш небольшой женский коллектив, честь которого всегда должна сиять, как маяк. Кто желает поделиться своими мыслями?

Делиться никто не рвался. Студентки Катя и Таня были отпущены на занятия, и даже отчаянная Лена сонно помалкивала. Но пауза затянулась не настолько, чтобы чугунно придавить аудиторию: Вероника Прокофьевна вовремя подняла руку.

И тут Клава сразу выключилась, занявшись собственными беспокойствами: о Констанции, Валерике и реальной Липатии Аркадьевне, мечтавшей продавать газеты в стеклянной будке, потому что из-за болезни не могла ворочать шпалы на железной дороге. Клава понятия не имела, где оформляют на работу продавцов газет, но, увидев Веронику Прокофьевну, вспомнила, что она профорг, и тут же решила посоветоваться: ведь должен же профсоюз заботиться о людях? И начала старательно продумывать, как ей объяснить

насчет невезучей этой Липатии, и опомнилась, только заметив, что все смотрят на нее, а древняя гостья строчит в блокноте.

— ...любовь — святыня для каждой женщины, и мы должны серьезно предупредить Клавдию Сомову, что не потерпим в своем коллективе...

В голове у Клавы вдруг завихрилось, завертелось, вроде бы даже загудело, будто в печной трубе. Она ничего не поняла и сначала поднялась, решив, что ее называют для положительного примера. Но Вероника Прокофьевна, уткнувшись в бумажку, уже лихо неслась дальше, и все — кто с недоверием, кто с любопытством — глядели сейчас на Клаву. Кроме Галины Сергеевны, которая, низко опустив голову и подозрительно утирая нос платочком, сосредоточенно разглядывала стол.

— Бред! — вдруг звонко выкрикнула Лена. — Бред сивой кобылы!

— Это я — сивая кобыла? — еле выговорила Вероника Прокофьевна запрыгавшими губами. — Людмила Павловна, вы слышали?..

— Обождите! — отмахнулась начальница: диспут сворачивал на иное направление. — Объясняйся человеческим языком, Елена.

— А человеческим, так Клавка и есть самая нравственная из всех нас, — столь же запальчиво продолжала Лена. — Кто никогда не опаздывал? Клавка. Кто ни разу не удрал из нашего кипучего безделья? Клавка. Кто никогда никому не соврал даже для смеха? Опять Клавка! И вы, фальшивки, ее порочить смеете?

— Замолчать! — крикнула Людмила Павловна, ударив ладонью по столу. — Кому бы говорить, да только не тебе, Елена. Ты — самая безнравственная, бесстыдно безнравственная во всем коллективе, ты осмеливаешься защищать Сомову? Рыбак рыбака видит издалека, так, что ли? А кто своих мальчиков, как ты выражаешься, напоказ сюда водит, и чуть ли не каждый месяц нового? Кто?

— Ах, завидно стало! — весело расхохоталась Лена. — Вот и отлично. Я водила мальчиков, не отрекаюсь. Весь класс с вами, дурами, перезнакомила, чтоб вы от зависти полопались. А насчет нравственности, так я вам не тихоня Клавка, меня не вдруг-то проглотишь, еще и подавишься. Да я завтра же справку из поликлиники принесу, что дева я непорочная, что тогда скажете? Вот так и будете стоять рот разинув, да? — Она опять торжествующе засмеялась. — Вы, бабушка, запишите, что тут Сомову топить вздумали. Зачем, не знаю, а только непременно запишите.

Выдавив поощрительную улыбку, Людмила Павловна соображала с такой быстротой, с какой соображать ей еще не приходилось. В четко продуманной операции ошутимо назревала трещина. Ленка-звонок, Ленка-болтушка, Ленка, для которой, как казалось, существовали одни мальчики, давала бой за никому не нужную Сомову. И, судя по задору, успокаиваться, выкричавшись, не собиралась. Она спорила сейчас принципиально с самой Людмилой Павловной, спорила с таким злым азартом, что оставалось одно спасение: срочно изменить курс. Но пока все гомонили, Наташа Маленькая шепталась с Наташей Разведенной, мапа Оля — с Вероникой Прокофьевной, Лена продолжала что-то выкрикивать, Галина Сергеевна притихла, как мышь, а Клавдия пошла красно-белыми пятнами, будто мухомор, — следовало действовать поэтапно.

— Тишина, тишина, тишина! — громко сказала начальница, трижды ударив в ладоши.

И все смолкли, поскольку сработал условный рефлекс. И начальница уже набрала воздуха, чтобы взять разговор в свои руки, как вечно молчавшая, загадочная Ирочка негромко сказала:

— Что же это вы в меня не вцепились или в мапу Олю? У меня — любовник, у Оли — сынуля со стороны. Что же вы все — на самую безобидную? Права Ленка: боитесь вы Клавки Сомовой, потому что Клавка никогда не соврет, хоть на костре ее поджарь. И ту записку, чтоб нашу шарашкину контору прикрыли, она писала, потому что поверила, будто вам и вправду экономия нужна не на одной старой копирке. Так, мапа Оля?

— Вообще-то конечно. Мы все Клаву хорошо знаем.

Если бы Ира не задала вопрос, Оля просидела бы весь этот шумный вечер молча, как всегда сидела на собраниях. И тогда не случилось бы того, что случилось, и дальнейшая жизнь текла бы спокойным незамутненным потоком по привычному руслу. Но Ира спросила, Оля нехотя ответила, и судьба со скрипом провернула свое ржавое колесо.

Наташа Разведенная прекрасно знала, сколько весит ее слово. Не забывала она об этом и сегодня, когда волнения, давно колебавшие ее душу, достигли критической силы. И если на прошлом собрании, с которого и разгорелась эта война, к краю подвели Клаву Сомову, то теперь у края оказалась Наталья Разведенная.

Топи или утонешь сам. Нет, сам не утонешь — утонет твоя злая, вспоенная завистью мечта: отдельная квартира и Игорь Иванович. И важнее квартира — ведь в метры же он влюбился, не в сонную же Ольку! — важно предложить

квартиру ему, а уж любовь как-нибудь завоюем. У нас и темперамент, и авторитет, и ноги длинные, и волосы погуще. Важно предложить не только себя — кто в наши-то дни без московских метров всерьез влюбится! — важны метры. Метры, метры, метры...

Все это пронеслось в Наташиной голове, все взвесилось, согласовалось с совестью, убедило ее помалкивать, и независимое герцогство встало во всем своем непрерываемом авторитете. В голове у Наташи стучало, и она все время внушала себе: «Успокойся, успокойся, ты делаешь правильно». И считала кончиком язычка зубы, как то предписывал аутотренинг. Клавка Сомова, наверное, и слова-то такого не слыживала, а Наташа занималась им регулярно дважды в день перед водными процедурами.

— Из моральных принципов я не пощадила своей любви, — посторонним голосом сказала она, суеверно подумав, что настоящую-то любовь она пощадит всегда, пусть Игорь Иванович совершенно не беспокоится на этот счет. — Я слушаю выступления, я наблюдаю за вами, и у меня болит сердце. Болит! Оно не выносит неправды, не выносит притворства, не выносит умолчания. Умолчания Сомовой, трусливого и безнравственного. Она решила отсидеться под защитой добровольных адвокатов, так я не дам ей этого сделать. Я сорву с нее маску и покажу всем ее настоящее лицо!

Такого ненавидящего пафоса не ожидала даже Людмила Павловна. Она с изумлением и теплой благодарностью впи-лась глазами в гневную и очень похорошевшую Наталью, не дав себе труда понять, что в этот момент Наташа лютой ненавистью ненавидит совсем не Клаву, а себя, обещанную однокомнатную квартиру и благодетельницу Людмилу Павловну.

— Мы были с тобой в кафе, Сомова?

— Были, — с поспешной готовностью подтвердила Клава. — На Горького, напротив Елисеевского.

— Сколько раз ты избавлялась, Клавдия? Молчишь? Призналась ты только в одном, сказав, что для тебя это как ангина, что детей ты боишься, ненавидишь и травить их в зародышах, потому что пьешь что пьешь с мужчинами!

Наташа сделала эффектную паузу, но пауза была испорчена так не вовремя вставшей вдруг Клавдией.

— Как же? — тихо и беспомощно спросила она. — О мечте говорили, я список составила, у них уж имена есть...

— Список убиенных тобою младенцев! — выкрикнула Наталья, чувствуя, что еще секунда — и не выдержит, заорет, забьется, может быть, даже в Людмилу Павловну вцепится. — Ты безнравственная лгунья, Клавдия!

Наташа Разведенная не села, а рухнула — даже стул застонал. Тишина стояла как в склепе; все переваривали, приводили в соответствие, отсеивали правду от вымысла и негодование от истерики. Секунда-другая, и эта экзальтированная аудитория взорвется таким сумбуром, в котором и сам сатана ничего не разберет, а уж гостя — тем более. Нет, нельзя было отдавать ни секунды, надо было бить и бить и закрыть собрание, когда все будут в абсолютном шоке. И Людмила Павловна начала трясти сжавшуюся в комочек бывшую независимую, а ныне безоговорочно капитулировавшую державу. Галина Сергеевна дернулась, глянула затравленно и встала. К тому времени уже летал шепоток неким предвестником возможной бури, но сразу же превратился в штиль, начиненный ожиданием.

А Галина Сергеевна разинула рот и заплакала. Она плакала несмело, но горестно, слезы градом катились по ввалившимся щекам, и во всей ее жалкой, словно бы уже выброшенной, фигуре тлео такое отчаяние, что чуткие девичьи сердца доверчиво и жалостливо распахнулись навстречу.

— Говорите,— сквозь улыбку почти беззвучно произнесла Людмила Павловна.— Говорите же наконец, тряпка!

— Я...— Галина Сергеевна беспомощно всхлипнула.— Она жестокая, бессердечная женщина. Никому покая, никому! Она мужа моего преследует...

— Рукой покажите, рукой! — свирепым шепотом сказала начальница.

— Она...— Галина Сергеевна покорно подняла руку и ткнула в Клаву Сомову.— А у меня девочка больная, ей песочек нужен, ей каждый год солнышко у моря. А она... она... С мужем ссорит!

Выкрикнув последнюю фразу, заместительница закрыла лицо руками и разрыдалась в голос. К ней кинулись Вероника Прокофьевна и Наташа Маленькая, обняли, поддержали, нашептали, увели. И все опять молчали, и тут старушка вдруг бросила ручку и сказала:

— Я решительно запуталась. Решительно!

— Сейчас внесем ясность.— Теперь начальница была спокойна.— Сомова, объясни нам, как дошла ты до такой жизни.

— Я?

Клава встала, медленно обвела всех взглядом и улыбнулась. Улыбка была застенчивой и детской, той, что сродни слезам, и многие опустили головы, чувствуя, что им почему-то не по себе.

— Ну, говори же, говори! — крикнула Людмила Павловна, поняв, что молчание Сомовой вкупе с безгрешной улыбкой сметут до основания всю выстроенную пирамиду.

— Говорить надо? — Клава вздохнула.— А зачем честь смолоду беречь? Смолоду поздно уже. Эту и беречь-то нечего. С детства беречь — да, это правильно. А сейчас — опоздали. Нет ее уже ни у кого. Нету. Вытравили.

Она говорила тихо и как-то незнакомо выстраданно. Будто много-много пережившая старушка. И все молчали, но молчали не так, молчали подавленно, стараясь не глядеть друг на друга.

— Правильно,— сказала Лена.— Молодец, Клавочка, спасибо тебе.

— Позвольте мне уйти,— еле слышно попросила Клава.— Пожалуйста, позвольте, а то не доеду я. До дому не доеду.

— Иди,— растерянно согласилась начальница.— Мы решение без тебя...

— И без меня! — выкрикнула Лена, вслед за Клавой бросаясь к дверям.

О чем говорила Лена долгой дорогой, Клава не слышала. В голове шумело, мысли метались, как мышки, а в ушах звенело, и глупая мелодия расхожего шлягера бесконечно звучала в душе. И чтобы избавиться от него, Клава стала петь про себя всю песенку, а песня, как на грех, оказалась длинной, кончила Клава ее перед самым домом, с облегчением ощутила, что мотивчик исчез, обняла Лену и сказала совсем уж невпопад:

— Я ее не Констанцией назову, я ее Леночкой назову. Можно?

10

Это была первая и последняя ночь, которую Клава не спала. До нее только в постели дошел весь чудовищный смысл обвинений, сон сразу пропал; она хотела заплакать, но боль в душе все росла и росла, а слезы куда-то пропали. И было так больно, что она трижды пожалела, что выбросила в унитаз собранные Липатией разноцветные таблетки. Вставала, ходила, пила кефир, хотела замерзнуть, чтобы простудиться и умереть, но согрелась под одеялом и опять начала маяться. К утру у нее страшно разболелась голова, но еще до этого она поняла, что больше никогда в жизни не придет в отдел. Даже под угрозой голодной смерти или выселения из Москвы. Валялась до девяти, потом вста-

ла, хотя голова продолжала отчаянно болеть. Нечесаная и мятая, без толку бродила по комнате, натываясь на стулья. Один раз даже с грохотом, но это было ничего, потому что Липатия тоже, наверное, встала, а Тамара, с которой велась жестокая война, уже должна была уйти в свою кассу. И только так подумала, как вошла вредная соседка Томка. Бывшая подруга.

— Привет. А я слышу, ты стулом грохочешь, значит, думаю, дома. Отгул взяла или заболела?

— Заболела,— очень неприветливо ответила Клава.— Уйди, пожалуйста.

— Некуда, в отгуле я. Я помириться хочу, если ты тоже хочешь.

Мириться Клава всегда была готова, потому что очень страдала от ссор и не любила их. Но здесь обидели не только ее одну, и она сердито помотала головой:

— Вместе с Липатией.

— Что вместе с Липатией?

— Мириться будем втроем, если все захотим.

— Да пошла она, твоя Липатия!

— Тогда и ты уходи,— строго сказала Клава.— Уходи, у меня голова болит.

Томка пофыркала, посопела, все еще стоя на пороге. Потом махнула рукой:

— Мириться так мириться!

Завтракали на кухне за большим Томкиным столом. Томка глядела на часы и рвалась сбегать, но Клава и Липатия Аркадьевна твердо заявили, что ничего, кроме чая, пить не будут. Томка поворчала, погрохала сковородками и повеселела:

— Ну и правильно! А то косеем да плачемся, плачемся да косеем. Ты чего кривишься, подруга? Я тебя, если хочешь знать, с той поры, как ты водку грохнула, еще больше уважаю. Все гады, а мужики — гады со знаком качества.

— Это исключительно неправильное заявление,— сказала Липатия.

Она отложила вилку и набрала полную грудь, чтобы хватило воздуху на изложение позиции, но Клава все испортила. Заревела вдруг и рассказала, как ужасно ее прорабатывали, и даже Наташа Разведенная, и что только одна есть хорошая девочка, так это Леночка, и что Лена — очень прекрасное имя. И как будет страшно, когда об этом узнают в райкоме комсомола. Все это она рассказывала длинно, с массой непонятных — точнее, понятных только женщинам — отступлений и подробностей, плача и всхлипывая. Ее поили холодной водой, капали валерьянку и корвалол и запихи-

вали мокрый платок в лифчик. Томка кричала: «Гады», «Гадины!» и «Вот гадюки!» — а Липатия тихо всхлипывала за компанию.

— Я же говорю, что все сволочи,— сказала Тамара, когда Клава закончила свой горестный рассказ.— Значит, надо, как все.

— Неправильно вы говорите,— строго возразила Липатия.— Это все жизнь, уверяю вас. Люди исключительно лучше жизни.

— Дерьмо такая жизнь!

— Значит, надо ее чинить.

— Как же, починишь ее, холеру! — ворчала Томка.

— Я думаю, это оттого, что все не так,— сказала Липатия.— Мы должны быть «над», а оказались «под». А когда «под», то исключительно плохо, потому что все скверные слова начинаются на это «под». Например, подхалим, подвох, подделка или поджигатель войны.

— Подонок! — радостно подхватила Тамара и засмеялась.— Подлюга, подлиза, подначка. Точно!

— Вот.— Липатия важно подняла палец.— Мы под нравственностью, и нам предстоит расти до нее. Дотягиваться. А расти всегда очень трудно. И долго. Это процесс, надо ждать.

— Чего?

— Пока дорастем, сравниваемся и обгоним. И станем «над». И нравственность из крыши, под которой прячут нехорошие дела, превратится в пол, на котором все будут стоять. И жизнь перевернется, как надо, и все тогда увидят, какие люди замечательные.

— Скоты они замечательные! — опять взорвалась Томка.

— Вы, Тамара, однажды произнесли хорошие слова,— проникновенно сказала Липатия.— Вы исключительно правильно заметили, что мы, женщины, есть последний шанс. Я запомнила и долго думала. И я убеждена, что каждая женщина должна казаться выше. Выше мужчин, выше окружающих, выше телевизора, выше самой себя. Она должна тянуться вверх, как дерево. Что мы замечаем в лесу? Самое высокое дерево. Оно — пример. Вот и женщина тоже.

— Верно,— пригорюнившись, вздохнула Томка.— Ухаживать перестали, цветы дарить перестали. стакан водки вольют — и сразу под юбку. Даже слов никаких уже не говорят.

Клава сидела молча, горестно подперев щеку рукой. Она не участвовала в научном диспуте, хотя слышала каждое слово. Апатия, в которую впала она, была совсем не от равнодушия — нет, у Клавы имелась своя точка зрения, и

она могла более или менее ясно сформулировать ее, — а от глубокой, до сей поры болезненно ощущавшейся обиды. И полного непонимания, почему именно она попала под пресс, почему именно ее душу жали, мяли, давили и топтали как только могли. «За что? — горько спрашивала она себя. — За что же мне это, господи?..» И чем дольше и оживленнее спорили за столом, тем все сильнее, все тревожнее раскачивалась ее обида, и Клава поняла, что корень ее — унижение. И ворвалась вдруг совершенно невпопад:

— А я туда больше не пойду! Пусть хоть с милицией приходят, лягу на пол и не пойду!

Жалостливая Липатия тотчас же поддержала, а практичная Томка спросила:

— Ты вроде в отпуску еще не гуляла?

— Не гуляла.

— Сперва отгуляй, что по закону положено, а потом — с приветом. Пиши заявление. Так, мол, и так, категорически требую заслуженного отдыха. Число и подпись.

Томка принесла бумагу, и Клава написала заявление за кухонным столом. А написав, вздохнула:

— Ну и что? В Москве сидеть — весь день реветь.

— Поезжай на юг, Клавочка. Море еще такое ласковое, исключительно такое...

— К бабке своей езжай, — решила вдруг Томка. — Зря, что ли, ты ей каждый месяц десятку шлешь?

Унижение жгло нестерпимо, будто разрезали грудь и положили на сердце натуральный раскаленный уголек. Он горел, не затухая, и Клава плакала непрерывно, точно надеясь слезами загасить его пламя. Ей все время хотелось бежать — все равно куда, только отсюда, из города, где так больно умеют обижать, в глухомань, где никто ее не знает и куда никак не могут докатиться слухи, что она безнравственная женщина, убивающая собственных детей. И горе-то заключалось в том, что это было правдой, — пусть крошечной, пусть давно прошедшей, но правдой в основе своей: еще при жизни мамы Клава тайком сделала аборт. И она мучилась и убивалась не только вчерашним, но и тем, прошлым стыдом, который, как оказалось, никуда не делся и тихонечко жил в ней до поры.

— Ну, что мне делать, что делать-то, подскажите? Что? Умереть?

— Да что вы, Клавочка! — пугалась Липатия.

— Ехать! — кричала Томка. — Рви когти, подруга. Там забудешься, а может, и романчик скрутишь.

И Клава согласилась. Тамара гарантировала билет, а Липатия Аркадьевна лично отнесла заявление об отпуске в

отдел. Начальница с облегчением подписала бумагу — Клава сейчас была опасна — и даже позволила Липатии получить Клавины отпускные. Все сделалось быстро, и сияющая Липатия вернулась не только с оформленным отпуском, но и с отпускными деньгами.

— Я на нее так посмотрела, так посмотрела! — рассказывала она о своей встрече с Людмилой Павловной. — С таким исключительным презрением, что она содрогнулась.

Три дня, что собирали в дорогу, Клава бездельничала: лежала и плакала или слонялась по комнате и тоже плакала. Тамара принесла билет, а за покупками бегала Липатия Аркадьевна. Никто не знал, какая из себя бабка Марковна и сколько ей лет, и на всякий случай купили очень темный платок. И еще три батона полукопченой колбасы.

— Хороший подарок, — говорила Липатия, очень довольная, что раздобыла колбасу. — И еще непременно — московских конфет. Старушки любят сладкое.

Когда все было куплено и уложено, Липатия забрала у Клавы ее пояс с резинками и лично пришила к внутренней стороне кармашек с пуговкой.

— Сюда положите все деньги, кроме тех, что на расходы. И ни в коем случае не снимайте пояс. Ни в коем — вы поняли меня? Чулки можете снимать, но в поясе вы будете спать весь отпуск. Когда кругом кошмарное воровство, то береженого бог бережет.

До города Пронска надо было ехать целых десять часов, а поезд отходил в двадцать ноль три, как важно говорила Томка. Они провожали Клаву, Томка тащила чемодан, а Липатия — авоську и грудку полезных советов, которые вдальбивала в зареванную голову Клавдии. Приехали рано, Клавино место оказалось у окна, и она все время сердито махала подругам, чтобы уходили. Но они не уходили, пока не тронулся поезд, увозивший Клаву Сомову в первое в ее жизни путешествие.

11

Поезд мчался по Подмосковью, с грохотом проносясь мимо пустых вечерних платформ. За окном уже ничего нельзя было разобрать, кроме огоньков, но Клава упорно глядела в него, прижавшись лбом к стеклу. За ее спиной проходили пассажиры, кто-то садился рядом, но она не оборачивалась. До тех пор, пока не заломило шею: тогда пришлось обернуться.

— Здравствуйте, попутчица,— улыбаясь, сказал седенький старичок в очках.

Клаве сразу полегчало, когда она увидела, что напротив сидит старичок, а не нахальный молодой парень, который всю дорогу будет разглядывать ее в упор. Правда, молодой все же обнаружился, но не напротив, а возле прохода; он был в милицейской форме и казался интересным. А рядом сидела толстая бабища, отжимая Клаву рыхлым боком к окошку. И еще была молодая женщина с несчастным лицом и при ней девочка лет десяти с сонными глазами. Все это Клава разглядела с чисто женской быстротой, одним взглядом, который тут же уперла в стол.

— Давайте знакомиться. Меня зовут Яковом Матвеевичем, а вас?

Клава хотела сказать, но сверкнула еще раз уголком глаза в интересного милиционера и сдавленно произнесла:

— Ада.

— Прекрасно,— продолжал Яков Матвеевич.— Рядом с вами почтенная Полина Григорьевна, товарищ из милиции Сергеем представился, а это — Лидия Петровна с дочкой Оленькой.

— Ох, ей что Оленька, что Толенька,— горестно вздохнула мать.— Десять лет уж, а ни ума, ни разума, а мужа у меня нет, и когда помру — пропадет. Вот в Москву возила к профессорам, а они сказали, что безнадежно. Гены, что ли, не те.

— Все теперь генами объясняют,— сказал милиционер.— Мода такая.

— Не скажите,— вежливо не согласился старичок.— Ученые говорят о генетической усталости нации. Да это и понятно, коли вспомним, что на долю одного-двух поколений досталось. Тут и первая мировая, и гражданская, и голод с разрухой, и коллективизация с индустриализацией, и культ личности, и Великая Отечественная. И все ведь — мы, этими вот руками, этой вот спиной, этим вот сердцем.

В проходе появился длинный худой старик с угрюмым лицом. Перед собою он нес большой чемодан.

— Здесь, что ли, тридцать седьмое место?

— Боковое,— сказал милиционер, посмотрев.

— Вагон в кассе спутали,— сердито сказал старик.— Работают спустя рукава, а ты тащишь через весь состав.

Ворчанье его никто не поддержал, а измученная женщина вздохнула горестно:

— Какие там гены, какие, когда пил он, проклятый, как верблюд, пока не помер. И меня пить заставлял. Вот когда напьется, тогда и вспоминает, кто ему законная жена. Что

же ты, говорю, ирод, меня только пьяным и замечаешь, будто случайная я тебе женщина, говорю я ему. А он — пустой, говорит, я внутри, а выпью, так вроде интерес появляется.

— Врут они все, мужики то есть, — скрипуче ворвалась рыхлая баба. — Все, как есть, пьяницы, а брешут неизвестно чего, лишь бы им выпить поднесли.

— Да, с пьянством вопрос серьезный, — солидно сказал милиционер. — Так получается, что до восьмидесяти процентов преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Особенно на сексуальной почве. — Тут он покосился на Клаву, сказал «Гм!» и застенчиво примолк.

— Ну и что? — сердито спросил угрюмый старик.

— Как что? — растерялся милиционер. — Проблема.

— Проблемы надо решать. А чтобы решать, надо знать причины. И каковы же, по-вашему, эти причины?

— Причины? — Сергей помялся, опять искоса глянул на Клаву. — Разные причины.

— Богатые все стали! — опять с криком ворвалась Полина Григорьевна. — У всех денег — куры не клюют, потому-то водку и хлещут.

— Странная метаморфоза в нашем сознании, — желчно усмехнулся старик. — В учебниках политграмоты, помнится, утверждалось, что в России пили от нищеты, а теперь одна из самых ходовых причин — хорошо стали жить. Ну да ладно, все же точка зрения. А вы что скажете?

Он спросил старичка в очках, того, что сидел напротив Клавы. Вопрос прозвучал резко, старичок вздрогнул, снял очки, долго протирал их, надел и только тогда ответил:

— Видимо, общее падение нравственности.

— Расплывчато. А падение чем объяснить? Вы кто по профессии?

— По профессии я пенсионер, — улыбнулся старичок. — А прежде был сельским учителем. Сорок три года безвылазно в одном селе.

— Коллеги, значит.

— Вы тоже учитель? — обрадовался Яков Матвеевич.

— Нет, тоже пенсионер, — усмехнулся желчный. — Продолжим игру во мнения? Вы какую причину пьянства усматриваете?

— Я? — Лидия Петровна обняла несчастного ребенка. — Вот мое мнение. Собрать бы всю водку да сдать на электростанцию — это ж сколько бы света она принесла!

— Прекрасно ответили, — помолчав, тихо сказал угрюмый старик. — Вот, коллега, что значит крик души. Да. А вы что добавите?

Он обращался к Клаве, но Клава как раз в этот момент мыслями была далека. Так случалось с нею, когда разговор становился не очень понятным или малоинтересным. Она не расслышала, что к ней обращаются, и милиционер с готовностью подхватил:

— Ада, товарищ у вас спрашивает. Вы слышите, Ада?

— Что? Ах, у меня...— Клава пожалела, что сгоряча назвалась Адой, но отступить было некуда.— А вот моя подруга так считает, что мы, женщины то есть, самый последний шанс. Что на нас все сейчас только и держится, и что если мы будем дружными и захотим, то мужчины тоже исправятся.

Довесок к словам пьяной Томки она досочинила тут же, потому что ей очень понравился молодой милиционер. И все засмеялись, но радостно, а потому и не обидно, и Клава засмеялась тоже впервые с того страшного вечера.

— Вот где истоки современной Лисистраты,— сказал угрюмый, переставший вдруг быть угрюмым.— Но мысль есть. Действительно, женщина — главное страдающее, а потому и главное действующее лицо.

Подошла проводница, спросила, будут ли пить чай. Все как-то примолкли, а милиционер Сергей вдруг вскочил и сказал, чтоб чай подавали всем и по два стакана. И добавил:

— Мы вам поможем. Правда, Ада?

И опять Клава завязла, не сразу сообразив, но, по счастью, скоро очухалась. Милиционеру выдали поднос, кипятик тек маленькой струйкой, проводницу все время отвлекали, и они долго стояли перед титаном. Сергей рассказывал, что был в Москве награжден грамотой, а Клава ничего не рассказывала, но очень хорошо слушала, и тот раскаленный уголек, что жег ее сердце, постепенно подергивался пеплом.

— А вы зачем в Пронск? — вдруг спросил он и смутился.— Я потому спрашиваю, что на кого-то вы похожи.

— А я из кино,— почему-то сказала Клава, а про себя подумала: «Ох, зачем же врешь-то, вредина такая?..» — Мы там кинофильм будем снимать на улице Кирова.

На улице Кирова жила бабка Марковна, а других улиц Клава не знала.

— Артистка, значит? — радостно заулыбался он.— Ну я же сразу сказал, что лицо знакомое!

Лицо у Клавы было как у всех. И курточка — как у всех. И если модным считался красный цвет, то Клава металась в поисках красного, а если зеленый, то зеленого.

— Нет, что вы, я не артистка,— сказала она, покраснев и тут же почему-то вспомнив Липатию Аркадьевну.— Я ими

заведую. Вот. Но, правда, иногда, знаете... Приходится подменять.

— Вот я и говорю! — обрадованно воскликнул он. — Конечно же я вас в кино видел!

Тут пришла проводница и стала разливать чай. Потом Сергей понес нагруженный поднос, а Клава раздала стаканы и сахар. К этому времени общий разговор превратился в спор двух стариков, а остальные слушали, и народу в купе прибавилось. Какие-то две девицы пристроились на краешке полки, демобилизованный в мундире со значками стоял в проходе, остроносая старуха оказалась подле желчного старика, солидный гражданин отставного вида примостился на Клавину полку, да так, что Клава едва втиснулась на свое законное место. А потом подошли еще какие-то любознательные, и даже проводница, разнеся чай по вагону, надолго застряла в их компании.

— Скверно учим, из рук вон скверно, а точнее, так и вовсе не учим, — говорил старичок в очках, все более горячась и все более теряя благодушие. — Учитель стал неprestижной профессией, и где — на Руси! В народе, издревле жадно ищущем свет истины в темном царстве истории. А ныне приезжаю в Москву — дочь у меня преподаватель, правда, не в селе, как отец с матерью, но все же. И что узнаю? Муж ее, тоже педагог, бросил школу, ушел в комбинат бытового обслуживания и берет подряды на ремонт квартир и циклевку паркетов!

— Мало платят, потому и бегут, — сказал отставник. — Платите больше, и будет вам престиж.

— А за что платить-то, за что? — взвилась неизвестно чем обиженная Полина Григорьевна. — Языком — ля-ля! ля-ля! А мальчишки все хулиганы. Тут штраф брать надо, а не платить.

— Вот считать мы учим, — подхватил старичок Яков Матвеевич. — И все больше, так сказать, вычитанию: того мало, этого мало, того нет, этого нет — только и слышишь. Вещи нас душат, вечный мир обернулся свинячьей харей и смеется над нами, как у Гоголя. И средства массовой информации вносят свою лепту: вспомните, с каким удовольствием вещают нам, сколько мотоциклов и телевизоров в современной деревне, будто телевизорами и транзисторами можно заменить жажду знаний, потребность делать добро, трудолюбие, совесть, наконец.

— О совести — это вы вовремя, — усмехнулся желчный старик.

— Да. — Старичок опять снял очки и очень старательно протирал их. — Вспоминал, говорим ли мы о совести, и не

вспомнил. По-моему, совершенно не говорим. Стесняемся или разучились, отвыкли и уж не ведаем, как к этому чувству подойти.

— На танцплощадку так лучше и не ходи,— вдруг очень быстро сказала одна из девушек.— Такое безобразие творится, такое безобразие. И куда милиция смотрит?

— Так нельзя же к каждой девушке по милиционеру прикрепить.— Сергей улыбнулся, заглянув Клаве в глаза.

— А совести и не нужна никакая внешняя сила, потому что совесть — это и есть сила. Духовная сила человека, основанная на глубочайшей убежденности.— Желчный старик говорил непривычно медленно, неторопливо подбирая слова, но все молчали, слушая.— Вопрос о пределах совести, о борьбе ее с волеизъявлением личности очень занимал наших предков. Тут вам и Родион Романович с топором, и князь Нехлюдов с метаниями, и Пьер и так далее и так далее. И здесь важно, что совесть — это ваша, личная сила, она не принадлежит ни государству, ни обществу, ни семье — только вам. Не по этой ли причине борения личной совести исчезли из нашего сегодняшнего искусства? Мы толкуем о выполнениях и перевыполнениях, о трудах и сомнениях руководителей всех степеней, но совесть-то у них, как правило, помалкивает. Главное — вовремя выполнить приказание: ведь план — это тоже приказание. И его выполняют во что бы то ни стало, ибо за выполнение дают премии и прочие реальные блага. Ну, а там, где господствует «во что бы то ни стало», там уже не до совести. Там она из госпожи человеческой превратилась в служанку, в «чего изволите» превратилась. И незаметно, тихо, без терзаний Достоевского и размышлений Толстого понятие совести заместилось понятием «цель оправдывает средства». А закон достижения цели во что бы то ни стало — очень страшный закон. Страшный своей торжествующей и окончательной безнравственностью: высокой целью и любые жертвы оправдаю — от десятков миллионов загубленных жизней до детской слезы. И спать буду спокойно, ибо совесть направлена ныне вовне человека, на общество в целом, а не на спасение одной-единственной души, что уже тысячелетия является альфой и омегой общечеловеческой культуры.

Он замолчал, хлебнул остывшего чая. Все молчали тоже, и многие хмурились, с трудом усваивая сказанное. Только рыхлой Клавиной соседке все было ясно:

— Верно говоришь, верно, бога забыли!

— Бог здесь, гражданочка, ни при чем,— усмехнулся

желчный пассажир.— Я атеист и по форме и по сути и совесть с богом никак не связываю.

— Безобразия много стало,— сердито и очень обиженно сказала проводница.— В поездах пьют, дерутся, девчонки обижают.

— Женщины тоже, знаете, стыд потеряли,— нахмурилась Лидия Петровна.— И курят, и пьют, и штаны носят; сади не разберешь, девчонка это или парень.

— Сейчас сила все решает,— вздохнул демобилизованный.— Кто силен, тот и прав.

— Без знакомых ребят в кино уж давно не ходим,— сказала вторая девушка.— А вечерами так страшно, так страшно!

— Вот оно, главное-то слово, вот оно! — в непонятном восторге закричал отставник и даже с удовольствием потер ладонью о ладонь.— Бесстрашно стали жить, вот вам и нарушения, вот вам и проступки. И ничем вы человека от проступков не удержите, если боязни у него нет. Думаете, он суда боится? А чего ему суда бояться, когда он точно знает, что его все равно через год, много — два, условно освобожденным объявят и пошлют работать в народное хозяйство, «на химию», как они выражаются. Нет, вы настоящий страх вселите, чтоб пот прошибал, чтоб поджилки затряслись!

— А как? — спросил старичок в очках.— Как вы себе это представляете?

— А как в старину,— тотчас отозвался собеседник, для которого ответ был, видимо, давно продуманным.— Око за око, зуб за зуб. Убил, скажем, ножом, и его — ножом, да публично, на площади. Избил, скажем, и его тем же магаром.

— Украл — руку по локоть на лобном месте,— подхватил желчный.— Задержались вы с рождением, вам бы в тринадцатом веке родиться.

— Я когда надо, тогда и родился, и вы мне не указ,— обиделся отставник.— А что демократии много, это точно, молодежь совсем от рук отбилась.

— Душу спасти надо, душу,— вздохнула старуха.— Раньше, говорят, по святым местам бродили, душу спасая, а теперь — за колбасой.

— Душу спасти — тоже рецепт,— сказал худой старик.— У каждого свое лекарство, а это значит, что нравственность наша больна серьезно. Она ведь не просто рушится — она не может рушиться, безнравственных обществ не бывает,— она откатывается, что куда опаснее. Она отступает в историю, предавая то, что трудом, горем, страш-

ным напряжением всех сил было когда-то завоевано. Вы, коллега, правильно обратили внимание на торжествующую вещность нашей повседневности и, мало того, — нашу радость по этому поводу. Эта победа материального начала, этот приоритет вещной цивилизации над духовной культурой и есть первопричина отступления нашей морали во времена абсолютизма, в послепетровские десятилетия, если хотите.

— А от вас мы рецепта не слышали, — сказал старичок в очках. — Исповедуете что или только причины разъясняете?

— Исповедую, — серьезно подтвердил суровый пассажир. — Я верую в личную свободу. Не в свободу личности — она гарантируется государством, — а в личную духовную свободу, которой каждый может и должен достичь. За всю нашу историю пока трем революционным группам удалось подняться — каждой своим путем — до этой свободы: декабристам, народовольцам и большевикам. Они презрели все блага цивилизации, всю вещность мира, всю сословную, религиозную, национальную и имущественную ограниченность, всю несвободу и пришли к свободе.

В конце вагона тренькнула гитара, послышались веселые молодые голоса. И тотчас же кто-то невидимый строго предупредил:

— Тихо! Здесь люди разговаривают!

— Когда ж это было, — завистливо вздохнул демобилизованный.

— Это еще будет. Было для подвижников, для избранных — будет для всех. А для этого нужно выдавливать из себя раба. Раба вещей, квартир, высоких окладов, личных машин, престижа, тщеславия, честолюбия и начальников всех рангов. Выдавим этот гной холуйский из себя и из общества — значит, опять людьми станем, теми, кто считал себя хозяином земного шара, у кого была собственная гордость. Вот тогда и нравственность вернется. На новом витке, на новой ступени...

— Утопия...

— Бога вы еще вспомните! Ох, вспомните!

— Женщину уж и за человека не считают...

— Демократию развели. Сажать, сажать, сажать, как когда-то!

Шумели в вагоне, спорили, отстаивали свое, потому что вопрос коснулся больного, язвы, что свербела у каждого, и каждый возопил. Каждый — кроме Клавды Сомовой. Она давно уже потеряла нить разговора и слушала не пассажиров, а себя, думая, какая же она счастливица, что села именно

в этот поезд, именно в этот вагон, именно на это место. Она то и дело украдкой поглядывала на милиционера Сергея, ловила его взгляд, тихо улыбалась, и вместо обжигающего уголька в ней светилось сейчас счастье. И ожидание прекрасного завтра, навстречу которому с грохотом летел их поезд.

12

В Пронске поезд стоял одну минуту, и из их вагона сошли только Клава да Сергей, чему Клава очень обрадовалась. Городок начал когда-то расти возле вокзала и за ним был почти сплошь деревянным: кирпичные здания появлялись только на окраинах, возле механического завода и ткацкой фабрики, да в центре стояло несколько каменных домов, принадлежавших некогда местному купечеству. Все это Клава узнала от словоохотливого милиционера, который тащил ее чемодан. Им, как выяснилось, было по пути, так как милиция и гостиница размещались рядом.

— Это теперь — гостиница, а прежде был Дом колхозника. А вообще все общественные здания у нас в центре, кроме телеграфа. Его на отшибе выстроили, возле парка: хотели там центр закладывать, но потом решили все по-старому оставить.

Расстались они у маленькой одноэтажной гостиницы: напротив и вправду была милиция. Сергей сказал, что весь день будет там («на службе», как он выразился), и важно оставил номер телефона:

— Если помощь понадобится. И вообще... Может, увидимся?

— Я позвоню, — туманно сказала Клава, порозовев от удовольствия.

А в гостинице мест не оказалось. То есть свободных номеров было куда больше, чем желающих переночевать, но цены не соответствовали Клавиной зарплате, а коечку в общей комнате администратор не давала, утверждая, что все они сплошь забронированы. И, едва выяснив это, Клава очень обрадовалась, заулыбалась и попросила разрешения позвонить по телефону.

— Засекайте время, через двадцать минут буду! — бодро ответил Сергей.

Клава засекала, а он пришел через пятнадцать, и койка сразу нашлась. Даже с суровыми администраторшами Сергей разговаривал так легко, что и они повеселели. И Клаве нисколько это не было неприятным, а наоборот, она очень

гордилась, что Сергея все знают и все хорошо к нему относятся. Мама всегда говорила, что хороший человек заметнее плохого, и теперь Клава могла убедиться, как мама была права.

— Как рана-то твоя? — участливо спросила старшая, которая с Клавой даже не пожелала разговаривать.

— Да какая там рана. Так, царапина.

— Это ножом-то царапина? Значит, он тебя резал, а ты его держал?

— Ну, не совсем.— Сергей смущался, говорил набычившись, а Клава обмирала от гордости за него.— Он только раз ударил, а потом я прием применил.

— А сколько ему дадут?

— Это суд решит. Наше дело — обезвредить.

Разговор этот возник, когда Клава оформлялась. Потом Сергей отнес в номер ее чемодан, и она кое-что выложила на тумбочку возле кровати, чтобы было видно, что занята. Клава очень боялась, как бы администраторши не спросили ее имя, но они глядели на милиционера.

— Отчаянный ты парень,— сказала старшая на прощание.— Только вы, девушка, все же вечером одна не ходите.

Они вышли из гостиницы и остановились на крыльце. Выглянуло солнышко, ветер сник, и стало совсем тихо. Клава блаженно жмурилась и никуда не хотела идти, а милиционер Сергей маялся, поскольку должен был вернуться «на службу». К тому времени они как-то незаметно перешли на «ты». Клава совершенно освоилась и даже начала немного кокетничать.

— Кирова недалеко,— в который раз объяснял Сергей.— Три квартала прямо, а потом налево, к реке.

— А ты боялся, когда бандита хватал?

— Так я же на службе,— нехотя пояснил он.

— А бандит очень страшный?

— Обыкновенный. Второй, пожалуй, пострашнее.

— Какой второй?

— Который еще не пойман. Понимаешь, завелась тут у нас крупные акулы, хулиганье местное начали подпаивать, к рукам прибирать. Ну, одного мы взяли — за него и грамота,— знаем, что есть еще один, а где?

— А та, старшая администраторша, правду сказала, что по вечерам у вас опасно?

— Ну, как тебе сказать? — Сергей нахмурился.— Конечно, граждане, а гражданки особенно, всегда преувеличивают. Но главного мы еще не взяли, и кто он — неизвестно, потому что ни фотороботом, ни словесным портретом мы не располагаем.

Он замолчал и вздохнул, переложив в другую руку Клавино авоську с подарками бабке Марковне. Клава видела его насквозь и прекрасно знала, какой он скромный и замечательный парень и как она, растяпа Клава Сомова, нравится ему. И млела от счастья.

— А что у тебя там, на Кирова-то? Может, я знаю, подкажу.

— Так, для кино.— Клаве не хотелось рассказывать о Марковне, о ежемесячных десяти рублях: это казалось такой мелочью сейчас.— Так что же, мне лучше не ходить по вечерам?

— А куда тебе ходить? В кино, например, или в Дом культуры — так со мной можно. Если, конечно, ты не против.

— Я не против,— улыбнулась Клава.— А когда?

— Либо сегодня, либо послезавтра, потому что завтра я дежурю.

— Лучше сегодня, но я не знаю, что будет у меня на Кирова. Ты можешь позвонить в гостиницу, и там скажут, пришла я или неизвестно где.

Этой договоренностью о встрече как бы исчерпалась тема их беседы. Надо было отдавать Клаве сумку и спешить на службу, но милиционер медлил. Уж очень ему не хотелось расставаться, уж очень нравилась ему эта застенчивая попутчица, уж очень важной казалась их случайная встреча.

— А ты в вагоне молчала,— сказал он, пытаясь вновь завязать разговор.— Знаешь, я тоже молчал, потому что тот старик — умный, а с такими надо спорить, хорошо подковавшись. Но я с ним в принципе не согласен. В принципе. Ты помнишь, что он предлагал? Какую-то личную свободу в себе воспитывать, будто у нас свобод мало.

— Помню,— кивнула Клава, думая, что зря она до сих пор не создалась, что никакая она не Ада. А может, не зря?..

— Это опять же о себе беспокойство, так выходит? А вся наша беда как раз в том, что у нас — каждый о себе и мало кто за всех. Ну, конечно, я преувеличиваю, заостряю вопрос, ты же понимаешь, но эгоизма стало невозможно сколько. А нравственность можно поднять на новый уровень только одним способом: если каждый смело и до конца включится в борьбу с отрицательными явлениями нашей жизни лично, если сам начнет воевать везде и всегда, если дружно, как в Великую Отечественную...

Он вдруг замолчал, и широкие, добродушно разбросанные брови его строго поехали к переносью. Глядел он теперь куда-то мимо, за Клавино плечо; Клава обернулась и уви-

дела двух парней — плотного здоровяка в низко надвинутой на глаза шляпе и высокого белобрового с мягким, безвольным лицом.

— В буфет наладился, Виктор?

— А что? — с вызовом спросил белобрысый. — Нельзя, что ли?

— Можно, только зря: алкогольные напитки продают с одиннадцати. А если Вера тебе по знакомству стаканчик под прилавком нальет, я ее привлеку, так и передай. Кто это с тобой?

Вопрос был задан в упор, и плотный в шляпе хмуро ответил:

— Приезжий.

И пошел мимо не оглядываясь. Белобрысый Виктор топтался, промямлил что-то и бросился догонять.

— Наследство получил, — с презрением сказал Сергей, глядя приятелям вслед. — Деньги ему бабушка оставила, он все до копейки пропил, а теперь собутыльников ищет. Откуда же приезжий-то этот, а? — Он озабоченно поглядел на Клаву, протянул авоську. — Мне на службу. Договорились, Ада?

Клава легко отыскала дом бабки Марковны, будто и не в первый раз была в нем. Неказистый домишко в три окна с маленьким палисадничком, в котором доцветали прихваченные первым морозцем поздние астры. Из-за дверей шум какой-то слышался, голоса. Клава потопталась на крыльце, послушала, а потом постучала. Не сильно, но дверь сразу же открыли, будто стояли тут же, за нею. На пороге оказалась полная женщина в мамином возрасте. И спросила, как, бывало, мама подружек спрашивала:

— Ты чья?

— Я? — Клава растерялась. — Я из Москвы. Мне к бабушке Марковне.

— К Марковне? — Женщина посторонилась. — Ну, входи. А чья же будешь-то?

— Я? Сомова я. Клавдия...

— Обожди, обожди. А Маня Сомова?

— Это моя мама. Она умерла, а мне велела каждый месяц бабушке Марковне высылать десять рублей. А сейчас у меня отпуск, и я хотела познакомиться...

— Эй, народ! — закричала вдруг полная женщина. — Лена, Люба, Дуся, Шура, Коля! Манечкина дочка приехала!

Мигом высыпали немолодые, седые, полные женщины и мужчины, и тесные сенцы набились до отказа, и все шумели, вертели Клаву, целовали, обнимали, всплакивали, трясли за плечи.

— Ну, вылитая Манечка!.. Померла?.. Ах ты, господи!.. Ну, молодец, что приехала... Как зовут-то тебя? Клавдия?.. Клавочкой ее зовут. Клавочкой, слышите?..

А потом, когда все чуть притихли, мужчина — седоватый брюнет, ужасно интересный, Томка бы сразу влюбилась до беспамятства — сказал тихо:

— Марковна наша умерла, Клавочка. Ровно сорок дней назад умерла, сегодня отметить собрались.

Потом повязанная фартуком Клава чистила на кухне овощи, но слезы капали совсем не от лука. Открывшая ей дверь полная женщина, которую звали тетей Раей, — Клава и не знала, что у нее столько родственников: тетя Рая, тетя Дуся, тетя Шура, тетя Люба да два дяди — дядя Леня (седой и интересный) и дядя Коля. Да четверо еще живут в других городах и не смогли приехать на поминки.

— Одиннадцать нас у нее было, — рассказывала тетя Рая: она постоянно жила с Марковной и была хозяйкой дома. — Их всех она на вокзале подобрала либо сами мы к ней доползли, как твоя мама.

— Да, шумное у нас детство было, голодное да холодное, а все равно самое лучшее. Правда, девочки?

— Правда твоя, Шура.

— Кто только за столом не сидел, кто только в общий чугунок своей ложкой не лазил! Мы с Шурой из Белоруссии прибежали, Манечка — из Смоленщины, Коля — из Ленинграда, Люба да Дуся — с Новгородчины, а Леня вообще из табора пришел и грамоте не знал, только плясать и умел. Мы с твоей мамой старшие были, а остальные — мелкота.

— Мама Рая и мама Маня, — грустно улыбнулась тетя Люба.

— А как же я-то ничего не знала! — всхлипнула Клава. — Почему же мне мама ничего не рассказывала?

— Почему?

Переглянулись женщины.

— Обидели ее, — тихо сказала тетя Шура. — Сильно обидели. Голодное было очень, а мы росли, как на дрожжах, и одеть-то нас не во что: в школу в матерчатых тапочках всю зиму бегали. Вот наши старшие — мама Рая да мама Маня — и пошли работать. А где работать-то? Это сейчас тут и ткацкая фабрика, и механический завод, а тогда только и было работы, что вагоны на станции разгружать.

— И как это она родить-то тебя смогла, девочка, — вздохнула тетя Рая. — После тех-то мешков...

Все притихли, беззвучно вытирая слезы. Клава обождала немного и спросила:

— А с мамой что случилось?

— Обидели ее,— строго повторила тетя Шура: она вообще выглядела построже остальных.— В ночь пошла — ночью больше платили,— а Рая занемогла, и она одна пошла. А вернулась вся в синяках. Месяц болела, а потом сказала, что уйдет. Что не житье ей тут, что не может позора снести и уедет отсюда. И уехала. И не писала ни разу, только что деньги регулярно.

— Гордая она была и самостоятельная,— вздохнула тетя Дуся.— Даже деньги без обратного адреса посылала.

— Мы не могли больше,— давясь от слез, сказала Клава.— Вы простите нас.

— А мы присланных денег не тратили,— сказала тетя Рая.— Все нам высылали, не только ты с мамой, а нас тут трое оставалось: я, Дуся да Шура. И Марковна все переводы клала на книжку. А перед смертью волю свою сказала, чтоб все эти деньги отдать внукам, то есть сыновьям и дочерям приемных детей ее. На ученье, сказала. Мол, виновата, не смогла детям образование дать, так чтоб хоть внуки учились. А таких внуков у нее шестеро с тобою вместе: мы ведь знали, что у Мани — девочка. Леня у нас один с образованием, юридический заочно прошел, так он тебе объяснит, как деньги эти получить...

— Нет! — вдруг крикнула Клава и затрясла головой, разбрызгивая слезы.— Нет, нет, нет, ни за что! Это... Это все — на памятник. Бабушке на памятник. Чтоб всех выше, чтоб как пример...

Ее затрясло, забило, новоявленные тетки со всех сторон бросились, обласкали, напоили лекарством, уложили в тихой комнате. Она пригрелась, успокоилась и уснула, потому что в поезде совсем не спала, а только дремала немного. А здесь, в комнате, в которой, может быть, когда-то спала мама, замечательно выспалась, и тетя Рая разбудила ее к столу.

— Вставай, доченька.— И поцеловала, как мама.— Уж все готово, уж собрались, даже этот обормот пришел, Дусин сын. Не иначе чтоб напиться на дармовщинку. Ох, безголовый, ох, хлебнула с ним Дуся!..

В большой комнате, где когда-то спали вповалку «дети» бабки Марковны, за накрытым столом сидели пришедшие и приехавшие. Старших Клава знала, а с молодыми — сыном тети Дуси и дочерью дяди Коли — виделась впервые. Впрочем, не впервые: когда белесый парень лениво бормотнул: «Виктор», она вспомнила крыльцо гостиницы, двоих, что рвались похмелиться, и озабоченность Сергея. Виктор оказался сыном названной сестры ее матери, а значит, родственником и ей, Клаве, и это ощущалось неприятно, хотя

она очень жалела тетю Дусю и всячески старалась быть приветливой с ее беспутным сыночком.

А поминки совсем оказались не похожи на поминки, как их представляла Клавдия. Она ожидала некой вздыхательной скорби и потому накинула темный платок, который везла в подарок бабке Марковне. Но сидевшие за столом, торжественно и строго помянув свою Марковну, начали вспоминать веселое и озорное в их голодном, разутом и раздетом военном детстве. И радостно смеялись и кричали через стол: «Ленька, ты помнишь?.. Люба, а ты знаешь?..», и всем было легко и весело, кроме, может быть, белобрысого Виктора, который молча и жадно пил, тяжело и глупо пьянея. Он сидел наискось, через угол стола, пялился на Клаву, но как-то странно, словно без интереса, и Клаве это было вдвойне неприятно. Особенно когда он спросил:

— А ты чего с этим мильтоном на крыльце стояла? Знакомый он тебе, что ли?

— Знакомый,— с вызовом сказала Клава.— Жених он, вот кто, понятно?

И тут же шепотом суеверно призналась сидевшей рядом Светке, что никакой он, конечно, не жених, но пусть этот противный Витька отвяжется. И Светка все поняла, а потом их послали за капустой и огурцами, и Клава рассказала, как они с Сергеем познакомились. Света вообще ей сразу понравилась, и она очень обрадовалась, что у нее такая живая, веселая и смелая — Света работала медсестрой в травматологии — сестренка.

Поминки затянулись; расходились разом, по-свойски подсобив все перемыть, убрать, расставить по местам. Клава старательно помогала, где могла, не дожидаясь, пока попросят, думала о Сергее, но сегодня свидание никак не могло состояться. И она, посокрушавшись, отложила это свидание почти на двое суток: до послезавтра, когда он будет свободен. А сама осталась в доме бабки Марковны.

— У нас, Клавочка, девушки по вечерам не ходят.

Приезжие ночевали в родном гнезде, и Клаве пришлось спать с тетей Раей в той комнатке, куда уложили ее перед обедом. И тут как-то так само собой получилось, что она все-все рассказала — и про утерянную сводку, и про умницу Леночку, и про предательницу Наташу, и про несчастную Липатию Аркадьевну, и про саму Людмилу Павловну, и даже про то, какая она подлая, что от ребеночка избавилась,— ну, про все, все решительно, кроме, конечно, слесаря. Вот про него она даже тете Рае не могла рассказать, хоть режьте ее на куски. Это было так стыдно, так противно, что ей делалось жарко внутри.

— А зачем тебе Москва эта? — спросила тетя Рая. — Во всем доме я одна теперь. Мужа приведешь, и ему места хватит.

— Ой, тетя Рая.

— Что — ой? Замуж выдадим, на свадьбу всех созовем — опять весело. А работа не вопрос. Мы с Шурой не последние ткачихи на фабрике.

— А Липатия? — робко спросила Клава.

— А тетя Дуся на что? Дуся у нас почтой заведует, неужто не поможет? Звони в Москву, пусть собирается. Ты чего не раздеваешься? Спать пора, доченька, завтра спозаранку — за труды.

Клава стояла полураздетая, не зная, как поступить со строгим наказом Липатии Аркадьевны. Но все так изменилось, что никакие наказания уже действовать не могли; Клава стащила с себя поясок, вынула из потайного кармашка отпускные деньги и положила на тумбочку:

— Вот, тетя Рая. На расходы.

13

Клава проснулась среди ночи от счастья. Счастье не было сосредоточено в какой-то определенности — это было счастье вообще, им заполнилась вся комната, весь сияющий дом покойной бабушки Марковны и весь огромный мир за его пределами. Это было одновременно и ощущение счастья и предчувствие его, потому что сама ее жизнь — жизнь Клавы Сомовой — и была этим счастьем. Рядом с нею, изредка вздыхая и жуя сухими губами, спала тетя Рая, за дощатой перегородкой слышался мощный храп дяди Коли, а Клава улыбалась в темноту и не вытирала слез, которые ласково ползли по щекам. «Отчего же это? — думала она. — Будто мама рядом и будто никто еще не обижал. Все, все позади, в другом мире, на другой планете. А я — здесь, у меня есть тетя и дядя, и, может быть, я буду называть тетю Раю мамой Раей, если она позволит. А еще в этом мире окажется счастливая Липатия и начнет продавать газеты в стеклянном киоске, а в газетах напечатаны одни только радости, и все говорят: «Спасибо вам, Липатия...» Нет, тут не может быть Липатии Аркадьевны, а есть Евлампия Авдеевна, и люди скажут: «Спасибо вам, Евлампия Авдеевна, за прекрасные новости...» А рядом — Сергей в красивой форме регулирует движение и порядок. И больше не будет пьяных, и будут рождаться здоровые дети, и все женщины станут удивительно красивыми. Дети. Девочки и

мальчики, только девочки обязательно должны рожаться первыми, чтобы помогать маме. Вы думаете, просто вырастить ребенка? Ого-го, еще как непросто, потому-то и рожают еле-еле одного. А у меня будет...

До этого мгновения Клава думала сквозь нежную теплую дрему, в которой все улыбалось и все счастливо путалось. Но, зацепившись за детей, закружилась, завертелась, хотела что-то поймать, что-то додумать и окончательно прогнала тихо подкравшийся сон. И вместо него пришла мысль, такая ясная, что Клава стала еще счастливее, чем была мгновение назад. В самом деле, если первой непременно должна родиться девочка и уже есть тетя Рая и еще несколько теть, то зачем искушать судьбу? Во-первых, мальчик может обогнать девочку и явиться на свет раньше, а во-вторых, когда еще Сережа сделает ей предложение? Куда как проще пойти в детский дом и выбрать себе девочку — только непременно Леночку! — а когда она подрастет, рожать, сколько можно прокормить. Валерика, потом девочку... Ирочку, конечно же — Ирочку! И еще одного — Дениску. И будет у них четверка: Леночка, Валерик, Ирочка и Дениска. И надо успеть их поставить на ноги, пока они с Сережей еще молоды, а тети не совсем уж старенькие. И еще... Еще завтра же об этом рассказать тете Рае — она поможет выбрать Леночку! — и Сереже. Надо, чтобы всегда была одна мечта, тогда семья — навсегда. И поэтому ничего не надо скрывать, особенно — детишек. А он поймет, потому что веселый. И они вместе пойдут в детский дом. Нет, только не завтра: завтра он дежурит. Послезавтра. Послезавтра, послезавтра, после...

И тут Клава опять уснула, да так крепко, что разбудили ее к завтраку. Тетя Рая уже ушла на работу, а ей велела перетащить свои вещи из гостиницы. Так начался день, и выдался он таким солнечным, ласковым и теплым, какие редко случаются поздней осенью в нашей неласковой стороне.

И все же, как ни хотелось Клаве поскорее перебраться к тете Рае и тем самым начать отсчет своей новой жизни, она не понеслась за вещами сломя голову. Она нагрела воды и неторопливо выскребла весь дом от порожка до последнего сучка в последней стене. Правда, ей помогала Светка, но при этом так боялась за свои пальчики, что Клава держала ее для легких работ — поднести да отнести — и еще для рассказов. Светка послушно таскала ведра и болтала. И только когда все было отдраено, Клава занялась личными делами.

По дороге в гостиницу Клава зашла на почту, где ко-

мандовала тетя Дуся. Тетя была очень занята и чем-то озабочена, но тем не менее твердо обещала стеклянную мечту для Липатии.

— Пусть едет, без работы не оставим.

Клава с детства была приучена дотягивать до получки на копейках, а потому по дороге в гостиницу обдумывала, как ей быть. Вчера она заплатила за сутки, но поскольку в гостинице не ночевала и постелью не пользовалась, то и попросила старшую администраторшу вернуть ей деньги. Администраторша с утра была не в духе, начала говорить обидные слова в повышенном тоне, но Клава тихо и спокойно доказывала, зачем же ей платить, если она ночевала совсем в другом месте. Потеряв на этом добрый час и ничего не добившись, она высказала свою точку зрения на справедливость, забрала чемодан и поволокла его на улицу Кирова в отныне свой дом. Ей очень хотелось сообщить все ослепительные новости Сергею (а также насчет поисков в детском доме девочки Леночки), и она некоторое время постояла на крыльце гостиницы — там, где вчера стояла с Сергеем, раздумывая, не зайти ли ей в милицию, но потом решила, что это уж слишком, что нечего самой бегать и суетиться и что Томка абсолютно права, когда говорит, что их надо томить. И, решив так, потащилась на улицу Кирова.

Там опять варили да парили, потому что сегодня все иногородние уезжали вечерним поездом. Клава бросила чемодан, подвязала фартук и включилась. Настроение у нее было певучим, и все, что касалось ее рук, пело и улыбалось.

— Умница, доченька, — похвалила тетя Рая, забежав попрощаться. — Вот вам молодая хозяйка, а нас с Шурой простите. Митинг на ткацкой, знамя вручают, а я — в президиуме.

И Клава осталась за хозяйку. Не за ту, о которой вспоминают, починив кран: «Эй, хозяйка, погляди работу!», и даже не за хозяйку вечера, принимающую Томку с Липатией, — нет, она осталась полноправной владычицей и дома, и семьи, и дорогих гостей, и традиций, и памяти. Всего, что вмещает в это слово женщина, что чудо как преобразует ее, наделяя радушием и властностью, добротой и расчетливостью, достоинством и терпением.

— Тетя Люба, дайте я заменю вам тарелку. Дядя Леня, кажется, вы забыли налить вино. Света, положи отцу капусты, она ведь нравится вам, правда, дядя Коля? Тетя Зоя, вот огурчики. Чудные огурчики, верно?.. Что с вами, тетя Дуся? — Села рядом, обняла за плечи. — И не ели ничего.

— Не пришел он, видишь, — шепотом, глотая слезы, ска-

зала тетя Дуся.— Ах ты, господи, вот наказанье-то. Думала, хоть сюда придет, на вино польстится.

— Ну и наплевать! — сердито сказала Клава.— Подумаешь, цаца какая, Витька этот. Не маленький, не пропадет.

— Пропадет...— заплакала мать.— Клавочка, милая, он же... Он получку мою украл. Всю, до копеечки, потому и не пришел, пьет где-то. А водка до добра не доведет.

— Украл? Всю получку? Ну, попадись он мне только! Ну, я за него возьмусь! Тетя Дусенька, не горюйте, мы с Сережей...

— Ты милицию не впутывай,— решительно перебила тетя Дуся.— Мы уж сами, по-родственному.

— А я про что? И я — по-родственному,— сказала Клава и помчалась на кухню за вторым.

Потом дружно мыли посуду, а прибравшись, пошли на вокзал, не дождавшись ткачих. Но и без них все прошло замечательно, все распрощались, расцеловались, помахали руками; поезд ушел, и на перроне остались тетя Дуся и Клава.

— И зачем тебе телефоны эти? — недовольно вздохнула тетя.— Только зря деньги тратить. Лучше письмо написать.

— Очень уж похвастаться хочется,— смущенно улыбнулась Клава.— Ну, кто я была такая? Так, безродная растяпа. А теперь у меня родственников — все обзавидуются! — И она поцеловала новую тетку.

— Ладно уж, лисонька.— Тетка была очень довольна.— Только уговор: своих в милицию не впутывай. Ему до армии полгодочка осталось, зачем же биографию портить?

— Но он ведь украл...

— Не в первый раз,— скорбно поджала губы тетя Дуся.— А дело это семейное.

— Потакаете вы ему, а воспитывать надо строго.

— Отца у него нет, и полгодочка осталось,— умоляюще повторила тетя Дуся.— А в армии исправят. Дисциплина.

— Ладно уж,— вздохнула Клава.— Но дома я ему выплю. По-семейному!

И побежала на телеграф. Тот самый, от которого намеревались перестраивать город, как от центра, а потом пожалели денег. И современное здание оказалось среди глухих заборов и одноэтажных домишек за городским парком, уже закрытым на осенне-зимний период.

— Москва после двадцати двух,— сказала телефонистка.

— Так поздно?

— И в течение часа.— Телефонистка не отрывалась от книги, которую читала со вниманием.— Будем оформлять? Телефон в Москве?

Клава собиралась уходить, но требовательное: «Телефон в Москве?» — заставило ее без задержки пробормотать телефон Леночки — один лишь домашний телефон, который она знала.

— Три минуты. Сколько с меня?

Расплатившись, Клава оглянулась. Небольшой зальчик был пуст, только на единственной скамье сидела худенькая востроносая девчонка с распущенными светлыми волосами в куце, каком-то подростковом пальтишке. Было в ней что-то трогательно перепуганное, и Клава сразу уселась рядом.

— Звонить?

— Жду.

Голос у девчонки был под стать цыплячьему виду: тонкий и дрожащий. Клава ободряюще улыбнулась:

— Ну, что съезжилась? Куда звонить собралась?

— Маме.

— Это я сообразила. А куда маме?

— В Москву. Я на практике тут. Третий день.

— Учишься где?

— Страшно, — сказала девчонка и доверчиво взяла Клаву за руку. — Вы меня, пожалуйста, не бросайте. Я раньше не думала, что может быть так страшно.

— Ну-ка, выкинь все из головы, — строго сказала Клава. — Что такое «страшно»? Это только ощущение. Ощущение, и все, как холод или жарница. Ты же можешь в тонких колготках в мороз на танцы пойти? На мужчин и смотреть-то потешно, как укутались, а ты — хоть бы что. Как будто на улице ноль. Скажешь, неправду говорю?

— Хочешь быть красивой — терпи.

— Молодец. Как тебя зовут?

— Лена.

— Как? — Это показалось нарочным, как ложь; Клава решила, что ослышалась.

— Елена. Я в библиотечном учусь, думала, что Пронск — это рядом, всего ночь ехать, а тут ужас какой-то.

— Опять? — совсем как когда-то мама, спросила Клава и подумала, что спросила так потому, что — надо же! — такое совпадение имен. — Я тебе зря, что ли, про мороз рассказывала? И ты верно отреагировала: хочешь быть человеком — терпи.

— Красивой, — поправила некрасивая практикантка.

— Человеком важнее. А еще важнее — глушить в себе всякие ненужные ощущения. Холодище, а ты — в чулочках, и нос кверху. Страшно, а ты — вперед. Вот у меня... — она запнулась, — жених, так он орденом награжден, потому что

без всякого оружия задержал бандита. Я — ну, прямо, как ты сейчас! — страшно, говорю? А он: им, говорит, в тысячу раз страшнее, потому что кругом-то люди. Люди кругом, понимаешь, глупышка? Они одни среди людей, и им — жутко страшно, вот и все. Ты пойми это и сразу перестанешь трусить. Ты в библиотечном, говоришь? Интересно? Я жутко книги люблю, и у меня есть, только мало, я на макулатуру выменяла. Ты мне лучше про книжки расскажи, а не про страх.

— А что рассказывать? У нас сейчас — учет и комплектация технической литературы. Уголок рационализатора или там новая техника. Ну, периодика, всякие справочники... Кто это воеет так, а?

— Да не трясись ты, вот смешная. Ну, ветер. Ветер поднялся, понимаешь?

— Девушка! — крикнула телефонистка. — Мама у телефона! Четвертая кабина.

Библиотечная практикантка ринулась в кабину. Сквозь тонкие стенки было слышно, как долго она кричит: «Алло! Мама! Мама! Мама!..» А потом, видно, маму подключили, потому что девчонка сразу ударилась в рев. И Клава очень рассердилась.

— Не реви! — строго крикнула она, подойдя к стеклянным дверям. — Зачем маму пугаешь?

Девчонка отчаянно глянула отсутствующими глазами, но реветь перестала. Клава удовлетворенно вернулась на место, а из кабины несло:

— Сходи в деканат, упрости, чтоб перевели. Упрости, слышишь! Не могу я тут, не могу! Тут страшно, мама. Тут ужас как страшно, тут в общежитие ломаются...

Клава огорченно подумала, что девчонка — паникерша и дуреха и что придется забрать ее с собой, чтобы пока жила у них. А потом найти Сергея, и пусть-ка он поинтересуется, что это за общежитие и кто в него ломится. Решив так, она встала, намереваясь сказать трусихе, чтобы подождала ее непременно, но тут телефонистка окликнула ее:

— Эй, Москва! В третью кабину иди, там лучше слышно.

Слышно и вправду было отлично, но Клава все равно кричала, потому что три минуты казались совсем уж ничтожным временем и нужно было заглушить Леночкины вопросы и успеть все сказать. И про то, сколько у нее теперь родных, и про то, что она сюда переезжает, и про милиционера Сергея, и про тетю Раю, и про бабушку Марковну, и про то («Господи, самое главное чуть не забыла!»), чтобы Липатия Аркадьевна немедленно собиралась к ней.

— Ты сходи завтра же! — орала она в трубку. — Скажи,

что вместе будем жить и что на работу ее берут! При почте у тети Дуси! Пусть поскорее выезжает, я встречу!

Она выпалила все новости с пулеметной быстротой, а время еще оставалось. Клава растерянно передохнула, лихорадочно соображая, что бы такое еще проорать, но Лена спросила весело:

— Кончила вопить? Теперь послушай, а я в поликлинику ходила.

— Зачем?

— А на обследование, поняла? Теперь эти жабы заткнутся!

— Леночка, милая, как же ты могла? — зашептала в трубку Клава.— Это... это же совестно, Леночка.

— Ну, чего тут совестного, ну, чего? Обыкновенная медицина. Да. А я за правду от Белорусского до Манежа в одних колготках пройду, поняла?

— А я не пройду. Я скорее умру.

— Да я же из принципа!

— И я из принципа.— Клава хотела объяснить, почему ее принцип важнее Леночкиного, то тут телефонистка строго сказала: «Заканчивайте»,— и она опять заорала про Липатию, а потом в трубке щелкнуло и связь оборвалась.

— Спасибо,— сказала Клава, подойдя к телефонистке.— Я ничего не должна?

— Уложилась, только орала очень. Зачем? Я же сказала: третья cabina.

— С непривычки.— Клава смущенно улыбнулась и завертела головой.— А где та девочка? Ну, что с мамой...

— Ушла. Ты — в кабину, а она — в дверь.

— Пока! — крикнула Клава.

Она выскочила на улицу и остановилась, оглядываясь. Дул порывистый ветер, шуршал облетевшими листьями, морщил воду в лужах, раскачивал редкие фонари. Они со скрипом мотались на столбах, разбрасывая свет, и в этом разбросанном свете Клава разглядела людей. Далеко, у парка, где уже кончались дома и начинались глухие заборы, вроде бы мелькнули светлые волосы, и она, не раздумывая, со всех ног бросилась туда.

Двое парней молча тащили за руки девчонку к пролomu в заборе, в глухую черноту парка, а двое шли сзади, изредка подталкивая ее в худенькую, дугой выгнутую спину. Пальтишко было расстегнуто, косынка сбилась: девчонка изо всех сил упиралась, но не кричала, а, всхлипывая, бормотала:

— Только не убивайте. Только не убивайте. Только не убивайте.

— Перестать! — задыхаясь, выкрикнула Клава. — Не смей! Сейчас же!..

Она кого-то с разбегу оттолкнула, парни выпустили девчонку, и та мышонком юркнула за Клавину спину. А парни не побежали, не шевельнулись даже, и Клава поняла, что бежать ей и девчонке нельзя: догонят. Что надо кричать, шуметь, говорить, надо не давать им опомниться, пока они сами не уйдут или кто-нибудь не появится возле телеграфа.

— Что, справились, да? Четверо на одного, да? — лихорадочно и бессвязно выкрикивала она. — Молодец, Леночка, ничего не бойся. Это они пусть боятся, а ты ори что есть силы. Пусть у них поджилки трясутся, только стой сзади, чтоб не подкрались. И ори, ори, Ленка, есть же люди, их много, а мы с тобой — молодая гвардия, а вы, вы знаете кто? Вы сегодняшние фашисты, вот вы кто...

Сердце Клавы стучало так громко, что его, казалось, могли бы услышать даже в домах, даже за наглухо закрытыми дверьми и окнами, да слишком уж много развелось телевизоров, и они сладко урчали в каждой квартире, заглушая яростный клекот Клавиного сердца. Но она об этом не знала, как не знала и о том, что перепуганная пигалица с именем ее будущей приемной дочери давно уже что есть духу мчитя по пустынным улицам, вереща и потея.

— Не бойся, родная, вдвоем мы — силища! — в непонятном торжествующем восторге кричала Клава. — Знаешь, у меня дочку Ленкой зовут, она тоже смелая, как мы с тобой...

А парни не уходили, в настороженном молчании стоя перед нею, и ей уже казалось, что стыд парализовал их, она уже предвкушала победу, потому что во всех фильмах, которые она смотрела, и в тех книжках, которые ей удалось прочесть, зло всегда терпело сокрушительное поражение и несчастливых концов просто не могло быть. Ветер раскачивал фонарь, лучи света всполошно металась по черной осенней земле, изредка мазком касаясь затаенных лиц. И Клава вдруг перестала кричать.

— Смотри, Ленка, — удивленно сказала она, по-прежнему не оглядываясь, чтобы держать в поле зрения всю четверку. — Смотри, это же Витька, сын тети Дуси, мой двоюродный братец. Он сегодня деньги у матери украл, всю получку, это же такая подлость! Ты, Витенька, забыл, что у меня жених милиционер? Ну, мы за тебя возьмемся. У меня свидание с ним, он дежурит сегодня и сейчас сюда на машине приедет. Вот тогда вы заплачете! Тогда ты, Витенька, сразу скажешь, кто тот второй, которого они ищут. Не тот ли, кто с тобой в гостиницу заявился? В шляпе на носу? Ах, вас уже трое осталось, уже бежите! — победно

рассмеялась она.— Ничего, никуда не денетесь, я всех вас запомнила. Всех! Так что...

Она ни разу не оглянулась, она твердо верила, что за спиной стоит друг и что спина надежно прикрыта. И именно оттуда, со спины, сзади пришелся удар, коротким грохотом и яркой вспышкой отдавшийся в голове. И наступил мрак.

Клаву нашли рано утром: милиционер Сергей не успел еще сдать дежурство. Он прибыл вместе с бригадой и, пока фотографировали тело, пока писали протокол осмотра места происшествия да искали следы, молча стоял поодаль. А когда принесли носилки, сказал следователю:

— Я знаю ее, вместе из Москвы ехали. Она из кино, Адой ее зовут.



короткая
роировка

КОРОТКАЯ РОКИРОВКА

Лет двадцать назад, бывая на почте, за стеклянным барьером я часто видел хрупкую худенькую женщину. Руки ее всегда были заняты, глаза безостановочно скользили по строчкам бланков и квитанций, и я никогда не видел ее лица. Только ссутуленную спину, выглядевшую щемяще беззащитно, да нежную, длинную и тоже странно беззащитную шею. Я не знал, как ее зовут, да, признаться, и не стремился узнать, но когда она вдруг исчезла, испытал состояние неопределенной тревоги и почему-то столь же неопределенной вины...

Отца Дина помнила смутно. Помнила запах машинного масла и колени, на которых так уютно было засыпать. И еще ей рассказывали, что отец очень любил ловить рыбу, пока сам не попал на крючок. А жили они тогда в Перми.

— Ни в чем он не был виноват, доченька,— горестно вздыхала мама.— Доверчивым был, вот на него все и свалили. И засудили на семь лет как материально ответственного.

Семью поднимала мама. Она работала швейей-мотористкой, денег не хватало, и по ночам мама шила фартуки. И упрямо тащила своих трех девочек, как крестьянская лошаденка тащит нагруженный воз. И Дина до боли, до слез любила маму, старалась помогать и училась изо всех сил.

В школе ей больше всего нравилась историчка Алина Михайловна и — история. Настолько, что она твердо решила после школы идти на исторический и непременно в МГУ, хотя это означало, что маму вместе с сестрами придется временно оставить. Но девочки были уже большими, золотая медаль оказалась вполне достижимой, и Дина отправила документы. Мама не препятствовала, хоть и плакала потихоньку, а Алина Михайловна похвалила за целеустремленность. Правда, Дина лишь спустя время узнала, что Алина

Михайловна навестила маму и с глазу на глаз посоветовала не отпускать дочь в Москву.

— Провалится, думаете? А сами хвалили. Усердная, мол.

— Усердная,— согласилась учительница.— И очень способная. Но главное, глубокая она девочка. Глубокая натура.

Мама не очень поняла, что значит «глубокая натура», но догадалась, что дочку хвалят. И обрадовалась:

— Так это ж хорошо, что глубокая. Меньше глупостей наделает.

— Глупостей она натворит столько же, сколько и все девочки, а вот переживать свои глупости будет не как все. Тяжело переживать будет, а вы — далеко. Ей бы годочка два рядом с вами пожить.

— Ничего,— вздохнула мама, подумав.— Надо самой свою жизнь устраивать, я так считаю. Пусть едет, может, там замуж выйдет. В столице мужчины культурные.

Все было решено, и Дина помчалась в Москву, имея с собой три платья, пару туфель, связанную мамой кофточку и совсем еще модную юбку. Тук-тук-тук, тук-тук-тук... Ах, как весело стучат колеса, когда тебе восемнадцать!

Однако сшитые мамой платьица и даже почти модная юбка в МГУ смотрелись как-то странно, что поначалу давало много поводов для слез. Но Дина не была бы Диной, если бы не сделала своего вывода. Не усредненно-девичьего, а своего, личного. Она сочиняла стихи, организовывала вечера, никогда не отказывалась от каких бы то ни было поручений, весело ездила на картошку и в стройотряды, и вскоре ее дружно избрали редактором стенгазеты. Но Дине этого было недостаточно: промучившись месяца три, она в совершенстве постигла технику современных танцев. И на все ее хватало, и ее веселый смех слышал весь университет. Но мало кто знал, что Дина давно урезала свой и без того короткий сон, устроившись на почту разбирать утреннюю корреспонденцию. Заработок был невелик, но этим Дина обеспечивала не только себя, но и раз в два-три месяца умудрялась отправлять посылки в далекий город детства.

Вот каким путем Дина добилась победы в вековой девичьей схватке за первый ряд. Это требовало величайшей организованности, поскольку приходилось сочетать почту и университет, общественные нагрузки и любимые танцы. И Дина сочетала, не теряя веселой уверенности в себе.

Вероятно, все было правильно: к третьему курсу четверо (и среди них один аспирант, между прочим) объяснились в любви, но Дина любить еще не умела: ей еще предстояло открыть, что любовь состоит не только из смеха и радостей.

Она пребывала в состоянии влюбленности и веселилась вовсю, затмевая девчонок на танцульках.

Но все на свете имеет начало и конец, и у Дины эти концы и начала оказались связанными с падением. Отработав свое время на почте, она по первому морозцу бежала на лекции и поскользнулась. И, несмотря на природную грациозность и отточенную танцами ловкость, грохнулась так, что осталась сидеть на тротуаре, глядя, как распухает щиколотка.

— Дина?

Это был сын Полины Андреевны, заведующей отделом доставки на ее почте. Кажется, его звали Володей и учился он в МАИ...

— Здесь больно? А так?

— Так — ой.

— Немедленно к врачу, тут рядом поликлиника. Ребята, ну-ка помогите.

Остановил трех эфиопов, спешивших в университет. Вчетвером они легко подхватили Дину, отнесли в ближайшую поликлинику.

— Такие ноги надо беречь, — ворчливо заметил врач.

Он был молод, очень серьезен, в словах не чувствовалось пошлости, и Дина начала краснеть. Доктор оказал помощь и велел обождать. А через час вызвал такси, отвез в общежитие и довел до комнаты.

— Я приду через три дня. Ногу постарайтесь не беспокоить.

— Подождите, ведь я должна за такси...

— Ничего вы не должны. Врач обязан доставлять больного, у нас есть специальная статья расходов.

Дина прекрасно понимала, что никакой статьи нет, но молчала, потому что ей стало удивительно хорошо. И доктор молча топтался у дверей, потому что знал, что она это понимает, и смущался. А потом сказал неожиданно:

— Значит, завтра. В четыре.

И вышел. А она глядела в потолок и улыбалась, пока не пришла соседка по комнате. И Дина немедленно рассказала, какой доктор замечательный, как он смущается, какой он серьезный и наверняка очень талантливый.

Доктор... Пора уже назвать его, как его вскоре начала называть Дина. Так вот, доктор Боря ходил каждый день, сам делал компрессы и массаж, но говорил мало, и Дина трещала за двоих. Болтала, потому что смущалась, ощущая, что все глубже утопает в не очень еще ясном для нее чувстве, а доктор молчал по той же причине. Но когда нога окончательно поправилась, вздохнул.

— Ну вот. Я вам больше не нужен.

— Почему? — Дина покраснела и тут же продолжила: — Я думаю... То есть мне кажется, что одной вечером мне ходить нельзя. Например, в кино.

Он улыбнулся, словно осветившись изнутри.

— В шесть часов можете?

На другой день они пошли в кино на какую-то дребедень, но Дине все тогда нравилось. Она с удовольствием заговорила о фильме, но тут же ощутила несогласие за его вежливыми поддакиваниями. Через сутки они опять попали на ерунду и опять по ее выбору, и на этот раз Дина решила промолчать. А доктор Боря улыбнулся и спокойно объяснил, что существует кинематограф развлечения и кинематограф искусства и что на пустые киношки не стоит тратить времени. И Дина, слушая его неторопливую и очень убедительную речь, с восхищением думала, какой же он умница и какая же она счастливица.

— А вообще лучше всего музыка,— сказал он.— На той неделе пойдем в консерваторию.

Тут Дина немного струхнула: она ни разу не была в консерватории, предпочитая самоутверждаться под грохот современных дисков. Но доктор Боря поступил весьма тактично, начав с того, что было, так сказать, на слуху: с Первого концерта и Четвертой симфонии Чайковского. И Дина сидела как замороженная и глотала слезы, и в тот вечер душа ее распахнулась.

— Музыка — единственный вид искусства, который делает человека благороднее, потому что музыка лишена сомнений,— говорил он после концерта.— Вперед без страха и сомнений на подвиг доблестный, друзья...

Кажется, в этот миг они впервые поцеловались, и этот поцелуй вызвал в Дине целую бурю. Ей случилось целоваться, но никогда еще поцелуй не творил с нею ничего подобного. Она оглохла и ослепла, она слышала только один голос и видела только одного человека, и тянулась, вся тянулась и льнула к нему, и если бы он сейчас взял ее за руку и повел, она бы пошла за ним на край света.

Но он уже не мог взять ее за руку и увести. Знал, что она покорно пойдет за ним, но воспользоваться этим даже не пытался, потому что опоздал. Дина понравилась ему сразу, он имел опыт общения с девушками, но эта вела себя так, что он с каждым днем все больше боялся ее обидеть. А когда она сама потянулась к нему, он вдруг понял, что влюбился. Незаметно и словно бы нехотя влюбился впервые в жизни и уже не мог, не имел права взять за руку и увести туда, где они окажутся наедине. И вместо этого сказал:

- Знаешь, врачи очень мало получают.
- Что?
- Нет, я не о деньгах, я о другом, совсем о другом.
- Говорите, пожалуйста, говорите.
- Мы переходим на «ты». А поговорить еще успеем.

Хорошо?

Дина долго размышляла и о первом поцелуе, и о его последних словах. Что значит «еще успеем»? Он хочет пригласить ее к себе? Это замечательно, только она не пойдет. К любому бы пошла, потому что отвечала за саму себя, а к нему нельзя было идти именно потому, что тут она за себя уже не отвечала. А может быть, он имел в виду ресторан или кафе? Лучше бы ресторан, потому что там Дина могла бы показать все свое искусство. Да, да, конечно же ресторан, тем более что она только вчера получила стипендию, а он сказал, что у врачей маленькая зарплата. Кстати, зачем он так сказал? Может быть, намекал, что им пока нельзя заводить ребенка? Господи, как хорошо жить!..

— В ресторан? — Светлые брови доктора Бори (он был слегка рыжеват) удивленно поползли вверх. — Ну если ты так хочешь.

В ресторане, куда они попали с трудом, возникла некоторая несогласованность. Дине было все равно что есть и пить, потому что она рвалась танцевать; доктору тоже было все равно, но он рвался поговорить. В конце концов присутствовав на площадке только раз, он более из-за стола не вылезал, с удовольствием наблюдая, как танцует Дина. А Дина, которую то и дело приглашали, танцевала только для своего доктора Бори. И все было прекрасно и очень важно, но все же разговор оказался важнее.

— Учился я хорошо, но в московских аспирантурах оставляют только москвичей, а я из Вольска. Там у меня мать живет, а больше никого нет: отец нас бросил, когда я еще в детский сад ходил.

О, как Дина понимала, что значит жить без отца! И хотя Боря ни на что не жаловался, она чувствовала и его тайную боль, и с детства въевшееся ощущение некоторой неполноценности.

— Боренька, я все это пережила, поверь. У меня арестовали отца, когда мне было шесть лет. Обвинили в растрате, он был материально ответственным. Папа вскоре умер, а потом дело пересмотрели и отца признали невиновным...

— Я в себе уверен, понимаешь? — не слыша ее, продолжал доктор Боря. — На все сто процентов уверен, что

добьюсь. Не желаете пускать меня в столицу? Пожалуйста, я найду другой путь. Собственный.

— Вперед без страха и сомненья...

— Да! Я уже подал документы и... Но об этом еще рано. Будут перемены, будут, веришь? У меня хорошая голова, отличные руки, я давно изучаю английский: неужели зарывать все это в землю? Неужели мой удел выписывать больничные листы и выслушивать жалобы пенсионеров? Нет, у каждого свой шанс в жизни, и важно его не упустить.

Тогда, в ресторане, было положено начало откровению: он возвращался к этой теме, толкуя о больших переменах, которые его ожидают. Он начинал подобные разговоры по любому поводу, точно пытался заглушить слишком уж натянутую струну в душе своей. Дина понимала, что ее любимый глубоко уязвлен, и всячески поддерживала идею о прекрасных перспективах, полагая, что сама надежда на перспективы компенсирует смятение его души. И он был безмерно благодарен ей и все говорил, говорил...

Они встречались теперь каждый вечер, и Дина очень скоро поняла, что вполне может обойтись без стенной газеты и даже без танцев. Правда, от нагрузок ее никто не освобождал, но она все стала выполнять поспешно и далеко не с прежним азартом. И только по-прежнему по утрам бегала на почту, где к ней давно уже привыкли.

Двадцать третьего февраля она подарила ему кожаные перчатки: он был очень растроган. Восьмого марта им встретиться не пришлось, так как доктор дежурил, и увиделись они только через два дня.

— Прости, но я ничего не могу тебе подарить. До праздников были невозможные очереди, а сейчас в магазинах — хоть шаром покати.

— Ну что ты, Боренька, какие мелочи.

Но как раз мелочи и ранят больше всего, потому что им нет оправдания. И Дина была удивлена и обижена и не смогла этого скрыть. Хотя очень старалась. Он почувствовал, каким напряженным стал ее голос, забормотал что-то беспомощное, отчаянно глупое; Дина почти по-матерински грустно улыбнулась и неожиданно поцеловала его прямо у входа в метро.

— Дина, — потрясенно зашептал он. — Диночка, я... Я прошу тебя стать моей женой.

Дина с каким-то непонятным ему страхом в упор глядела на него. Доктор смутился, завздыхал, затоптался, и это неуклюжее его топтанье, эта вдруг прорвавшаяся робость теплой волной обдала Дину.

— Эх ты, Борька, Боренька, зачем же так шутить?

— Не веришь? — закричал он, сжав ее плечи. — Не веришь, да, не веришь мне? Такси! Такси!..

Он запихнул ее в машину, и они помчались напрямик во Дворец бракосочетания. Он молчал всю дорогу и обиженно хмурился, а Дина обмирала от счастья и страха. Так они и прибыли, так и подали заявление, так и вышли из Дворца.

— Ну вот, — он улыбнулся. — Тебя только штурмом и можно...

А Дина разрыдалась. Она ревела громко и отчаянно, схватив его за отвороты пальто и тычась лбом в грудь. Ревела от невыносимого счастья, которое уже не умещалось в ней.

— Я люблю тебя. Боже, как я люблю тебя!..

— Прекрати, — строго сказал он. — Все должно быть как завещано сказками.

И все было как завещано сказками. Жаркие поцелуи и трудные расставания. Полуночный шепот с подружками в общежитии. Длинные письма маме, и мамины слезы в далекой Перми. Девичья суматоха по поводу белого платья, которое покупалось всем курсом в складчину. И поход делегации к ректору с просьбой разрешить отпраздновать свадьбу в общежитии, поскольку ни жених, ни невеста не имели собственного угла.

Доктор Боря принимал деятельное участие во всей этой суете. Стремился каждую минутку быть рядом и, едва закончив прием, мчался на свидание. За три дня до свадьбы купил обручальные кольца, но выглядел столь мрачным, что Дина встревожилась.

— Что-нибудь с мамой?

— Нет, нет, все в порядке.

— На тебе лица нет, Боренька.

— Все в порядке, — с ноткой раздражения повторил он. — Извини, я сегодня должен уйти пораньше, а завтра дежурю, так что...

Обеспокоенная Дина все рассказала в общежитии. Но всезнающие подружки весело успокоили:

— Нормальная мужская реакция. Твой Боря прощается с холостяцкой свободой, только и всего.

Наверное, они были правы, потому что доктор, появившись через сутки, не отходил от нее ни на шаг. Только был задумчив, тяжело и часто вздыхал. «Прощается, — думала Дина. — Ах ты, глупенький, да разве я стану покушаться на твою свободу?» Но ничего не говорила, потому что все шло как надо, и даже внезапная мрачность жениха легко и просто объяснялась всеми посвященными:

— Это девушки перед свадьбой плачут, а мужчины мрачнеют.

Дина не плакала, а радовалась и с жадным нетерпением ждала двух часов июньской субботы, на которые была назначена регистрация. Но встретиться решили в двенадцать в сквере у Большого театра. И без пятнадцати двенадцать сияющая и очень похорошевшая Дина появилась там в подвенечном наряде с целой свитой друзей и подружек. Растроганные пенсионеры уступили скамейку; невесту усадили в центре, и девочки весело и чуть завистливо щебетали вокруг.

В двенадцать он не пришел.

Зато пришли ребята с параллельных потоков, и все принялись еще больше шутить и смеяться. Только стали чаще поглядывать на часы. И Дина тоже смеялась, но уже чуть напряженнее.

Он не пришел и в час.

Шутили уже не все, но все еще улыбались. Даже невеста. А в половине второго троих отрядили во Дворец, поскольку кто-то предположил, что жених мог по рассеянности все перепутать.

Не появился он и в два.

В три они перестали шутить и молча просидели еще почти два часа. А потом Дина вдруг вскочила и помчалась в метро.

— Где Борис? — удивленно воззрился на нее главврач поликлиники. — Наверное, к Индии подлетает. Он ведь давно подал документы, а оформили его три дня назад. Знаете, как у нас бывает? То ждешь месяцами, то — вылетайте немедленно.

А ведь он и вправду уже любил ее. Нет, нет, в нем ничего не было от классического Подколесина, он не сбежал от своей суженой. Он просто улетел к новому месту работы, которого так долго добивался и куда его так долго оформляли. Оформили одного, свободного, холостого, и доктор Боря провел тяжкую ночь. Что делать: отказаться от мечты или от любви? Сказать Дине, что уедет сейчас, а она оформится потом, после университета? А оформят ли ее? И как это скажется на его судьбе? Что он знает о ее родных, кроме того, что ее отец был осужден?..

Он не дежурил за два дня до свадьбы: он считал. Взвешивал все «за» и «против», все плюсы и минусы и явился за сутки к невесте, уже имея билет до Калькутты.

Не знаю, где и что именно она достала и сколько выпила, но спасли ее с трудом. Месяца два лежала в больнице, полгода в психиатрической лечебнице. Потом выписали, но

ни в университет, ни к матери в Пермь она не вернулась. Она вообще пропала или, точнее, почти пропала. Как ей такое могло прийти в голову, что она вытворяла еще добрых полгода, трудно понять. Это все зародилось, напридумывалось, а затем и окончательно вызрело в том страшном внутреннем одиночестве и в той страшной нечеловеческой обиде, которую никакие таблетки так и не смогли в ней загасить — ни те, которыми она травилась, ни те, которыми ее спасали. Отчаянно любила, отчаянно верила, отчаянно ждала — и само отчаяние ее оказалось невероятным, почти запредельным отчаянием. И в этом запредельном отчаянии Дине мерещилось то, что хоть в какой-то степени стояло вровень с ее обидой: месть. Не конкретная месть конкретному человеку, а месть всем мужчинам, всей жизни, всему счастью и себе самой в первую очередь. И с этой единственной задачей, с этой всепоглощающей страстью она и вышла из больницы. Вышла как бы на второй этап, на второй круг самоуничтожения с той лишь разницей, что если на первом круге она пыталась уничтожить себя, то теперь всеми силами уничтожала собственную душу. Умница и хохотушка, скромная девочка из далекой провинции исчезла сразу, будто ее и не было, будто не училась она в МГУ, шутя отвечая на одни пятерки. Прежняя Дина ушла навсегда; в ее хрупком, ставшем еще более стройным теле растворилась одна и выкристаллизовалась совершенно иная женщина, которую куда больше знали по многообещающему прозвищу Динамит. Динамит обладал не только взрывчатой страстью, но и язвительным умом, капризной фантазией и бешеной энергией, что очень быстро снискало ей загадочную славу.

— Приходи обязательно, Динамит будет.

— Динамит привезти обещали...

— Динамит приведут...

— Динамит...

Присутствие Дины в компаниях — а она ежедневно кочевала из дома в дом и из шума в шум, и никто не знал, где и у кого она спит, — гарантировало не только отчаянное веселье. Динамит обеспечивал взрыв или, как минимум, волнуемое ожидание этого взрыва: кто-то окажется брошенным, а кто-то — найденным; кого-то с кем-то непременно поссорят; любовь затмится приступом ревности, верность — приступом страсти, дружба — приступом зависти. И над недавней гармонией, над новыми врагами, свежими ссорами, слезами, истериками и упреками будет зло торжествовать хрупкая, гибкая и загадочно пугающая совсем еще юная женщина с прекрасными глазами.

— Честно предупреждаю, что добра от меня не ждите!

Тогда было все. Дина курила, пила что придется, меняла мужчин, жила на кофе, соках да наспех проглоченных бутербродах. Она изо всех сил губила себя, но пламя, сжигавшее ее изнутри, было куда мощнее всех доступных средств выключения памяти: Динамит никак не мог избавиться от взрывателя, заложенного в нем самом.

Так продолжалось полгода. С февраля по май Дина жила, путая день с ночью, кочуя из дома в дом. Но при всем безумстве этой назло себе самой сочиненной жизни она никогда не забывала о матери и — правда, очень редко — писала письма. В письмах Дина была счастлива, весела, заботлива и скромна. В них она по-прежнему отлично училась, в них ей предлагали аспирантуру, в них она любила «одного человека», а он, естественно, носил ее на руках. Мама оставалась последним сокровищем в мире, последней святыней в бездне, в которую по собственной воле бросилась Дина, и должна была оставаться такой навсегда: вечной, как икона.

Но письма писать было трудно, невероятно трудно, и чем дальше, тем трудней. Дина страдала над каждым словом, мучительно поддерживая легкую интонацию и еще более мучительно презирая себя. В конце концов должен был наступить кризис; Дина ощущала приближение этого рубежа, знала, что он неминуем, но ждала почти спокойно.

— Мне всегда дико везло в июне, — усмехалась она.

Вот в июне она и распоясалась вовсю. Хохотала, острила, залпом пила, курила сигарету за сигаретой. Уже кто-то шепотом выяснял отношения, уже в голос рыдала какая-то обиженная, уже многие перестали понимать, что происходит, а Динамит помнил, что было когда-то в этом месяце, и всеми силами глушил в себе боль. Но бикфордов шнур уже тлел, и взрыв был неотвратим.

— Дина?..

То, что ее называли по имени, не было чем-то необычным — необычно прозвучала интонация. Она позвала ее оттуда, с того берега, из той жизни, гибель которой Дина отмечала сегодня с таким вызывающим отчаянием.

— Дина, ты меня не узнаешь? Я Володя, сын Полины Андреевны с почты. Я МАИ закончил...

— Да, да, — автоматически, не глядя, пробормотала она.

— Не вспомнила, — вздохнул Владимир. — А как упала и ногу растянула? Кто тебе тогда первую помощь оказал?

Дина молча отстранила его и пошла из комнаты. Вид у нее был такой, что никто не попытался заговорить с нею. Наступила растерянная тишина, всем было чуточку неуют-

но; хозяин и хозяйка убирали какие-то осколки, и хозяйка зло шипела:

— Говорила же, прячь приличные вещи, когда Динамит привозят.

Авиационный инженер был далек от компаний, куда привозили Динамит. Он попал сюда случайно, через знакомых, и не один, а — «с нею»: серьезной такой девушкой, сумевшей увидеть и оценить многое.

— А где она?

В наступившей паузе Владимир опомнился первым. Дверь в ванную оказалась запертой, но на крики «Дина, открой!» никто не отзывался. С третьего рывка задвижка вылетела вместе с шурупами, Владимир ввалился в ванную и сразу увидел Дину, лежавшую без сознания в розовой от крови воде.

— «Скорую»!

И опять — больницы, больницы. Но как в первой, где сшивали вены и переливали кровь, так и во второй, где лечили обнаженную психику, Дину уже не оставляли в одиночестве. То Владимир, то его подружка будущий переводчик Иринка, то Полина Андреевна из знакомого отделения связи приходили, кормили, разговаривали, несли книги, ягоды, журналы и — цветы. Обязательно приносили цветы, которые Дина сначала просто не замечала, но которые в результате и поставили ее на ноги лучше всяких лекарств.

— Володя, ты — изумительный психолог, — объявила Иринка, потому что именно Владимир настаивал на цветах.

Дина лежала в больнице настолько долго, что в конце концов ей пришлось еще на койке поздравлять молодых. Она очень хотела улыбнуться им — и улыбнулась, но одними губами. Удивительные глаза ее, ставшие еще бездоннее, более уже не подчинялись ее желаниям. Мертвое окоченение поселилось в них навсегда.

— За мной подарок, молодожены. Вот выпишут...

— Нет уж, гони сейчас, — улыбнулся Владимир. — Напиши в Пермь. Пожалуйста.

— Стоит ли, конструктор?

— Надо, понимаешь? Очень надо.

Через несколько дней в далекую Пермь полетело письмо:

«Дорогие мои, здравствуйте!

Мамочка, прости свою непутевую дочку, что давно не писала. Делала диплом, приходилось с утра до вечера торчать в библиотеке. Зато теперь все позади: я закончила свое образование. А знаешь, на какую тему я защитила диплом?

«Честь, достоинство и благородство в личных отношениях». Тема, конечно, не новая, но каждое поколение открывает ее законы на собственном опыте. К сожалению, наш язык при всем его богатстве во взаимоотношениях женщины и мужчины становится чрезвычайно маловыразительным, начиная оперировать одним глаголом и одним существительным: «любить» и «любовь». Вот здесь-то и таится завтрашнее предательство, ибо у женщины и мужчины разные представления, а главное, разные мечты связаны с самой сущностью любви. То, что для женщины — основа судьбы, символ самой будущности, а порою и единственное представление о счастье, для мужчины чаще всего есть лишь мимолетное влечение, азарт, нечто вроде игры или спорта и, как максимум, — утоление страсти. Я доказывала в своем дипломе, что на свете нет и не может быть ни одной необманутой женщины, что в той или иной степени ее доверчивостью непременно же кто-то воспользовался, кто-то наобещал не словами, так ухаживанием своим, которое порою красноречивее слов, а что есть неисполнение обещания, как не обман, как не стремление удовлетворить свое тщеславие, потешить свою гордость, утолить страсть. Вот на каком перекрестке решительно расходятся представления женщин и мужчин, вот где расстаются они если не физически, то духовно, вот откуда тянутся нити женских трагедий. Здесь кончается всякое равенство, ибо никакая культура, никакие блага цивилизации не способны изменить сущность женщины, а сущность ее — безграничное доверие, за гранью которого женщина беспомощна и незащищена, как сама Земля, отдающая себя любому проблеску зари...»

Все письмо вопило от боли, но ни мама, ни соседки, ни даже повзрослевшие сестры не обратили на этот вопль внимания. Главной радостью было, что Диночка не просто жива и здорова, но наконец-то закончила университет, первой в их семье получила высшее образование, и теперь все позади. Только Инна, средняя, самая опытная, сказала:

— Знаешь, мам, у Динки кто-то есть. И это совсем не тот Борис, о котором она писала.

— Ну и слава богу, — улыбалась мать. — Это же и хорошо, что есть, это же и положено. Ты ответь, Инночка, поздравь, только не пиши, что бабушка померла. Не огорчай.

— Ладно. — Инна была в хмурых размышлениях, весьма близких к прозорливости. — И знаешь, мам, обожглась она. У меня такое чувство, что не столько у Динки есть, сколько у нее было.

Сестра вновь принялась изучать письмо, но если при первом чтении в ней сработала женская интуиция, то теперь она погрязла в малознакомых понятиях, утратила ощущение горя, пережитого старшей сестрой, и подвергла сомнению только факты: в конце письма Дина сообщала, что ее отправляют на закрытую трехмесячную стажировку, откуда писать будет невозможно.

— Это же что за стажировка, с которой писать нельзя? — допытывалась Инна у младшей, у Лоры. — Знаешь, Лорка, как такая стажировка называется? Роды, поняла? Тот самый диплом, который все девчонки получают в собственные ручки.

— Да иди ты, — говорила спокойная, улыбчивая Лора. — За границу ее посылают, вот и все. А сообщать об этом не велели.

Неизвестно, чем бы закончились размышления Инны, но, на Динино счастье, сама Инна стояла на перекрестке, пока еще рука об руку со своим парнем, и шагать в одиночестве по другой дороге не собиралась. И ответила коротко и ясно, как просила мама.

Кончалось лето, Дину перевели в санаторное отделение, разрешили гулять, и она гуляла по больничному саду. Собственного платья у нее не было, а где ее вещи, она говорить отказывалась, и лечащий врач перестала допытываться.

— Не хочет вспоминать — уже хорошо. Однако вскоре предстоит выписка, так что, Владимир, подумайте.

Владимир подумал, посоветовался с молодой женой и собственной матерью, а потом пришел в отделение связи. Начальница Галина Антоновна была новой, Дину не знала, но все поняла:

— Берем.

Через день все отделение ринулось в магазины. Две недели спорили, доводили до иступления продавщиц, плакали, ссорились и мирились, но в конце концов все было куплено на ту сумму, которую собрали, да премиальные, что совершенно уж неведомыми путями вышибла Галина Антоновна. Теперь можно было объявить Дине о предстоящей выписке. Лечащий врач пригласила для этого наиболее частых посетителей и — «коллегу», как она порой именовала авиационного инженера. Услышав, что она практически здорова, Дина побледнела, будто ей прочли приговор.

— Напрасно я маме о командировке написала.

— И вовсе не напрасно, — ворчливо сказала Полина Андреевна. — Работа тебя дожидается, а жить у меня будешь. Мой сыночек вон к любимой теще от родной матери сбежал.

— Мама...

— Володя, выйди,— решительно скомандовала Ирина, а когда он удалился, открыла чемодан.— Ну, Дина, давай одеваться.

Дина молча смотрела на врача, на добродушную Полину Андреевну, на Ирину. Потом ласково провела пальцами по одежде, которую разложила Ирина, и хотя пальцы заметно дрожали, голос остался ровным, глухим и бесцветным:

— Спасибо.

Так начался третий этап ее жизни — ровный, глухой и бесцветный. Все делалось точно и тщательно, настроение всегда было одинаковым, отношения со всеми — спокойно-отсутствующими. Дома она старалась делать все, что могла, и комната, в которой жили они вместе с Полиной Андреевной, пугала почти неживой стерильностью.

— Не улыбается! — поразились в отделении связи.

— Зареветь она должна, а не улыбаться,— говорила Галина Антоновна.

А Полину Андреевну пугало в Дине иное: послушность. Беспредельная послушность автомата казалась ей куда страшнее и отсутствия улыбок, и отсутствия слез. Что бы она ни сказала, Дина исполняла немедленно. Несколько раз она нарочно провоцировала Дину на бунт, отдавая те приказания, которые женщины абсолютно не выносят: что надеть, в чем пойти. Но и эти полураспоряжения-полурекомендации Дина воспринимала безропотно.

— Надо ее расшевелить,— категорически объявила теща Владимира, которую Полина Андреевна не очень почтительно именовала профессоршей.

— Понимаешь, Дина, бывают женщины, про которых говорят: «У нее муж — генерал», а бывают просто генеральши. Вот так и моя свояченица — просто профессорша.

— Ира, Володя, попробуйте воздействовать искусством,— советовала профессорша.

Дина теперь читала немного и как-то поверхностно... Она не отказывалась ни от театра, ни от кино, но от концертов, а тем паче от консерватории отказалась наотрез. «Бесстрастность,— поставил диагноз Владимир.— Будем ждать, время лечит». Наверно, он был прав, но время лечило огорчительно неторопливо.

Впрочем, одна страсть постепенно оживала в сумеречной душе: письма. Начав писать их, Дина и не заметила, как стал меняться и тон, и содержание, и сама манера ее писем. Как наступил момент, когда ей захотелось получать ответы, и она тут же отменила свою таинственную стажировку, сообщив в Пермь тот адрес, по которому ныне проживала.

И полетели конверты в обе стороны если и не очень часто, то, во всяком случае, с небывалой прежде аккуратностью.

Медленно, нерешительно, а порою и нелогично пробуждалась в Дине вторая жизнь: жизнь для мамы и сестер, жизнь в письмах. Там, на листках почтовой бумаги, постепенно оживала и начинала действовать совсем иная Дина — не та, которая существовала в действительности, а та, о которой мечтала или могла бы мечтать мама. Эту Дину очень ценили на работе, только работа была иной, хотя новые сослуживицы в точности напоминали почтовых служащих: даже имена Дина не меняла. И Галина Антоновна превратилась в доктора наук, а Полина Андреевна — в кандидата и непосредственного руководителя диссертации самой Дины. И все остальные — Нина Ивановна и Зоя, Анна Тимофеевна и Тамара — зажили вместе с Диной совершенно в ином качестве, оказавшись историками и искусствоведами, научными сотрудниками и аспирантами. Этим Дина придавала своим письмам абсолютную достоверность, поскольку с удовольствием и благодарностью возводила на пьедестал реально существующих женщин. Мама с восторгом читала ее письма всем знакомым, и даже недоверчивая Инна отреклаась от прежних сомнений.

— Бери пример с Динки, — объявила она младшей. — Поезжай в Москву, она тебя уму-разуму научит.

— А мне и здесь неплохо, — безмятежно улыбалась Лора.

Жизнь молодой женщины развивается по законам естества, даже если эта жизнь и существует только в письмах. Как Земля ни на мгновение не забывает о силе собственного притяжения, дабы не погубить жизнь, так и женщина не в состоянии исключить любовь из своей судьбы. Про любовь, про «личную жизнь» расспрашивала мама, и Дине ничего не оставалось, как — сначала вскользь, походя — начать упоминать о «нем». Этот «он» тоже был обречен на развитие от письма к письму и постепенно становился все более похожим на сына Полины Андреевны. А потому вдруг — Дина и сама не могла понять, как это произошло, — «он» сделал ей предложение и окончательно превратился в доктора Владимира. В доктора, а не инженера — это было единственной поправкой Дины.

Все начинается сначала, и незаметно для себя Дина сделала первый шаг во вполне определенном направлении. Она уже посадила зернышко в подготовленную почву: теперь это зернышко проросло, и Дина не столько понимала, сколько предчувствовала, что лавина вот-вот сдвинется с места, как предчувствовала когда-то горение бикфордова шнура. Конечно, еще была возможность поссориться с

«ним», но у Дины уже не было сил реализовать эту возможность. Оказалось, что любить и быть любимой — пусть только в письмах, для себя, для мамы и сестер! — так мучительно прекрасно, что расстаться с этим несколько не легче, чем в жизни, а может быть, даже труднее, ибо эта придуманная любовь оказалась единственной отдушиной в том каземате, в котором заточила Дину ее судьба.

Лавина сдвинулась, и через четыре письма Дина весело вышла замуж. «У нас трехкомнатная квартира,— писала она.— Комнаты, правда, небольшие, но планировка удивительно уютная. В передней — встроенные шкафы...»

Даже теперь она ничего не сочиняла, в деталях описывая квартиру Ирины и Владимира, где Дине случалось бывать. Эпистолярный жанр требовал максимального правдоподобия, и Дина не скупилась на детали. И это трехкомнатное семейное гнездышко привело к тому, что лавина со всей мощью сорвалась на бесхитростную фантазию, незаметно переросшую в хрупкую мечту.

— Дина, телеграмма! Мама твоя в гости едет. Поезд восемьдесят семь, вагон четырнадцать...

Темнота тоже обладает способностью вспыхивать: во всяком случае, Дина ощутила вспышку, прежде чем упасть. Очнувшись уже в постели, увидела плачущую Полину Андреевну, Иринку, Владимира и вновь крепко зажмурилась. Ей стало страшно, так безнадежно страшно, что опять захотелось умереть, уйти от боли, тоски и тревог. И упрямо молчала, а заговорила только вечером, когда ушла Ирина.

— Я улетаю. В Пермь. Возьмите билет на завтрашний рейс.

— Зачем же улетать, когда к тебе мама выезжает? — плачуще удивилась Полина Андреевна.— Что, у нас на троих места не хватит, что ли? Ну поспишь пока на раскладушке...

— Подожди, мама,— сказал Владимир.

Он пристально наблюдал за Диной. Что-то понял, о чем-то догадался: он и вправду был неплохим психологом.

— Ты не хочешь встречаться с мамой в Москве?

— Убейте меня! — вдруг хрипло выкрикнула Дина.— Или хотя бы телеграмму дайте, что я умерла. Умерла, слышите? Сдохла, под машину угодила, в окно выбросилась!

— А ну, успокойся.— Владимир взял Дину за руки, встряхнул.— И давай разбираться. Чего ты боишься? Прошлого? Но это же ерунда, Дина, все позади, да и мама твоя никогда ничего не узнает. Ну, что ты молчишь? Что молчишь, спрашиваю?

— Я — твоя жена! — с надрывом расхохоталась Дина.—

Твоя законная, у нас — трехкомнатная квартира, я учусь в аспирантуре, а она, — вздрагивающий палец уперся в Полину Андреевну, — старший научный сотрудник, кандидат наук и руководитель моей диссертации. Ты все понял теперь, доктор?

— Дела... — растерянно протянул Владимир. Помолчал, улыбнулся. — А ребенка у нас еще нет?

— Что?

Дина не столько выдохлась, сколько удивилась. Он не дал ей опомниться.

— Значит, моя мама — ученый, так? А кто я, кроме того, что медицинское светило и твой муж? Я не из любопытства, я хочу понять, чтоб сообразить, где выход. Сейчас возьму бумагу и ручку, и мы с тобой нарисуем, кто есть кто.

— Я врала, — устало призналась Дина.

— Значит, не кто есть кто, а кто стал кем, — сказал он. — Только ты не врала, ты выдумывала во спасение. Значит, ты ничего не разрушала, а создавала.

— Воздушные замки?

— Лабиринт. В результате образовался лабиринт, а чтобы найти, как из него выбраться, надо знать схему. Вот и давай разбираться.

Разбирались весь вечер. Дина часто срывалась, то разряжаясь в сумбурных выкриках, то погружаясь в угрюмое молчание. Владимир успокаивал, менял разговор, давал возможность отдохнуть. Вскоре картина сотворенного Диной «лабиринта» стала ему ясна; он увел мать на кухню и сказал:

— Глаз с нее не спускай, товарищ научный руководитель. Ясно?

— А что с ее матерью будет, когда узнает все?

— Понимаешь, мне бы как-то Иринку уломать, — задумчиво сказал сын. — И тещу. И еще кое-кого.

— Что значит уломать? В чем уламывать-то?

— А я и сам еще не все понимаю, — признался он, поцеловал мать и уехал к себе, в профессорскую трехкомнатную квартиру.

Пока ехал, рассчитывал время: если мать Дины только 9-го выезжает из Перми, как значилось в телеграмме, то в запасе имелась неделя. Это вполне достаточный срок, чтобы... А вот что означало это «чтобы», Владимир не решался признаться самому себе. Пока ему было ясно одно: Дина боится, что удар, который ожидает ее усталую, загнанную во множество болезней ранним вдовством и многими трудами мать, окажется той не по силам. Больше стыда, угрызений совести, больше всего на свете Дину беспокоило материнское сердце.

— Господи, ну зачем же так завираться! — возмутилась Ирина.

— Она не завралась, она замечталась, — Владимир грустно улыбнулся. — Хотела как лучше, а остановиться не смогла.

— Клинический случай!

— Здесь не клиника, здесь сверхнормативная потребность в компенсации. Дина делает все возможное и невозможное, чтобы не огорчать тех, кого любит.

— Ну, невозможного тут куда больше.

— Уж что-что, а перебор ее натуре свойствен изначально. Слишком много личности. — Он помолчал, походил по кухне. Подошел, обнял. — Ты уступишь меня этой личности?

— Что означает в данном случае глагол «уступить»?

— Три, от силы четыре дня в нашей квартире поживет Дина.

— Вместо меня? — она высвободилась из его рук.

— Вместо тебя никого быть не может.

— А вместо моей мамы?

— А вот вместо твоей мамы те же три-четыре дня поживет ее мама. И ты, именно ты растолкуешь своей матери, почему ей придется временно переменить адрес.

— Например?

— Например, переехать к моей маме.

Ирина начала молча ходить по кухне, недовольно хмурясь. Владимир бродил тоже, и они все время сталкивались.

— Ты аферист, Владимир.

— Возможно. Я должен во что бы то ни стало оградить от травм одно больное сердце и одну весьма травмированную психику.

— Я не сильная личность, и поэтому я больше трех дней не выдержу. Завтра же купишь билет в Пермь с учетом трехдневного визита.

— Ирка!

Они опять столкнулись, и он воспользовался этим, чтобы обнять ее. Но Ирина вырвалась довольно решительно.

— Что бы ты делал, если бы был жив мой папа... Да, а где ты намерен спать?

— В первую ночь Дина не сможет расстаться с матерью, что вполне естественно. Во вторую у меня дежурство.

— Какое еще дежурство, болтун?

— У тебя, естественно. Ну, а в третью ночь ты организуешь мне срочный вызов. Куда угодно.

— Уж это-то я тебе гарантирую!

Они восторженно поцеловались и пошли в свою комнату, боясь оторваться друг от друга.

Ирина легко уговорила мать: профессорша загорелась необычностью ситуации. Посоветовала убрать вещи, которые не могут принадлежать молодым, напомнив, что женщины вообще, а пожилые в особенности обладают повышенной любознательностью, наблюдательностью и сообразительностью.

— Потрясающе интересно! А если кто-нибудь пожалует в гости?

— Возьми записную книжку и обзвони всех своих приятельниц. Я сделаю то же самое с нашими друзьями.

— Какая захватывающая история! — Профессорша крепко потерла руки, точно готовясь ухватить эту историю. — Нет, что ни говори, а наш Владимир — благороднейший человек.

Благороднейшему человеку пришлось труднее. Он легко убедил Галину Антоновну дать Дине четыре дня за свой счет и, окрыленный успехом, помчался к Дине.

— Напрасно суетитесь.

Со времени получения телеграммы Дина либо молча курила на кухне, либо молча лежала на диване. Покладистость ее вдруг сменилась агрессивностью, даже голос стал грубым: она опять никого не замечала, а если замечала, то ненавидела.

— Дина, давай попробуем обсудить спокойно. — Владимир умел с нею разговаривать. — Ты ведь не хотела обманывать маму, ты хотела только уберечь ее от волнений, правда? Так будь последовательной: от тебя и от нас требуется совсем немного. Требуется убедить твою маму, что ей нечего за тебя беспокоиться. Есть отдельная квартира, есть ты, есть я.

— Тебя нет. Это фикция. Мираж в пустыне.

— У твоей матери больное сердце. Ты сама говорила.

— Ты доктор? — Дина впервые посмотрела ему в глаза. — Строй свои самолеты и не лезь в медицину.

— А у тебя в запасе — иной вариант?

— Телеграмма: «Дина скоропостижно скончалась коллектив выражает соболезнование».

— И что будет с мамой, представляешь?

— Это не твоя забота.

— Инфаркт. Хотя я и не врач, а авиаконструктор, в этом можешь не сомневаться.

Дина промолчала. Владимир успел обрадоваться, что заставил ее задуматься, но не успел ничего сказать.

— Допустим. — Дина смотрела куда-то мимо. — Могу изложить два щадящих варианта. Телеграмма: «Дина уехала в длительную командировку».

— Вдруг? Кто же поверит в эту телеграмму?

— Еще раз допустим. Второй вариант: я вылетаю в Пермь.

— Этот вариант мы уже обсуждали и, если помнишь, пришли к выводу, что он бесперспективен. Не навещать родных столько лет...

— Я валялась в психиатричке. Ты это отлично знаешь.

— Да, но они не знают! И вдруг стоило матери захотеть навестить дочь, как эта дочь летит в Пермь. Нормально?

— Я — ненормальная.

— И ты это выложишь маме у трапа самолета?

Дина не ответила. По неподвижному лицу скользнула тень то ли тревоги, то ли озабоченности. И опять Владимир не успел ничего сказать, как она поднялась с дивана.

— Я должна это перекурить.

Шаркая ногами, прошла на кухню, где тайком плакала Полина Андреевна, страдавшая от неразрешимости проблемы.

— Ступайте в комнату, тетя Поля, нечего дым глотать.

Она называла ее тетей, еще когда студенткой бегала на свои почтовые приработки. Но, выйдя из больницы, забыла об этом, называла только по имени и отчеству, а теперь вдруг вернулась к тем далеким временам. И, наверно, поэтому Полина Андреевна поспешно вышла в комнату, где остался сын.

— Ты должна ее уговорить на трехдневную рокировку. Я уже пробил брешь, а тебя она послушает.

— Сынок, не обманывайся. И ее не обманывай. Пожалей ее, она ведь не выдержит.

— Значит, по-твоему, вообще нет выхода?

— Почему же? Есть: правду говорить. Всегда самый верный выход — говорить правду.

— Но ведь это жестоко! — он почти закричал, но вовремя опомнился. — Жестоко по отношению к матери и к Дине.

— Обман еще жесточе, — упрямо не согласилась Полина Андреевна. — У обмана только видимость добрая. Это ведь живые люди, Володенька, живые да пострадавшие, а ты хочешь комедию ломать. Ты уж не обижайся, но сдаётся мне, что эту комедию вы с Ирочкой куда больше любите, чем Дину.

— Мама, ты пойми главное...

Владимир начал доказывать необходимость обмана, часто употребляя внезапно найденное слово «рокировка». Мать слушала, решая еще один весьма мучивший ее вопрос: говорить или не говорить сыну, что Дина относится к нему

не только как к другу. Сама Дина, естественно, молчала об этом, но Полина Андреевна отлично разбиралась в том, о чем молчат.

— Мама, то, что ты называешь комедией, способно окончательно поставить Дину на ноги. Понимаешь, эта короткая рокировка окажется тем допингом, которого ей так не хватает сейчас.

Сын был увлечен, приводил красноречивые доводы, а главное, столько уже успел сделать, что Полина Андреевна решила попробовать. Она говорила с Диной с глазу на глаз, очень боялась, что ей неостанет аргументов, но еще больше волновалась из-за смятения в душе своей. Она по-прежнему была против этой «рокировки», сын не убедил, а, скорее, упросил ее, и Полине Андреевне все время казалось, что она предает Дину.

— Все на тебя одну свалится,— тихо говорила она.— Мама и не узнает и не догадается, если выдержишь.

— Выдержу,— скупой оборвала Дина.

И опять мелькнула у Полины Андреевны догадка, что несчастной этой женщине нравится ее сын и что заставлять ее играть роль жены и бестактно, и безнравственно. И опять она усомнилась в своей прозорливости и только вздохнула.

Дни, оставшиеся до приезда, были заполнены суетой. Ведь даже собственных вещей у Дины было столь мизерное количество, что никакая мать не могла бы поверить, что ее дочь преуспевает как в семейной, так и в деловой жизни. Надо было что-то у кого-то одалживать, подбирать, развешивать: этой бутафорией с азартом занимались Ирина с матерью. Владимир, уже купивший обратный билет, проворачивал остальные дела: легенду о счастливом браке, подбор друзей, которые могли бы звонить, наконец, просто выходы в свет, для чего раздобыл билеты в Большой театр и цирк. Так текли дни, наполненные лихорадочной деятельностью, и постепенно идея «обмана в спасение» все более превращалась в азартную игру «короткая рокировка».

Но все кончается, даже подготовка. И приходит день, когда игра превращается в жизнь. В реальное время прибытия реального поезда.

Поезд приходил вовремя. Они приехали за четверть часа и медленно побрели по платформе к месту, где ожидался четырнадцатый вагон. Дина молчала с утра, с момента их встречи, и Владимир уже обеспокоенно поглядывал на нее.

— Не волнуйся, все будет нормально,— сказала она.— Как называет тебя твоя супруга?

— То есть?

— Вовик? Тузик? Песик? Мне следует знать, чтобы в тебе всегда срабатывал рефлекс.

— А-а.— Он усмехнулся.— Зови меня просто Володей, как говорится. Ты способна улыбнуться собственной матери?

— Я же сказала, что все нормально. Между прочим, на месте Ирины я бы звала тебя по-другому.

— Как?

— Промолчим, а то запутаешься. А вот и мамин поезд. Прощу собраться, ваш выход, Арлекин.

Владимира пугало многое, но более всего — первое мгновение. Он боялся, что при виде матери, с которой рассталась девчонкой и без которой хлебнула столько лиха, Дина не выдержит и наговорит такого... И замер, когда она бросилась навстречу худенькой женщине с мягким, изрезанным ранними морщинами лицом, в старушечьих ботах, теплом старомодном пальто и беленьком платочке с робкими цветами, повязанном под круглым, как у дочери, подбородком.

— Мамочка!

— Доченька, родная.— Мать приникла, целовала, отстранялась, всматривалась.— Господи, похудела-то как. С чего же это, а? Может, больна чем?

— А, мама! — Дина беспечно махнула рукой.— Чего у всех женщин хватает? Правильно, неприятностей. Володя, возьми вещи. Мама, это Володя. А это — моя мама Елизавета Степановна.

— Здравствуйте.— Вид у Владимира был растерянным до беспомощности, что вызвало в глазах Дины ответ навсегда, казалось, потухшего огонька.— Я... Да. А где же вещи?

— Поцеловать-то можно вас? — спросила мать.

Владимир неуверенно кивнул. Елизавета Степановна привстала на носки, двумя руками нагнула его голову и поцеловала в лоб.

— А вещи в вагоне. Чемодан и корзинка с гостинцами на лавке, а у проводника — подарок вам от всех нас в новую квартиру.

Подарком оказалось несуразно узкое и длинное зеркало в грубой, крашенной «под бронзу» самодельной раме. Зеркало было очень старым, тусклым, с какими-то уже несмысленными пятнами и потеками, но самой замечательной оказалась рама. Нелепые завитушки смахивали на наличники, а четыре уродливых морды на углах, претендуя на львиное звание, никак не дотягивали и до рыночных кошечек.

— Мое зеркало! — радостно удивилась Дина.— Я перед ним вертелась, когда еще в первый класс бегала. Только оно тогда было без рамы.

— Вспомнила,— с невероятным удовольствием отметила мать.— А раму сосед сделал, Семен Лукич. Помнишь его, доченька?

— Жалко, что не на колесах сделал,— проворчал Владимир, примериваясь, как же ему ухватить этот подарок.

Елизавета Степановна посмотрела на него, а дочери выговорила:

— Такой представительный у тебя муж, а карточки не выслала.

— Вышлем,— сказала Дина и опять глянула на Владимира с прежним отсветом в глазах.

Но Владимир не уловил этого ответа: его бросило в жар. Предусмотрев, как ему казалось, почти все, он ни разу не вспомнил о фотографиях, которых не могло не быть в семейном доме. В провинции и до сей поры, вероятно, существуют альбомы — он понял это по укоризненному замечанию матери,— и Елизавета Степановна, естественно, спросит...

— С нашими фотографиями несчастье случилось,— кажется, он влез в разговор, но должен был предупредить все расспросы.— Знаете, их залило этим... проявителем. И они все оказались испорченными. Все до одной.

— Так испорченные покажешь, эка беда. Я погляжу подольше, может, и разберу чего.

— Но...— Владимир волок несуразное зеркало, руки были заняты, пот заливал глаза.— Дина, вытри мне лоб.

Почему он сам не мог отереть собственного лба, было непонятно, потому что он поставил зеркало на перрон, и руки оказались свободными. Но он все же подставил лоб, и Дина бережно промокнула его платком.

— Где фотографии?...— отчаянно прошептал он.

— А я их сожгла! — громко объявила Дина.— Рассердилась на этого... Меерхольда, который не способен думать, а может только проливать проявитель, и сожгла все, что было. И чего не было тоже.

— На такси! — с огромным облегчением закричал он.

— Это еще зачем? — недовольно спросила Елизавета Степановна.— Невелики старики, и так доберемся.

Но Владимир уже волок зеркало к стоянке, и мать с дочерью поспешили за ним. В нормальную машину подарок не уместился, пришлось ждать такси с кузовом «универсал», куда зеркало кое-как удалось запихнуть. Все это время Елизавета Степановна ворчала по поводу бессмысленной траты денег, но села в машину сразу: она хотела прокатиться, а ворчала потому, что так уж было заведено. И катила по Москве с превеликим удовольствием, разглядывая

улицы, людей, дома, машины. Ей все нравилось, и «молодые» смогли перевести дух.

С той же улыбкой Елизавета Степановна досконально исследовала квартиру, громко восторгаясь ее размерами, планировкой и мебелью. Она с детской непосредственностью расспрашивала, что, почему и зачем, хвалила или ругала, восторгалась или отвергала в зависимости от собственных представлений. Все делалось с огромным увлечением, из-за чего она так и не смогла заметить, как же трудно ее дочери, какие сбивчивые, приблизительные, а порой и несурзные ответы она дает. А Дине было невыносимо тяжело, потому что руками матери она ворошила чужое хозяйство, чужой быт, чужую семейную жизнь, и каждая забытая Ириной шпилька доставляла ей настоящие мучения.

Пока происходил этот дотошный смотр, Владимир готовил завтрак. Он слышал ответы невпопад, которые вызывали у него только приступы веселья, потому что за той суетливой нелепицей, которую бормотала Дина, он не чувствовал ее смутения и боли. Для него первые минуты пребывания матери обещали легкое, почти анекдотическое развитие сюжета, который он с наслаждением будет впоследствии пересказывать. Он уже слушал этот пересказ в себе самом, он уже ощущал себя центром внимания; он видел начало водевиля там, где Дина заметила начало трагедии.

— Милые дамы, прошу к столу! Диночка, угощай маму, а меня извините: работа.

Так было обусловлено заранее, но сейчас, здесь, не просто в чужой квартире, а в гнездышке другой женщины, Дина почувствовала страх. Ей вдруг стало ясным, что она не сможет сохранить ни видимости счастливой жены, ни тона радушной хозяйки. То, что теоретически представлялось простым, на практике оказалось невыносимым: чужая жизнь, чужой уют, чужое счастье, чужие стены давили со всех сторон.

— Не уходи,— сдавленно, скорее с угрозой, чем с мольбой, сказала она.— Не уходи, слышишь?

— Как? — он растерялся.— Мы же... То есть как же иначе? Ты же знаешь, что я — врач, меня ждут больные.

— Я — больная,— она вдруг вплотную подошла к Владимиру, взяла его за лацканы пиджака и затрясла, как трясла когда-то доктора Борю.— Я твоя больная, понимаешь? Я твоя ненормальная, твоя идиотка, которая послушалась тебя...

Выдавливая слова, она все время встряхивала его, уже не видя собственной матери, уже не слыша собственных

слов. «Накатило,— подумал Владимир.— Черт, придется изобразить, мать смотрит...» И он тут же, сжав ладонями ее побледневшее лицо, начал целовать в лоб, в нос, в прохладные щеки, в полуоткрытые губы. Дина обмерла,— он почувствовал, как она обмерла в его руках,— и сразу заговорил, забормотал между поцелуями.

— Дина, успокойся. Все хорошо. Будь умницей. Соберись.

— Не уходи,— она уже не кричала, а умоляла.— Мне страшно.

— Что, поссорились? — по-домашнему уютно спросила Елизавета Степановна.— Бывает, чего в семье-то не бывает? А ну-ка помириться, а ну-ка поцелуйтесь, как положено, а ну-ка хоть ради меня...

Дина сразу замолчала и отстранилась, и Владимир отстранился, и теперь они стояли в шаге друг от друга, опустив глаза. И не знали, что делать.

— Целуйтесь.— Уже строго приказала мать.— Ишь какие гордые! Живо у мужа прощения проси, даже если и вины за тобой нет.

Владимир опомнился первым: еще мгновение, и Дина взорвалась бы, как когда-то взрывался Динамит. Заулыбался, протянул руки, сграбастал, прижал.

— Прости меня, Диночка. Прости!

Силой повернул к себе ее лицо, приник к губам. До тех пор, пока не ощутил, как обмякло, как ожило, стало покорным и теплым ее тело. Тогда выпустил из объятий и тут же усадил, потому что Дину вдруг качнуло.

— Случается у нее,— он ободряюще улыбнулся матери.— Вы не беспокойтесь, все нормально. Держись, Дина!

И быстро вышел. Дина по-прежнему сидела на тахте, закрыв лицо руками. Мать присела рядом, обняла, прошептала:

— Ребеночка ждешь? Я сразу это поняла, как тебя увидела. С лица спала, потому как мутит от пищи и на мужа сердиться, будто он в чем виноват. А он тебе еще одну жизнь подарил, доченька.

Дина хотела сразу же оборвать все материнские догадки, но сил не было, а была какая-то ласковая, тихая истома во всем теле. И ей стало приятно от этой истомы, а потом и от слов матери, и она подумала: «Беременность — это хорошо. Это многое объяснит». И тут же обняла мать.

Потом они тихо и облегченно пили чай, и Дина уже не ощущала того оскорбительного отчаяния, какое овладело ею при осмотре квартиры. Теперь она была молчалива и улыб-

чива, слушала и спрашивала, и Елизавета Степановна с удовольствием и подробностями рассказывала ей о сестрах, соседях, городе и совсем немного — о себе.

Так во взаимных расспросах и общих воспоминаниях прошел день. Владимир звонил трижды, изображая внимательного супруга и всерьез беспокоясь, не натворила ли Дина глупостей. Но все пока шло хорошо; после обеда Дина уложила Елизавету Степановну спать, прилегла сама, хотела подумать, но вспомнила об уходе Владимира, о собственном страхе, прозорливости матери и о его долгом, *настоящем* — уж она-то в них разбиралась! — поцелуе, почувствовала легкое, убаюкивающее тепло и уснула.

Проснулись обе от телефонного звонка: Владимир напоминал, что есть билеты в цирк. Но Елизавета Степановна от цирка отказалась, вечер получился свободным, и старательно продуманный сценарий затрещал по всем швам в первом же действии.

Началось с того, что по возвращении Владимир сразу ощутил изменение отношений как между дочерью и матерью, так между Елизаветой Степановной и им самим. Ощутил, ничего не понял и поначалу испугался, не наболтала ли чего странно притихшая Дина.

— Что тут у вас произошло?

— Я беременна, — спокойно пояснила Дина. — У тебя два варианта: устроить мне жуткую сцену ревности или признать ребенка своим.

— Ребенок? — Он на мгновение растерялся, но тут же заулыбался с огромным облегчением. — Это чудесно, это же все упрощает!

— Упрощает, ты считаешь?

В дверях кухни показалась Елизавета Степановна. Дина сидела спиной к входу, но Владимир увидел.

— Умница ты моя!

Он вдруг опустился на колено и нежно припал к ее рукам. Дина хотела выдернуть их, но он прижался, не пуская; она успела увидеть мать, осторожно высвободила руку и ласково погладила Владимира по голове:

— Все в порядке. Не волнуйся, дорогой.

Это было сказано и для него, и для матери, и они — каждый по-своему — поняли, что она хотела сказать. Но это же она сказала и самой себе, а сказав, обомлела. Обомлела от такого естественного для всех, кроме нее, слова «дорогой»... И все гладила и гладила его.

— Вот и ладно. — Елизавета Степановна была чрезвычайно довольна. — Вот и слава богу. Вам, дети, не ссориться надо, а о будущем думать. Пойдем, доченька, с ужином

похлопочем, а Володя твой пусть телевизор смотрит, как мужчинам положено.

Ужин прошел вполне благополучно. Владимир, окончательно успокоившись, был предупредителен, влюблен, заботлив, в меру проявлял любопытство по поводу Инны и Лоры и к концу ужина совсем очаровал свою «тещу». Но Дина и на это не обратила внимания: ей было хорошо, так хорошо, как давно, очень давно уже не было, и она больше прислушивалась к себе, чем к разговорам за столом.

Как и предполагал Владимир, они спровадили его спать, а сами болтали допоздна. Дина постелила матери на тахте, себе — на раскладушке, но Елизавета Степановне это не понравилось.

— Вы где с мужем спите? На тахте? Ну так и спи на своем месте.

— Нет, мама, так нельзя, это невозможно, совершенно невозможно.

Дина и не предполагала, что для нее окажется невыносимой сама вероятность улечься на чужое семейное ложе. Теоретически все было просто, но когда дело дошло до сна, Дина ужаснулась. Она бестолково хваталась за мать, тянула ее к тахте, что-то беспрерывно говорила, уже не соображая, что говорит и до чего может договориться. Но ее странное поведение было воспринято Елизаветой Степановной как искреннее желание поудобнее устроить мать; благодарность помешала ей насторожиться, и, прослезившись, она согласилась.

— Ах, Динушка, чего уж обо мне-то хлопотать? О семье хлопочи, о муже да о ребеночке. Муж-то у тебя какой замечательный, заботливый да приветливый, да как любит-то тебя! Знаешь, у матери не два глаза, а сколько детей, столько и глаз, и она все замечает. И уж если я тебе говорю, что Володя твой...

Дина слушала с жадным вниманием. Ей было не просто приятно, что маме понравился Владимир, — она испытывала искреннюю радость от этого разговора, боялась упустить слово и требовательно вскинула голову, когда разговор вдруг оборвался. Вскинула, увидела расширенные от ужаса материнские глаза, сообразила, что незаметно для себя стала раздеваться, что стоит сейчас в трусиках и лифчике и что мать в упор разглядывает шрамы на ее руках.

— Ах, это...

Дина призвала на помощь всю свою волю. Как можно спокойнее провела ладонями по старым следам бритвенного лезвия «Шик».

— Я была в другой стране, мама. Там меня укусила змея. Это — знаки того, как меня спасали.

— Знаки? — в голосе матери звучало откровенное недоверие.

— Да,— Дина обрушила на себя ночную рубашку, и шрамы исчезли: она надевала вещи только с длинными рукавами.— А знаешь, кто меня спас? Володя. Тот самый, который сопит сейчас в соседней комнате, и мне, пожалуй, следует поцеловать его на ночь.

Она совсем не собиралась заходить к Владимиру, да еще в ночной рубашке. Но мать увидела шрамы, не поверила ни в каких змей, и единственное, что, по Динину разумению, еще могло удержать ее в сказке, была наглядная демонстрация теплых супружеских отношений. Вероятно, существовали и какие-то иные способы, но Дине пришел в голову только этот: она смело открыла дверь соседней комнаты и столь же смело закрыла ее за собой.

В комнате царствовал типичный московский полумрак; Дина остановилась у порога, ожидая, когда привыкнут глаза, и ясно, спокойно ощутила, как застучало давно уже отвыкшее от подобных стуков сердце. Оно словно посылало сигнал: «Ты — женщина!» И, приняв его, Дина успокоилась. Разглядела широкую деревянную кровать, с которой никак не желала расставаться овдовевшая профессорша, спящего Владимира и неожиданно опустилась на колени...

— Тебе вредно так распалиться,— сказала мать, с женской все понимающей улыбкой встретив ее.— Но я все вижу, Диночка, и слава богу.

Дину трясло полночи. Она боялась вертеться на скрипучей раскладушке, а мысли были мучительны и тревожны. Как она могла позволить себе войти в комнату? Как смела пренебречь доверием Ирины? Как теперь вообще смотреть ей в глаза? Так терзалась совесть, а глупое сердце ликовало, вспоминая сонное мужское дыхание, и от этих воспоминаний бросало в жар занемевшее тело.

Утром она проспала, и Владимира кормила завтраком Елизавета Степановна. После вчерашнего возвращения преобразенной дочери у нее уже не оставалось никаких сомнений. С наивной готовностью уверовав в то, во что так хотелось уверовать, Елизавета Степановна решительно упростила все отношения, называя Владимира теперь только на «ты» и даже иногда употребляя материнское «сын». У Владимира хватило соображения принять эти родственные отношения как данность и даже подставить лоб для поцелуя.

Этот день был отведен для хождения по магазинам, а вечером предполагался Большой театр. Однако магазины настолько вымотали Елизавету Степановну, что ни о каком театре и речи быть не могло.

— Поберегите себя,— сказал Владимир.

— А гостинцы? Инне купили, а Лоре непременно завтра купить надо. А как же? Дочки ведь, и тебе — родня.

— Это точно! — рассмеялся он.— Тогда полежите сегодня, а мы с Ир...

— Тебе, кажется, на ночное дежурство? — быстро спросила Дина.

— Нет.— Он поспешно отсекся, то ли испугавшись оговорки, то ли еще по какой-то причине.— Я просил, чтобы подменили.

Пили по-семейному чай, Владимир и Елизавета Степановна оживленно болтали, а Дина молчала. Потом смотрели телевизор, но вскоре назойливо зазвонил телефон. Владимир несколько раз бегал в переднюю объясняться («Ну отменяется дежурство, неужели непонятно? Потом все расскажу...») и после четвертого звонка решительно отключил аппарат.

— Все им докажи да все им растолкуй!

В тот вечер он потребовал, чтобы Елизавета Степановна пораньше легла спать. Дина постелила ей и себе, уложила мать, вышла на кухню. Там ждал Владимир; долго молчал, глядя в окно. Дина села к столу, закурила: с приходом матери с куреньем возникли осложнения.

— Елизавете Степановне абсолютно противопоказано переутомление. Даже самое пустяковое,— он вздохнул.— У тебя чудесная старуха.

— Я очень рада.

— Я тоже,— Владимир вдруг повернулся к ней.— Я знаю, где ты стояла ночью на коленях: я не спал. Ты стояла у дверей, и на тебя падал свет из окна. Если ты сделаешь это еще раз...

— Еще раз не будет, не волнуйся.

— Я хотел сказать, что сорву все замки. Ты поняла?

— Женщины понимают либо все окончательно, либо ничего решительно.— Дина встала, взялась за ручку двери: — Что тебя больше устраивает?

— Я не пошел сегодня на дежурство, а ты знаешь, что имелось в виду под этим дежурством. Я не пошел из-за тебя.

Спина Дины беззащитно ссутулилась, точно готовясь принять уже занесенный над нею кулак.

— Я — живая,— очень тихо сказала она и вышла.

Третий, последний по всем расчетам день опять начался с магазинной суеты. Владимир отправился на работу, а перед обедом чертежница сказала, что его спрашивают. Он тотчас же спустился к вахте.

— Извините, вы не знаете кто...

И замолчал, увидев тещу. Всегда благодушно настроенная профессорша сегодня выглядела весьма взъерошенной.

— Нет уж, это вы извините,— язвительно зашептала она.— Ирка ревет, твоя мать храпит по ночам, как старый бульдог, я не сплю — ну и из-за чего, спрашивается? Из-за прихоти этой шизофренички?

— Сегодня третий день. Все идет, как договаривались.

— Третий день, а ты уже не явился к жене. Почему? И почему ты отключил телефон?

— Елизавета Степановна плохо себя чувствует.

— Скажите, пожалуйста! А как чувствует себя Динамит?

— Как вам не стыдно.

— Я — мать твой жены, и мне еще стыдно? Это ей должно быть стыдно. Ей!

— Не кричите. И вообще закончим этот разговор.

— Ну смотри, Владимир. Или ты сегодня же...

— Завтра. У нее самолет — завтра, понятно?

— Хорошо, пусть завтра. Но если не завтра, то отпирать ее буду я. И уж я ее налажу, можешь быть уверен!

Владимир был вне себя от бесцеремонности тещи, от ее намеков и прямых оскорблений. Это обижало еще и потому, что ничего не было в действительности, но все как бы уже существовало в мечтах. Он еще кипел, когда позвали к телефону. И брал трубку с неохотой, подозревая, что Ирина рвется выяснять отношения...

— Маме стало плохо в магазине. Там сделали укол, я привезла ее на такси.

— Что? Дина, вызывай неотложку, я еду!

Он не застал неотложки, но сумел разыскать врача по телефону.

— Острая коронарная недостаточность на весьма неблагоприятном фоне. Хотели госпитализировать, но ваша жена решительно воспротивилась. Мое мнение — старушка недельки две должна полежать без тревог и волнений...

Он слушал доктора в передней. За плечом взволнованно дышала Дина.

— Что сказал врач?

— Ничего страшного, надо просто немного полежать.

— Что значит немного? До завтрашнего самолета?

— Самолета не будет,— он глянул в ее вновь помертвевшие глаза, взял за руку.— Успокойся. Что они, не люди, что ли?

— Лучше уж больница. Хотя мама — иногородняя.

— Лучше ей будет здесь, дома.

— Но здесь нет дома! Нет! Нет!

Он по-прежнему держал ее горячую узкую руку в своих

ладонях, и она не убирала ее. А он все время чувствовал и то, что держит ее руку, и то, что Дина не спешит выдернуть ее.

— Завтра я разыщу толковых врачей. Как решат, так и сделаем. А вечером съезжу к Ирине и все объясню.

— Пожалуйста, устрой маму в больницу. Как можно скорее.

Она прошла к матери, а Владимир долго еще звонил по телефону, договариваясь о врачебном консилиуме. Договорившись, приоткрыл дверь:

— Дина, я пошел...

— Не надо!..

Дина метнулась за ним, но он уже через три ступеньки мчался вниз по лестнице.

— Володя! — отчаянно, на весь гулкий подъезд выкрикнула она. — Володя, вернись!..

Крик заполнил подъезд, замер, внизу хлопнула дверь, и все стихло. Дина постояла, опустив голову и машинально поглаживая перила. Потом вернулась в квартиру, прошла к матери, глянула растерянно.

— Ты что это, доченька? — слабо улыбнулась Елизавета Степановна. — Меня, что ли, хоронишь?

— Зачем же так... — она вздохнула. — Просто Володя... Он без куртки выскочил.

Чем ближе подходил Владимир к материнскому дому, тем все яснее сознавал, как боится предстоящего разговора. Это было странное чувство общей безадресной виноватости, которую он ощутил вдруг, хотя ни в чем виноват не был. Разумом понимал, что не виноват, внушал это себе, но виноватость — не конкретная вина, а проклятая аморфная виноватость! — не проходила, и он отчетливо сознавал, сколь сложным, трудным, а возможно, и бесперспективным будет разговор.

— Так я и знала! — вскричала профессорша, не дав ему договорить. — Ну так я и знала!

— Перестань, мама, что ты знала? Что она заболит?

— Что у тебя уведут мужа, дура! Вот этого осла, что стоит перед тобой. А заодно и квартиру, в которой ты сама его прописала.

Мать и дочь разговаривали так, будто в комнате не было ни Полины Андреевны, ни Владимира. Ирина выглядела растерянной и почему-то испуганной, а теща говорила нарочито пронзительно и в выражениях не стеснялась.

— В больницу ее извольте! И дочку тоже! За компанию!

— Ты тоже считаешь, что необходима больница? — спросил Владимир жену, демонстративно игнорируя тещу.

В тоне его звучало нечто настораживающее, что сразу уловила Ирина. Он задавал вопрос, явно ожидая, как именно она ответит.

— Ты, кажется, так не считаешь?

— Значит, будем играть в благородство, торчать в чужом доме...

— Подожди, мама.

— Чего еще ждать? Чего? Пока старуху пропишут на нашей площади? Ты дождешься. Дождешься, слышишь? А я не желаю больше слышать чужой храп. Не желаю!

— Ради такой барыни я и у Анны Тимофеевны поночую, — не выдержала Полина Андреевна. — Гордая ты не по чину, а по нраву, вот в чем тут беда. Тебе что этого любить, что того любить — все едино, абы удобства свои не разрушить.

— Да замолчите вы! — крикнул Владимир, и женщины сразу примолкли. — Есть только один выход: ждать. Я прошу пять дней. Если за это время Елизавета Степановна не поправится, я сам устрою ее в больницу.

— Как скажешь.

В голосе Ирины звучала обиженная смиренность, но Владимир постарался этого не заметить. Теща молчала, недовольно поджав губы, а Полина Андреевна сказала со вздохом:

— Теперь уж не за одну, теперь за двоих ответственность несешь. Кончились твои шуточки.

Владимир тоже понимал, что шуточки кончились. Не только потому, что знал о состоянии Елизаветы Степановны и видел отчаянные глаза Дины, но и потому, что глаза эти все время стояли перед ним. Они преследовали его по пятам, ничего не требуя: в них словно окаменел крик, последнее «Спаси!», обращенное лично к нему.

Он просил о пятидневной отсрочке, понимая, что это — максимум терпения как его внешне такой покладистой жены, так и вызывающе воинственной тещи. Честно говоря, он не знал, что в данном случае определеннее: тихое соглашательство или шумная защита своих прав. Как бы там ни было, а он мог рассчитывать только на пять дней.

Дина ни о чем не спрашивала, но он видел, что она — на пределе. Внезапная болезнь матери ударила с незащищенной стороны: она очень испугалась не только за мать, но и за себя, за Владимира, за Ирину, ее мать, за Полину Андреевну — за всех, кто был вовлечен в этой благой обман, в эту короткую рокировку, на глазах превращающуюся в рокировку неопределенной длительности. Кроме того, ей уже следовало выходить на работу. Следовало... Что же следо-

вало? Она металась по комнатам чужой квартиры, автоматически улыбаясь, все время контролируя поведение, тон собственного голоса, слова, которые произносила. Мама ничего не должна была знать: это оставалось незыблемым законом ее зыбкого ирреального существования.

— Дина, тебе придется выйти завтра на работу.

— Мама останется одна?

— Мама будет со мной: у меня есть два донорских дня.

Дина послушно пошла на работу, а Владимир пригласил известного кардиолога. Елизавету Степановну подвергли тщательному осмотру и, в общем, сочли ее состояние удовлетворительным.

— Очень важны положительные эмоции, — говорил молодой врач. — Больная легковозбудима, а отсюда вероятность срыва от любой неприятности. Если хотите быстрее поставить ее на ноги, устройте ей праздник.

Вероятно, опытный доктор имел в виду праздник души, спокойствие в семье, заботу и внимание. Но ничего подобного он не сказал, а потому Владимир, привыкший под праздником понимать мероприятие, именно так и воспринял обычную медицинскую рекомендацию.

— Надо пригласить гостей.

— Гости? Каких гостей?

— Я все продумал: гости будут из твоего научного института, поняла? Твой руководитель, директор, одна-две сотрудницы.

— Не надо...

Это вырвалось как мольба. Дина обессиленно опустила на стул, закурила.

— Что не надо, что? Моя мать в курсе, начальницу почты я уговорю, а Ирка...

— Нет!..

Дина выкрикнула: даже мама что-то спросила из комнаты. Выкрикнула, вскочила, отошла к окну; плечи ее судорожно свело, они странно приподнялись, как маленькие, цыплячьи крылья. Владимир помолчал, глядя в эту спину, сказал тихо:

— Ирины не будет, извини. Но вечер-то нужен? Ты же сама понимаешь, что врач недаром упомянул о празднике, что...

Нет, это не мужчины умеют уговаривать — это женщины жаждут подчинения. Не абстрактного, а вполне конкретного: вот этим глазам, этой улыбке, этим рукам...

— Я попрошу Зою. Она очень отзывчивая.

И все завертелось с новой силой. Азартная настойчивость Владимира вряд ли смогла бы убедить Галину Антоновну,

но она думала о Дине. А Зоя, с которой Дина говорила, не поднимая глаз, смахнула слезу.

— Ложь к добру не приводит, Динка. Чем дальше, тем страшней.

Дина подавленно молчала. Зоя вздохнула, обняла вдруг.

— Детей из садика получу, соседке подкину и прибегу. В самом научном платье. И все будет нормально.

И все было нормально, настолько нормально, что об этом званом вечере нечего рассказывать. Ну пили шампанское и чай с тортом. Ну восхищались Диной и Владимиром, старым зеркалом и квартирой, наукой и успехами. Ну Полина Андреевна старалась все время отвлечь больную от научных проблем и толковала о пирогах да вареньях. Ну Галина Антоновна, чуть переиграв, начала вдруг рассуждать о Петре Первом. Ну Зоя, не доиграв, стала плакаться на женскую судьбу. Ну Владимир, заглушая Зою, заговорил об истории и культуре, а кончил тем, что поднял тост за всех женщин вообще, и матерей в особенности, что всем очень понравилось. И разошлись рано; все были весело возбуждены, хохотали, целовали Дину. Владимир пошел их провожать, а Дина начала было убирать со стола, но мать остановила ее.

— Посиди, доченька. Мне завтра уезжать, так Володя сказал.

— Как завтра?

— В семь вечера, что ли? Да ты не волнуйся, после сегодняшней радости я не только что до дома, я до Владивостока доеду. Ведь как любят-то тебя, как ценят — это же счастье-то какое, доченька! Твои-то птички-сестрички дурехи страшные: Инна как окончила ПТУ, так и сидит на своей фабрике, а Лора хоть и в техникуме, а уж больно ленива да вальяжна. А ты, Диночка, всех перегнала, недаром учительница твоя Алина Михайловна — которая по истории, помнишь? — говорила, что глубокая, мол, у тебя натура...

Дина не заорала, не перебила мать, даже не перевела разговор. Она вроде бы слышала, о чем говорила мама, и вроде бы не слышала, потому что в такт жилке билось в виске: «Завтра, завтра, завтра». Еще бы сутки назад она бы радовалась этому, но сегодня могла только ждать. Слушать, как бьется жилка в виске, и ждать, когда хлопнет входная дверь.

Но дверь долго не открывалась, потому что Владимир провожал мать. Она решила идти пешком и всю дорогу повторяла:

— Ну и слава богу. Ну и слава богу.

А возле дома сказала, понизив голос:

— А Диночка-то в тебя, дурака, по-настоящему влюб-

лена. Чувствовала я, что идет к этому, но чтоб так глазищи горели...— она вздохнула.— Уж и не знаю, радоваться мне или слезы лить.

— Радоваться,— сказал он.— Значит, выздоравливает она.

— Не скажи,— Полина Андреевна задумчиво покачала головой.— Ты к дорогой женушке вернешься, а она — ко мне. Ты уж не обижай ее, сынок. Женщина она с судьбой, так хоть заходи к нам почаще.

— Хорошо,— он вдруг заторопился, наскоро поцеловал мать.

— К своим не поднимаешься разве?

— Завтра,— ему очень не хотелось именно сейчас встретиться с женой и тещей.— В девятнадцать сорок помашу Елизавете Степановне, а с вокзала заеду за ними.

«За ними». Не за Иринкой и ее матерью, не за женой и тещей, а — «за ними», и иначе в этот момент сказать не мог. Язык не поворачивался, но Полина Андреевна не обратила на это внимания. Из головы не шел вечер и, главное, Дина. Ее глаза, когда она смотрела на Владимира.

— Ну ступай,— она вздохнула.— Завтра, значит.

Сын побежал, не оглядываясь, торопясь не к жене, и это Полине Андреевне не понравилось. Но жила она в обычной пятиэтажке, и, пока, пыхтя, поднималась на свой четвертый этаж, мысли ее по странной прихоти женской логики свернули на иное направление. Ей трудно давались лестничные марши, но, прожив много лет в подвале, Полина Андреевна не просто любила свою квартиру, а чрезвычайно гордилась ею. «Нет, мы не профессорши,— задыхаясь, думала она.— Не генеральши, не фифочки какие, а рабочие женщины. Мы не при мужьях состоим, и пусть у нас жизнь без лифтов, зато она — наша, а не мужа...» И, рассуждая так, Полина Андреевна позабыла о встревожившем ее поведении сына, а стала думать исключительно о его теще, с чисто женской аккуратностью вспоминая все ее грехи и все свои обиды, и поэтому, когда наконец-таки взобралась на свою лестничную площадку, уже кипела справедливым презрением.

— Шампанское пили,— объявила она с порога, хотя ее никто ни о чем («И вот всегда так, ну, что за люди, а?..») не спрашивал.— Всех наших женщин Диночка к себе приглашала.

— К себе?

В тоне профессорши прозвучало что-то опасное, но Полину Андреевну уже несло.

— Со своей матерью знакомила, так куда же, как не к себе, приглашать? Мать у нее — женщина замечательная, трудящийся человек, одна трех девчонок подняла.

— Ну если так, как Дину, то это высоко!

— Мама, прекрати.

— Ирина, замолчи!

Пока назревал и наливался взаимными обидами этот конфликт, Владимир ехал в троллейбусе. За время его отсутствия Дина все убрала, уложила мать и ждала на кухне. Он вошел быстро, хотел сказать что-то веселое, но наткнулся на ее взгляд и почему-то виновато опустил голову.

— Оказывается, мама едет завтра?

— Я согласовал с врачами.

— А со мной? — Она помолчала. — Извини, я не имела права на этот вопрос. Дай мне, пожалуйста, мамин билет.

С виноватой суетливостью он достал билет. Дина прошла к матери, а Владимир обессиленно опустился на стул. После слов Полины Андреевны он спешил к Дине — не в собственную квартиру, не домой, а именно к ней, к женщине, которая была в него влюблена. А она встретила столь сухо, что сразу выбила из его рук инициативу.

— Я положила билет в мамину сумку, — сказала Дина, вернувшись.

— Зачем? Я же все равно приду...

Дина вдруг странно качнулась. Он не успел встать со стула, как она шагнула к нему, взяла двумя руками его голову и крепко прижала к груди. Не по-матерински — по-женски; чуть шевельнулась, его губы скользнули по платью, сквозь все преграды ощутили грудь и впились, вонзились в нее, соединяя два полюса, две жизни, два сердца, два тепла. Он обнял ее за талию и сразу почувствовал, что она приказывает ему встать и идти. Приказывает, ни слова не говоря, но он услышал приказ и исполнил его. И дверь за ними закрылась.

Дина вновь открыла эту дверь в шесть утра, голышом проскользнув в ванную. Через полчаса она — уже одетая и причесанная — вошла в комнату матери.

— Ты не спишь?

— Ты была у мужа? — Елизавета Степановна подождала ответа, но Дина молчала. — Надо думать о своем ребенке, Дина. Тебе не семнадцать лет, понимать должна.

— Что? — Дина раздвинула шторы, утренний свет залил ее, превратив в юную и прекрасную. — Женщина должна быть счастливой, а понимать... — она пренебрежительно махнула рукой. — Понимать — мужской глагол, мама.

— Думать надо! — сердито сказала мать. — Думать не о счастье, не о сласти, а о будущем ребятишек: им-то сладкого достанется или все папа с мамой съедят? Вот о чем женщина никогда не должна забывать, потому что это ее святой долг.

Не удовольствие получать от жизни, а саму жизнь дарить — вот такая программа у женщины. Здоровье — капитал, его не просто беречь, его умножать надо и детям передавать. А мы разве умножаем? Гранжирим мы его, будто лавочки...

Мама еще долго ворчала, а Дина была счастлива. Так покойно, так тихо ей никогда не случалось ощущать собственного счастья, и это новое ощущение представлялось сокровищем, пред которым меркли все ценности и все радости мира.

— Я заеду за тобой,— сказала она.

Уже следовало спешить на работу, но Дина еще успела проскользнуть в спальню, поцеловать Владимира и убежать от него. А он, сразу проснувшись, наспех проглотил кофе и тоже ушел, тоже пообещав заехать.

А три часа спустя во входной двери по-хозяйски щелкнул ключ и вошла истинная владелица квартиры в сопровождении таксиста, тащившего два увесистых чемодана.

— Вы к Диночке или к Володе?

— К себе самой,— хозяйка сунула деньги шоферу.— Отвезите эту старушку. И зеркало это, кошмар этот,— вон, вон.

Шофер потоптался, намереваясь что-то сказать, но промолчал. Взял старое зеркало в самодельной раме и вышел.

— Что это вы, что? — беспомощно замахала руками Елизавета Степановна, растерянно и недоверчиво улыбаясь при этом.— Это ихний дом, ихний. Диночка — дочка моя, старшая, а Володя...

— Вас разыграли, понятно? Мне очень жаль, но шутка зашла так далеко, что я более и часу не проживу с этой почтальоншей. Слышали бы вы, как она храпит. Где ваши вещи? Такси отвезет вас на мое место. Короткая рокировка, как говорит мой зять.

— Кто говорит?

Подавленная, растерянная, окончательно переставшая что-либо соображать Елизавета Степановна спросила только потому, что уловила едва ли не единственно понятное слово.

— Зять, значит, муж моей дочери,— профессорша уже деловито собирала чужие вещи.— Вы что, в халате поедете? Нет? Так переоденьтесь, у такси, между прочим, счетчик щелкает.

— Зачем вы? — почти шепотом спросила Елизавета Степановна, опускаясь на тахту, потому что ее уже не держали ноги.— Кто вы? Зачем выгоняете? Я не понимаю, не понимаю... Пусть придет Дина. Тут живет моя дочь, она ждет ребенка...

— Динка ждет ребенка? Ой, оставьте, она уж столько раз их ждала...

— Не смеете! — вдруг громко воскликнула Елизавета Степановна, вскочив и замахав сухоньким кулачком. — Вы не смеете так, не смеете! Дина научная аспирантка, а вы... вы лгунья!

— Я лгунья? А ваша Дина знаете кто? Динамит, всей Москве известна. Нас с вами Динамитом никто не назовет, а Динка в этих делах не аспирантка, а настоящий профессор... Что это с вами? Может, валидолчику?

У/подъезда стояло такси, в которое шофер долго пытался записать зеркало. Открывал сразу все дверцы, наклонял, просил прохожих помочь, но все напрасно. Тогда он перетащил негабаритный груз в подъезд, прислонил к стене и поднялся в квартиру.

Здесь было тихо. У дверей на стуле сидела белая как снег и словно бы заледеневшая пожилая женщина, а вторая — та, которую он привез, — стоя на коленях, надевала на ее ноги суконные старушечьи боты.

— Не влезает зеркало.

— И черт с ним. Помогите.

Хозяйка закончила с ботами, подняла Елизавету Степановну со стула. Вдвоем с шофером они одели ее.

— Больная она, — сказал таксист. — Куда же ее?

— Где меня брал, в ту квартиру. Как договаривались.

Елизавета Степановна не произнесла более ни слова. Ей все разъяснили, объяснили и поведали, и, оглушенная, придавленная всем услышанным, она не имела сил даже на слезы.

— Вещи ее возьмите.

Явно недовольный происходящим таксист потащил вещи. Профессорша, вежливо поддерживая, довела до лифта скорбно примолкшую Елизавету Степановну, спустилась в подъезд.

— Счастливо вам, дорогая. А зеркало вечером Владимир привезет.

Елизавета Степановна не отозвалась, не шевельнулась. Когда машина выруливала со двора, сказала глухо:

— На поезд надо.

— Далеко ли?

— Пермь.

— Пермь? — шофер глянул в зеркало. — А билет есть, мамаша?

Елизавета Степановна молча протянула сумку. Таксист притормозил, покопался в ней, нашел билет.

— Точно, Пермь. Ну помчались, мамаша.

Владимир освободился первым. Настроение его было бы почти прекрасным, если бы не смутная неуютность, вызван-

ная безумной ночью. Он радовался, что «короткая рокировка» подходит к концу, но беспокоился, как встретится с Диной и, главное, как расстанется...

Тусклое зеркало в гулком подъезде насторожило его, но он ничего еще не сообразил. А сообразил, услышав рыдания Ирины и гневные вопли тещи:

— Старуха все рассказала, негодяй! Ты допустил, чтобы эта потаскуха залезла в твою постель? Ты нарочно придумал эту скотскую рокировку...

Он хотел уйти от криков, от истерик, но ощутил такую виноватую опустошенность, что ничего не сказал. Теща стащила с него куртку, впихнула в комнату, где отчаянно рыдала Ирина.

— Проси прощения, подлец. На коленях!

Через несколько минут прибежала Дина и спросила отрывисто:

— Где мама?

— У Полины. Иди, иди отсюда, мы знаем все ваши дела.

Хозяйка буквально вытесняла ее, да Дина и не сопротивлялась. До отхода поезда оставалось совсем немного, а впрочем... Ей все стало безразличным — даже то, что скажет мама.

И как на грех, никак не попадалось свободного такси, а частники не обращали внимания на ее отчаянные призывы. Пока поймала машину, пока доехала до Полины Андреевны, пока выяснила, что мама там не появлялась вообще, пока домчалась до вокзала, поезд на Пермь уже скрылся за выходным светофором.

Вот и вся история о Дине. Никто с того дня ни разу ее не видал. Может, она куда-нибудь уехала, может, по-прежнему живет в Москве, а мы просто не догадываемся, что она и есть — Дина, может... Все может быть.



Красные жемчуга

КРАСНЫЕ ЖЕМЧУГА

«Грешно живешь, мать, грешно!.. — сердито кричал муж. — Ты на нас глянь, на нас!..»

Он сидел за столом, но не с торца, не в красном углу, а спиной к окну, и сыновья строго молчали по обе его стороны. Все трое были в гимнастерках, с провальными, невидящими глазами, и рот у отца тоже был черным, провальным, без губ и без языка и открывался будто совсем не для тех слов, которые она слышала.

«Грешно живешь!..»

«Да не то ведь, не то сказать-то хочешь, — шептала она, давясь слезами от тоски и жалости. — Ты землю, землю изо рта-то выплюнь, отец, выплюнь, тогда и скажется заветное. А вы, сыночки, вы чего молчите? Вы отцу помогите, помогите ему. Гриша, Шурка, что же вы-то молчите, что?.. Ай, да вам ведь тоже рты землю забило. Сырую землю могильною... Сыночки вы мои, помогла бы, да где искать-то вас? В каких странах, каких государствах?..»

— И-и-и!..

Вскинулась старуха, ломая тонкий предутренний сон. Пропали муж, сыновья, провальные пустые глазницы, провальные пустые рты. А визг остался.

— И-и-и!..

Каждое утро будили ее этим истощным воплем три раскормленных заматерелых борова. Будили еще до того, как она начинала видеть сны, а сегодня то ли родные привиделись раньше, то ли свиньи запоздали и теперь на-верстывали, голосили на все выселки, на все их Красные Жемчуга. И старуха, кое-как накинув юбку и лица не сполоснув, босиком пошлепала в сени, где стоял бак с приготовленным пойлом. А опомнилась, только когда свиньи с довольным урчаньем и чавканьем начали жрать, отпихивая друг друга крутыми, налитыми салом и силой боками.

Третий раз снились ей муж и сыновья, сгинувшие на бессчетных фронтах войны: отец — в сорок втором под Се-

милуками, а Гриша и Шурка, братья-погодки, один за другим — в сорок пятом в чужих краях за тридцать земель. Всю жизнь снились урывками и порознь, а тут — вместе, и когда это случилось впервой, старуха очень обрадовалась, а второй — запечалилась и всплакнула во сне. Но сегодня дорогой этот сон, это чудом даренное ей свидание с родными не принесло ни радости, ни светлой печали, а принесло тревогу, которая уж и не оставляла ее. И, невидяще глядя на жрущих свиней, не чувствуя ни утренней свежести, ни холода, старуха долго стояла у закута, ощущая смущенной душой непонятное беспокойство. «Господи, да почему грешно-то живу, почему? — почти с отчаянием думалось ей о так ясно услышанных во сне словах мужа. — Да в чем грех-то мой, отец, в чем?..»

Бесконечно задавая то себе, то покойному мужу этот тревоживший ее вопрос, старуха вернулась в избу, умылась, оделась, положила из чугуна в миску холодной картошки, достала хлеб, лук и соль и села к столу. Она уже давно — с той поры, как младшая дочь Светлана вышла замуж и уехала в город, — ничего себе не готовила. Чистила варенную в мундире картошку, макала в соль, закусывала луком и хлебом, долго, старательно жевала уцелевшими зубами, а в голове неотвязно стучало: «За что же он упрекнул-то меня, в чем грех-то увидел? Ведь жили-то как, господи! Никакой бабе такое счастье и не снилось, как мы жили...»

В двадцать шестом, что ли... Да, в двадцать шестом — Шурка маленький был, грудной — еще колхозов никаких нигде не существовало, еще и слова-то такого никто не знал, а ее муж, бывший красноармеец и член партии большевиков, сам предложил организовать коммуну, чтобы все было общим. Собрал бедноту, демобилизованных бойцов, сочувствующих и понимающих, провел митинг, но село было большим и богатым и не приняло этого, а город еще ничем и никак не мог помочь, и решили тогда они, первые коммунары, выселиться, уйти и от старого мира, и из старого мира. И отселились с красным флагом и гармошкой, отстроились на взгорье у речной излучины, и дома у всех были одинаково новыми и одинаково радостными, потому что строили их сообща, дружно строили, всей коммуной, со щами из общего котла. А как отстроили последний дом, объявили праздник, которого давно, ох, как давно ждали и желали, и назвали этот свой первый праздник, что случился у них через два года после отселения, Днем Красных Крестин нового поселка. И начали с красного флага, гармошки и митинга: как назвать? Каждый свое предлагал: кто — революционное, кто — привычное, кто — ласковое, кто — с

шуточкой, а потом поднялся ее муж, первый председатель их коммуны, и сказал:

— В гражданскую войну, в двадцатом годе, наш геройский крестьянский полк поймал вредного попа, который бежать наострился с награбленным народным добром. Три сундука при нем было, и как открыли мы один, так будто ослепли: одежи там лежали церковные, и все сплошь в каменьях такой красоты, какая простому люду и во сне не приснится. И играли те камешки, ровно как наше светлое будущее, почему и предлагаю категорически назвать наши выселки — Жемчуга. А чтоб ясно всем было, что не поповские то жемчуга, а нарядное будущее наше, то добавить обязательное слово «красные». Красные Жемчуга — вот как назовем мы свои новые выселки, чтоб дети и внуки наши жили в денечках радостных и праздничных, как те камешки-жемчуга!

Так и назвали: Красные Жемчуга. И везде-везде — во всех бумагах и картах и на почте так называлось, и приезжающие всегда радостно удивлялись, что такой у них поселок, где каждый дом, как у соседа: жемчуг к жемчугу.

Старуха... да какая она тогда была старуха: не старуха, а молодуха!.. с двумя малыши здесь жизнь начинала, с Гришей и Шуркой, а потом еще двух девок родила — Полю и Свету. Тесно стало в доме: шутка ли — четверо детей, да и сами не стары еще, не запечные тараканы! — но в сороковом году муж первым в районе большой орден получил за бессменную свою председательскую работу, за бойкие дни да бессонные ночи, и местные власти заодно с колхозом решили за этот труд отстроить ему новый дом. И отстроили, и в субботу новоселье закатали на всю округу — сам секретарь райкома приезжал и речь говорил! — а в воскресенье война началась. Мужья ушли первыми, за ними сыновья потянулись, а там и доченьки, если возраст подходил. Уходили люди, а приходили похорожки; вой стоял над Красными Жемчугами денно и ночью, и самой горькой была тогда должность почтальона: Полюшка ее чужим горем опилась, да и своегохватило. Потускнели их Жемчуга.

— Договорились мы с властями, что будет у нас в наших Красных Жемчугах своя советская лавка, — говорил в День Красных Крестин муж на общем митинге. — Будут привозить нам всякие нужные товары, но давайте, дорогие товарищи, дорогие мои братья и сестры, твердо решим, что водки никогда у нас не будет. Царская это отравка, продукт разложения, товарищи коммунары, и пускай ее буржуи пьют! А у нас что ни день, то праздник, зачем же нам водка? Водка тому нужна, у кого праздников нет!

Как же он тогда правильно сказал, муж-то ее: у кого праздник, тому водка не нужна. А в войну не стало праздников, и потекли слезы да водочка, водка да слезоньки.

А Полюшка в сорок шестом померла, и восемнадцати не исполнилось. На чужом да своем горе, на общем да своем труде все жилочки надорвала и зачахла, как цветок. И от всей семьи в четверо детей при отце с матерью оставила война ее да Светку. Мать и дочь.

Господи, откуда же тоска эта да тревога?..

Светка умной росла, старательной: лучше всех школу закончила, и колхоз — это при тогдашней-то нищете! — на свой кошт послал ее в райцентр доучиваться до среднего образования. За питание и жилье деньги переводил и даже два раза в год школьной формой вроде как премировал. И за личные успехи, и за сиротство, и за труды и заслуги ее отца, основателя Красных Жемчугов и бессменного — до самой войны — председателя их колхоза. И хоть многое уже изменилось, и хоть не осталось ни одной семьи, какую бы война не перепахала, а помнили его, уважали и чтили, и на дочь это уважение падало. И Света все понимала, очень старалась, закончила свое образование и вышла замуж в райцентре. А через четыре года мужа в область перевели, и она туда перебралась, навсегда отрезав и родной колхоз, и отцовскую память, и материнскую старость.

А может, из-за Светки муж и говорил ей: грешно, мол, живешь?.. Ах, кабы понять его, безъязыко кричащего ртом, землей забитым, ах, кабы понять... Терзала себя старуха, тыркалась по огромной, пустой, гулкой избе своей, места в ней на находя. И маета в душе давила, и тоска ее грызла, и мысль, одна мысль изводила: в чем грешна-то, в чем, господи?.. А ведь грешна, коли покойники покою не знают и из братских могил ночами встают, сквозь другие тела продираясь.

Думая о словах мужа, так ясно услышанных ею, и о непонятном грехе своем, в котором он ее обвинял, старуха пыталась что-то делать, чем-то заняться, но все сегодня валилось у нее из рук. Только привычное, не требовавшее как бы и самого присутствия ее, а лишь проросших в памяти движений, было ей доступно: она варила картошку для свиней и для себя, рубила сечкой лебеду с крапивой, запаривала пойло в печи — и все, как машина, будто и не она это, и все с тревожной думой: какого же откровения, какого покаяния требовал от нее муж, убитый полвека назад под Семилуками? Мысли эти терзали ее, не отпуская ни на секунду, не давая отдыха, звеня в ней натянутой струной, изматывая и изматывая. «Господи! — в отчаянии простонала

она.— Хоть ты подсказки, в чем грех-то мой, господи!..» И вдруг затихло все в душе ее, замерло в ясном, напряженном ожидании, и она поняла, отчетливо поняла, пронзительно и просто, что ей необходима молитва. Все равно кому — богу ли, святому ли какому, чудотворцу или божьей матери, а только надо, надо не для чуда, а для себя, для своего спокойствия и света совести своей.

Господи, да как же просто все оказалось! Она впервые несмело улыбнулась, впервые присела, впервые оглянулась и увидела, что на улице ясно и солнечно и что гроздь у рябины, которую посадили под окном Гриша и Шурка, давно уже налиты краснотой, а лист пожух и свернулся. Все она увидела и все постигла — прозрачную ясность и тишину осени, вечный покой мира и собственную суетность, шорох пожухлой листвы и свое уходящее время. И еще то, что давно не молилась, с юности, с цвета своего, и что позабыла уже все молитвы. «Это ничего, ничего, — спокойно думалось ей.— Это пустяк, я ведь от чистого сердца, от совести своей, а значит, поймут, если даже и не по правилам. Вот встану на колени и...»

И оглянулась в растерянности. Огромной была изба, гулкой, нежилой, а потому студеной и в самый жаркий июльский полдень, как бывает студеным лесной одичалый ключ. Стол, две лавки, четыре стула, шкафчик, да полки, да огромная деревянная кровать, на которой давно уже никто не спал. Два выцветших плаката на стенах, фотографии под стеклом да четыре Почетные грамоты — три мужа и одна ее. С десятков запыленных книг на полке, старый календарь, несколько пожелтевших картинок из «Огонька», что еще Светка прикрепила, и... И все. Икон не было ни в углу, ни на стенах, ни в сундуках, ни в подполе.

Не было вообще: их не взяли из старой жизни в новые Красные Жемчуга. Не было икон, и не перед чем было молиться, встать на колени, открыть душу свою и получить облегчение. В молитве можно было обойтись без книжных слов, можно было заменить их своими — лишь бы от сердца шли! — но лишить молитву обращения было невозможно. Она вдруг отчетливо вспомнила строгие темные лики, пронзительно глядящие прямо в душу, и поняла, что не успокоится, не найдет себе места, доколе не увидит этих ликов еще раз, не падет перед ними на колени, не поведает им смущения своего. А решив так, не стала тратить времени: надела темную жакетку, строгий вдовый платок и пошла по Красным Жемчугам.

Многое здесь изменилось с послевоенного времени. Ис-

чезли целые семьи с повыбитыми кормильцами, переехали к родственникам одинокие вдовы и матери; кто перебрался в город, кто продал свой дом и ушел неведомо куда; и даже колхоза тут больше не было, а была ферма при совхозе, центральная усадьба которого располагалась в том самом селе, откуда они когда-то уходили с гармошкой и красным флагом. Старуха жила по-деревенски замкнуто, новых соседей не знала и шла сейчас в те три-четыре избы, где еще держался коммунарский дух Красных Жемчугов. И первой на этом пути была старая Тихоновна, когда-то громкая и смешливая старухина подружка.

— Икону?..

В отличие от сухонькой старухи Тихоновна была громоздка, тяжела и басовита. Муж ее погиб все в том же сорок втором, но единственный сын уцелел, отдав войне руку по самое плечо, и бригадировал, пока не спился окончательно и не помер в одночасье. Однако до этого успел жениться (выбор был в деревнях в ту пору — хоть из тридцати!) и нарожал столько, что и по сей день не все еще успели разбежаться по чужим краям и городам, почему Тихоновна и считалась самой счастливой в Красных Жемчугах и была таковой на самом деле.

— Наши с тобой ведь мужики в День Красных Крестин со всех дворов силой иконы собрали, сложили в кучу да и сожгли. Вспомнила теперь тот костер? Все в нем горело — и материнские благословения, и отцовские наставления, и семейные укрепы. Да, подружка. Силой, помнится, наши покойнички — царствие им небесное! — иконки-то из рук рвали, будто у лютых врагов. А оно вона как обернулось: и лба перед смертью перекрестить не на что.

— Не на что, — робким эхом откликнулась старуха.

Тихоновна долго глядела на нее выцветшими, влажными, как у коровы, глазами. Пожевала толстыми размякшими губами, сказала строго:

— А бога-то ведь нет. Нету его, подружка моя, потому как если бы он был, он бы не допустил. Совершенно бы не допустил.

— Чего не допустил?

— А всего этого. Чтоб, скажем, пили. Чтоб воровали. Чтоб все абы как, а себе — хоть рупь, и тот на водку. Помнишь, как мы за твоим-то шли, подружка? Он впереди с красным флагом, а мы за ним с детьми на руках да все семнадцать верст. Идем и поем, поем и идем, и радость такая... Такая... Ты помнишь, подружка, радость ту нашу? Где она сейчас, наша радость, а?

— Где?.. — зазвенело вроде или показалось так старухе,

а только опять она увидела стол, сынов и мужа посерединке с черными, забитыми землей ртами.— Фашист нашу радость стоптал.

— Ну коли один фашист, так тебе и молиться не надо. Коли нашла виноватого, то на тебе и греха нет, зачем же тебе икона?

— Грех? — обмерла старуха.— Стало быть, полагаешь так, что есть он, грех-то?

— Есть,— важно сказала Тихоновна.— Бога нет, а грех есть. И у каждого — свой. Вот ты свой-то грех и отыщи, и тебе полегчает. А бога все одно нет, не верю я, не верю, что мог до такого нас допустить. Сами мы во всем виноваты, нечего на бога кивать: грех есть, а бога нет. Вот как я считаю.

Обе подруги долго молчали, одинаково жуя то ли закаменелые слова, то ли кусочки размягших мыслей и одинаково горестно кивая усталыми головами.

— Помолиться надо бы, хочется мне помолиться,— по-детски беспомощно вздохнула старуха.— Будто горит во мне, жажда будто, и ничего, кроме чистой воды, душа не примет.

— Да, подружка. Брели мы через жаркую пустыню, а куда брели, то и поводырям нашим неведомо. С песнями брели, только где теперь теи песни и теи поводыри? — Тихоновна скорбно помолчала и неожиданно деловито закончила:— К Лукерье зайди. Она всю жизнь хитрюще жила, всю жизнь ужой скользила, так, может, припрятала где-нито иконку, а? Ужой жила, ужой из всех рук выскальзывала, и тогда могла выскользнуть. Уж если кто и мог тогда выскользнуть, так только она.

Лукерья была худой, скрюченной и злощей. Маленькие глазки глядели на все с подозрением: на людей, на скотину, на стены, на само солнце. Она больше не верила никому и ничему, не ждала от других ни доброго слова, ни доброго дела и жила так, словно все кругом только того и желали, как бы половчее обмануть да покруче повернуть.

— Молитву тебе? — злорадно протянула она.— Икону тебе? Бога тебе? И все — тебе? А где же — нам? Раньше-то, забыла, что ли? Раньше-то, прежде-то, при молодых мужиках наших, что орали? А то орали, что все ам да ам, нам да нам. А теперь, значит, другого лазаря запели: мне? А «мне» давно в дерьме, слыхала? Наше все. На-ше. Земля наша, вода наша, сеялки-веялки, закон и правда — все наше. Уря! Ну, жри это «наше», жри, давись, покуда не разорвет тебя. А, невкусно? На чужом горе в рай въехать хотели, а того не скумекали, что в рай ворота узки, вот друг дружку

и подушили. А хочешь знать, почему так все, а? А потому, что нельзя дорогу в рай пожарами освещать. У бога времени много, у него век что миг, а, однако, и он не стерпел да и вдарил. Под самый корешок вдарил: сколько от твоего-то племени уцелело? Один внучок, да и тот дурачок? А у меня и того нету. И таких, как я, почитай, вся Россия. Так икону тебе после этого? Доску гробовую размалюй да и молись на нее, чтоб было кому глаза закрыть да в гроб положить. Или так надеешься, что тебя дочка с зятем из города хоронить приедут?

— Не приедут,— вздохнула старуха.— Тоска меня гложет, Лукерья, такая тоска...

Лукерья зло пялилась маленькими колючими глазками...

— Пойду я, а? — несмело спросила старуха, помолчав.

— Чего? — тяжело очнулась Лукерья.— А, старая? Спасись хочешь? Не спасешься. Нет, не спасешься. И никто не спасется, все ответят. Все!..

Спасись? Нет, она совсем не думала о спасении, да и о собственной ответственности тоже не думала. Ее грызла тоска, горькая и безнадежная тоска старого и никому не нужного на свете человека, разбуженная привидевшимся сном, нахлынувшими воспоминаниями и нетерпеливым желанием выложить перед кем-то, кто поймет и простит, все, что наболело. Вывернуть душу, очистить ее, проветрить, омыть, а там уж и доживать с новым запасом терпения, сострадания, понимания и добра. Не в спасении после смерти тут было дело, а в утолении духовной жажды при жизни, сейчас, как можно скорее. А для этого нужна икона, как свидетель, пред лицом которого не солжешь и не выкрутишься. Нужна икона, истовость и правда без утайки и лукавства, но главное все-таки — икона. Как зеркало, в котором видишь все без прикрас: морщины и седину, дряблость кожи, тусклый взгляд и мешки под глазами, и люди, вероятно, для того и писали их, эти иконы, чтоб они вечно служили зеркалами душ человеческих, переходя из рук в руки от матери к дочери и от отца к сыну.

А их сожгли. Ходили веселые, шумные из дома в дом и с шутками да прибаутками рвали из рук те считанные семейные реликвии, которые пронесли бабы из старого села в Красные Жемчуга в тряпье да за семнадцать верст. Играла гармошка, пели песни, хором кричали лозунги и водили хоровод с частушками вокруг костра, в котором корчились божьи матери, спасы нерукотворные и крестьянские заступники Николы: «Сеялка-веялка, молотилка-трактор! Сеялка-веялка, молотилка-трактор!..»

А первой продавщицей была учительница начальной

школы, открытой в Красных Жемчугах одновременно с новой лавкой, Мария Сергеевна. Она очень этого не хотела, краснела и отказывалась, но ее уговорили как шибко грамотную. Временно и на общественных началах. Эта Мария Сергеевна и учила ее детей: Гришу и Шурку, Полюшку и Светку. А своих у нее не было, муж пропал без вести в сорок третьем, и старая учительница доживала свой век в маленькой квартирке при школе, с трудом передвигаясь на распухших ногах. А школы уже не было, в ее здании располагалось общежитие механизаторов, а десяток ребятшек, что оставались еще в Красных Жемчугах, возили теперь машиной в старое село.

Вспомнив об учительнице, старуха вдруг засуетилась, потому что давно не навещала, а учительница была сильно плоха. Да заодно и поговорить хотелось, и старуха, не перекусив толком, натянула жакетку и пошла, посеменила, с горечью размышляя, что и такая вот забывчивость друг друга и есть грех, и совсем не перед богом, а перед людьми и, главное, перед собой. Перед совестью своей, что точила ее с утра, как червь.

— Да, да, совесть,— задумчиво подтвердила учительница.— Толстой Лев Николаевич считал, что бог есть совесть и что полной душевной гармонии следует добиваться не с помощью церкви, а посредством праведной жизни. И из всего Евангелия взял пять постулатов: не гневись, не блуди, не клянись, не противься злему, не воюй. Как будто в этом ожесточенном мире можно обойтись проповедью и личным примером. Нет, правильно сказал наш поэт: добро должно быть с кулаками.

Мария Сергеевна говорила много, трудно, с тяжелой одышкой и никак не могла остановиться. Она жила совершенно одна уж много лет, за стеною в бывшей школе вместо бушующей детской жизни со всеми страстями, слезами, смехом, озорством и шумом рождались совсем иные шумы в свинцовых водочных парах, а старая учительница могла лишь выползти на крыльцо в теплые вечера.

Запас невысказанных слов все рос и теперь прорвался естественно и облегченно.

Старуха слушала с покорным терпением, хотя ничего не понимала. Она не знала, кто такой Лев Толстой, а уж о его учении и слыхом не слыхивала, да и не разобралась бы в нем, если бы и попытались объяснить. На время она вообще перестала слышать голос учительницы, а потом спросила, прерывая счастливое и самозабвенное бормотание:

— Чего это я не пойму, Мария Сергеевна, зачем же добро кулаки? Чего это я не пойму никак...

— Для борьбы,— тотчас, хотя и с некоторым раздражением, откликнулась старая хозяйка.— Необходимо защищать свои принципы, свою правду всегда и везде, а не пасовать перед...

— Что же это за правда, коли она сама себя защитить не может? А уж коли кулаки в ход, то при чем тут правда? Ведь кулаками и неправду вколотить очень даже просто, очень даже, Мария Сергеевна.

— Это в тебе христианское начало говорит, христианское,— уже сердясь и тыча пальцем, зачастила учительница.— Мы создали абсолютно новое творческое учение, которое вызывает лютую злобу наших закоренелых врагов, и в этих исторических условиях непримиримая борьба...

И старуха неожиданно вздохнула:

— Помолиться бы тебе, Мария Сергеевна. Глядишь, и полегчало бы на душе, отмякло бы все в ней.

Сказала, а сама испугалась: подумала, что обидела учительницу, что рассердится та и начнет отчитывать. Но Мария Сергеевна не закричала, не выругала, а, помолчав, улыбнулась:

— Странно, странно. Глубоко, значит, сидит в тебе старое, очень глубоко, хотя муж твой, между прочим, был первым коммунистом и основателем Красных Жемчугов. Правильно, значит, твоих родителей: из села — да на перековку. А внук твой... ну, Светланы сын.

— Внучек-то? Ларик.

— Ларик этот твой тоже заражен. Гены. В прошлом году, когда тебя навещал, ко мне заглянул и все допытывался, у кого тут иконы могут быть. В тебя пошел, не в деда: иконы его, видите ли, интересуют...

Об иконах внучек спрашивал, иконами интересовался?.. Старуха не знала об этом, новость была ошеломляющей, и, задавая последний корм орущей, хватающей, жрущей, чавкающей ораве, она неотступно думала о Ларике. Об единственном внуке своем, последнем зеленом листочке... Конечно, Светлана могла бы еще рожать да рожать: молода, здорова, квартира есть, муж аккуратный и с положением, достаток, какой старухе и не снился-то никогда за все времена. Трижды она к дочери приступала («Чего не рожает, доченька? Рожай, покуда силы в тебе...»), а потом зареклась, потому что ответ был всегда одинаков:

— Это ты в нас счастье видела, а я — в другом. Культура возросла, мама, и уважают нас теперь не за детей, а за общественно полезное дело. Я это поняла, родила одного для здоровья и буду честно трудиться на общее благо. И так все, мама, не я одна. Жить надо в полное удовольствие.

Полное удовольствие — квартира, машина, цветной телевизор и обязательный сентябрь у теплого моря. Старуха никогда у моря не была, плохо представляла, что это такое и зачем к нему надо ездить каждый год осенью, но и дочь, и зять, и внук только улыбались на ее недоумения. И зять — самостоятельный, представительный, которого она всю жизнь звала только по имени и отчеству — Эдуардом Леонтьевичем, — говорил покровительственно:

— Отдых, мамаша, он с культурой человека связан. Кому — водки бутылку да сутки сна, кому — пятипудовый рюкзак да тайга с комарьем, а кому — и все блага цивилизации.

А Ларик добавлял:

— Сочи-бич, бабулька, как в лучших домах!

Сочи-бич было еще непонятнее моря, но самой загадочной оказалась новость, открытая Марией Сергеевной: Ларик, оказывается, искал иконы. И старуха полночи ворочалась без сна, размышляя о том, что внучек ее тоже, видно, мается душою, жаждет откровения и покоя, если уж всюду ищет икон, как она сама. Ей было жалко его и жалко себя, и она два раза поплакала, но слезы не принесли облегчения. А под утро вдруг поняла, что должна сделать, испугалась собственной смелости, но все же твердо решила исполнить задуманное.

Накормив свою вечно голодную ораву, старуха снова кинулась к Тихоновне: без ее помощи невозможно было осуществить замысел, пришедший в голову среди ночи.

— Ладно, покормлю твоё стадо, — согласилась Тихоновна. — Только за это мое одолжение ты мне чаю привези. Я уж полгода как чаю-то настоящего не пила.

— Привезу, подруга моя, непременно дело привезу.

— Ох и заругают тебя! — вздохнула на прощанье Тихоновна.

Но старуха и не расслышала этого прощального вздоха. Идея, которая внезапно осенила ее, была проста: поехать в город и попросить внука помочь достать иконку.

Она бывала в городе ежегодно, а причина заключалась в том, что в середине декабря к ней в Красные Жемчуга непременно приезжал зять — иногда с Лариком, чаще один, но всегда с остро отточенным немецким кинжальным штыком в чемодане. Этим штыком он самолично колот откормленных свиней, умело разделявал туши, а потом пристойно пил три дня под свежую убою. Он ценил весь процесс — от неистового предсмертного вопля до жареного ливера, — но колоть все же любил больше всего. Спозаранку, когда еще только кипятилась вода, заготавливались тазы и ведра, он пребывал в приподнятом настроении, напевал,

подправлял на оселке штык и шел в закут, шагом торжественным и неспешным. И колот артистически, с одного удара пронзая свиное сердце; ловко подвешивал тушу на балку, перерезал горло, спуская кровь, и начинал азартно, с почти чувственным наслаждением разделять, ловко швыряя по тазам и ведрам ливер, сало, куски мяса. В этот момент бесцветные глаза его словно загорались изнутри, окровавленные руки работали с вдохновением и точностью хирурга, и ликующий смешок, похожий то ли на страстный вскрик, то ли на довольный клекот, сам собой рвался из груди. Работал он без перерыва и помощников до изнеможения, но не покидал закута, пока не заканчивал разделки. Потом шел в истопленную тещей баньку, долго парился, возвращался тихим и умиротворенным и выпивал в три приема бутылку под свежий ливер. А на следующий день все повторялось, и так как старуха ежегодно выкармливала троих, то все и укладывалось в три дня невероятной работы, невероятного торжества и невероятного наслаждения. А потом мясо грузили в «Ниву», зять сажал тещу в машину и вез в город, где она и продавала свежую свининку на рынке аккуратно перед самыми новогодними праздниками. И жила у дочери, пока не распродала всего, после чего ее отправляли назад на машине, в которой заодно подбрасывали и корм на будущую партию: жмых или комбикорм, гнилую муку или отруби, заранее насушенные сухари и все, что только удавалось достать. Неделю, а то дней десять старуха отдыхала, а потом зять привозил новую тройцу розовых, визжащих поросят, которым через десять-одиннадцать месяцев надлежало стать предметом рыночной торговли, и цикл начинался заново. И все к этому привыкли, все в это втянулись; старуха выкармливала, зять колот, дочка где-то работала, Ларик где-то учился, а теперь, как вдруг выяснилось, затосковал по ликам святым.

Собралась старуха быстро, да и что было ей особо собираться: не невеста, не молодка, да и нарядов-то — ровно один, в котором на рынке торговала. Ей очень хотелось привезти хоть каких-нибудь гостинцев последней своей родне, но в огромном пустом ее доме давно уже ничего не водилось, кроме того, без чего невозможно было обойтись в хозяйстве. Она прекрасно знала об этом и все же зачем-то рылась в сундуке, перебирая старое, никому не нужное тряпье. На самом дне под тряпками лежала деревянная шкатулка, которую когда-то — давным-давно! — сделал ей, невесте, ее будущий муж: там хранились редкие письма с фронта — пять от мужа да по два от сынков, похоронки, какие-то старые справки, бумажки, документы, осовавиахи-

мовский билет Шурика и орден Отечественной войны мужа, который вручили ей в сельсовете на вечное хранение уже после войны. И сейчас, наткнувшись, развернула и долго глядела, потому что вспомнила вдруг сон, безгласые, забытые землю рты и черные провалы вместо глаз. Орден был ее единственной ценностью, и старуха ясно представляла себе и то, что это ценность, и то, что она у нее единственная. И что если ее украдут, пока она будет в городе, то украдут не орден, не вещь, а саму память о муже, реликвию, нечто столь же святое, как икона. Старуха завернула орден в тряпочку и спрятала на груди под кофтой, будто нателенный крест, который ее заставил снять собственный муж еще в те времена, когда жег последние иконы.

С утра зарядил дождь, и старуха добиралась от Красных Жемчугов до родного села долго и тягостно. Сперва ее подвез тракторист, ехавший на молочную ферму. Далее поплелась пешком, а дождь не утихал, и она порядком промокла, когда ее нагнал грузовик.

— Садись, мать!

Шофер оказался пожилым, добродушным и разговорчивым. Был он из местных, из села, но старуха его не знала, а он быстро выяснил, кто она и откуда. И почему-то очень обрадовался:

— Значит, это твой бедноту на выселки увел? Ну, история, нам об этом еще в школе рассказывали! И все мужики в войну полегли? Вот оно, значит, как дело-то в Жемчугах обернулось. Что же, мать, до автобуса еще часа три, никак не меньше, так я тебя пока к своей мамане отвезу. Обсушишься, обогреешься, чайку попьешь.

Шоферская маманя оказалась помладше старухи, и старуха ее не помнила. А маманя старуху помнила, и мужа ее помнила, и митинг тот, на котором беднота решила отселиться ради новой жизни, и сам исход их из села — с красным флагом, гармошкой да песнями: тогда она, сегодняшняя шоферская маманя и бабка двоим внукам, была девчонкой-подростком, все замечала, все видела и все уложила в памяти своей.

— Помнишь, твой-то сказал, что революция, мол, всех поменяла и теперь тот хозяин, кто вчера рабом был, а тот, кто был хозяин, тот сегодня раб? А я помню, все помню! И еще так: это рабы, говорил, ждут от жизни милостей, а мы хозяева, мы сами возьмем милости эти. Вот постановим, что через пять лет будет у нас счастливая жизнь, и выполним такое свое постановление.

Уласканная, согретая и обсушенная, старуха наслаждалась чаем и воспоминаниями о собственной молодости. Ее

память, надорванная четырехкратными потерями в войну, многое уже утратила, многое в ней истерлось и померкло, а у хозяйки голова была ясной, вспоминала она с удивленным восторгом, и старуха испытывала теплую благодарность и радость на душе.

— И тебя помню, ой помню! Все бабоньки в красных платочках, а ты — в белом. Под красным флагом шла рядом с мужем, ребеночек на руках, и пела звончей всех, а платочек на тебе — белый.

— Белый, белый, точно ты говоришь, милая, — беззубо улыбалась старуха. — А знаешь, почему белый-то? А потому, что забежала я к отцу своему, к батюшке родному, благословения на уход получить, а он меня за волосы да по всей избе, да по всему двору! Уж не знамо как вырвалась простоволосая из родительского дома: а косынка красная да полкосы там и остались, в руках у батюшки. И больно мне, и совестно, и реву я, и задами к тетке своей, к Степаниде Мироновне: помнишь ее? В проулке за лабазом купца Дергунова жила, мужа у ей в гражданскую убили? Вот она мне свой платочек-то и дала. Драную батюшкой родным голову покрыть.

— Ай, помню Мироновну, помню! — обрадовалась хозяйка и даже руками всплеснула. — Она все песни знала, и голос у нее был звонок, и ее на все свадьбы приглашали. И на моей она тоже песни играла и глядела, чтоб все по закону было, как положено, и по обычаю.

— Вот, вот, она самая, тетка моя, — бормотала старуха, улыбаясь и утирая обильные слезы. — Вот, вот, значит, белый платочек...

Обсушили, обогрели, чайком напоили, и старуха три часа тряслась в автобусе с улыбкой. Дождь моросил, грязь под колесами хлюпала, из ухабов фонтанами била до самых окон, небо серое и низкое, и ветер, и дорожка районная — только зубы поспевай считать, у кого они есть! — а старуха улыбалась до самой станции.

Правду сказать, так не дальний путь и не пересадки ее беспокоили. Для нее все было простым и естественным, и никакие сложности жизни, никакие трудности бытия и быта не могли ни испугать, ни насторожить, ни даже удивить ее. И боялась она не встречи с ними, с трудностями, а встречи с «самим». С мужем единственной дочери, с отцом единственного внука, с зятем Эдуардом Леонтьевичем, который с таким виртуозным мастерством, с таким восторженным наслаждением колот и разделявал свиней. И очень страшилась предстоящей встречи и особо — объяснений, как смела покинуть свиней, которых откармливала по лично составленному «самим» рациону и режиму.

— Наши хрюши на месяц раньше государственных созревают! — восторгался он, заедая водку жареной кровью. — Так держать, мамаша!..

Когда села в поезд, тревога достигла вершины. Старухе уже не сиделось и не дремалось: она ерзала на жесткой скамье, вздыхала, вставала, ходила, снова садилась, беспокоя попутчиков. Она терзалась и ехала, ехала и терзалась, до ужаса пугаясь предстоящей встречи с «самим». И чем ближе подъезжала она к городу, тем все нетерпимее становилась тревога и все большим — ужас. И, приехав, старуха два часа сидела на вокзале, чтобы уж наверняка «сам» оказался на работе.

— Ты что это, мам? Погорела или хрюшки заболели?

Светлана была стройной полноватой женщиной, ведущей тяжкую войну с весом, талией, бедрами и модой. Любила ходить в гости, принимать у себя, вкусно готовить и долго, уютно пить чай, а потом бегала в группе здоровья, маялась в сауне, страдала в руках массажистки, но непременно упаковывалась в тот размер, который считался оптимальным для ее возраста. Этой борьбой, по сути, и была заполнена вся ее жизнь, потому что должность методиста при Доме медработника являлась скорее престижной, учитывая свободный рабочий день, неясный круг обязанностей и маленькую зарплату. Кроме того, это был если не ход, то лаз к медицинским светилам, способ добывать дефицитные лекарства и путевки на вождеденное Черное море; правда, у мужа в этом смысле имелись более весомые возможности, но одно не только не исключало другое, но и создавало различные варианты: «Иван Петрович, дорогой, не желаешь ли с нами на солнечный юг косточки погреть?» А Иван Петрович — гастроном, ателье мод или станция техобслуживания. Все свершалось по законам круга, который они считали своим и который их считал своими: визиты, звонки, поздравления, шутки, подарки, одолжения, совместные поездки на курорт, на рыбалку, на дни рождения, на пикники с шашлыками и так далее и тому подобное...

— Свины заболели? Подохли? Пали? Ну, чего молчишь?

— Нет, Светочка, нет, слава богу, слава богу все.

Прочастила старуха, пролепетала и примолкла, потому что до сей поры, до свидания с дочерью, так и не подумала, что же сказать-то ей с порога, как объяснить необъяснимое: почему бросила свиней и вдруг, без разрешения, без предупреждения даже прикатила в город. «Здрасьте!» Выкладывать сразу про икону, что казалось таким простым и естественным дома, здесь было явно не к месту.

— Измучилась я с головой, доченька, прямо спасу нет.

Все кружится, все плывет, особо по утрам. Может, думаю, порошков мне каких?

— Из-за этого хозяйство бросать да ехать с пересадками? — недовольно проворчала дочь. — Могла бы и в письме описать свои кружения, а я бы выслала что требуется: мне же только по телефону позвонить, и всю аптеку на дом принесут. Ну да ладно, раз уж приехала. Поди в ванну залезь, погрейся, а потом чайку попьем, у меня тортик остался. Погоди, халат дам, полотенце. Спасибо скажи, отгул у меня сегодня, а то поторчала бы ты на лестнице!

Светлана была недовольна ее самовольством, но не до крика, и старуху это ободрило. На нее всегда все ворчали, и она уже свыклась с этим ворчаньем. Смирненное молчание ее действовало не то чтобы умиротворяюще, а скорее, как прекращение подачи горячего, огонь угасал, и наступала тишина. И старуха тихо радовалась, что открыла такой простой и безотказный способ восстановления мира в собственном доме, способ, в основе которого лежало все то же терпение. И, приняв ванну с дороги, покойно сидела за кухонным столом, чинно и неспешно пила чай, пробовала торт и конфеты и слушала свою ненаглядную и последнюю, которая к тому времени уже отошла и от удивления, и от неудовольствия.

— Трудно стало жить, мама, ой как трудно, вы там, в деревне, и не представляете себе. У моего какие-то неприятности, начальника сменили, что ли: разве ж он скажет? Он все про себя переживает, ходит да молчит и даже телевизор не смотрит, а по ночам вздыхает и ворочается и меня отталкивает, представляешь? А уж это признак верный, что служебные у него неприятности. Да и у меня на работе строгостей навели — ну, будто у станка я, ей-богу! Представляешь, на минуту отлучиться нельзя: изволь расписываться в книге, во сколько явилась да на сколько отлучилась. А нервы мои, которые я на них потратила, так это никто не считает. Это так, в порядке вещей: Светочка, сделайте это, Светочка, сделайте то, Светочка, организуйте выставку, Светочка, проверните юбилей. И Светочка вертится, Светочка проворачивает, Светочка ночей не спит, а им, видите ли, жалко, что я на часок в магазин сбегая. Вот жизнь проклятая, не то что у вас, в деревне...

Старуха не могла оценить всей горечи этих жалоб, слушала вполуха, но одно уловила, потому что царапнуло ее: «у вас, в деревне». «У нас, в деревне,— ей все время хотелось поправить,— у нас, Светочка, ты же деревенская, то же родина твоя, зачем же ты так-то, будто чужая ты нам?»

— Тебе учительница Мария Сергеевна кланяться велела,— невпопад сказала она.

— Ну и что ей надо?

— Ничего.

— А-а. Жива еще? Старая ведь, страх.

— Ну как? Маленько меня помлаже будет. Я уж бабой была, родила уж, а она еще только...

Светлана весело рассмеялась:

— Ты, что ли, молодая? И ты, как говорится, прогноз — склероз да на воз. Остроумно, правда? Это у нас знакомый один так говорит, невропатолог. Заметный медик, перспективный. Чаю еще налить? Ты торт бери, пока дают, в деревне такого ни за какие шиши не купишь. Чаек, между прочим, из настоящей индийской банки, мне по знакомству достали. Теперь ведь давно уже не покупают, теперь только достают, потому что то, что можно купить, то нельзя носить, а что хочется носить, то нужно доставать. Дефицит, слыхала Райкина? Ох и наживаются же на нем некоторые, ты, мама, и представить себе не можешь! Что там ваши деревенские лавочники да кулаки — мелочь пузатая, им такие доходы и не снились, как у наших у некоторых...

Заверещал телефонный звонок, и Светлана бросилась в комнату. А старуха обиделась, но совсем уже не на то, на что прежде, не за свои Красные Жемчуга, а на то, что Светлана, дочь единственная, сказала про ее возраст да еще смеялась при этом нехорошо.

Светлана не возвращалась, время шло, и старуха помаленьку успокоилась. Слов из комнаты не доносилось, но тон слышался, и по этому тону она поняла, что дочь виновато оправдывается. Старуха допила чай, помыла посуду и со стола убрала, когда Светлана явилась расстроенной и озлобленной. Молча достала сигареты, прикурила, села напротив и стала глядеть сердито. Явно ждала, чтобы ее спросили, а она бы в ответ могла выкрикаться; старуха это поняла сразу и спросила, хотя ей страсть как не хотелось ни о чем спрашивать:

— Сам звонил?

— Сам, сам! — с подготовленной обидой закричала дочь.— Он своего нового завсектором в ресторан еле-еле уговорил, а тут тебя нелегкая принесла! Ну что мне с тобой делать, что? И назад, в деревню вашу вонючую, не отправишь, и здесь никого из родственничков. Может, в Дом медика тебя, а? Там сегодня лекция...

— Лучше я, дочка, тут посижу,— вздохнула старуха: резануло ей слух «вонючей деревней». — Пугливы мы, стало быть, деревенские, куда уж нам на люди-то.

Но дочь не слышала, да и не слушала ее. Моложавое, ухоженное, упитанное кремами лицо ее словно осело, словно состарилось вдруг, на глазах, а всегда старательно приподнятые уголки губ горько опустились. Не сказав ни слова, прошла в комнату; там было тихо, и старуха, любопытствуя и чуточку пугаясь за дочь, заглянула через открытую дверь: Светлана сидела перед телефоном, опустив плечи и как-то безнадежно ссутулившись.

— Ты что это? — спросила старуха, входя. — Может, случилось что, беда какая?

— Вот, — Светлана потыкала в телефон. — По телефону через приятелей общаемся — красиво, да? Вот до чего родной сыночек довел.

— Да неужто?

— А из-за чего все началось, знаешь? — не слушая ее, продолжала дочь, и в голосе ее слышались слезы. — Поначалу, как в институте он начал учиться, все нормально шло, обыкновенно, как у людей: ну, приятели там, магнитофоны эти, диски, девочки знакомые, танцульки, в кафе когда сходят или дома пошумят. А потом вдруг — на тебе, задумался! Старых друзей всех — побоку, курить бросил, молчаливый стал, нервный какой-то. Раз спрашивает: вы, говорит, как, консервы или еще хоть что-то живое в вас осталось? Ну, отец, конечно, на смех все перевел, на шутку: мы, говорит, тебя, дурака, одеваем, обуваем, кормим да поим — что может быть живее? А сынок, представляешь, мам, берет из серванта вот этого набор хрустальный — шесть фужеров и шесть рюмок в фирменной коробке — да как шмякнет его об пол! Звон, брызги, осколки! Окаменели мы, а он и говорит: ну, говорит, докажите, что вы — люди. Ну, отец, конечно: сейчас, говорит, я тебе докажу. И ударил. Раза два, что ли, или три.

— Ударил, значит, — повторила старуха, словно уточняя.

— А наш отец как бы поступил, если бы Гриша или Шурка дорогое что-нибудь нарочно об пол треснули?

— А что у нас было-то, кроме совести?

— Ну, знаешь, это все демагогия, все в глаза этим тычут, вот и сын тоже. Ну и получил, чего заслужил, так хоть прощения попроси, правда? А он ни словечка не сказал, только побелел весь, повернулся да и ушел. И полгода глаз не кажет: если и забежит на минутку, когда отца дома нет, схватит свои книги — и тут же за дверь. Даже со мной не говорит: «да», «нет» — вот и весь его разговор с матерью. Где живет — неизвестно, где спит — неизвестно, как учится — тоже неизвестно. Да что там: что ест, и то мне, родной матери, неизвестно! Телефон какой-то странный дал и велел

по нему только одно говорить, если я его увидеть захочу: когда отца дома не будет. Представляешь? И я говорю. Говорю!

Она поспешно, точно боясь передумать, набрала номер. Он оказался занятым, но Светлана упорно набирала его раз за разом, пока не прорвалась.

— Это кто, Толя? — голос ее сразу же сделался медоточивым. — Извиняюсь, это сын мне ваш телефон... Что? Да-да, Ларик, можно его позвать? Нельзя? А почему нельзя? А вы скажите, что мать просит. Все равно не может подойти? Ну, хорошо, хорошо, вы передайте тогда, что бабка его приехала, а нас с отцом весь вечер дома не будет. Не забудете? Значит, никого не...

Видимо, там положили трубку, потому что Светлана оборвала разговор. Глянула на старуху злыми глазами:

— Не может подойти, когда мать просит, видела?

Дочь говорила что-то, но старуха уже не слышала. Она вдруг как бы очнулась, когда заговорили о внуке, который где-то там учился, что ли, а тосковал по иконам, по чистоте и откровению, по спасению души своей, как она поняла со слов старой учительницы Марии Сергеевны.

— Ничего не признает и никакого уважения не имеет ни к старшим, ни к дому, ни к должности,— продолжала тем временем Светлана, и в самоуверенном тоне ее появились нотки не столько горькие, сколько растерянные.— А Ларька за ней как нитка за иголкой: Дашка да Дашка. А в Дашке, как говорится, ни кожи ни рожи: тоща да так вежлива, что прямо хоть вой. «Извините», «пожалуйста», «будьте так добры» — совсем мне парня испортила...

Не переставая ворчать, дочь распахнула шкаф и теперь металась от него к большому зеркалу и обратно, прикидывая то очередной костюмчик, то кофточку, то платье. А старуха и не пыталась вникнуть в дочкины ворчанья про внука и неизвестную ей Дашку, но радовалась, потому что эта общая, женская, семейная, родственная неприятность сблизила их, как давно уж ничего не сблизало. Дочь, занятая подбором вечернего наряда, перестала напускать на себя важность и значительность, стала по-бабьи жаловаться на сына и его новую подружку, превратившись в нормальную, в меру раздражительную, в меру усталую женщину, мать, жену и хозяйку. И старуха поняла, что все усиленные подчеркивания «вашей деревни» — все напускное, чужое, нахватанное. И поначалу старуху обрадовало, что эта городская пена, газировка эта не дала корней и ростков, но потом подумала, что и прежних-то, деревенских корней в ее Светлане нету более, и сильно огорчилась, потому что дочь представилась

совсем уж перекасти-полем, совсем уж вырванным из земли кустом, обреченным на гибель безо всякого проку. С дочери мысли ее перекинулись на зятя, на «самого», столь самозабвенно коловшего свиней, и в нем она тоже не нашла ни единого корешка, как у камня, не способного дать продление жизни, или выкорчеванного пня, обреченного на медленное гниение и распад. И только Ларик, внучек ее, представлялся укоренившимся, устойчивым, способным думать не об одних лишь удовольствиях и приморском отдыхе, но и о душе. И поэтому она очень ждала Ларика и немножко побаивалась какой-то Дарьи, за которой, по словам дочери, он ходил следом, как телок.

Но тут приехал «сам». Один: гость задерживался на работе, и за ним еще предстояло вернуться. Эдуард Леонтьевич был очень возбужден, непривычно суетлив и озабочен, что не помешало ему, однако, ворваться в кухню весьма агрессивно:

— А рацион? Режим? Откорм? Ты что, мамаша, стронулась-сдвинулась? Почему все бросила, на кого? Подумаешь, голова у нее кружится! У всех голова кружится, а мы, между прочим, работаем. И себя не щадим. Завтра же порошки получишь, и давай к свинкам. К свинкам, мамаша, к свинкам, не срывай мне процесс. Я, понимаешь, посильно помогаю выполнять Продовольственную программу, а ты дезертируешь с трудового фронта. Немедленно назад, поняла? Светлана, добудь все лекарства, проконсультируйся с кем требуется, — и на вокзал. На вокзал, мамаша, на вокзал без промедлений и задержек. Животину, понимаешь, любить надо не на словах, а на деле. Так что в декабре, мамаша, увидимся, а поужинаешь сегодня одна. Ты уж не обижайся, сама понимаешь, какая у нас ситуация и какого ответственного товарища угощаем. Светлана, я вскорости заеду, чтоб готова была, как штык, понимаешь. А еще лучше, если к подъезду спустишься, чтоб такси зря не стояло. Лады?

Ринулся к дверям, а старуха — возьми да и спроси:

— А Ларик как же теперь?

— Что? — хозяин остановился. — Я в его возрасте, знаешь, дрова на станции грузил, а он с жиру бесится. А хозяин здесь я, понятно? И пока он прощения не попросит...

— А коли в деда он? — вздохнула бабка. — Которые в деда, такие не попросят.

— Ничего, и таких заставим. Экономически прижмем, чтоб и не пикнули, поняла, старая? И все, и не встревай в наши дела!

И умчался, дверь за собою защелкнув.

— Хлопотун, — сказала старуха; тон был нейтральным:

понимай как хочешь. И добавила, помолчав: — Эдуард Леонтьевич свиной колоть большой спец. Приехала бы, поглядела.

— Это в декабре? Да ты что, мам, соображаешь? Последний месяц: творческие отчеты, научные дискуссии, встречи по интересам. Это же все организовать требуется, провести на должном уровне, а кто проведет? Светочка проведет: кого упросит, кого умаслит, а перед кем и глазами поиграет. Действует! Сразу: «Светочка, Светочка!..»

Светлана гордо посмеялась, тряхнув в меру подкрашенными, в меру подвитыми волосами, до сей поры еще пышными и красивыми. А старуха глянула удивленно:

— Это, стало быть, ты у них — Светочка? Бабе к полста годам, а все — будто девчонка. Так вот и кличут — Светкой?

— Светочкой, а не Светкой,— несокрушимо улыбаясь, поправила дочь.— А возраст для настоящей женщины — миллион загадок. Я такое наобещать могу, что никакой девчонке и в голову не придет, а ученые, мам, они все дураки страшные в этом смысле. Вот мой Эдуард, к примеру, мужик! Его на глазках не проведешь, он всякой бабе цену знает. А профессора всякие...— она весело расхохоталась.— Лопухи. Уши развесьят, губы распустят, и делай с ними, что требуется по обстоятельствам.

— А что требуется? — спросила старуха с некоторым стеснением.

— Да не то, что у вас там на сеновале, не то! Я своему не изменяла и не изменяю, надо очень. А если ученый, допустим, из Норвегии приехал, должна я его уломать перед коллегами с отчетом о поездке выступить? Обязана, мне за это деньги платят, а как я это проверну — моя забота. Служба у меня такая, мама.

— А чего о тебе думают? — вздохнула старуха.

— А что обо всех женщинах, то и обо мне. Обо мне даже лучше, потому что я со всеми кокетничаю и на виду, не то что некоторые.

— Светочкой, значит, зовут,— зачем-то еще раз уточнила старуха и вздохнула.— А мне твой отец и братья часто снятся. Будто, значит, сидят они и молчат, а глаз у них нету.

— Мистика это, мама,— дочь тоже вздохнула.— А прошлого Девятого мая... Нет, седьмого, на вечере Дня Победы, обо мне директор нашего Дома медиков говорил. Что я — солдатская дочь и солдатская сестра, и потому я так ответственно отношусь к своим обязанностям.

— О тебе, значит, говорили? Это хорошо. А об отце, о братьях твоих Грише да Шурке?

— Ну откуда кто о них знает? Это я в своей автобиографии всегда пишу, что солдатская дочь, что потеряла на фронте отца и обоих братьев.

Продолжая без умолку болтать, Светлана сосредоточенно, без спешки и суеты занималась собой. Оделась, сама себе со вкусом и любовью сделала эффектную и очень к лицу прическу, умело наложила тон, подвела глаза, подкрасила реснички и губы. Посмотрелась в зеркало, что-то подправила, победно глянула на мать.

— Ну, как я тебе нравлюсь?

— Красивая ты баба,— с гордостью за нее улыбнулась старуха.

— Баба! — недовольно фыркнула дочь.— Скажешь тоже. Не баба, а цветущая женщина. Бабы — это которые навоз вилами ворочают, а женщина — высшее творение природы, как у нас один профессор говорит. Вы, говорит, Светочка, венец природы, высшее ее творение. Чудак!

— Почему же чудак? Это ведь ты — чудак,— тихо сказала старуха, ощутив вдруг ранящую обиду за дочь, которой смеялись в глаза, а она этого не желала понимать.— Какой уж там венец, когда ты под ним свое двадцать пять годков тому назад отстояла.

— Темнота! — дочь расхохоталась скорее нервно, чем звонко, глянула на часы и заторопилась, хотя торопиться было еще рано.— Ларика чаем угостишь, там еще торт остался и конфеты. Новую коробку не открывай, она для другого предназначена.

— А коли он голодный?

— Сам отыщет, что надо, не маленький. Я же тебе не о еде объясняю, а об угощении, а это две большие разницы, как в Одессе говорят. Ну все, кажется. Все. Побежала я.— Надела шубку, остановилась в дверях, сказала не глядя: — Смотри, чтоб Ларик не позже одиннадцати ушел, ладно? А то, не дай бог, с отцом столкнется — достанется тогда нам с тобой.

— За что? — с хитровой наивностью спросила старуха, хотя сама отлично знала, за что именно им достанется от хозяина.

— Ладно тебе,— хмуро сказала Светлана: ей не понравилась лукавая материнская наивность.— Чтоб не позже одиннадцати исчез: мой особо горласт с выпивки-то, поняла? Ну, тогда поцеловались.

Махнула рукой и вышла, так и не поцеловав мать, которая уже с готовностью двинулась было к ней. Дверь захлопнулась перед самым носом, старуха остановилась, вздохнула невесело и поплелась на кухню.

Она оказалась одна в квартире, где ей никогда одной оставаться не случалось и где она, кроме кухни, ничего толком не видела. Ни спальни дочери с зятем, ни комнаты Ларика, да и в большую-то — то ли гостиную, то ли столовую — она всегда заглядывала мельком, наспех, стесняясь Светланы, а особенно «самого», хоть ей и случалось ночевать там на диване при ежегодных рыночных распродажах. Ей совсем не чуждо было нормальное женское любопытство; наоборот, ей очень хотелось не только все увидеть, но и все детально рассмотреть, подержать в руках, потрогать и пощупать. Однако природная скромность и чувство постоянной внутренней оглядки на зятя не позволили ей делать этого без хозяев, и старуха терпеливо сидела на кухне, хотя ей очень хотелось пройтись — просто хотя бы пройтись! — по всей дочкиной квартире. «Нет, не отвыкла Светлана от нас,— думала она о дочери.— Не отвыкла, а отрубилась. А отрубленная ветка коли уж и зацветет, так ни плодов не даст, и корней не пустит. Вот и выходит, что дочь моя — ни в деревне овца, ни в городе коза, как отец ее говорил. Обсевок людской. Родная дочь, а — обсевок, вон оно, значит, как получается, когда без веры, без истины в себе человек жить начинает».

Думала старуха о судьбе дочери горько, но спокойно, уже как бы признав саму справедливость такой судьбы, как бы приладившись к ней. Однако тревога все же копошилась в глубине ее существа, потому что утонула она в своих невеселых раздумьях и не расслышала, как повернулся в дверях ключ, как приоткрылись эти двери. А вынырнула из мыслей своих, услышав:

— Бабуля?..

Опомниться не успела, как взлетела в воздух, оказавшись в объятьях, как чмокнули ее звонко в обе пергаментные щеки, как захохотали вдруг весело, громко и искренне. От души.

— Бабуля приехала! Бабуин мой! Баобаб! Бабуля-бабуля!

— Ларик... Внучек.

Заплакала старуха. Потекли слезы по загрубелым, как шрамы, морщинам, но то были добрые слезы, и морщины смягчились, растягиваясь в улыбку:

— Внучек...

— Я, бабуин. Предков нет?

— Чего?

— Тихо, сейчас будет тебе сюрприз. Приготовились? — прошел к дверям, маня за собой старуху, взялся за ручку. — Раз, два... Три!

И распахнул дверь. А в проеме ее, как в раме, оказалась худенькая, очень стройная девушка с разбросанными по плечам длинными волосами. Девушка улыбнулась старухе, а старуха, сразу все припомнив и все поняв, улыбнулась в ответ. И сказала:

— Ну проходи, что же ты? Через порог не знакомятся.

Девушка шагнула в прихожую, прикрыв за собой дверь. Ларик обнял ее, прижал к себе, сказал каким-то совсем особым, чуть вздрогнувшим голосом:

— Знакомься, бабуля. Это Дашка моя.

И старуха сразу вспомнила, сразу узнала этот приглушенный, особый, как бы чуть споткнувшийся голос: и ей когда-то доводилось слышать его, как и всякой женщине, если повезло той женщине с любовью. И поэтому бабуля-бабуля, улыбнувшись еще мягче и теплее, сказала тем не менее ворчливо:

— Неправда твоя, никакая это не Дашка. Это Дашенька твоя, внучек. Дашенька, понял?

— Понял, бабуин! — радостно засмеялся Ларик. — И все ты замечательно правильно говоришь, потому что Дашенька уж пять дней как моя законная супруга.

И воцарилось некоторое молчание, замеченное, впрочем, только старухой да Дашей; Ларик так его и не ощутил, потому что пребывал в состоянии приподнятом, шумном и восторженном.

— Законная, значит? — тихо переспросила старуха.

Ее смущало, что свадьба, брак этот или как там теперь венчанье называется, прошла без родителей, без их благословения и даже присутствия.

— Да, — Даша тоже почему-то смутилась. — Знаете, вы нас должны понять.

— А чего же выкаешь, коли родственница? — строго спросила старуха. — Я тебе родная бабка теперь, вот, какая есть. Так что давай уж поцелуемся.

Они торжественно поцеловались, а Ларик, радостно завопив: «Бабуин, ты — гений!» — кинулся в столовую. Пока Даша снимала курточку, пока причесывалась, пока бабка провела ее на кухню, он чем-то звенел и гремел. А потом притащил бутылку шампанского и три бокала.

— Без спросу?

— А! — Ларик махнул рукой. — Ты, бабуля, точно сказала, что родная нам, вот и чокнемся по такому случаю. У Дашк... то есть у Дашеньки, тоже фактически никого близкого в этом городе, как и у меня, и получается, что ты для нас — единственная родственница во всем мире.

Он говорил действуя: искал в холодильнике еду, выта-

скивал ее, доставал из стенных шкафчиков посуду. Старуха слушала не перебивая, но губы ее стали сами собой поджиматься в строгую ниточку.

— Это как же так — единственная? У тебя мать есть. И отец. Родители, значит, вот как это называется испокон веку.

— Испокон это, конечно, называется, а теперь, бабуля-бабуля, все по-другому, — без тени огорчения сказал Ларик. — Садитесь к столу, дорогие мои дамы.

— И теперь они тебе — тоже родители, — непримиримо проворчала старуха, садясь.

— А вот это, бабуленька, ошибочное утверждение: теперь они мне — Штирлицы, а никакие не родители. Думают одно, говорят другое, а делают третье — вот какая интересная произошла с ними метаморфоза. Живут в собственной стране как шпионы: врут всем да каждому, со всех сторон в дом волокут, что выпросят, сопрут или на «я — тебе, ты — мне» выменяют, обещания да клятвы раздают направо и налево, а сами только о себе и думают. И способны думать только о себе, о куске потолка, о квартире побольше, о солнце посолнечней, а над остальными — да хоть всемирный потоп!

Начав в тоне озорном, почти легкомысленно шутливым, Ларик незаметно увлекся собственными обличениями, ожесточился и закончил горестно и серьезно. И вздохнул:

— Слияли мои предки, баобаб, с красного на розовенькое в полосочку да еще с оборочками и кружавчиками, чтоб красивенько выглядело. Красное на прекрасное сменять — вот в чем вопрос современности.

Женщины молчали; старуха пыталась понять, а Даша пока просто наблюдала. Негромко хлопнула пробка, Ларик разлил шампанское и улыбнулся:

— Тебе слово, бабуля-бабуля. Ты для нас с Дашк... с Дашенькой не просто старшая — ты земля наша, то, на что еще опереться можно, чтоб не поплыть на брюхе, куда течением сносит.

Старухе очень редко приходилось пить, а шампанского вообще не доводилось еще пробовать. Но дело заключалось не в вине, а в ритуале, в обычае, в благословении, которое внук с молоденькой женой не желали получать от собственных родителей, но хотели получить от нее. Она сознавала все значение того, что ей предстояло сказать, но готовиться и размышлять не умела, всю жизнь полагаясь на собственное сердце.

— Благословляю вас на мир и дружбу, дорогие дети мои, — тихо и просто сказала она, и Даша тут же встала, а

затем вскочил Ларик, и они крепко взялись за руки.— Любовь — свет, а дружба — тепло: без света жить хотя и скучно, а можно, но без тепла застынет ваша семья и сами вы застынете, льдом покроетесь и в себя самих уйдете, для себя самих жить станете. А дед твой, Ларик... нет, ваш дед, внуки мои дорогие, говорил всегда, что одно есть на свете счастье — доброе дело для людей делать. Вот и вы доброе делайте, и будет в душе у вас свет, то самое, значит, что люди счастьем зовут. Вот за это я и пригублю рюмочку.

— Нет уж, бабуля, за такой тост шампанское до дна пьют.

— И в горле щиплет, и в нос шибает,— удивилась старуха, допив тем не менее бокал до дна.— Чудно вино пью.

— Ларик мне рассказывал, что ваш муж... ну, то есть дедушка,— Даша смутилась, но выправилась.— Дедушка собрал молодых, которым надоела неправда, и увел их из села на новое место.

— Красные Жемчуга! — с гордостью уточнила старуха.

— Красные Жемчуга! — повторила Даша и вздохнула.— Вы — счастливая, бабушка, вы удивительно счастливая: у вас были свои Красные Жемчуга. Вот и мы хотим, чтобы и у нас оказались свои Красные Жемчуга. А что для этого нужно? Для этого нужно смело и решительно отказаться от всего, что несправедливо и жадно нажили нам наши заботливые родители, и стать свободными, как вы.

— Свободными от их барахла,— нахмурившись, пояснил Ларик.— От квартир, которые они выпросили, от стекляшек, над которыми всю жизнь как припадочные тряслись, от свиней, на которые машины покупались.

— Сильно же вы родителей своих не любите,— неодобрительно вздохнула старуха.— Нехорошо это, дети. Родители ведь для вас стараются, не для себя только.

— Для нас надо страну благоустраивать, а не собственную хату, бабуин.

— Значит, плохие у вас родители, так получается?

— Почему же — плохие родители? — негромко переспросила Даша.— Консервы, например, бывают хорошими, а все равно они — консервы. Вот и мои, например, родители — консервы, бабушка, понимаете? Закатали в них определенное содержание на вечное хранение, и вся жизнь для них как бы и существовать перестала. И нам они вместо теплых мыслей консервы в собственном соку вперед на всю жизнь предлагают. А мы не хотим их законсервированным духом дышать, мы лучше все с нуля начнем, понимаете? Вы же с нуля начинали, почему же нам ваш путь не повторить?

— Да уж начали мы, если честно,— негромко и непри-

вычно серьезно сказал Ларик.— Даша из института в мед-училище перешла, чтобы скорее закончить и получить специальность, а я тоже институт бросил, бабуля. Добровольно отказался от высшего образования, оплаченного папочкой с мамочкой да твоей каторгой со свиньями, и учусь сейчас на курсах шоферов-механиков. Закончим мы почти одновременно, летом, и поедем туда, где от нас реальная польза будет. Не халтура, не галочка, не вышибание планов во что бы то ни стало, а нормальная, нужная людям работа. Вот, бабуин, что мы решили с Дашк... с Дашенькой и сделаем так, как решили.

— Господи, где же вы живете-то сейчас? — ахнула старуха, вдруг сообразив.— Где кормитесь-то?

— В столовой,— сказала Даша.— Рядом с нами очень приличная столовая, и сравнительно недорогая.

— А чего же сама не готовишь? Или не научили?

— Научусь, когда к плите пустят. А пока, бабушка, меня к ней не подпускают: хозяйка нам комнату сдала с условием, чтобы мы дома не готовили.

— О хозяйке ты напомнила исключительно своевременно,— сказал Ларик, вставая.— Вы поболтайте, а я книги свои пошурю, нечего им мертвым капиталом на полках пылиться.

С этими словами он прошел в комнаты, и женщины — старая и совсем еще юная — остались одни. Шампанское было уже выпито, и только у старухи вторично налитая ей рюмка искрилась нетронутой: бабка не имела привычки к напиткам вообще, а это шипучее вино показалось ей невкусным. Молодая нравилась ей («Добрая, видать, и заботливая, да еще неумеха»), и старуха разглядывала ее в упор, без стеснения, как разглядывают дети.

— Грудь чтой-то у тебя — с кулачок. Не вызрели вовсе.

— Почему? — Даша чуть покраснела.— Все нормально.

— А детей чем кормить будешь? Этим, чего в магазинах продают, или, может, вообще их не родите, как теперь водится?

— Дети у нас обязательно будут,— сказала Даша; разговор этот смущал ее, и чтобы скрыть смущение, она начала убирать со стола тарелки и ставить чашки.

— Грудь свою кормить надо, холить, в удобстве содержать,— ворчливо сказала старуха.— Это девки так считают, будто груди им для красоты дадены,— сама девкой была, помню, как напоказ-то топорщилась. А ты — баба теперь, ты понимать должна, что не твоя это красота, а деток твоих здоровье. Мать-то кто у тебя будет?

— Они с отцом разошлись, когда я еще маленькая бы-

ла,— как-то невпопад ответила Даша.— Сначала я с нею жила, а потом она меня назад к отцу отправила. Мешала я ей, что ли.

— И больше не виделись?

— Она замуж вышла и в другой город переехала.

— А отец, поди, женился,— догадливо вздохнула старуха.— Мужики без баб недолго живут. Вот и осталась ты сиротинушкой при живых-то родителях, так получается?

— Не в том дело, бабушка, сейчас каждый второй, если не двое из трех,— сироты при живых родителях: когда они видят-то их? И главное, какими? Если не пьяными, то раздраженными, если не раздраженными, то обиженными, если не обиженными, то либо обманутыми, либо обманувшими. И непременно всегда, во всем — лгущими. Лгущими и врущими и в большом и в малом без всякого смущения!— Дашенька раскраснелась от волнения, похорошела, и старуха сейчас любовалась ею.— У меня мама... ну, то есть мачеха, хотя она потребовала, чтобы я ее мамой называла,— хороший хирург, золотые, говорят, руки, к ней с горем да бедой не только город — вся область едет. Нет-нет, никаких денег она не берет, что вы, что вы, у нас ведь бесплатное медицинское обслуживание! Но если вы в ее квартире одно несчастье свое оставили, а не хрустальную вазу или антиквариат, ею любимый, то операцию она делать не станет. Она сразу же по горло занятой окажется, прямо невероятно занятой, и резать будут ее ассистенты. А вот если вы догадливы, щедры и при этом рассеянны — от горя, разумеется, от беды, что на вас свалилась! — тогда времени у нее хватит. Как только за вами дверь захлопнется, она тут же при мне и при отце к оставленному вами ринется. «Ну-с, любопытно, что же это нам сегодня забыли?..» Вот как она приговаривает и руки потирает при этом, представляете? И все будет сделано в полном соответствии со стоимостью забытого. Все! И больной будет спасен, потому что руки у нее действительно золотые, и такие забытые подарки она отрабатывает на совесть, если о ее совести вообще можно упоминать. Я еще в десятом первый скандал закатила, а она мне знаешь, бабушка, что сказала? Ты, говорит, доченька, у меня там, на Западе, имела бы виллу, яхту, голубой «мерседес» и ходила бы в мехах и бриллиантах, потому что я людей с того света вытаскиваю. Вот какая у нее философия, и я бы ушла сразу, если бы могла, но тогда я не смогла. Я только ревела да бунтовала, пока Ларика не встретила, а когда узнала, что и у него родители — консервы, «Штирлицы в собственной стране», как он их назы-

вает, тогда ушла. Как стояла, так и ушла, потому что мы с Лариком твердо решили, что так, как живут наши родители, жить не будем. Ни за что не будем, ни за какие коврижки!

— Стало быть, это ты научила Ларика рюмки об пол грохнуть? А зачем так научила?

— А чтобы проверить, болтун он или человек, — Даша рассмеялась. — Пошутила я тогда, если честно, а он — грохнул.

— Проверила, значит? — хитро заулыбалась старуха. — Ну и как?

— Все сомнения мои в том хрустальном грохоте развеялись, вот, бабушка, что из шутки получилось. То получилось, что, когда он мне предложение сделал, я ни секунды не колебалась. И вы бы тоже не колебались, правда?

Старуха ничего не успела ответить — ни согласиться, ни пожуричь за шуточку, ни удивиться, как вошел Ларик, неся огромную стопку книг в ярких глянцевах суперобложках. Положить их на стол он не смог — нижнюю держал двумя руками, а верхнюю прижимал подбородком, и Даша стала помогать. Она снимала книги по одной и клала на стол; старуха суетливо раздвигала чашки, очищая место, и получилось так, что как раз перед нею легла толстая и, видно, очень дорогая книжка, с обложки которой тепло полыхнуло золотом нимбов и венцов.

— Никак икона?

— Владимирская божья мать, — пояснил Ларик. — Эта книжка хоть и про древнерусское искусство, а издана в Италии, и репродукции в ней — первый класс. Мать откуда-то приволокла — может, взятку сунули по обмену «ты — мне, я — тебе» — и мне подарила великодушно на прошлый день рождения.

С помощью Даши он переложил все книги на стол и теперь взял ту, с божьей матерью, и веером пролистал перед бабкой. И старуха обмерла, когда замелькали перед нею иконы. Большие, маленькие, средние. Божьи матери, спасы, угодники и мученики. Скромные и многоцветные, житийные и простые, в лик, в рост, поясные... Столько икон она видела только однажды: когда их жгли, а бабы боялись плакать, водили вокруг того костра хоровод и надрывно, заглушая внутренний вопль, орали: «Сеялка-веялка, молотилка-трактор! Сеялка-веялка, молотилка-трактор!..»

— Святых-то у тебя, Ларик, святых-то, — благоговейно вздохнула она и, помолчав, призналась в том, что тревожило: — А мы своих сожгли.

— Слыхал, старуха учительница рассказывала. Я ей: как

же вы, культурный человек, допустили такое варварство? А она как завопит! — он весело рассмеялся. — Оказалась до сей поры воинствующей безбожницей, абсолютные консервы в собственном соку.

— Сожгли мы свои иконы, — не слушая, горько повторила старуха, но обратилась уже не к внуку, а к Дашеньке.

— Я же говорю: варвары. Это ведь, бабуин, не принадлежность религии, это народное искусство. Причем уникальное, а учительнице, чтоб поняла, напомнил, что искусство — это еще и стоимость. Мол, стоимость вы тогда жгли, если попросту — деньги. И при жуткой бедности своей сожгли целую кучу денег. Нет, ты только представь, Дашенька, ту нищету и ту темноту...

Ларик болтал, а старуха вспоминала тот костер, в который сама добровольно положила тайно унесенную из дома иконку, еще бабушкино благословение, бабушки-покойницы. Загодя, за неделю завернула в свои рубашки да юбки и вынесла к тетке Степаниде, потому что хотя и жила с молодым мужем отдельно от родителей, а иконки той у нее не было, поскольку муж запретил. И хранилась та ее иконка, бабушкино благословение, в материнском сундуке да в отцовском доме, пока не утащила она ее оттуда, чтобы самой же положить в общее пламя.

— Может, не столько в темноте тогдашней дело, сколько в решимости? — предположила Даша, бережно разглядывая другие книги. — Когда люди решаются порвать с прошлым, они забывают о его стоимости, им тогда ничего не жалко. Вот нам с тобой, например... — она вдруг вздохнула. — Нам жалко, что такие книжки продавать приходится.

— А что делать? — он нахмурился и тоже вздохнул. — Больше у нас с тобой ценностей нет, а долги отдавать надо, пока нас на улицу не выбросили.

Старуха и слышала, и не слышала, о чем они говорят, не в силах оторвать взгляда от икон. И почему так видятся, почему так светятся? Вроде и не портреты, а живее живых; вроде листок бумажный, картинка, а от глаз никуда не денешься; вроде старики с бородами, а взор грозен и суров, но нет страха перед взором, а есть трепет и признание за ними силы и правоты. И ведь хоть в книге, хоть вроде как фотография, что ли, а все равно истина. Истина перед тобою, сама истина в очи тебе глядит, сама истина твоего ответа требует. Да, пред этим станешь на колени, этому поклонись, а главное — не солжешь, как Дашенька-то говорила. Это живому можно солгать, мертвому — так вообще лгать принято: мол, какой был и как же мы теперь без тебя, а вот этим ликам, этим глазам, что насквозь все

видят — и что перед тобою видят, и что за тобой тоже видят,— им не солжешь никак. Им всю правду...

— Внучек, Ларик, дай ты мне, Христа ради, иконку какую ни есть плохонькую из книжки этой, а?

Ларик что-то говорил Дашеньке, а тут будто словом поперхнулся. Помолчал, почти весело оглядев свою бабу, сказал:

— Ну, баобаб, ты и выступила!

— Дай, а? — В ее просьбе был детский страх, что непременно откажут, безмерное отчаяние от мысли, что отказ неминуем, и боязнь замолчать, оборвать просьбу: все казалось, что мало у нее слов.— Одна я, Ларик, помру ведь скоро, а одной помирать ой как страшно. Так ты дай мне иконку-то, дай, чтоб не одна я была, чтоб хоть кто-то еще в пустом доме. А ты с душой, внучек, ты вона иконы в книжках собрал, о вечном думаешь, стало быть, поймешь и меня, что нельзя, невозможно без святого жить, без глаз таких вот... А у тебя их вона сколько, целая книжка, так неужто родной своей бабушке в одном-единственном листочке откажешь?

— Да погоди, погоди! — Ларик замахал руками, беспомощно глядя на молчаливую жену.— Даш, это что она, а? Это ведь никакие не иконы, это репродукции, бабуля! Научный труд по искусству. Отпечатано на бумаге, видишь, и ничего святого нет в них и быть не может. Репродукции, бабуин, одно слово: репродукции! Да еще итальянского производства, а ты говоришь — листочек тебе. Для нас это — единственный капитал.

И опять старуха не слушала его, а что слышала — не понимала. Ясно было одно: отказал Ларик, наотрез отказал, и не будет у нее теперь иконки.

— Дед твой всю жизнь с капиталом воевал, а ты... Эх, Ларик, Ларик, деда бы хоть постеснялся.

— Был бы дед жив, я, может, и по-другому бы жил. Как знать, что бы было, если бы чего-то не было.

— Ты памяти его светлой посоветись...

— Он же шутит, бабушка! — вдруг громко сказала Даша, шагнула к старухе, обняла ее за плечи.— Он просто очень глупо шутит, вот и все. А книжку с иконами он давно вам подарил. Он специально ее сюда принес и перед вами положил. Правда ведь, Ларик?

— Ой, Дашка, я же до сих пор подонка по каплям из себя выдавливаю,— со вздохом признался Ларик.— Скотина я, да?

— Есть немножко,— улыбнулась жена.— Проси прощения, пока не поздно.

Ларик взял со стола книгу, подошел к бабке, стал на колени и протянул ей:

— От нас с Дашенькой, бабуля. Ты уж прости меня за глупые шуточки. Это так, знаешь, от игривости. Отец родной во мне заговорил вместо деда, но я ему больше слова не дам. Иногда!

— Ларик, Дашенька, внучонки вы мои родные, деточки вы мои...

Старуха отчаянно всхлипнула, но Ларик сразу же начал весело болтать, смеяться, и она заулыбалась всем своим счастливым, залитым слезами лицом. А тут и Даша пригласила к чаю; они чинно сели за стол и чинно, как того требовала бабкина неспешная душа, пили настоящий, душистый, крепкий чай, от которого старуха уже отвыкла. И сразу вспомнила о просьбе Тихоновны.

— Мы к поезду принесем,— сказала Даша.— Не беспокойтесь, бабушка, будет у вас настоящий индийский чай.

— Интересно, а что вы с дедом в Красных Жемчугах пили? — спросил Ларик.

— Мы новый мир строили, а когда строят, тут не до еды,— с некоторым вызывающим озорством сказала старуха.— Вот когда построят, тогда и поесть можно, и чайку попить. А мы ничего еще построить не успели, потому что война началась.

И как-то незаметно, за чаем слово за слово рассказала старуха молодым то, что до сей поры бережно и строго хранила ее память. Рассказывала она неторопливо, часто отвлекаясь, припоминая мелочи и теряя порою нить собственных воспоминаний, но слушали ее серьезно, не перебивали, хоть часто и переспрашивали, и это живое участие внуков в давно отшумевшей, но для нее вечно звонкой судьбе мужа делало ее бесконечно счастливой. Настолько счастливой, что она порою прерывала рассказ и торопливо шептала про себя: «Господи, не сплю ли я? Господи, может, опять заорут свиньи и кончится сон этот, счастье мое кончится?..» Но рассказы ее, которые грели ее и трогали душу, потому что их слушали, оборвались не свинным визгом, а бархатным боем больших часов, что стояли в столовой. Пробило одиннадцать, и молодые заторопились. Скоро, в четыре руки убрали со стола, перемыли посуду, не давая ей ни к чему притронуться, и старуха умильно утирала слезы, прижимая к груди тяжелую книгу с репродукциями самых святых и чтимых русских икон.

— Ты на всякий случай им про книгу не говори,— сказал Ларик.— Спрячь от греха, знаешь.

— Завтра, бабушка, в поезде встретимся,— сказала Да-

ша, целуя старуху на прощанье.— А за чай не беспокойтесь, у меня железная банка индийского к свадьбе припрятана.

— Так для свадьбы же, Дашенька.

— А мы свадьбу в Красных Жемчугах отпразднуем,— улыбнулась Даша.— Вот приедем в июне на последние каникулы и отпразднуем.

Молодые ушли, а вскоре шумно ввалились старшие. «Сам» был под веселым хмельком и что-то напевал, а Светлана беспричинно хохотала и все рассказывала, как с соседних столиков на нее пялились мужчины, как приглашали танцевать и как новый начальник, ради которого и был затеян поход в дорогой ресторан, лично «глаз положил».

— Чувствую, мам, ну прямо по трепету чувствую: положил!

Они говорили на кухне: хозяин плескался в ванной. Говорили приглушенно — собственно, говорила одна дочь, мать слушала, и это таинственное пришептывание очень старухе не нравилось.

— А Ларик-то не один приходил,— ввернула она, как только дочь чуть примолкла.— Он с Дашенькой приходил.

— С фрей этой? — Светлана брезгливо сморщилась.— Мать у нее большую силу набрала, а то бы поплясала у меня эта девка.

— Девка? — старухе сразу расхотелось рассказывать о тайной свадьбе, о любви, которую поняла и почувствовала, о смелых, хотя и полудетских, планах молодой семьи; вздохнула, покачала головой: — Не опоздай к счастью, Светлана, это ведь не к пирогу опаздывать.

— Нам бы поутру к профессору не опоздать,— резко сказала дочь.— Ложись-ка спать, поздно уже. А Ларика я от этой... — она выразительно помолчала,— все равно уведу.

«Не уведешь! — почему-то с веселым торжеством подумала старуха, устраиваясь спать опять на диване в столовой.— Там-то и посильнее, и поумнее, а главное, подобнее тебя сердечко-то бьется. Куда твоего подобнее... А Ларик — он в деда. В деда весь вызрел, вот что чудесно. И значит, жизнь его хоть и трудная будет, но счастливая, потому что для людей он ее проживет, как дед его прожил...»

И тут мысли ее прервались, потому что, раздеваясь ко сну, наткнулась она на орден, что был завернут в чистую тряпочку и висел на шее на манер нательного креста. И то, что думы ее о сходстве собственного внука с собственным мужем так странно подтвердились вдруг посмертной наградой, поразило ее до глубины души. «Знамение это,— смятенно подумалось ей.— Знамение господне, что орден этот геройский Лариону передать следует. Из рук в руки

на вечное хранение и вечную его совесть». И хотя понятие «вечная совесть» ей и самой было не очень понятно, она упрямо повторила его: «вечная совесть», ибо верила, что говорила сейчас как бы не свои мысли, а подсказанные ей свыше. И торжественно перекрестилась, хотя давно уже не крестилась ни перед сном, ни по утрам. И спала крепко и спокойно, как ребенок.

На следующий день старуху отправили домой с вечерним поездом. Днем Светлана успела показать ее какому-то медицинскому светиле и раздобыть предписанные светилом лекарства, а весьма раздражительный с похмелья Эдуард Леонтьевич — отругать перед отъездом на вокзал:

— Чтоб впредь без самостоятельности у меня, мамаша!

На вокзал приехали загодя, минут за сорок до отправления, но Светлана до вагона старуху провожать не стала. Остановилась вдруг посреди перрона и вещи поставила:

— Вот они, твои провожающие.

Впереди виднелись Даша и Ларик. Светлана нахмурилась, сухо простилась, даже поцеловала, будто чужую:

— Ну, счастливо, мам. Не болей. И попусту к нам не езд, мой не любит этого. Почта на то имеется, чтобы лекарства пересылать, поняла?

Еще раз коснулась губами щеки и пошла к выходу, стараясь, чтобы спина выглядела значительно и надменно, и ни разу не оглянувшись. Старуха проводила ее глазами, смахнула слезинки, а вещи поднять не успела, внуки с двух сторон подошли, с двух сторон обняли и повели в вагон.

— Вот вам чай,— сказала Даша в вагоне, доставая железную банку с диковинными зверями и птицами.— Пейте на здоровье.

— Опять выкаешь,— строго попрекнула старуха.— А я что велела?

— Приедем, поживем — и привыкну!

— И еще тебе презент к чаю, баобаб,— сказал Ларик и сунул в старушечью сумку коробку шоколадных конфет.

— Спасибо вам, дорогие вы мои,— ласково прослезилась старуха.— Уж так вы жизнь мою под конец украсили, так украсили.

— Почему это — под конец? — строго спросил внук.— Мы к тебе на каникулы собираемся, а там поглядим и...— он помолчал, глянул на Дашу.— Признаваться?

— Непременно,— сказала жена.

— Мы там, в Красных Жемчугах, оглядимся и, может, туда и назначение попросим. Медсестра да шофер-механик — где не нужны? А там — ты, жить вместе будем, за тобой приглядим.

По старухиному лицу текли слезы, но она их не замечала. Она была счастлива, так счастлива, какой давно уж не ощущала себя. Горло ее перехватывали спазмы, говорить она не могла, а только улыбалась, и Даша своим платочком промокала ей слезы.

— Только свиней всех раздадим к чертовой матери, пока не сожрали они нас! — засмеялся Ларик. — Что, бабуля, прирешь таких постояльцев?

— Родня, — с трудом выдавила бабка. — Какие же вы постояльцы? Вы — внуки мои, и мы с дедом...

Она вдруг осеклась, замолчала, посерьезнела. расстегнула кофту, достала из-за пазухи белую тряпочку, согретую на высохшей груди, и протянула Ларику:

— Тебе это. Храни и береги. Детям передашь.

— А что это?

Старуха молчала строго и торжественно. Ларик развернул тряпочку: тусклое золото ордена весомо сверкнуло в вагонном сумраке. Молодые долго, бережно разглядывали орден Отечественной войны, а старуха торжественно молчала, радуясь, что догадалась взять с собой боевую награду мужа и передать ее тому, у кого она и должна была вечно храниться.

— Первой степени, — с уважением сказал Ларик. — Дедушкин?

— Его. Сыну передашь, когда вырастет. Ну, детки мои милые, давайте прощаться. Пора уж, лучше в окошко мне помашете, как положено.

Не очень-то ласковой была встреча, но проводы получились куда теплее, и старуха тихо улыбалась на возвратном пути. Правильно, очень правильно она сделала, что отдала боевой орден мужа, выданный ей на вечное хранение властями, единственному законному наследнику. А теперь он на месте, в путных и честных руках, а у нее то, о чем мечтала, что так вдруг потребовалось ей для спокойствия: иконы. Тут, правда, ее охватывало некоторое смущение, так как не ясно ей было, действуют ли книжные иконы так же, как настоящие, но старуха в утешение все помнила, что зато их много, целая толстая книга. И к концу своего длинного, с трясками да пересадками путешествия, часто прерываемого то ли дремотой, то ли забытjem, старуха твердо уверовала, что так оно и есть, да еще получилось целых два подарка: сперва внук ей иконы подарил, а потом она ему — боевой орден покойного мужа. Эта версия была достойна и ее, и внука, и героя-мужа, и Дашеньки, и всех икон разом, что только были в книге, и старуха с удовольствием и массой подробностей пересказала ее Тихоновне,

которую отблагодарила кулечком настоящего чаю и с которой вместе выпили несчетное количество стаканов под никогда не виданные ею шоколадные конфеты в нарядной коробке.

— И все он, Ларик, все он да Дашенька его! — умильно приговаривала старуха, а сама уже подумывала, когда же уйдет Тихоновна, когда же наконец даст ей возможность в благоговейном одиночестве поведать иконам свои самые сокровенные мысли.

Наконец Тихоновна перевернула вверх дном стакан, трижды, как положено, отказалась от всякого угощения и, немного посидев для приличия, распрощалась. А старуха, едва проводив ее, заметалась по огромной, гулкой и сырой своей избе, не зная, с чего начать то, чего так жаждала. За весь вечер она ни словом не обмолвилась о нетерпеливом своем желании сегодня же, тотчас же приступить к молитве.

Достав книгу, старуха благоговейно приложила к ней, а затем, прижав к груди, долго ходила, прикидывая, куда и как ее разместить и на что надо взбираться, чтобы поставить ее повыше. Слабая лампочка без абажура висела над кухонным столом — в том месте, которое ограничивалось углом печи да выцветшей занавеской, потому что дощатую перегородку разобрали на подтопку еще в войну, и свет еле проникал в огромную комнату — залу, где стоял почерневший от времени (или от горя?) стол, за которым никто не сидел вот уже почти полвека. А угол над столом, расклеванным и хозяина, и наследников, тот угол, красный, где должны были висеть иконы, был темным и пустым, как дыра.

Нет, ничего туда нельзя было ни класть, ни ставить. Там сперва прибрать следовало, вымыть да просветлить, и старуха, подумав, поставила книгу в центре семейного стола, за которым никто не сидел, подперев ее пожелтевшими учебниками Светланы и «Кратким курсом истории ВКП(б)», который муж два года учил наизусть и все-таки выучил. Лица божьей матери на суперобложке не было видно совершенно; старуха вспомнила, что в церквях всегда горели свечи, пожалела, что вовремя не сообразила купить их, и принесла из сеней фонарь «летучую мышь», с которым в сумерках ходила в закут кормить свиней. Поставила рядом с книгой, зажгла; божья мать осветилась, по комнате поплыла керосиновая вонь, но старуха обрадовалась. Все теперь было готово к таинству; осталось подготовиться самой.

Теперь негоже было спешить, теперь следовало думать, вспоминать, считать свои грехи, расспрашивая совесть, и

старуха готовилась неторопливо и основательно. Убрал со стола, достала из сундука чистую рубаху и тщательно умылась в сенях. Мылась она горячей водой, распарилась и, надев чистую рубаху, кофту решила не надевать, в рубахе было и тепло, и торжественно. И, все аккуратно прибрав, старуха сполоснула руки, медленно вошла в провонявшую керосином залу и медленно опустилась на колени перед тускло освещенной книгой.

— Матерь божья милосердная...— начала она и замолчала в смущении.

В пустой комнате голос прозвучал глухо и сыро, а слова казались фальшивыми и не от сердца. Старуха сперва решила, что ложь идет от нее самой, изнутри, и опечалилась, но потом сообразила, что ее искренность превращается в ложь совсем не по ее вине, а потому, что звучит в мире пустом и темном. «Про себя надо, про себя»,— подумала она и успокоилась. Сосредоточенно взгляделась в керосиновые блики, тускло играющие на чистых красках суперобложки, отпечатанной в безвестной ей Италии, и начала снова, но уже не вслух, а в душе. Про себя.

«Пресвятая матерь божья, муж мне виделся и сыновья, убитые фашистами уж сколько годов. Сейчас они, сыны мои, уж не то что отцами, а и дедами уж были бы, кабы не гибель, и дочка Полюшка, старшенькая, тоже, поди, бабкою бы стала, кабы не война та проклятая да не горе то народное горькое. И остались от меня и от мужа всего-то в жизни на земле один листочек, да и тот пожух да пожелтел: Светлана, дочка моя, а что сын ее Ларион, хоть и добрый сам, для народа сделает, то мне неведомо, да и ему, боюсь, тоже неведомо, а ведомо только жене его Дашеньке, потому что свет от нее идет. Стало быть, не засохнет корень мой, да и за что, за что ему засыхать, когда не грешна я, не грех на мне, а судьба такая. А муж вот о грехе все говорил, так неужто и вправду грешна я все-таки, пресвятая богородица? Всю жизнь свою я работала, детей рожала да растила, исполняла все, что велено было, так в чем же мой грех? Я жизнь свою по ниточке перебрала, все искала, в чем вина моя, где ошибка, а где грех, да не нашла ничего. Я болела, когда все болели, я голодала, когда все голодали, я песни пела, когда все веселились, я иконы жгла, когда все жгли,— неужто за это, за костер тот, а? — нет, я же как все, как все, так и я. Ты же знаешь, ни муж мой покойный, ни я никогда, ни разу ничего для себя — все для всех. Все! А дом, в котором я век свой доживаю, так он ведь тоже общественный: его колхоз как премию нам построил, потому что уж очень мы тесно жили. Мы всю жизнь свою тесно

жили, только вот помираем просторно. А жили тесно и отдавали, ничего не утаивали, все отдавали: и труд свой, и хлеб свой, и здоровье, и жизни свои. Так в чем же грехи наши? А если и было что, так неужто не искупили мы того, что свершили второпях да ненароком, смертями, пожарами, голодом да холодом?»

Дергаясь, тускло и неровно светил фонарь, керосиновая вонь заполняла избу, лик божьей матери на глянцевой обложке дрожал в отсветах. И не было покоя в душе старухи, но не было и тревоги, а было острое желание рассказать все этой мудрой и спокойной женщине, которая родила людям сына на муки крестные. Все рассказать, всю правду: как жили и как умирали, как надрывались и как надеялись, как радовались и как рыдали, как...

«Ты знаешь, что такое похоронка? Знаешь, помнишь, такое матери не забывают, а ты на своего сына тоже похоронку получила. Ты — на одного, а я — на двоих, да еще на мужа, да еще Полюшка померла, помощница моя. Ты не сердчай, не считаюсь я, не корю, я одно хочу: чтоб ты на нас глянула. Вон Лукерья говорит, что для бога, мол, век — что миг один, будто моргнуть, а ты ведь — мать, ты подскажи ему, мол, глянь на Россию хоть разок...»

Тут старуха запнулась, сообразив, что давно уже не молится, не считает грехов своих, а жалуется божьей матери и укоряет самого бога. Нет, не годилось так, нельзя было с ожесточенной душой беседу вести, и старуха совестливо вздохнула, помолчала, собираясь с мыслями, и начала виновато:

«Ты прости меня, дуру старую, что жалуясь я, да душа моя изболелась. Конечно, не обиды и не боли должно считать, а грехи, но вразуми ты меня, что грехом-то называется? Не учили нас грехам, не считали мы их, не страшились, так откуда же знать нам, что же это такое — грех людской? Что батюшку я своего ослушалась и ушла из дома его и из села ушла — это грех? Что иконы жгла с частушками — тоже грех?.. нет, ты ответь мне, пресвятая мать божья, знак подай, потому что я до утра о таких грехах тебе рассказывать могу. Накопилось их у нас столько, что все уже спуталось. Все спуталось. Все... А он кричал: грешно, мол, живу...»

Слабенький желтый язычок пламени стал вдруг расти и яснеть, чистым белым светом заливая избу, и старуха увидела мужа. Не черного, не с провальными глазами, не с набитым землею ртом и даже не в солдатской гимнастерке, а молодого, светлоглазого, в ситцевой рубашке, которую она сама ему сшила. Рубашка была перехвачена узеньким ремешком, а поверх муж набросил старый пиджак и сейчас

деловито щелкал барабаном револьвера, проверяя, во всех ли гнездах сидят патроны.

— Кулачье идем трясти, мать,— весело сказал он.— Хватит, попили они нашего поту.

В своих Красных Жемчугах они не слышали ни мужских проклятий, ни бабьего воя, ни детских рыданий: у них кулаков не было, никто никого не тряс, никто не сводил старых счетов ни за кровь, ни за пот. Правда, говорили об этом, но одно дело видеть, как раскулачивают, и слышать, как рыдают, а другое — шепот платок к платку, потому что жалеть запрещалось, сострадать запрещалось и даже вздыхать запрещалось. Полагалось радоваться и торжествовать победу над лютым врагом, и все торжествовали. Все. И надо было и быть, как все, и радоваться, как все.

Муж пришел под утро, усталый и возбужденный. Дети еще спали; она сливала ему у крыльца, держа в левой руке длинное суровое полотенце. Он взял его, вытерся, весело подмигнул.

— Ну все. Дурную траву — с поля вон!

Прошел в избу — не в эту, в прежнюю: маленькую, тесную, в то время совсем еще новенькую. Она налила ему щей, села напротив.

— И куда же их теперь?

— А в Соловки,— ответил муж, жадно хлебая: сутки почти что не ел ни крошки.— Твоих тоже, между прочим, из села наладили.

— Как моих? — задыхнулась.— Отца с маменькой? Так какие же они кулаки, какие?..

— Да их не в Соловки, не боись,— улыбнулся он.— Нынче дележ точный: свой, чужой и — середка, которая всю жизнь и нашим и вашим. И своим — вся власть, чужим — в Соловки, а гнилую эту середку — на принудработы, гиганты индустрии поднимать и себя перековывать социалистическим трудом. Перекуются — вернутся.

Не вернулись.

«Не вернулись мои батюшка с матушкой, отец,— сказала она про себя, и ясный, светлый, чистый муж ее стал темнеть на глазах. Темнело лицо его, темнела рубашка, исчезали, проваливались глаза, и в широко разинутый рот уже сыпалась земля.— Отец! — закричала она.— Не уходи, отец, я не буду, не буду про тех, не черней, не буду».

Кажется, спасла, остановила тлен его: муж начал светлеть, словно возвращаясь из тьмы. Выплюнул землю, сказал хрипло:

— Не было этого. Не было этого, ничего не было. Не было, не было, не было!..

— Не было,— покорно согласилась она.— Все равно уж не воротишь ведь их.

А сама подумала, что ее отказ от родителей, от самой памяти об их судьбе и есть грех, который никогда ей не простится. Никогда. И заплакала.

Догорал, потрескивая, фонарь на черном огромном, как надгробие, столе. Керосиновый чад стлался по зале, а на полу перед столом с еле различимой книгой, неудобно скорчившись, лежала старуха. То ли во сне, то ли в забытьи, и слезы катились по ее серому морщинистому лицу.

«Не гневи ты его, не гневи,— вдруг ясно послышалось ей.— Радости нет у него, так ты поспеши не с гневом — с радостью поспеши».

Голос был женским, добрым и ласковым, и старуха сразу поняла, кто ей шепчет, и поспешно стала вспоминать радостное. Радости в жизни своей...

«Сеялка-веялка, молотилка-трактор! Сеялка-веялка, молотилка-трактор!..»

За столько лет все частушки стерлись из памяти, а припевка, которую озорно что есть мочи орала хором, осталась. Они мечтали об этих машинах — о сеялках, веялках, молотилках и уж совершенно в ту пору неведомых им тракторах — и поэтому так часто и так громко пели о них. Просто выкрикивали названия, как дикари, веря, что докричатся, допоются, допросятся.

Господи, ведь заклинала же ее богородица не расстраивать мужа. Заклинала о радостном, о светлом вспоминать. Только о светлом и только о радостном. Только было ли оно в жизни, это светлое и радостное? Может, это была просто мечта, так и оставшаяся мечтой?.. Нет, было, было, ведь уходили же они из старого мира, в котором батюшка в последний раз и в последний день успел за волосья ее оттащить. И она оказалась в белом платочке среди красных косынок, как ромашка средь маков... И семнадцать верст счастья с грудным Шуриком на руках, а годовалого Гришу усадили в бричку вместе с остальными малолетками: русые головенки торчали из-за бортов, подпрыгивали, раскачивались, смеялись и плакали. А впереди всех шел ее муж с красным флагом, рядом — гармонист, и песни — всю дорогу. И пришли на голый берег и на все общее. Молоко для детишек — общее, щи для мужиков — общие, котлы — общие, миски — общие: и огонь общий в кострах, и труд общий на стропилах. И работа без перерывов, без сна, без отдыха: «Ты устал, товарищ? Отдыхай, где твой топор? Я иду на твое место». И звон топоров не прекращался ни на минуту: они успели поставить избы до морозов. Маленькие, тесные, зато одинаковые и всем. У всех одинаковые, потому что по труду, а труд — это когда все всем. Все, что есть в тебе,

всем на пользу. Сила, ловкость, сноровка, уменье, пот, кровь и сама жизнь — все тем, кто рядом, кто вместе с тобой ушел из старого мира строить новую жизнь в Красных Жемчугах.

— И наши Красные Жемчуга станут ярким примером для всего трудового народа, дорогие мои братья и сестры! — говорил через три года ее муж и первый председатель их колхоза на празднике 1 Мая.— Мы всем докажем, что человек может и должен быть счастлив в стране, сбросившей иго царя и капитала. Мы начали новую, совсем иную жизнь — жизнь без обмана, без эксплуатации, без неравенства, без лжи, без воровства, пьянства, распутства, без «мое — твое — богово», без всех тех кандалов, что веками сковывали свободный дух человека. Теперь мы — свободные и гордые, мы сами себе хозяева и должны жить одной семьей, одной радостью, одним счастьем, одной целью и одной правдой!..

Старуха снова видела своего мужа молодым, счастливым, веселым, со светлым лицом и светлой улыбкой. И на той трибуне, с которой громко и радостно говорил он о новой жизни, по обе стороны от него появились сыновья Гриша и Шурка, рослые, светлые, плечистые, а отец несколько не постарел и казался сейчас не отцом им, матерым мужиком, а — братом...

«Пресвятая богородица! — вдруг всполошилась старуха.— Что же это я — все про мужа да про мужа? Дай хоть на сыночков полюбоваться, позволь хоть словом перемолвиться, голоса их услышать...»

Старуха недвижно лежала на полу. По лицу ее по-прежнему медленно текли слезы, но лицо это уже робко светилось изнутри, уже радовалось увиденному, уже ждало чего-то, чуда ждало. Чадил, угасая, фонарь, глухая осенняя темь заливала огромную пустую избу, и лик божьей матери больше не виделся на черном надгробье семейного стола.

А сыновья сажали под окном рябину. Была осень сорок второго, уже пришла похоронка на отца и повестка из военкомата. И они сажали рябину.

Нет, нет, не о войне, только не о войне! О тех светлых да счастливых денечках, когда все еще были живы. Все?.. А твои родители на строительстве Челябинского тракторного? Они еще месили босыми ногами бетон, еще получали пайки, если выполняли норму, еще валялись на нарах в дощатых, еле-еле согреваемых буржуйками бараках. Нет, они не были заключенными, они числились мобилизованными, но смерти ведь все едино, по какой графе распределяет людей жизнь. Нет, нет, пусть уж лучше сыны сажают под окном рябину.

— Ладно ли, мама?

— Ладно, Гриша. Полейте отцовскую рябину да ступайте в избу.

Вошли. И встали у порога. И Гриша сказал:

— Мама, не пускай Шурку на войну.

А тут отец вдруг вошел в той же ситцевой рубаше, в которой выступал 1 Мая. Светлый, улыбчивый.

— Тяжело тебе, мать, одной-то, но ты терпи: нет на тебе греха.

Шурка рванулся тут к ней, будто обнять хотел, будто сказать что-то. Открыл рот...

— И-и-и!..

Очнулась старуха. Пропали сыны ее, пропал муж — пустой изба осталась. Погас фонарь на столе, ленивый пред-рассветный полумрак нехотя вползал в оконце. Уже угадывался стол, лавки, книга на столе, подпертая другими книгами, угол давно не беленной печки. И вместе с этой блеклой осенней просинью рвался в избу истошный визг:

— И-и-и!..

Старуха слышала его, но никуда не торопилась. Тихо и ласково было сегодня на душе ее, даже нисколечко не ломило тело, хотя она всю ночь пролежала в забытьи на холодном полу. Не обращая внимания на требовательные вопли свиней, она поклонилась и сказала:

— Спасибо тебе, мать божья, утешила ты меня. Я душу свою успокоила, потому что нет на мне греха.

Она благоговейно приложилась к глянцевой суперобложке и, сохраняя на лице тихую, задумчивую улыбку, прошла на свою кухню, к печи. Надела кофту, выволокла бак со свинячьим хлёмовом, налила доверху большие ведра и, изогнувшись, с трудом поволокла их голодной животине. «Ишь орут-то как, — думалось ей. — Видно, поленилась вчера Тихоновна, недокормила маленько». Добравшись до закута, старуха поставила ведра и в полутьме стала приглядываться, где же корыто, куда следовало перелить пойло. Свиньи, нетерпеливо визжа, толкались возле самой стенки. Старуха кое-как отпихнула их и увидела корыто: его отбросили рылами в глубь закута. Сначала надо было подтащить его к загородке, а уж потом выливать ведра. Старуха потянулась за ним, сильно перегнувшись через загородку, и в этот миг что-то нестерпимо яркое вспыхнуло в глазах ее, свинцом налилась голова, и она рухнула в закут, не успев ухватиться за доски ослабевшими вдруг руками...



Горелю богинь

ГИБЕЛЬ БОГИНЬ

«Плохо твое дело, девочка...»

Чьи это слова, чьи, чьи? Надя пыталась что-то вспомнить, что-то понять, на чем-то сосредоточиться, но в голове только гулко звучали эти четыре слова: «Плохо твое дело, девочка. Плохо твое дело, девочка. Плохо твое дело...» Потом кто-то прошел мимо, оставив распахнутой дверь в большую комнату. Оттуда тянуло прохладой, там летали длинные легкие шторы...

Голос вдруг смолк, и за мгновение перед тем, как встать и шагнуть, Надя отчетливо и ясно увидела весь тот, последний день собственного мира и покоя. Не только увидела, но и успела разложить его по минутам и по мелочам и умилиться этим мелочам, потому что в них тоже заключалось ее такое обыкновенное, такое ясное женское счастье.

Утром того дня Сергей Алексеевич был так ласков, внимателен и чуток, что она, уже избалованная его нежностью, это запомнила: он словно предчувствовал что-то. А она ничего не предчувствовала, нет, ничего решительно: в то мгновение Надя старательно перетрясла все секундочки той последней безмятежной ночи и того последнего безмятежного утра. Как всегда, прикидывалась сонной девчушкой: сопела, вздыхала, тыкалась носом, шептала глупости, прекрасно зная, что ее муж — седой, суровый, с фронтовым шрамом на груди и ответственностью за огромный заводиче — теряет голову от любви. В эти короткие утренние минуты у него можно было просить все — и он бы сделал все, — но Надя никогда ни о чем не просила. Просто знала свое утреннее могущество и упивалась им: для полного счастья оказалось достаточно одной уверенности в себе.

Потом он лежал на спине, а она, прижавшись щекой к его плечу, слушала, как медленно затихает бешеный стук сердца. Сергей Алексеевич был на двадцать два года старше, но в эти минуты старшей становилась Надя. И, уловив, что

ритм правилен, а частота ослабевает, чуть касалась губами голубоватых жилок на виске и выскальзывала из-под одеяла.

А он приоткрывал глаза. Это выглядело странно: шесть лет они были женаты, и шесть лет он подглядывал за нею. И Надя знала, что он подглядывает, но делала вид, что ничего не замечает, и одевалась так, будто он крепко спит. Но именно оттого, что она знала, как он сейчас на нее смотрит, в ее движениях появлялась особая женская гибкость. Даже в таком обыденном деле, как утреннее одевание, Надя была сосредоточенной и разной: по-девчоночьи — спереди, а не сзади — застегивала лифчик и сердилась на колготки; по-женски ловко управлялась с платьем. Отбросив за спину густые светлые волосы — дважды в месяц она мыла их с подсушенным черным хлебом, — улыбалась его прищуренным глазам и уходила на кухню. И этим кончалась ночь.

Сидели за завтраком, пока за Сергеем Алексеевичем не приходила служебная машина. Надя поправляла ему галстук, проверяла, взял ли он чистый носовой платок, очки, записную книжку, и целовала на пороге. А когда машина отъезжала, из своей комнаты появлялась Ленка.

Девочке было около пяти, когда при вторых родах умерла ее мать, и Сергей Алексеевич долго испытывал неискупное чувство вины. А через десять лет без удержу влюбился в машинистку из московского главка. И Надя сразу все поняла, мудро не претендуя ни на память, ни на особые привилегии, что и позволило ей вскоре стать если не близкой подружкой, то доброй приятельницей своей падчерицы, которая была всего-то на восемь лет младше.

В тот день, накормив Ленку завтраком и спровадив ее в институт, Надя пошла в химчистку и по магазинам; встречала знакомых, болтала ни о чем. Вернувшись, поставила обед, и тут к ней ввалилась трешотка Наталья — соседка по лестничной площадке — с австрийскими туфлями, которые прислал Наташке брат, а у нее располнели ноги. Они мерили туфли и даже лили в них водку, но туфли все равно Наталье на ноги не налезали. Очень приличные туфельки, модные, удлиненные, с удобным каблучком, и сидели на Надиных ножках будто влитые, но Наталья не предлагала и все пыталась запихать в них свои сороковые. И тут позвонил Сергей Алексеевич.

— Приехал товарищ из московского НИИ. Нет, не Федор Иванович, Федора Ивановича уже с почетом на пенсию проводили. Другой товарищ на связи с нами, приготовь что-нибудь к ужину.

Нет, и тогда еще не кончилось счастье. Она готовилась

встретить гостя со всем старанием молодой хозяйки и любимой жены: сочиняла салаты, больше сообразуясь с собственным вдохновением, чем с кулинарной книгой; испекла пирог по такому же методу; навела красоту и надела то платье, которое нравилось мужу. И с открытой улыбкой рванулась к дверям, когда позвонили.

— Дорогая, позволь представить тебе Игоря Антоновича.

И Надина улыбка окаменела: перед нею стоял Гога. Сколько лет они не виделись? Семь? Восемь? Нет, нет, семь. Семь с половиной, если быть точной. А он погрузнел, по-солиднел, кажется, чуть полысел, ведь ему за сорок. Нажил брюшко, степенность, усталый взгляд и положение, раз прислали вместо Федора Ивановича. Сердце замерло, она что-то бормотала, не слыша собственных слов, и очнулась, заметив едва уловимое: он и прежде чуть подмигивал левым глазом: «Порядок, девочка, не суетись...»

— Очень рада,— повторила она.— Прощу, Игорь Антонович.

И тут же сбежала на кухню, сославшись на хозяйские хлопоты. Надо было оценить внезапное появление этого гостя в ее степенном семейном доме, понять, как следует вести себя, как успеть первой сознаться в знакомстве, если гость вдруг решит предаться воспоминаниям. Хотя вряд ли: он подмигнул, обещая хранить тайны. А Гога умел хранить их, так и не похваставшись никому, что был ее любовником.

Только окончательно успокоившись и продумав, как вести застольную беседу, Надя решила вернуться. Заставив себя улыбаться самой обворожительной из хозяйских улыбок, вошла, готовая говорить что-то необязательное, но мужчины вели деловой разговор, и Надя с огромным облегчением начала накрывать на стол.

— Вы — головное НИИ, и согласно договору наш завод обязан обеспечивать вас производственной базой.— Сергей Алексеевич говорил спокойно, и только Надя могла уловить чуть слышный металл в его голосе.— Не следует останавливаться на том, что зафиксировано документом,— это не подлежит обсуждению. А вот предложенный вами агрегат — подлежит, и тут наши эксперты не только могут, но и обязаны сказать свое слово.

— Сказали уже,— криво усмехнулся гость.— Вы, естественно, читали их заключение? Это же смертный приговор нашей годичной работе: на улице — октябрь, и мы физически не сможем переделать проект в этом году.

— Его нельзя переделывать. Его надо делать заново, от нуля.

— И это говорит руководитель! — театрально воскликнул Игорь Антонович. — А план? Обязательства? Соревнование? Премииальные, тринадцатая зарплата, начисления за освоение новой техники? Вы же одним росчерком пера лишаете нас всего!

— Извините, — сказал хозяин. — Я должен помочь жене.

Сергей Алексеевич полагал, что ушел от неприятного разговора, но Надя хорошо знала бульдожью хватку Гоги. Он всегда добивался своего, он и ее-то добился только потому, что обладал упорством, перед которым трудно было устоять. И сейчас выжидающе поддакивал, слушая рассказы о местных достопримечательностях, а когда выпили, усмехнулся так, будто его вдруг осенило:

— А ведь я понял истинную причину вашего отказа, Сергей Алексеевич. Наш агрегат требует высокой точности, с которой вам не хочется связываться.

— Ваш агрегат — вчерашний день, — резче, чем собирався, сказал директор. — Вас обязали в соответствии с решением пленума, а вы, не долго думая, скопировали изделие западных немцев, не потрудившись даже узнать, по какой причине немцы сами прекратили производство. Если НИИ нужна справка на сей предмет, завтра же мои работники ее подготовят.

— НИИ необходимо запустить свою работу в производство не позднее первого января следующего года, — негромко сказал Игорь Антонович, в упор глядя при этом на Надю. — Мы готовы подписать обязательство о доводке конструкции, но запустить нас в производство надо этим годом, иначе вся наша программа окажется под откосом...

Господи, почему он смотрит на нее? Надя опустила ресницы, вновь вскинула и вновь встретила его изучающий взгляд. На какое-то мгновение ей вдруг стало страшно, но она пересилила себя и улыбнулась.

— Вы не пробовали этот салат, Игорь Антонович.

— Благодарю, это очень вкусно, — гость говорил сухо и напряженно. — В будущем году нашему шефу стукнет шесть десятков: хорошенький юбилей вы ему устройте, Сергей Алексеевич.

— Поймите, Игорь Антонович, это же невозможно! — хозяин отбросил скомканную салфетку. — Запустить в производство заведомо негодную конструкцию только потому, что вашему шефу исполнится шестьдесят, извините, это... Это безнравственно.

— Безнравственно? — точно вслушиваясь в звучание, протянул гость и неожиданно улыбнулся. — Вы тоже считаете, что это безнравственно, Надежда Васильевна?

— Извините, я не следила за вашим спором, — сказала Надя, поспешно вставая. — Позвольте я переменю тарелки.

Она ухаживала машинально: все силы уходили на то, чтобы не покраснеть. В ушах стоял звон, все плыло перед глазами, но она справилась, не покраснела и расслышала голос Игоря Антоновича. Кажется, он уже перестал уговаривать хозяина, болтал о чем-то совсем ином; легко болтал, непринужденно, а к ней обратился вдруг и вроде бы ни с того ни с сего:

— Сергей Алексеевич говорил, что вы учились в Москве, в ГИТИСе, Надежда Васильевна? Вы не знали случайно Николая Мироновича Кудряшова? Нет? Жаль, очень любопытный товарищ этот «папа Коля», как его называла последняя пассия...

Господи, все-таки на свете есть еще чудо: зазвонил телефон, и Надя ринулась в прихожую. «Зачем? Зачем он вспоминает давно ушедшее? И зачем она, дурачась, так часто называла мужа «папа Сережа»...»

— Не ушел еще гость? — болтала тем временем по телефону Ленка. — Надь, я у Машки, звони, если осложнения.

Надя заставила себя вернуться в комнату, заставила улыбаться. А сама с ужасом думала, что еще успел сказать Гога, пока она говорила с Ленкой.

— Барин, жуир, эрудит — словом, у него было чем кружить головы двадцатилетним дурешкам, — как ни в чем не бывало продолжал Игорь Антонович. — Для него это была игра, спорт, способ самоутверждения: он за вечер отбивал девчонку у любого. И представляете, этот любимец женщин и баловень судьбы влюбляется в свои пятьдесят, как в восемнадцать.

Сергей Алексеевич слушал вежливо, но ему было неинтересно: Надя поняла это и обрадовалась, как школьница. Зря, Гога, зря ты плетешь сеточку: хозяин не слышит, о чем ты токуешь.

— ...он называл ее Богиней. Она и в самом деле была хороша — с белой кожей, чудной фигуркой и теми бесенятами в глазах, мимо которых не в силах пройти ни один мужчина. И Кудряшов — режиссер с мировым именем, народный артист...

О, как хорошо она помнила день, когда познакомилась с этим артистом! Не только потому, что твердо рассчитывала на его помощь, но и потому, что это было престижно: Николай Миронович одним своим появлением в ее коротенькой пустынькой жизни возносил ее в иную, высшую элитную группу. Она сама пришла в кафе, куда он обычно

заглядывал, сумела отбиться от жаждущих усесться за ее столик и, увидев его в дверях, отчаянно замахала рукой.

— В чем дело, малыш? Так машут тонущие в море проходящему мимо кораблю.

— А я и есть тонущий в море, и мне страшно, если корабль пройдет мимо.

Она улыбнулась самой белоснежной из всех своих обещающих улыбок, и Кудряшов сел за ее столик. Сердце Нади билось с невероятной частотой, но она так просто и естественно повела разговор, что Николай Миронович ни в тот день, ни в последующие уже не отходил от нее ни на шаг.

— Смешно, но ты — моя последняя любовь. Это сильнее, чем первая, поверь: расставшись с первой, мужчина сохраняет уверенность, но теряя последнюю, он теряет все. Смысл жизни, веру в себя, радость существования...

Она многое перенесла, многое перетерпела и многое передумала, когда Кудряшов оставил ее. Пусть по ее вине, но оставил сразу, вдруг, посреди улицы. Ушел, не оглянувшись, и она тоже ушла из того мира, сменила профессию, устроилась на работу и через шесть лет после того ужаса на улице сумела добиться, чтобы еще раз услышать:

— Вы — моя последняя любовь, Надя.

Так сказал Сергей Алексеевич, предлагая руку, а не горьковатый статус любовницы. В нем было то, в чем так нуждалась она всю свою жизнь: надежность. Истинная мужская надежность, о которой мечтают все женщины мира. И она стала женой, преданной, бесконечно благодарной женой и другом его взрослой дочери. Так что давай, Гога, трепись, намекай, посмеивайся: здесь не пройдут твои номера.

— Николай Миронович любил, например, утверждать, что человечество все способно переварить: агрессию, трансгрессию, революцию, контрреволюцию, атомные бомбы и демографические взрывы. Но унификация женщин для него — смерть. Общество развивалось миллионлетия, начала его в такой седой дремучести, куда никто никогда не заглянет. И если уж человек духовный четко определил, что женщины делятся на Матерей и Богинь, то за этим стоит природное естество, а отнюдь не социальное неравенство. Как вам нравится тезис, Сергей Алексеевич?

— Я далек от подобных проблем.

— Но именно эта проблема имеет самое непосредственное отношение к нравственности. В самом деле, чем измерить нравственность? Процентом уголовных преступлений? Абсурд, это — за чертой. Вы скажете: честностью, добросовестностью, трудолюбием и так далее, но ведь это все — вторичные признаки.

— Не думаю, чтобы честность и трудолюбие являлись вторичными признаками нравственности.

— А не кажется ли вам, что в основе нравственности лежит отношение к женщине? Если общество ставит Мать и Любовь на недосыгаемые пьедесталы — я уверен в его нравственности. Но если имя матери человеческой превращено в пьяную брань, а на любовь указывают пальцем, я начинаю мечтать о машине времени...

О, Надя наизусть знала то, что излагал Игорь Антонович: Кудряшов любил витийствовать. Но она никак не могла понять, зачем Гога преподносит эту болтовню вежливо слушающему хозяину, и совсем успокоилась, хотя какая-то досадная ссадина все же осталась в душе. А на следующий день раздался телефонный звонок, и вкрадчивый, до омерзения знакомый голос сказал:

— Ну здравствуй, Богиня. Рад был видеть тебя красивой, любимой и, кажется, счастливой. Я не ошибся на сей счет? Что же ты молчишь?

— Да,— перехваченным голосом сказала она и опустилась на стул.

Из своей комнаты выглянула полуголая Ленка: отец был на работе, и она остывала после ванны.

— Тебе плохо?

Надя отчаянно затрясла головой, изобразила улыбку, и Ленка, к счастью, скрылась. А Гога продолжал с нарастающим нажимом:

— Не рвешься повидаться? Ну, ну, перестань изображать раздумья, мы так хорошо понимали друг друга. Нет, ты мне не нужна как женщина, не беспокойся. Ты мне нужна исключительно как друг, товарищ и брательник.

— Это невозможно,— тихо сказала она, прикрыв трубку рукой.

— Придумай, у тебя это неплохо получалось. Мой номер — триста девятнадцатый. Жду звонка.

Единственное место — кафе-мороженое, потому что отказать от свидания опасно: черт его знает, что еще ляпнет Гога. Значит, кафе: Надя иногда заходила в него, и ее появление не должно привлечь внимания. А Гоге следует появиться чуть погодя, будто бы случайно. Увидеть ее и громко удивиться. Надя продумала все, уже одеваясь и наводя красоту. Позвонила по автомату, уточнила время; Гога появился точно, как появлялся когда-то. Он громко удивился, громко испросил разрешения сесть за ее столик и заказал шампанское.

— Помнится, ты любила его. Интересно, счастливое замужество меняет вкусы?

— Безусловно. Мне, например, совсем не хочется видеть тебя.

— Благодарю за откровенность,— он улыбнулся.— Сначала выпьем, как говорится, со свиданьцем, а затем я тебе кое-что изложу. За тебя.

Он залпом осушил бокал, Надя к своему не притронулась. «Что ему нужно? — думала она, стараясь сохранить на лице безмятежную улыбку.— Надеется переспать? Или что-то потребовалось Кудряшову? Что?..»

— Хочу сразу признаться, что женился, остепенился, продвигаюсь по служебному эскалатору и весьма это ценю,— начал он, потемнев неизвестностью.— Шеф оказал мне гигантское доверие, откомандировав сюда: замечаешь, я пружу к цели, как бык на тореро? Тебя это не удивляет?

— Настораживает,— сказала она.— Ты всегда предпочитал исподтишка подкладывать свинью ближнему.

— Вспомнила о рожках папы Коли? — он рассмеялся.— Это внушает мне уверенность в нашем благотворном сотрудничестве.

— С тобой?

— Со мной. Твой супруг упрям, как мул, и мне одному с ним не совладать.

— Всего доброго,— Надя встала.— Рада была повидать тебя и выражаю твердую уверенность, что более никогда не увижу.

— Не спеши,— он понизил голос.— Не в твоих интересах ссориться со мной.

— Не пугай, я не боюсь тебя.

— А зачем же меня бояться? Я человек мирный, семейный, подающий надежды кандидат технаук. Ты не меня бойся, ты себя бойся. Знаешь, когда богини гибнут? Когда спотыкаются. Шалила богиня, шалила и шлепнулась в грязь — забавный вариант, правда? Шлеп, и нет никакой богини, а есть грязная баба. Садись.

Он сказал тихо, но Надя сразу села, ощутив слабость во всем теле. Будто распахнули настезь и вынули все силы.

— Что тебе надо?

— Для начала, чтобы ты выпила и обрела способность трезво взвешивать обстоятельства.

Она покорно выпила и даже заставила себя улыбнуться. Только улыбка вышла мелкой и чуть заискивающей. И повторила слово в слово:

— Что тебе надо?

— Лично мне — ничего,— Гога разлил шампанское.— А вот НИИ нужно закрыть план, отчитаться с максимальной помпой и получить полновесные премии, прогрессивки

и прочие виды финансовой поддержки преуспевающей интеллигенции.

— Я не понимаю, о чем ты, совершенно не понимаю. То есть соображаю, что нагло шантажируешь, но цель? Должна же существовать хоть какая-то цель.

— Объясняю для общего развития. Родимый коллектив получил задание разработать и внедрить — учти, внедрить! — некую хреновину для сельских тружеников. Мы разработали, но внедрить, увы, может только твой миллига старикан, поскольку он — директор завода. А он заартачился, и все пойдет прахом, а я слечу на пару ступенек...

— Надя?

Надежда вздрогнула: к их столику шла Ленка с подругой. Игорь Антонович замолчал, улыбаясь самой добродушной из своих улыбок.

— Ленка? — Надя всеми силами старалась скрыть растерянность. — А почему ты не на занятиях?

— Никуда институт не убежит, особенно если он при заводе. — Ленка во все глаза разглядывала Гогу. — Вот мы с Машкой и решили угостить себя мороженым.

— Один момент! — радостно воскликнул Игорь Антонович. — Присаживайтесь, девочки.

И сам ринулся разыскивать официантку: видно, ему тоже требовалось осмыслить ситуацию. Подружки сели, Ленка недовольно поинтересовалась:

— Это что еще за тип?

— Командированный, — почти спокойно сказала Надежда. — Он вчера был у нас в гостях.

Девочки угощались мороженым, Игорь Антонович непринужденно болтал, а Надя то решала немедленно встать и уйти, то включалась в общий разговор, страхась оставлять Гогу с глазу на глаз с дочерью собственного мужа. Так и проколебалась, пока девочки не заторопились в институт.

— Я с вами, Ленка.

Игорь Антонович вежливо распрощался, многозначительно сказав:

— Стало быть, с вашего разрешения я позвоню, Надежда Васильевна.

Немного проведив Ленку с подружкой, Надя сразу же бросилась домой: боялась, что Гога позвонит, когда Сергей Алексеевич придет на обед. Муж приехал вовремя; она кормила его, что-то болтала, смеялась, а сама все время ожидала, что вот-вот зазвонит телефон. Но звонка не последовало, обед прошел, Сергей Алексеевич уехал на работу, и Надя вдруг успокоилась. Ну что, что может рассказать Гога ее мужу? Что она была любовницей Кудряшова? Да

она рассмеется в ответ на эти слова, и тогда мы еще поглядим, кому поверит муж: горячо любимой жене или случайному командированному...

— А ведь и правда! — рассмеялся Гога, когда она выпалила эти доводы ему по телефону. — Ты умна, как никогда ранее. Только как по-твоему, откуда я знаю, что у тебя на левой грудке — родимое пятнышко? Подглядел на пляже? Допустим. А откуда мне известно, как ты шуришься в самые горячие мгновения, как закидываешь руки и какие именно слова шепчешь при этом?

— Подлец! — крикнула она, швырнув трубку на рычаг.

И заплакала горько и бессильно. Здесь уж она никак не могла рассмеяться, сказать: «Он лжет, Сергей!» — потому что и вправду совершенно по-особому шурилась, забрасывала руки за голову, теребя собственные волосы, и всегда шептала одни и те же слова, которые так нравились Сергею Алексеичу. А телефон не умолкал, она знала, что это — Гога, не брала трубку и отчаянно рыдала. Потом кое-как успокоилась и взяла трубку.

— Еще раз бросишь трубку — позвоню супругу. Все поняла?

Она молчала, осторожно, чтобы он не услышал, всхлипывая и утирая слезы.

— Не реви, — вдруг мягко сказал он. — Я совсем не хочу причинять тебе неприятностей, поверь. Мне нужно только, чтобы твой муж отдал приказ о запуске опытной серии, вот и все. И я исчезну навсегда.

— Но как, как я могу уговорить его, как? — почти со стоном выкрикнула она.

— Ой, Надежда, не надо строить из себя замужнюю скромницу. У тебя высшее женское образование, а обаяния — на триста тридцать обыкновенных баб. Включай все свое искусство, доводи старика до кондиции, а в награду требуй приказ.

— Но это же невозможно, Гога, это невозможно! Откуда мне известно о ваших делах, почему я вдруг прошу о приказе? Нет, нет, это невозможно!

— Ночь на размышление, — сухо сказал он, помолчав. — Завтра в двенадцать жду в гостинице.

— Это невысказано. Меня знают...

— Ровно в двенадцать ты стучишь в мой номер. Мы разрабатываем диспозицию, за ночь ты добиваешься результата, а послезавтра я отчаливаю. Привет.

Всю ночь она не закрывала глаз, впервые с облегчением подумав, что педантизм мужа, порою так огорчавший ее, обернулся вдруг доброй стороной: Сергей Алексеич свято

соблюдал режим и наведывался в спальню жены через два дня на третий. И все же Надя боялась зажечь свет или громко вздохнуть, чтобы ненароком не привлечь внимания храпевшего в соседней комнате мужа. Глядела в черный потолок, тихо вытирала слезы, беззвучно вздыхала и все время думала, что же, в сущности, произошло и почему именно ей выпало рассчитываться за всех.

А как безоблачно начиналась жизнь! Детство на далекой заставе, где она — Надя, Наденька, Надюшенька — была единственным ребенком, которого баловали все от матери до солдатского повара. Братья ее уже жили в интернате, а ее учили музыке, стихам и танцам стосковавшиеся по собственным детям офицерские жены: их дети тоже переселились в интернат, так как школы при заставе не было. Надя с детства боялась этого неминуемого переселения, но ей и тут повезло: отца вдруг перевели в городишко, где имелась нормальная школа. Там Надя ее и закончила, оставшись всеобщей любимицей, баловницей, красавицей и примером, поскольку умела петь, танцевать сутки напролет, двигаться, не касаясь земли, и смеяться всем своим существом одновременно. «Наша Наденька непременно станет артисткой», — единодушно утверждал чувствительный зал Дома офицеров, где она вела все концерты и вечера, пела и танцевала, читала Щипачева и Есенина и играла все главные роли. Вокруг с девятого класса уже роились молодые лейтенанты, но Надя, с упоением кокетничая, ясно представляла, что роль офицерской жены не для нее, что ее доля — театр, восторги публики и вся Москва у ног. И, закончив школу с золотой медалью, сломя голову помчалась на московский поезд.

То ли от природы, то ли оттого что выросла она в замкнутом мирке, где чувствам придавалось преувеличенное значение, а мужчин всегда было заведомо больше, Надя обладала повышенной реакцией на взгляды и редкостным умением безошибочно расшифровывать их. Именно в этом заключался ее талант, именно в этом она была на семь голов выше сверстниц и, когда провалилась на третьем, решающем туре, не ударилась в рев, а уловила взгляд немолодого метра.

«Плохи твои дела, девочка, — сказал он, когда Надя дождалась его у подъезда. — Может быть, обсудим возможности за ужином?»

— «Конечно!» — изо всех сил улыбнулась она.

Ночи, проведенные в чужой постели, основательно познакомили ее с чувством омерзения, но зато Надя благополучно была допущена, сдала экзамены и стала студенткой.

«За все надо платить» — таков был первый постулат, выученный ею, и она платила. Но мечта сбылась, в далеком военном городке искренне радовались родные и знакомые, и все складывалось прекрасно. Только от занятия к занятию мастер все дальше и дальше отодвигал Надю, сначала давая ей второстепенные роли, потом — эпизодические, а затем твердо закрепив за нею амплу «кушать подано». Но раньше, чем это произошло, Надя ясно поняла, что никакая она не актриса, что природная живость и даже ее редкое женское обаяние столь же далеки от истинного таланта, сколь далек был простодушный мир военного городка от общежития на Трифоновской, где судили по гамбургскому счету. «Значит, придется платить дороже», — уже без особых переживаний решила она, но никакая плата не могла обеспечить ей места в столичном театре. В провинцию Надя ехать не пожелала, ушла на свободный диплом, пробавляясь случайными заработками на радио и телевидении, и именно в то трудное и обидное время с ослепляющей улыбкой замахала рукой Николаю Мироновичу Кудряшову.

— Девочка, — сказал он, когда она впервые переступила порог его холостяцкой квартиры. — Прежде, чем что-то произойдет, я хочу, чтобы ты усвоила две аксиомы. Первое, я никогда на тебе не женюсь, потому что на таких не женятся. И второе, если ты хоть раз предпочтешь меня кому бы то ни было, мы расстанемся сразу.

«Не женятся? — Надя только улыбнулась. — На «таких» — да, но на мне ты женишься. И женишься, и устроишь в театр, и сделаешь все, что я захочу». Для этой программы предстояло влюбить в себя Кудряшова, и она влюбила, и стала Богиней, но дальше цветов, ужинов, подарков и поклонения дело не шло. «Ты прелестна, Богиня, но тебе нечего делать в театре, а краснеть за тебя я не хочу». Никакое кокетство, никакие безумства и нежности не могли поколебать его решения: он любил театр больше, чем ее. С трудом осознав это, Надя отплакалась и ринулась в бой за семейное благополучие. И здесь прозвучало столь же твердое «Нет», и тогда она назло уступила Гоге. Там, в Суздале, но про Суздаль Кудряшов или не узнал, или сделал вид, что не узнал, но когда они с Гогой рискнули продолжить свои отношения в Москве, в семь утра Николай Миронович позвонил в дверь квартиры, которую снимал для нее. Естественно, она не открыла, все было кончено сразу и навсегда.

Это был самый страшный год в ее жизни: у нее уже не оставалось сил, чтобы начинать все сначала. Пометавшись, пошла на курсы, нигде не появлялась и через три месяца

оказалась совсем в иной среде: в главке министерства, где ее никто не мог знать и где можно было придумать себе любую биографию. Она придумала, нырнула в новую жизнь, и эта новая жизнь в конце концов вознаградила ее любовью, семьей, прочным положением и полным ощущением счастья. И вдруг появился Гога, и сейчас, лежа без сна, Надя с бессильным отчаянием думала, что страшным был не год — страшным будет день. И начинала метаться в скомканных простынях, все время помня, что нельзя зареветь в голос, застонать или просто попросить помощи у ничего не подозревавшего мужа, чей покойный храп доносился из соседней комнаты. «Но почему, почему именно Гога оказался тут? Это какая-то чушь, это неправда, этого не может быть!...» Но Надя сама же глушила свой внутренний вопль, потому что из всех знакомых Кудряшова в этом далеком от Москвы городе мог оказаться только он, Гога, Игорь Антонович. Он был единственным технарем в их компании и вечно ремонтировал, регулировал и подкрашивал «Волгу» Николая Мироновича. И возил его Богиню по комиссиям, пока однажды не увез в Суздаль... Она-то, идиотка, была убеждена, что ушла от прошлого, а прошлое, оказывается, все время шло по пятам...

К утру она кое-как забылась, впервые не проводила мужа на работу, а проснувшись, решила идти к Наталье. В конце концов не на одних же тряпках основывается дружба: Надя очень рассчитывала если не на совет — что уж тут посоветуешь? — то хотя бы на сочувствие и, может быть, даже помощь, если она все же решится кое-что рассказать своему Сергею Алексеевичу. И она сама напросилась к Наталье, не успев сообразить, что этим настораживает ее: неофициальный, но весьма чтимый этикет требовал, чтобы жена начальника цеха напрашивалась в гости к супруге директора завода, где подобные начальники исчислялись десятками. И Наталья сразу раскудаhtалась, замельтешила, кинулась варить кофе и даже достала коньяк, приберегаемый для особых гостей.

— Знаешь, Наденька, когда мой был простым сменным инженером, мы еле сводили концы с концами, а времени хватало и на концерты, и на литературу, и на гостей. Конечно, я не сравниваю, ни в коем случае не сравниваю, но вы как-то выкраиваете время, к вам ходят гости...

Из такого начала следовало, что Наталья засекала появление Игоря Антоновича и сгорает от любопытства. Но Надя не обратила внимания на это остренькое любопытство, приняла разговор буквально, ощутив в нем желание понять ее растерянность, посочувствовать, помочь, и тут же стала

рассказывать, как была поражена, узнав в московском командированном свидетеля юных лет.

— У тебя с ним было что, было, да? — зачастила Наталья. — Ой, я тебя понимаю, так понимаю! И долго у вас тянулось? Это ужасно, ужасно! Он что же, в женихах ходил или вы так, по согласию? Знаешь, теперь такое — сплошь да рядом. Вот моя двоюродная сестра...

Надя почувствовала не интонацию, а взгляд. Пронзительный, игольчатый взгляд, в котором не было ничего, кроме нетерпеливого любопытства. И еще — торжества, что ли. Она была не очень-то умна, эта Наташка, и ее уже трясло от сенсации, от факта, что с этого часа она становится доверенным лицом, ближайшей подругой и наперсницей жены самого директора. От возможностей, какие обещала ей такая интимная доверительность, захватывало дух.

— Встретить бывшего мальчика в нашем с тобой положении — это кошмар. Кошмар, Наденька, я тебя понимаю, и у меня есть...

— Что? — тяжело, тупо переспросила Надежда. — Какой мальчик, какие кошмары? — Встала, пошла к дверям; уже держась за ручку, обернулась, сказала весомо: — Твое счастье, что Сергей Алексеевич не слышал твоих намеков. А если услышит?

Как ей ни было тяжело, она не имела права ставить служебный и человеческий авторитет директора завода в зависимость от болтовни соседок. Это было недопустимо, немыслимо, и Надя благодарила судьбу, что вовремя спохватилась, заметив сухонько засверкавшие глазки, и ругала себя, что потеряла голову, чудом не выболтала то, что никто, ни одна живая душа не должна была знать. И еще поняла, что осталась одна, что во всем заводском поселке нет ни одного человека, с которым она могла бы посоветоваться, поделиться, вместе поплакать, наконец. Ледяным холодом обдало ее от этого открытия, но тут та великая богиня, имя которой она носила, шепнула: «А Ленка? Отцовская любимица, умница Ленка...» Все это пронеслось в голове, пока Надя шла через лестничную площадку. Мелькнуло разом, озарило и успокоило: Ленка! И Надя открыла дверь с истинной верой, что нашла наконец-таки якорь спасения.

И Ленка была еще дома: раскрытая сумка валялась на подзеркальнике. Надя сочла это добрым знаком и крикнула почти весело, почти как сутки назад:

— Ленок!

— Не выходит у меня из головы этот тип в кафе, — тотчас же откликнулась Ленка, появляясь в дверях своей

комнаты.— Этаким столичный пошляк, согласна? Он же буквально ползал по тебе глазами, а ты... Он что, знал тебя раньше?

— Нет, что ты,— поспешно отреклась Надя, опять ощутив ледяную волну безысходности.— Он папин знакомый из...

Она замолчала, не желая наводить Ленку на мысли о московском периоде своей жизни. Но Ленка не заметила заминки: она обличала и была чрезвычайно довольна своей принципиальной позицией.

— Гадостная какая физиономия, так бы и влепила пощечину. Таких нужно сразу ставить на место, а ты распиваешь с ним шампанское. И где? В кафе, где каждый знает папу!

— Да, да,— упавшим голосом забормотала Надя.— Ты совершенно права, я виновата, я...

— Ты извини,— мягко сказала Ленка и ткнулась лбом в плечо.— Ну, пожалуйста. Я не хотела тебя обидеть, просто я здесь выросла, знаю, как тут обожают всяческие слухи, а мне очень дорого папино имя. Я помчалась в институт,— она чмокнула Надю, схватила сумку.— А он все равно отвратительный тип!

Она и вправду умчалась, взвихрив покой прихожей, а Надежда рухнула на стул и разрыдалась в голос впервые за эти проклятые сутки. «Что делать? Что делать? Что мне делать? — жалобно шептала она, перекатываясь лбом по холодному полированному подзеркальнику.— Господи, если бы я умела молиться. Что хочешь возьми, господи, только спаси меня, спаси, спаси меня!..» Часы в большой комнате гулко пробили один раз, половину, и она сразу опомнилась. Испуганно глянула на свои электронные — подарок мужа к дню рождения. Было ровно половина двенадцатого, и Надежда, сразу забыв о слезах и молитвах, ринулась в ванную умываться и наводить красоту.

Она ворвалась в вестибюль гостиницы с разбега, со всей быстротой, на какую только была способна. Лифта внизу не оказалось, и Надя помчалась на четвертый этаж, не касаясь ступенек. И без стука распахнула дверь его номера.

— Ты непривычно пунктуальна, но прекрасна, как всегда,— улыбнулся Игорь Антонович.

Он был в рубашке без галстука и грел кипяильником воду в эмалированной кружке. На столе лежала московская коробка конфет, стояла бутылка сухого вина и два стакана. «Ждал,— Надя мгновенно оценила обстановку.— Не терпится, Гога? Ну ладненько, хоть и противно, потом отыграемся...»

— Располагайся, я заварю чаек. Скромное угощение командированного.

«Отыграемся,— зло повторила она про себя.— Ты у меня из постели позвонишь Сергею и скажешь, что не имеешь к нему никаких претензий». Все правильно, все до отвращения банально, и хорошо, что она подсознательно предусмотрела и такой вариант. Платье само падало к ногам, стоило только «чиркнуть» молнией. Рубашек Надя никогда не носила, даже в лютые морозы; когда Гога оглянулся, она стояла посреди комнаты, подрагивая коленками и непривычно торопясь расстегивала лифчик. Встретив его взгляд, улыбнулась, пытаясь воспроизвести былую завлекательную бесшабашность, но улыбка вышла гипсовой, как у манекена.

— Ну-ка, помогай,— как можно отчаяннее сказала она, а голос сфальшивил.— Или ты разучился раздевать женщин?

— До чего же ты хороша, чертовка,— невесело вздохнул Гога.— Меня тащит с такой силой, что еще секунда, и ноги сами заскользят к тебе. И если бы я решал личные проблемы... Э, да что говорить! Одевайся. Немедленно!

Отвернулся к окну, закурил, и вся его напряженная спина вбирала, впитывала в себя эту полураздетую женщину: даже плечи свело. Но он не оглянулся, хотя Надя медлила, не желая верить, что ее отвергли, что вся ее сила, ее всесокрушающая мощь сегодня выпалила вхолостую.

— Ладно, дай закурить,— тускло сказала она наконец.

Тогда он оглянулся: Надя сидела в кресле, закинув ногу на ногу и раскачивая носком туфли. Все на ней было в порядке, и Гога, облегченно вздохнув, сел напротив и протянул сигареты.

— Мне показалось, что ты уже не куришь.

— Бросила пять лет назад,— она прикурила, откинулась к спинке кресла.— Чего же ты хочешь, Гога?

— Для себя ничего решительно.— Он тоже закурил и говорил неторопливо и обдуманно.— Мне очень жаль, что получилось так, но я говорю правду. Я не просто хорошо к тебе отношусь, я нежно отношусь, поверь. Но ты должна понять и помочь. Понять и помочь: я не имею права вернуться несолоно хлебавши.

Он сделал паузу, но Надя промолчала. Гога налил вина, она выпила залпом и снова схватилась за сигарету. Она уже отвыкла от дыма, голова ее кружилась, но сигарета отвлекла и делала ее как бы независимой.

— Хочешь чаю?

— Нет. Вина.

Он снова налил, и она снова выпила залпом. Он усмехнулся:

— Мечтаешь забалдеть и отключиться?

— Мечтаю понять, за что.

— Да пойми же ты, что я не хочу причинять тебе никаких неприятностей! — заорал он почти в отчаянии. — Ты никак не желаешь стать на мое место, а мне еле-еле простили грешки молодости. Да, да, что ты смотришь синими брызгами? За все приходится платить.

— И ты хочешь, что я оплатила все твои грехи и удовольствия? Всю жизнь вы пользовались мной, всю мою проклятую жизнь!

Она заплакала, некрасиво всхлипывая, размазывая потекшую тушь. Гога долго смотрел на нее, брезгливо подбирая губы.

— Ты пьяна.

— Это какая-то ошибка, какая-то ерунда, я ничего не понимаю. Тебе велел это сделать Кудряшов? О, я бы ни-сколечко не удивилась, если бы ты признался...

— Он мертв.

— Что? — она сразу перестала всхлипывать.

— Он врзался в самосвал. «Волга» в гармошку, тело пришлось извлекать автогеном. Мне все кажется, что он убежал от тебя.

Надя больше не плакала. Сидела не шевелясь, тупо глядя в пол, на щеках подсыхала размазанная тушь.

— Когда это случилось?

— Надо читать «Советскую культуру».

— Мы выписываем «Социалистическую индустрию». Впрочем, мне все равно.

— Ну, тогда пойдти умойся.

— Что? — она медленно подняла голову. — Ну, а ты-то за что меня, а? Что я сделала тебе плохого?

— Ты идиотка? — закричал он. — Я все время толкую, что мне лично, мне, Гоге, ничего от тебя не нужно. Ничего, усекла? Нужно для дела, для программы, для родного НИИ, чтоб он сгорел. Обществу это нужно, выражаясь высоким стилем. Заруби это в мозгу и топай умываться.

— Значит, Кудряшов разбился, — Надя вздохнула. — А знаешь, мне не жалко. Да, не жалко! Он вдосталь пользовался мной, но так и не предложил выйти замуж. «На таких не женятся!» Теперь он в могиле, а я счастлива. Я впервые люблю, слышишь, ты, подонок? Впервые!

— Врешь, — он улыбнулся. — Ты любишь давно, любишь со дня рождения — саму себя. Свое обаяние, свое тело, свой темперамент и, главное, свои удовольствия. Ты — безгрешная грешница, Надежда, недаром покойный Кудряшов называл тебя Богиней. Строго говоря, ты не изменяла ему со

мной, хотя он нас и застучал. И теперь ты толкуешь о любви? Окстись, ты просто неспособна существовать без трех любовников одновременно...

Стакан с остатками вина ударил в лицо, острый осколок врезался в щеку. Гога схватил полотенце, бросился в ванную.

— Психопатка! — кричал он, перекрывая шум воды. — Сходи к дежурной и приволоки лейкопластырь!

— Обойдешься.

Швырнув стакан, она вдруг успокоилась. Не пытаясь понять, почему пришло успокоение, а просто с огромным облегчением ощущая его, достала из сумочки зеркальце и начала наводить красоту. И руки ни разу не вздрогнули, когда она привычно подкрашивала ресницы.

Вскоре вернулся Гога. Рубашка была в бурых пятнах — то ли от вина, то ли от крови. На щеке под глазом — глубокий порез. Он все время прикладывал к нему мокрое полотенце.

— Ты рассадил мне щеку.

— Бедненький, — Надя кончиком языка тронула свежеподкрашенные губы. — Возвращайся к жене, она зализает твои раны. Кстати, можешь сообщить ей, как я смеюсь в постели и где у меня родинки.

— Я сообщу об этом твоему мужу.

— Сделай милость, не смейся. Ты проиграл, Гога, я уже все ему рассказала, и он ни за что не подпишет теперь твои паршивые бумажки. И твое родное НИИ вместо премии получит хорошую выволочку от министерства. Уж это я тебе устрою.

— Ты врешь, Надежда, — с ноткой беспокойства сказал он.

— Ну-ну. Блажен, кто верует.

Надя врала, но врала артистически, вдохновенно и зло, хотя ее трясло от суеверного ужаса, что этим враньем она непременно накликает беду. Но в этом ей виделся последний способ удержать Гогу.

— Ты врешь, — повторил он, испытующе глядя на нее. — Но даже если это и так, ничего не меняется. Завтра в одиннадцать сорок я приглашен к твоему супругу на прощальную беседу. Если он не вручит мне приказа о запуске нашей телеги в производство, я потрачу все драгоценные минуты на восторженный рассказ о его прелестной жене. А сейчас уходи. Уходи, если не хочешь скандала в гостинице.

Надя молча пошла к дверям, из последних сил стараясь идти легко, хотя коленки у нее подгибались.

— У тебя есть шанс,— сказал он в спину.— Повторяю: включай все свое искусство и вытяни из старика приказ. Ты можешь, если захочешь. Если очень захочешь.

Остаток дня тащился, как в дурном сне. Она не пошла домой к перерыву, не кормила мужа обедом, а бесцельно шаталась по улицам, где с нею здоровался каждый третий, что-то отвечая, бездумно улыбаясь, заходя в магазины без всякой цели. В голове было отчаянно пусто; она ни о чем не могла думать, и ей все время хотелось курить: казалось, что стоит взять в руки сигарету, как голова обретет ясность. Но покупать сигареты в заводском поселке, где ее знали как некурящую образцовую супругу, было почти невысказано. «Почти» — Надя все время учитывала это допущение, разыскивая табачный киоск подалее от людных кварталов. Но найти ничего не удалось, и она пошла в новый кинотеатр, где работал буфет. Дождавшись звонка на сеанс, воровато купила три пачки тугих безвкусных сигарет и целый час курила в дамском туалете. Накурившись до тошноты, успокоилась, внушив себе, что Гога просто запугивает, что хочет держать ее на крючке для каких-то завтрашних целей, что не посмеет он рисковать только-только завязанными отношениями и с заводом, и с его директором, от которого здесь зависело все. Нет, Гога не дурак; Гога — подлец, но свои интересы блюсти будет всегда, а потому и не скажет. Ничего не скажет, не посмеет, не пойдет дальше намеков, до разгадывания которых никогда не унижится ее Сергей Алексеевич. «Нет, этого не может быть, не может!» — почти кричала Надя. А выйдя на улицу, поняла вдруг, что ей не просто не хочется — ей невозможно встречаться сегодня с мужем. И даже остановилась, не зная, как быть, но вовремя сообразила, что сегодня четверг, а по четвергам — бюро, на котором обязан присутствовать директор, и что вернется он поэтом поздно. И придя домой — слава богу, Ленка опять слушала диски у подружки! — поспешно нырнула в постель и притворилась спящей. Этого не случалось прежде никогда, ни разу не случалось, и Надя очень боялась, что муж удивится, станет допытываться, не заболела ли, но Сергей Алексеевич лишь приоткрыл дверь, поглядел на нее и тихо прошел в свою комнату. И Надя опять беззвучно заплакала, давась слезами и задыхаясь от сжимавшего сердце чувства обреченности. Ведь еще ничего не произошло, ничего решительно, а ее прекрасная семейная жизнь так переменялась, что впору было заподозрить любовные шашни. Чтобы отвлечься, забыться, успокоиться, она стала вспоминать, как удивительно нежно и дружно жили они, пока в один проклятый день на пороге не возник Игорь Антонович, Гога,

будто и впрямь был командирован не из Москвы, а из прошлого по ее душу.

Забылась она на какое-то очень короткое время, проснувшись от безумного необъяснимого страха. Села, глядя расширенными глазами в серую мглу городской подсвеченной ночи, и сразу поняла: «Скажет!» Все доложит доверчивому, чистому, беспредельно верящему ей Сергею Алексеевичу. И тогда...

— Надюша, в нашей жизни должно быть соблюдено одно неперменное условие, — сказал он, как только ввел ее в свой дом. — Мы здесь — под увеличительным стеклом, на нас смотрят со всех сторон, и об этом приходится помнить постоянно, потому что никакой тени не может быть на нашей семье.

Никакой тени, а завтра Гога с подробностями расскажет о родинках, о смехе, о привычке закидывать руки — он расскажет все. Все огни и воды и медные трубы, которые прошла она с удовольствием и талантом, и тогда та робкая сказочка, которую сочинила она для Сергея Алексеевича еще в главке, из безвинной выдумки об обманутой женщине разом превратится в доказательство ее лживости. И она рухнет с пьедестала, на который женщину возводит не труд, не талант, не слава — возводит уважение мужчины. Богиня шлепнется в грязь, из которой ей уже не выбраться никогда. «Господи, ну, что делать, что делать, что делать?!..»

Осторожно, боясь скрипнуть кроватью, Надя вылезла из постели, босиком прокралась в большую комнату, служившую гостиной, столовой и даже примерочной, когда приходила портниха и начинался милый женский переполох. Ах, как давно это было, как давно и было ли вообще? Ощупью открыла бар, нашарила коньяк, но бутылка оказалась закупоренной, и пришлось, давась, глотать теплую водку. Ту самую, которую совсем недавно они с Натальей лили в тесные туфли и хохотали до слез, как девчонки, а теперь... Надя хотела объяснить самой себе, зачем пьет среди ночи, и не смогла: вдруг показалось, что станет легче, что отпустит сердце, что придет покой и сон, а утром все разрешится само собой. Она сделала три глотка, поставила бутылку на место, закрыла бар и, продолжая судорожно глотать, пошла на кухню. Выпила воды, отдышалась, но легче не стало. Тогда достала из сумочки сигареты и спички, заперлась в ванной и закурила. «Плохо твое дело, девочка, плохо твое дело... — повторяла она. — Плохо твое дело...» Откуда эта фраза? Ах да, семнадцать лет, провал на конкурсе, ужин в ресторане, пыльная квартира, из которой, казалось, полчаса назад выехала законная жена, и потные руки на своих

коленках. Вот тогда она и твердила его фразу себе самой: «Плохо твое дело, девочка». Твердила, а ее раздевали, и было до ужаса противно и мерзко, но разве могла она, звезда военного городка, «наша артистка», как ее называли, вернуться в ту жуткую гарнизонную дыру? И был только один выход, и она использовала его, и поступила, и закончила, и... Как называла ее супруга унылого начфина, мать двух тонконосых девиц, на которых не зарились даже солдаты второго года службы? «Артистка погорелого театра»? Глупо, а так оно и вышло. И опять — рестораны, ужины и чужие постели, которые всегда кажутся липкими. И — Кудряшов. Да, он разбился. Он бежал от нее, как сказал Гога, и это правда, от нее трудно убежать. Бездарная актриса? Как бы не так! Она всю жизнь играла влюбленных по уши юных дурешек, играла искренне, с удовольствием, и ей верили, если она хотела, чтобы ей верили, ибо один талант у нее все же есть. Талант от бога: женское обещающее обаяние. Огромной мощи обаяние, и никому еще не удавалось устоять, когда она бросала его в бой. С его помощью она всегда добивалась, чего хотела, всегда... Стоп, об этом говорил Гога.

Стоп, Богиня! Надо погасить сигарету, глянуться в зеркало. Нет, нет, никакого грима, чуть-чуть духов. Холодная? И прекрасно: заплакать, прижаться, попросить, чтоб согрел. Правда, сегодня не та ночь, это нарушение режима, который неукоснительно... Но к черту все режимы!..

— Надюша?

— Мне страшно. Мне страшно, па... Сережа, родной, мне так страшно и так холодно...

По лицу текли слезы. Он растроганно целовал ее, а она, по-детски всхлипывая, копошилась, устраиваясь поудобнее, прижимаясь застывшим телом. Полдела сделано: она — в постели, он не успел сообразить, не успел удивиться. Теперь чуть ласки: рассеянной, будто случайной, будто ненароком. Потом еще, потом — целая серия, безумства, страсть, порыв. И...

И Надя тихо плакала в ванной, так и не тронувшись с места. Она поняла, ясно, до жути отчетливо поняла, что никогда не сделает этого, что не может, не смеет опозлить свою любовь, превратить ее в игру, в ложь, в способ достижения цели хотя бы на одну ночь. Это средство не подходило: теперь Надя знала, что значит любить.

Она так и не уснула, но в то утро встала раньше обычного, долго скрывала свою тревожную бессонницу умелыми тенями, нежно — нежнее, чем всегда, — разбудила мужа, а на кухне за завтраком спросила:

— А что за машинку предлагал тебе этот, как его... Игорь Антонович, кажется?

Она спросила со всей женской безмятежностью, поскольку дело касалось сугубо мужских интересов. Сергей Алексеевич не уловил ее особого любопытства и ответил кратко:

— Халтура.

— Халтура? — Она ненатурально засмеялась. — Значит, она бывает не только в искусстве? Знаешь, он такой противный, этот Игорь Антонович, он так не понравился нашей Ленке...

Господи, но ведь Ленки не было дома, когда приходил Гога! Надю бросило в жар, она захихикала, залопотала нечто совсем уж несообразное. Только бы он не заметил оговорки, только бы не начал расспрашивать!

— Видишь ли, Надюша, это скорее вопрос общественный, нежели личный, — я имею в виду злосчастный агрегат, который Игорь Антонович настойчиво навязывает нашему заводу. Отсутствие ответственности, стремление во что бы то ни стало сделать работу ранее намеченного срока, превратилось уже в некое социальное зло. И дело тут вовсе не в Игоре Антоновиче, дело в безнравственном отношении к труду, к жизни, ко всему нашему обществу...

Он говорил и говорил очень важные, нужные слова, а она ничего не понимала, и от этого в душе ее копилось отчаяние.

— А я? — вдруг переполненным слезами голосом спросила она. — Это для государства, для дела, для завода, а для меня — что для меня? Для меня, маленькой, никому не нужной, — что же для меня-то остается?

— Что с тобой? — обеспокоенно спросил он.

— Сделай для меня один пустяк, — она неожиданно опустилась на колени рядом со стулом, на котором он сидел, снизу вверх глядя на него огромными тревожными глазами. — Отпусти этого Игора Антоновича с богом, подпиши приказ. Я — дура, я твоя несчастная идиотка, но я загадала. Если ты подпишешь, я... я рожу тебе сына. Я загадала...

— Надюша, родная! — Он поднял ее с пола, прижал к себе. — Относительно ребенка — это что, у тебя есть признаки? Или так...

— Да, да, — она отчаянно врала, а потому почти кричала это «да», словно стремясь поскорее избавиться от него. — И я загадала, понимаешь? Я уже не так молода, а это — первые роды, а у тебя первая жена умерла именно от родов, и я загадала...

— Надюша! — он счастливо смеялся, целуя ее. — Ты мое чудо, ты моя богиня...

— Нет! — она прижала ладонь к его губам. — Не надо называть меня так. Никогда, слышишь? Это... Это дурная примета.

— Что с тобой, родная? Успокойся...

— Я прошу тебя, прошу, — как в бреду бормотала она, давясь слезами и целуя его руки. — Подпиши приказ, подпиши. Я никогда ни о чем не просила, но сейчас...

— Прекрати глупости. — Он вырвал руки, и она медленно села на пол. — Это... Это все странно. Да, странно! Производственные вопросы не решаются слезами на кухне, а протезировать халтуре, извини, аморально. Да, аморально! Закончим на этом разговор раз и навсегда. И потом, — он подозрительно посмотрел на нее — съезжившуюся, жалкую, — ты, кажется, курила?

Надя вдруг начала икать. Сидела на полу возле стула, всхлипывала и икала. Сергей Алексеевич поднял ее, поцеловал.

— Ты замерзла, родная, иди в постель. Я подам чай, согреешься.

— Сережа! Сережа! — Она вцепилась в лацканы пиджака, в отчаянии затрясла его. — Я потеряю тебя, потеряю, слышишь?!

— Это все нервы, — он улыбнулся. — Ложись, потеплее укройся, а я накапаю тебе валерьянки.

Он уложил ее, заставил выпить валерьянку, подал горячий чай. Он был заботлив, нежен и внимателен, а Надя воспринимала все так, будто это уже однажды случилось: и ее слезы, и отчаяние, и его ласковые утешения, и, главное, чувство полной безысходности. Согрелась, перестала икать и всхлипывать, но это был не покой, а усталое равнодушие, почти оцепенение. Она не осознавала, о чем спрашивает муж, отвечала, не слыша собственного голоса, и ни о чем уже не думала.

Сергей Алексеевич уехал на завод, и тут же, как и было заведено, из своей комнаты вылетела Ленка. Тараторила, глотала горячий кофе, пританцовывая от нетерпения, — Надя и ей отвечала, не зная, что именно Ленка спрашивает и правильно ли она ей отвечает. А потом Ленка убежала в институт, Надя забылась и очнулась от резкого телефонного звонка. Решив почему-то, что это — Гога, и даже успев подумать, как он скажет: «Ну что, Надежда, хорошо я тебя купил? Извини за глупую шутку...» — она рванулась к телефону прямо из-под одеяла.

— Надежда Васильевна? Это Вера говорит. Стекла пора мыть, октябрь на дворе. Мне прийти сегодня?

— Да, да, конечно, — плохо соображая, какая Вера, какие стекла, сказала Надя. — Приходите. Я дома.

Впервые за много лет, а может быть, и вообще впервые в жизни ей ничего не хотелось. Ни умываться, ни убирать постель, ни завтракать, ни даже одеваться. Сидела в наброшенном на ночную рубашку халате перед телефоном, глядя в пол, и курила сигарету за сигаретой. И только когда часы в большой комнате пробили девять, очнулась. Сняла трубку, набрала номер: «Господи, только бы он не ушел...»

— Слушаю.

— Гога, милый, не губи меня, — торопливо сказала она, а сердце заплясало в таком ритме, что пришлось заглатывать воздух после каждого слова. — Я только начинаю жить, понимаешь? До сих пор я не жила, я играла, что живу, а теперь — живу. Я — живая, я стала сама собой. Я люблю, я хочу родить ему ребенка, не губи меня, Гога.

— Значит, ты не говорила с супругом, — вздохнул Игорь Антонович. — Жаль, Надежда, но я — тоже живой. Я тоже стал иным, я стал нормальным советским специалистом, и я не могу не думать о родном коллективе. Такова се ля ви. Либо твоя семейная идиллия, либо общественное благо: третьего не дано.

— Гога!..

Она крикнула изо всех сил, но из трубки уже неслись короткие гудки. Надя дала отбой, тут же лихорадочно («Господи, спаси меня, господи, спаси...») набрала номер. Трубку никто не брал, но Надежда держала ее, держала, еще во что-то веря, еще на что-то надеясь. Потом положила рядом с аппаратом и снова закурила, а трубка продолжала монотонно гудеть. Тикали часы в большой комнате, гудела трубка, дымилась сигарета, а время, кажется, уже не существовало. Оно словно замерло, остановилось и начало двигаться только тогда, когда в дверь позвонила Вера. Пожилая одинокая женщина, подрабатывающая недельной уборкой директорской квартиры да осенне-весенними оконными авралами. Она растерянно посмотрела на сигарету, на неприбранную квартиру и неприбранную хозяйку, но сказала по делу:

— Я с большой комнаты начну, Надежда Васильевна.

Надя молча кивнула. Сегодня не было обычного приглашения начать с чашки кофе, с разговоров, и Вера, надев рабочий халат, взяла тазик с водой, тряпки, бумагу, порошок и прошла в большую комнату, с некоторым беспокойством поглядывая на гудевшую телефонную трубку. Сноровисто развинтив створки окон, она распахнула их настежь — благо стояла ясная и теплая для октября погода, — стараясь делать все как можно тише, будто в квартире лежал тяжелобольной. Еще раз пробили часы, но хозяйка не изменила позы, и все так же настойчиво гудела телефонная трубка.

— А денек-то, денек сегодня прямо чудо! — не выдержав, прокричала сердобольная Вера. — Вы слышите, Надежда Васильевна? Я говорю, денек-то выдался, а? Недаром говорят, что бабье лето вернулось.

— Да, да, — механически отозвалась Надя; ей потребовалось прикурить, но спички кончились, и она напрасно шарила по карманам халата. — День замечательный. Замечательный.

Она вышла из транса, услышала гудки и положила трубку на рычаг. Смолкло гудение, вносящее непонятную тревогу, и Вера с облегчением вздохнула. И тут же заговорила про соседей, про девочку Оленьку, которая уже такая ласковая, что к ней — как к родной. И мальчик у них тоже хороший, вежливый и всегда здороваётся. Хозяйка не отвечала, но Вера продолжала говорить, поскольку убедилась, что это помогает: ведь вывели же ее слова хозяйку из оцепенения и про телефон сразу вспомнила.

Надя воспринимала не слова, а голос. Голос живого человека, который работал в большой комнате, а сама Надя была на кухне и все еще искала спички: в семье никто не курил, а электроплита спичек не требовала. И Надежда рылась по всем ящикам и полочкам, а потом включила плиту и прикурила от раскалившейся конфорки. И тут опять пробили часы — один раз, половину чего-то, — а Вера все говорила и говорила, и Надя вернулась в переднюю и села на прежнее место возле переполненной окурками пепельницы, которую держали для гостей.

— ...ну, бывает, заиграется — ребенок ведь, понятное дело. На той неделе уж телевизор закончился, время — двенадцать без двадцати.

«Двенадцать без двадцати — одиннадцать сорок, — пронеслось в Надиной голове. — Часы пробили половину, значит... Значит, сейчас Гога входит в кабинет». Она схватила трубку, лихорадочно набрала прямой номер мужа, но тут же отключилась. «Зачем? Что я скажу ему, что? Богиня чужих постелей...» Она застонала, изо всех сил, до скрипа стиснув зубы, чтобы заглушить этот стон. Потом опять набрала номер — уже не прямой, а секретарши, мобилизовав все для того, чтобы заговорить обычным приветливо-уверенным тоном счастливой жены. Занято: короткие гудки. Положила трубку, затянулась...

— Вы звоните куда? — крикнула Вера. — А я разболталась...

— Ничего, ничего! — поспешно отозвалась Надя и снова набрала номер. — Мне не мешает...

Трубку долго не брали. Наконец ответили...

— Дирекция.

— Здравствуйте, Инна Павловна,— почти обычным, почти легким тоном сказала Надя.— Что-то никак до Сергея Алексеевича не доберусь. Он очень занят?

— Да, Надежда Васильевна. Только что просил ни с кем не соединять, у него серьезный разговор с товарищем из московского НИИ. Но вас я, конечно...

— Ни в коем случае! — Кажется, она крикнула.— Пустяки, Инна Павловна.

— Я передам, что вы звонили, как только Сергей Алексеевич освободится.

Как только освободится. Как только Гога отпустит его, рассказав о родинке, о смехе, о Кудряшове. Сейчас, именно сейчас он докладывает ее жизнь во всех подробностях. «Плохо твое дело, девочка, плохо твое дело...» Ей вдруг стало нестерпимо жарко, будто в ней взорвался вулкан: тело полыхало, противно намокла тонкая ночная рубашка.

«Плохо твое дело, девочка...»

— ...только воду сменю.

Вера прошла мимо с тазиком, оставив распахнутой дверь в большую комнату. Оттуда тянуло прохладой, там летали длинные легкие шторы...

«Плохо твое дело, девочка...»

Надя шла к этому свежему, чистому миру как к спасению, протянув руки и распахнув халат: сквозняк приятно обдувал горячее тело. И шагнула в тихую и грустную прозрачность бабьего лета с подоконника шестого этажа...

— Вы абсолютно правы, абсолютно,— говорил Игорь Антонович, прощаясь с директором.— Я надеюсь, вы простите мне тот максимализм, с которым я сначала отстаивал детище нашего института. Поразмыслив, я понял, что детище оказалось мертворожденным, и приношу вам свои извинения. Мы в корне пересмотрим...

Директор слушал московского гостя с большим облегчением: назревавший конфликт с НИИ рассасывался сам собой. И этот симпатичный, сначала столь рьяно защищавший агрегат молодой инженер, видимо, понял, что ради дела, ради общего всегда следует поступаться личным. Нет, с таким представителем завод сработается: он умеет искать общий язык.

— Я доложу позицию завода, но — маленькая просьба,— продолжал Игорь Антонович.— Я — человек новый, неопытный: поддержите меня официальным письмом на имя моего руководства. Знаете, жизнь есть жизнь.

— Непременно, — заверил Сергей Алексеевич, пожимая руку гостю. — Сегодня же отдам распоряжение об этом.

«Жизнь есть жизнь, — думал Гога, не переставая обворожительно улыбаться. — И Надежда будет мне до гроба благодарна за мое молчание: когда-нибудь и это пригодится». И сказал:

— Благодарю. Кланяйтесь вашей очаровательной..

Распахнулась дверь, и вошла секретарша. Лицо ее было белым, несмотря на умелую косметику, и держалась она как-то неестественно прямо.

— Вас ждет машина, Сергей Алексеевич, — напряженным голосом сказала она.

— Меня? — удивился директор. — Куда машина? Зачем?

— Вас ждет машина у подъезда, — повторила она. — Шофер все знает. Умоляю, не задерживайтесь.

И посторонилась, пропуская Сергея Алексеевича.



РОСЛИК пропал

РОСЛИК ПРОПАЛ...

Главк был заурядным. Те же кабинеты, те же коридоры, те же столы, те же стулья. Те же зануды и те же живчики, те же красотки и те же нравоблюстительницы, те же часы работы, входящие-исходящие, столовая под неофициальным названием «У Сальери» и ковер, на который кое-кого кое-когда вызывали. Все было как у всех, и тем не менее не только замы, но и сам министр любил риторически удивляться:

— А почему у Ткаченко этого нет?

Или, скажем, есть — не в этом дело, а в том, что имелся сам Сергей Степанович Ткаченко. И если внешне в главке все было как у всех, то внутренне...

— Значит, Ткаченко может, а вы не можете?

Сергей Степанович не делал из своего метода никакого секрета. Он не искал ни дешевой популярности у подчиненных, ни особого авторитета наверху. Просто ему, как он сам объяснял, повезло с воспитанием:

— У всех вас преподаватели да родители: два вектора развития. А у меня один воспитатель, то есть одно направление. Я в детдоме с одиннадцати. С ноября сорок первого.

— Упрощаешь, Сергей Степанович.

— Нисколько. Знаешь основной закон, на котором наш детдом стоял? Простой закон: делай, как я. Вот введи его в своем управлении, соблюдай неукоснительно, и все будет как надо.

В своей работе Сергей Степанович проводил этот закон с особой принципиальностью. Никто из сотрудников не мог припомнить, чтобы начальник когда-либо опоздал на минуту или ушел на секунду раньше, чтобы он по собственной воле не пошел на Первомайскую демонстрацию, не явился на субботник или позволил бы провести торжественный митинг до окончания рабочего дня. Эти прекрасные качества весьма импонировали подчиненным, но параллельно уживались и иные, которые подчиненным совсем не импонировали. На-

чальник никого не отпускал с работы, если дело не касалось здоровья, никому не давал ни дня за собственный счет, гонял курильщиков в коридорах, не позволял вязать и решать кроссворды и надменно не замечал ни особых улыбок, ни длинных волос, ни коротких юбок...

— Закрытый он, девочки. Как собственный сейф. Хоть взламывай.

— А ты жену его видела?

— Красотка?

— Мегера! Я случайно с ними в театре Маяковского столкнулась, и пришлось ему меня знакомить: «Моя супруга Ника Семеновна». Жуть!

— Ника? Это что же — Николая, что ли?

— Я же говорю: жуть, девочки!

Так щебетали многочисленные секретарши, машинистки, хранительницы архивов, справочная служба — все то пестрое, что когда-то (правда, давно, но очень точно) называлось «пишбарышнями». Вне зависимости от возраста и семейного положения все они отличались повышенной обидчивостью, памятью, усидчивостью и наблюдательностью, что и позволило им первым уловить перемену в усовершенствованном почти до автоматизма служебном поведении Сергея Степановича. А уловив, обсудить признаки, увязать с деятельностью, умножить на интуицию и поставить диагноз:

— Влюбился!

— Бросьте, девочки. У него же эта... своя мегера.

— Вот потому-то и влюбился. Ну, что-то будет, девочки, что-то будет!

— Что будет, что будет. Романчик скрутит, вот и все.

— Ну уж нет, такие романов не крутят. Такие типы все делают исключительно всерьез. Исключительно!

Так судачили в главке во всех дамских отделах и уголках, ожидая, обмирая и замирая, а их начальник Сергей Степанович Ткаченко в то февральское метельное время и вправду переживал период вьюг, похолоданий и поисков дорог.

Но все началось раньше. Все всегда начинается раньше, чем происходит, — таково уж свойство событий. Сергей Степанович знал об этом свойстве, но поскольку упрямо предпочитал действия бессмысленным анализам, то и отнес начало в далекую уже молодость, прочно замкнув его на собственной жене Нике Семеновне.

Ника родилась у лишенных юмора родителей, свидетельством чего явилось ее имя, которое хоть и значилось в святцах, но в жизни не попадалось то ли по ассоциации с

футбольным призом, то ли потому, что уж очень смахивало на мальчишеское. Сергей Степанович достиг кресла весьма перспективного руководителя, когда к нему в отдел пришла на практику загадочно-молчаливая девушка с этим непривычным именем. Имя мало тронуло уже тогда сдержанного Сергея Степановича, но молчаливость выгодно выделяла студентку среди трещоток-подруг. Он неспешно пригляделся, заговорил раз-другой, сделал так, чтобы загадочная отчитывалась в практике лично перед ним, и в скором времени начал встречаться не только по работе. Ходили в театр, в зал Чайковского, два или три раза в кино, и в конце концов Ника пригласила его к себе для официального знакомства с родителями. К тому субботнему вечеру он готовился с утра, радостно полагая, что смуглая молчаливица заглотала наживку, но вскоре выяснилось, что наживка предназначалась для него. Взрослого, опытного, доселе неженатого, с будущим и без родственников.

Вероятно, Ника точно выбрала время, когда его пригласить: Сергей Степанович уже не сводил с нее глаз, не замечая остального. А остальным были папа и мама, лишённые юмора, но обладающие способностью просчитывать жизнь на несколько ходов вперед, взвешивая активы и пассивы, дебет и кредиты и, главное, проценты с завтрашних оборотов, а они-то и представлялись обоим бухгалтерам (папе и маме) весьма и весьма значительными.

— Что от нас требуется? От нас требуется пунктуальная исполнительность и работа с оптимальной прибылью, — весомо разглагольствовал папа. — Вы, Сергей Степанович, перспективный, я бы даже сказал, растущий руководитель, но мы с матерью являемся представителями, призванными не только контролировать финансовую дисциплину, но и практическую основу всей вашей деятельности...

Как он тогда не уловил самодовольного, чудовищно ограниченного красноречия в этом первом разговоре, как не понял («не проинтуичил», как любили выражаться его коллеги), что перед ним сидит тетерев! Дремучий, самозабвенно токующий, выучивший определенное число пунктов и параграфов и оценивающий жизнь и людей только с высоты той ветки, до которой еле-еле добрался сам. И слащавая говорливость матери — это ведь была завтрашняя Ника, как же он-то этого не заметил! — не насторожила его, не предостерегла. Да, и здесь он «не проинтуичил», потому что был ослеплен темными, чуть раскосыми глазами, казавшимися такими глубокими, оглушен молчаливостью, казавшейся столь многозначительной...

Через полгода они поженились. У него была одноком-

натная квартира. Ника оказалась неплохой хозяйкой, и для Сергея Степановича — детдомовца, всю жизнь прожившего в шумном и суетливом одиночестве на людях, — наступил истинный рай. Домашний уют и домашние обеды, тепло и забота, милые хлопоты и вдруг ставшие важными мелочи — все так грело, трогало и умиляло. Он спешил с работы и понимал, что его совсем еще немногочисленные по тому положению сослуживцы тоже спешат домой к таким славным женам, к такому ласковому вниманию.

— Милый, ты хотел бы ребенка?

— Ника, это серьезно? Ника, родная...

— Трим нам будет тесно в одной комнате, ты не находишь? Договариваемся так: ты нам обеспечиваешь двухкомнатную квартиру, я тебе — ребенка.

Даже эта торговля его не предостерегла: так он был влюблен, может быть, не столько в саму Нику, сколько в ту атмосферу мягкого тепла, которую она принесла ему. И хотя смертельно не любил надоедать начальству по пустякам (а особенно личным), унял гордыню, пошел, выпросил, выторговал поудобнее район, переехал и...

— Теперь моя очередь, — улыбнулась Ника и тотчас же оставила институт, хотя была уже на последнем курсе.

Здесь он, кажется, чуточку поспорил. Она промолчала и выпустила на него мать. Полную, крашеную, молодящуюся и непонятно раздражающую его самим своим присутствием. Запахом духов, что ли. Или помады.

— Дорогой мой, оставим эмансипацию: жена должна следить за домом, ухаживать за мужем и воспитывать ребенка. Ты не согласен?

— Не совсем. Ребенка-то ведь еще нет.

— Это для тебя еще нет, а для нес уже есть. И надо сделать все возможное, чтобы она растила его в покое, а не нервничала из-за завтрашних экзаменов. Родит, там будет видно, а пока пусть берет академический отпуск.

Он вынужден был согласиться. Академический отпуск перерос в бессрочный, но это не было самым неожиданным, к этому повороту он внутренне уже был готов. А вот к тому, что томность превратится в истерическую требовательность, а загадочная молчаливость обернется агрессивным эгоизмом для двоих: для себя и для сына — он как бы выпадал из их системы, — Сергей Степанович оказался неподготовленным. Неготовым к тому, что его функция отныне — обеспечивать их существование, только и всего.

— Мы с сынулей — двойная звезда, а ты — наш спутник, — подобные разговоры стали теперь признаком ее отличного настроения. — А тройных звезд не бывает, мой ми-

лый, бывают трехкомнатные квартиры. Подумай об этом, пока мы с сынулей растем и крепнем.

Сынулю назвали столь же претенциозно, как когда-то его мать: Русланом. У отца даже не спросили согласия, и он попытался, фигурально выражаясь, стукнуть кулаком по столу:

— Идиотское имя! Как ты могла без меня...

В ответ — лихорадочный набор телефонного номера:

— Мама, приезжай немедленно! Он сошел с ума! Он сейчас ударит меня!..

— Дура.

И ушел, впервые подумав, что жили они как-то неправильно: не нажили новых друзей, а старых растеряли, потому что он сменил не только место работы и жительства, но и сам стиль своей жизни...

Все менялось очень незаметно, в том числе и его отношения с подчиненными. Он рос, восходя по крутым ступеням нелегкой и совсем непростой профессии руководителя, а точнее было бы сказать: координатора десятков автономно существующих систем. Менялись ступени, менялись и подчиненные; в том ранге, которого он достиг собственной волей, настойчивостью, энергией и целеустремленностью, употреблять понятие «сослуживцы» было уже неуместно. Но все оплачивается, и если раньше он был улыбчив и разговорчив, то теперь по законам оплаты выигрыша в одном проигрышем в другом стал не только не понимать, как это люди могут торопиться к своим семьям, но и не верить в это и раздраженно удивляться.

— Ты бы в командировку съездил, что ли, — посоветовал единственный друг, сохранившийся от добрых детдомовских времен.

Друга звали Константином Игнатьевичем. Он работал где-то очень высоко, чаще молчал, чем говорил, но советовал всегда дельные вещи: просто хорошо знал Сергея Степановича и хорошо к нему относился.

И он поехал. В Свердловск, куда обычно посылал своего заместителя.

В день приезда — самолет прилетел днем, и с учетом двухчасовой временной разницы Сергей Степанович попал на завод за час до окончания первой смены — Ткаченко встречало заводское руководство.

— О делах завтра, — сказал главный инженер, как-то особо глянув на директора. — Сергей Степанович отдохнет, акклиматизируется, оценит наше уральское могущество, потенциальные возможности и гостеприимство.

Сергея Степановича проводили в его временную резиденцию, оказавшуюся отдельной трехкомнатной квартирой в тихом тупичке на окраине заводского массива.

— Завтра утром за вами заедет наш работник,— сказал директор.— Введет в курс дела, покажет завод, ознакомит с документацией, а если пожелаете, то и с городом.

То ли оттого, что Сергей Степанович давно не выезжал в командировки, то ли от некоторого временного смещения сон никак не желал приходить. За окнами, выходящими в заводской парк, стояла непривычная для москвича тишина, в пустой квартире было свежо и уютно, никакие заботы пока еще не тревожили командировочную душу, а сна не было ни в одном глазу. Сергей Степанович никогда не жаловался на бессонницу, засыпал как ребенок и просыпался с фанфарным маршем в душе, а здесь в прохладной тишине заводской квартиры глядел в потолок, думал о сыне и удивлялся, что никак не может уснуть.

Конечно, он мало уделял ему внимания, но ведь внимание требует времени, а где он мог его взять?.. Его времени хватало только на то, чтобы шагать в ногу со стремительно набирающим темп техническим прогрессом; в этом прежде всего состоял его долг как руководителя и гражданина. Сергей Степанович органически не воспринимал паллиативов, каждое дело стремился делать со всей возможной полнотой и ответственностью и полагал, что нет лучшего воспитания, чем воспитание личным примером. А попытка совместить работу с прописными рекомендациями типа «отец должен стать другом... совместные посещения... общность интересов...» и тому подобное казалась ему несолидной и в конечном счете вредной суетой. «Ответственное исполнение своего долга» — вот что должен был вынести сын из ежедневного контакта с отцом: так представлялась Сергею Степановичу его отцовская функция.

А в жизни все происходило куда сложнее. Нет, Рослик не превратился в маменькиного сынка, хотя проводил с матерью несравненно больше времени. Вот Ника Семеновна в полном соответствии с модным поветрием таскалась с сыном по разного рода зрелищам, игрищам и даже турпоходам, пока Руслан не вырос и не заявил об этом во всеуслышание: «Хватит висеть у меня на хвосте, поняла? Уже не только ребята, уже девчонки смеются!» Мать ударилась в слезы, а отец возрадовался: сын показывал мужской характер...

Любопытно все же, почему так долго не спалось в ту первую свердловскую ночь? Отвык от самолетов, от перемены времени и мест, что ли? А может, уже предчувствовал, что...

Нет, все куда проще: вдруг вспомнил о сыне, потянулась ниточка и увела от сна. Даже не столько о сыне, сколько о себе: сын — повод, предлог, точка соприкосновения их рук — его и Ники, а заодно и вечный камень преткновения. Своего рода испытательный полигон и ринг одновременно. Ринг, на котором он всегда проигрывал по очкам.

Если уж откровенно, то, каждый раз сдавая позиции, он уверял себя, что сдает их в последний раз. На некоторое время его оставляли в покое; он успокаивался, он почти был доволен собой. Но наступал момент, и все начиналось сначала: в последнем случае причина заключалась в престижном институте. Он-то полагал, что сын займется цветным литьем, повторив отцовский путь: здесь имелись все возможности, дело было перспективным, знакомства прочными, а отцовский авторитет высок и надежен. Самому Рослику было абсолютно все едино, где учиться (а лучше всего не учиться нигде), но Ника Семеновна мечтала только о престижном институте.

Он устроил. Позвонил Константину Игнатьевичу, презирая себя за лепет по телефону. В конце концов Руслана протасили в институт.

Кажется, он так и уснул с огорчающей думой о сыне. Спал недолго, но крепко, проснулся в точно назначенный самому себе час с привычно ясной головой и нетерпеливой бодростью в теле. В холодильнике была еда, в кухонном шкафчике он обнаружил кофе; когда готовился засыпать его в джезве, вспомнил, что за ним должен заехать сотрудник, хотел было и на него заварить кофе, но раздумал: нечего баловать.

Приехали на четверть часа раньше; он еще пил кофе, когда позвонили в дверь. Шел открывать со строгой и очень недовольной миной: приезжать надо в точно оговоренное время, как того требует служебная этика.

— Доброе утро, Сергей Степанович. Я Елена Ивановна Круглова, ваш временный помощник, гид и секретарь.

Он не рискнул признать ее красавицей ни в тот момент, ни позже. Потому что женская красота может быть либо абсолютной, то есть для всех, либо относительной, то есть для избранного. И, еще ничего не осознав, Сергей Степанович ощутил себя этим избранным, впился взглядом в серые глаза, не желая ничего более видеть, долго, неприлично долго смотрел в них, а опомнившись, сказал растерянно:

— Хотите кофе?

— С удовольствием.— Она сняла плащ.— Машина придет только через полчаса, и на улице дождик. Сегодня вы

бы, наверно, не прилетели, хотя аэропорт Москву принимает.

Она разговаривала странно, часто соединяя в одной фразе абсолютно разные понятия. Это совсем не затрудняло ее, говорила она легко и свободно, из чего Сергей Степанович сделал вывод, что эта странность есть присущая ей особенность, манера, а не манерность. Может быть, поэтому разговоры первого дня ему и не запомнились: его занимала сама манера, от которой все время хотелось улыбаться. Потом пришла машина, и они выехали.

Елена быстро и толково ознакомила его с заводом, показав вроде бы все, но в то же время сосредоточив его внимание на том, что непосредственно касалось его главка. Потом они пообедали в столовой технологического корпуса, где их уже ждала группа специалистов во главе с главным инженером.

— Благодарю, Елена Ивановна, вы свободны,— вежливо сказал главный инженер.

Так продолжалось изо дня в день почти без вариантов: Елена заезжала за ним, знакомила с необходимыми материалами, передавала с рук на руки узким специалистам и отправлялась по своим делам. Он ждал ее утренних появлений и перестал готовить кофе: его теперь варила Елена на двоих. Но после обеда неизменно исчезала; он проводил все вечера в мужской компании, все чаще думая о молодой женщине и все более угрюмая при этом. И злясь на себя. «Ну что за глупость, честное слово! У нее — муж, семья, ребенок, любовь и счастье»,— думал он, но в то же время эгоистично желал своему временному помощнику полного отсутствия семейных радостей.

— В принципе вы меня убедили, но подпишем бумаги в понедельник,— сказал он директору.— Пожалуйста, распорядитесь о билете во вторую половину дня.

— Если нет возражений, можно подписать и сейчас. Все документы готовы.

— В понедельник. Хочу два дня подумать.

— Добро. На субботу и воскресенье можем обеспечить загородной поездкой, рыбалкой, уральскими пельменями.

— Благодарю, мне ничего не нужно. Люблю бродить по незнакомым городам.

— Тогда необходим гид,— улыбнулся директор.

Сергей Степанович промолчал, строго глядя в окно. Собственно, ради этого директорского вывода он и отказался поставить свою подпись в пятницу, но сказать напрямик, что хочет провести два свободных дня в обществе Елены Ивановны, все же не решился.

— Я пришло Круглову в субботу на два часа позже. Пусть отоспится.

— Благодарю,— официально сказал Сергей Степанович, но не удержался: — Надеюсь, ее родные не будут возражать.

— У нее нет родных.— Директор включил селектор.— Ирина Петровна, передайте Кругловой, что в субботу и воскресенье она работает с двухчасовым сдвигом. То же касается шофера закрепленной за нашим гостем машины.

Если Кругловой дирекция приплюсовала два часа к субботнему утру, то Сергей Степанович, наоборот, встал на два часа раньше. Медленно принимал душ, медленно брился, медленно выбирал рубашку и галстук и все время иронизировал: «Влюбился, старый осел. Седина в бороду, бес в ребро». Он волновался, чувствовал это волнение и радовался, что чувствует его.

— Погода отличная, и я отпустила машину. Впрочем, если вы хотите покататься вдвоем...

— Я хочу гулять вдвоем,— улыбнулся он и тут же смутился и нахмурился, подумав, сколь пошло должна звучать эта фраза в устах пятидесятилетнего женатого начальника главка.

— В нашем городе не планировали гуляний.— Елена уже принялась привычно готовить кофе, а он дисциплинированно уселся за стол.— Здесь обитали приваловские миллионы, которые гуляли исключительно за столом. Между прочим, я вам готовлю кофе по-петербургски. Этому способу меня научила мама. А маму — бабушка.

Елена налила кофе, села напротив. Ему нравилось, как она садится: аккуратно и чинно, как школьница.

— Бабушка осталась на Пискаревке, а мама эвакуировалась в Свердловск. Пережила войну, поработала на нашем заводе, родила меня и умерла семь лет назад. Я только поступила в Политех, пришлось перебираться в вечерний.

— А отец?

— Я его не знаю. Вероятно, в Свердловске слишком много скопилось эвакуированных...

Сергей Степанович осмелился наконец задать весьма интересующий его вопрос, затратив, правда, известное усилие:

— Вы замужем? Простите за бестактность.

— Почему? Естественный вопрос двадцатилетней женщине. Тем более что вы попали в точку: я была замужем целых три года. И если у вас более нет вопросов, то нам, кажется, самое время пойти погулять.

У него были вопросы, но он не рискнул задавать их в то утро. А они сидели в нем, беспокоили, как гвозди в

сапоге, и никакое шатание по городу уже не могло их заглушить...

В тот вечер они расстались рано. Сергей Степанович сидел в пустой казенной квартире, пытался читать, смотреть телевизор, слушать радио, но вместо этого мыкался из комнаты в комнату и ждал утра. Наконец дождался, оживился, они опять вдвоем пили кофе.

— Дирекция настаивает, чтобы я показала высокому гостю озеро Шарташ.

— Шарташ так Шарташ. А что бы хотелось вам, Елена Ивановна?

— Я выскажу свое желание, когда мы вернемся с этой краеведческой экскурсии.

Сергей Степанович так стремился узнать ее желание, что вообще не заметил диковатых красот Шарташа. Погуляли, посмотрели, но Елена в этот день была на редкость молчалива, и ему тоже не хотелось разговаривать. К тому же с воды потянуло холодком, и он предложил вернуться в город.

— Строителей, три,— сказала она шоферу, садясь в заводскую машину.— Это по дороге на «Уралмаш», Юра.

Ехали молча. У дома три по улице Строителей шофер остановил, они вылезли, и Елена отпустила машину. Сергей Степанович с ожиданием посмотрел на нее.

— Мы сегодня обедаем на третьем этаже.— Елена улыбнулась.— Соседи с семи утра лепят пельмени.

— У вас есть соседи? — Он был несколько разочарован.

— И слава богу. Соседи бывают либо к ненастью, либо к счастью, и мне повезло.

Соседи — мать с дочерью — Сергею Степановичу понравились тоже, потому как сразу объявили, что званы в гости, и еле-еле согласились угоститься пельменями собственного производства. А вежливо поклевав их, тотчас же и ушли; Елена провожала, тихо смеялась в прихожей. Потом хлопнула входная дверь, все стихло, и она вернулась. Села на место, положила на тарелку пельмени и начала с сосредоточенной задумчивостью ковырять их вилкой. И он тоже молчал, чувствуя, как застучало вдруг сердце, радуясь этому и одновременно пугаясь.

— Наверное, я должен о чем-то говорить,— мучительно выдавил он.

— Зачем? Если вас не тянет изливать душу, то и не изливайте, а когда мне захочется, я заговорю сама.

— А сейчас вам хочется есть.

— Мне хочется, чтобы вы называли меня Леной и говорили мне «ты» хотя бы до завтрашнего утра...

— До завтрашнего...

Вероятно, у него был глупый вид, потому что она вдруг рассмеялась.

— В вас живет очень беспомощный и какой-то очень заброшенный ребенок. А я очень хочу утром сварить кофе не в служебной квартире. Оказывается, перед тем, как проститься с вами, по всей вероятности, навсегда, мне просто позарез необходимо покормить вас завтраком.

— Лена...

Дальнейшее на какое-то время заглушил согласный грохот их сердец. Сергей Степанович еще не мог разобраться в себе, еще задыхался от нежности и умиления — чувств, о которых знал скорее понаслышке, а тут они проснулись, потому что рядом — совсем рядом, прижавшись — лежала та, которая воскресила в нем и нежность, и умиление, и... Он хотел добавить «любовь», но пока не решался даже подумать об этом.

— Лена...

— Обними меня и молчи. Я сейчас счастлива, а нет ничего легче, чем разбить женское счастье, потому что оно всегда с трещиной. Ведь ваше представление о счастье — вечный старт, а наше — единственный финиш, после которого некуда бежать.

— Лена, мне за полсотни, я двадцать лет женат, у меня взрослый сын и работа, которую я никогда не брошу. Я хочу, чтобы ты...

— Мне двадцать шесть, я была замужем, хотела ребенка и получила его. И ни о чем не желаю больше думать.

— Думать буду я.

Она не ответила, да он и не ожидал ответа. Ему было так просто с ней, так уютно и хорошо, как не случилось еще никогда, ни с одной женщиной...

— Знаешь, почему ты здесь? Наши души потянулись друг к другу, а не тела, и в этом нет никакого идеализма, а есть стремление к гармонии. А общая гармония женщины и мужчины — это весы, где одна чаша не должна перевешивать другую. И поэтому от скверных, тяжелых, чуждых тебе душ надо вовремя уходить, иначе они перевесят твое «я» и непременно перекроют тебя на свой лад. Я вышла по любви, но очень скоро поняла, что должна уйти от мужа, иначе он заразит меня своей мерой всего на свете, своей шкалой ценностей. Я непонятно говорю?

— Я понимаю без слов.

Он и впрямь ощущал не только тепло, идущее от нее, но и что-то еще, что успокаивало его, очищало, наполняло

силой и верой. Да, да, эта юная прекрасная женщина мудра, как жизнь: человек способен заражаться душой, и великое счастье, если он заражается любовью, верой и надеждой, а не скепсисом, иронией и презрением к людям...

Сергей Степанович улетел на следующий день. Неделью мучился, пропадал на работе, избегал жены, семьи и родных, метался, звонил без нужды в Свердловск, но так и не решился попросить к телефону Елену Ивановну Круглову. А потом проснулся среди ночи и ясно понял, что больше не может так жить. Просто не может, и все.

— ...Влюбился? Или так, от скуки?

Константин Игнатьевич был неунывающим, общительным, на редкость внимательным не только на дела, но и на людей и с детдомовской комсомольской работы как-то само собой ушел на партийную. Он знал Сергея Степановича с детства и имел право спрашивать так, как спрашивал.

— Я ведь не из любопытства интересуюсь, Сергей. На руководителях глаз людской фокусируется: по тому, как вы себя ведете, обо всех одним чохом судят.

— Слова этого... ну, насчет любви, никогда не говорил. Никому. А ей скажу, как только увижу, понимаешь? Чувствую, что могу, что обязан, что хочу сказать. Это все очень серьезно, вот основной вопрос.

— Вижу.— Константин Игнатьевич вздохнул, помолчал.

— Не могу больше без Елены,— угрюмо признался Сергей Степанович.— Ни на секунду из головы не выходит. Ни на секунду, это ты представляешь?

— Представляю,— вздохнул друг.— Но тут необходимо, чтобы все это абсолютно ясно представил себе еще один человек: твоя законная супруга.

— Я уйду от нее.

— Куда? Квартиру тебе не разменяют, пока не разведешься, да и при этом я бы тебе категорически не советовал что-либо брать с собою, кроме чистой рубашки.

— Я не могу без нее,— вдруг нелогично и беспомощно пролепетал Сергей Степанович, и Константин Игнатьевич окончательно уверовал, что его друга настигла первая любовь.

Однако какова бы ни была любовь, она всегда обязана подчиняться определенным правилам. Правда, легкомыслие молодости видит в правилах только посягательство на собственные свободы, а не способ естественного сосуществования, чем в известной степени и объясняются скоропалительные свадьбы и стремительные разводы. Но то, что хоть как-то прощается молодым по молодости, никогда не сходит с рук по достижении хотя бы одним из влюбленных опре-

деленного возрастного ценза и служебного положения. Но Константин Игнатьевич мог и не предупреждать затосковавшего Сергея Степановича: при всей искренней увлеченности Ткаченко четко представлял все параграфы и пункты написанного «Положения об уходах главы семьи к другой женщине по собственному желанию». И первым там значилось объяснение с женой.

Сергей Степанович неторопливо и очень старательно продумал предстоящий разговор. Больше всего он опасался криков, слез и истерик, а потому особый упор делал не на причине ухода, а на его, главы семьи, абсолютном бескорыстии. Только это могло удержать Нику Семеновну от нежелательных звонков в министерство; Константин Игнатьевич был абсолютно прав, напомнив, что уходить от жены, с которой прожил два десятка лет, следует, взяв с собою лишь чистую рубашку, но Сергей Степанович пошел еще дальше. Он перевел на имя Ники Семеновны дачу и машину, и даже этого ему показалось недостаточно: необходимо было найти место, куда бы он мог отступить, нору, в которую мог бы спрятаться на первое, самое тревожное и нервное время.

Квартиру подыскал все тот же Константин Игнатьевич. Сразу поверив в искренность близкого друга, он теперь делал все, чтобы облегчить ему жизнь. И случайно через других знакомых набрел на семью врачей, которые на три года уезжали работать за границу и искали бездетную семью для собственной квартиры.

— Полный порядок, старик. Я снял тебе двухкомнатную с телефоном и кое-какой мебелью аж на три года.

— Костя, это правда? Нет, серьезно? Не знаю, как благодарить тебя, Костя.

Сергей Степанович лепетал, изо всех сил изображая необыкновенную радость, а на самом-то деле холодея от страха. Завтра, максимум послезавтра ему предстоял тяжелейший разговор с женой...

Он решил загодя занять квартиру командированных за рубеж врачей и незаметно в несколько приемов перевез в нее те вещи, без которых ему было бы трудно обойтись: бритву, галстуки, запонки, рубашки, два костюма, книги, старые записи и прочие мелочи, которые с годами налипают на человека, как ракушки на морское судно.

Накануне им самим назначенного «Дня Икс» их навестила теща. Собственно, навещала она дочь, но Сергей Степанович не знал, что она заявится, и пришел, когда изо всех сил молодящаяся дама еще торчала в квартире. В обычные дни он обратил бы внимание и на обиженную

надутость жены, и на какие-то необычно заостренные глазки ее матушки, но здесь «не проинтуичил»: голова была занята предстоящим объяснением, разрывом, уходом...

— Как съездил?

— Нормально.

— Появились новые знакомые?

— Я был в командировке.

— Ну, мужчины и в командировках не теряются.

Он промолчал, внутренне насторожившись. А Ника сказала с какой-то непонятной ему обидой:

— Оставь его, мама.

— А ты не будь рохлей! — внезапно вскипела мать. — Когда исчезает дебет, люди открывают кредит.

Он ничего не понял из этого профессионального заключения, теща вскоре ушла, жена продолжала сосредоточенно молчать, и Сергей Степанович тихо взрадовался. Постарался лечь спать раньше жены (тем более что она необычно долго разговаривала в тот вечер с собственной матушкой по телефону, словно не наговорила с глазу на глаз), в сотый раз начал продумывать завтрашнее объяснение, но испугался, что разволнуется и не уснет. Вообще-то он никогда не прибегал к снотворным, спал, как солдат, но тут решил принять. Разыскал какую-то таблетку, проглотил и быстро уснул, не расслышав, когда в спальню пришла жена. Проснулся мгновенно: не оттого, что выспался, не от шума, не от толчка, а от чего-то необычайно волнующего, прижавшегося, привычного, горячего и прохладного одновременно.

— Что?.. Ника?.. Зачем...

— Это я, я. — Ему тут же закрыли рот поцелуем. — Родной, что с тобой, а? Ты так кричал. Не бойся, я с тобой, я рядом, я совсем рядом, чувствуешь? Это же я, твоя Ника, я...

Он чувствовал и не успел еще проснуться. А Ника была гибкой и нежной, и, самое главное, своей, собственной, знакомой всем его чувствам одновременно. И еще она была зрелой, опытной, желавшей и все сейчас понимающей. Все, без всяких слов...

— Ну вот мы и опять вместе, — удовлетворенно и спокойно констатировала она, когда кончилось это полусонное безумие...

Более мерзким, чем в эти мгновения, он не ощущал себя никогда. В голове терзались какие-то обрывки: любовь, оплеванная им же самим; пельмени и Елена; снятая на три года квартира и тайком перевезенные вещи...

Он резко вскочил.

— Куда же ты, милый? — томно протянула жена, не открывая глаз.

— На работу.— Он набросил одеяло на раскинувшееся довольное тело.— Может быть, пого... то есть ты встанешь?

— Ты меня так измучил,— кокетливо вздохнула Ника Семеновна.— Я хочу только спать, спать, спать.

— А я хочу...

Сергей Степанович вдруг замолчал, поняв, что не просто не может, но и не имеет права говорить об окончательном разрыве женщине, которую только что ласкал со всей разбуженной мужской страстью. Что это в конце концов подло, гадко, что так может поступить мерзавец, подлец без чести и совести... «Я позвоню,— спасительно подумал он.— Да, да позвоню, извинюсь и скажу все, без утайки. Скажу и никогда более не вернусь в эту квартиру...»

По телефону позвонить он так и не решился, а вместо этого написал пространное письмо. Когда закончил, подумал, что завтра же все телефоны раскалятся от непрерывных звонков Ники Семеновны, ее мамы, подруг Ники Семеновны и подруг мамы, общих знакомых и... И тогда решительно позвонил своему прямому начальнику Ивану Алексеичу и попросил разрешения догулять две недели, которые не использовал еще в прошлом году.

— Неподходящее ты выбрал время, Сергей Степанович,— вздохнуло начальство.

— По семейным обстоятельствам, Иван Алексеич.

— Каким таким?

— Чрезвычайным. Ну, надо мне, необходимо. Я понятно выражаюсь?

— Куда уж понятнее,— еще раз вздохнула трубка.— Ладно, пиши заявление. В порядке исключения, понял?

— С завтрашнего дня, Иван Алексеич.

Он написал это заявление, подписал еще целый ворох приказов и распоряжений, сообщил своим заместителям об уходе в двухнедельный отпуск, попрощался с ближайшими сотрудниками и отбыл домой, ощущая во внутреннем кармане толстое письмо.

— Обожди меня,— сказал он шоферу у собственного дома.

Вошел в подъезд, достал из кармана письмо, хотел позвонить в квартиру, передать в дверях жене и тут же сбежать, но раздумал. Опустил конверт в почтовую ячейку с номером собственной... бывшей собственной квартиры и поспешно вышел.

— А теперь домой,— встретил удивленный взгляд шофера, улыбнулся.— На Ленинский проспект. Помнишь, че-

моданы с тобой перевозили? Туда отныне и будешь за мной заезжать. Через две недели.

Возле нового, хоть и временного своего жилья Сергей Степанович распрощался с шофером и поднялся к себе на шестой этаж. Открыл врученным ему хозяйским ключом дверь и вошел в просторную двухкомнатную квартиру, казавшуюся пустой, потому что в ней не жили. Уже не жили постоянные жильцы, и еще не обжил ее он, хозяин временный. Правда, обживать было особо нечего: мебель и вся необходимая посуда достались ему, так сказать, напрокат; кое-какое постельное белье он тайно переправил сюда заранее и загодя же купил необходимые продукты. Под рукой имелось все, чтобы спокойно отсидеться, но сидеть-то он как раз и не мог. Да и не собирался: побрился, переоделся, сунул в портфель умывальные принадлежности, бритву и чистую рубашку, закрыл квартиру, спустился, вышел на Ленинский и поймал такси:

— Аэропорт Домодедово...

Он вылетел в Свердловск первым же рейсом. Прилетел ночью, но пока разыскал такси, начало светать. Сел, назвал адрес: «Строителей, три. Это по дороге на «Уралмаш» (он запомнил слово в слово, как она говорила).

Дверь открылась, когда он еще давил на кнопку, и звонок гремел в спящей квартире. Перед ним в поспешно наброшенном на плечи халатике стояла Елена. Розовая со сна, теплая, растрепанная и очень серьезная.

— Это я,— растерянно сказал он.

— Я знаю,— тихо, без улыбки сказала она.— Еще рано, еще все спят.

— Мне обождать на улице?

Сергей Степанович спросил совершенно серьезно, и впрямь намереваясь спуститься во двор. Он был так взволнован и так счастлив, что ни о чем не мог думать, все воспринимал так, как есть, и если бы Елена сказала сейчас, что ему надо обождать на улице, потому что она не одна, он бы послушно пошел ждать ее. Но она молча взяла его за руку и потянула в квартиру; не отпуская руки, заперла входную дверь, провела Сергея Степановича к себе, и там, в своей комнате, как только за ними закрылась дверь, обняла и прижалась.

— Ты сумасшедший.

— Собирайся. Поехали.

— Куда?

— В Москву.

Собрались через три дня: надо было уволиться (слава богу, дирекция пошла навстречу!), распрощаться, уложить

вещи. Правда, вещей у Елены оказалось, на удивление, немного: ящик с книгами да огромный старинный нелепейший чемодан.

— Купим новый, Лена. Зачем же тащить в Москву эту музейную рухлядь?

— Он спас маму.— Елена улыбнулась и нежно погладила исцарапанный, оббитый, покоробленный чемоданище.— Мама называла его «спутником эвакуированной женщины».

— Но ведь ты же не эвакуируешься. Ты просто переезжаешь. К мужу.

На последнем слове он чуть запнулся, и она быстро глянула на него.

— Как знать,— и улыбнулась загадочно и грустно.— Женщины эвакуируются не от войны, а от беды.

— Какой еще беды? — Сергей Степанович был недоволен собой.

— Нашей. Рядом с каждой женщиной непременно бродит Беда: так мне говорила мама. Беда — тень женщины, и она особенно четко рисуется, когда женщину греет солнце.

Елена улыбалась, и Сергей Степанович так и не понял, шутит она или говорит серьезно. И поэтому не стал ни в чем ее разубеждать. Помог шоферу такси кое-как затолкать этого чемоданного уroda в машину, и они поехали в аэропорт Кольцово, чтобы навсегда покинуть город Свердловск.

С той поры минуло более полугода. Сергей Степанович развелся с Никой Семеновной, подал заявление о регистрации нового брака с Еленой Ивановной Кругловой, пережил звонки и слезы, звонки и ругань, звонки и угрозы и снова звонки и звонки. Все постепенно успокоилось, мать, поднятая созданным им житейским смерчем, осела; Сергей Степанович аккуратно выплачивал алименты, Елена работала. Ника Семеновна продолжала тихо страдать, теща — тихо шипеть, а Рослик — скверно учиться в престижном институте. Все же остальное шло как обычно, если не считать, что Сергей Степанович начал спешить домой, улыбался сотрудницам, калякал с сотрудниками, и теперь редко кто именовал его Занудой.

— Ну, что же вы хотите? Он ведь молодую жену привез из командировки. Молодую!

— Везет же некоторым!

Так судачили женщины, и вопрос, кому именно везет, мог толковаться как угодно: женщины объясняются чаще всего не словами, а интонацией. Как птицы.

Утром того дня... Нет, накануне того дня Сергею Степановичу позвонил Константин Игнатьевич. Ткаченко к то-

му времени и думать позабыл о своем проекте жесткой централизации управления в системе собственного хозяйства, но, узнав знакомый голос, тотчас же вспомнил:

— Зарезали проектик?

— Сочли несвоевременным,— сказал Константин Игнатьевич.— Однако инициативу отметили, а это, прямо тебе скажу, сейчас больше всяких прожектов.

— Почему же, интересно?

Трубка помолчала, точно там, на другом конце провода, размышляли, стоит ли говорить, а если стоит, то как именно.

— Алло, Константин!

— У тебя с личными делами чисто? — неожиданно спросил Константин Игнатьевич.— Ну, сам знаешь, что имею в виду.

— Я официально разведен с первой женой, алименты на Руслана выплачиваю по договоренности.

— А с Еленой?

— Подали заявление, ждем. А к чему все эти расспросы?

— К чему? Да просто так. Иван Алексеевич на пенсию собирается, слышал?

Иван Алексеевич много лет был заместителем министра и прямым начальником Ткаченко. Сергей Степанович сразу понял и значение этого звонка, и странные вопросы старого друга.

— Это точно?

— Я тебе ничего не сказал, а ты все понял, правда? Привет Елене.

Новость была ошеломляющей. Сергей Степанович всего три года назад принял главк, навел в нем порядок, соответствующий собственному характеру и объективным требованиям, увидел провинциальную громоздкость и рутину, предложил идею резкого сокращения как цепочки, так и штатов, но на столь высокий пост, как заместитель министра, не смел рассчитывать и в сладких мечтах. Но следовало пока помалкивать: слишком уж недосыгаемо высокой представлялась ему эта должность, слишком уж многих кандидатов взвешивали чьи-то весы. И поэтому, придя домой, он не обмолвился ни единым словом, но собственного радостного оживления скрыть не мог.

— А у тебя приятная неожиданность,— улыбнулась Елена.— Я права?

— Как всегда.— Он мягко привлек ее и поцеловал.— Ты для меня — самая большая и самая счастливая неожиданность в жизни.

— Не говори об этом. Пожалуйста. Я верю, когда берегут счастье, и перестаю верить, когда говорят о нем.

— Значит, будем беречь. — Он улыбнулся. — У нас сегодня праздник сбережения счастья. Ты согласна?

Она благодарно прижалась к нему, по-детски — она всегда так делала — спрятав лицо на его груди. Сергей Степанович обнял ее, они долго молчали, и им было хорошо. Очень спокойно и очень хорошо, как бывает только между другом-женщиной и другом-мужчиной, для которых близость есть лишь высшее единение, совместный взлет родственных душ, а не цель, не результат, не развлечение.

— Помнишь, в Свердловске я сказала, что мужское счастье — старт, а женское — финиш?

Он не вспомнил, но кивнул. Она по-прежнему стояла, спрятав лицо на его груди, но поняла и улыбнулась.

— Не помнишь. Мужчина не способен запомнить то, что не касается его работы, и в этом не должно заключаться ничего обидного для нас. Просто вы другие, вот и все. Я, например, на всю жизнь запомнила, какой на тебе был галстук в день нашего знакомства, а ты — готова спорить на что угодно — не знаешь, как называются мои любимые духи, хотя каждый день вдыхаешь их запах.

— Леночка, ты прости, но...

— Подожди. — Она высвободилась и прижала руку к его губам. — Это же великое счастье, что ты такой, какой ты есть. Я бы никогда не смогла полюбить мужчину, который выбирал бы мне платья, толковал о прическах, заглядывал в кастрюльки или способен был бы поступиться собственным достоинством даже под угрозой гибели. Ты заметил, сколько здоровенных мужиков околачивается в магазинах?

— Лена, какие магазины? — Он вздохнул. — Я плохо представляю, как они устроены, ты уж извини.

— А волосатые пальцы в перстнях разбрасывают по прилавкам дамское белье, выбирая последние фасоны бюстгальтеров. Мы много говорим, что женщины стали похожи на мужчин, но ведь страшна иная картина: мужики обабилась настолько, что начали суетиться. Покупать, продавать, доставать, следить за модами, знать, что, где, когда да почему именно. Ими движет не честолюбие, свойственное мужчинам, и даже не тщеславие, которым заражены многие женщины: их изматывает жажда устроиться. Устроиться — значит устроить себя: квартиру, гараж, жену, устроить супругу к модной портнихе, дочку — к перспективному свекру, тещу — в Дом кино, а сына — минимум в институт иностранных языков.

Это был камешек в его огород: он никогда не говорил Елене, каких унижительных звонков, уговоров, разговоров и прочей суеты стоило ему устройство собственного оболтуса

в престижный институт. Руслан на редкость не подходил к той будущей профессии, которую ему суетливо обеспечивал отец: был разболтан, чудовищно поверхностен и легкомыслен. Но Ника Семеновна поставила устройство сына решающим условием их мирного сосуществования, и он согласился, не раздумывая особо. А сейчас ему показалось, что Елена откуда-то знает об этом. Отстранился, сказал суховато:

— Считай, что я проявил слабость.

— О чем ты? — Она неуверенно улыбнулась. — Я что-то не то ляпнула?

— Нет, что ты, что ты! — Он вновь привлек ее к себе, сообразив, что она и ведать не ведает о его унижительной мельтешне с устройством собственного сына. — Если тебе необходимо мое определение счастья, то оно коротко и однозначно: мое счастье — это ты.

— И тебя заразило это всеобщее бабство! — полушутя-полусерьезно рассердилась Елена и высвободилась из его объятий весьма решительно. — Счастье — понятие сугубо женское, и поэтому я буду определять его. А ты будешь любить меня, пока я тебе не надоем, заниматься своим делом и никогда, ни при каких обстоятельствах не терять мужского достоинства. И если ты мне сейчас даешь слово, что так и будет, то я объявлю сегодня счастливый вечер.

— Даю торжественное обязательство, — сказал он.

Каким счастливым был он в тот последний вечер! И потом, позднее, когда вспоминал о нем, то ощущал не просто тоску, а глухую, ноющую боль, от которой хотелось выть. Выть и ломать все вокруг, но он не делал ни того, ни другого, потому что вновь стал благонаравным, солидным, безупречным и глубоко несчастным человеком.

А она знала, что тот вечер может оказаться последним вечером ее семейной жизни, обретенного счастья и надежд? Может быть, ее что-то царапнуло, что-то предостерегло, что-то шевельнулось в чуткой женской душе? Нет, ничего не случилось заранее, ничего не прозвучало, не насторожило, не вспыхнуло вдруг тревожным красным светом: «Будь внимательна, за поворотом — Беда». И не только потому, что происшедшее оказалось столь нелепо невероятным, неожиданным и нелогичным, а и потому, что была она Еленой Кругловой и иной быть не могла...

Лена росла очень самостоятельной девочкой, с детства усвоившей, что за нее никто ничего и никогда решать не будет, потому что у нее не было не только отца, но не было и семьи, а была надломленная войной, смертями, голодом, одиночеством и вечным страхом за единственного ребенка мама. Когда Лена вспоминала ее, ей всегда казалось, что

мама вечно оставалась в том возрасте, в котором когда-то — давным-давно, еще в сорок первом — рассталась с собственной матерью на пороге голодного и холодного блокадного Ленинграда. А было тогда маме всего семь лет, впереди лежала ледовая Дорога жизни, а в кузове насквозь продутого и промерзшего грузовичка старинный урод — чемодан, в котором, как в волшебном сундучке, хранилась робкая надежда на спасение. Хранилось то, что ее мама еще не успела проесть, обменять, променять: отрезы и шали, отцовские костюмы и шелковые платья, дедушкины часы и прабабушкин кулон.

— Если бы бабушка оставила это себе, она бы непременно выжила,— говорила Лене мама, вытирая с чемодана пыль, а со щек слезы.— Но она, вероятно, чувствовала, что у меня появишься ты, доченька, и пожертвовала собою за нас двоих.

Мама всю жизнь прожила тихо и незаметно, словно в мире все еще продолжалась война, а вокруг — блокада. Она работала с пятнадцати лет, начав санитаркой в городской больнице и закончив там же старшей сестрой. Она никогда никуда не опаздывала, никогда ни с кем не спорила, никуда не выезжала из Свердловска и даже девочку родила так незаметно, тихо и кротко, что никому — ни соседям, ни сослуживцам — и в голову не пришло поинтересоваться, кто Он, где Он и был ли Он вообще. И Лена тоже никогда не спрашивала, кто ее отец и где он находится, поскольку очень рано — она считала, что еще в детском саду,— сделала для себя единственный правильный вывод: решать придется самой. И решала, потому что единственное, чему научила ее мама,— это варить кофе так, как когда-то варила его бабушка; всему остальному Лена сама выучилась.

Тот день пришел, никого не оповестив о своем наступлении. На работе он прошел незамеченным. Мало того, Сергей Степанович имел основания полагать его обещающим, поскольку получил еще одно — и уже с другой стороны — известие, что его начальник Иван Алексеевич и впрямь собирается на заслуженный отдых. Это косвенно подтверждало прозрачные намеки Константина Игнатьевича, и Ткаченко спешил домой в настроении не просто приподнятом, но почти праздничном. И в нетерпении не стал открывать двери своим ключом, а просто нажал на кнопку звонка и не отпускал ее, пока Лена не открыла. Как тогда, в Свердловске. На заре.

— А это я!

Он сказал, дурачась, ожидая улыбки. Но она не улыбнулась.

— Твоя бывшая супруга обрывает телефон.

— Что ей надо от меня?

— Спроси у нее.

Лена была если и не раздражена, то порядком взвинчена, и Сергей Степанович убрал неуместную улыбку. Не раздеваясь, прошел к телефону, позвонил. Долго слушал длинные гудки, дал отбой, набрал номер снова. И снова долго слушал.

— Там никто не берет трубку.

Елена молча пожала плечами. Он, уже безотчетно волнуясь, опять набрал номер своей бывшей квартиры. Слушал, до боли вжимая мембрану в ухо. Потом медленно положил трубку на аппарат.

Он был так растерян, что Елена сразу забыла обо всех обидах. О том, что с нею упорно не разговаривают бывшие родственники Сергея Степановича, что не замечают ее, игнорируют и, вероятно, считают глубоко испорченной, эгоистичной хищницей. Все это показалось ей сейчас такой ерундой по сравнению с детской растерянностью любимого, что она сразу ощутила свою силу, свое могущество, свою обязанность всегда быть опорой, другом и советчиком. Подошла, обняла, нежно погладила по щеке, прикоснулась губами.

— Для волнений нет ровно никаких оснований. Поверь, если бы...

В дверь отчаянно застучали кулаками. Это было непривычно и неожиданно, и они сначала просто не сообразили, что стучат во входную дверь, где имеется стандартный звонок. Но в двери грохотали без перерыва, дробно, двумя кулаками, и Елена опомнилась первой. Подошла, поспешно открыла.

— Рослик пропал!..

Ника Семеновна ворвалась в квартиру, оттолкнув хозяйку, безумными глазами глядя на бывшего мужа. Заплаканное, с размытой косметикой лицо ее выглядело странно оплывшим и постаревшим, косынка сползла, всегда старательно уложенные волосы растрепались. Сергей Степанович с непонятным страхом глядел на нее и молчал.

— Наш сын пропал, сын! — Бывшая жена вдруг схватила бывшего мужа за отвороты пиджака, энергично затрясла.— Ты слышишь? Слышишь?

— Успокойтесь,— робко начала Елена.

— А вы... вы молчите! — истерично выкрикнула Ника Семеновна.— Хоть сейчас-то не суйтесь, оставьте в покое несчастных отца с матерью. Своих детей заведите, тогда...

— Замолчи! — Сергей Степанович уже пришел в себя, и голос его звучал сдержанно и весомо. — Лена, принеси воды. А ты изволь говорить толком, и чтобы без истерик у меня. Без истерик!

Ника Семеновна, давась, выпила принесенную Еленой воду. Окрик бывшего супруга подействовал на нее успокаивающе, может быть, как раз потому, что Ткаченко никогда не повышал голоса. Робко всхлипывая, достала платок, вытерла слезы.

— Что значит: Рослик пропал? Что конкретно? Только спокойно. Спокойно и последовательно. Где он?

— Не знаю. Вчера после института пошел к товарищу заниматься, сказал, что заночует у него. А час назад звонит этот товарищ: спасайте, говорит, Рослика, а то пропал. Рослик, наш Рослик пропал, ты это способен понять, чугунный человек?

— Нет. Нет, не способен, ничего не понимаю и не пойму, пока ты не объяснишь мне толком.

— Может быть, вы пройдете в комнату? — неуверенно предложила Елена. — Зачем же стоять в передней?

— Не ваше дело! Не ваше! — неожиданно зло взорвалась Ника Семеновна. — Убери ее! Убери эту... эту женщину, слышишь?

Сергей Степанович взял бывшую супругу за плечи, почти силой втолкнул в комнату. Елена осталась в передней, не зная, следует ли ей войти вслед за ними или ее появление вновь вызовет приступ слепой ярости у Ники Семеновны. Постояв в нерешительности, прошла на кухню и села там, нервно поглаживая руки. Квартира была обычной и не загроможденной вещами, двери распахнуты, и до нее долетало каждое слово, сказанное в комнате.

— Успокойся. Ты способна рассуждать здраво?

— Рослик пропал. Рослик пропал, Сергей!..

— Что значит: пропал? Несчастный случай? Сбила машина? Сбежал в Сочи? Что ты сама подразумеваешь под словом «пропал»?

Из комнаты донесся глубокий горестный вздох. Потом Ника Семеновна тихо и как бы несколько растерянно призналась:

— Не знаю.

Возникла некоторая пауза, во время которой Сергей Степанович, по всей вероятности, соображал, как понять ответ бывшей жены. Елена тоже слегка оторопела, услышав это чистосердечное и весьма наивное признание.

— Так. Какой у него телефон? — спросил наконец Ткаченко. — Ну, у этого, у товарища?

— Откуда же я знаю? — вновь истерично запрочитала Ника Семеновна, и вновь в тоне ее послышалась непонятная обида.— Разве Рослик говорит мне о своих товарищах? Он ничего никогда не говорит. Ни куда идет, ни к кому идет, ни когда вернется. А ты — телефон товарища. Типичный мужской идиотизм. Сбежал к молодой бабе, поглупел, свалил на меня мальчика, а теперь требуешь телефон. Так не о себе надо было думать, не о своих скотских удовольствиях!

— Прекрати!

Сергей Степанович сказал всего одно слово, но так, что Ника Семеновна сразу примолкла и завсхлипывала. А Елена торжествующе улыбнулась, почувствовав, как ее неожиданно кинуло в какой-то счастливый, радостный жар: это к ней, к ней, к «молодой бабе», ушел этот удивительный человек, который мог одним коротким словом, сказанным негромко и увесисто, оборвать полубезумную бабскую истерику.

— Сначала исключим самое страшное.— Сергей Степанович прошел в переднюю, взял телефон, перенес его в комнату: Елена слышала, как он набирает очень короткий номер.— Дежурного по городу. Дежурный? С вами говорит...— кажется, он чуть замялся, но тем не менее продолжал твердо и властно: — Говорит заместитель министра Ткаченко. Срочно проверьте, не зарегистрирован ли у вас несчастный случай с моим сыном Русланом? Руслан Сергеевич Ткаченко, девятнадцати лет, высокий, темно-русый, спортивного вида. Одет? Минуточку. В чем он одет, Ника?

«Зачем же он назвался заместителем министра? — неприязненно подумала Елена.— В этом есть какая-то... нечистота, что ли. Нечистота.— Ей хотелось назвать это нечистоплотностью, но она упорно твердила: — Нечистота. Нечистота. Нечистота...»

— В сводках по городу не значитя? Нет? На всякий случай обзвонить морги? Диктуйте телефоны, я звоню с квартиры. Так, записываю. Благодарю.

Стукнула положенная на рычаг трубка, и сразу же плачуще запрочитала Ника Семеновна:

— Только не в морг! Только не в морг, Сергей! Это ужасно, я не выдержу, не вынесу, не...

— Не мешай.

Снова зажужжал телефонный диск, снова до Елены стали доноситься стандартные описания: «Руслан... девятнадцать... джинсы...» Но ее не столько тревожило ожидание страшного ответа, сколько то, что Ткаченко во всех без исключения случаях представлялся теперь заместителем министра. «Зачем? — тоскливо думалось ей.— Ну зачем же так, зачем?»

— Ну, вот и все,— с огромным облегчением сказал Ткаченко, в последний раз положив трубку на рычаг.— Среди пострадавших в катастрофах и неопознанных трупов наш сын не числится. Вот и все, а ты, глупенькая, боялась.

«Глупенькая?.. Это же я глупенькая! — В Елене все вдруг вскричало, но она тут же поспешно стала внушать себе: — Он не заметил. Он просто так сказал, автоматически, от волнения. Это стереотип, сработавший от огромной тревоги, вот и все. Просто стереотип. Стереотип». Она словно заклинала саму себя, она глушила в себе воспоминания той интонации, с которой Сергей Степанович произнес слово «глупенькая», но заклинания плохо помогали ей.

— Теперь — в общежитие института,— уверенно сказал он.— Там узнаем адрес товарища, который тебе звонил, и все будет ясно. Одевайся.

Послышались шаги, прошуршали одежды, и коротко щелкнула входная дверь. Все стихло, в квартире никого больше не было, а Елена все еще сидела на кухне, как сидела, когда они говорили в комнате, когда он звонил в милицию и в московские морги. У нее вдруг не стало сил не только на то, чтобы перейти в комнату, но даже на то, чтобы хоть о чем-то подумать: в ушах стоял последний сухой щелчок замка резко захлопнувшейся двери.

Сергей Степанович не только не заглянул к ней и даже не только не крикнул с порога, что уходит. Он просто забыл, что она сидит на кухне. Забыл о самом ее существовании и, уйдя, словно унес с собою все ее силы.

Ника Семеновна, ни тем более Сергей Степанович не знали, где находится общежитие института, в котором учился их единственный и куда-то неожиданно сгинувший сын. Шофер такси тоже не знал, но, покрутившись по городу и порасспросив, все же разыскал это общежитие.

— Руслан Ткаченко? — удивленно спросил сонный парень, которого они бесцеремонно подняли с постели.— Это какой же? На каком он факультете?

Странно, но и этот вопрос застал родителей врасплох. Сергей Степанович, скрепя сердце устроив сына в институт, не вспоминал более о собственном неблагоприятном поступке, а Ника Семеновна знала только, что ее ненаглядный будет работать за границей, но о том, что в институте существуют, оказывается, разные факультеты, услышала сегодня впервые. Однако смутить ее было немислимо, и она сбивчиво сумела растолковать, кого именно разыскивает.

— Ах, Суслика! — Парень длинно, со всхлипом зевнул.— Извините, две ночи зубрил, как проклятый. Не бывает здесь ваш Суслик.

— Позвольте, почему Суслик? — нахмурился Ткаченко.— Его зовут Русланом, нашего сына.

— Кому как,— неясно буркнул парень.— Не бывает, и не ищите.

— А товарищ его? — умоляюще начала Ника Семеновна.

— И товарищи его здесь тоже не бывают,— не дослушав, перебил сонный студент.— Они москвичи, своя компания.

В слове «москвичи» Ткаченко расслышал не столько признак определенного местожительства, сколько откровенное презрение провинциального паренька к некоей среде или группе. Это обижало, но Сергей Степанович промолчал, а Ника Семеновна начала длинно и путано рассказывать про таинственный звонок, обильно прослезившись при сочтении «Рослик пропал». Студент похмурился, подумал, дважды с огромным усилием проглотил зевки и сказал:

— Тут за углом общежитие девчонок-лимитчиц. Узнайте у них, там эта команда ошивалась.

— Какая команда?

— Грызунов,— пояснил студент, вызываяще глядя на Ткаченко,— сусликов, крыс, мышей и прочих захребетников.

— А ты нахал,— сдерживаясь, сказал Ткаченко.

— Так это же естественно, у меня папы нет,— хладнокровно пояснил парень и, не удержавшись, отчаянно зевнул.— Воспитывать некому было.

— Как ты смеешь? — закричала тоненьким голоском Ника Семеновна.— Ты с кем разговариваешь? Ты с заместителем...

— Ладно, идем,— решительно перебил Сергей Степанович.— Идем, Ника!

Такси они не отпускали, но ехать было недалеко, и ждать второй раз шофер отказался наотрез («Мне план гнать надо!..»). Сергей Степанович рассчитался, они быстро отыскали вход в общежитие девушек, но далее их не пустила суровая вахтерша:

— Говорите толком, кто нужен-то?

— Нам старшую. Есть же, наверное, какая-то старшая в общежитии?

— А зачем это? Время позднее, девочкам на работу завтра, а вы даже не знаете, к кому идете. Нет, не пущу я вас. Не пущу, и все тут.

— Позовите старшую.

— И Тамару не позову. Если всякие будут...

— Я не всякий! — закричал вдруг Сергей Степанович, густо заливаясь краской.— Я не всякий, слышите? Я заместитель министра, я сейчас в милицию, я вашего директора или кого еще там...

— Ладно, ладно, не шумите и не пугайте,— проворчала старая вахтерша, достав из застекленного шкафчика ключ.— Позову я вам Тамару, так уж и быть, а там сами разбирайтесь. В красном уголке обождите пока.

Старуха отперла комнату, именуемую красным уголком,пустила их и ушла, ворча и грустно шаркая подошвами. В комнате стояли магнитофон, цветной телевизор, проигрыватель, стулья вдоль стен и полки, на которых было куда больше пластинок, чем книг. Ника Семеновна сразу села, а Сергей Степанович ходил большими шагами по комнате и все никак не мог успокоиться. Его мучило и то, что он неожиданно для себя сорвался и заорал на старого человека, повинного только в том, что человек этот честно исполнял свой долг, и то, что орал он не те слова и не тем тоном. Все это бредило его душу, раздражало, вызывая мучительное и, увы, неосуществимое желание отмотать назад весь приход в общежитие и повторить заново без всякого крика, но зато с ядовитой насмешкой.

— Господи, чего мы тут сидим? — с тоской вздохнула бывшая жена.— Не мог сюда наш Рослик ходить, никак не мог.

— Почему не мог? А если мог?

— У него запросы.

— А тут девицы.— Ткаченко раздраженно ткнул пальцем в объявление, висевшее на стене.— Видишь, какая лекция? «Береги честь смолоду» называется. Очень актуальная тематика.

Они оглянулись на скрипнувшую дверь, но заглянула не таинственная Тамара, а старая вахтерша.

— Одевается, спала уже,— недовольно сообщила она.— Тут рабочие женщины живут.

Сказав это, она втянула голову в коридор и тихо прикрыла дверь. Сергей Степанович перестал метаться, почему-то старательно одернул пиджак и поправил галстук, а Ника Семеновна заметила со вздохом:

— Запугали они всех рабочим классом. А зачем? Будто девчонки за этим в Москву едут. Девчонки едут, чтоб за москвича замуж выйти, вот тебе и вся их работа.

— Да? — озадаченно переспросил он.

Кажется, он хотел спросить что-то еще, развить именно эту тему, уточнить ее и углубить, но тут открылась дверь и вошли две девушки. Первая была несколько полноватой, спокойно красивой, но выглядела вроде бы флегматичной, если не просто сонной. Вторая — помельче, пожестче, понекрасивее — смотрела прямо, решительно и строго.

— Ткаченко.— Сергей Степанович чуть поклонился жен-

ственной сонуле.— Извините, что побеспокоили, Тамара... Как по отчеству?

— Я Тамара,— резко перебила вторая.— Это Ольга. Бытсектор. Слушаем вас.

— Собственно, дело сугубо личное.— Сергей Степанович смешался не потому, что ошибся, а потому, что от бытсектора веяло обволакивающей женственностью.— Видите ли, мы родители, а наш сын...

— Разнежился? — презрительно перебила Ника Семеновна: она тоже ощутила излучаемое Ольгой прирожденное обаяние, но реагировала на него по-иному: «вот из-за таких-то все зло...» — Мы действительно родители, и это единственное разумное слово, которое сумел произнести мой муж.— «Бывший муж», тут же поправила она себя, но вслух еще упрямее повторила: — Мой муж бывает мямлей, как и все мужчины, и поэтому вы уж извините, но существо изложу я. Нам сказали, что наш сын в свое время был вовлечен...

— Фамилия? — мгновенно, даже грубовато перебила Тамара.

— Что? — растерялась Ника Семеновна: она не привыкла отдавать инициативу объяснений, это обезоруживало ее, лишало наступательного порыва, заменяющего для нее все иные аргументы.

— Руслан Ткаченко, я не ошиблась?

Родители переглянулись. Их не столько озадачило безошибочное определение, кого именно они разыскивают, сколько глухая и какая-то презрительная ненависть, которую и не пыталась скрывать Тамара.

— Да, я Ткаченко,— как можно весомее сказал Сергей Степанович.— Руслан действительно наш сын, и мы очень обеспокоены...

— Не поздно ли? — сонным голосом осведомилась Ольга и, не удержавшись, сладко зевнула.

— Простите.— Ткаченко смущенно улыбнулся.— Конечно, сейчас поздно, но поймите наше состояние.

— Ольга другое имела в виду,— нехотя пояснила Тамара.

— Рослик пропал,— торопливо, но пока еще без истерики заговорила Ника Семеновна.— Понимаете, наш сын пропал, и мы умоляем, если вы, конечно, знаете...

— А как же, хорошо знаем,— на сей раз перебила Тамара: девочки вообще вели себя необъяснимо агрессивно.— Привык, что все гадости сходят с рук. Но на этот раз ничего у него не выйдет, это я вам говорю.

— Слушайте, вапа манера все время перебивать,— на-

чал Сергей Степанович, но тут же изменил разговор.— Есть здесь старшие?

— Бабушка на вахте,—с лукавым простодушием сказала Ольга.— Позвать?

— Не зубоскальте, девушка, я вполне серьезно спрашиваю, где ваши старшие?

— По званию, что ли? — насмешливо улыбнулась Тамара.— Или по занимаемой должности? Так по званию мы с Олей — советские люди, а по занимаемой должности — представители рабочего класса. Вам этого достаточно, надеюсь?

— Нахалка,— почти с удивлением протянула Ника Семеновна.— Ну и нахальная же ты девица! Не удивлюсь, когда выяснится, что именно такие заманивают наших сыновей, которые мечтают...

— Ваш Рослик мечтать не способен,— доверительно объяснила Ольга.— Он способен только хотеть.

— О, вы еще издеваетесь? — сдавленно спросил Ткаченко.— У нас пропал сын, а вы... Вы за это ответите. Ответите!

— Ответим,— согласилась Тамара.— Ваш Рослик, если хотите знать, и вправду пропал: он сделал ребенка девочке, у которой никого нет на свете, кроме нас, и уж мы-то с него спросим. Будьте уверены.

— Сделал ребенка? — ошарашенно переспросил Сергей Степанович, пропустив остальное мимо ушей.— Как понимать «сделал»? Что это значит — «сделал»?

— А то значит, что, когда она ему призналась, что ждет ребенка, ваш сынуля избил ее.

— Клевета! — истерически закричала Ника Семеновна.— Вранье, не верю, этого не может быть! Заманили, развратили — вы, вы ответите за это, слышите меня? Ответите! Рослик — интеллигентный мальчик, первый разряд по фигурному катанию...

— Оставь, Ника, при чем тут фигурное катание? — Сергей Степанович вмиг стал серьезным, строгим, деловито озабоченным.— То, что вы сказали, это ужасно. Ужасно и ни в коей мере не свойственно нашему сыну. Ни в коей мере. Подобные обвинения требуют неопровержимых доказательств. Неопровержимых, уважаемая товарищ староста, или кто там вы еще.

— Требуют,— согласилась Тамара.— Ольга, приведи сюда доказательства. Неопровержимые, как сказал гражданин отец.

Еще раз сладко зевнув, Ольга послушно вышла. Тамара уселась в кресло, приготовилась к долгому ожиданию, а родители переглянулись, и в их взглядах, как в зеркалах, отразился напряженный ужас.

— Послушайте, Тамара, а где же все-таки Руслан?

Тамара очень серьезно посмотрела в чуть растерянные глаза Сергея Степановича, хотела ответить резко, но сдержалась:

— Не беспокойтесь, он жив и здоров. И, главное, он в надежных руках.

— Что значит, в надежных руках? Почему вы говорите загадками?

— Это мой сын! — не дав Тамаре ответить, запрчитала вдруг Ника Семеновна.— Единственный мой, милый, домашний мальчик...

— Замолчи, Ника! — решительно прикрикнул Ткаченко.

Она отчаянно замахала рукой и полезла за платком. Тамара молча следила, как аккуратно вытирает она обильные слезы, но на серьезном лице ее ровно ничего не отражалось. Ни жалости, ни сострадания, ни любопытства или злорадства, и Ткаченко подумал, что у старшей по девичьему общежитию редкостное самообладание, достаточно воли, выдержки и здравого смысла. Поэтому он и остановил причитания бывшей супруги: это оружие здесь сработать не могло.

— Надеюсь, вы понимаете чувства матери...

— Нет,— отрезала Тамара.— Все хорошо своевременно, и я решительно не понимаю чувств матери, когда поезд ушел.

Открылась дверь, и Ольга ввела в красный уголок маленькую, очень худенькую девушку, скорее подростка в коротеньком халатике, который уже приметно оттопыривался на животе. Именно ввела, держа за оба плеча и чуть подталкивая перед собой.

— Вот наша Аля,— объявила она, поставив перепуганную девочку посреди комнаты.

Наступило довольно длительное молчание, во время которого мать с отцом беззастенчиво и откровенно разглядывали девушку. «Нашел, называется! — раздраженно думала Ника Семеновна.— Ни кожи, ни рожи. Напоили, подсунули, а теперь качают права всем рабочим коллективом. Шантаж, вот как это все называется. Шантаж!» Сергей Степанович не был столь категоричен, поскольку сразу же уловил ласковую, почти беспомощную покорность и податливость этого полурбенка, понял, как жадно жаждет она любви, как готова верить, боготворить и подчиняться. «Жертва первого встречного поганца,— решил он.— Руслан не просто воспользовался беззащитностью. Руслан упивался властью, вот в чем вся мерзость».

Маленькая, жалкая, угасшая девочка стояла под изучающими взглядами незнакомых взрослых людей безмолвно и обреченно. Ей уже не было стыдно, ей было нестерпимо больно, и в этой душевной боли тонули сейчас и стыд, и свойственная ей живость.

— Обманула? — негромко и почти ласково спросила наконец Ника Семеновна и улыбнулась. — Знаю, знаю, не стесняйся, я — женщина. Приглядела, нацелилась, подпоила и... Ну, что же ты молчишь? Разве я не права? Признайся, как оно все там происходило, а тогда будем решать, что делать теперь.

«А ведь Ника выбрала верную тактику, — с некоторым удивлением подумал Сергей Степанович. — Дура душой, но когда речь заходит о защите сына...»

— Хорошая беседа, душевная, — улыбнулась Тамара. — Включай магнитофон, Ольга, запишем девочкам в назидание.

Спокойная Ольга, оставив тискавшую на груди халатик Алю, молча прошла к полке, где стоял магнитофон. Микрофонов нигде видно не было, но Ткаченко решил вдруг, что пришла пора не только вмешаться, но и атаковать, крушить жалкую оборону, заставить робкую девчонку признаться, что она сама во всем виновата, что соблазняла и опаивала тихого интеллигентного мальчика, что...

— А ну признавайся! — Он рявкнул так, что Аля испуганно качнулась. Тамара бросилась к ней, а Ольга сразу забыла про игру в магнитофонную запись. — Знаю я вас! Развели тут, понимаете ли, Художественный театр, а дело-то выведенного яйца не стоит. Выведенного яйца. Что, московская прописка потребовалась? Отвечай! Да таких, как ты...

— Спокойно, папаша, спокойно и, уж пожалуйста, без оскорблений, — медленно и как-то очень уж странно сказала Тамара. — Я ведь тоже грамотная, а свидетелей у меня — зал не вместит. Сейчас Ольга поднимет всех девочек, и мы при них продолжим эту интересную беседу.

— Молчать! — Ткаченко настолько был возмущен этой много о себе думающей Тамарой, что не смог сдержаться. — Да знаешь ли ты, кто я такой? Знаешь?

— Знаю: вы — повзрослевший Рослик, — тем же голосом продолжала Тамара. — А вот кто я, вы не знаете. Я — комсомолка, это вам понятно? И куда идти, найду безошибочно, можете не представляться.

— С чем идти? С чем?.. — Ткаченко задрожавшей рукой потыкал в маленькую Алю. — С этой, что ли?

— С этой самой. Аля, расстегнись. Да чего ты стесняешься, это же не люди перед тобой. Это просто-напросто любящие родители, только и всего.

— Не надо.— Аля затряслась, завсхлипывала.— Тома, не надо, пожалуйста.

— Надо, Аленька.

Тамара силой оторвала худенькие руки, вцепившиеся в отвороты халатика, чуть распахнула сам халатик, и родители увидели сине-багровые пятна на шее, на плечах, на груди.

— Красиво? Для мамыши можем и животик показать: сыночек по нему ногами бил. Кроссовками фирмы «Адидас». Не вы покупали?

— Не верю! — отчаянно выкрикнула Ника Семеновна.— Не верю, не верю! Мой сын не мог, вы слышите, не мог!

— Не кричите,— сказала Ольга.— А то я магнитофон включу.

— Нам суд и без всякого магнитофона поверит.— Тамара аккуратно застегнула халатик на беззвучно плачущей Але.— Во-первых, существует акт судебно-медицинского осмотра, а во-вторых, сегодня вашего Рослика арестовали.

«Душою тоже можно заразиться, можно заразиться,— повторяла про себя Елена, бесцельно слоняясь по пустой квартире.— И зараза таится в человеке, а он даже и не подозревает, что она живет в нем. Но при каких-то обстоятельствах язва вскрывается, и человек неожиданно начинает говорить и действовать совсем не так, как говорил и действовал до сей поры. Он начинает действовать вопреки всему. Вопреки им же самим провозглашенным принципам, потому что душою тоже можно заразиться...»

Елена ненавидела эти мысли. Они не только терзали ее, не только лишали спокойной уверенности — они разрушали сам фундамент существования: веру в НЕГО. Ту безоглядную веру в избранника, которая делает влюбленную женщину счастливой, сильной и беспредельно преданной. И сомнения, которые зашевелились в ней, посягали не просто на ее покой, но и на сам смысл ее женского бытия. И она старательно гнала эти мысли, усилием давила грызущих ее червей, все время пытаясь сосредоточиться на чем-то самом лучшем, простом, недвусмысленном, что только происходило в ее очень короткой жизни с Сергеем.

Она старательно вспоминала первые дни их знакомства: те дни, когда она, инженер Елена Круглова, приказом директора была прикреплена к московскому высокому гостю в качестве... В каком качестве? Консультанта, референта, гида по заводу, наконец? Допустим, но почему, почему дирекция выбрала именно молодого специалиста, имеющего некоторый опыт работы, в то время как на заводе полно было куда

более эрудированных, опытных, знающих, просто способных инженеров? Почему же выбрали именно ее, за какие заслуги? Какие?.. Неужели только за молодость, хорошую фигурку, живой язычок да смазливую мордашку? Но это же... «Господи.— Елена прижала холодные ладони к запыхавшим щекам.— Командировочным из центра гостеприимные хозяйки непременно устраивают нечто приятное: рыбалку или охоту, уральские пельмени или горячую сауну с холодным пивом. Сергей равнодушен к охоте и рыбалке, равнодушен к выпивке и бане, и тогда... Господи, тогда ему подсунули ее, так, что ли, получается? Подсунули... как... как...»

Елена даже про себя не смогла произнести того, до чего вдруг додумалась. Почему-то защемило сердце, стало так обидно и так больно, что захотелось заплакать, зареветь в голос, но она сдержалась. Внушая себе «спокойно, дура, спокойно», прошла на кухню, медленно выпила целый стакан нестерпимо холодного боржоми из холодильника. Пить ей совершенно не хотелось, зубы ломило от боли, глоталось с трудом, но она заставила себя допить воду до дна, потому что это — она верила — могло успокоить и отвлечь.

«Все мы, бабы, трясогузки и каналы,— она невесело усмехнулась.— У нас гипертрофированное самолюбие и противная способность зарывать самих себя в собственных домыслах. Во-первых, все совершенно не так, абсолютно не так, как мне налезло в голову, а во-вторых... Во-вторых, спасибо судьбе и директору, что они поручили ей тогда высокого московского гостя. Спасибо, но об этом все же лучше не вспоминать. И не думать. Лучше не думать.

А о чем думать? Что же это за совместная жизнь — пусть короткая, пусть полуворованная и уж, во всяком случае, полулегальная,— если на ее пути все время попадают мины, готовые взорваться при малейшем прикосновении? Нет, нет, все идеально, все, все. Ведь не она же завлекала его в Свердловск: он прилетел сам, по доброй воле и в первый, и во второй раз. Правда, между этими прилетами была та короткая ночь... но он же не наивный мальчик, впервые ощутивший женщину? Она ведь не ставила никаких условий, абсолютно никаких: Сергей Степанович не просто понравился ей, а, сам того не подозревая, вскружил голову настолько, что Елена уже не могла, не находила сил отпустить его без той короткой, ни к чему решительно не обязывающей ночи. Не могла, не имела сил, может быть, даже умерла, если бы не те ночные объятия. Ну, не умерла бы, конечно, от этого не умирают, но страдают долго, очень долго, порою всю жизнь. Тем более те

женщины, которые успели не только побывать замужем, но и разочароваться в этом.

«Душою тоже можно заразиться. Душою...»

Хватит: ни к чему хорошему эта идиотская история тебя не привела. Твоему замужеству завидовали подруги: муж — умница, хорош собой, не пьет и не курит, любит жену и спорт. Что еще нужно для обыкновенного счастья? Да ничего... Нет, неправда: чуть-чуть терпения. Терпения и... Как там у Чехова? Да, да, Душечка. И тебе для счастья просто-напросто не хватило Душечкиного великого таланта растворяться в любви своей. Нет, как можно, мы такие самостоятельные, такие образованные, такие эмансипированные! И каждая вот такая эмансипированная дура, растерявшая драгоценнейшие свойства женской души, взамен утерянного выдумывает некое безликое мудрствование, некое научно-образное обоснование собственного неумения любить со всей женской безоглядностью. А причина-то проста настолько, что проще и некуда: не тому поклонялась в детстве. Не будущей женщине и матери, а будущему специалисту, кандидату наук, пропагандисту НТР, вожаку инертных масс, то есть чему-то настолько бесполому, настолько абстрактному, холодному, как висячий замок, что ничего доброго это породить в жизни не могло, кроме слез и разводов. Ведь не научившись любить мужчину, женщина начинает любить себя: сердце пустым оставаться не желает и не может. Любить до самозабвения, до растворения в себе самой...

Так думать было приятно: Елене хотелось во всем обвинять себя. Это представлялось ей справедливым, и, главное, это отвлекало от реально свершившегося. От его «глупенькая», сказанного не ей, от его забывчивости, от сухого последнего щелчка закрывшейся двери и собственного отчаянного бессилия. И она со сладострастным наслаждением ковырялась в себе, находя все больше и больше ошибок и промахов, наслаждаясь отболевшей болью только потому, что отболевшая боль сейчас, в этот пустой и такой длинный, такой тягостный вечер прикрывала боль свежую. Старые боли отвлекали от боли сегодняшней, реальной, сущей, и она старалась вспоминать. Ей казалось, что еще немного воспоминаний, еще чуточку усилий, и она обретет то прекрасное равновесие духа, в котором так нуждалась.

Но вспоминался почему-то только Свердловск. Точнее, не сам Свердловск, а он, Сергей Степанович Ткаченко, в Свердловске, ее Сергей, Сережа. Ее?.. А почему же тогда упорно не вспоминается Москва? Ведь он любит ее, свою Елену, Леночку, по-настоящему, спокойно, уверенно и серьезно, а где они вдвоем были за эти месяцы? Два раза в

театрах... нет, три раза, но тот, третий, лучше не вспоминать не потому что он оказался последним, а потому, что до сей поры она ясно видит, как в нижнем фойе вахтанговского театра Ткаченко, торопливо и скованно шепнув: «извини», вдруг оставил ее, отошел, но далеко отойти не успел, и отраженный полукружьем стен голос отчетливо доносился до внезапно оставленной Елены.

— Иван Алексеевич? Вот уж где не ожидал увидеть.

— Да вот, супружница настояла. Она у меня тайком в Ланового влюблена. Ты с Никой? Сейчас моя подойдет...

— Нет, нет, дело в том, что... Я не совсем.

Елена до сих пор вздрагивает, как в ознобе, вспоминая это беспомощное бормотание, это «не совсем». И понимающий, мужской, барско-покровительственный смешок собеседника:

— Все понял, все. Разбежались по этажам.

Больше в театр они не ходили. Она не заговаривала об этом, все время надеясь, что заговорит он, а Сергей Степанович все чаще начал толковать про усталость, про то, как ему приятно торчать дома, как он любит и ценит разговоры с нею. А потом приволок огромный цветной телевизор, и Елена не удержалась. Кажется, впервые в их совместной жизни.

— Тебе начали надоедать разговоры со мной?

— Что ты! — Ткаченко улыбнулся, но улыбка и тогда показалась ей дежурной. — Знаешь, мир тесен...

— Но все почему-то сталкиваются в нем только под фонарями. Ты это хотел сказать мне?

— Я хотел просить. Я уже давно мысленно умоляю тебя, но не решаюсь сказать.

Он умолял не только словами, не только тоном, а всем существом своим. И она невесело улыбнулась:

— Надо обождать с выходом в свет?

— Да.— С каким облегчением он выпалил это «да»! — Официальная регистрация нашего брака сразу же...

— Не надо ничего объяснять.— Елена постаралась улыбнуться, хотя ей было совсем не до улыбок.— Ты притащил телевизор, чтобы я не скучала по вечерам? Как это мило...

Боже мой, ну зачем, зачем она вспомнила сейчас об этом? Ведь все и в самом деле было так замечательно, так прекрасно, так...

Пока не пропал Руслан. А вдруг он и вправду как-то там пропал, исчез, а она позволяет себе изнемогать из-за глупейших уколов надуманной ревности? Какая чушь, какая глупость, как же ей не стыдно думать-то о таких мелочах, когда жизнь его единственного сына, его ребенка, возможно,

находится под угрозой. Руслан пропал — в конце-то концов что же может быть серьезнее и страшнее этого факта?!

В передней по-хозяйски щелкнул язычок замка, и Елена рванулась на этот такой знакомый, такой хозяйский, такой родной поворот ключа. И резко остановилась, услышав:

— Прошу, девочки. Проходите, раздевайтесь.

Боже ты мой, чего Сергею Степановичу стоило уговорить Алю приехать к нему на Ленинский в столь позднее время! Обычно сдержанно-суховатый, Ткаченко неожиданно обнаружил в себе горячего и — что удивительно — почти искреннего оратора, трибуна, обольстителя: все вместе и все, не исключая, а дополняя друг друга.

Да, сначала ему было стыдно, мучительно, до жара стыдно, а потом он привык. Ко всему человек привыкает в конце концов. Адаптируется, как теперь принято говорить, и Ткаченко скоро сааптировался в полном соответствии с новыми жизненными обстоятельствами.

А тогда, поздним вечером в комнате девичьего общежития, именуемой почему-то красным уголком, он не успел адаптироваться. Он только успел испугаться, испугаться за всю свою жизнь, а вот сааптироваться не успел. Но шок от известия, что сын арестован по уголовному обвинению, у него прошел куда быстрее, чем у Ники Семеновны.

— Мерзавец,— сказал он.— Почему он не пришел ко мне, к матери, к вам, Тамара, наконец? Почему гадости пытаются спрятать, утаить, хотя давно всем известно, что сделать это еще никому не удавалось? Подлость и трусость неразделимы, они есть всего-навсего две стороны одной медали...

Сергей Степанович не помнил, что тогда наговорил. Он с таким брезгливым презрением, с таким темпераментным негодованием обрушился на собственного сына, что девочки растерялись. До сей поры нападающей стороной были они: это давало им не только силы, но и право быть правыми в каждом слове своем. Теперь у них перехватили инициативу, теперь право негодовать и возмущаться оказалось у других; из обвинителей они превращались в зрителей, в аудиторию, перед которой выступал немолодой и весьма авторитетный человек, имеющий опыт руководства, управления и выступлений и отлично усвоивший правило номер один: ошеломить. И Ткаченко ошеломлял столь вдохновенно, что первой не выдержала до онемения перепуганная Ника.

— Как ты можешь, как? Это же твой сын!

— Молчать! — гаркнул он.— Это подлец, а не мой сын. Трусливый пакостник, чуть было не натворивший не-

поправимой беды. Посягнуть на материнство, на святая святых! Рожать! Вы обязаны родить ребенка, Аля, и ни о чем больше не беспокойтесь. Не знаю, будет ли у вашего дитя отец, но дед с бабкой у него уже есть...

Верил ли он в то, что говорил? Он настолько старательно избегал вспоминать об этой сцене, о своем пафосе, о сказанных словах, что никогда и не задавал себе подобного вопроса. Да если бы и задал, вряд ли смог ответить на него: в нем уже одновременно действовали тогда как бы два существа, только одно думало, а другое говорило. Начальник главка Ткаченко, которому на днях практически пообещали заветное повышение, пришел в ужас от того, что узнал вдруг о собственном сыне. Летела карьера, доброе имя, авторитет, служебное положение — даже само членство в партии могло оказаться под вопросом. Перед пропастью такой глубины ему еще не приходилось балансировать, и тренированный многолетней гибкостью мозг сейчас просчитывал варианты, ходы, возможности и последствия этих возможностей. Просчитывал быстро и хладнокровно, словно сам Ткаченко стал компьютером высшего порядка, перестав быть живым человеком и уж тем паче отцом натворившего неприятностей подонка.

Но этот отец, которого, как и человека-компьютера, тоже звали Сергеем Степановичем Ткаченко, тоже присутствовал здесь. Это он метал громы и молнии, это он просил и умолял, это он извергал гражданский пафос и отцовский гнев, это он обещал, клялся, ругался и чуть ли не падал на колени перед растерянными девочками.

— Молчать, Ника! Отныне ты, Аля, будешь жить у нас вне зависимости от того, как наш закон поступит с моим сыном и что этот подонок — да, подонок наш с тобой сын, подонок, и давай называть вещи своими именами!.. — решит после того, как понесет справедливое наказание. Ты будешь растить моего внука, жить, учиться или работать, а он...

Сергей Степанович говорил не умолкая: нельзя было умолкнуть, сделать паузу, дать им возможность прийти в себя. Он взмок от невероятного напряжения, он умирился от собственного темперамента, он начинал путаться в словах, повторяться, пробуксовывать, но сидевший в нем трезво мыслящий человек-компьютер неустанно приказывал одно: отколоть. Отколоть девчонку от энергичных подруг, от коллектива, увезти из этого общежития. Она робка и послушна, она ничто без поддержки деловитой старшей по общежитию и уверенного в себе бытсектора, без пронзительной старухи вахтерши и невидимых подружек, которые готовятся ко сну

или уже спят в многочисленных комнатах этого дома. Только бы увезти...

Странно, но недалекая Ника быстро сообразила, куда он гнет. Не лезла в разговор, горестно всхлипывала и даже несколько раз с боязливой нежностью погладила притихшую девчонку в мятом-перемятом (спит она в нем, что ли?..) халатике с обвислыми, оттянутыми отворотами. Что нашел в ней этот идиот Руслан? Покорность, столь необходимую ему для самоутверждения? Инфантилизм, отвечающий его запросам? Неопрятное бесстыдство полудетства? А может быть, нечто вроде духовного пластилина, из которого лепится все, что только придет в голову?

Это размышлял холодный, спокойный, внутренне мобилизованный для беспощадной борьбы за собственное спасение человек-компьютер. Он слышал каждое слово своего двойника (слова были мелкими, сентиментальными, пустыми, тон захлебывающийся и даже заискивающий, и компьютеру-Ткаченко все это было до крайности противно), видел каждую девушку в отдельности — как слушает, как смотрит, что может сказать или сделать — и уже был убежден, что почти контролирует ситуацию. «Осталось дожать. — Он мысленно отдал приказ. — Ника, если ты сейчас же не включишься, эти лидерши опомнятся, и все пойдет насмарку. Ника, пойми, почувствуй, перехвати разговор. Речь идет о спасении твоего сына, психопатка!..»

Тут он почему-то отвлекся от попытки телепатически воздействовать на бывшую супругу, выпустил ситуацию из-под контроля и вспомнил вдруг, что его Рослик еще с далеких, совсем младенческих лет частенько (если не ежедневно) возвращался с улицы в слезах и обидах. Громко ревел, когда его жалели, и громко рассказывал, кто именно его толкнул или ударил, кто над ним смеялся, кто дразнил, а кто просто не принял в игру. Он вечно на всех жаловался и вечно скулил; Сергея Степановича раздражала эта культивируемая матерью и бабкой манера, но он никогда не вмешивался. И времени не было, и желания не было, да и Ника Семеновна вкуче с маменькой занимали в вопросах воспитания такую агрессивную позицию, что он, однажды попробовав вмешаться, зарекся это делать на всю жизнь. Да, сын рос не лидером: обидно, но что же делать, не всем же рождаться коноводами. И махнул рукой на сына, а сейчас вдруг понял: когда плохо отмытая девчонка готова изобразить рабыню, нелидер тут же превращается в повелителя. И щедро обещает при этом все, чтобы только рабыня не опомнилась, не прозрела, не сбежала к другому: женитьбу, московскую прописку, отца с матерью и комнату в про-

сторной квартире. Так холодно вспоминал, думал и анализировал Ткаченко-руководитель: Ткаченко-отец продолжал вещать и обещать...

— ...все удобства... ни о чем не беспокойся... твое дело — здоровье ребенка... внук — это больше, чем сын...

«Ника, дожди их.— Ткаченко вновь весь сконцентрировался на приказе бывшей супруге, развесившей уши не хуже этих девчонок.— Осталось немного, Ника, неужели ты не чувствуешь, куда клонится разговор?..»

— Девочки, я верю, верю, что вы помете меня,— отчаянно всхлипнув, неожиданно выпалила Ника Семеновна.— Я мать, всего-навсего любящая мать. Я пришла защищать своего единственного сына, это же так естественно. Но когда мне сказали, что я скоро стану бабушкой, во мне перевернулась душа. Девочка моя!..— Она бросилась к испуганно вздрогнувшей Але.— Доченька моя, все будет хорошо, заверяю тебя. Отныне ты будешь жить с нами, только с нами — ведь мы не оставим ее здесь, правда, Сергей? Нет, нет, немедленно собирай свои вещи и...

— Подождет с вещами,— сердито перебила Тамара: она не ожидала столь бурной радости со стороны родителей этого мерзавца Рослика.— Завтра. Мы тут поговорим, обсудим, а там решим.

— Вы решите? — В голосе Ники Семеновны прозвучало вполне искреннее недоумение.— Это она должна решать, она, Аля. И мы. Извините, девочки, но это — семейное дело. Отныне это — наше общее семейное дело. Правда, Аленька?

— Правда,— еле слышно подтвердила заплаканная девушка.

Ах, как дорого стоило сейчас именно это слово! Ткаченко с трудом сдержал ликование: первый раунд был выигран чисто и стремительно. А второй... Второй будет с глазу на глаз, без этих общежитийских активисток.

— Смотри, Алька,— почти равнодушно, почти с зевком сказала Ольга.— Не пришлось бы потом локти кусать.

— Она едет в свой дом,— с горьким пафосом пояснила Ника Семеновна.— Какие там локти?

— Без вещей,— решительно объявила Тамара.— Все вещи мы сами привезем Але завтра. Скажите нам точный адрес.

— Ника, покажи девочкам паспорт.

Почему Сергей Степанович сказал именно так: «покажи паспорт»? Не «скажи девочкам адрес», а «покажи девочкам паспорт»? Да потому, что за него эти слова произнес рассудительный, ни на миг не потерявший способности анализировать обстановку опытный руководитель Ткаченко: пусть

девочки переписывают адрес Ники Семеновны — он все равно увезет Алю к себе на Ленинский. А потом разберемся, где она будет жить: скорее всего вообще не в Москве. Во всяком случае, он приложит все усилия, чтобы она исчезла навсегда, затерявшись в бесчисленных российских провинциях.

— Вот, девочки, пожалуйста.

Тамара внимательно проверила паспорт, переписала адрес. Сурово глянула на Алю:

— Значит, решила ехать прямо сейчас?

— А как же Рослик?

— Руслан получит то, что заслужил, — с суровой непреклонностью сказал Сергей Степанович. — И только после этого придет просить у тебя прощения, если ты захочешь.

— Он ведь от растерянности, — неуверенно пробормотала Аля. — А вообще он... слабый.

— Ладно, — оборвала Тамара. — Ступай, переоденься и в порядок себя приведи.

А когда несмело заулыбавшаяся Аля ушла, добавила:

— Мы ее так не оставим, учтите. Мы следить будем, вы уж не обижайтесь. У нее ни отца, ни матери, одна бабка глухая.

— Ради бога! — с огромным облегчением воскликнул Сергей Степанович. — Ради бога, девочки, приходите, навещайте...

— Прошу, девочки. Проходите, раздевайтесь.

Так сказал Ткаченко, когда Елена рванулась в переднюю на знакомый звук отпираемого замка. И остановилась: вместо ожидаемого нашествия неизвестных девочек в квартиру несмело прошли худышка в коротковатом пальтишке и Ника Семеновна. И больше никто не вошел, из чего Елена немедленно сделала вывод, что дружеское «девочки», сказанное Сергеем Степановичем как-то особенно по-домашнему, относилось заодно и к его бывшей жене. Это сразу остановило ее на пороге: она загроживала проход в комнату и ничего при этом не могла сказать. Просто смотрела, как они — неизвестная и Ника Семеновна — раздеваются в ее квартире. А потом встретилась глазами с настороженной, казавшейся испуганной девицей, которая шепотом сказала ей:

— Здравствуйте.

— Это? — почему-то очень поспешно, на редкость бестактно, неуклюже как-то спросил Ткаченко. — Это все потом. Лена, пожалуйста, пройди на кухню и... поставь пока чайник, что ли. Нам надо поговорить.

— По-семейному,— кротко пояснила Ника.

Елена молча прошла на кухню. В голове ее шумело, мысли рвались и крутились, и она никак не могла остановить их, сосредоточиться, подумать, понять. Автоматически налила чайник, поставила его на плиту, но газ так и не зажгла. Опустилась на табурет, на котором сидела всегда, когда кормила Сергея Степановича завтраками, уронила на колени ставшие вдруг неимоверно тяжелыми руки и замерла в неподвижности, ничего не видя и ничего не слыша, словно впала вдруг в бессознательное состояние, сохранив при этом способность сидеть, тупо глядя в одну точку.

«Проходите, девочки». «Девочки». «Это все потом». «Поставь чайник». «Пройди на кухню». «Нам надо поговорить». «По-семейному». Им надо поговорить по-семейному. Без нее.

Эти обрывки фраз и мыслей все время вертелись в ее голове. Вертелись совершенно самостоятельно, потому что Елена ни о чем не могла думать, не могла сосредоточиться, не могла даже понять, что произошло и почему ее опять выставили на кухню.

Неизвестно, сколько времени она просидела так: ее не звали, к ней не обращались, от нее даже не требовали подать чай. О ней просто забыли, потому что дела, которые решались сейчас в комнате, были куда важнее самого ее существования в этой квартире.

А потом как-то все успокоилось. Прекратилась круговерть в голове, Елена увидела знакомую кухню, выдраенные кастрюльки и сковородки, дверцы антресолей над входом в кухню: они плотно не закрывались, потому что там стоял ее знаменитый урод-чемоданище. Мамин спаситель, сначала переехавший из блокадного Ленинграда в суровый Свердловск, а теперь совершивший путешествие из Свердловска в Москву. В потертых фибровых боках было что-то близкое, родное, мамино и даже бабушкино, и, увидев выглядывающий торец его с давно отвалившимся нижним треугольником, Елена окончательно пришла в себя. Настолько, что сразу же услышала голос: Сергей Степанович опять забыл закрыть дверь в комнату.

— ...дать письменное заявление.

— Зачем же? Зачем?

— Это же отец твоего ребенка. Ты что, хочешь упрятать его в тюрьму? И прекрати рев!

— Она прекратит,— сказал Ткаченко.— Она умная девушка и понимает, что нельзя губить собственную семейную жизнь собственным упрямством. Ника, дай ей бумагу и ручку. Пиши то, что я буду диктовать. Готова? В... оставь

место для номера... отделение милиции города Москвы. От гражданки Али...

— Я Александра,— тихо всхлипнула девчонка.— Можно не так быстро? Не поспеваю я, рука дрожит.

— Рука дрожит! — с возмущенным презрением повторила Ника Семеновна.— Небось, когда отправляла Рослика в тюрьму, руки не дрожали.

— Хватит,— строго оборвал Сергей Степанович.— Пиши дальше. Заявление. Чистосердечно признаюсь в том, что я оклеветала гражданина Ткаченко Руслана Сергеевича в нанесении мне побоев. Он никогда и пальцем меня не тронул...

— Нет!..— вдруг отчаянно выкрикнула Аля, и Елена услышала, как упала на пол ручка.— Нет, нет, нет! Он бил меня, бил! И в грудь даже, и в живот, и за волосы таскал. А в живот ногами, ногами!..

Девушка глухо зарыдала, и, кроме ее рыданий, долгое время ничего не было слышно: видно, родители тихо переговаривались да переглядывались. Потом зажурчал вкрадчивый голос Ники Семеновны:

— Ну, успокойся, милая, успокойся. Ты просто неправильно поняла Сергея Степановича, вот и все. Это же только для твоего блага, понимаешь? Это ложь во спасение... Сергей, принеси воды.

Услышав шаги Сергея Степановича, Елена внутренне подобралась, поспешно отерла лицо и встретила его взглядом еще в дверях.

— Что происходит? Кто эта девушка?

— А! — он досадливо отмахнулся.— Не до тебя, уж извини. Дай воды.

— Вот кран, перед тобой,— помедлив, холодно сказала она.— Стаканы в шкафчике.

Ткаченко не обратил внимания на ее холодность. Достал стакан, открыл кран, сливая нагретую воду. Елена вспомнила о бутылке боржоми в холодильнике, но промолчала: у них были теперь свои дела.

— Современная девица,— вдруг усмехнулся он.— Такие не за червонец, а за московскую прописку в постель падают.

— Ты имеешь в виду меня? — как можно безразличнее спросила она.

— Что? — Ткаченко уставился на нее: вода лилась через край стакана.— Знаешь, давай без шпилек, а? Эта тихоня моего сына года на два в тюрьму закатает, меня с таким приданным с работы попрут, а ты будешь упражняться в остротах, да? Спасаться надо, понимаешь?

И вышел из кухни. «Спасаться? — подумала Елена. — Единственное правдивое, единственное точное слово за весь вечер. И на том спасибо».

— ...не буду, — всхлипывая, говорила Аля. — Не хочу, не буду. Отпустите меня.

— Успокойся. Успокойся. — Тон Ники Семеновны был скорее тревожным, чем ласковым. — Ну, приди в себя, выпей воды и давай порассуждаем. Мы же не настаиваем, чтобы ты жила с Русланом: это — ваше дело. Но родить от арестованного — уж извини. Извини! Он прежде всего отец твоего ребенка, прежде всего. Вот о чем надо сейчас думать, а не о личных обидах. Ну, ударил сгоряча, ну, не сдержался: с кем не бывает? Это жизнь, Аля. И надо уметь прощать. Да, да, это великое свойство любящей женщины. Ты ведь любишь Рослика, правда?

— Прощать? — тихо, но уже без всяких всхлипываний и слез спросила Аля. — Это как же так? Это ведь смотря что прощать. Когда бьют, нельзя прощать. Сил у меня таких нет, чтобы его прощать.

— Значит, не любишь ты его, не любишь. Когда женщина любит...

— Значит, не Руслан — отец ребенка! — неожиданно гаркнул Ткаченко. — Ревешь? Крутишь? Комедии ломаешь? Врешь! Все врешь! Я — взрослый мужик, моя жена — взрослая женщина, мы знаем, что такое любовь. Знаем! За любовь русские бабы на каторгу шли! И не смей больше врать, слышишь? Тут либо — либо. Любишь — пиши заявление в милицию и вытаскивай любимого, а не желаешь писать — значит, не любишь. И хватит крутить!

Вероятно, именно на этом срыве Ткаченко и кончились для Александры все иллюзии. До сей поры они не то, чтобы жили в ней — она сама всеми силами поддерживала их существование. Поверив скорее от отчаяния там, в общечитии, всем уговорам, заверениям и обещаниям, Александра поехала только для того, чтобы укрепить в себе эту веру, чтобы окончательно разрушить все сомнения, чтобы заглушить в собственной душе ту слащавую фальшь, которую расслышала в тоне не только Ники Семеновны, но и Сергея Степановича. Несмотря на все оскорбления и обиды, она по-своему все еще любила Руслана, но вместо того, чтобы поддержать в ней эту любовь, родители начали сразу же спекулировать ею, понукать и взнуздывать, напрочь позабыв при этом о ней, об Александре, и помня только о нем, о своем Рослике. От нее требовали лишь слепого подчинения, но подчиняться она могла одному Руслану да и то до известных пределов, и поэтому чрезмерный нажим должен

был вызвать и в конце концов вызвал обратную реакцию. Кроме того, Александра была сейчас одна, без привычных, хорошо ей знакомых и весьма деятельных подруг; это обстоятельство все время держало ее в напряжении, мобилизовало все силы и обостряло внимание.

— Не люблю,— помолчав, негромко, но очень веско и обдуманно сказала она.— Извиняюсь, конечно, ошиблась по дурусти. А как ударил, так сразу и поняла: таких учить надо. Я тоже виновата, я с себя вины ни капелечки не снимаю, но таких, как ваш Руслан, надо перевоспитывать. Чтобы они другим жизнью не портили.

И опять наступила мертвая пауза: видно, там, в комнате взрослые привыкали к новой Але-Александрке. Не зареванной тихоне, которая, по их убеждению, проливала слезы не потому, что ее оскорбили, а потому, что ее бросили, а человеку негромкому, неопытному, совсем неактивному, но — человеку. Женщине, которую уже трудно было называть легкомысленным полуименем-полукличкой «Аля», а хотелось невольно именовать Александрой.

— Комедию ломаешь?

— Ничего я не ломаю,— она вздохнула.— Я верила, понимаете? Мне мама, когда еще жива была, верить наказывала. Всем дочерям матери «не верь» говорят — я знаю, девочки рассказывали — а мне: «верь, доченька». Непременно, говорила, обманут тебя, может, и не раз еще обманут, а ты все равно верь. Верь, иначе счастья тебе не видать. Счастье только с верой к женщине приходит.

— Ты демагогию тут не разводи...

Ткаченко бормотал как бы по инерции: начав сурово и требовательно, сам же и замолчал, так и не закончив фразы. А девушка продолжала все тем же негромким голосом, будто и не расслышала этих его слов:

— Вот я и поверила, что влюбилась. Это теперь-то я такая умная, а тогда верила. Ваш Руслан чего только не обещал — всему верила, потому что считала: вот она, любовь моя. И редела-то, и три дня на работу не ходила не потому совсем, что избил он меня, а потому, что сама я упала.

— Вот! — закричала Ника Семеновна.— Вот и напиши, что сама упала. С лестницы...

— Не с лестницы — с высоты. Мама еще говорила, что любовь обязательно поднимает женщину, что парит она над землей, как на крыльях, и что только тогда и рождаются у нее здоровые и веселые ребяташки. Вот я и взлетела... в мечтах, а в жизни — о землю хлопнулась. Что, путано говорю? Да я и сама-то толком не разобралась еще ни в том,

что случилось, ни в себе самой. Одно только знаю твердо: пусть вашего Руслана накажут. Как можно строже пусть накажут, чтоб он боялся девушек обижать.

— Как ты можешь?.. — плачуще начала Ника Семеновна. — Как ты можешь, дрянь ты бесчувственная, мне, матери, такое говорить?

— Зачем ты с нами поехала? — спросил Ткаченко. — Зачем ты дурочку валяла, если у тебя такая продуманная программа: верить, вершина, взлет... Чего же ты там-то при своих активистках этого нам не изложила, чего ревела, заикалась, придуривалась чего?

— Не знаю, — чистосердечно призналась Александра. — Ревела-то я сперва от обиды — это как вас увидела. А потом... Потом жалко мне вас стало, не поняла я по своей глупости, что все неправда, все слова, которые говорите, и что обманываете вы меня почище вашего Рослика.

— Вон! — истерически закричала Ника Семеновна. — Стерва! Хамка! Чтоб духу твоего...

— Замолчи!

Кажется, Ткаченко-руководитель вновь лихорадочно включал свой компьютер, пытаясь как можно быстрее просчитать варианты, проанализировать возникшую ситуацию и выдать единственно правильное решение. Но мобилизация сил проходила замедленно, с трудом, потому что он, посчитав дело выигранным, расслабился и как бы распустил на отдых своих самых опытных помощников. «Ошибаться начал, — невесело думалось ему. — Старею, что ли? Или эти, новые, другого подхода требуют?.. А ведь и вправду другого: непуганые они, и страха в них нет. Страх они не ведают, вот оно что...» И спросил:

— Рожать не страшно будет?

— Нет.

— Без мужа?

— Без Руслана, — уточнила она. — У меня специальность, и девочки всегда помогут.

— А мы, выходит, уже и ни при чем? — горестно всхлипнула Ника Семеновна. — Мы, дед с бабкой.

— А мы не дед с бабкой, — с расстановкой сказал, даже не сказал, а как бы отчеканил каждое слово Ткаченко. — У нее этих дедок да бабок... А ты не боишься, что завтра к тебе в родной коллектив письмо придет, в котором два десятка мужиков расскажут, как за червонец в подъездах делали с тобой что хотели?

— Пишите, — равнодушно сказала Александра. — Это даже интересно будет.

— Да тебя по всем инстанциям...

— Это вас — по инстанциям, а меня родной коллектив знает. Так что пишете. Почитаем.

— Да ты знаешь, кто я такой? — В голосе Ткаченко уже слышалось отчаяние, он исчерпал все аргументы, а девушка с каждой секундой становилась все увереннее и спокойнее. — Один мой звонок куда следует, и тебя выпрут из столицы в двадцать четыре часа.

— И там люди живут. Ну, время позднее, а мне добираться долго. Так что пора.

Александра прошла в переднюю, и Ткаченко с Никой Семеновной послушно и даже несколько ошарашенно последовали за нею. И молча глядели, как она надевает свое пальтишко.

— Ладно, заберу я свою жалобу, — внезапно решила она и невесело, очень по-взрослому улыбнулась. — Только не потому, что мне Руслана жалко, а потому, что вас мне жалко. Ездили, уговаривали, суетились. Ладно уж.

И вышла не попрощавшись. А бывшие супруги еще долго стояли в прихожей, стараясь не смотреть друг на друга. Потом Ника Семеновна сказала:

— Слава богу, что с Росликом обошлось.

— Что? — тупо переспросил Ткаченко. — Да. Обошлось.

— Можно у тебя заночевать? Я боюсь ехать, второй час ночи.

— Конечно. — Тут он вспомнил о Елене, вспомнил вдруг, потому что до этого мгновения она абсолютно не присутствовала в его жизни. И позвал: — Лена!

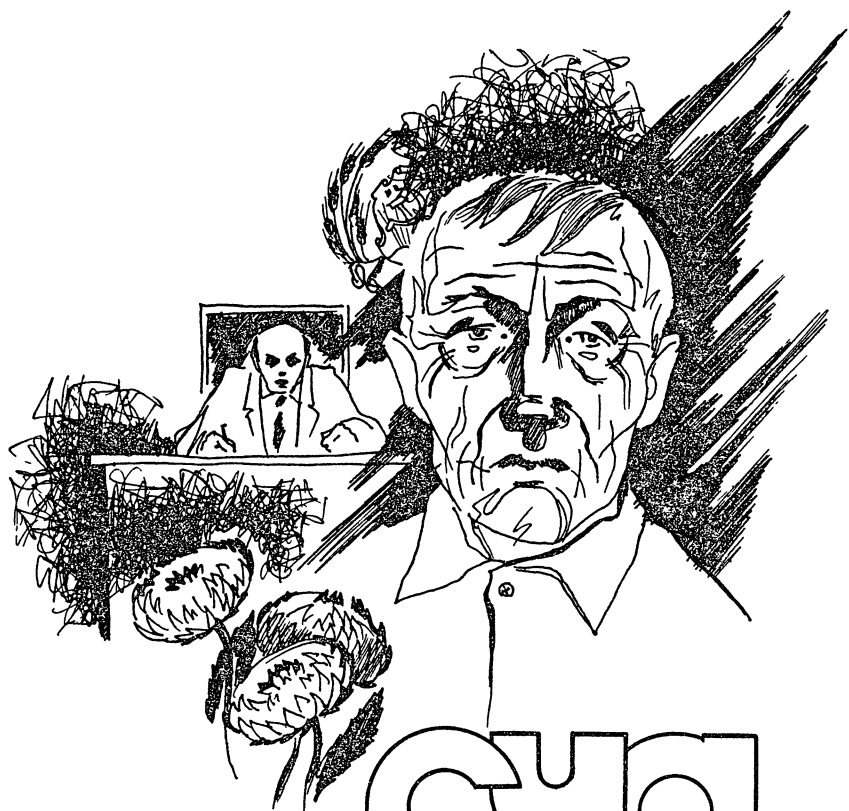
Никто не отозвался. Ткаченко прошел на кухню и остановился на пороге, ничего не понимая. Все оставалось на своих местах, холодный чайник стоял на плите, а Елены не было. Он не понял, что ее нет, и даже почему-то потрогал пустую табуретку, на которой она сидела по утрам, когда кормила его завтраками. И снова окликнул, хотя понимал, что Елена не могла пройти в комнату незамеченной:

— Лена! Лена, где ты?

И опять никто не отозвался. Из прихожей пришла Ника Семеновна, странно посмотрела на него. Он отвел глаза, поднял голову и увидел настежь распахнутые дверцы антресолей.

Чего-то там не хватало. Чего-то очень привычного. Он присмотрелся и понял, что там нет огромного старого чемодана. И неожиданно отчаянно закричал:

— Елена!..



Суд

да дело...

СУД ДА ДЕЛО...

Скулов

— Двадцать восьмого сентября сего года гражданин Скулов Антон Филимонович, тысяча девятьсот двадцатого года рождения, русский, ранее не судимый, участник войны, имеющий фронтovou инвалидность, проживающий в лично ему принадлежащем доме по Заовражной улице, семнадцать...

Монотонный приевшийся голос следователя гулко отдавался от каменных стен, забранного решеткой, навечно замазанного оконца, цементного пола и тяжелой, обитой железом двери, и Скулов привычно не воспринимал слов. Он неподвижно сидел на холодном, влитом в бетон железном стуле и думал о том, чтобы не качаться, хотя ему очень хотелось качаться взад и вперед в такт монотонному чтению. Так всегда качался тренер киевской футбольной команды «Динамо» Лобановский. А Скулов когда-то — давным-давно, ох как давно! — болел за киевлян и старался смотреть по телевизору все матчи. Но следователь раздражался, когда Скулов начинал раскачиваться, и Антон Филимонович не хотел огорчать его в последнее — он знал, что оно последнее, — свидание.

— ...выстрелом в упор из охотничьего ружья шестнадцатого калибра убил гражданина Вешнева Эдуарда Аркадьевича. Означенный гражданин Вешнев скончался на месте преступления.

Скончался означенный. А мог и не означенный: все они что-то орали тогда. А он стрелял четыре раза, и этот выстрел был последним. Только бы не закачаться. Почему же — означенный?

— Короче говоря, вы, Антон Филимонович, обвиняетесь в умышленном убийстве безотягчающих обстоятельств согласно статье сто три УК РСФСР. Осознаете?

— Где подписать?

— Да вы уже сознались в преступлении, сознались, по-

том подпишете. Я спрашиваю, осознаете ли всю тяжесть содеянного?

— Убил, не отрицаю.

Следователь был молод — первое серьезное дело! — не растратился еще, не привык и возмутился:

— С олимпийским спокойствием, так, да? С олимпийским спокойствием!

— Не отрицаю, убил, — ясно, безо всяких интонаций повторил Скулов, но закачался.

— Ну, хорошо, прочитайте и распишитесь, — вяло вздохнул следователь. — Ему десять лет в решетку светит, а он знай себе качается.

Скулов подписал, не читая. Расслышал слова, усилием заставил себя замереть, а потому и ручку клал медленно, будто в кино.

— Упорный вы, гражданин Скулов, упорный. Принципиально не читаете, принципиально от защиты отказываетесь, а непохоже, чтобы осознали. — Следователь убрал все бумаги, завязал тесемки на папках, но уходить не торопился и конвой не вызывал. — Следствие закончено, но признаюсь, сильно на вас удивляюсь, Антон Филимонович. Возраст у вас — аюшки, а если крутанут вам полную десятку, на что рассчитываете? Помереть в колонии? Глупо. Я с вами не как следователь, я по-человечески хочу, понимаете? У меня оба деда в войну погибли, я без стариков рос, может, потому психологически душа ваша для меня — терра инкогнита. Ну, застрелили, тяжкое преступление, но ведь сколько вариантов, а? Тут и превышение пределов необходимой обороны, статья сто пять, и состояние сильного нервного волнения, статья сто четыре, да и простая неосторожность — статья сто шесть, наконец; вы же все отмели. Все, и поволокли на себя чистую сто три: умышленное убийство. Зачем?

Зачем?.. Скулов задумался, в себя заглянул и не заметил, как опять закачался. Молодой следователь, энергичный, хороший, наверно, парень, а дух вещей никак понять не хочет. Во-первых, жить-то зачем? А что, во-вторых, он на суде скажет, если смягчать вздумают? А звучать будет так: три раза Скулов в воздух стрелял, четвертый — в него. В означенного. И если бы промахнулся, снова бы перезарядил, а все равно бы в него. И тогда бы уж дуплетом. Тогда бы уж — залп. Вот на суде этот залп и гроыхнет, а следователь о статьях толкует.

— Это я вам, гражданин Скулов, к тому говорю, что если рассчитываете разжалобить, так не надейтесь. Все решают факты. Так что проникнитесь...

Проникнитесь. Нелепое слово. Проникновение — это по-

нятно. Или — проникающее. Проникающее ранение... И чего ребенка тогда не взяли, чего испугались? Все-таки за могилой бы ухаживал, а так пропадет могилка. И место пропадет, не лежать ему рядом. А коли так — пусть побольше. Пусть полную катушку, как следователь выражается. Чтобы уйти и не вернуться.

А как же Аня?..

Скулов все сильнее и сильнее раскачивался на неподвижном стуле, уже не только не слушая, но ни слова не слыша, о чем там говорит следователь, а мечтая лишь, чтобы отпустил он его поскорее. Чтобы вернуться в свою камеру, сесть на табурет, качаться и вспоминать. Вспоминать об Ане, и о себе, и опять об Ане, все время об Ане, с первого дня, с первого часа их знакомства и до последнего мига ее жизни. Больше ничего не осталось: ни сожаления, ни жалости, ни страха — только эти воспоминания, в которые никто, ни один человек не мог проникнуть. Это было его царство, его земля обетованная, его бесконечная, каждый раз по-новому, по-особому проживаемая жизнь.

— ...Фронтовик, ордена вон. Это как понять все, Антон Филимонович? Я постичь хочу вашу психологию: человек в войну жизни своей не щадил, а тут взял да и застрелил. Вы же за него, за этого парня, кровь проливали, а что получилось? Как мне понять? А я хочу понять, гражданин Скулов, хочу вникнуть: может, я что-то недоучитываю как следователь, недопонимаю, как молодой работник. Подскажите, помогите. Себя не жалеете, так хоть мне помогите...

«Помогите! Помогите!..» — это он кричал, и опять крик этот, стократно усиленный прожитым, ворвался в его память, высветив все до мельчайших подробностей. Мокрую весну, мокрый лес с вывороченными стволами, изломанными сучьями — марсианский какой-то лес без ветвей и листья. И он — с перебитой ногой, которая волочилась за ним по перепаханной танками поляне... Нет, уже не волочилась: Аня отрезала ее ножом, чтобы не волочилась, потому что сама его волокла. «Миленький, потерпи, родименький, вот только через поляночку». А тут — минный налет, вой, скрежет, и ее теплое тело на нем, грудь к груди, лицо к лицу, будто в жаркой любви, а не в бою. «Не бойся, миленький, они мимо все, мимо...» И забилась вдруг, без вскрика забилась, молча приняв в себя все осколки, что им двоим немцы предназначили. И отяжелела, обмякла, а он кричал: «Ты что, сестренка, ты что?..» И сквозь гимнастерку, сквозь белье, сквозь грохот, и бой, и время, и судьбу — сквозь все до сегодняшнего мгновения кровь ее просочилась. Теплая,

родная: он всем телом ощутил ее тогда и запомнил. И закричал: «Помогите!» — не себе помощи прося — ей.

Помогли.

— ...Вернулись вы с боевыми заслугами, с тяжким ранением, только не домой вы вернулись, гражданин Скулов. А поехали из госпиталя в город Сызрань и жили там на вокзале, пока из тамошнего госпиталя не выписали вашу фронтovou подругу Ефремову Анну Свиридовну. И тут вы не к законной семье поехали, а вместе с гражданкой Ефремовой к ее брату в наш город. Да что это я вам вашу биографию рассказываю! Я просто понять хочу: любовь? А чего тогда с прежней женой не развелись? Почему с новой брак не зарегистрировали? Все вопросы. Столько в вашей жизни вопросов скопилось — пять лет разбираться надо. Ну, к примеру, почему же насчет брака, а?

Почему? Аня запретила, вот почему: «Не сироти детей, Тоша. Своих у нас не будет, знаешь, вырезанная я вся, а потому не сироти. Надоем, другую встретишь — слова не скажу: то — твоя воля. А дети не твоя воля, а твоя доля, Тошенька...» Вот потому и со старой не развелся, и с новой не расписался.

— ...Я официально своего коллегу уполномочил допросить вашу законную супругу по месту ее жительства для более полного освещения вашей характеристики. Но мне лично интересно знать, почему ваша законная жена тоже не ставила вопрос...

— Устал я,— резко сказал Скулов: невыносим ему был разговор о жене, бывшей жене, хоть и законной.— Устал, нога мозжит, в камеру хочу.

— Я же понять пытаюсь,— расстроено вздохнул следователь.— Последняя возможность...

И вызвал конвой.

Следователь

— А вы что пьете? Ничего? Ну не может быть! Ну тогда бутылку шампанского,— сказал следователь, лихорадочно соображая, хватит ли у него денег.— Шампанское заморозьте!

Последние слова он прокричал на весь ресторан, с шиком, тут же быстро зыркнув на корреспондентку. Но корреспондентка рассеянно оглядывала зал, чуть приоткрыв пухлые подкрашенные губки. «Ох и целуется, поди! — восторженно подумал он.— Неужто в номер не пригласит? Говорить надо, говорить, чего замолк, дубина деревенская?...»

— С утомления даже врачи иногда рекомендуют. А вообще, конечно, в моей следственной практике алкоголь такая деталь, что...

Московская корреспондентка отодвинула стул и положила ногу на ногу. Широкая юбка, спадая тяжелыми складками, обтянула бедро; следователь поперхнулся: «Черт возьми, ну и ножки! А все-таки хорошо, что она в юбке. И юбка — как колокольчик. И блузка на ней — ну, сила, ну, приделась. Может, для встречи, для меня, может?.. Ну дурак буду, если такую упущу. Нет, говорить надо, рассказывать. Может, тот случай? Пикантно и с намеком».

— Да, алкоголь исключительно влияет на некоторые сферы, — откашлявшись, начал он. — Прошлой весной, к примеру, под Первое мая двое юнцов подпоили девушку и воспользовались ее беспомощным состоянием.

— Ну и как же это они воспользовались? — лениво спросила корреспондентка.

— Как? Что значит — как? Изнасилование. Статья сто семнадцатая УК РСФСР.

— Что вы говорите! — Девушка улыбнулась, всплеснув руками. — Она долго отбивалась, пострадавшая невинность ваша?

— В том-то и дело, что алкоголь.

— Вся в синяках и платье в лоскуты?.. Тоже мне, следователь. Да женщина бывает пьяной только тогда, когда сама этого хочет; эта аксиома вам известна?

Ленивый и в то же время покровительственный цинизм москвички больно бил по мужскому самолюбию, но следователь никак не мог преодолеть провинциального комплекса, тихо потел, заранее мучился бессилием и изо всех сил боролся с желанием удрать. Он редко бывал в ресторанах, а если и случалось, то в тени, за спиной умелого организатора, ограничиваясь участием в пиршестве да платежах. Официант, исчезнув, не появлялся, и следователь не знал, надо его звать или так положено; скатерть была мятой, в пятнах и крошках, и он гадал: в какой момент на это следует указать и не упустил ли он этот момент? Эти беспокойства рассеивали внимание, мешали сосредоточиться на том, ради чего он и пришел сюда, сковывали не только его самого, но и его язык, который вообще-то был неплохо подвешен.

— Может, чего желаете?

Это прозвучало так беспомощно, что гостя впервые посмотрела на него с мягким женским пониманием.

— Да не суетитесь вы, все нормально. Отдохнем, расслабитесь, и поговорим.

— Безусловно.— Он жалко улыбнулся, ненавидя себя за эту улыбку.— Знаете, переутомился. Целый день с убийцей. Ну, со Скуловым этим, который вас интересует.

Корреспондентка положила ладошь на его руку.

— Все будет о'кей, верьте мне. И о Скулове поговорим, и об убийстве, и вообще.

«Вообще? Что — вообще? Намекает? А если болтает просто или манера такая?.. И что значит — расслабьтесь? Ведет себя будто старшая, а сама лет на десять младше. Не-ет, с такими ухо остро держать надо, а то враз дурака сделают...»

— Да не бойтесь вы меня.— Она словно читала его мысли.— Ну, хотите, я вами покомандую, пока вы в себя не придете? Годится?

— Годится,— с облегчением вздохнул он и осторожно промокнул платком взмокший лоб.

— Учтите, что я — корреспондент и поэтому всегда на работе. Следовательно, здесь пьем только соки и минералку. Шампанское — в номер, под него и поговорим. Танцуете?

— Вообще-то...

— Не вообще, а конкретно?

— Конкретно нет,— сказал следователь, хотя танцевать умел и любил, но боялся, что не то любил и не так умел.

— Не ревнуйте, когда меня начнут приглашать.— Она улыбнулась.— Меня всегда приглашают, чувствуют, что я — современная. А вы чувствуете?

— От вас флюиды, знаете...— Он опять промокнул лоб сложенным вчетверо платком: будто пресс-папье прокатил.— Как фонтан.

— Ого! — Она вскинула голову и прищурилась.— Кажется, помаленьку приходим в себя, а?

Наконец появился официант. Встряхнул скатерть, в который уж раз застилая ее наизнанку, что только увеличило количество пятен. Принес закуску, какая сыскалась, воду, шампанское, виноградный сок. Следователь тотчас же налил его, пробормотал: «За наше знакомство!» — и поспешно выпил, надеясь исполнить рекомендацию московской гостыи и расслабиться. Сделать этого ему, однако, не удалось, но некую мертвую точку он все же преодолел, и вечер наконец-таки начался. Следователь бормотал дежурные комплименты, промокал лоб и уговаривал выпить шампанское здесь.

— Ну надо же, а? За знакомство и вообще. А?

Корреспондентка смеялась, закидывая голову, и следователь начинал судорожно вытирать пот. С каждой минутой его собеседница становилась все соблазнительнее, а когда

начал играть оркестр, ее и в самом деле наперебой вытаскивали танцевать. Следователь цепко смотрел, как ловко она скачет, пламенел еще больше и с надеждой поглядывал на шампанское, которое он гордо приказал заморозить и которое, естественно, никто замораживать не стал.

Все-таки она вытащила его на первом же «белом» танце. Он хорошо чувствовал ритм, но все время думал, как бы половчее дернуться, взмахнуть рукой или лихо прищелкнуть пальцами, и это лишало его естественности. Да еще на ногах гирями висели неуклюжие сапоги с суконным верхом и обрезиненной подошвой, давно именуемые «прощай молодость». Дома были вполне современные, но он же не думал утром, что угодит в ресторан; он шел в следственный изолятор, в сырые, холодные казематы с бетонными полами, от которых у него начинали отчаянно ныть застуженные на зимней рыбалке ноги. И он всегда надевал в тюрьму эти коты, и они спасали его, но скакать в них под современные ритмы оказалось совсем нелегко. Все сегодня было против него, все наваливалось, стесняло, осложняло и утяжеляло; иными словами, все обостряло и без того достаточно ощутимый им комплекс неполноценности. А партнерша то взлетала, как птица, то изгибалась, как змея, и широченная юбка металась, как парус на ветру.

— Ну все, сматываемся,— объявила она после этого бешеного танца.— На меня глаз положили, пора отрываться. Расплачивайтесь, и двинем.

Он не знал, полагается ему проверять счет или это не принято. Внутренне он физически ощущал, сколько у него денег и где они лежат, и до ужаса боялся, а вдруг не хватит. И косил глазами, когда официант бегал карандашиком по бумажке, стремясь усечь итоговую сумму. А когда усек, вздохнул с облегчением.

— Перепрыгали, что ли? — удивилась гостя.

— Есть немного,— согласился он.— Все, знаете, дела. Практики танцевальной маловато.

На радостях он отвалил пятерку «на чай», а потом долго маялся, что много. И не столько ему было жалко денег, сколько совестно перед официантом, взгляд которого уловил, а уважения в нем не почувствовал. Да что там уважения: презрением облили, как из шланга. И он волок на себе это холуйское пренебрежение за чрезмерные чаевые, и ощущение потливого бессилия уже не покидало его. А тут еще приходилось подниматься по лестнице на шестой этаж, прятаться в углах и бесшумно перебегать по знакам опытной девицы, ибо горничные, талантливо рассажены в пунктах наилучшей обзорности, из всех своих обязанностей с рве-

нием исполняли лишь одну: следили, кто когда и с кем пришел в свой номер. И следователь взмок и выдохся, пока мышью юркнул к корреспондентке.

— Идиотская у вас гостиница,— шепотом сказала она, беззвучно повернув ключ.— Все просматривается, как на стадионе.

Провела в комнату, усадила в кресло. Закрыв дверь в тамбур, осмелела и говорила почти нормальным голосом:

— Снимайте пиджак, галстук, а главное, расслабьтесь. Я только душ приму: перепрыгала.

Ловко выхватив что-то из шкафа, москвичка исчезла в ванной, откуда тотчас же послышался тугой шум душа. А следователь пиджак снять не решился, потому что носил подтяжки и считал, что показывать их неудобно. Галстук он все же ослабил и расстегнул промокший ворот рубашки, но облегчения не почувствовал, поскольку в голове в разных вариантах вертелась одна и та же мысль: ох, напрасно! «А вдруг нагишом выскочит? — уже почти с ужасом думалось ему.— Сама же сказала, что современная, знаем мы этих современных. Выйдет после душа в чем мама родила, хватанет шампанского, намекнет, а мне что делать?»

Следователь решил было немедленно уйти, пока хозяйка заманчиво повизгивала в ванной. Но успел только затянуть галстук, и тут вышла корреспондентка в коротком, отчаянной смелости халатике, в шлепанцах и в нейлоновом чепчике, с которого капала вода. На свежем, очень радостном лице ее не было никакой косметики, и поэтому вся она казалась куда моложе и куда недоступнее.

— Что это вы будто на приеме? — Она плюхнулась в кресло, нимало не заботясь, что полы халатика распахнулись.— Уф, обожаю ледяной душ! Сейчас выпьем, и вы расскажете это дельце с убийством допризывника в день проводов в армию.

— Ну нельзя сказать, что допризывника, и вовсе не в день проводов, и вообще окончательно решать будет суд,— забормотал он, стараясь не глядеть на белые колени.— Формально следствие закончено, но еще не закрыто, поскольку я еще не оформил...

— Да будет вам,— безмятежно перебила она, стянула мокрый чепчик, потрянула головой, рассыпая волосы по плечам.— Журналистику не сенсации интересуют, а проблемы, и моя первая крупная публикация должна быть взрывной.

— Но так же нельзя: рассказывать до завершения...

— Открывайте шампанское, Шерлок Холмс!

Он послушно открыл шампанское — слава богу, не облил

ничего,— налил, чтобы пена поднялась шапкой, сказал: «За вас!» — а подумал: «Ну до чего же соблазнительная баба!»

— Ну? — нетерпеливо сказала она.— Давайте выпьем и — к рассказу. С подробностями и деталями.

— Успеем с деталями,— ненатурально засмеялся он.— За нашу встречу.

А сам думал: «Не так надо, не так! Надо на брудершафт предложить, губы ее поймать и рукой... А она — по морде. Может случиться такой вариант? Вполне. В Москве, поди, ни на какие брудершафты не пьют, уж забыли, как пить-то на этот брудершафт. Нет, говорить придется, а там видно будет, говорить...»

— И выстрелил в упор? — деловито выпытывала она.— Значит, из-за цветочка, который уходящий в армию Ромео хотел преподнести своей Джульетте, старик всадил в него пулю?

— Ну зачем же. Мотивы поступка потерпевшего не расследовались, и мы не можем утверждать...

— Но какая деталь: убийство из-за цветка. Потрясающе! И — ни тени раскаяния?

— Возможно, он еще не осознает.— Следователю стало неуютно.— Он до сих пор как бы в шоке. Качается, молчит.

— Шок! Скажете тоже. Хладнокровное убийство на почве собственнических интересов. Кулак ваш Скулов. Кулак новой формации.

Ни за что бы он ни слова не сказал ей, если бы не коленки!

— Ну, ну, успокойтесь, поцелуи оставим на завтра. Спасибо за пулевой материал и — до завтра. До завтра, мой Шерлок Холмс, вы поняли? Чао. Мимо дежурной — быстро и сосредоточенно. Ясно?

Дверь захлопнулась, шелкнул язычок замка. Следователь быстро и сосредоточенно прошел не только мимо дежурной, но и весь путь до собственного дома, и в голове у него празднично гремело: «Завтра! Завтра, завтра!..»

На другой день он явился ровнехонько в договоренное время, сунулся в номер, но дверь ему открыл совершенно незнакомый мужчина: корреспондентка вылетела в Москву утренним самолетом...

Сны

Делопроизводство шло своими путями, Скулова никто не беспокоил, и он был почти счастлив. Сидеть ему не возбранялось, и он сидел, качаясь в свое удовольствие.

Качался и думал постоянно об одном — об Ане, доводя себя в конце концов до снов наяву, до видений настолько четких и реальных, что уплывали стены, камера, тюрьма и само время поворачивало туда, куда он хотел его повернуть. Вот бы следователь удивился, узнав: ни разу еще родные его подопечному Антону Филимоновичу Скулову не привиделись — ни законная жена, ни законные дети. Только незаконная, одна незаконная, исключительно и постоянно — она, нерасписанная «фронтальная любовница», как про нее во всех жалобах писали, когда еще надеялись вернуть его с помощью парткомов, завкомов или милиции. Нерасписанная его Анна Свиридовна Ефремова, будто любовь расписать можно, вернуть можно или прогнать можно, если общественность такое решение примет.

— Слушай, Антон Филимонович, у тебя, оказывается, жена есть? Живет с двумя детьми в Саратовской области.

— Моя жена — Анна Ефремова, что в заводской поликлинике работает медицинской сестрой. И больше никого. Никого, понятно?

— Погоди, товарищ Скулов, не лезь в бутылку. Ты — член партии, я — твой секретарь, тобою же, между прочим, и выбранный. И приходит письмо. — Секретарь резко ударил ладонью по столу, папки подпрыгнули, чернильница: тогда принято было, чтоб чернильницы на партийных столах стояли. — «Помогите работнице нашей фабрики стахановке Нинель Павловне Скуловой вернуть мужа» — вот какое письмо. И ты мне объясни ситуацию, дорогой товарищ, помоги разобраться, а не бери на глотку.

«Помоги разобраться». Всю жизнь он эту просьбу слышал и никому не помогал: в чем разбираться-то? За что один человек другого любит? Ну как это объяснить? Вот за что не любит — это пожалуйста, это хоть сразу, хоть подумав, за что он свою законную не любит. А вот за что незаконную Аню любит, это никак невозможно объяснить. Это и объяснить-то грешно, ненужно, нескромно как-то. И тот морячок из победного сорок пятого, тот, без обеих ног, что на сызранском вокзале с ним рядом на тележке сам себя по земле перекатывал, обрубок-человек, полчеловека, тот сразу все понял. Тот все сообразил, без вопросов.

— Пофартило тебе, браток, поздравляю. Любовь — мотор, понял? Есть любовь — значит, есть мотор, значит, живешь еще, фронтальная душа!

— Знаешь, братишка, я в лицо-то могу ее не узнать. Скоро выписка, выйдет она, а я — мимо.

— Не бойсь, кореш, все устроим, — улыбнулся моря-

чок.— Аня Ефремова, так? Ну все, первым к ней подкачу, а ты — за мной, понял?

— Дело,— с облегчением заулыбался Скулов, в то время звавшийся просто Антоном среди наводнивших Сызрань инвалидов, хотя был постарше многих и войну закончил капитаном.— А дальше как? Ни кола ни двора, две шинели — весь достаток.

— Вот — главный вопрос,— вздохнул морячок-обрубок.— Но не бойсь, я — севавтополец, понял?

Через три дня после этого вокзального разговора к несуразно длинному, с еще дореволюционной коридорной системой дому, что стоял за паровыми мельницами, двигалась странная процессия. Впереди с визгом и скрежетом ехал на роликовой тележке безногий черноморский морячок, а за ним вереницей тащились одноногие и однорукие, слепые и глухие, трясущиеся и скорбно молчащие, потерявшие способность говорить вместе с вырванным пулей языком. Скулова не было в этой инвалидной колонне: он торчал в госпитале, обмениваясь с Аней записками, лишенный возможности хоть раз увидеть ее, поскольку в женский госпиталь мужчины не допускались по настоятельному требованию искалеченных фронтовичек. Но простым и прекрасным было братство изуродованных войной совсем еще молодых людей.

— Ты не трогай нас, милиция,— сказал на первом же перекрестке морячок, поскольку шествие было сразу же остановлено.— Мы к Родионихе идем просить ее по-хорошему помочь сестренке-фронтовичке. Идем с нами, милиция, ежели сомневаешься.

— Давай руку, земляк,— сказал милиционер.

Он взял морячка за руку и пошел посреди улицы, а морячок катился за ним на буксире. И остальные прибавили шагу, и вся эта инвалидная команда остановилась во дворе того длинного кирпичного несуразного дома, где коридорная система процветала еще при старом режиме. И сразу высыпали все жильцы, ибо обуглены были сердца тех лет.

— К тебе делегация, Родионова,— сказал милиционер известной кладбищенской нищенке, которую сам же не раз забирал в отделение за пьяные вопли и истерики.

Так сказал немолодой усталый милиционер, у которого было два ранения и четверо иждивенческих ртов и который уж столько лет не мог позволить себе не только выпить — лишнего куска хлеба позволить себе не мог. А вперед выкатился морячок... Как его звали?.. Забыл Скулов, как его звали. Выкатился этот морячок на своих роликах, кулаками отталкиваясь от родимой земли. Подкатился к на-

хмуренной, не успевшей в то утро прохмелиться Родионихе и глянул на нее снизу вверх, как на мать божию.

— Здравствуй, мать,— сказал.— Прости, что поклониться тебе не могу, но все равно прими ты поклон мой за муки твои. Двоих сынов отдала ты, солдатская мама, и подвиг твой никто не забудет. Но не ради этих справедливых слов пришли мы сегодня к тебе. Через неделю из госпиталя выписывается девушка-фронтовичка, а у нее в Сызрани ни угла, ни знакомых, а в кармане и рубля медяками не наскребешь: фронтовые санитарки, мать, за спасибо под пули лезли. И вот мы просим тебя, вот все мы, калеки, сыны твои, не за-ради Христа — за солдатское твое сердце просим пустить к себе нашу фронтовую сестренку Аню Ефремову.

Говорили потом, что такой истерики давно с Родионихой не случалось. Два часа билась, землю грызла, голосила, патлы на себе рвала, два часа ее соседки отпаивали. А милиционер «скорую» вызвал, будто и впрямь солдатская мать Родионова еще раз в один день две похоронки получила, как три года назад...

Скулов улыбался, качаясь в своей одиночке, и слезы текли по небритым щекам, а он и не знал, что они текут. Только сейчас, только убив человека, только пройдя допросы и засев в одиночной камере, он сыскал время оглянуться, по косточкам разобрать свою молодость и заплакать от счастья. Какая удивительная, какая чистая и счастливая судьба выпала на его долю, столкнув с фронтом и Аней, с Аней и фронтовиками, с братством и Аней, с Аней и дружбой, с любовью и Аней, верностью и Аней, радостью и Аней. Да что они понимают сегодня о счастье, эти молодые? Счастье набраться? Переспать? Накуриться до одури? Штаны с наклейкой приобрести? Деньжат урвать побольше?.. Да разве это счастье, бедные вы люди! Счастье — это из боя живым выйти, молча, плечом к плечу с теми покурить, кто рядом был в том бою. Счастье законной своей фронтовой выпить без слов, тех помянув, которые из боя не вышли, на которых тебе похоронки писать и чью долю ты пьешь за помин их душ. Счастье — хлеба сухого кусок, когда не жрал трое суток, когда уж не голод, не боль, когда тоска в животе, по живому тоска, по себе самому, потому что живот твой от тебя тайком тебя же и переваривает. А ты ему — хлебушка, туда, в нутро, в тоску сосущую, в чрево свое, да не сразу, не давясь, а пожевать сперва, ощущением еды каждую клеточку согреть, и проглотить не спеша, и ждать, пока он идет, этот кусок, по горлу, по пищеводу в тебя идет, как подмога, как боевая помощь идет. Сча-

стье — воды полкотелка, когда день на жаре под бомбежкой пролежал мордой в сухую землю, которую грыз от ужаса, в которую лез, ногти до крови срывая. И ком в глотке стоял такой, будто ежа проволочного в тебя вбили да еще и солью присыпали, и не глотаешь уже, и дерет гортань, и потеть нечем, кроме как солью одной, и соль эта коростой на плечах твоих и на груди. И вот тогда — полкотелка. Меньше нельзя, жажды не уймешь, и больше нельзя — вырвет тебя, желчью вывернет вместе с той пылью и гарью, что глотал ты, когда «юнкеры» полосовали тебя и вдоль, и поперек, и без перерыва. Ах ты, водичка ты моя фронтовая, пополам с кровью, с порохом, с чадом, с пылью и слезами солдатскими. И пьешь ты ее, сперва задыхаясь, булькая, гукая, со стоном пьешь такими глотками, что болью в голове отдает. А потом отдышишься, передохнешь и остаток медленно цедишь, как вино, как самый дорогой коньяк, или что там еще вроде этого. И пьянеешь от этой воды — вот счастье...

Улыбался Скулов, раскачиваясь в свое удовольствие и по-прежнему не замечая слез, что путались в тюремной его небритости. Он имел право и на улыбку и на слезы, потому что был счастлив. Всеми чувствами, которые только есть у человека, всеми был счастлив одновременно, и каждое чувство в отдельности счастливо было. Был счастлив. Это ведь мало кто про себя сказать может, а он и не говорил даже: он твердо знал, что был *счастлив*.

Загрохотали дверью, залязгали железом, и Скулов опомнился. Встал торопливо, руками отер лицо и в дверь взглядом уперся. Она открылась без скрипа, и вошел хмурый сержант — выводящий. Скулов знал его: сержант не раз сопровождал на допросы, и почему-то был уверен, что сержант добрый и отзывчивый, а хмурится, потому что такая должность.

— Адвокат тебя требует.

— Я отказываюсь от защиты.

— Положено, раз требует. Мое дело — отвести да назад привести.

Гулко залязгало, загремело железо, и Скулов — руки назад — медленно побрел, скрипя протезом, длиннющими коридорами старого тюремного здания, крыло которого использовалось под следственный изолятор. Дорога эта была знакома ему до мелочей, до выщербленки в плитах пола, и он давно уже привык думать не о ней и не о том, куда и зачем его ведут, а о себе. О своем ушедшем, в которое стремился каждое мгновение, даже во сне стремился.

Да, так о счастье. Оно началось в тот день, когда они с морячком-коротышкой ждали в вестибюле госпиталя, от-

куда Скулов столько дней передавал передачи и записки. Ждать ответов всегда приходилось долго: то ли нянечки не спешили, то ли сама Аня. Она писала очень мало — одну-две строчки, всегда на «вы» и всегда так, будто и не знает, кто такой Скулов, почему он ей носит передачи и должна ли она принимать их и отвечать ему. Об этом он сбивчиво — волновался тогда так, как ни в одном бою не волновался! — рассказывал морячку-севастопольцу... господи, как же все-таки звали-то его?.. когда открылась дверь и вышла госпитальная нянечка с девочкой-подростком в платочке и больничном бумазеевом халате. Он мельком глянул: нянечка была незнакомой, девочка — тем более, и продолжал говорить...

— Кто тут за Ефремовой? — громко спросила нянечка, оглядываясь. — Говорили, будто муж встречается.

— Ты?.. — Он обогнал инвалида на каталке, держал Аню за маленькие, худые-худые руки и громко кричал: — Это ты? Ты?..

Аня смотрела в упор огромными глазами, из которых безостановочно текли слезы, и робко, но настойчиво тянула свои руки из его лапищ. А он не отпускал, зачем-то все время встряхивал их и твердил:

— Да, да, это я за Ефремовой, я, Скулов Антон Филимонович, муж, значит...

Он вел Аню через город, а вот ехал ли за ними морячок на своей тележке, не мог вспомнить, как ни пытался. Помнил отчетливо, до цветочков помнил многократно стиранный госпитальный халат, который был Ане так велик, что она почти дважды в него заворачивалась, и полы сходились на спине. Помнил белую косыночку на стриженной голове и маленький узелок с жалкими пожитками, который Аня всю дорогу бережно прижимала к животу двумя руками. Помнил, как высыпали во двор несуразного того дома женщины, как целовали они Аню, как кричали и плакали, потому что не было в том дворе семьи, у которой война не выбила или не искалечила саму надежду ее, смысл, ради чего она создавалась, символ любви и жизни — ее детей. А Аня стояла как закаменевшая, ничего не понимая и пугаясь, и он постарался увести ее поскорее в комнату, где торжественно ждала Родиониха, но и там — со стуком и без стука — то и дело распахивалась дверь, и темные, в сорок лет состарившиеся женщины несли израненной девчонке все, чем богаты были: платьишки, оставшиеся от уже выросших или уже погибших дочерей, старые туфли, кофты, платки, теплые рейтузы, чудом не проеденные шелковые комбинации, которые сберегали для так и не вернувшихся мужей.

Дареное складывалось на кровать, все целовали Аню, уважительно жали руку Скулову и тотчас же уходили, чтоб не мешать чужому счастью, чтоб не бросить ненароком тень своего черного горя на этих двух уцелевших. Ах, люди, люди, как же вы радовались нашей радости...

Остановился Скулов.

— Чего встал? — строго спросил конвоир.— Давай вперед, не положено тебе останавливаться.

Слезами, как пленкой, глаза застлало, поэтому он и остановился: руки за спиной, не утрешься. Но сержанту объяснять ничего не хотелось, и, кое-как проморгавшись, Скулов снова побрел по гулким лестницам, с трудом различая ступени. Шел медленно, надеясь, что слезы просохнут и что войдет он к адвокату без всяких следов слабости, хотя и не слабость это вовсе была, а, наоборот, сила, единственная сила, лично ему принадлежащая, и какое им всем дело, что выражается она в слезах. Так он думал, пока не остановился перед дверью камеры, где обычно допросы снимали; глаза к этому времени просохли и проморгались, он вошел и... Вот не думал, что способен еще чему-то удивляться, такое повидав, такое совершив и столько отсидев: адвокат показался знакомым. Если уж честно, Скулов вообще не хотел, чтоб его кто-то защищал, но воспринимал это как должное: положено по закону, и все, и...

— ...Я буду осуществлять вашу защиту.

К тому времени конвойный ушел, адвокат представился, Скулов на стул сел, в пол влитый на веки вечные, и даже чуть покачался, но в меру, себя контролируя. Адвокат что-то говорил, но до Скулова ничего не доходило, кроме последней фразы насчет защиты. Тут он как бы очнулся, вынырнул, что ли, и впервые внимательно разглядел своего защитника.

За столом сидел рыхлый, задыхающийся даже в разговоре его возраста мужчина в толстых притемненных очках на крючковатом мясистом носу, в аккуратном отглаженном, далеко не новом костюме, с остатками некогда буйных, а теперь реденьких и совершенно белых волос на круглой голове с большими обвислыми ушами. Перед ним лежали выписки из «Дела» — много листков, клочков каких-то, — которые он медленно переворачивал, просматривая и задавая вопросы. Вопросы касались деталей, мелких обстоятельств, и Скулов отвечал не задумываясь, потому что как уперся в защитника взглядом, так и не отрывал этого взгляда. Не от самого рыхлого мужчины, а от его немодного, залоснившегося на локтях пиджака, на котором в три ряда шли орденские планки. И Скулов, привычно скользнув взглядом влево от медали за участие в Великой Отечест-

венной войне, безошибочно определил орден Красной Звезды, две медали «За отвагу» и одну — «За боевые заслуги» — «забесе», как говорили на фронте, и понял, что перед ним — солдат.

— Уточнили,— сказал адвокат.— Это, следовательно, мы уточнили.

Он снял очки, задумчиво постучал ими по страницам своих заметок, и Скулова поразили глаза: без ресниц, с огромными, навывкате белками, в красных прожилках и с таким тоскливым, как бы внутрь, в себя обращенным взглядом, что у Скулова екнуло сердце: «Что же ты, фронтовичок, братишка, и тебе, видать, несладко выходит?»

— Скажите мне, Скулов, скажите, бога ради, откровенно — очень мне правда нужна, понимаете? — скажите, почему вы выстрелили в человека?

Скулов упорно смотрел на планки, на рыхлую, задышающуюся солдатскую грудь, которая прикрыла Родину сорок лет назад, рядом с ним прикрыла, с безногим морячком... господи, да как же звали-то его?.. рядом с Аней, и, может, у него тоже своя Аня была, которая, плача в голос от страха и слабости, выволакивала его на себе под сплошным перекрестным, трижды проклятым огнем. А теперь он правды от него, от Скулова, требует, и не «за так», поди: кто тут «за так»-то надсаживается, в тюрьге этой?.. И сказал грубо, с вызовом:

— Правду тебе? Так на мне не заработаешь, вот и вся правда.

— Я сюда не за деньгами хожу.

— Брось заливать, солдат! Кто упал, с того сперва семь шкур дерут, а уж потом топчут, покуда не надоест.

— Да нет, знаете, у нас лежачего не бьют,— с обидой сказал адвокат.

«Лежачего не бьют!..» — вспыхнуло вдруг в Скулове — то ли в голове, то ли в сердце; жарко стало, нестерпимо жарко от стыда, как от пламени. «Лежачего не бьют» — так говорил его, Скулова, защитник на том, старом, давно прошедшем процессе, когда он работал директором рынка и его ловко подвели под монастырь. И адвокат — вот этот же самый, теперь-то Антон Филимонович узнал его точно, хоть и изменился тот неузнаваемо. Да, это был он, он; «лежачего не бьют» все говорил и отстоял его, Скулова, доказав, что виною доверчивость бывшего директора, а не преступная корысть. Он! Как же раньше-то Скулов его не узнал, как посмел, позволил себе не узнать?!

Адвокат

Угадал Скулов: была у адвоката своя Аня, которую звали Беллой. Она служила, правда, не санитаркой, а радисткой, познакомились они в Берлине за неделю до Победы и вернулись на родину мужем и женой. Родные Беллы — все до единого — погибли в Бабьем Яру, у него — во рвах Краснодара; специальности не было, угла не было, вещей не было, денег не было, и даже образование и у одного и у другого было прервано войной. И Белла сказала:

— Я пойду в дворники, и мы получим комнату. Я буду мыть подъезды, а ты сможешь учиться.

— Почему я, а не ты? Объясни, почему именно я? Нет, учиться пойдешь ты, а я пойду на завод...

— Не спорь, я уже решила. Только обещаю, что будешь адвокатом, ведь ты так красиво говоришь. Ой, эти твои слова... Я на минуточку развесила уши и так и не заметила, как это мы очутились в кустах. Нет, знаешь, кто ты? Ты — Цицерон, и ты пойдешь учиться!

Так и случилось: она чистила улицы, а он учился на Цицерона. Тогда еще не было сына Володи, а была полуподвальная комната, заваленный книгами канцелярский стол, выпрошенный Беллой в домоуправлении, да огромный пружинный матрас на кирпичках, на котором он каждое утро просыпался один, слушая, как где-то совсем рядом, над головой, шваркает об асфальт ее метла. Он всегда завтракал в одиночестве и бежал в институт, а звук метлы слышался ему постоянно, и поэтому он учился изо всех сил. Да и вся его группа, ходившая в офицерских кителях или солдатских гимнастерках с нашивками за ранения, переросла студенческие годы не возрастом, а фронтом и потому занималась очень старательно. А вскоре он закончил, получил назначение в этот городок, был принят в аспирантуру, Белла родила сына, и началось такое долгожданное, такое выстраданное счастье.

Уважаемый человек, фронтовик, известный адвокат. Уважаемая работница ткацкой фабрики, бригадир лучшей бригады, награжденная за работу орденом, депутат районного Совета. Молодой инженер той же фабрики, с блеском окончивший московский институт, красивый парень, мечта многих — и не только фабричных — девчат. Ну и о чем же прикажете мечтать? И вся мечта лопнула, как мыльный пузырь.

— Дорогие мои родители, я очень надеюсь, что вы помете меня. Я вас бесконечно люблю, я горжусь вами, я вам

всем обязан, но я, увы, вырос. Пришла моя пора, я должен устраивать свою жизнь.

— Ты собрался жениться? — радостно спросила Белла.

А вот он и не подумал о женитьбе сына: женитьба не требует таких преамбул. Кажется, вот тогда-то у него впервые сжало сердце, а заболело не оно, а спина. Под лопаткой.

— Я решил уехать. От вас требуется письменное подтверждение, что...

Он до сей поры помнил, как на глазах в считанные секунды изменилась его жена. Из веселой, способной и в пенсионном возрасте хохотать до слез, уверенной в себе, семье и друзьях женщины она превратилась в сутулую, носатую старуху. Будто выпустили воздух... Нет, не воздух из нее выпустили — из нее жизнь вынули. Душу ее бесмертную.

— Уверяю вас, это не легкомыслие, не порыв...

Господи, какой старой, какой дряхлой стала его Белла! Она вдруг все забыла: детство, школу, фронт, работу, награды, уважение и почет. Она запричитала с такими интонациями, что он вынужден был закричать. Впервые в жизни закричать на свою Беллу. И когда она замолчала, сказал почти спокойно:

— Ни я, ни моя супруга не имеем к тебе никаких имущественных, финансовых и прочих претензий.

Что было потом? Слезы, уговоры, ссоры, объяснения. Потом подошел срок депутатских полномочий, и Белла оказалась баллотироваться, сославшись на здоровье. Потом — отъезд сына, инфаркт отца и пенсия матери. Спасибо врачам: вытащили.

— Нет, все, все. Мы получили большое спасибо от сына, чего ты еще ждешь? Еще одного инфаркта и венка от Совета ветеранов? Ну так послушай меня, как слушал всегда, и оставь адвокатскую практику.

— Но ты же называла меня Цицероном. Или ты всю жизнь шутила?

— Это не я шутила всю жизнь. Это жизнь шутит всю жизнь.

Он понимал, что жена права, что за его старой, совсем согнувшейся спиной нетерпеливо перебирает копытами новая смена в лице молодого стажера, мечтающего о его практике и его славе. Он понимал, что теперь его держат на плаву только тяжелые солдатские медали, понимал, что любая оплошность, любой срыв могут перевесить чашу весов, и тогда ему не помогут даже фронтовые ранения: пенсионный возраст есть пенсионный возраст. Он все понимал прекрасно и удивлялся, что друзья и жена не пони-

мают главного. Самого основного не понимают: он шел в адвокатуру не за гонорарами, не за славой, не ради самоутверждения и даже не потому, что так хотелось Белле. От природы он был застенчив, и никакая тренировка, никакая профессиональная выучка ничего поделать не могли: он говорил скверно, скучно, слушать его не любили, но у него всегда было чувство исполненного долга. Он говорил за тех, кто не мог говорить, не мог строго логически вычерчивать линию собственной защиты, не мог искать следствий у причин и причин у следствий: их голосом, их логикой, их криком о спасении был он, и взгляд из-за барьера, с той скамьи был для него дороже его адвокатского гонорара. Он сам выбрал продолжение своей юности, сделав свою жизнь борьбой во имя справедливости, а каждый процесс — боем за справедливость, и поэтому избегал громких дел, предпочитая скромные гражданские иски, разделы имущества, мелкие, идущие от доверчивости или ротозейства растраты. Здесь судьба обрушивалась на безвинных или просто слабых, и он был той единственной опорой, которая не позволяла покачнувшемуся упасть. И, перестрадав и переболев, он ничего не стал менять в своей судьбе, по-прежнему скрипучим голосом доказывая правоту доверчивых девчонок, оскорбленных стариков или разобиженных старух.

— Я понимаю, ты хочешь умереть стоя,— вздыхала Белла — старая, сварливая, разучившаяся готовить его Белла.— Все хотят умереть стоя, но скольких валят благодарные сыновья. И тебя свалят тоже, верь мне, как верил всегда. В нашем возрасте лучше всего давать советы. Сидеть себе в консультации за столом, давать советы и выписывать квитанции.

— Да, да, ты права, абсолютно права, Беллочка, но я еще поработаю именно так, как столько лет работал. Еще чуть, полгода.

Он знал дело Скулова, но не хотел браться за него. Во-первых, не его это был профиль, а во-вторых, уж больно шумели в городе, спорили, обсуждали, негодовали. Но что-то засело в нем, что-то не давало покоя, что-то, как заноза в ладони, все время напоминало: Скулов. Лет десять, а то и все пятнадцать назад этот самый Скулов был директором рынка, и на него накрутили такое, что греметь бы этому Скулову за решетку, если бы не усилия защиты. Он со стажером провел собственное следствие, обнаружил дополнительные факты, свидетелей и такие документы, что суд освободил Скулова из-под стражи в зале суда за отсутствием состава преступления. Но не из-за того Скулов сидел в нем занозой, что когда-то был его подзащитным, совсем не из-за

того. И он думал о Скулове и об убийстве, много думал, а потом вдруг взял его дело по первому предложению суда.

— Ты сошел с ума, да? Нет, ты сошел с ума. Или ты с позором проиграешь процесс, или... Да какое или, какое? И так, и сяк, и этак под тебя подведут пенсионную книжку!

— Успокойся, Беллочка, не трепли себе нервы. Я должен выиграть это дело, потому что Скулов не может быть убийцей. Такие не убивают, Беллочка, таких убивают. И пусть меня отправят на пенсию — я должен, понимаешь? Должен прикрыть солдата.

А солдат ему — сапогом в душу.

Однако он задушил в себе антипатию: юрист не имеет права руководствоваться личными чувствами, эдак недолго и до предвзятости. И Скулов, видимо, тоже кое-что осознал и хотя и твердил по-прежнему, что не желает никакой помощи, но относился виновато, вежливо и предупредительно. Адвокат не нажимал, действуя осторожно, и постепенно отношения с подзащитным выровнялись, вошли в норму, и хмурый, сам себя заперевший на все замки обвиняемый стал не просто отвечать, но — рассказывать, с каждым свиданием открываясь и шире и глубже. И старый адвокат уже намечал линию, уже уловил главное — мотив, и был убежден, что на этом мотиве безусловно выиграет очередной бой за справедливость, ибо верил, что Скулов не хотел никого убивать.

Вскоре определился день судебного разбирательства и состав суда, и защитник порадовался, потому что хорошо знал Ирину Андреевну Голубову как человека исключительно аккуратного, дотошного, честного и порядочного. Именно такой судья и должен был вершить суд в юридически очень сложном деле Скулова, сложном не по запутанности, а по внешней простоте и внутренней многослойности переплетенных в тугой узел причин и следствий. Он высказал свое удовлетворение Ирине Андреевне, когда еще до процесса зашел по служебной необходимости, и она поняла его и улыбнулась, хотя о самом Скулове они не обмолвились ни единым словом. А выходя из суда, встретил народную заседательницу Лиду Егоркину, которую знал не столько по совместным процессам, сколько как знакомую жены, много лет проработавшую в ее бригаде на ткацкой. Лида была озабочена и, наспех справившись о Белле, отеснила его в угол.

— Дело проигрышное, и зазя вы в него ввязались, права Белла.

— А я, представьте себе, напротив, считаю, что все отлично.

— А я знаю, что говорю,— недовольно зашептала Егор-

кина.— Вы святой какой-то, ей-богу. На земле живем, а на земле чего только не бывает. Ураганы, потопы, наводнения и даже землетрясения, поняли меня? Ничего больше не скажу, но сделайте вывод. Белле привет.

Ушла, а он призадумался. И всю дорогу думал, и дома думал, потому что знал, что Лида Егоркина в прогнозах ошибается редко. И на всякий случай испросил разрешения вести дело вдвоем с бывшим стажером, и суд удовлетворил его просьбу в порядке исключения по состоянию здоровья.

Лида Егоркина

Лида Егоркина родилась под победные салюты сорок пятого и во все верила. В тосты и передовицы, в телевизор и справедливость, в надгробные признания и в слова вообще. Она свято была убеждена, что слова сами по себе имеют ценность, некую таинственную силу, не зависящую от того, кто говорит, где говорит, кому говорит и почему говорит.

— Я никогда не читала и не слыхала о научных трудах этого так называемого ученого, но я твердо убеждена, что его бесталанная клевета несовместима с высоким званием нашего научного деятеля.

Или:

— Я, к счастью, незнакома с этим называющим себя комсомольцем, но я твердо убеждена, что он не имел права бросать жену.

Или:

— Я не смотрела этого фильма и не собираюсь его смотреть, но думаю, что выражаю мнение очень многих женщин, категорически требуя запрещения показа подобных картин.

Лида могла вечером проклинать то, чему утром поклонялась, не потому, что была подла и коварна, а потому, что была искренна. Она никогда никого не обманывала, глядела на мир широко раскрытыми честными глазами, и ее очень ценило начальство. Но за помощью к ней обращались неохотно, ибо она, охотно оказывая ее, не щадила себя для других, но и не щадила других ради общества.

— Все мужики — свиньи, а бабы — кошки,— утверждала Егоркина не со зла и не в обиду, а с присущей ей прямой честностью, когда вопрос касался любви без штампа в паспорте.

Подобная категоричность основывалась на личном опыте. В двадцать Лида влюбилась, с восторгом обнаружив, что

способна терять голову как всякая нормальная женщина. Но в итоге торжествовать случилось не ей, поскольку объект ее любви не терял времени, когда она теряла голову, вследствие чего довольно быстро потерял к ней всякий интерес. Лида отрыдалась и ринулась за помощью в комсомольские и общественные инстанции. А там первым делом спросили документ. Такого не оказалось, объект вернуть не удалось, но Лида Егоркина вынесла из этого испытания железное правило: с документом бросать нельзя. Для себя она тоже не делала более никаких послаблений, отныне твердо настаивала на штампе в паспорте задолго до потери головы. Однако ставить штамп на таких условиях никто не рвался, количество мужчин вокруг неизменно сокращалось, и Лида осталась практически одинокой, не достигнув тридцатилетия, неуклонно демонстрируя гордое превосходство духа над плотью и не замечая, как иссушается и черствеет ее собственная душа.

Не столько утратив возможность устройства личной жизни, сколько добровольно отказавшись от нее, Егоркина компенсировала образовавшийся вакуум делами общественными, окунувшись в них с той страстью, которую надо же было как-то истратить. Она первой рвалась в колхоз и на субботники, в шефскую поездку и на собрания, в очередную компанию и на текущую общественную работу. Делала она все горячо и самозабвенно и вскоре стала известной и незаменимой.

Скулова Лида возненавидела, еще не ведая, что окажется в составе суда, еще загодя, еще не вникая в подробности, причины и детали. Во-первых, он был не просто убийцей, а убийцей молодого человека, комсомольца, допризывника, что придавало его и без того тяжелой вине свинцовую окраску социального преступления. Во-вторых, он был частновладельцем, то есть представителем какого-то полузаконного-полулегального и заведомо антиобщественного сектора нашей жизни. В-третьих, частник нагло бросил законную жену с двумя детьми; правда, он аккуратно платил алименты, что признавала честная натура Егоркиной, но сам факт бросания отнюдь не способствовал украшению его личности. И наконец, неверный муж и подлый отец открыто жил с любовницей. Все это вместе делало фигуру Антона Скулова заведомо грешной, мрачной и антиобщественной.

А вот адвоката Егоркина любила. Он был для нее не только борцом против неправды, не только законным супругом Беллы, с которой Лида до сей поры сохраняла почти дочерние отношения,— он был безвинной жертвой каприза. С привычным максимализмом переложив все черное на сы-

на, Лида оставила на долю стариков лишь ослепительно белый мертвый цвет. Она регулярно навещала Беллу, доставала лекарства и продукты и каждую субботу мыла у них полы, несмотря на сердитые протесты адвоката. И очень боялась за него, понимая, что любая неприятность может обернуться не уходом на пенсию, а вторым инфарктом.

Узнав, что адвокат взял дело Скулова, Лида ринулась упреждать возможные осложнения. В бесхитростности ее ни у кого сомнений не возникало, и многие пользовались этим, чтобы Лидиными устами и с Лидиным пафосом передать то, что считали нужным. И на сей раз доброжелатели заранее предупреждали старого адвоката, что процесс предreshен, и нечего ему трепать нервы по этому поводу.

Так говорил и так считал весь город.

А Скулов сидел себе в своей одиночке, качался и вспоминал об Ане. Только об Ане, будто она была жива и ждала его там, за решетками.

Аня

Я умерла, меня нет на этой земле, но голос мой еще звучит в душах тех, кто знал и любил меня, а это значит, что какая-то моя частичка еще живет среди вас и будет жить, пока мой голос не заглухнет в памяти знавших и любивших. И еще это значит, что я существую в их душах, говорю с ними, спорю или соглашаюсь, и они советуются со мной. А я ничего не могу им рассказать, кроме того, что было, кроме прошлого, потому что у голоса — того единственного, что осталось от меня на земле, — нет ни настоящего, ни будущего, а есть только прошлое. И я буду говорить о прошлом.

Тоша очень меня любил. Не знаю, за что, не знаю, как это случилось, а помню, что поначалу я не понимала, что он меня любит, и думала, что виноватым себя чувствует, потом — что благодарным, что вроде как рассчитаться хочет, и только постепенно поняла, что я — счастливая, самая, наверно, счастливая из всех женщин, что только есть: *меня* любят. Не за удовольствия свои, не за то, что детей нарожу, а меня, меня лично: кто из женщин еще такое счастье ощущал? Всегда ведь думаешь: а за что? За так просто никому ведь из девчонок не верится. Хочется, конечно, чтоб «за так просто любил», и — не верится, и каждая прикидывает, что у него на уме, если он о любви заговорил. Разве не правда?

А может, я ошибаюсь? Мне ведь поначалу так не повез-

ло, что и вспоминать не хочется. Я в семнадцать курсы кончила и сначала работала в госпитале, а потом попросилась на фронт. Просьбу мою уважили и направили в часть, что стояла на формировке. Я туда в платице приехала, потому что в госпитале вольнонаемной числилась. Приехать-то приехала, а где моя часть, никто не говорит, потому что я — девчонка в гражданском. Все-таки нашла, у ворот какого-то сержанта встретила, он документы потребовал, расспросил и говорит: «Надо форму получить. Идем на склад». Привел в какой-то подвал, где было много шинелей, и... А потом сказал, что это — совершенно секретная часть и что если узнают, что я тут была, то меня сразу арестуют, и выгнал меня через дырку в заборе. А я молчала все время, я испугалась, так испугалась, что разделась сама, когда он велел. Там, в подвале...

Ну да ладно, не умерла ведь, не избили, не заболела — и хватит об этом.

Вот так я без всякой любви и вздохов узнала, чего хочет мужчина от женщины. И будто отрезало мне чувства, будто не девчонка я: ни с кем не могла не то что поцеловаться — обнять себя позволить не могла. И я, наверно, единственной санитаркой была, у которой ни романа, ни дружка, ни женишка — ну, никого не было. Но каждый раз ведь не отобьешься, правда? Вот я и придумала, что у меня жених в госпитале лежит, и что о нем сам командир полка в курсе, и что как только он поправится, так его сразу же сюда и направят. Вот в это верили, и меня очень все уважали и берегли даже до смешного: ефрейтор один из пополнения как-то рукам волю дал, а я заорала, и ему ребята так рожу почистили, что его снова в санбат отправлять пришлось.

А Тошу Скулова я тогда совсем не знала. Он ведь уже капитаном был и командиром батальона, правда, не нашего, а второго, и мы с ним как бы на разных этажах обитали. До шестого марта сорок пятого, до того проклятого боя, когда фашисты атаковали севернее озера Балатон. Из-под танков-то я его вытащила — на позициях батальона танки уже были, а капитан Скулов и на шаг не отступил. Вот. Да, так из-под танков, значит, я его выволокла, в лесок оттащила — одни стволы торчат, помню, одни стволы без сучьев, а дальше не помню. Помню, что бой кругом, но через лесок танки не шли, а дальше уже он мне рассказывал. Немцы минометами лесок утюжить начали, и я легла на Тошу, чтоб они раненого не добила. Легла и будто провалилась, даже боли не почувствовала, и очнулась-то уже после первичной обработки в поезде. Вся в бинтах очнулась...

Ох, сколько же их было, госпиталей, поездов да операций! Я в шинели тогда была, дура, шинель пожалела: пропадет, думаю, а мне только-только ее по фигурке подогнали. Вот и полезла в шинели, а шинель — в меня вместе с осколками, и оказалась я вся набита сукном да железом. И это все гнило во мне, приходилось чистить, подрезать да вырезать да заново штопать. Я сперва в Москве лежала, пока из меня не вырезали все, а тогда уж в Сызрань на долечивание отправили: был там специальный госпиталь для женщин-калек, и второго мая — наши Берлин взяли, помню, — я туда и прибыла.

Тут надо сказать, что одна я осталась. Родные все в оккупации погибли, брат без вести пропал, и я на фронте только от раненых да от подружек письма получала. И в госпитале то же самое: даже плакала, так обидно мне было, ей-богу. Всем письма идут, записки, посылки, а я одна-одинешенька, лежи да слезу роняй.

И вдруг... Нет, это ведь не объяснишь, не расскажешь, что это *вдруг* означает!.. Вдруг приносит мне нянечка посылочку и записку. В посылке, как сейчас помню, клубника была — только пошла, первая самая! — шоколад американский, галеты немецкие и семь кусочков сахара. А в записке сказано, что долго, мол, искал, насилиу нашел и теперь уж не потеряет. Что ждать меня будет, что навещать каждый день будет, что готов всю жизнь на меня положить, какая осталась, но то не ему одному решать, а мне одной, потому что если есть у меня любимый человек, то он все понимает и просит, чтоб только помогать позволила. А подписано было так: «Командир 2-го батальона 436 сп капитан Скулов Антон, которому ты жизнь спасла 6.03 сорок пятого года в лесу тридцать семь километров севернее озера Балатон. Дождь еще с утра шел, помнишь?»

Всю ночь я тогда не спала и все вспоминала, кто он такой, капитан Скулов? Шестое марта помнила, дождь помнила, танковый прорыв, атаку, бой без перерыва, без передыху бой, ад какой-то — и то помнила. И что я в том бою восьмерым, что ли, помощь оказала, а какой из них капитаном Скуловым оказался — вот это я никак не могла вспомнить. И когда назавтра он опять пришел, так и написала: не помню, мол, и не ошибаетесь ли вы насчет меня, товарищ капитан? А он ответил, что восьмым был. Последним.

Вот так и началось, и ходил он каждый день и записки через санитарок передавал, и я ему отвечала, а сама и представить не могла, какой же он из себя, и подумать боялась, какая я. Ну что ноги у него нет, это я знала, это

он в подробностях описал, но мужчина без ноги это ведь совсем ничего. Разве не правда?

Это я потом узнала, что он на вокзале жил, ночным сторожем работал, подрабатывал где мог, на себе экономил, ел через день, чтобы мне — клубнику с базара. Потом уж, а тогда ничего не знала, ничего не понимала и в собственное счастье не верила, долго не верила, очень боялась верить. А потом поверила и такая счастливая была, такая счастливая...

Пока не выписали. Вывела меня нянечка в вестибюль, а у меня и одежды-то никакой, в халате вышла. Стоим, никто на нас не смотрит, а я вижу — офицер демобилизованный на протезе с палочкой, и знаю, что он это, Скулов, который мужем моим себя считал с моего на то счастливого разрешения. И когда он понял, что я — это я, Аня Ефремова, он ко мне бросился и палочку уронил. Схватил за руки, говорил что-то, руки тряс — а я обмерла. Обмерла, и все во мне погребло, перевернулось все.

Подвал вспомнила...

И ужас такой перед ночами во мне поднимался, что думала, не пересилю. Не пересилю, не отблагодарю его за доброту, за то, что все он мне отдал, все, что имел. А ему ведь тоже нелегко было: он ведь поначалу не от любви шел, а от ума, от внушения, что обязан мне, я-то чувствовала, женщину не обманешь. Да и что кроме двадцати лет было-то у меня после госпиталя? Вот так и шли друг к другу: я — от ненависти через пропасть, он — от совести через насилие над собой. А как пришли, — не привыкли друг к другу, нет, и не думайте так-то! — как влюбились друг в дружку, парнишка в подружку, так и полной вершины достигли. Медленно шли, будто ощупью, а как доползли, так все в один миг уложилось, будто прозрели, будто пелена с глаз. Бросились, обнялись, я в голос реву, а он кричит: «Анечка моя, Анечка моя...» Вот когда медовый-то месяц нас нашел: через три года после первой ночи. Долго шли, и пути наши не сравнить никак, потому что он первым пришел, он ждал меня, он быстро влюбился: я это сразу почувствовала, женщину ведь не обманешь.

Да что это я — все про любовь да про чувства. Суду ведь не чувства нужны, а факты. Показания, а не признания.

А факты такие, что Тоша был женат и от законной своей супруги Нинели Павловны имел дочь Майю сорок первого года рождения и сына Виктора сорок четвертого. Не подумайте чего: в начале сорок третьего Тошу второй раз ранило, он после госпиталя отпуск получил, к жене съездил и жил в своей семье целых пять дней, почему и мальчик

родился. Но он того мальчика никогда не видел, потому что в марте сорок пятого нас судьба свела, и все он ради меня из души вычеркнул, даже детей. Осуждаете? Осуждайте, ваше полное право.

Ну, а что касается жизни, то мы вскоре от Родионовны ушли. Надолго ее не хватило, опять пить начала, безобразничать, и мы ушли в общежитие кожзавода, на котором Тоша экспедитором устроился. Конечно, комнаты нам не дали, но Сеня — морячок безногий, севастополец, который меня вместе с Тошей встречал, Сеня нам бывшую кладовку выпросил в пять квадратных метров без окна. А потом я немного окрепла, в заводскую поликлинику пошла работать. Тоша повышение получил, его в президиумы стали выбирать как хорошего работника и заслуженного фронтовика, и директор нам жилплощадь гарантировал, как двум инвалидам войны. И не случись нечаянной радости, жили бы мы в Сызрани и по сей день, и не было бы ни домика по Заовражной, семнадцать, ни моих цветов, ни Тошиной двустволки. Вот ведь как оно бывает: несчастье мне любовь принесло, вершину жизни, а счастье с той вершины сбросило в пропасть.

Меня разыскал родимый брат Иван. Он младше меня на целых семь лет, и, когда я на курсы уехала, он с родителями оставался, а потом, когда немцы наступление повели, бежал, а родители растерялись и погибли под оккупантами. А Ване тогда десять было, бродяжничал он и тоже бы, наверно, погиб, да подобрала его очень хорошая женщина Александра Петровна Ковальчук и усыновила: детей у нее не было, а мужа на фронте убили. И вот они нас разыскали, приехали и — уговорили. И оставили мы завод и свою каморку без окон и переехали сюда, на Заовражную, семнадцать. Это теперь — город, а тогда был дачный поселок, и дом принадлежал Александре Петровне. Участок при доме имелся небольшой, но ухоженный: тогда кормились с них, с участков. Александра Петровна на железной дороге работала, Ваня еще в школе учился, никого больше не было, и мы впервые по-человечески зажили. И так этой человеческой жизни обрадовались, так отвыкли от нее, что сразу две ошибки сделали. Первая: Тоша не на завод работать пошел, а механиком гаража, чтоб к дому поближе, а вторая — я. От земли я никак оторваться не могла. Вожусь во дворе от зари до зари и плачу от счастья. И тогда Александра Петровна сказала, чтоб никуда я работать не шла: корми, говорит, нас всех, коли так землю любишь. И я обрадовалась ужасно и все там устроила, на участке, все принарядила, прихорошила и цветов понасажала, где хоть пятак свободной

землицы был. И пятак тот все рос, потому что жить мы стали лучше, в огороде особой потребности уже не было, а с цветами я никак не могла остановиться, тем более что всем это нравилось и все меня поддерживали и мне помогали. Так и жили: уж Александра Петровна на пенсию ушла, Ваня в Москве учился, мой Тоша завгаром стал, а я все в земле вожусь. Из земли мы вышли, и тянет она нас сквозь асфальт, бетон и годы...

Ваня так в Москве и остался, в большие люди вышел, за границу ездит. Женился, квартиру получил и к нам только раз приехал — на похороны Александры Петровны, названной матери. Домик по закону к нему перейти должен был, но он оформил дарственную на меня и опять уехал. В Бельгию, что ли. А мы с Тошей стали нежданно-негаданно владельцами участка и дома. К тому времени город уж в этот дачный поселок ворвался, кругом дома понастроили, но нашу улицу не тронули, только участки обрезают. И оказались мы в городе, в собственном доме с участочком, на котором грядка умещалась, крыжовник со смородиной и — цветы. Уж такие я цветы к тому времени развела, что даже на выставке в Москве медаль получила. За новый сорт гладиолусов «Александра Петровна». Так он, этот сорт, и в каталоге значится, хотя его долго утверждать не хотели и меня упрашивали, чтобы просто «Александра» назвала, без отчества. Но я настояла, чтобы с отчеством, и очень радовалась, а тут Тоша приходит с работы и говорит, что ему, как коммунисту и фронтовику, предлагают директором рынка и что он уже дал принципиальное согласие, потому что там оклад повыше, а нам дом ремонтировать надо, а денег — одна Тошина зарплата. И я согласилась, и это есть моя самая главная ошибка, из-за которой и начались все наши страдания. И если призовут меня на самый Высший Суд, я скажу, что одна во всем виновата, потому что если женщина любит, то она должна любить за двоих, за троих, за весь мир должна любить и все предвидеть.

Только он как лучше хотел. Он видел, что вся я в этом клочке земли, вся — в цветах да в счастье, а дом скрипит, течет и разваливается, а материалы ой сколько стоят. И пошел на эту должность, а через три года его забрали. Господи, в чем только его не обвиняли, каких только на него грехов не вешали! Но спасибо, адвокат нам достался очень хороший: фронтовик, с головой и с совестью, и все доказал неопровержимо. Тошу освободили, но на рынок не вернули за излишнюю его доверчивость и выговор по партии вынесли. А устроили инженером стадиона — совсем уж работа непонятная, как он говорил, но он очень старался, чтоб

выговор сняли, а как сняли, тут же и на пенсию ушел. И стали мы с ним вдвоем цветы выращивать.

Недолго, правда. Сперва нам забор сломали, потом в парничке все стекла камнями вышибли, а позже собаку отравили, Найду мою. Она на руках у меня умерла, а я заболела. Ноги у меня отнялись, и Тоша еще целых полгода со мной мучился.

А потом я умерла. Я уже знала, что умерла, что мертвая я, что рука моя в его ладонях холодеет, а он не знал: мертвые умнее живых. А когда понял, так закричал, что я крик его расслышала. Далекий-далекий, будто с того берега: — Аня!..

Судья

Муж вернулся поздно, был тих, задумчив, от него пахло вином и еще чем-то — чем именно, Ирина угадывать тогда не решилась, но потом долго помнила: пахло чужими духами, другой женщиной, иным теплом. Она ни о чем не спрашивала и без конца почему-то говорила о своем — о Скулове, о грядущем процессе, а он молчал, хмурил широкие брови и беспрестанно курил на кухне.

— Случилось что-нибудь?

— Что? — Он точно очнулся.— Иди ложись. Поздно уже.

Ночь принадлежит женщине — эту истину не преподносят ни в книгах, ни в школах, но об этом знает любая девчонка. И когда муж, внезапной замкнутости которого немного испугалась Ирина, сказал, чтобы шла спать, она усмотрела в этом знак обещающий. И, надев самую соблазнительную ночную рубашку, долго читала, разметав по подушкам пышные волосы и прислушиваясь к шагам. А потом как-то незаметно уснула и проснулась оттого, что ощутила взгляд. Открыла глаза, увидела мужа в сером рассвете, потянулась к нему теплыми руками, но заметила, что он в костюме и рубашке с галстуком.

— Почему ты одет как на прием? Сколько времени?

— Подожди.— Он остановил ее руку, которая уже тянулась к выключателю.— Поговорим. Надо поговорить, понимаешь?

— Считаешь, что в темноте разговаривать легче?

Еще ничего не зная, она уже все поняла. О господи, да есть ли создания трусливее мужчин? Почему нельзя объяснить спокойно, трезво, логично? Почему они всегда норовят сбежать в сумерках?

— Что же ты молчишь? Пороху не хватает?

— Извини, я закурю?

Метнулся к светлому прямоугольнику окна, под приоткрытую форточку, закурил, чиркнув зажигалкой. Ирина привычно хотела сказать, чтобы ушел из-под форточки, чтобы поберегся. Совсем было рванулись из нее эти слова, но она вовремя опомнилась: не ей принадлежал собственный муж, не ей принадлежало его здоровье и вообще не ее собственность курила под форточкой. И поэтому она сказала не то, что хотела:

— Отвернись, я встану.

В принципе ей было безразлично, отвернется он или нет, и даже (если уж честно) хотелось, чтобы не только не отворачивался — чтобы глаза пялил. Но слово «отвернись» для женщины означает не физическое действие, а психологическое отрицание, качественный сдвиг отношений. А он и вправду отвернулся, и это окончательно убедило ее, что чемоданы его сложены. И, вспоминая совсем недавнее и внутренне нервно усмехаясь от этих воспоминаний, Ирина не ограничилась наброшенным халатиком, а оделась основательно, неторопливо все натянув, застегнув и приладив. А потом достала из шкафа деловой костюм, в котором появлялась только на процессах, надела его, запахнула теплую постель и зажгла полный свет.

— Можешь обернуться.

Одевалась она, все время думая, что подобная ситуация уже была однажды: четыре года назад. Были сумерки — только не утренние, а вечерние, — были два заранее собранных чемодана, был тот же аккуратный мужчина при галстукке, и только женщина была другой. Женщина была смятой, растерянной, жалкой: у нее вдруг так некрасиво и так некстати заболел живот, и он — такой весь «при галстукке» — рассказывал об этом ей, Ирине. Кажется, они даже смеялись оба: какая мерзость... И вот теперь настал ее черед: «Мне отмщение, и аз воздам» — эпиграф к «Анне Карениной», но откуда взяты слова? «Мне отмщение, и аз воздам» — точно, воздал. Тьфу, какая мерзость: неужели они смеялись над чужим горем?.. Так. Теперь запахнуть постель с теплыми вмятинами тела и зажечь полный свет.

— Можешь обернуться.

Повернулся, даже в глаза глянул — правда, ненадолго. Но с духом собрался и так боялся, что мало его, духу-то этого, что вот-вот уйдет он, исчезнет, растворится без остатка, что сам начал говорить. Торопливо и уже не ожидая наводящих вопросов.

— Ира, ты умная, современная, прекрасная женщина.

Я убежден, что ты все поймешь. Чувства не поддаются статьям и параграфам, они живые. Они рождаются, живут и умирают, это естественный процесс, и ты, как человек образованный, это понимаешь и... Это диалектика души, это ее поиск, высшее требование к себе самому. Честность. Нечестность. Справедливость. Несправедливость...

Журчал голос. Уже не в комнате журчал, а, казалось, где-то вне, в ином измерении, а потому и воспринимался отчужденно. И хотя Ирине было нестерпимо обидно, больно и горько, она не плакала, не спорила, не умоляла — она думала, механически продолжая слушать журчание почти неузнаваемого, почти уже чужого голоса.

Что же такое — любовь мужчины? Переход из одной теплой постели в другую, столь же теплую? А любовь женщины? Увлечь, заманить, затащить, превратить лихого кочевника в оседлую рабочую скотинку? Значит, все основано на голом зверином инстинкте: брать, хватать, покорять, подчинять? Не отдавать, а брать, не жертвовать собой, а жертвовать той, третьей? А потом, когда пройдет первая боль, она вспомнит о справедливости, непременно, обязательно вспомнит. Почему же мы вспоминаем о справедливости тогда, когда нам больно? Не тогда, когда мы причиняем боль, а когда нам причиняют боль... Стоп, стоп, ты — судья, ты заговорила о справедливости. Это важно, это почему-то очень важно, не теряй нить...

— ...И мы подходим друг к другу. Ты извини, что я об этом, но мне необходимо, чтобы ты поняла...

«Подходим друг к другу», он сказал? Любопытно: не «подходим друг другу», а «подходим друг к другу». Как ключ к замку, как кофта к юбке, как вещи, механизмы, детали, а не людские души: те — подходят друг другу. Подходят — значит, дополняют друг друга, помогают друг другу, поддерживают, радуют друг друга. Вероятно, это и есть любовь. Очень просто: друг другу, без всякого «к». Отдавать друг другу. Не брать, а отдавать. И радоваться, и быть счастливой оттого, что отдаешь... И все это — мимо, мимо, а достаются одни бездушные автоматы, деловито подбирающие друг к другу отмычки. Подбирающие пару до комплектности, что ли: сравнение, может быть, и не совсем удачное, но оно точно передает этот смысл, который ныне вкладывают в понятие «любовь»...

— ...Совсем не потому я решился на этот шаг, что Наташа... Извини, она еще студентка, и нам будет невозможно трудно жить, особенно когда родится ребенок...

— Что? Ты успел обзавестись ребенком от собственной студентки? Так вот чего ты боишься: карьерка рискует

треснуть? А когда лез в постель к девчонке, не боялся? И совесть помалкивала? А теперь вдруг заговорила?

Господи, куда ее понесло? Обвинять, выяснять, срывать на крик — как все пошло. И как противно: увлечь свою же студентку, заморочить ей голову. А потом — животик: девочка оказалась дурой. Или — совсем *не дурой*. И товарищ доцент, кандидат наук затрясся, как нашкодивший мальчишка.

— Ты собрал свои вещи? Ничего не забыл? Ключи на стол и выкатывайся.

— Но я бы хотел, Ира, чтобы наши отношения...

— У нас нет более никаких отношений. Ключи на стол.

— Ира...

— Убирайся вон!..

Хлопнула дверь, и она разрыдалась. От боли, от обиды, от унижения, от одиночества, наступившего с этой минуты. «Ничего, ничего, — твердила она себе. — Женщины плачут во спасение собственных нервов, только и всего. Это — разрядка, снятие стрессовых напряжений, переключение эмоций, как у детей. И я плачу сейчас, как девочка, которая вдруг обнаружила, что ее любимая кукла — всего-навсего тряпка, набитая опилками...» Она изо всех сил старалась не думать о наступающем одиночестве, о пустоте в доме и пустоте в сердце; она любила мужа, но сейчас, в это первое утро его ухода, почему-то ни разу не вспомнила о любви. Может быть, это происходило помимо ее сознания, может быть, некий спасительный механизм не позволял ей сосредоточиваться на потере, потому что именно сегодня ей предстоял громкий процесс, о котором давно и много говорили в город. И она старательно стала думать о другом, внутренне прекрасно осознавая, что то, связанное с мужем, с ее любовью, с милыми хлопотами, привычкой кормить завтраком и ужином, — то, что так определяло всю ее женскую жизнь, не забыто, не отринуто, а лишь отложено до поры. До того времени, когда она, перестав принадлежать обществу, станет вновь принадлежать себе, вновь, как оборотень, превратившись в женщину, способную выть, рвать на себе волосы и кататься по полу от потери, которую ничем уже не восполнишь.

Значит, так. О любви думать не будем: ее нет и не может быть. Она существует лишь в книгах, песнях, театре, кино, но в нормальной, обыденной жизни абсурдна сама мысль о ее возможности. Есть тела, созданные природой так, чтобы они подходили друг к другу. Либо — не подходили... Стоп, думать надо не об этом, совсем не об этом. Что-то ведь мелькало, что-то очень важное, что следовало не забыть, чтобы додумать... Спокойно, Ирка, спокойно, тебе — три-

дцать пять, и твой поезд ушел. Только что, кстати, ушел, еще и дым от него не рассеялся, еще чуть слоится по комнате.. Хватит!

Ирина решительно встала, сняла деловой костюм, аккуратно повесила его, разделась и прошла в ванную. Долго стояла под сильным душем, делая его то нестерпимо горячим, то нестерпимо холодным. Потом завернулась в банную простыню, вернулась в комнату и села в кресло, отдыхая. Отдохнув, неторопливо оделась, прошла на кухню и долго стояла в растерянности, обнаружив, что ей совсем не хочется ничего готовить. Наспех сварила кофе и потащилась с ним в комнату, может быть, потому, что с мужем они всегда завтракали на кухне.

«Да, справедливость! — неожиданно вспомнилось ей. — Справедливость и несправедливость — Сцилла и Харибда человеческого бытия». Это почему-то хотелось не забывать: в связи с предстоящим процессом, что ли? Справедливость и несправедливость. Что же именно следует помнить при этом?

Получается, что мы начинаем взывать к справедливости, ощутив собственную боль. Вот тогда мы вспоминаем, что справедливость должна существовать, что справедливость гарантирована государственными законами и, следовательно, обязана поддерживать меня в минуту трудную. Существует такая форма обращения к справедливости? Безусловно: это — справедливость эгоизма. Не личная справедливость, а эгоистическая: она ведь может оказаться и не личной, она может представлять каких-то людей, какие-то группы заинтересованных лиц, даже слои населения, и все равно оставаться эгоистической в сути своей. Ибо она есть антипод справедливости человеческой, всеобщей, присущей абсолютному большинству.

Господи, кажется, что заново открываются Америки, а всего-то бабу обидели. «Женщина плачет, муж ушел к другой...» Нет, нет, дело не в том, что тебе дали по носу, а в том, чтобы оградить людей от зла несправедливости, не позволить этому злу торжествовать. Нет, опять запуталась: это же и есть функция суда. Люди создали институт суда для того, чтобы он — и только он! — решал, что справедливо, а что несправедливо для данного конкретного случая... «Но я же о другом, совсем о другом, но о чем же, о чем? О том, что суд призван нести высшую справедливость, а это предусматривает прежде всего его авторитет. Авторитет суда — основа веры в его непогрешимость и, следовательно, в справедливость вообще... Кажется, я додумалась до смелого утверждения, что лошади едят овес и сено.

И все эти размышления только из-за того, что муж ушел

к другой? — Ирина невесело усмехнулась. — Смешно, но это так и есть. Если бы мы только представить могли, насколько сложен жизненный путь каждого, насколько перепутаны наши отношения с миром, с себе подобными, с обществом, его учреждениями и институтами, с семьей, основанной не только на любви, но и на законах человеческого общения, а закон есть идеальная формула справедливости. Так плетется сеть, многоосевая система координат, в которой существует человеческая личность, и если нарушить равновесность этих координат... К чему это я? Ах да, когда-то хотела написать статью об этом, но отговорили: сор из избы. Хорошая хозяйка выметает сор из избы, а не прячет его под ковром... Любопытно, что больше всех тогда отговаривал муж. То есть бывший муж, ныне ушедший с двумя чемоданами. Он — большой специалист в вопросах, что можно, а чего нельзя, он всю жизнь провел между этими пограничными понятиями, всю жизнь нарушал их демаркационные линии и всю жизнь страшно боялся этих нарушений: он и сегодня удрал не от любви, а от страха... От страха — вот любопытный аспект нашего общественного поведения: мы куда чаще совершаем поступки не из любви к ближнему, а из страха перед обществом. Своеобразное антирыцарство, расцветшее в двадцатом веке, суть которого элементарна, как ругательство: наказание стало неизмеримо страшнее преступления. Настолько страшнее, что мы очень многие преступления как бы изъяли из восприятия: они заменены страхом и сами по себе без страха наказания уже как бы и не существуют. Ну, например, можно обмануть девчонку, и если сошло с рук, это не порок, это — доблесть, ею бравируют. Можно стянуть с завода моток провода: не поймали, значит, это просто практичность. Можно ударить ребенка, изругать последними словами женщину, сбить с ног старика — это не преступления, если не схватили за руку. Господи, как же велик он, этот страшный перечень того, что наш повседневный быт уже перестал считать преступлением! А ведь еще совсем недавно считал, и мы знаем, что считал, тому есть масса доказательств. Еще до войны, например, многие предприятия не имели охраны, а ведь никому не приходило в голову таскать дрожжи, пряжу или лекарства. Что же случилось с нами? А ничего, просто муж ушел к другой...»

Ирина усмехнулась: господа, опять — муж. Странно все же устроена пресловутая женская логика: она узорна, в отличие от прямолинейной логики мужчин. Она плетет вязь из тысяч нитей, три четверти которых давно бы отбросил привыкший все упрощать сильный пол. Но ведь сколько раз

именно многоконцовая вязь женской логики оказывалась куда содержательнее искусственно упрощенной логики мужчины. И в данном случае то, что муж ушел к другой, вылилось в ткань рассуждений отнюдь не от обиды: ведь все с чего-то начинается и чем-то заканчивается. Все имеет свои начала и свои концы.

Давно известно, что невозможно заставить человека совершить преступление под гипнозом. Человека можно привести в сомнамбулическое состояние, но в тот миг, когда будет отдан приказ совершить нечто противозаконное, гипноз перестанет действовать. Это проверено многократно, и вывод звучит аксиомой: границы нарушения закона определяются нравственным багажом личности. Не знанием уголовного кодекса — профессиональные преступники знают УК не хуже любого юриста! — а необъяснимым, невидимым, но так легко ощущаемым порогом нравственности. И поэтому то, что муж ушел к другой, имеет самое непосредственное отношение к вопросам преступления и наказания. Все начинается с первого шага — и путь на Джомолунгму, и дорога на эшафот. Например, у этого... да, у Скулова тоже был когда-то первый шаг.

Кстати, пора в суд. Пора прятать личное, теплое, женское под строгим деловым костюмом: сегодня Ирина Андреевна Голубова судит убийцу.

Суд

— ...Признаете себя виновным в...

— Признаю.

Даже стандартную формулировку договорить не дал: так ему тяготно было, так хотелось поскорее в камеру, от людей подальше. Эх, дали бы Скулову такое право: признаться, попросить самого тягчайшего наказания — и все, кто по домам, кто по камерам. Судья, например, — молоденькая, но что-то уж слишком на себя суровость напускающая — от радости, что отпустили, поди, вприпрыжку бы домой помчалась, к мужу и к деткам. Да и все бы обрадовались, кроме разве что публики. Эти ведь зрелища жаждут, подробностей, последних слов и предсмертных хрипов.

Кого-то вызывают, кто-то встает, кто-то плачет, говорят какие-то слова, читают какие-то списки. Зачем все это? Зачем же столько времени, столько процедур тягостных, люди? Что тут разбирать, что проверять, что уточнять, когда все давным-давно ясно. Ну убил, не отрицает же этого

Скулов? Нет, не отрицает, все точно, еще хоть двадцать раз готов подписать.

— Ничего не имею. Ни отводов, ни вопросов, ни пожеланий.

Плохо, что всякий раз вставать приходится. Как отвечать, так и вставать, а нога болит. Не эта, здоровая, а та, которой нет. Которая в Венгрии осталась, в сапоге и в шерстяном носке: он портянку перед боем накрутить не успел, больно уж быстро все произошло. Вот и валяется она без портянки в тридцати семи километрах севернее озера Балатон, а мозжит здесь, проклятая. Видать, потому, что без портянки...

Скулов поудобнее, половчее пристроил свой обрубок и огляделся, но никого в переполненном зале не увидел. Ни одного лица в отдельности, а просто — лица. Лица, лица, лица...

Ну, теперь фотографии затеяли разглядывать. Видал их Скулов, объяснял следователю, что помнил: где стоял, когда именно ружье схватил, кто куда прыгал да кто куда падал. Хватит уж, посмотрелся. А они — смотрят, обсуждают, спорят чего-то, а про него пока забыли, и то ладно. Уши, жалко, не заткнешь, а глаза закрыть можно.

Он закрыл глаза, на мгновение всполохи увидел и подумал: «Трассирующими быют...» И тут Аня все заслонила, заулыбалась ему, заулыбалась...

Очнулся вдруг:

— ...в присутствии гражданки Коробовой Ольги Сергеевны, а также граждан Трайнина Игоря Александровича, Самохи Виктора Ивановича и Русакова Дениса Радиевича выстрелом из охотничьего ружья...

Какая там еще Ольга Коробова? Вот эта, молоденькая? Не было ее там, ей-ей, не было, и следовательно о ней ничего не спрашивал. А она, оказывается, свидетель...

— Где вы стояли, свидетельница?

— На дороге.

— Одна?

— Нет. С Игорьком... То есть с Трайниным.

— Расскажите по порядку, как было дело. Что вы видели, что слышали.

— Ну мы от Русаковых возвращались, часов одиннадцать вечера, что ли, было. Я впереди шла с Игорьком... то есть с Трайниным. Тут Эдик догоняет и говорит: хочешь, говорит, я тебе цветы преподнесу? Невиданной, говорит, красоты...

Невиданной красоты. Махровые розовые хризантемы, еще не занесенные ни в какой каталог. Последний сорт, который начала выводить Аня, а заканчивал он. Неумело

заканчивал, трудно, но очень старался, очень хотел — и вывел. Невиданной красоты розовые махровые хризантемы. Аня мечтала показать их на выставке в Москве и назвать «Антон». Он тоже хотел показать их и послал заявку: «Розовые махровые хризантемы с изменчивой окраской лепестков от густо-красного в центре соцветия до нежно-розового на концах. Наименование сорта: «Аня». Вот в этом единственном он нарушил ее волю, потому что в центре соцветия были темно-красными, как ее кровь там, тридцать семь километров севернее озера Балатон...

— У меня вопрос.— Адвокат карандаш поднял.— Скажите, свидетельница, вы пили у гражданина Русакова?

— Я рюмки две выпила, не больше.

— Не больше?

— Ну, три, какая разница...

— А мужчины по сколько рюмок выпили?

— Прошу данный вопрос снять,— поспешно вклинился прокурор.

— Суд снимает вопрос. Прошу защиту задавать вопросы, касающиеся свидетельницы непосредственно.

— Извините.— Адвокат улыбнулся почти с торжеством.— Значит, вы находились на дороге вместе со свидетелем Трайниным. И что же вы делали?

— Ну... Ну как то есть, что делала?

— Повторяю вопрос. Что вы делали на дороге вместе с Трайниным, когда остались одни?

— Ну, это. Целовались, что же еще?

По замершему залу прошелестел шумок. Где-то глупо захихикали девчонки, но сразу же смущенно примолкли.

— А потерпевший Эдуард Вешнев любил вас? — выдержав паузу, негромко спросил адвокат.

— Эдик-то? — Ольга Коробова шмыгнула носом, но от слез удержалась.— Ну, говорил. Даже письмо такое прислал.

— Значит, любил вас Вешнев, а целовались вы с Трайниным,— как бы в задумчивости повторил адвокат.— А где был в это время потерпевший?

— Как где? — неприязненно переспросила свидетельница.— За цветами полез, говорила уже.

— Конкретнее, пожалуйста. Вы видели его?

— Видела. И слышала. Они... Ну, это, сам Эдик, значит, и Самоха с Дениской колючую проволоку рвали.

— Вопрос! — тотчас же ворвался прокурор.— Какую колючую проволоку?

— Которая поверх забора натянута была, чтоб никто перелазить не мог. Эдик полез да напоролся и ругаться стал. Сидит на заборе и ругается, а остальные...

Все точно: сидел на заборе и крыл во всю глотку матом, а под забором, выходит, стояла его любимая, которую Скулов и не видел, но ради которой этот... потерпевший, так, что ли?.. и полез за цветами. Будущего сорта «Аня»... Нет, не будет, никогда уже не будет такого сорта. Как это пелось — Аня еще этот романс любила — «Отцвели уж давно хризантемы в саду...».

— Сидел на заборе и нецензурно выражался?

Вопрос был задан незнакомым хриплым, даже каким-то угрюмым голосом, и Скулов вынырнул из своего блиндажа: из воспоминаний. И с некоторым интересом поглядел на обладателя этого недружелюбного голоса: коренастый мужик в тесноватом немодном костюме лет под пятьдесят. Лицо крупное, тяжелое, малоподвижное: второй заседатель. А вопрос, оказывается, задан уже не девчонке: на ее месте перед судом стоит молодой парень.

— Что значит цензурно или нецензурно? Эдик руку раскровенил о колючку, которую этот кулак...

— Замолчите, Трайнин! — Ого, каким металлом прозвонел голос судьи! — Отвечайте только на вопросы.

— Не слышал я никакого мата, вот и все.

Не слышал, значит. Крик такой стоял, что у соседей во всех окнах свет со страху зажгли, а он — не слышал. Хотя, может, и вправду не слышал: он ведь целовался тогда. С той девчонкой. Скулов неожиданно улыбнулся: что ж, это вполне даже может быть.

Когда любишь, это нормально. Нормально...

Он не слушал, даже старался не слушать, что там происходило в суде, что говорили, что спрашивали, что отвечали. Он воспринимал процесс как необходимую, но очень неприятную процедуру, в результате которой определится его судьба, но поскольку собственная судьба Скулова совершенно не интересовала, то его не интересовал и суд. И не просто не интересовал, а раздражал публичностью, выворачиванием наизнанку, дотошностью и мелочным копанием. Менялись свидетели, не умолкая, звучали голоса: вопросы — ответы, ответы — вопросы. И так до бесконечности, до глухого раздражения, до звенящей, как струна, мечты: скорей бы уж! Скорее бы уж кончилось все, скорее снова в камеру на знакомый табурет, чтобы качаться на нем и, качаясь, плыть в счастливую даль: к Ане. Вспоминать о ней, видеть ее, слышать, осязать, обонять, чувствовать всю и в целом и по мелочам, и главное, может быть, именно по мелочам, потому что сам человек забывает те мелочи, которые творит на каждом шагу, а другие помнят. И Скулову всегда казалось, что, вспоминая мелочи, он как бы подска-

зывает Ане о них, а она — радуется. И улыбается ему, как всегда: глаза в глаза, не моргая.

И тут вспомнилось ему, как они однажды ходили в театр. Давно, правда: тогда еще в их городе театра не было, а был Дворец культуры при фабрике, и в этот Дворец приехал самый настоящий театр, из Москвы. Кажется, по Чехову Антону Павловичу постановку давал, «Три сестры», что ли, и уж очень Ане пойти хотелось. Трудно было с билетами, но он все же достал, как инвалид войны. И Аня очень радовалась, неделю к этому культпоходу готовилась и даже в парикмахерской прическу сделала. А еще надела новое платье — синее у нее такое платье было, с белым воротничком — и новые туфли на шпильках: тогда шпильки носили, и ей Ваня из Москвы туфли в подарок прислал, а она их ни разу не надевала. А куда наденешь-то на Заовражной? А тут — надела, и они пошли. За час пришли, еще не пускали никого. Потом пустили, и они долго гуляли в фойе, и Аня такая счастливая была, так ей все нравилось, что задержались они на какой-то выставке «Наша продукция»: ткани разглядывали. В зал вошли перед самым началом и протискивались на свои места уже в темноте да через людей, бочком протискивались. Ну, посмотрели, хорошая была постановка, а в антракте он глянул: Аня в слезах. «Ты чего?» — «Переживаю,— говорит,— иди в буфет, пива выпей, а я тут посижу». Пошел Скулов в буфет, пива выпил, вернулся, опять постановку смотрели. Потом конец, свет зажгли, захлопали артистам, вставать с мест начали. А Аня сидит. Улыбается, хлопает, и слезы уж высохли. Уж публика почти разошлась, а она знай себе в ладоши бьет. А потом покраснела и шепчет: «Ой, Тоша, да я же каблук сломала, как в темноте на места протискивались...» Он так широко и так некстати заулыбался, вспомнив об этом, что в суде кто-то примолк в изумлении. А конвойный шепнул сердито:

— А ну прекрати! Не в театре, понимаешь. В зал вон погляди, на людей.

Несколько раз мельком глянув, Скулов избегал смотреть в зал, поняв, что зал все время разглядывает его. Изучает, какой он, как сидит, встает, как ведет себя, как реагирует на свидетелей, что думает при этом и что отвечает. Это постоянное липкое наблюдение мучительно ощущалось им: он все время ловил себя на том, что стремится пригнуться, спрятаться, уйти за барьер, которым была отгорожена его скамья, и это угнетало его. Но порой — не из любопытства, нет! — он не выдерживал и текучим, невидящим взором проходил по рядам, не замечая людей, не фиксируя лиц. И во время этого обзора, этой усталой панорамы всегда

ощущал, будто наталкивается глазами на некую преграду. Он не понимал, что это за преграда, не видел ее, да и не стремился увидеть, но когда столкновения приобрели некую закономерность, когда он понял, что преграда существует в действительности, а не в воображении, он — еще не всмотревшись, не увидев еще! — сообразил вдруг: они. Его супруга Нинель Павловна, дочь Майя и сын Виктор.

Открытие было сродни озарению: он даже привстал, чтобы разглядеть, и конвоир тут же предупреждающе положил руку на его плечо. Скулов сел, но продолжал уже не вскользя, а осмысленно, ищуще рассматривать публику. И наконец увидел полную женщину в темном платке на седой голове, а по обе стороны — мужчину и женщину. И не узнал, а просто понял, что это и есть его законная жена Нинель, но никак не мог понять, что по обе стороны ее сидят его дети: они казались слишком взрослыми, чтобы быть детьми. Но это были они, теперь он уже не сомневался, что это — они, и глядел. И они тоже глядели на него: сын — изредка и колоче, дочь — подольше, но с укором, а жена все время не отрываясь и как-то странно, словно сожалея, скорбя словно: даже платочек к глазам поднимала. И Скулов не мог понять, зачем все это: ведь игра же все, ведь забыла уж, как он выглядит, так зачем же скорбь с платочком демонстрировать? Зачем? И, не поняв, расстроился и твердо решил не смотреть больше в их сторону, хотя очень хотелось смотреть.

— ...Давно знаете подсудимого, свидетель Ковальчук?

— С тысяча девятьсот пятидесятого года.

Какой еще там Ковальчук знает его с пятидесятого? Скулов глянул: Ваня. Ваня, Ванька, Ванечка, родной брат Ани, Иван Свиридович, а Ковальчук потому, что Александра Петровна его усыновила по закону и свою фамилию дала. Ах ты, родной ты мой, братик ты мой... Слезами застлало глаза, Скулов долго утирал их и — слушал.

— ...Знаю Антона Филимоновича как исключительно порядочного, честного человека, коммуниста, фронтовика, труженика...

Ах, Ванечка, Ванечка, спасибо тебе, родной. Из самой Москвы приехал, времени не пожалел, чтобы здесь, на суде этом, хоть раз доброе слово прозвучало. И по гроб жизни Скулов тебе благодарен за это и низко кланяется.

— Очень хорошо, но это не имеет прямого отношения к делу, — недовольно сказал прокурор. — Я задал вопрос: увлекался ли Скулов охотой?

— Разумеется, нет. Скулов потерял на фронте ногу, какая уж тут охота?

— А зачем он вступил в общество охотников и рыболовов?

— Не могу знать, — сокрушенно вздохнул Иван Свиридович. — Это произошло после моего отъезда.

— А вам не кажется, что Скулов вступил в это общество с единственной целью: получить право на приобретение и хранение огнестрельного оружия и патронов к нему? Вы знали, что у Скулова имеется охотничье ружье?

— Относительно охотничьего ружья я ничего не знаю, — с чуть заметной заминкой произнес свидетель.

Знаешь ты об этом ружье, Ванечка, чего уж греха таить. Приезжал на похороны Александры Петровны — помнится, что из Англии только-только вернулся и много рассказывал об Англии этой. А слушал мало... Да и что слушать-то было? Как приемная мать Александра Петровна помирала или как им в первый раз забор сломали? Ну, выслушал, посочувствовал, посокрушался, Англию опять вспомнил: «У англичан закон «Мой дом — моя крепость» имеет буквальное значение, представляешь, Аня? То есть владелец обладает правом защищать свою собственность вплоть до применения оружия в ее границах...» А на другой день вдруг достал ружье и патроны к нему.

— Это мама Александра Петровна мне подарила, когда я школу закончил: ружье ей от покойного мужа досталось. Я на антресолях его прятал, в Москве оно мне ни к чему, так что берите в подарок. Зарегистрируй его, дядя Тоша, а если кто снова за цветами полезет, пальни в воздух для острстки.

И уехал. А Скулов не хотел вступать ни в какие общества, а хотел опять это ружье на антресоли определить, да Аня настояла. Не потому, что воров боялась или цветы так уж жалела, а потому, что боялась соседей: заметят, донесут — неприятностей не оберешься. А с соседями неладно жили, что уж там... Это с прежними — душа в душу, а с новыми — вразнотык. Новые у прежних дом купили и впервые к ним с Аней в гости пришли. Ну, думали, познакомиться люди хотят.

— Анечка, собери на стол...

А они — в дверях, шапок не сняв:

— На вашем участке у самого забора береза растет. Так вы ее спилите, потому что она из нашей земли соки тянет. Либо спилите, либо пересадите, что ли, уж будьте любезны.

Спилит Скулов березку, вот так и познакомилась. Кудрявая березка была, стройная — Аня очень ее любила. Но сама же и велела, чтоб спилит, его же покой оберегая...

— ...Значит, вы подтверждаете, что обвиняемый торговал цветами из своего сада по спекулятивной цене?

Так спросил прокурор. Скулов очнулся от воспоминаний: соседка давала показания. Вовремя, значит, она ему привиделась.

— Подтверждаю, конечно, подтверждаю. Он, Скулов, этот...

— Вопрос! — Адвокатский карандаш уперся в свидетельницу. — Где именно обвиняемый торговал цветами?

— Как это, где именно?

— Дома? На улицах города? У вокзала?

— Зачем? На рынке он торговал, в рядах. Там у него и место постоянное было, там с трудящихся и тянул денежки.

— Тогда прошу отметить в протоколе, что Скулов продавал лично выращенные им цветы не по спекулятивным, а по рыночным ценам.

Судья пошептала с соседями, склоняя голову то вправо — к мужчине-заседателю, то влево — к женщине. И громко решила:

— Занести в протокол: «Продавал лично им выращенные цветы по рыночным ценам».

Потом опять его, Скулова, допрашивали. Сразу ли с ружьем вышел или сперва без ружья; где стоял, что делал, какие слова сказал, стрелял ли в воздух и сколько именно раз. Долго его вопросами мурыжили — то прокурор, то адвокат, то заседатели, то судья. А он думал, что ответы его слышат и законная жена Нинель Павловна, и дочь Майя, и сын Виктор, и ему было очень муторно: получалось, что он вроде бы именно перед ними ответ держит, им объясняет, как дело-то было, а объясняя, оправдывается. И Скулову было невыразимо тошно оттого, что он вынужден оправдываться не только перед судом, но и перед ними. А тут еще стоять все время приходится, и сильно ноги разболелись — и та, которая есть, разболелась, и та, которой нет, тоже. Та уж так заныла вдруг, что аж взмок Скулов. По-дурному заныла, по-прошлому...

Но, к счастью, к радости, к облегчению великому, прозвучал тут решительный голос молодой, красивой, счастливой, видать, судьи:

— Объявляется перерыв судебного заседания.

Второй народный заседатель

Единственными людьми, кто не торопился покинуть здание народного суда в тот день, были судья Ирина Андреевна и народный заседатель Юрий Иванович Конопа-

тов. Ирине до отчаяния не хотелось возвращаться в пустую квартиру, где все еще витал запах сигарет, где в передней стояли мужские лыжи, а в ванной лежал забытый крем для бритья. И поэтому она неторопливо возилась в совещательной комнате, где они обычно оставляли свои вещи, то с женской дотошностью принимаясь перебирать содержимое сумочки, то листая сделанные во время заседания записи, то чем-то себя занимая, а сама уголком глаза косилась на Юрия Ивановича, втайне удивляясь, почему он-то никуда не спешит.

Народный заседатель с неблагозвучной фамилией — молодой и некрасивый — не спешил домой вовсе не из-за веявшего от судьбы женского обаяния. Хлебнувший в жизни соленого до слез, заседатель был приучен к нелегкому хлебу и далеко не развеселой жизни, но не жаловался даже себе самому в тихие минуты отчаяния. Только перестал торопиться домой, как торопился еще недавно.

Еще полгода назад они мирно жили в заводской двухкомнатной квартире: жена, дочь-десятиклассница и он, Юрий Иванович Конопатов, мастер участка термической обработки. Была налаженная жизнь, тапки и телевизор, ужины и завтраки, трудности по хозяйству и обычные размолвки с женой. И война дочери за личную свободу: за джинсы и сапоги, прозрачные блузки и глубокие разрезы на юбках, за право слушать современную музыку непременно при современной громкости, ходить в дискотеку и красить ногти, губы и ресницы хотя бы по воскресеньям. Он понимал, что аналогичные войны ведут все дочери, относился к этому, в общем, добродушно, зная, что победителем не будет, и постепенно сдавая позиции. И все вдруг сломалось.

У жены была мать (его, следовательно, теща), которой он никогда не видел: она всю жизнь прожила с младшим сыном, помогая нянчить двоих детей. Регулярно переписывались, жена ездила в гости, обменивались поздравлениями, открытками, посылками. А потом брат прислал письмо: «Хватит, мы содержали ее всю жизнь...» Жена тут же собралась, поехала и привезла тещу. Выяснилось, что у тещи отнялись ноги, но это было еще ничего, а месяца через полтора с ней что-то приключилось, и недвижимо лежащая в кровати старуха приобрела вдруг хрипчатый мужской голос и неодолимую потребность петь жизнерадостные песни.

Теперь их семья жила в одной комнате: он с женой и взрослая дочь, которой надо было готовить уроки, слушать музыку, болтать с подругами, мечтать о мальчиках, нарядах и счастье. А жена не могла бросить работу, потому что одной его зарплаты никак не хватало на четверых, теща

целыми днями лежала одна, и в квартире хрипло звучали слова набивших оскомину песен. Дочь приходила только ночевать, появляясь дома все позже и позже; где она делала уроки, он не знал: дочь уверяла, что у подружки, жена трижды находила у нее сигареты, а он как-то вечером отчетливо уловил коньячный аромат.

— Дочка? — От растерянности он заговорил шепотом. — Ты что это, дочка?

— А что такое? — с вызовом спросила она и так шевельнула туго обтянутым джинсами бедром, что у него потемнело в глазах. — Подумаешь!

А из-за плотно прикрытых дверей комнаты, которая некогда принадлежала дочери, несло на весь пятиэтажный панельный дом:

Кудрявая, что ж ты не рада
Веселому пенью гудка...

Да, Юрий Иванович не торопился домой. Понимал, что поступает скверно, несправедливо, эгоистично, что надо хотя бы своим присутствием поддержать совершенно измотавшуюся жену, но не мог. И мечтал не о другом доме, не о другой женщине, не о другом тепле — мечтал передохнуть. Хоть два, от силы — три часа. И поэтому неожиданно сказал и испугался:

— Вы очень спешите, Ирина Андреевна? Может...

Он подавленно и очень виновато замолчал, и эта виноватость теплой волной омыла обожженное сердце Ирины. Она тоже не рискнула поднять глаз, но сказала с привычным женским умением направлять идеи в знакомые русла:

— Что ж, я с удовольствием.

В кафе предложили столик на двоих, никто не мешал, но им все равно было неуютно. Односложно спрашивали, односложно отвечали, нехотя потягивали кислый рислинг в ожидании ромштексов и, кажется, мечтали разбежаться. Юрий Иванович сделался еще угрюмее, на Ирину вдруг нахлынули ностальгические воспоминания; разговор не вязался, и вечер явно рисковал оказаться испорченным.

— Знаете, я человек малоинтересный, — через силу, точно преодолевая чудовищно возросшую за время молчания инерцию, сказал Конопатов. — Обхождению не обучен, вырос в детдоме. Сироты все угрюмы.

— Ну, это не правило.

— Правило. — Юрий Иванович упрямо мотнул заметно поседевшей головой. — Вот если, к примеру, две параллельные линии проложить: своей жизни и... ну, дочки, чтоб яснее,

и сравнить, какое соответствие. Вот мне — десять, и ей — десять, мне пятнадцать, и ей...

— Неправомерное сравнение,— по-судейски безапелляционно перебила Ирина.— Вы, мужчина, сравниваете свое становление, развитие со становлением девочки, а это абсолютно недопустимая параллель. Это два параллельно существующих, но непараллельно развивающихся мира, Юрий Иванович, поверьте женщине.

— Допускаю,— подумав, согласился он.— Что ж, возьмем двух мужчин. Возьмем обвиняемого Скулова и его жертву — Вешнева, Эдика этого... Хотя нет, не надо их сравнивать, суд еще не кончился.

— А я сравню не обвиняемого и жертву, а инвалида войны с... с одним человеком.— Ирина нахмурилась и решительно тряхнула тяжелыми кольцами чуть подвитых волос.— Параллель: Скулов — Икс. Десяти лет от роду беспризорник Скулов погибает от голода в Сумах — десяти лет Икс учится в английской и музыкальной школах одновременно. Пятнадцать лет: Скулов работает на заводе и учится в вечерней школе — Икс получает от папы магнитофон за второе место на школьном конкурсе пианистов. Восемнадцать: Скулов, экстерном сдав за семилетку, поступает в пехотное училище — Икс с блеском выдерживает конкурсные экзамены в университет. Двадцать: Скулов женится на зоотехнике Нинель Павловне — Икс обманывает девчонок, считаясь только с собственными желаниями. Двадцать три: Скулов второй раз тяжело ранен — Икс заканчивает университет и остается в аспирантуре. Двадцать пять: Скулов в бою теряет ногу — Икс досрочно защищает диссертацию. Тридцать: Скулов переезжает в наш город вместе с Анной Ефремовой — Икс женится на своей студентке Ларисе. Тридцать пять: Скулов работает в гараже — Икс бросает Ларису ради... скажем Елены. Тридцать восемь: Скулов проходит в суде по обвинению в служебном разгильдяйстве — Икс бросает Елену ради студентки Наташи. Это сопоставимо по всем параметрам, а судьбы настолько различны, будто линии их тянутся из разных миров.

— Трудностей бы им,— сказал Юрий Иванович.— Уж больно гладенько все, уж больно дорожки мы перед ними вылизываем. А если когда и заговорим о закалке, так уж непременно о закалке тела, а не души, обратили внимание? А ведь душу-то закалять не только важнее, но и труднее, а где вы о закалке души слышали? Я, к примеру, нигде не слышал, будто и нету ее у нас, души, значит. Одно тело осталось, а душу искоренили: так оно получается? Потому и закалка — только для тела, и удовольствия — для тела, и

всякие там игрища, соревнования, состязания — все для него, для тела нашего, для мускульной радости да утоления всяких потребностей. И так в этом разрезе мы поусердствовали, что душа давно уж в тени у нас, давно на второй план отошла, на задворки жизни, что ли. И что же мы получили, кроме того, что штангу высоко поднимаем да шайбы в хоккее заколачиваем? А то, что лезет парень цветочек сорвать, руку наколол — и ну матом крыть во всю ивановскую! И это при девушке, которой цветочек преподнести собирался.

Угрюмый молчун Юрий Иванович неожиданно разговорился, и неизвестно, куда направился бы разговор, да ромштексы принесли не вовремя. Он начал есть их («Голодный», — подумала Ирина), беседа оборвалась, а ей уже хотелось его слушать. Он не пытался шутить, не сбивался на комплименты, не болтал ради болтовни — он говорил то, что его беспокоило, над чем он размышлял, из-за чего тревожился. А тут из-за этих пережаренных, жестких, как тротуар, ромштексов замолчал. И это огорчило ее.

— Закаливание душ человеческих? — Ирина вновь пыталась поджечь разговор, но не очень ясно представляла, на что собеседник может отозваться очередной вспышкой искренности. — Суды завалены делами о мелких кражах, мелком хулиганстве, мелком мошенничестве — можно подумать, что люди утратили элементарную поведенческую волю. Они научились управлять своими желаниями, своими эмоциями, своими поступками, будто, приобретя возраст и образование, так и остались с понятиями о детских шалостях. Круг дозволенности начал терять точные границы, он размывается, и каждый вот-вот прыгнет устанавливая его сам для себя.

— Принялся уже, — буркнул Юрий Иванович, старательно двигая челюстями. — Раньше дети баловались, озоровали, а теперь нет этого. Теперь они нас, старших, на вседозволенность проверяют. И так, и сяк, и этак. Не силу в себе пробуют, а слабинку в нас ищут, вот ведь как все перевернулось, Ирина Андреевна.

На этом, по сути, и закончился тогда их разговор. Народный заседатель проводил до подъезда народного судью, кивнул на прощанье и пешком побрел домой, хотя путь был неблизким. Но он не торопился, вспоминая завывающий от восторга голос тещи. Теща являла День Вчерашний, а дочь — День Завтрашний: стремительный, резкий, своенравный, лохматый, в потертых джинсах и блузках без лифчиков. Эти дни, наглядно сосредоточенные в одной квартире, были несочетаемы. Дочь требовала доказательств, а не выводов, теорем, а не аксиом, самой истины, а не ее

истолкования. Он не пытался примирить эти полярности, ясно представляя всю безнадежность и бессмысленность подобной акции, но очень боялся за дочь и понимал, как ей тяжело сейчас... Нет, нет, хватит об этом, хватит. Надо о деле. Главное — Скулов. Вот о чем и...

— Оставить жену с двумя малолетними детьми! — прозвучал в памяти голос Егоркиной. — Бабник, по роже видно. Сладострастный тип. Вы «Семнадцать мгновений» смотрели по телевизору? Сколько лет Штирлиц у фашистов провел, а? А ведь не завел себе любовницу, жене законной верность хранил. Знаете, в том месте, где ему жену издалека показывают, я всегда реву. А Скулов этот? Года потерпеть не мог. И это при двух-то детях, Юрий Иванович!

При двух, да. Нехорошо. У него вон один ребенок, и то из рук выкатывается, как колобок. Опасный возраст? Самообман это, дело совершенно в ином. Что-то упустил он, как отец, что-то недоглядел, недопонял. А вместе — просчет воспитания. Ведь воспитание — это воздействие... Воздействие. А что это такое? А это значит одно: пример действием. Не словами, не заклинаниями — действием. Поступками, так скажем.

Юрий Иванович остановился, потоптался, даже свернул в переулок, хотя надо было идти прямо. Свернул, чтобы путь продлить, чтобы додумать очень простую истину, которую открыл для себя вдруг, потому что никогда не случалось ему думать об этом: воспитывают твои действия, которые все время наблюдает ребенок. И чем естественнее эти действия, тем большее влияние они способны оказать на твоего детеныша, потому что малыши инстинктивно и абсолютно безошибочно отличают искренность от неискренности, истину — от лжи. Значит, если твое естественное поведение нравственно — один пример, безнравственно — другой, только и всего. И не надо никого специально воспитывать — надо просто быть самому естественно нравственным человеком. Естественно не для кого-то, не показно, не понарошку; ах, как же все просто, как просто!

Юрий Иванович еще куда-то свернул, чтобы удлинить путь, чтобы додумать, успеть понять, хотя, казалось бы, что тут понимать, и так все ясно. Но он старался быть предельно честным и сейчас, неторопливо шагая по темному переулку, внимательно разглядывал свое собственное обычное поведение, изучал то, что дочь изучала всю жизнь, еще лежа в кроватке и не умея сказать «папа».

Значит, приходил он с работы, тапочки надевал, шел руки мыть. А всегда ли вовремя приходил? Нет, не всегда: то в цеху задержат, то к начальству вызовут, то с ребятами.

Замечала это дочка? Ну, а как же? Собака и та точно знает, когда хозяин должен вернуться. Значит, сперва чувствовала, потом замечала, фиксировала его объяснения, а он никогда толком не объяснял, почему опоздал. А отсюда — пример, а из примера — вывод: допустимо быть неточной. Так, для начала неплохо, дальше пойдём. А дальше, скажем, такой факт. Застолье, гости. И он жене — рюмочку. Да с уговорами: «Выпей, подумаешь, делов-то...» А спор: отправлять старуху в дом престарелых или не отправлять, и он настаивал: «Отправлять» — и к доченьке адресовался за поддержкой, и доченька поддерживала, а жена плакала и причитала: «Не могу, мать она мне. Не могу, мать она мне...» Вот так из кусочков, из осколочков и складывается картина, а потом ищем, кто виноват, чье там тлетворное влияние... Ладно, ему еще с дочкой повезло, сильно повезло: толково учится, больше об институте мечтает, чем о тряпках, домой вовремя приходит... Приходила. Сейчас что-то задерживаться все чаще начала: у подруги, говорит, занимается, а телефона там нет. Ну, это понятно: не очень-то дома за уроками посидишь при таком звуковом оформлении, а у нее — десятый класс, экзамены, нагрузка: одних книжек с полтонны прочесть велели. Нет-нет, у него еще слава богу, как говорится. И даже сигареты, что мать нашла, то не дочкины оказались, а подружки, а что он как-то коньячок уловил, так дочь только вначале взъерошилась, а потом объяснила, что у родителей подружки было семейное торжество, и ей пришлось выпить глоток. Нет, повезло с дочкой, повезло, не то что некоторым.

Как ни старался Юрий Иванович идти медленно, а до дома все же дошел. Поднялся на этаж — дом пятиэтажный, типовой, без лифта, — открыл своим ключом дверь. И сразу услышал, как горько и беспомощно плачет на кухне жена.

— Что случилось? — крикнул. — Что? С дочкой?..

— Не кричи, не надо. Просто... Не ночует она дома ни завтра, ни послезавтра.

— Как — не ночует? У подруги опять?

— Сказала так. У той, где телефона нет. Мол, родители той подруги на три дня уехали и просили ее поночевать.

— Это дочь так говорит?

— Мужчина еще звонил. Сказал, что он — папа этой подруги и что просит отпустить нашу к ней на три дня.

Юрий Иванович с облегчением улыбнулся, ласково погладил жену по голове. Как маленькую.

— Ну, и чего ревешь? Поночуют две девчонки, посекретничают. У подруги ведь, не где-нибудь.

— У подруги? — Жена глянула странными, ушедшими в

себя глазами.— Эта подруга только что была у нас. Никто у нее никуда не уезжает, и отец ее ни разу нам не звонил. И вообще доченька наша уже десять дней как в школу не ходит, поэтому подруга и прибежала.

Он молча, без сил и без дум опустил на жалобно скрипнувший табурет.

Секретарь суда

Лена третий год работала секретарем в народном суде и третий год с упорством обреченного подавала документы в юридический институт. Ее регулярно допускали до сдачи экзаменов, но когда дело доходило до сочинения, Лена терялась настолько, что забывала буквы родного алфавита. Она знала тему сочинения, дома заранее и вполне грамотно писала его с обильными цитатами, но как только принималась переписывать это же сочинение в аудитории, ошибки начинали громоздиться друг на друга с неотвратимостью горного обвала.

— Плюнь,— говорил отец.

Он был кузнецом высокой квалификации, объяснялся кратко и только в пределах необходимости: «Разогрей», «Поддай», «Доверни». От вечного огня и тяжелого грохота выглядел суровым сверх меры, съедал утром тарелку щей, вечером — две, смотрел телевизор и на всех ворчал. На хоккеистов и футболистов, на дикторов и комментаторов, на фильмы и спектакли, на международное положение, внутренние неурядицы и даже на саму Аллу Пугачеву. Впрочем, ворчал добродушно. Он был настолько силен, спокоен, добр и добродушен, что стеснялся, и поэтому всегда старался выглядеть ворчливым.

— Плюнь. И работай, как всем положено.

— Стаж зарабатывай,— уточняла мама.

Мама тоже старалась выглядеть, но дальше самого глагола дело у нее не сдвинулось. Выглядеть, и точка. И в этой точке умещалась вся ее философия, нравственность, мораль, вера, мировоззрение и даже сама работа, о которой мама говорила где угодно, только не в семье, представлялась Лене желанием выглядеть: мама работала администратором в заводском Дворце культуры, но упорно именовала себя ассистентом и очень любила изрекать нечто загадочное:

— Кто мы, артисты, в сущности? Боги искусства или рабы его?

Лена училась как все, читала как все, одевалась как все, смотрела как все, слушала как все и говорила как все.

И когда закончила школу, оказалась нормальным витязем на распутье: уж что-что, а в какую сторону идти, ей было абсолютно все равно. Направо — учиться, прямо — работать или налево — бездельничать, хотя, честно говоря, налево хотелось меньше. Она была тихой, старательной, влюбчивой, но что-то в ней присутствовало такое... Нет, точнее будет сказать так: что-то в ней отсутствовало такое, что оставляло ее вне мужских взглядов. И все летело мимо, а с нею оставались слезы.

— Ты должна стать юристом,— объявила мама, то ли прочитав очередной детектив, то ли посмотрев очередных «Знатоков».

— Воров ловить? — заворчал отец.

— Судьей,— отрезала мама.— Для женщины это очень престижно. Очень, поверь.

И начались муки поступления. После первого провала возникла первая семейная разногласица: мать всеми правдами и неправдами стремилась запихнуть дочь поближе к Фемиде, а отец настойчиво талдычил насчет ПТУ. Победила, как всегда, мама. Лена в конце концов стала секретарем, но больше решительно ничего не изменилось. Ни мечта, ставшая еще более желанной от личных наблюдений («Встать! Суд идет!» — и все встают. Даже генералы, чему Лена сама была свидетельницей); ни количество мужских глаз, к которым подружки восторженно применяли глагол «положил» («Он на меня глаз положил; представляешь?», а Лена и знать не знала, что это такое); ни количество ошибок в заученных зубок сочинениях.

— Подлецы, взяток ждут, потому и режут,— твердо установила мама.

— Не сметь! — Отец грохнул по столу своим кузнечным кулаком и ушел из дома ровно на сутки.

Такого еще не случалось, и мама притихла. Отец вернулся, все пошло, как шло всегда. Мама при отце подобных версий более не выдвигала. Зато отводила душу наедине с дочерью:

— Эта ваша судья, ну, молодая эта, вертихвостка...

— Ирина Андреевна?

— Ну? Думаешь, она способнее тебя? Да я на шести процессах была: баба как баба, с двадцатого ряда видать, что баба. Судья! А почему? А потому...

Мама подмигивала, выразительно шевелила пальцами, нисколько не задумываясь над тем, что из всех ее слов больше всего ударили Лену «с двадцатого ряда видать». А Лену не было видно не только с двадцатого — ее в упор не было видно, и никакие взятки, на которые не переставала

возлагать надежды мама, тут ничегошеньки поделать не могли. А время шло...

— Встать! Суд идет!

Так говорила Лена, а все вставали перед Ириной Андреевной Голубовой, и все видели в ней бабу с двадцатого ряда. И постепенно вместо удивления, недоумения, слез и растерянности в душе Лены стали проклевываться совсем иные ростки, которые регулярно и весьма плодотворно подкармливала мама:

— Какая уж тут объективность, когда прокурор млеет? Представляю, что у них там, за кулисами, творится.

За кулисами ничего не творилось, и Лена отлично об этом знала, но... но то, что говорила мама, было приятно. Грустно и все же приятно, потому что объясняло, почему Лене так не везет, а вот некоторым... ну, например, Ирине Андреевне — так везет. И если поначалу Лена относилась к Голубовой с восторженной влюбленностью, то постепенно, исподволь, при активном воздействии маминого авторитета и ядовитых ростков восторженность сменилась болезненной завистью, а влюбленность — еще более болезненной ненавистью.

— Только не выступай. Учитесь властвовать собой, поняла?

И Лена училась властвовать собой раньше, чем постигать науки, отец махнул тяжелой ручищей, а мама решала проблему богов и рабов притворства (которое она упорно именовала искусством) на собственной дочери. И вскоре секретарь суда наловчилась, корректно улыбаясь, при малейшей возможности подкладывать поросеночков Ирине Андреевне, о чем Голубова, естественно, и не догадывалась.

Суд

Шел четвертый день судебного разбирательства. Уже были рассмотрены все обстоятельства преступления, подтвержденные заключениями экспертов и показаниями свидетелей. Уже досконально были исследованы прямые и косвенные причины, по секундам рассчитано время жертвы и убийцы, прочерчен каждый шаг их вплоть до пересечения, до рокового того места и мига, когда прогремел выстрел в упор. И все уже казалось таким ясным и бесспорным, что не только публика, но и люди опытные, профессиональные, поднаторевшие в процессах недоуменно пожимали плечами, вспоминая о защите:

— Жаль старика. Единственно — искать смягчающие об-

стоятельства, просить суд учесть былые заслуги. В целом, увы, жалобно и как-то... некорректно, что ли.

А защита встретила утро бодро, как никогда. Поцеловала свою Беллочку, фальшиво промурлыкала «Но нам нужна одна победа...» и столь же энергично зашагала в суд. А за квартал до суда ждала Лида Егоркина.

— Поете?

— Лидочка? — обрадовался старый адвокат. — Вот уж не рассчитывал на встречу.

— Я получила точные намеки, — как всегда таинственно понизив голос, сказала заседательница. — Конкретно сообщить обещали позже, но я вас прошу быть осторожным. Быть очень осторожным!

— А в чем, собственно, дело?

Добиться от необычайно серьезной Егоркиной чего-либо определенного не удалось, но таинственные намеки возыме-ли определенное действие, и адвокат входил в здание суда совсем не в том азартном настроении, с каким выходил из собственной квартиры. Однако встретили его как обычно, и все шло заведенным порядком, и он успокоился, привычно заставив себя сосредоточиться на процессе. Но какая-то иголочка в нем все же застряла, потому что он — вдруг и сам не понимая почему! — испугался, узнав, что свидетель, которого уже однажды допрашивали, испросил специального разрешения дать дополнительные показания.

Этим свидетелем был Иван Свиридович Ковальчук. Единственный, кто знал о Скулове как о человеке все или почти все, относился к нему с любовью и уважением и должен был, обязан был уже уехать, вернуться в Москву, куда так торопился. Там ждало его какое-то весьма срочное дело, и поначалу он и приезжать-то на процесс не хотел, намереваясь ограничиться письменными показаниями. И внезапно вместо успешного отъезда — дополнительные показания.

Нелегко Иван Свиридович добился этого исключительного разрешения, и если бы адвокат знал о его особой настойчивости в то утро, он насторожился бы еще больше. Ковальчук прибежал за час до начала заседания, разыскал судью Голубову, долго упрасивал, доказывал, настаивал. Ирина Андреевна, молча все выслушав, сухо отказала:

— Вы уже исполнили свой гражданский долг. Не вижу необходимости исполнять его повторно.

— Ирина Андреевна, я умоляю, я обязан, как честный гражданин.

С чего это он так испугался?

— Повторяю, что не вижу необходимости в вашем повторном вызове в качестве свидетеля.

Отказ был категорическим, но Ковальчук с ним не смирился, тут же бросившись к председателю районного суда. Что уж там он говорил, как доказывал — неизвестно, а только председатель успел до начала судебного заседания вызвать Ирину:

— Ковальчук написал официальное заявление. Прошу вас, Ирина Андреевна, рассмотреть вопрос о возможности его повторного вызова в качестве свидетеля.

— Ковальчук проходит только в связи с характеристикой подсудимого. Его показания никак не могут раскрыть новых обстоятельств преступления.

— И тем не менее. Он так настойчиво просил.

— Вот это-то меня и настораживает.

— В порядке исключения, — вздохнул председатель. — Он ведь непременно жаловаться побегит, если откажем.

Скулов, естественно, ничего не знал об этих затруднениях. Он устал от публики, от бесконечных вопросов, от голосов, слов, звуков, дыхания людей и в особенности от их взглядов. А тут еще немислимо разнылась нога, и он окончательно отупел, занятый этой болью и ответами, которых от него все время требовали. Настолько отупел, что и на жену с детьми поглядывать перестал, и слышать начал плохо, и вопросы понимал не все, но отвечал не переспрашивая. Как выходило, так он и отвечал, потому что очень уж нога тревожила, и Скулов стал чувствовать, как время тянется, как ползет оно, проклятое, точно боль от пальцев, которые в Венгрии остались, в шерстяном носке, до самого сердца и жжет там угольком. А потом, что ему-то думать, как именно отвечать? Он ведь все признал, он ни о каком там смягчении и слышать не хочет — так не все ли равно, что говорить? Лишь бы время шло побыстрее — вот одна задача, которую решить осталось. Только как силы собрать для этого, как, когда ногу будто искрой простреливают, когда пальцы ноют, которых нет, когда в глазах все точки да точки, в ушах — звон и голова кругом кружится. Значит, одно остается: выключиться. Уйти в себя, внутрь, в свой каземат, закрыться в нем, забаррикадироваться и — вспоминать. Об Ане, о счастье, о молодости, о... о том безногом морячке на тележке, имя которого Скулов позабыл, к великому и мучительному стыду своему...

А все-таки жалко, что нет загробной жизни. Была бы — он бы упросил, умолил бога или там маму его, чтобы позволили ему с Аней увидеться. Еще разочек, один-единственный, на секундочку, чтоб только прощения у нее попросить. Объяснить ей, как все случилось, почему случилось и зачем он в живого человека выстрелил. Аня бы все

поняла, потому что любила его, а какой суд тут может разобраться? Всех вон одно интересует: сколько да почему он цветы продавал. А кто спросил: хватало вам, Скулов, пенсии на двоих, на дом, на ремонт, на свет, на газ, на участок? Они ведь не деньги к деньгам подбирали, а цветок к цветку, а кому это теперь важно? Кто тут хоть раз спросил: сколько, мол, полкуба теса стоит, как его достать, где машины раздобыть да что с поездки шофер заломит?

— ...Проволоку я лично Антону Филимоновичу посоветовал. Я, лично, он тут и вовсе ни при чем.

Вынырнул Скулов из всех своих болей, обид, воспоминаний. Услышал спокойный глуховатый голос, вгляделся: Митрофанов. Григорий Степанович Митрофанов, директор спортивного комплекса, в котором Скулов до пенсии работал на должности инженера стадиона. Строгий мужик, фронтовичок, принципиальный товарищ: «Если ты, Скулов, ко мне кантоваться пришел, так давай лучше сразу — горшок об горшок». Потом сработались, нормально жили, в гости друг к другу заходили. А когда Скулов на пенсию вышел, Григорий Степанович над ним что-то вроде шефства взял. Списанные доски — Скулову, списанное железо — Скулову, списанную колючую проволоку — тоже ему...

— У Скулова цветы воровали чуть ли не каждую ночь: участок-то у самой дороги. Вот я и привез ему списанную колючую проволоку и сам же натянул ее вдоль всего забора.

— Скажите, свидетель, а почему Скулов не заводил собак?

— Заводил, — вздохнул Митрофанов. — Лично я трех знаю, и все три не своей смертью погибли. Сперва Найду отравили — хорошая овчарка была, умная, медали имела. Она на руках у жены Скулова умерла.

— На руках у Анны Ефремовой, вы хотели сказать?

— Я всегда говорю то, что хочу сказать, товарищ защитник. Найда умерла на руках у жены Скулова Анны Свиридовны. И это так потрясло Аню, что...

— Простите, Григорий Степанович, сначала я бы хотел услышать о собаках. Вы сказали, что знаете трех?

— Совершенно верно, три. Найда, Курган и Дымка. Найду отравили, я уже докладывал. Кургана задавила машина, а Дымку... — Митрофанов трудно проглотил комок. — Дымку забили камнями, когда Скулов был на кладбище. Аню навещал.

— Когда это случилось, не припомните?

— Такое, товарищ защитник, не забудешь. Двадцать шестого сентября это случилось, за два дня до... до выстрела.

— Благодарю, Григорий Степанович. Защита больше не имеет вопросов.

Ай да адвокат, ай да старик! Каких раздобыл свидетелей, как ловко поставил вопросы, как поворачивает настроение зала... Даже прокурор восторгался сейчас изящным профессионализмом защиты. И только Скулову было все равно, хотя теплая волна благодарности к бывшему его начальнику Григорию Степановичу Митрофанову омыла и его обнаженную душу.

— Вопрос к свидетелю.— Как ни радовался прокурор за адвоката, долг оставался долгом.— Вы много и красочно говорили о своей помощи обвиняемому, перечисляли доски, железо, колючую проволоку. А не было ли среди этой номенклатуры водопроводных труб? Или хотя бы обрезков этих труб?

— Не было. У Скулова на участке был колодец, позднее им, как и всем на улице, провели водопровод, так что в трубах он не нуждался, и я ему их никогда не предлагал и не привозил.

— Значит, вы никаких труб или их обрезков у Скулова не видели?

— Повторяю...— металлическим голосом начал Митрофанов.

— Благодарю вас, вопросов более не имею.

Какие еще трубы, откуда трубы, почему — трубы? Что-то вертелось в памяти Скулова, но он и не пытался припомнить. Он вообще старался забыть, а ему все время напоминали, напоминали...

— В порядке исключения суд счел возможным повторно вызвать свидетеля Ковальчука Ивана Свиридовича.

Ваня. Нашел, значит, время, хотя — говорили тут — очень уж домой, в Москву, торопился. Ах, Ваня, Ванечка, последний родной человек на этой земле! Горло Скулова сдавило, непрошенная слеза выкатилась вдруг, он быстро и смущенно смахнул ее, а она снова выкатилась...

— Прежде, чем отвечать на вопросы, я с глубоким и искренним сожалением должен попросить прощения у суда.

Четкий, какой-то продуманный, что ли, голос свидетеля защиты Ивана Ковальчука зазвучал в переполненном зале, заставил всех замереть, прорвался и сквозь воспоминания Скулова. Судья недоуменно переглянулась с заседателями и спросила, не сумев сдержать удивления:

— Вы просите прощения, свидетель? За что же вы просите суд простить вас?

— За то, что я ввел вас в заблуждение.— Свидетель

держал голову очень прямо, как на смотре, глядя только в глаза судье и всеми силами стараясь ничего более не видеть.— Поддавшись внушенным мне с детства дружеским чувствам, я в корне неправильно осветил суду личность гражданина Скулова Антона Филимоновича, за что достоин сурового порицания.

Адвокат вскочил. Не встал, не приподнялся — вскочил с не свойственной ни его возрасту, ни положению, ни здоровью резвостью. Качнулся, открыл рот два раза, но так ничего и не сказал и рухнул на заскрипевший стул, машинально тиская правой рукой рыхлую грудь. К нему с беспокойством склонился второй адвокат — молодой, уже наступающий на пятки, но еще искренне любящий старика,— а свидетель тем временем продолжал:

— Моя дорогая сестра, единственное родное существо, поскольку все остальные были зверски уничтожены фашистскими оккупантами за связь с партизанами, героиня Великой Отечественной войны Анна Свиридовна Ефремова получила свое последнее тяжелейшее ранение по вине бывшего капитана Скулова, о чем неоднократно рассказывала как мне, так и моей приемной матери...

Антон Филимонович ничего не понимал: почему Аня была ранена по его вине? какая связь с партизанами? откуда Ваня — мальчонка в те года — знает то, чего не знали они с Аней, несмотря на все ее отчаянные письма и официальные запросы о судьбе родных?

— ...Холодный расчетливый эгоизм — вот, пожалуй, основная черта Скулова, если не считать его патологической скупости. Именно скупость определила то, что он, Скулов, запретил моей сестре — искалеченной по его же вине! — взять из детского дома ребенка на воспитание. Именно скупость... Да что там, если уж всю правду, так этому не скупость название, а кулацкая жадность!.. Так вот, жадность его отчетливо видна в том хотя бы факте, как он поступил с имуществом моей приемной матери Александры Петровны Ковальчук. Обманом выпросив у меня дарственную на домишко и участок, он не дал мне, ее единственному близкому человеку, платочка на память! Скулов — кулак, самый настоящий кулак сегодняшнего дня с кулацкой психологией, кулацкой моралью, кулацкой жестокостью и...

— Неправда!

Кто это так закричал? Скулов был до того потерян, до того ничего уже не соображал, что перестал верить собственным ушам, а теперь не верил и собственным глазам, увидев вставшую во весь рост посреди замершего зала собственную законную жену Нинель Павловну.

— Неправда! Скулов никогда не был жадным, не мог быть жадным! Он сам из детдома, он...

— Гражданка Скулова, немедленно замолчите. Иначе я прикажу вывести вас из зала! — Судья с трудом справилась с волнением. Помолчала, сказала потухшим голосом: — Продолжайте, свидетель.

Нинель Павловна Скулова продолжала стоять посреди зала, точно выслушивая приговор. Слезы текли по ее нездорово расплывшему лицу, рассеченному заглубившимися морщинами. Дети — Майя и Виктор — с обеих сторон настойчиво тянули ее вниз, на место, дочь то и дело вставала и что-то шептала ей, но Нинель Павловна упорно продолжала стоять. Пока судья негромко и мягко не попросила ее:

— Нинель Павловна, пожалуйста, сядьте на место. Вы отвлекаете суд.

— ...И еще одно деяние прекрасно характеризует Скулова, хотя об этом почему-то стыдливо умалчивали на процессе. Речь идет о продаже Скуловым автомашины марки «Москвич», которую он получил как инвалид войны, а продал по спекулятивной цене. На первом процессе — я имею в виду дело по обвинению Скулова в темных махинациях, когда он был директором рынка...

— Свидетель, придерживайтесь существа вопроса, — сказала Ирина Андреевна официальным голосом.

— Я полагал, что моральный облик обвиняемого в тягчайшем преступлении и есть существо...

— Повторяю, свидетель, придерживайтесь строго существа дела, — с той же интонацией повторила Голубова.

Да, был инвалидный «Москвич», Ваня, был, все точно. И получил его Скулов без очереди, и продал за большие деньги — тоже верно: как раз за это и наложили на него партийное взыскание. Только что же ты о другом умалчиваешь, Ванечка? Вскоре после похорон Александры Петровны Аня в саду упала в клумбу головой — ты еще уехать не успел, ты был тогда, вдвоем с тобою Аню-то в дом втаскивали, а ты за доктором бегал. Вот тогда доктор и сказал, что это, мол, первый звоночек, что лечить ее надо и что лекарство для этого заграничное требуется, швейцарское, что ли. А ты ведь знаешь, сколько они стоят, заграничные эти лекарства, ты за границей больше, чем дома, живешь. Вот и пошел тогда инвалидный «Москвич» в обмен на таблетки и строгий выговор по партийной линии: что же ты об этом-то, Ваня, а?..

— Я касаюсь истории со спекуляцией автомашиной потому...

— Суд не интересуется история с проданной автомашиной,

поскольку вопрос этот был соответствующим образом рассмотрен и оценен. Суд настоятельно просит держаться только существа дела.

— Существо дела заключается в том, что сидящий на скамье подсудимых гражданин зверски застрелил комсомольца и будущего воина Советской Армии...

— Свидетель, подобные формулировки входят исключительно в компетенцию суда,— отчеканила Ирина Андреевна, и по залу прошелестел уважительный шепот.— Отвечайте только на вопросы. Коротко и по существу. Защита?

Что-то тихо промямлил посеревший адвокат, дышавший трудно и часто. Второй защитник поспешно привстал со стула:

— Защита не имеет вопросов.

— Позвольте мне.

Прокурор поднялся, а вопрос задавать не спешил. Долго смотрел в лицо свидетелю, прежде чем спросить:

— Как прикажете понимать принципиальную разницу в ваших показаниях два дня назад и сегодня? Что послужило этому причиной?

— Конкретно? — Иван помолчал.— Моя гражданская совесть, если угодно.

— Совесть? — словно бы с участием переспросил прокурор, и по залу отчетливо прошелестел смешок.— Похвально, но очень уж расплывчато. Вы ни с кем не встречались за истекшие сутки, не беседовали, не советовались?

— Я ни с кем не встречался.

— Вы звонили в Москву?

— Я ежедневно разговариваю с женой.

— Может быть, это она посоветовала вам принципиально изменить показания?

— Нет. Я сам решил это сделать.

— Следовательно, вы не возражаете против моей формулировки, что вы принципиально изменили свои показания?

— Да, я принципиально...

— Когда же вы явились в суд, свидетель, два дня назад или сегодня?

Пауза была длинной, напряженной, тяжелой. Ковальчук подавил вздох и негромко сказал, впервые опустив глаза:

— Я отказываюсь отвечать на так сформулированный вопрос.

— А вы уже ответили,— усмехнулся прокурор и издалика чуть поклонился старому адвокату.— Я выполнил вашу миссию, коллега, во имя торжества справедливости.

Прокурор сел. Судья перешептывалась с заседателями, свидетель Ковальчук продолжал стоять, беспрестанно вы-

тирая вдруг обильно хлынувший пот, и в зале возник легкий шум.

— В течение судебного разбирательства вы дали два взаимно исключаящих друг друга показания, — сказал заседатель Юрий Иванович Конопатов, и зал опять напряженно замер. — Какое из них соответствует истине?

— Второе, естественно. — Ковальчук заметно нервничал, все время промокая лоб. — То есть то, что я говорил сегодня.

— Значит, то, что вы говорили в первый раз, истиной не является?

— Я уже объяснил причины, побудившие меня... не совсем объективно осветить некоторые факты из жизни обвиняемого, и попросил за это прощения.

— Здесь не детский сад, свидетель, — медленно, взвешивая каждое слово, сказал Конопатов. — Прежде чем дать вам слово, вас ознакомили со статьей закона, предусматривающей уголовную ответственность за дачу ложных показаний. Вы дали расписку, что вас ознакомили с этой статьей?

— Дал. Но поймите же...

— Извиняюсь, я не закончил. Я буду настаивать на применении этой статьи к вам, свидетель Ковальчук.

— Правильно! — громко крикнула Нинель Павловна и снова вскочила, зааплодировав на весь зал. — Спасибо за справедливость! Спасибо!

— Гражданка Скулова, прошу вас немедленно покинуть зал! — крикнула Ирина Андреевна.

Майя вела мать по проходу, а Нинель Павловна все время оборачивалась и, всхлипывая, повторяла:

— Спасибо за справедливость! Спасибо! Спасибо за справедливость!

В зале возник шум, задвигали стульями, зашуршали, кто-то некстати засмеялся. Голубова стучала карандашом по графину, за ее спиной о чем-то спорили заседатели, свидетель по-прежнему стоял на своем месте, поскольку еще не был отпущен судом. И поначалу никто не заметил, как обмяк и начал сползать на пол старый адвокат. Заметил Скулов, все понял, вскочил, отбиваясь от обхвативших его конвоиров, и закричал:

— Врача! Скорее врача! Скорее!..

Перерыв судебного заседания

При всех железных правилах, которыми строго руководствовалась в жизни Лида Егоркина, подчас сама того не замечая, существовало нечто такое, что — правда, неча-

сто — заставляло ее поступать вопреки логике, если принять за логику свод пуританских аксиом. Лида была совершенно беззащитна перед человеческим порывом, перед той вспышкой искренности, когда человек поступает наперекор предлагаемому, предначертанному, предопределенному. Такие внезапные поступки — идущие, как правило, во вред их совершающему и уж никак не в его пользу — всегда умиляли и трогали ее до долгой сладостной боли, от которой першило в горле. Иными словами, Лида Егоркина неосознанно восторгалась тем, на что сама была способна в молодости и что удушила в себе пыльным сводом житейских правил. Мы вообще часто восторгаемся именно тем, ростки чего сами же затоптали в душе своей. И поэтому когда Скулов закричал, а «скорая» увезла адвоката и судья вынужденно объявила перерыв на час раньше обычного, Егоркина ринулась разыскивать Нинель Павловну.

Правда, вначале она все же исполнила одну обязанность, давно и добровольно взятую ею на себя и ставшую уже привычкой. Дело заключалось в том, что подсудимых не кормили в перерывах судебных заседаний, выдавая им положенный обед в камере по возвращении из суда. Лида считала это неправильным и всегда давала деньги кому-либо из конвойных, упрашивая купить что-нибудь — хоть булку! — подсудимому. На этот раз конвой оказался сговорчивым, обещал доставить Скулову полный обед, и обрадованная Егоркина помчалась искать поразившую ее законную супругу подсудимого.

Она нашла всю семью в кафе-стекляшке: мать, дочь и сын молча пили кофе с пирожками. Нинель Павловна часто и трудно вздыхала, Майя встревоженно поглядывала на нее, а Виктор сердито хмурился. Лида подошла, сказала: «Привет!» — объявила, кто она такая, обстоятельно пожалала всем троим руки и потребовала:

— Расскажите-ка мне о Скулове. Письменный допрос ваш, Нинель Павловна, я как-то прослушала, выкриков с места не поняла, а понять хочу, потому что сегодня мы уйдем в совещательную комнату и выйдем оттуда уже с приговором.

— А что, собственно, вас интересует? — неприязненно спросил сын. — Все лезут, все расспрашивают.

Егоркину смутить было невозможно. Она молча выслушала молодого мужчину (такие почему-то сами собой как бы отмечались в ее голове, хотя она за это на себя сердилась), щелкнула огромной старомодной сумкой, извлекла железный рубль и протянула ему:

— Виктор Антонович, я не ошиблась? Кофе с пи-

рожком принесите мне. Боюсь, застрянем мы в совещательной.

Виктор послушно взял рубль и пошел к стойке. Нинель Павловна строго молчала, а Майя грустно улыбнулась:

— Думаете, секрет для нас, что папа не мог просто так выстрелить? Он курицу зарезать не мог, мама рассказывала. Значит, довели.

— Но вы-то, вы-то? — сердито перебила Егоркина. — Я ничего понять не могу, Майя Антоновна, ничего решительно. С отцом вы не жили, практически не видели его — Виктор Антонович, знаю, так и вообще не видел! — Связи не поддерживали, так ведь? И мне непонятно ваше решение присутствовать на этом процессе.

— Любопытно вам, — усмехнулась Майя: она часто усмехалась. — Ну, например, как вы думаете, почему этот Ковальчук так распинался? Сообразил за сорок восемь часов, что есть возможность дарственную на дом аннулировать. Обманули его, подлеца, видите ли!

— Майя, — с привычной материнской строгостью сказала Нинель Павловна. — Нельзя думать о человеке плохое, пока нет доказательств.

— Есть, мама, — твердо сказала Майя. — Есть.

— Мы не знаем, почему он решил предать отца, — вздохнула мать. — Мне почему-то кажется, что не из-за имуществва.

— Мне тоже, — ляпнула Егоркина.

Ей не следовало бы высказывать своих соображений, почему она сразу же и запнулась, но тут, по счастью, Виктор принес кофе и пирожки, и Лида с преувеличенным аппетитом накинулась на них.

— Юридически получается очень запутанное дело, — сказала она с набитым ртом. — С одной стороны, Ковальчук официально оформил дарственную в пользу сестры, но с другой — его сестра не была официально зарегистрирована в браке с гражданином Скуловым, то есть вашим отцом. После ее смерти Скулов, то есть ваш отец, стал владельцем де-факто, поскольку все знали, что он много лет прожил в этом доме с Анной Ефремовой и при этом не было встречных претензий. А с третьей стороны, его все равно осудят, но переходит ли при этом его фактическое, но не юридическое право...

— Не за правом мы приехали, — недружелюбно перебил Скулов-младший.

— Как? — растерялась Лида. — Вы — законные его дети.

— Нам сказали, что тут, на суде, за него слово замолвить можно, — сказала Нинель Павловна. — Объяснить всем,

если, конечно, позволят, что он за человек, наш отец Антон Филимонович, что таких добрых да совестливых людей теперь уж, наверно, и не встретишь вовсе, теперь все свой интерес соблюдают, все к себе гребут, а остальные — хоть с голоду помирай.

— Как?.. — второй раз оторопело переспросила Егоркина, перестав жевать. — Я ничего не понимаю.

— Чего вы не понимаете? — вздохнул Виктор. — Что бая моя — честный человек, не понимаете? Что он не мог, права не имел Анну Свиридовну оставить, потому что она ему жизнь спасла? И нас забыть не мог, потому что всегда любил?

— Он рубли свои последние нам всю жизнь посылал, — дрогнувшим голосом подхватила Майя. — Пока учились, на всех посылал, на троих, а когда мы образование получили, выросли, свои семьи завели, он и тогда о маме не забывал и непременно три раза в год — к дню ее рождения, к Новому году и к Восьмому марта — деньги ей телеграфом переводил. На подарок. А про него этот тип сказал, будто он — кулак? Наш отец — кулак? Да я... Я ему глаза выцарапаю!

— Ничего я не понимаю! — с отчаянием выкрикнула вдруг Егоркина, от души треснув по столу огромной сумкой.

Вот подивился бы Скулов, если бы слышал этот разговор! И тому бы подивился, что дети его, оказывается, и помнят, и любят, и чтут, и уважают. И тому, что приехали они не на убийцу глазеть, а ему, отцу своему и мужу, помочь посылать, поддержать его как только возможно. Но больше всего он бы удивился, узнав, что три раза в год регулярно посылал деньги собственной жене: на день ее рождения, Новый год и к Восьмому марта. И наверняка бы не удержался, наверняка бы слезу уронил и прошептал бы потрясенно:

— Ах, Аня, Аня. Телеграфом, значит, посылала, чтоб почерка никто не узнал? Ах ты, Аня моя...

Но Скулов был далеко от кафе-стекляшки: в охраняемой зарешеченной комнате в здании суда. Он сидел за столом, и перед ним стоял давно остывший обед, который принесли из того же кафе на деньги Егоркиной и к которому он так и не притронулся. Он молча раскачивался на стуле, тупо глядя перед собой, пытаясь понять что-то очень важное, что-то нужное, просто позарез необходимое, но мысли его разбегались, сосредоточиться не удавалось, и он напрасно раскачивался на равномерно поскрипывающем стуле.

Что же это получилось? Что же это такое произошло, может, услышался он или не разглядел, может. Нет, то не Ваня выступал, то совсем не Ваня, подменили Ваню, украли

или уехал он, а это кто-то другой, под него загримированный, как артист. Не может, не может, не может... Как так — Аня по его вине пострадала? Из-за него — да, из-за него, Скулова, он не спорит, но ведь война, Ваня, пойми, война, братишка, у нее свои законы, свой счет, своя правда. Он же ранен был тогда, и Аня не могла не прикрыть его своим телом... Нет, могла, конечно, могла и не прикрыть, только... Только это тогда бы не Аня была, вот в чем тут штука, Ванечка, вот в чем вся штука. А насчет того, что семью вашу фашисты расстреляли за связь с партизанами, это, Ваня, Скулову неизвестно. Скулову и Ане одно было известно: семья погибла в оккупации. Может, от голода, может, от болезни какой, может, при бомбежке или арт-обстреле, но никто ее вроде бы не расстреливал, и документов насчет этого Аня никогда не получала, а получала: «Ваши родители погибли во время оккупации». Вот и все. Три запроса в разные места они с Аней посылали, и три ответа — один в один — из всех трех мест. Откуда же партизаны вдруг объявились, Ваня? Не надо так-то ошибаться, мертвые в славе не нуждаются.

Ну, а что Скулов с наследством тебя обманул, что себе все захапал, что жадность в нем кулацкая, — это, Ваня, твоей совести дело. Это ты ее спроси, пока еще время есть, потому что упустишь — и она тебя спросит. Ой как еще спросит! День и ночь допрашивать будет жесточе самого дотошного следователя, спать не даст, забыться не даст, в себя уйти не даст. Так что подумай сам, Ваня, большой уже, пора и самому думать. Подумай, пока не поздно, с совестью посоветуйся: Скулов на тебя не в обиде. Мало ли какие причины: может, жена твоя тебе так посоветовала или товарищи по работе. Может, ты сам испугался, что убийца Скулов тебе биографию попачкать может, и решил открыться от него, а как — недодумал, и ну грязью поливать. Так-то оно, конечно, и проще и привычнее, и Скулов все понимает, только ведь тебя, Ваня, жалко. Родной ты мой человек, ведь пропадешь так-то, совесть ведь загрызет...

Скрипнула дверь, и конвоир пропустил в комнату сутуловатого длинноволосого молодого человека, в котором Скулов скорее угадал, чем узнал второго адвоката. Адвокат был в плаще и шляпе, которую держал в руке; пришел к столу, сел напротив. Сказал, помолчал:

— Туман. Изморось, что ли. Нелетная погода. Вы почему не едите? Надо есть, есть.

Скулов ничего не ответил, да посетитель и не ждал ответа. Он был чем-то очень взволнован и озабочен, все время думал о чем-то ином, а его, Скулова, как бы и не

видел. Опять помолчал, глядя в пол и не удержавшись от вздоха.

— Старика в больницу отвезли, я сопровождал. Знаете, какой человек? Вымирающий. Уникум. А сейчас в реанимации, и состояние, говорят, не очень. Но не инфаркт, нет. Пока — нет, так сказали. Всю жизнь чужим умом восторгался, чужим талантом, чужой добротой: знаете, есть такие натуры, что чужими достоинствами только и живы. Вот и старик наш... А вот на чем защиту собирался строить, так и не сказал. Удивлю, говорит, и разгромлю. Труба, говорил, еще прогремит, я, говорил, ее иерихонской сделаю. Какая труба, не знаете? Вот и я не знаю. И вместо речи, боюсь, бормотать придется. Да вы ешьте, Антон Филимонович, перерыв скоро кончится.

Чтоб не смущать Скулова, молодой защитник встал, отошел к окну и начал разглядывать серую унылую погоду за решеткой. Туман и мелкий дождичек, мокрые крыши, мокрые улицы, машины, людей под зонтами. А Скулов послушно начал есть, то ли потому, что жалел старого адвоката, то ли потому, что молодой назвал его по имени и отчеству.

— Нелетная погодка, и ваш родственничек... Ну этот, свидетель Ковальчук. Нервничает.

— Нервничает? — с робкой надеждой переспросил Скулов.

Невольно это вырвалось: хотелось, очень хотелось ему услышать, что Ваня жалеет о том, как выступил, как осветил, обрисовал, что совестно ему, что...

— Что же это за труба, про которую старик говорил? — Молодой адвокат помолчал, повздыхал, спросил вдруг невпопад: — Как считаете, Антон Филимонович, почему Ковальчук изменил вдруг свои показания?

— Не знаю.

— Застал я его, как говорится, на чемодане в связи с нелетной погодой, — усмехнулся адвокат. — Напомнил, что суд проступок его вряд ли без внимания оставит, за свои слова отвечать надо, разбаловались. А в ответ знаете, что услышал? В ответ услышал целую речь о вреде частной собственности, о кулацкой жестокости, о спекуляции на цветах.

Скулов отодвинул тарелку с остатками второго. Закачался на стуле, заскрипел.

— Вот какой принципиальный товарищ. Родного отца готов во имя истины под трибунал подвести. А на поверку — газетный набор слов. Именно газетный штамп, знаете, так и слышится. Правда, одно живое слово все же не

утиил, сболтнул, не подумав. В Швецию, видите ли, он сейчас оформляется, в длительную командировку. Любопытно, Антон Филимонович?

— Вы не думайте так насчет Вани,— с трудом проговорил Скулов.— Он, вообще-то...

— Вообще-то все мы — люди,— с неожиданной жесткостью перебил молодой адвокат.— Одни честные, другие нечестные, одни свое здоровье берегут пуще глаза, другие — чужое, так, Антон Филимонович? Знаю я, на что ваш инвалидный «Москвич» ушел, мне о докторях да ценах на лекарства Митрофанов Григорий Степанович справку дал. Ешьте, давайте ешьте, теперь до вечера никакой еды не дадут.

Скулов молчал и больше к еде не притрагивался.

Адвокат пошел к дверям, взялся за ручку, обернулся вдруг:

— Администраторша в гостинице сказала, что Ковальчука сегодня утром Москва по телефону вызывала. И разговор был, говорит, тридцать семь минут, очень длинный разговор. Вот почему он в нашем городе задержался, Антон Филимонович, и вот почему он показания изменил. Если что о трубах вспомните, не сочтите за труд сообщить.

Молодой адвокат вышел, а Скулов качался себе и качался, так и не притронувшись больше к еде. Качался, как всегда, а думать о Ване уже не мог. Не мог, как ни старался, точно отключился вдруг Ваня от памяти его.

Следовало бы уже начаться завершающей стадии судебного разбирательства, его последней части: речей прокурора, защитника и подсудимого. Публика толпилась перед входом в тесном коридорчике, но двери в зал были закрыты, а секретарь — некрасивая, скучная девица с постным лицом, взглядом и даже фигурой — ни в какие объяснения не вступала, хотя знала причину.

Дело заключалось в том, что перед началом заседания ее, Лену Грибову, разыскал свидетель Иван Свиридович Ковальчук. Он торопился на аэродром, был во всем заграничном, а Лене так хотелось насолить Ирине Андреевне, что она в нарушение всех правил проводила просителя к судье Голубовой.

— Поймите, я руководствовался родственными, внушенными мне буквально с детства отношениями,— журчал Иван Свиридович, когда нетерпеливая публика уже начала громко выражать недовольство.— Я поступил неправильно, опрометчиво, я это осознаю и глубоко переживаю, но зачем же так сурово, Ирина Андреевна? Бога ради, отругайте меня, только не делайте тех опрометчивых выводов, на которые намекал этот... Заседатель Конопатов.

— Народный заседатель Конопатов руководствуется буквой закона,— холодно (ее возмутила демонстративная оплошность секретаря Лены), но пока терпеливо отвечала Голубова.— Определение о сознательном нарушении вами статьи, предусматривающей уголовную ответственность за дачу заведомо ложных показаний, может быть вынесено в соответствии с процессуальным кодексом. Кроме того...

— Ирина Андреевна, вы же...

— Кроме того, суд может вынести и частное определение о вашем поведении на процессе, которое будет направлено по месту вашей работы.

— Помилуйте, Ирина Андреевна, вы же губите всю мою будущность. Давайте начистоту, мы же интеллигентные люди. Скулову ведь ничем уже не поможешь, так не все ли равно, как именно и почему именно выступали свидетели? Понимаете, в настоящее время я оформляюсь за рубеж...

Ковальчук замолчал, остро пожалев, что сболтнул лишнего. Черт вынес его с этой заграницей...

— Конечно, это никакая не причина, я понимаю, это так, к слову...

— Сожалею,— резко перебила Ирина Андреевна.— Весьма сожалею, но вашу зарубежную поездку, видимо, придется отложить. Лена! Открой зал и дай звонок к началу.

— Ирина Андреевна, умоляю, войдите в мое положение...

— Извините, я и так задержала процесс.— Голубова была очень недовольна собой, что позволила себе позлорадствовать насчет зарубежной поездки, но уж так некстати ошибалась сегодня Лена.— Всего доброго. Повторяю, всего доброго. Надеюсь, вы не хотите, чтобы я вызвала милицкий наряд?

— Не хочу.— Ковальчук поклонился.— Будьте здоровы.

Судья пошла готовиться к началу заседания, публика наполняла зал, а кипевший от негодования Ковальчук покинул помещение. К тому времени туман рассеялся окончательно, дождь перестал, и местный аэропорт принял первый самолет из Москвы, доставивший срочные грузы, в том числе и тиражи сегодняшних столичных газет.

— Прошу встать,— привычно произнесла Лена.— Суд идет!

Совещательная комната

Впервые за четыре дня судебного разбирательства Скулов вдруг расслышал и сообразил, что в зале присутствуют отец и мать погибшего Эдуарда Вешнева. Вздрогнул,

точно очнувшись, сразу нашел их среди публики и уже смотрел и смотрел не отрываясь, и ненависть в нем постепенно гасла, заменялась чем-то вроде сожаления, что ли. Нет, не пьяного Эдика с пьяным его матом пожалел он, а этих двух потухших, совсем еще не старых стариков, которым, наверно, еще не было и пятидесяти и уже не было жизни. Поэтому он не слушал прокурора, не мог слушать, а думал о той ночи, о выстреле, о сыне этих несчастных и о собственном сыне, которого никогда не видел, и еще — о том ребенке, о котором всю жизнь мечтала Аня и которого у нее не было и не могло быть. «И чего тогда из детдома не взяли, чего испугались?..»

Он не слышал главного: чего прокурор требовал. Поздно очнулся от дум, смысла речи не уловил, но — по инерции, что ли, — начал слушать защитника. А защиту представлял молодой, тот, что заходил к нему в перерыв, о какой-то трубе спрашивал: для него это дело было первым, и он, растерянный и убитый несчастьем со своим патроном, не успел подготовиться, а потому и пробормотал свою речь неубедительно. Просил суд учесть прошлые заслуги, фронтную инвалидность, состояние здоровья обвиняемого, ничего уже не подвергая сомнению и во всем соглашаясь с обвинением. Слушали его без интереса, перешептывались, скрипели стульями и замерли только, когда суд представил последнее слово подсудимому.

— Вставай. Вставай, слышишь? — зашипел в ухо конвоир и помог подняться.

Поднявшись, Скулов двумя руками вцепился в барьер и молча уставился в зал. Он хотел посмотреть и на детей — на Майку с Виктором — и на Нинель, которая так неожиданно вступилась тут за него, очень хотел, но не смог. Не мог он оторвать глаз от двух нестарых стариков, от родителей, которых он состарил, лишил сына, смысла жизни, сил и желания жить. Смотрел и молчал, и пальцы у него побелели, до того он барьер стискивал. Судья дважды напомнила, чтоб говорил, что ждут же все его последнего слова. И тогда Скулов понял, что не может он в глаза родителям убитого им парня сказать то, что задумал еще в камере: мол, три раза я в воздух стрелял, четвертый — в него. И если бы промахнулся или там осечка случилась, снова бы ружье перезарядил, а все равно бы — в него, в пьяного Эдика этого. И тогда бы уж — дулетом, тогда бы уж — залпом, наповал, потому что он, Эдуард этот, Аню его покойную, единственную его Аню такими словами обозвал, что... Нет, не мог, оказывается, Скулов этим признанием суд над собою завершить и, не отрывая глаз от родителей

погибшего Эдуарда Вешнева, сказал совсем не то, о чем думал и что собирался сказать:

— Единственно, перед кем вину чувствую, так это перед вами. Не перед ним, в которого выстрелил, не перед судом, не перед обществом вины не чувствую, хоть и виноват, знаю, а вот перед теми, кто родил, вскормил и вырастил, перед ними я виноват неоплатно.— Скулов низко, сколько барьер позволял, склонился, постоял в поклоне, а распрямившись, сказал жестко: — Прошу суд вынести мне самое тяжелое наказание. Самое тяжелое. Все. Больше говорить не буду.

Сел. В зале было тихо-тихо, даже стулья не скрипели, а Нинель Павловна всхлипывала осторожно, изо всех сил сдерживая себя. Судья пошептала с заседателями и встала:

— Суд удаляется на совещание.

Все встали. Заседатели уже вышли, уже Скулова увели, и публика, переговариваясь, покидала зал, а Ирина Андреевна все еще складывала разбросанные по столу бумажки.

— Вас к телефону.

Голубова подняла голову. Перед нею, улыбаясь, стояла секретарь Лена.

— Скажите, что я — в совещательной комнате.

— Муж.— Лена улынулась еще старательнее.— Очень просит, не могла солгать. Уж извините, пожалуйста.

Внутренне проклиная эту иезуитскую улыбку, Голубова прошла в кабинет. Там были люди, кто-то с нею здоровался, кто-то о чем-то расспрашивал: она коротко ответила и взяла трубку.

— Я слушаю.— Как всякая женщина, Ирина все время помнила, что в комнате она не одна, все время слышала и то, что говорит вчерашний муж, и то, что говорит она сама, контролируя не только слова, но и интонацию.— Зачем же такая спешка? А, извини, забыла. Да, полагается три месяца на размышление. Напиши заявление об особых обстоятельствах. Это абсолютно исключено именно потому, что я работаю в этой системе. Закон есть закон, придется его соблюдать. Всего хорошего.

Она положила трубку, но настроение было испорчено: нашел время напоминать о разводе, и Леночка эта назло рядом торчала со своей ухмылочкой. Конечно, студенточку не уговоришь потерпеть с родами, и товарищ доцент до смерти боится, что она родит до того, как он получит развод с Ириной и распишется с Наташей.

Ах, сильный пол, до чего же ты труслив и жалок...

— Опять — вас,— сказала Лена, протягивая трубку и улыбаясь уже почти с торжеством.— Женский голос. С ледяным оттенком.

— Но я же в совещательной...

— Но вы же не в совещательной?

— Голубова слушает.— Она раздраженно, почти рывком взяла трубку, не успев сообразить, собраться с мыслями.— Нет. Нет, мы не получали центральных газет, и я ничего не читала. А какое это имеет значение? Что?.. Под названием «Выстрел из прошлого»? Ну, и что же из этого следует?.. Нет, я...

Ирина вдруг замолчала, уже не пытаюсь вставить хотя бы слово в тот монолог, который слышала только она, сознавая, что происходит нечто непоправимое, хотя ничего еще не произошло. Но слишком уж многое свалилось на нее за эти четыре дня, слишком неожиданно прозвенел этот звонок, слишком неподготовленной, несобранной оказалась она; плечи ее поникли, спина сутулилась все ниже, сгибаясь над трубкой, будто эта телефонная трубка с каждым словом делалась все весомее, все тяжелее...

А тем временем в совещательной комнате Лида Егоркина первым делом включила чайник, достала заранее припасенные сахар и сдобные булочки. Они всегда обсуждали дела неторопливо и почти по-домашнему, за стаканом чая. А до того, как вскипит чайник, обычно занимались своими делами, молчали — и думали, и поэтому, как правило, приговор после чая писался легко, споры гасли на корню, а особых мнений в их практике вообще еще не случалось. И сегодня Юрий Иванович напрямик направился к окну, возле которого любил пособирать до чаепития, наблюдая за обычной уличной суетой, когда вошла Ирина.

— Любящий супруг беспокоился? — с улыбкой поинтересовалась Егоркина.

— Что? — Ирина дернулась, как от горячего, но тут же взяла себя в руки.— Да. Любящий.

— Чай пейте,— сказала Лида, разливая кипяток.— Я настоящего индийского две пачки раздобыла. Аромат — сдохнуть можно!

— Язык у вас, Лида, будто у моей дочки,— Проворчал Конопатов, усаживаясь.— Та тоже то сдыхает, то отпадает, то ловит кайф. Ирина Андреевна, прошу.

— Что?..— Ирина села к столу, но к стакану не приоткрылась. Заторопилась вдруг, отсутствующе глядя мимо.— Вопрос мне кажется абсолютно ясным. Давайте коротко обменяемся мнениями, а после чая напишем все положенные документы. В том числе и определение о привлечении гражданина Ковальчука к уголовной ответственности. Если, конечно, вы продолжаете настаивать, Юрий Иванович.

В тоне ее слышалась такая злая мстительность, что

Конопатов промолчал, соображая. Зато Егоркина энергично тряхнула головой:

— Поддерживаю. Никаких принципов у человека. Мужик называется.

— А если вернуться к сути?

— Это насчет Скулова, Юрий Иванович? Насчет Скулова я так думаю, что есть смягчающие обстоятельства. Но с другой стороны, убийство. Надо все учесть, то есть взвесить. Если бы не этот сердечный приступ...

Все замолчали, продолжая пить чай, думая то ли о чем-то своем, то ли о старом адвокате, то ли о судьбе Скулова, которую им предстояло решить.

— Так...— как бы про себя, но очень решительно сказала Ирина Андреевна.— Дело ясное, остается квалифицировать преступление. Вот этим и предлагаю заняться.

— Господи! — Егоркина всплеснула руками.— Да ведь убил же он, убил и сам не отрицает, что убил.

— Дело далеко не ясное, Ирина Андреевна, далеко,— вздохнул Юрий Иванович.— Дело очень даже непростое, торопиться в нем — значит таких дров наломать, что самим себе всю жизнь не простим.

— У дела есть определенные сложности,— осторожно сказала Ирина Андреевна.— Но я не считаю его таким уж архисложным. Оно скорее спорное, чем сложное в юридическом смысле, Юрий Иванович.

— Вы убеждены? — Конопатов прошел к канцелярскому столу, покопался в «Деле» Скулова, достал из подклеенного к нему конверта несколько фотографий.— Давайте сначала эти фото еще раз посмотрим, а? Как говорится, что застал следователь, но повнимательнее, чем во время заседания.

— Мертвяков боюсь кошмарно,— вздохнула Егоркина.

— Нет тут никаких мертвяков, Лида.

На фотографии был виден поваленный забор, рваные куски колючей проволоки, истоптанная, с вырванными и изломанными цветами клумба. Убитого Эдуарда Вешнева не было, но положение тела обрисовывала белая краска, нанесенная кистью на сырой осенней земле.

— Обратите внимание: убитый лежал на земле, а забор — на убитом. В «Деле» еще схема имеется, там это отчетливо видно.

— Ну и что? — спросила Егоркина.— Какая разница?

— А такая, что Вешнев прыгнул к Скулову на участок раньше, чем рухнул забор. Логично, Ирина Андреевна?

— И что же из этого вытекает?

— То, что вытекает, здесь не видать,— сказал Конопатов, разбирая снимки.— Вы не обратили внимания на одну

деталь, а я эти фотографии три часа сквозь увеличительное стекло рассматривал. Вот! — Он положил снимок перед судьей. — Здесь другая точка съемки, и деталь видна отчетливо. Что это лежит, как по-вашему?

И на этой фотографии не оказалось убитого, а имелся только абрис его тела. Ракурс был иным: сбоку, чуть позади и справа от того места, где когда-то лежал Вешнев, валялось что-то вроде...

— Что это? — спросила Ирина Андреевна.

— А, разглядели! Это обрезок трубы, которым он проволоку рвал. Помните, свидетели говорили, что Вешнев первым спрыгнул на участок? Так он с этой трубой спрыгнул, Ирина Андреевна: ни один свидетель не признал, что эта труба принадлежит Скулову. Значит, она принадлежит Вешневу, и он с нею прыгнул с забора, и видите, куда она откатилась, когда он упал? Следователь попался молодой, факта этого не оценил, не исследовал, следственного эксперимента не провел, так что в «Деле» мы соответствующего заключения не имеем. Но и без всякого заключения на основании показаний свидетелей и этого фото видно, что Эдуард Вешнев был вооружен.

— Вооружен? — тихо и как-то растерянно переспросила Ирина.

— Ничего тут не видно. — Егоркина несогласно помотала головой.

— Видно, Лида, видно: на анализе этих фотографий старик хотел строить защиту, да вот несчастье помешало. — Конопатов неожиданно усмехнулся. — Как затрублю, говорит, я в эту трубу, так все, говорит, и рухнет, вот так-то. Ну как, впечатляет снимочек?

— Версия, — важно вздохнула Егоркина.

— А почему же Скулов молчал, что Вешнев оказался на его участке вооруженным обрезком трубы? — недовольно спросила Голубова. — Это же принципиально меняет дело.

— Скулов умереть хочет, зачем ему говорить.

— Из-за выстрела в упор?

— Я сперва тоже думал, что из-за пусть случайного, но все же убийства, — сказал Юрий Иванович. — А потом понял, что не из-за Вешнева, а из-за цветов.

— Каких ещё цветов, каких? — недовольно закричала Лида.

Ясное и простое дело начало на ее глазах усложняться, становиться каким-то двусмысленным и вроде бы уже и не «Делом». Это выбивало из привычного всезнающего состояния, вселяло ненавистные сомнения, и Егоркина сердилась. А тут еще — цветы.

— Вот, дорогие женщины, клумба со всех сторон обсня-

та, и все видно прекрасно. Нет на ней ни одного цветочка, ни единого. А где они и кто же их сорвал, какие с корнем, какие изломав? Сорвал их пострадавший Эдуард Вешнев, и находились они в его руках: на фото этого, понятно, нет, потому что «скорая» увезла Вешнева вместе с цветами.

Женщины молчали, осознавая предложенную им новую точку зрения как трагедию. И то, что эту точку зрения, эту принципиально новую версию убийства (им уже не хотелось даже про себя говорить «убийство», а хотелось — «несчастье») предложила не защита, а их же коллега, придавало ей особую убедительность. И все же настороженность, с которой истари без всяких исключений встречается все новое, мешала, сердила и настораживала.

— Ну, чтоб из-за цветов, это вы загнули, — недовольно проворчала Лида.

— Анна Ефремова занималась выращиванием цветов не на продажу, хотя это и пытались навязать Скулову. Помните, в «Деле» есть свидетельства специалистов ВДНХ: Ефремову, оказывается, знали как видного любителя-селекционера. И есть сведения — лист «Дела» семьдесят шесть, — на которых не останавливался прокурор, но которые тоже хотел использовать наш старик: Скулов написал письмо на ВДНХ. В письме он сообщал о новом сорте поздних хризантем, названных им «Аня». В будущем году он намеревался представить хризантемы «Аня» на выставку, а тут, как говорится, «отцвели уж давно хризантемы в саду...». — Юрий Иванович виновато улыбнулся. — Прощения прошу. Глупо, конечно, романсы в суде распевать.

— Ну и зачем нам все это, зачем? — крикнула Лида, ощущая, что начинает жалеть Скулова, и считая эту жалость неправильной и даже опасной. — Он же молчит, этот Скулов, вот и разбирайтесь тут. А раз так, то надо одно иметь в виду: факты. Факты, как говорится, упрямая вещь, и они таковы, что Скулов взял да и всадил парню в живот заряд дроби.

— Всадил, — согласился Конопатов. — Вопрос, почему всадил?

— Не нам же это заново решать, не нам! — горячилась Егоркина. — Наше дело определить меру наказания, поскольку преступление доказано. Вот и все.

— И судья тоже так считает?

— Жаль, не вовремя он заболел, — вздохнула Ирина, имея в виду старого адвоката.

Она замолчала. Конопатов удивленно посмотрел на нее, обождал, не скажет ли чего-нибудь в добавление, осторожно кашлянул:

— Не возражаете, если попробую версию изложить? Во имя торжества справедливости?

Голубова промолчала, будто и не слышала его предложения. Но Егоркина тотчас же бурно закивала Конопатову, и заседатель приободрился.

— Для того чтобы понять, что именно заставило Скулова нажать на спусковой крючок, надо припомнить и то, что предшествовало трагедии, — обстоятельно начал он. — Первое — конечно же смерть Анны Свиридовны Ефремовой, перевернувшая весь его мир: далее Скулов живет как бы по инерции, что ли, не для себя живет, а во имя ее памяти. Вспомните, он каждый день по два-три раза ходил на ее могилу, каждый день приносил цветы и сидел там часами: в «Деле» есть показания работницы кладбища. И второе: за два дня до того проклятого вечера, когда Скулов находился на кладбище, неизвестными лицами была зверски убита его собака. Они методически в течение трех часов кидали в нее камнями, а она никуда не могла скрыться, потому что была привязана: это показала соседка. Три, говорит, часа собака криком кричала.

— А соседка не могла на крыльцо выйти, заорать не могла? — сердито перебила Лида.

— Взрослые, говорит, парни собаку убивали, а соседка одна в доме оказалась, тут не до того, чтоб орать. Когда Скулов вернулся, собака уже не дышала, и так это его потрясло, что он ночевал не дома, а у Митрофанова Григория Степановича, своего друга.

— Подбираетесь к смягчающим обстоятельствам? — понимающе улыбнулась Ирина. — От них до убийства... Не вижу ни связи, ни логики.

Она не принимала участия в разговоре, все время о чем-то напряженно размышляя, и внезапная улыбка ее была отсутствующей и вымученной. Юрий Иванович сбился, налил себе остывшего чая, отхлебнул. Сказал, помолчав:

— Есть и связь и логика. Скулов три раза в воздух стрелял, это все подтверждают. Значит, трижды — предупреждение, а потом вдруг — в упор. Почему же вдруг?

— Что же, сильное душевное волнение? — деловито осведомилась Егоркина. — Лично я против этой формулировки возражать не буду.

— Волнение — это безусловно, это — само собой. — Конопатов опять прошел к столу, на котором лежали тома «Дела» и вещественные доказательства, полистал страницы. — Вот. Допрос свидетеля Самохи Виталия Ивановича. Он показал: «Потом Эдик с забора на участок спрыгнул и стал рвать цветы. Скулов в воздух стреляет, а Эдик рвет себе.

А потом крепко выругался, и тут этот Скулов в него выстрелил, а под нами забор подломился, и мы — я и Ру-саков Денис — вместе с забором прямо на Эдика рухнули...» Так это зафиксировано следователем, а на процессе, если помните, адвокат попросил Самоху уточнить, как именно Вешнев обругал Скулова. Тот сказал, что нецензурно, и тогда старик попросил его написать эту брань на бумажке. Самоха написал, и вы, дорогие женщины, уполномочили меня прочитав эту бумажку вместе с защитой. Я прочитал, адвокат сжег записку, но я ее запомнил.

— Ругань запомнили? — усмехнулась Егоркина.

— Это, Лида, не ругань, это — действие, потому что после этих слов сразу же последовал выстрел. Подчеркиваю: сразу же. Потому что Вешнев грязно обругал Анну Ефремову.

— Вы говорили на процессе, в чей адрес была брань.

— Говорил, но тогда у меня еще никакой версии не существовало. Так, догадки, предположения. А теперь все сложилось, и я твердо убежден, что никакого умышленного убийства не было.

— Как не было? — вскинулась Егоркина.— Ну как же так не было, Ирина Андреевна?

Голубова промолчала.

— Повторяю, убийства не было. Было превышение пределов необходимой обороны.

— Ну, вы даете,— растерянно протянула Лида, глядя при этом на судью.

Ирина Андреевна продолжала молчать. Встала из-за стола, походила по комнате, полистала страницы пухлого «Дела».

— Знаете, как это выглядело? — спросил Конопатов, которого настораживало это молчание.— Вешнев спрыгнул на участок, уже вооруженный обрезком трубы, и стал им отгонять Скулова от клумбы. Скулов пытался и палил в воздух, а Вешнев преспокойно рвал и топтал цветы, поскольку был абсолютно уверен, что такие, как этот несчастный Скулов, в людей не стреляют. Скулов и бабахал в воздух и еще бы, наверно, бабахал, если бы Вешнев сам его под руку не подтолкнул.

— Как то есть подтолкнул? — резко спросила Ирина.

— Видно, придется ознакомить.— Юрий Иванович смущенно улыбнулся.— Во имя справедливости.

Он взял листок бумаги, написал фразу, сложил пополам и протянул Ирине Андреевне.

— Ради бога, извините.

Судья, развернув листок, сразу же начала краснеть. Егоркина подскочила, с любопытством заглянула через плечо.

— Гадость какая!

Конопатов взял из рук Голубовой бумажку, порвал на мелкие кусочки и выбросил в корзину. Ирина старательно отводила глаза, и краска еще не сошла с ее щек.

— Прощения прошу,— повторил Юрий Иванович.— Теперь вы понимаете, почему Скулов, до того мгновения отступавший да стрелявший в воздух, вдруг, ни секунды не медля, выстрелил в упор. Он просто не мог не выстрелить, Ирина Андреевна, права морального не имел. Он то защищал, что дороже жизни для него было, дороже жизни самой в данный момент, и мы обязаны это учитывать. Довели мужика до ручки, что называется.

— Какая гадость! — продолжала возмущенно бормотать Егоркина.— Нет, это же надо: такое — о мертвой женщине!

— Умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения, статья сто четыре,— привычно сформулировала Ирина Андреевна.— Но в этом случае у нас только один выход: отправить дело на следствие...

Не ожидая подтверждения заседателей, судья села к столу и начала писать официальные документы.

— Слушайте...— неожиданно прищурился Конопатов.— А надо это следствие Скулову?

— Лида,— перебила его Ирина.— Пожалуйста, возьмите сегодняшние газеты...

«Выстрел из прошлого»

Так называлась статья, опубликованная в одной из молодежных газет и попавшая в город с большим опозданием из-за нелетной погоды. Вот эта статья.

«Выстрел прогремел из двух стволов. Страшная сила отбросила молодое, полное жизни тело, и Эдуард Вешнев упал, как подкошенный колос, все еще сжимая в руке два белых цветочка. Последний подарок, который он хотел сделать любимой, ожидавшей его неподалеку, слышавшей и грохот рокового залпа, и последний возглас любимого:

— Мама!..

Нет, это не умещается в нашем сознании. В наши дни, на окраине большого индустриального города, обезумевшая от ненависти личность зверски убивает цветущую молодую жизнь. Убивает единственного сына, гордость родителей, друзей, школы, завода. Убивает юного Ромео, любящего и любимого, с которым столь же юная и чистая Джульетта еще три минуты назад упивалась волшебством Пушкина и Блока, Есенина и Евтушенко.

Что это — случайность? Нелепое стечение обстоятельств?

Непоправимая трагическая оплошность? Не будем торопиться с выводами. Проследим две жизни, рассмотрим два пути до того рокового пересечения, где прозвучал выстрел.

Эдик Вешнев. Вспоминают, как он любил петь, как не расставался с гитарой и пел всегда и везде, пел громко и радостно, восторгаясь жизнью, собственной счастливой судьбой и красотой любимой девушки. Он пел, как поет птица, и сам был похож на большую добрую птицу, заботливо хранящую любовь к отцу и матери, нежность к любимой и верность друзьям. «Отец, мое место — у станка», — еще в школе решил он.

Именно там, в грохочущих цехах, родилась музыка его души, добрая потребность петь для других, веселиться с друзьями, читать волшебные строчки стихов любимой девушке. Да, в своей недолгой жизни он успел полюбить, успел ощутить взаимность, и это переполняло его ощущением простого человеческого счастья. Они решили пожениться после того, как Эдик исполнит свой священный долг, отслужив в рядах Советской Армии, ибо они были воспитаны в ясном представлении, что интересы общества всегда достойнее и выше интересов отдельного человека.

Антон Скулов. Безусловно, знакомство с ним никому не доставит радости, но чтобы оценить свет, надо познать мрак, чтобы увидеть вершину, надо заглянуть в бездну. Убийца и жертва — это не только контрапункты трагической развязки, это принципиально различные отношения к основным принципам нашей жизни, это плюс и минус во всем, что бы мы ни рассматривали. Это маленькие, бегающие, глубоко спрятанные под нависшим тяжелым лбом недоверчивые глазки; это суетливое, рыночное потирание рук, будто все время считающих прибыль; это вечно заросшее неопрятной щетиной лицо и привычка раскачиваться, считая про себя. Он считает всегда: кажется, его не учили читать книг, смотреть фильмы, слушать музыку — из всего, что дает человеку современная цивилизация, он добровольно избрал арифметику. Он складывает, вычитает, умножает, делит, но все-таки куда чаще — складывает. Сотня к сотне, десятка к десятке, рубль к рублю. Да, да, рубль к рублю — это не два рубля, не думайте. Рубль к рублю — это двойной выстрел в живот за два цветочка. Это цена человеческой жизни.

Увы, портрет Скулова будет неполон, если мы не потревожим светлую память героини Великой Отечественной войны Анны Свиридовны Ефремовой, родители которой были зверски замучены фашистами, когда она сама воевала на фронте. Ценой собственного здоровья она спасает Скулова; благодарный Скулов находит ее после войны, бросив

на произвол судьбы собственную жену и двух малолетних детей. Молодая женщина счастлива, это так естественно, так понятно. Однако как же недолго длилось ее безоблачное счастье! Обманом завладев чужим участком, Скулов принуждает Анну Ефремову — инвалида Великой Отечественной войны по его же милости! — бросить любимую работу и от зари до зари копать в земле, выращивая цветы, которые он продает на местном рынке. Так осуществляется тайная мечта Скулова: он получает землю и бесплатного, безропотного, любящего его батрака. Так происходит неоправимое изменение общественного лица: бывший фронтовик Скулов превращается в ординарного кулака. Процесс необратим, он все более и более разрушает личность: собственность ожесточает человека, искривляет простые и ясные представления о добре и зле, о долге перед обществом, о совести и обязанностях перед близким человеком. Теперь все делается реальным, грубым, зримым: добро — то, что можно отложить на сберкнижку, долг — то, сколько я могу урвать с государства, совесть — колючая проволока да дробовик (ну, чем не кулацкий обрез!) в руках.

Двадцать восьмого сентября пересеклись не просто две судьбы, а две правды, если к несправедливой жизни можно отнести это святое слово. Пересеклись два полярных, два взаимоисключающих представления о добре и зле, о любви и ненависти, о солнце и тьме. «Что подарить тебе перед долгой разлукой? — так, вероятно, подумалось юному Ромео. — Два цветочка не принесут урона владельцу: клумба велика. Обожди меня, любимая, я подарю тебе цветок...»

Это были последние слова, которые услышала юная Джульетта. Увы, у Скулова были сосчитаны все цветочки: кулацкая психология зиждется на патологической жадности и подпирается кулацким представлением о правах личной собственности. «Товарищ, извините, что я сорвал у вас цветок, но я ухожу в армию, и меня ждет любимая», — сказал Эдик.

В ответ загремели выстрелы».

«На следствие», — писала Ирина Андреевна, не зная, что старый адвокат скончался тем же вечером от острой сердечной недостаточности. А Скулов ничего не просил и ничего не требовал. Наоборот, он даже обрадовался, потому что его опять отвели в камеру.



потрошитель
матрасов

ПОТРОШИТЕЛЬ МАТРАСОВ

Начал я службу в милиции в очень трудные времена: почти сразу после войны. Тогда, сами понимаете, особое сложилось положение: и с кадрами нехватка, и преступный мир за войну обнаглел, и оружия неучтенного — и с фронта понавезли, и после оккупации осталось, да и амнистия, что на радостях после Победы объявили, тоже нам работенки прибавила, чего уж тут умалчивать. А в сорок шестом мне восемнадцать исполнилось, и пошел я по комсомольской путевке в органы Министерства внутренних дел. До сорок девятого служил, где приказывали: и постовым, и патрульным, и конвоиром, и сопровождающим — куда пошлют, как говорится. Сам я из Смоленска, всю войну в родном городе пережил, всего насмотрелся. Отец у меня на фронте погиб, старшую сестру в облаве взяли, в Германию увезли и сгинула она там, я как-то уцелел. Прятаться научился, в развалинах ночевал, ну и дождался освобождения. Вместе с матерью и теткой: они тогда еще живы были.

Это я к тому, что тетка у меня учительницей до войны работала. И под ее нажимом я в сорок девятом благополучно завершил в вечерней школе среднее образование, и тут же был направлен на курсы следователей в подмосковный городок. Год я там проучился, а перед самыми выпускными экзаменами у меня мама умерла. Мне дали десятидневный отпуск, я съездил в Смоленск, похоронил маму, а когда вернулся, то узнал, что весь наш набор уже получил назначение, а у меня еще экзамены не сданы. Пришлось за них в одиночестве отчитываться. Отчитался, получил документ об окончании и — назначение. Думаете, следователем? Никак нет: участковым в поселке по Северной железной дороге. А через некоторое время случился там такой эпизод...

— Я — следователь, товарищ старший лейтенант.

— Ты? Ты — салага, младший лейтенант Минин. А по фене если, то еле-еле шестерка, понял? Вот давай служи,

проявляй рвение и заботу о вверенных тебе гражданах, ума набирайся, а там видно станет, кто ты есть по своей натуральности.

Мой первый начальник старший лейтенант Сорокопут был одноглаз, ворчлив, малограмотен, но заботлив и многоопытен. Глаз он потерял еще до войны, за двадцать лет милицмейской службы добрался до старшего лейтенанта, руководил отделением, и ни о чем более не мечтал. Лишь об одном: чтобы в сфере деятельности его отделения не стряслось чего-либо из ряда вон выходящего.

— Следователь он, здрасте вам, понимаете. Почему Верка Звонарева третьи сутки дома не ночует? Вот и расследуй, успокой мамашу. Улица Жданова, три. Твой участок, между прочим.

— Одна улица Жданова? — с надеждой, помню, спросил я.

— Все улицы по правую сторону полотна железной дороги. И офицерский поселок напротив их, по левую. Составишь схему, список проживающих и план мероприятий. Но сперва найдешь Верку: мать второй день у меня под окнами ревет. Все. Гуляй.

Так и сказал: «Гуляй». Как собаке, недаром начинал свою долгую службу в милиции проводником служебных собак. А мне было двадцать два от роду, я имел полное среднее и некое специальное образование и прямо-таки болезненное самолюбие. А тут вдруг — «Гуляй». Погулял я, конечно, однако, с обидой, раздражением и как бы сывороткой в душе. «Засиделись, обросли пороссями да огородами», — вот о чем думал я, нервно поскрипывая кирзовыми сапогами по свеженькому снежку.

Стоял на редкость тихий, покойный первозимок: первый снежок, первые морозцы, первый скрип под ногами и первый румянец на щеках. День был рабочим, на припорошенных улицах поселка никого не просматривалось, и тут я затоптался, выглядывая, у кого бы спросить. Развернулся назад и лицом к лицу столкнулся с краснощекой девицей лет восемнадцати в белом шерстяном платке, тесноватом осеннем пальтишке и коротких тупоносых ботиках. У девушки были сердитые глаза, очень надутые губы и старомодная потрепанная сумка. Все это (а главное — щеки) разом обрушилось на мою неподготовленную душу, и у меня хватило дыхания только на короткий вопрос:

— Где Жданова, три?

— Мамочка пожаловалась? — почему-то с яростным презрением спросила краснощекая. — Так вот она — я. И нечего зря, понятно?

— Значит, вы — Вера Звонарева, — подумав, заключил я.

— А я в Москве ночевала, понятно? — с вызовом продолжала Вера. — Что, нельзя? Можете у тетки справиться, у меня тетка в Сокольниках живет, и я у нее ночевала. Что, нельзя, да?

Должен сказать, что я был тогда абсолютно свободен, и мне очень хотелось влюбиться. Но не в кого-нибудь, а непременно вот в такую. Сердитую и краснощекую.

— Проверим, — весело обронил я и достал из новенькой милицейской сумки совсем несерьезную школьную тетрадку в клеточку. — У тетки, говорите? Адрес, имя, отчество, фамилия.

Мне совершенно ни к чему были эти записи: порученное первое розыскное задание решилось походя, само собой, без всякого моего участия, но краснощекая воображала, и мне понадобился вдруг адрес тетки. И я аккуратно записал продиктованные девушкой ответы и хмуро еще раз пообещал:

— Проверим, гражданка Звонарева.

Именно в этот момент, помнится, и появилось третье лицо. Это был большегубый смешной нескладный парнишка лет шестнадцати в широкой и длинной не по росту шинели, в разбитых латаных-перелатанных сапогах и засаленной шапке-ушанке, сзади которой была нелепая белая заплатка. На меня он не обратил никакого внимания, а у Веры спросил требовательно:

— Дашь хрустик-то, дашь? Гони, обещалась, гони теперь.

— Все? — спросила у меня Вера, не отреагировав ни на появление нового лица, ни на его требования. — Тогда приветик.

И пошла по улице, а следом зашпешил парень, загребая при ходьбе левой ногой. Но я тогда смотрел не на него, а на девушку, потому что по причине молодости не встречал еще таких краснощеких. «Непременно, думал я, проверим. Знаем мы этих теток из Сокольников...»

Однако поразмыслив, я решил сначала освоить свой участок, познакомиться с жителями, а потому и появился в доме номер три по улице Жданова в порядке очереди на четвертый, что ли день. К посещению этому я готовился специально, драил кирзачи и пуговицы, но зря, потому что Веры дома не оказалось. Оказалась мама — иссохшая солдатская вдова, подтвердившая, что действительно имеет в Москве родную сестру, у которой Вера всегда ночует, если задерживается допоздна.

— Да по мне ночуй, коли хочется, не маленькая, —

обиженно объявила она.— Ночуй, кобылица, но матери говори, куда идешь да когда обратно явишься.

— Нехорошо,— уныло поддакивал я.— Не по-товарищески это.

Через неделю после посещения Звонаревых и завертелся «эпизод».

Но сначала надо сознаться в некоем личном решении. Я решил выработать в себе характер волевой и целеустремленный, а потому положил за правило ежедневно в семь утра являться в отделение. Такого порядка там доселе не существовало: участковые жили далеко, никакого транспорта не имели, работали, сколько требовалось по обстановке, и старший лейтенант Сорокопут к утреннему разбору никого являться не обязывал. Но из знакомства со своими подопечными гражданами я вынес твердое убеждение, что, к сожалению, очень еще молод то ли для них, то ли для должности. Возраст можно было — по моему тогдашнему разумению — компенсировать солидностью, а солидность требовала постоянства. И я твердо решил, что таковым будет мое ежеутреннее появление перед единственным окном ворчливого начальника. Не ради самой исполнительности, а только ради завоевания авторитета среди граждан (в том числе и слишком уж румяных) путем неслыханной служебной аккуратности, рвения и мужского постоянства.

Пять дней я укреплял таким образом свой авторитет, а на шестой обнаружил в кабинете начальника опередившую меня почтальоншу Квасину Агнию Тимофеевну.

— Иду я, значит, по Офицерскому-то поселку — там ведь три семьи так и не съехали и газеты получают — глянь, а в доме, где этот, где адмирал, двери сорваны. Господи, думаю, неужто бандиты? И — туда. Осторожно так, чтоб, значит, себя не напугать раньше времени. Заглянула, а там — батюшки светы! От пуха белым-бело, ну, ровно тебе метель. Ровно вьюга какая.

— Пойдешь с Квасиной, осмотришь, доложишь,— Сорокопут отчаянно боролся с зевотой, нагло одолевающей его на посторонних глазах.— Должно, лыжники баловались. Ты лыжню проверь.

Офицерский поселок был еще очень молод. До сорок шестого на его месте располагался уютный лесок, а потом его отвели военному ведомству и порезали на дачные участки для выходящих в отставку генералов и полковников. И вырос поселок в пять улиц: Суворовскую, Кутузовскую, Ушаковскую, Нахимовскую и Ворошиловскую. Летом он звенел голосами повзрослевших за войну дочек и подрастающих внуков, а зимой замирал: отставники заколачивали окна

и двери собственных дач и до весны переселялись в Москву. И только в трех дачах — по Ушаковской, Кутузовской и Ворошиловской — оставались упрямые зимовщики.

— Вот они, стало быть, и получают почту, — задыхаясь, тараторила Квасина. — Я к полковнику Потапову Мефодию Авдеевичу шла, он на Ворошиловской проживает, но к нему удобнее по Суворовской идти, а возле дачи адмирала — через проулок...

— У этого адмирала двери оказались взломанными?

— Ага, у него самого, у товарища Сицкого Павла Макаровича. А уж пуху-то, пуху!..

Адмирал Сицкий выстроил аккуратный домик с мезонином и застекленной верандой. Выходившие на Суворовскую ворота были заперты на солидный амбарный замок, а калитка распахнута настежь. От калитки к крыльцу дачи шла широкая полоса примятого снега, словно из дома волокли что-то громоздкое и увесистое.

— Стойте тут, Квасина, — скомандовал я, радостно ощущая прилив нетерпеливого сыскного азарта. — Значит, так: что-то из дома волокли. Спрашивается, что именно? И чьи следы мы наблюдаем поверх направления волочения?

— Мои, — с готовностью призналась Агния Тимофеевна. — Мои следы поверх этого... Поверх матраса.

— Какого матраса?

— А который волокли. Вон он, у тропки лежит.

Возле протоптанной в снегу тропинки и впрямь лежал обычный пружинный матрас, не совсем, впрочем, обычно выглядевший. Полосатый тик его был во всю длину вспорот ножом, разодран на две половинки, ватин вырван и разбросан вокруг, и из исковерканного нутра обнаженно и беззащитно торчали голые пружины.

— На нем, поди, терзали, — шепотом всхлипнула почтальонша.

— Никого тут не терзали, — я тщательно осмотрел не только матрас, но и каждый его клочок в отдельности. — Сам матрас, правда, терзали. Садистски, можно сказать. А зачем?

— Может, на нем, это... кого насильничали? — с робкой надеждой на сенсацию спросила Квасина.

— Ваша версия ничем решительно не подтверждается. Даже косвенно, — тут я цепко оглядел участок, осматривая его справа налево и поэтапно от ориентира к ориентиру, как учили на курсах, но кроме сорванной с петель двери ничего не обнаружил. — На крыльце имелись посторонние следы?

— Не знаю. Я так испугаться боялась, что ни на что и глядеть-то не могла. Кралась я.

— Кралась,— я был очень недоволен тогда, очень.— Ну, пройдем туда. Попрошу строго за мной.

К даче я шел медленно (тоже как бы крался), изо всех сил вглядываясь в оставленную матрасом полосу, следы почтальонши и девственно чистый снег. Ничего нигде не было: ни лыжни, ни иных следов, ни каких-либо знаков или предметов. Пока все выглядело так, будто некто, преступным путем проникнув на адмиральскую дачу, вытащил громоздкий пружинный матрас и зачем-то отволок его на улицу. А доперев до тропы, вдруг, ни с того ни с сего, можно сказать, озверел и загадочно искромсал семейную вещь острым ножом.

— А в доме-то, в доме...— начала было Квасина.

— Попрошу пока не входить,— сурово отрезал я и решительно шагнул в дом через скособоченную дверь.

Во всех комнатах и на кухне царил бессмысленный разгром. Все перины и подушки оказались изрезанными: облака пуха поднимались в воздух и долго не желали осесть при малейшем резком движении. Шкафы были распахнуты настежь, содержимое их, равно как и содержимое трех чемоданов, вывернуто на пол. И никаких ни улик, ни смысла в этом погроме я так и не усмотрел при всей своей концентрированной старательности, а потому и не мог сочинить никакой, даже самой беспомощной версии. Призванная на помощь Агния Тимофеевна тоже ничем помочь не могла: она бывала на адмиральской даче всего раза три, ничего не запомнила и упорно твердила, что злоумышленники украли только пружинный матрас, «чтоб на нем, значит, терзать...» И мне ничего не оставалось, как составить дотошнейший протокол осмотра места происшествия, художественно описать истерзанный матрас, кое-как приладить сорванную дверь и отбыть в отделение с весьма bestолковым докладом.

— Вывод? — ворчливо потребовал Сорокопут.— Какие соображения?

— Соображения? — если честно признаться, то не было у меня тогда ровнехонько никаких соображений.— Обычный вандализм, товарищ старший лейтенант.

— Чего? — подозрительно переспросил начальник и, не дождавшись моего уточнения, решил по-своему.— Значит, списываешь на пьяное хулиганство? Похоже, Минин, если бы не парочка опечаточек.

Тут он выбрался из-за стола, прошел к старому канцелярскому шкафу, извлек из него папку и смачно швырнул ее на стол передо мной. Я открыл: там были аккуратно подшиты три аналогичных донесения и протоколы опросов

свидетелей. И заплавали передо мною те же вспоротые матрасы и тот же пух, выпущенный из перин и подушек.

— Первая опечаточка: на сегодняшний день мы имеем уже четвертый случай,— мрачно пояснил Сорокопут.— Три, как видишь, зафиксированы мною лично еще до твоего прибытия. И вторая опечаточка: матрас. За собой волокли. В трех предыдущих случаях в комнатах потрошили, а сегодня вдруг решили потрошить на воздухе. Зачем, спросил себя? А только затем, чтобы затереть следы волочением тяжелого предмета, поскольку в предыдущих случаях снега не было и следов тоже. Похоже на пьяных? Вот то-то и есть. А ты говоришь, этот...

— Я же говорю, типичный вандализм.

— Тут шурупить треба, понял? Вот и шуруп: дела я не закрываю, но пока и не открываю. Вызови пострадавших, выясни, может, месть то была, может, сперли чего ценного.

Приехавшие по вызову адмирал с супругой тоже ничего путного не сообщили. Супруга плакала да ахала, адмирал ее успокаивал, утверждая при этом, что никаких ценностей они на даче не хранили, ничего у них не пропало, а мстить им никто не мог: эту версию адмирал Сицкий отвел с некоторою даже безразличностью.

— Считаю случившееся актом бессмысленного хулиганства, однако претензий ни к милиции, ни к кому-либо пока не имею. Задержите хулиганов, от души за других граждан порадуюсь.

На основании этого личного заявления Сорокопут уголовное дело возбуждать не стал, но обязал участкового Минина (то есть меня) усилить воспитательную работу среди населения. Я усиливал ее изо дня в день (в основном, в районе улицы Жданова, дом три), а на пятые сутки меня самого нашли лыжники. Муж с женой, научные работники средних лет.

— Час назад мы проезжали Офицерским поселком по улице Ушакова. Дачи там сплошь заперены, но в доме номер девять сорвана с петель входная дверь. Обратите внимание.

Всю дорогу я бежал, хотя это было нелегко. Взмок, запыхался, а остановился внезапно, наткнувшись у лыжни на развороченный пружинный матрас.

Адмиральская ситуация повторилась на генеральской даче один к одному: взрезанный матрас, который трудолюбиво волокли от крыльца; сорванная входная дверь и полный разгром внутри.

— Пятый фактик имеем. Нет, Минин, это тебе не вандализм. Это тебе искали чего-то,— задумчиво изрек по-

серьезневший начальник, лично осмотрев погром.— И я так мыслю, что и генерал от всех пропаж отречется, как тот адмирал. И потребуе́т списать на хулиганство: ты мою мысль уцепил, младший лейтенант? А коли уцепил, так что делать думаешь?

Честно говоря, в то стартовое свое время я думать еще не умел. Мне еще только предстояло научиться искать логику чужих поступков, определять вероятные причины и следствия, строить версии и проверять их, не пропуская ни одного звена. Этого во мне еще не зародилось, этому еще следовало научиться, а вот необъяснимое предчувствие существовало уже тогда.

— Надо бы хозяйку дачи допросить отдельно от мужа.

— Поговорить, Минин. Допрашивают преступников, а с людьми говорят. Беседуют. Завтра я все ранее ограбленные дачки проанализирую, а ты выясни московский адрес пострадавших да и мотай с утречка в Москву. Тот генерал — Симанчук его фамилия — должен в первую половину дня на работе быть.

Ранней электричкой я прибыл в Москву. Добрался до Хорошевского шоссе, отыскал дом, корпус, квартиру и остановился перед дверью на площадке второго этажа. Старательно, помню, одернул шинель под ремнем, фуражку поправил, позвонил. Дверь открыла сухощавая седая женщина в очках.

— Вы к Михаилу Семеновичу? Он на службе, зайдите вечером.

— Я к вам, Евдокия Андреевна. Младший лейтенант Минин, участковый Офицерского поселка, вот удостоверение.

— Что-нибудь случилось? — с беспокойством спросила она, мельком глянув в мои документы.— Спалили дачу? Я говорила Михаилу, предупреждала, но он упря...

— Дача в порядке, не волнуйтесь.

— В порядке? — Евдокия Андреевна посмотрела на меня с недоверием.— Тогда зачем же вы пришли?

— Нам надо бы поговорить. О некоторых обстоятельствах.

Мы все еще разговаривали через порог и приоткрытую дверь, а мне во что бы то ни стало надо было пройти в квартиру, оглядеться, расположить хозяйку к неторопливой и необязательной беседе. Но тогда я еще и этого не умел: не зря полуграмотный, но весьма умудренный жизнью Соркопут втолковывал мне разницу между допросом и собеседованием. Собеседования пока никак не получалось, а вот допрос мог возникнуть запросто.

— О каких еще обстоятельствах?

— Евдокия Андреевна, это очень важно, поймите,— я вдруг замельтешил, заволновался, забормотал.— Вы окажете нам неоценимую услугу. Я — молодой милицейский работник...

— А вы и вправду из милиции?

Второй раз документы мои изучались куда дольше и дотошнее. Затем хозяйка вернула мне удостоверение, нехотя сбросила дверную цепочку.

— Говорят, банда свирепствует. «Черная кошка» называется.

Снимая в маленькой прихожей шинель, я спросил:

— А на даче о банде слухов не было?

Честно говоря, я убежден был, что меня проведут в комнату, где удастся оглядеться, прикинуть и сообразить, в какой мере хозяевам квартиры стоит опасаться грабителей. И если мера эта велика, то вполне вероятно, что кто-то мог предположить, что и на даче есть, чем поживиться.

— На кухню проходите.

Меня буквально вытеснили в небольшую кухню отдельной двухкомнатной квартиры. Здесь было сложно ориентироваться в общей сумме возможных семейных ценностей, и мне волей-неволей пришлось сосредоточиться на беседе с недоверчивой и неприветливой супругой генерала Симанчука.

— Так как же насчет слухов на даче? Были, Евдокия Андреевна, такие слухи или же вовсе не было их?

— Слухи всегда бродят: в лесу живем. Развели, понимаете, ворья, а теперь слухи собираете? Сажать надо, сажать!

— Вы абсолютно правильно ставите вопрос,— я считал, что ставит-то она вопрос как раз и неправильно, но поддакивал, чтоб хоть как-то разговориться.— Но чтобы сажать, надо сначала поймать. И я как раз проверяю различные слухи.

— Тогда доложу,— по-военному объявила она.— Мы съехали с дачи... да-да, двадцать третьего сентября: Михаил Семенович почти месяц оттуда на службу ездил. Каждый день электричкой в оба конца.

— А вы, следовательно, одна оставались.

— Одна. А темнеет-то рано: страх! А в воскресенье — мы, значит, в четверг переезжали, а то — в воскресенье — заходит к нам молодой человек в куртке-канадке. Представьте себе, такая пилотская куртка на меховой подстежке. Я еще удивилась: холодов нет, а он — в канадке.

— Как он выглядел?

— Комсомольского, я бы сказала, вида. Бравый такой товарищ со значком мастера спорта.

— На куртке-канадке?

— Ну, зачем же так примитивно мыслить. Я же сказала, что было необычайно тепло и сухо. Вот он и расстегнулся, — она помолчала, точно припоминая что-то. — Знаете, он почему-то напомнил мне воспитанника войсковой части. Как-то на фронте мы с мужем — я ведь тоже воевала...

Я был чудовищно неопытен, нетерпелив и самонадеян тогда. Чудовищно! Увы, я еще не умел слушать собеседника, не умел выуживать из потока чуждых мне воспоминаний фактов, за которые следовало бы ухватиться хотя бы потому, что они легко проверялись. Нет, я тогда умел слушать только собственные соображения да и вообще только самого себя. И поэтому перебил генеральшу Симанчук в самом неподходящем месте:

— Как он выглядел? Ну, рост, телосложение, блондин он или брюнет? Имя не называл?

— Мне он не представлялся, — она явно была обижена, что я пренебрег ее воспоминаниями. — Они с мужем говорили, а я к переезду готовилась. Но запомнила точно: четверо, сказал, бандитов сбежали из тюрьмы. Представляют большую угрозу мирным гражданам, и поэтому он, как работник райкома комсомола, специально ходит и предупреждает.

— О чем предупреждает?

— О бдительности, разумеется, — хозяйка пренебрежительно повела плечом: ох уж эта бестолковая милиция! — Чтобы не открывали дверей незнакомым, чтобы опасались темного времени и чтобы, на всякий случай, держали наготове личное оружие.

— Какое оружие, вы сказали?

— Личное, молодой человек, личное.

— А у вас есть личное оружие?

— У нас?.. — показалось мне или генеральша тогда и в самом деле смешалась?.. — Нет, нет, что вы! Какое там оружие, это же не положено, что мы, не понимаем, что ли.

Оружие у генерала имелось, в этом я уже не сомневался. Следовало бы уточнить, какое именно — привезенный с фронта пистолет или охотничье ружье — но я вовремя сообразил, что этого мне никто не скажет.

— Значит, вас официально предупреждал работник райкома комсомола?

— Очень интеллигентного вида, должна вам заметить, но фамилии его я, к сожалению, на запомнила.

— А оружие вы тогда приготовили, как вам этот представитель рекомендовал?

— Ну, это по мужниной части,— улыбнулась Евдокия Андреевна, но тут же спрятала улыбку, поняв, что проговорилась.— Нет у нас никакого оружия. Нет и никогда не было.

И встала, всем строгим видом указывая, что аудиенция закончена. Я тут же распрощался, сознательно ни словом не обмолвившись хозяйке о разгроме на ее даче. А пока ехал домой в холодной, разболтанной электричке, записал в свою несолидную тетрадочку всю беседу и наметил четыре вопроса:

1. Где генерал Симанчук хранил принадлежащее ему и, конечно же, официально незарегистрированное оружие?

2. Что это за оружие: боевое или охотничье?

3. Когда из тюрьмы бежали заключенные и что о них известно сейчас?

4. Какой райком комсомола уполномочивал своих работников оповещать об этом население?

Обо всем — о беседе с генеральшей Симанчук и о своих вопросах я сразу же доложил своему непосредственному. Непосредственный выслушал молча и вроде бы даже равнодушно, а третий вопрос снял, как несоответствующий реальным событиям.

— Никто из тюрем в нашей области не бежал ни зимой, ни весной, ни летом, ни тем более осенью: я бы оперативку получил, понял? А коли так, то и с представителем райкома, который, заметь, гулял только по Офицерскому поселку, тоже все ясно: не было его. На всякий случай перепроверь, но на все сто уверен: если не бабский бред, то — наводчик. А коли он есть, наводчик, то тут, Минин, не хулиганством пахнет, а самовольными обысками в поисках оружия. Мысль уцепил?

— Зачем же оружие на даче оставлять, если сам в город переезжаешь?

— Правильный вопрос, однако версии он не закрывает. Я московских товарищей попрошу опросить всех владельцев дач на этот предмет, но в добровольные признания не верю: мысль уцепил?

— Нет,— надоел мне старший лейтенант со своим цеплянием мыслей.

— А мысль такая: если кто из отставников оружие здесь оставил, то после этой беседы он сюда двинет, если не дурак и знает, что ему причитается за нелегальное хранение. Вот ты мне наблюдение за Офицерским поселком и обеспечь. Сержанта Крючкова в помощь возьми, он мужик серьезный. Все уцепил?

А я главное тогда уцепил. Что старший лейтенант

Сорокопут мудр и опытен. Что беседа подчас куда важнее допроса, потому что к допросу человек готовится, себя мобилизует, вопросы — ответы репетирует, а в обычном разговоре нет у него ни контроля, ни реакции. И что, наконец, думать надо не о действиях милиции, а о действиях тех, кого милиция интересуется: какие поступки они могут совершить после, скажем, посещения участкового уполномоченного и двух-трех его вопросов.

Начальник отделения Сорокопут попросил помощи у Москвы, но осторожные опросы, проведенные столичными коллегами, ясности не внесли. Никто не признался в нелегальном хранении оружия, но зато почти все отставники, проживавшие зимой на городских квартирах, в ближайшие два воскресенья побывали на своих заколоченных дачах. Мы с сержантом Крючковым вели учет этих посещений, но это ничего нам не дало: люди могли увезти с собою припрятанное оружие, а могли и просто удостовериться в сохранности окон и дверей. Зато другое мы установили: никаких представителей райком комсомола не посылал.

Между прочим, генерал Симанчук явился в милицию только через две недели. Генерал оказался хмурым и старым, и нашим вызовом был крайне недоволен.

— Что за манера людей по пустякам беспокоить?

— У вас на даче ничего не пропало?

— Ничего.

Беседу вел сам Сорокопут. Я сидел в сторонке и помалкивал. «Уцеплял мысль», как выражался мой непосредственный.

— Так уж и ничего?

— Ну матрас распатронули да подушки. Ерунда все это.

— Разрешите вопрос? — я встал и одернул мундир: очень уж волновался и даже робел перед боевым генералом. — У вас в доме, товарищ генерал, никогда не хранилось оружия?

— Какого еще оружия?

— Охотничьего ружья, например. Или личного боевого со времен войны.

— Личного боевого... — (показалось мне тогда или генерал и вправду с трудом спрятал вздох?) — Личное боевое оружие положено сдавать при выходе в отставку, молодой человек.

— Да, конечно. Однако бывают случаи...

— Это все, — генерал Симанчук поднялся. — По пустякам прошу впредь не тревожить. Честь имею.

И вышел. Сорокопут недовольно покряхтел, покрутил папиросу.

— Не привык он врать. А, похоже, пришлось.

— Так, может, нам...

— Ждать! — рявкнул начальник. — Я «дело» открыл, и ты мне его закрой. А пока жди. Но активно: мысль уцепил?

Я тогда еще не знал, что означает «ждать активно», но на всякий случай сказал: «Ясно». Я полагал, что после массового наезда дачевладельцев, после всех слухов, которые расплозились по поселку, неизвестные злоумышленники затаятся надолго, если не навсегда. Но события развивались не по моим предположениям, а по своим законам, в которых мне еще предстояло разбираться.

— Поймала! Поймала!

С таким воплем ранним утром вбежала в отделение почтальонша Агния Тимофеевна Квасина. Была она женщиной немолодой, и прокричав, рухнула на стул отдуваться. Начальник старший лейтенант Сорокопут еще не появился, в отделении тогда находились только мы с дежурным сержантом Крючковым. И пока Квасина отдувалась, мы переглядывались с молчаливым недоумением.

— А где... — начал сержант.

— Там, — почтальонша помахала рукой в направлении неопределенном. — Иду утречком по Ворошиловской, вдруг — глядь! — а он матрас волокет! Ну, я, конечно, кричать.

— Кто он-то? — в нетерпении перебил я.

— Вор! Увидал меня, матрас бросил и — деру.

— Какой он из себя? Как выглядит?

— Не знаю, милый. Я со страху в снег повалилась и голову спрятала. Сперва, значит, закричала, а потом голову спрятала.

С дежурным сержантом Крючковым мы оказались на Ворошиловской через двадцать три минуты после сообщения. Никого там, естественно, не было, но взломанная дверь и брошенный на полдороге к калитке пружинный матрас существовали в действительности. А заодно существовали и следы, ведущие через сад к изгороди, а за нею — на тропинку, где их обнаружить было уже невозможно.

— Станный след какой, — сказал сержант. — Гляди, будто он ногу волокет. Замечаешь?

— Погоди, парнишка в поселке левую ногу приволакивает. Вроде как загребают ею. Встречал такого?

— Так то ж Вовочка-дурачок! — обрадовался Крючков. — Похоже, что и вправду его след.

Однако сразу же проверить свою догадку мы не смогли: Вовочки-дурачка или (официально) гражданина Пухова

Владимира Пантелеймоновича по месту постоянного жительства (это, стало быть, у матери) в наличии не обнаружилось.

— Придется у вас его обождать.

Сержант привел Вовочку-дурачка быстро: замерзнув, парнишка побежал греться домой. Но греться ему пришлось в плохо отапливаемой комнате милиции, где он с ходу все решительно отрицал. Тупо, глупо и однообразно.

— Не-е.

— Справка у него, — вздохнул Сорокопут. — Никакой суд не поверит, если он сам не расколется, а мы не докажем.

Парнишка выглядел крайне запуганным. Это могло быть и следствием врожденного идиотизма, и боязнью наказания, и просто детским страхом перед милицейской формой. А я в тот день надел бушлат, и ничего форменного на мне не было.

— Вы уйдите, — шепнул я Сорокопуту. — Попробую не пугать.

Сорокопут соображал, и тут же вышел. Парнишка сидел, съезжившись, беспрестанно шмыгал носом и глядел насто-роженно.

— А чего у тебя в карманах?

Я постарался говорить самым неофициальным, самым свойским, почти дружеским тоном. По контрасту со строгим начальником это должно было расслабить Вовочку-дурачка, уже уставшего от напряженного недоверия. Вовочка и впрямь не нашел в вопросе ничего опасного, вскочил и с детской готовностью стал выворачивать карманы, выкладывая на стол содержимое: какой-то ремешок и гвоздик, грязную тряпку и облепленный махоркой кусочек сахара, немецкую губную гармошку и остро отточенный сапожный нож.

— Хороший ножик, — уважительно сказал я. — Сам делал?

— Не-е.

Следовало сразу же спросить: кто делал, кто дал, зачем, когда, где. Но тогда бы опять начался допрос, и дурачок вновь испуганно бы замкнулся. Нет, нельзя было страшать его вопросами: я почувствовал это и спросил:

— На гармошке играешь?

— Люблю.

— Ну, сыграй.

Вовочка взял гармошку, старательно округлил глаза и фальшиво просвистал что-то, отдаленно напоминающее романс. Не песню, не танцевальную мелодию, модную в те времена, а романс, которого знать не мог и которому его по всей вероятности обучил тот, кто подарил гармошку.

— Здорово! — восхитился я, соображая, что же это за романс. — А кто тебя научил?

— Милор.

— Кто?

— Милор.

— Который гармошку подарил, да? А как зовут?

— Милор.

— Это фамилия такая или имя?

— Милор,— тупо повторил дурачок, начиная сердиться из-за слишком частых и однообразных вопросов.

Я и здесь скорее почувствовал, что стою у предельной черты, чем понял, как следует разговаривать с таким задержанным далее. Моя бы воля, я бы отменил и допрос, но воля была не моя, гражданина Владимира Пухова опросили по всем официальным пунктам и — насторожили. Я чувствовал его настороженность и снова изменил тему разговора:

— Милор сам ножик точил?

— Сам.

— Хорошо наточил, молодец Милор. А как, не рассказывал?

— Не-е.

— Хороший ножичек,— я еще раз восхитился и неожиданно резко взмахнул им.— Тряпки порет — только шорох идет! Точно?

— Ага! — радостно засмеялся Володя.

— Потому ты и резал матрасы?

И тут мой Пухов сразу замкнулся. С его лица сошла не просто улыбка и даже не оживление — с него словно бы сошла сама жизнь. Оно омертвело и побелело, и мне вдруг подумалось, что дурачок куда больше боится сказать лишнее слово, чем всей милиции, вместе взятой. «Запуган! — сообразил я.— Он же до ужаса запуган!..» И тут же вдруг вспомнил, где впервые видел Вовочку-дурачка. Когда встретил Веру Звонареву: Вовочка приставал к ней, требуя рубль («Хрустик дай...»). Причем требовал настойчиво, зная, что имеет на это право.

— Вера тебе долг отдала?

— Чего? — настороженно переспросил паренек.

— Ну, хрустик, хрустик.

— Не-е.

— Что же так?

— Вредная она,— Володька вдруг решил пожаловаться.— Сама говорит: куда ехать, я тебе хрустик дам. А потом не дала.

— Было бы правильно, она бы дала тебе хрустик. А ты ее обманул.

— Не обманул я! В семь часов на Центральном телеграфе.

— Милор?

Пауза была такой длинной, что я успел догадаться о многом. И о том, что Вера зачем-то очень хотела встретиться с таинственным Милором; и о том, что этот таинственный Милор подарил дурачку губную гармошку, какие не продаются в магазинах, вручил самодельный нож и приказал вспарывать матрасы на покинутых дачах; и о том, наконец, что он окончательно сломал волю несчастного парнишки, мертвеющего от ужаса при одной мысли о неминуемом наказании за излишнюю болтливость.

— Милор тебе за матрасы хрустики платил?

— Не, не, не! — вдруг истерически закричал Володька. — Не-е!..

Владимира Пухова отправили домой. В опустевшей комнате на столе лежал ремешок и гвоздик, тряпка и огрызок сахара, губная гармошка, какой не было в продаже, и остро отточенный самодельный нож, мастерски изготовленный из ножовочного полотна.

— Им и резали,— невесело констатировал Сорокопут.— И экспертиза ни к чему. А вот зачем резали, Минин? Как мыслишь?

— А что мы имеем? — я взял лист бумаги и начал писать.— Первое: существует некий Милор, которого боится Володя Пухов.

— Милор — фамилия или кличка?

— А может быть, и имя. Есть такое революционное имя: Мэлор. Маркс, Энгельс, Ленин, Октябрьская революция. У нас мальчишку во дворе так звали: Мэлор.

— А тут — Милор, и потому вопрос остается открытым.

— Второе: по всей вероятности этому Милору-Мэлору нужно, чтобы наш дурачок вспарывал генеральские перины и матрасы.

— А для чего? Цель должна быть? Поиски оружия? — старший лейтенант вздохнул.— Фактов у нас нет в этом направлении. Ни хвостика. Опять вопрос оставляем открытым.

— Третье,— продолжал я.— Судя во всему, Вера Звонарева с улицы Жданова зачем-то искала встречи с этим Милором.

— Потолкуй с ней.

— Потолкую. И четвертое. Милора можно встретить на Центральном телеграфе в семь часов.

— Утра или вечера? Ежедневно или по определенным дням?

— Все — икс и полная неизвестность. Но...

— Что — «но»?

Сорокопут переспросил со значением, и мы со значением посмотрели друг на друга.

— Есть идея, — сказал я. — Если отлучусь с участка по делам службы? Ненадолго, а? Санкционируете?

— Придется, — вздохнул старший лейтенант. — Людей нет, а это — единственная возможность. Если, конечно, мы все уцепили правильно.

Поняли мы тогда друг друга с полуслова: так как никто нам не санкционирует допроса полуидиота Пухова, то единственной возможностью остается проследить за его поведением. Паренек не мог не встревожиться приводом в милицию, но поскольку мести таинственного Милора он боится еще больше, то не исключено, что попытается предупредить своего хозяина, подарившего ему не только губную гармошку, но и остро отточенный нож. Не оброни Вовочка неосторожной фразы о семи часах на Центральном телеграфе, ни у Сорокопута, ни у меня не появилось бы этой идеи.

Только через сутки паренек вышел из дома. Он не смотрел по сторонам, шел напрямиком на станцию, но шел медленно, часто отдыхая, и я успел на ту же электричку.

Оставшись в тамбуре, ни на мгновение не терял Володю из виду. Ни его, ни рваного треуха с заплаткой из лоскутка белого меха.

В то время электрички — старые, с обычными, а не пневматическими дверями — ходили медленно и нечасто. Мы сели в пятом часу (уже заметно темнело), но уже к Лосинке вагон был набит до предела. Меня зажали в тамбуре, и я, как ни старался, из-за голов и спин уже не видел Володю. При этом парнишка сидел в дальней от меня половине вагона и по логике должен был выходить вперед, по ходу поезда. Поэтому, как только электричка остановилась у пригородных платформ Ярославского вокзала, я начал энергично прорываться к выходу. С изрядно помятыми боками я все же вовремя выбрался на платформу: как раз в этот момент людским напором Пухова вытолкнули из передней двери. Час пик был в самом разгаре, множество людей валом валило по всем направлениям и во все стороны, и я скоро опять потерял облезлую шапку с приметной заплаткой сзади. Пометавшись и потолкавшись, я так и не смог нигде обнаружить своего подопечного, и со всей возможной быстротой помчался в столь же переполненное метро. Я спешил на Центральный телеграф, так как до семи оставалось совсем немного. Доехав до Охотного, бегом вбежал по эскалатору, поднялся к телеграфу и до семи гулял возле полукруглой его лестницы. Но ни Пухова, ни кого-либо подозрительного так и не обнаружил.

— Провалил операцию! — громил меня поздним вечером старший лейтенант Сорокопут.— Пухов-то Володька спокойненько в полдесятого домой вернулся, пока ты сыщика там изобразал!

— Я толкучки не предусмотрел. Час пик.

— Час буб! Сколько ты ночей не спал? Две? Приказываю отправляться домой и спать ровно девять часов. Уцепил мысль?

Мысль я уцепил, однако подняли меня значительно раньше. В половине седьмого утра все та же почтальонша Агния Тимофеевна у насыпи железной дороги наткнулась на еще теплый труп поселкового дурачка Володьки Пухова.

— Смерть наступила не более часа назад, — сказал нам местный врач.— Причина: проникающее ранение черепа. Поскольку рана сквозная, определить, из чего именно стреляли, не берусь. Ищите пулю.

До приезда опергруппы из Москвы пулю искать мы не решились. И вообще к трупу не приближались и никого к нему не подпускали. Трудно передать мое состояние в то время: я бродил вокруг, осматривался, расспрашивал, а сам все время думал о собственной вине. Да и узнать ничего не узнал: выстрела никто не слышал, потому что в то же приблизительно время на Ярославль проследовал товарный состав.

Прибывшие работники областного управления констатировали только то, что и без них было очевидным: убийство, сквозное огнестрельное ранение черепа, труп расположен на расстоянии пятидесяти семи метров от железнодорожной насыпи. Ни пули, ни гильзы, ни места, откуда стреляли в несчастного паренька, не смогли разыскать и самые опытные профессионалы.

— Да причем тут матрасы! — с неудовольствием поморщился руководивший оперативной группой капитан.— Где именье, где вода. Ну, отработайте эту версию своими силами, а мы пока делами займемся. Значит, так: товарный состав, круг знакомств убитого, опрос жителей.

Я доложил ворчливому капитану все, что по моему разумению могло быть связано с убийством прямо или косвенно. Не только о потрошении матрасов, к чему капитан отнесся с явным пренебрежением, но и о таинственном представителе райкома, а также о поездке Владимира Пухова в Москву.

— Проверим. А что упустил — растяпа. Суетесь не в свое дело, шерлоки холмсы.

— Я окончил курсы...

— Еще хуже,— отрезал капитан.— Полузнайство в нашем деле хуже полного незнайства, понял? И вполне допу-

скаю, что твои необдуманные, прямо скажем, топорные действия могли подтолкнуть убийцу. Могли, понял? И моя бы воля, я бы тебя выгнал из милиции в двадцать четыре часа. Но поскольку нет у меня такой воли, а ты в дело влип основательно, то так уж и быть, поковыряйся со своей матрасной идейкой. Через десять дней доложишь, вот тебе мой телефон.

Я был настолько выбит из колеи гибелью Володи и ощущением собственной вины, что напрочь забыл о Вере Звонаревой, трехдневной ее отлучке, «хрустиках», которые за что-то настойчиво требовал с нее покойный, тетке в Сокольниках и возможной встрече Веры с неизвестным Милором. Я тогда был еще очень молод, абсолютно неопытен и не понимал, насколько вредит делу любительская самодеятельность доморощенных сыщиков, не имеющих ни навыков, ни помощников, ни просто знаний для борьбы с неизвестным преступником, личный опыт которого, его интеллект, развитие могут значительно превосходить те же качества у одинокого сыщика-любителя. В сущности, это и произошло в данном и, увы, роковом случае; однако, сознавая, что совершил оплошность, я не понимал, почему в результате этой моей промашки преступник решился на такую крайнюю меру, как убийство поселкового дурачка, показания которого даже не могли быть использованы в силу ограниченной дееспособности гражданина Пухова.

— Милор, он может быть...

— Проверим,— сухо отрезал капитан.— Матрасами занимайся, это тебе по плечу.

Не скажи неприветливый капитан последней фразы, я, может быть, и не закусил бы удила. Но меня весь тот день совали носом. Я невероятно обиделся и дал сам себе слово лично представить убийцу заносчивому капитану.

Опергруппа уехала, собрав ничтожные материалы об убийстве. Уже на следующий день в поселке появились неизвестные молодые люди. Я знал, что они ищут, но не помогал, помня категорическое предупреждение капитана. Отныне я должен был бы заниматься «матрасной версией», но упорно размышлял над иной проблемой.

Время выстрела, оборвавшего жизнь поселкового дурачка, было известно не только из предположений местного врача, но и из заключения экспертизы. Тогда на Ярославль шел товарный состав: об этом тоже было известно, и поездной бригадой занимались ребята из опергруппы капитана. А мне неожиданно пришло в голову не какое-то там откровение, а некое весьма недоказуемое соображение, что грохот проходящего товарняка и грохот выстрела совпали не слу-

чайно, и именно поэтому собственно выстрела никто и не слышал. А убийца мог стоять на насыпи: там не было снега, а следовательно и не осталось следов.

Однако после разноса капитана я не решался на самостоятельные действия. Не потому, что боялся служебных неприятностей, а потому, что понял и на всю жизнь запомнил, сколь вредны и опасны личные розыски. Но идти даже к Сорокопуту со своими беспочвенными догадками я не рискнул, решив сначала посмотреть на поезд, который шел согласно расписанию в тот день так же, как во все прочие дни.

Я вышел к насыпи ранним утром еще до подхода товарного состава и, значит, до убийства, если эти два события и впрямь накладывались друг на друга. Было еще очень темно, насыпь в этом месте пересекала низину и оказалась значительно выше тропинки, на которой нашли тело. Областные работники еще тогда внимательно осмотрели насыпь, колею и тропинку, но не обнаружили ничего любопытного, а собака след не взяла. Я несколько раз прошелся вдоль полотна, но не потому, что рассчитывал найти что-либо, а чтобы представить, где мог стоять преступник. И выяснил, что в это время с насыпи тропинка еле-еле просматривается, а если учесть, что тело нашли в пятидесяти семи метрах от рельсов, то попасть при таком освещении и на таком расстоянии даже в белую заплатку шапки было практически невозможно. Это перечеркивало блеснувшую было идею, но я не успел разочароваться, так как показался поезд.

Я решил дожидаться его на насыпи. Заранее стал твердо и устойчиво, ожидая, что мимо промчится грохочущая машина, но в этом месте оказался незаметный для глаза, но ощутимый для поезда подъем: состав полз, грохоча и лязгая. Да, этот грохот способен был заглушить любой выстрел, но я не думал уже о выстреле: неожиданно для себя я рванулся, нагнал подножку, уцепился за поручень, подтянулся и оказался в проходящем составе.

— Не знаю, как преступник пришел к месту убийства, но точно знаю, как он с него ушел, — с торжеством сообщил я Сорокопуту.

Старший лейтенант Сорокопут получил хороший нагоняй за инициативу, выходящую за его права, обязанности и компетенцию. Теперь на его отделении висело убийство, и при всей симпатии ко мне он не хотел обсуждать со мной эту тему.

— Твоя задача — матрасы. В кратчайший срок выяснить. Все, можешь гулять.

— Я прошу разрешения на следственный эксперимент.

— Я сказал все, Минин. Уцепил мысль?

Мысль уцепил пожилой сержант Крючков, слышавший этот разговор. Когда я вылетел из кабинета, он успел нагнать меня.

— Что хочешь проверить?

— Ничего! — заорал я. — Я — дурак, все, точка!

— Не кричи, — улыбнулся сержант. — Молодо-зелено. Человека убили, а ты обижаешься. Нехорошо. А убийца, свободное дело, мог на том составе уехать. У следующей станции спрыгнул — и ищи ветра в поле. То, что следов нет, это ведь тоже след, лейтенант.

— Тогда он должен был стрелять с насыпи.

— Ну?

— А оттуда в это время еле-еле тропинка угадывается. Конечно, снег подсвечивает, силуэт виден, но ведь ему же не в силуэт, ему в затылок попали, и пуля неизвестно куда ушла. Я хотел сделать фанерную фигуру по размерам Пухова, поставить ее на место, где нашли тело, и пострелять в нее с насыпи.

— Молодой ты, — грустно усмехнулся Крючков. — А я так такой старый, что без всякого эксперимента скажу, что на полста метров голову насквозь прошить можно либо из нашего «ТТ», либо из немецкого парабеллума. Оба выбрасывают гильзы, а их убийце подбирать некогда было, если он на товарняке уехал. Вот и не сходятся у нас концы с концами в этом пункте.

— Думаешь? — растерянно спросил я.

— Нет, случайности я не отрицаю. Все, конечно, в жизни бывает, но нам не стрелять нужно, а стреляную гильзу искать.

— Москвичи искали.

— Искали, да не нашли. А она скатиться могла, в снег либо в щебенку зарыться. Словом, надо найти. Обязательно даже надо.

Сержант служил в поселке чуть ли не всю жизнь и поиски гильзы организовал с размахом. Привел два старших класса местной школы, объяснил, как и что искать, разбил участок поисков на квадраты, но все оказалось напрасным. За три часа семь десятков глазастых ребят, не считая взрослых, в буквальном смысле прощупали каждый сантиметр насыпи, но гильзы так и не нашли.

— Значит, считай, что чего-то мы недоучли, — вздохнул Крючков. — Начни-ка ты сначала, лейтенант.

Тогда я еще не знал, сколько раз почти в каждом эпизоде мне придется снова и снова начинать все сначала. Как только заходила в тупик, обрывалась или оказывалась оши-

бочной какая-либо из версий, оставалось возвращаться к исходной точке и вновь методически продумывать, а точнее — прощупывать весь ход рассуждений. Все это пришло позже, превратилось в привычку, в метод самоконтроля и поисков решений. Но толчком послужили слова старого милиционера: «Начни-ка ты сначала, лейтенант».

Я долго, мучительно долго не мог нащупать начало по той причине, что не знал тогда, как его искать. И искал интуитивно, хватаясь то за фразу, то за поступок, то за какой-то неуловимый намек, но все оказывалось случайным, а потому и не позволяло протянуть ниточку. И только порядком устав, с отчаяния начал искать наоборот: от убийства назад, а не из прошлого к убийству; именно этот способ анализа и позволил мне выстроить цепочку. Способ этакой отмотки событий назад и стал впоследствии основой моих логических размышлений, но в ту полубессонную ночь он возник интуитивно, от усталости и безнадежности. Я мысленно пошел назад от убийства, не стремясь определить заранее, с чего же все началось. И день за днем отступая в прошлое, я в конце концов пришел к событию, за которым все обрывалось: вернулся в первое утро своей работы в этом поселке. «Ты Верку Звонареву найди,— в полудреме услышал я голос Сорокопута.— Три дня дома не ночевала...» Стоп, стоп, а причем же здесь краснощекая Вера Звонарева? Я тогда встретил ее на улице, очень обрадовался, что так легко выполнил первое задание начальника и... И к ней подошел Вовочка-дурачок и потребовал «хрустик». Именно потребовал: я хорошо помнил интонацию. Но главное не это, главное — начало: в тот день я впервые встретился с будущим потрошителем матрасов, погибшим насильственной смертью у полотна железной дороги в полумраке зимнего утра менее чем через полтора месяца.

Открыв для себя точку отсчета, я так обрадовался, что тотчас же и уснул. Проснулся рано, как всегда (я тогда все еще усиленно вырабатывал полезные привычки), и сразу вспомнил о Vere, первой встрече с покойным Пуховым и его странных претензиях на денежное вознаграждение («хрустик»). Пришел в отделение, но ничего начальнику говорить не стал, решив сначала потолковать с гражданкой Звонаревой. Для беседы требовалась встреча, а для встречи — предлог; по счастью, таковой нашелся: Вера Звонарева нигде не училась и не работала, что вполне могло обеспокоить участкового младшего лейтенанта Валерия Минина.

Все было учтено, только Веры дома не оказалось. Оказалась мамаша, которая уже вернулась с ночной смены.

— В Москве Верка,— сказала она.— На работу к нам оформляется, на завод, так что не беспокойся.

— И что это она в Москву зачастила? — спросил я, чтоб хоть что-нибудь спросить.

— Вот и я говорю: зачем суешься, раз у тебя парня отбили и ты доселе ревя реवेशь? Где, говорю, твоя женская гордость, чего ты обратно к своей Люське лезешь?

— А мне говорила: мол, у тетки ночует.

— У Полины, сестры моей, все верно. А Люська — это соседка Полины, оторва — не дай бог, прямо тебе скажу. Моя дура своего парня с нею знакомит — похвастаться решила, а перед кем! — та, подлюка, его тут же и сманивает. Сейчас парни в большой цене,— она выразительно глянула на меня и вздохнула.— Три дня моя дура вокруг голубков этих тогда суетилась — ну когда я к вам жаловаться бежала — тут ежедень ревела, а потом вдруг в Москву сорвалась. «Куда, спрашиваю, дура ты чертова?» «Люське рассказать...» — И — вихрем на электричку.

— Это когда Володю Пухова убили? — спросил я, и сердце мое замерло.

— Нет, это уже второй раз, а тогда Володька еще живой был. Арестовали вы его, что ли.

Почему Вере необходимо было сообщить счастливой сопернице, что задержан местный дурачок? Задержан по пустячному делу, в сущности, хулиганству и отпущен по причине практической недееспособности? И тоже вдруг поехал в Москву, где я так бездарно потерял его. А не потому ли я его потерял, что Пухов в тот вечер спешил не на Центральный телеграф, а в Сокольники? Милор, с которым был связан Вовочка-дурачок и, возможно, Вера: не его ли отбила коварная Люська?.. Все это мгновенно пронеслось у меня в голове, но спросил я об ином:

— Вера, поди, сильно переживала, когда Володю убили?

— Переживала,— вздохнула Звонарева.— Два дня ревела: за что, мол, за что? А правда, кто убил-то? Нашли?

— Случайность,— скорее по наитию, чем с какой-либо задней мыслью сказал я.— А Мэлор, значит, к Люське переметнулся?

— Кто?

— А парня Вериного разве не Мэлором звать? Неужто спутал?

— Юрием его звать,— почему-то с упреком сказала мать.— Выдумали Мэлора какого-то, а мы с иностранцами не водимся.

— Это какой же Юрий? Мастер спорта, что ли?

— Чего не знаю, того не знаю. Может, и мастер, только мне не докладывал. Дурам докладывают, а не матерям.

На этом и кончилась наша беседа, но я почерпнул из нее многое. А главное, если таинственный Милор и впрямь был убийцей, то сделал он это из боязни, что Пухов наведет на него милицию: отсюда вытекало, что тогда меня засекали. Засекли и сразу же отсекали того, за кем я шел... А если предположить, что Милор и Юрий — одно и то же лицо, то Вера Звонарева остается теперь последней свидетельницей, которую предусмотрительный преступник постарается отправить вслед за Вовочкой-дурачком. Перехватить его тут, в поселке, невозможно, потому что неизвестно, кого хватать. Значит, следует познакомиться хотя бы с тем, кого отбила у доверчивой Веры коварная Люська...

И на этот раз я своему непосредственному начальнику докладывать не стал: Сорокопут окончательно разуверился в моих следовательских способностях, запретил заниматься чем-либо, кроме матрасов, которые больше никто не вспарывал, и я вместо объяснений подал ему рапорт с просьбой отпустить в Москву на консультацию с врачами («...страдаю хрипами»). Старший лейтенант Сорокопут прекрасно понял, чем страдает его подчиненный, но сделал вид, что во все поверил, и отпуск мне разрешил.

Еще в холодной полупустой электричке я с удивлением обнаружил, что с момента первого обнаружения бессмысленно расчлененного матраса непрерывно, днем и ночью думаю только о преступлении. Я вдруг открыл, что анализ преступления, поиск, кому оно выгодно, почему и кем совершено и есть творчество следователя: все остальное — служба. Отрезать пути отхода, окружить, обезоружить, взять — задача вторичная, плоды бессонных ночей следователя, результат, а не процесс.

Если в холодном вагоне в мою голову пришли бы только эти горделивые соображения, о них не стоило бы и вспоминать. Они не пришли — они промелькнули, а пришло другое, совсем другое: выстрел в предрассветной мгле с расстояния свыше полусотни метров точнехонько в затылок. А на затылке была растрепанная зимняя шапка — Володя Пухов всегда носил ее чуть сбитой назад. И сзади эта шапка имела снежно-белую заплатку из пушистой кроличьей шкурки: я сразу вспомнил, как высматривал эту белую заплатку в переполненном вагоне. Кто и когда пришел дурачку эту меточку, расположив ее точно на затылке? Теперь я отчетливо видел это снежное пятнышко и отчетливо понимал, что именно оно и погубило Вовочку-дурачка, потому что убийца тоже видел белый лоскутик и целился в него с

насыпи. С расстояния, превышающего полсотни метров. А чтобы попасть, надо ежедневно тренироваться. Ежедневно. У посетившего генеральскую чету Симанчуков предупредительного молодого человека в куртке-канадке имелся, правда, значок мастера спорта. Значит, надо просмотреть в спортобществах списки мастеров по всем видам стрельб, пятиборью и биатлону. Вряд ли это, конечно, что-либо даст — преступники редко приобретают столь заметные биографии — но проверить придется.

Можно допустить один шанс против ста, что гость генерала Симанчука, а тем паче — убийца — не значатся в списках призовых стрелков, но стреляют превосходно. Где тогда они будут тренироваться? В подмосковных лесах? Вряд ли, там слишкомлюдно, а стрельба всегда привлекает внимание. В тирах, к примеру...

Стоп, стоп, тир. После войны в московских парках произошел форменный бум этих самых тиров. Мода войны, ее странные рецидивы, оставшиеся в народных развлечениях. И во всех тирах за точные попадания выдают премии. Значит, тот, некто, который обязан тренироваться, чтобы поддерживать себя в форме, наверняка выигрывал призы, если приходил с девушкой в тир. Ну, а если не приходил? Убийца предельно осторожен, если убивает дурачка только потому, что несчастный этот оказался в поле зрения милиции. Отличная стрельба всегда может стать уликой, и умный преступник не станет демонстрировать ее даже из мужского тщеславия. Такой тренировкой занимаются без свидетелей, на глазах у равнодушных заведующих этими стрелковыми точками и... мальчишек. Я и сам совсем еще недавно был мальчишкой, чтобы забыть тот совершенно особый азарт, который охватывает тебя, когда ты ловишь на мушку желтый кружок какого-нибудь ушастого фанерного зайца. И уж если кто попадает в подобную цель без промаха, тот надолго остается в потрясенной мальчишеской душе...

Мастер спорта — Милор — Юрий: один человек, два человека или три? Милор — для убитого, Юрий — для Веры, мастер спорта — для владельцев вспоротых матрасов: где связь? Допустим, Вера и Вовочка-дурачок связывают Милора с Юрием, допустим. Допустим также, что вспоротый матрас в определенной степени объединяет мастера спорта с Пуховым и его Милором. Опять допустим, но не более того. Это пока допущение, а не факты. А факты... Тут я достал сложенную пополам ученическую тетрадочку и написал, хотя в электричке трясло немилосердно:

«ЮРИЙ» — знает Пухова и Веру. Променял Веру на Люсю. Почему?

«МИЛОР» — знает Пухова, подарил ему губную гармошку и, вероятно, обучил романсу. Заодно дал нож, запугал и велел зачем-то вскрывать матрасы.

«МАСТЕР СПОРТА» — ходил по дачам, пугал владельцев уголовниками, рекомендовал подготовить оружие. Зачем? Чтобы по реакции определить, есть ли таковое на даче?

«ИКС» — отлично стреляет. С расстояния почти шестидесяти метров попал в заплатку на шапке Пухова. (Кстати, кто и по чьей просьбе пришел эту заплатку?) Ловок, силен, кладнокровен: после убийства вскочил на ходу в проходящий состав, что совсем не так просто. СКОЛЬКО ЗДЕСЬ РЕАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ?»

Именно последний вопрос представлялся мне решающим, почему я его и подчеркнул. Ответив на него, я ловил убийцу. И все же вначале надо было отыскать Веру. Она оставалась последним известным мне звеном между Юрием—Пуховым—Милором и, что важнее, последним возможным свидетелем.

В метро мне пришло вдруг в голову, что как раз потому, что Вера Звонарева осталась последним свидетелем, мне и не следует открыто разыскивать ее. После убийства Володи Пухова уже нельзя было исключать, что преступник знает младшего лейтенанта Валерия Минина, и тогда мой повышенный интерес к Вере мог стать роковым. Точнее, еще раз стать роковым, и поэтому я, выйдя в Сокольниках из метро, пошел не по адресу тетки Полины, а напрямиком в отделение милиции. Участковый — немолодой уже лейтенант — оказался человеком толковым, знающим и нелюбопытным.

— Полина Григорьевна Чупренко, которой ты интересуешься, есть солдатская вдова, женщина бездетная, но спокойная. Работает в трамвайном парке, характеристики положительные.

— А что за соседка?

— Трое у нее соседей: семейная пара, старуха с внуком и одинокая.

— Одинокую Люсей зовут?

— Людмилой, — поправил любивший точность лейтенант. — Мызина Людмила Ивановна, тоже, между прочим, ни в чем не замечена.

— Красивая?

Я вспомнил краснощекую Веру, которая мне тогда очень даже понравилась. А спросил потому, что оставить Веру (по приведенным выше соображениям) можно было только из-за какой-нибудь совершенно выдающейся красотки.

— Это кому как, — улыбнулся участковый. — Хочешь сам поглядеть? У них аккурат через полчаса перерыв: успеем.

Я не спросил, куда меня ведут. Торопясь использовать богатые знания участкового, я всю дорогу расспрашивал его о Вере, Юре, Милоре, мастерах спорта по стрельбе — даже о завсегдагатах тиров Сокольнического парка — но лейтенант на эти вопросы никаких ответов дать не мог.

— Пришли,— сказал он.— Вот это — факт, а не реклама. Специально знакомить не буду, ты и так ее вычислишь.

Он вошел в сберегательную кассу, где не было ни одного посетителя, а за барьером изнывали четверо сотрудников. Они обрадовались участковому, но я не вслушивался. Я всматривался в аккуратно подкрашенную молодую женщину, сидевшую в отдельном застекленном отсеке с надписью «КАССА». Была она недурна, но я никак не мог понять, почему же все-таки тот Юрий променял Веру на нее.

— Чудак-человек, так Людмила Ивановна — женщина натуральная,— покровительственно улыбнулся лейтенант.— А твоя... Вера, говоришь? Так ей же — восемнадцать, так? Пигалица, считай. Да еще учти: дома у пигалицы — мама, здесь — тетка, а у Людмилы — отдельная комната, хоть и в коммуналке.

Московская поездка практически ничего не дала, и на обратном пути я прикидывал, как поступать далее. В Москве я захлопотался, не перекусил, а в электричке промерз и, сойдя на своей платформе, вдруг озорно решил, что пойду к Звонаревым и попрошу тарелку щей. И подивившись собственной наглости, пошел-таки в дом на Жданова, три. Не только за тарелкой щей — щами я сам от себя прикрывался,— очень уж я хотел понять, как можно променять краснощекую Верочку на смазливую, крашеную и такую немолодую блондинку.

Дверь открыла Вера. Я настолько не ожидал этого, что растерялся, неестественно похохотал и радостно брякнул:

— А ведь я к вам!

— Тети дома нет,— стоя на пороге, сухо пояснила Вера.

— Ну и хорошо, что нет. Мне вы нужны.

— Зачем?

— Я — лицо официальное, а вы меня на пороге держите.

Девушка неохотно посторонилась. Я прошел в маленькую прихожую, снял бушлат, вытер сапоги. Я ждал, что меня пригласят пройти, но Вера молчала, и я прошел в комнату самостоятельно.

Комната была небольшой, тесно заставленной старой случайной мебелью. В нее же выходило и кафельное зеркало печи, от него несло теплом, а от комнаты — уютом, и я, голодный и продрогший, настолько осовел, что в ответ на молчаливый жест Веры присаживаться, спросил:

— А щец у вас не найдется?

Вера молча вышла. Я сел к столу, мысленно проклиная себя за бесцеремонность, но — если уж начистоту — проклиная весело, потому что мне было хорошо. Настолько, что я уж и не думал ни об убийстве, ни о Юрии, ни о таинственном Милоре: я просто отдыхал всем своим находившим существом.

Вера принесла миску квашеной капусты, хлеб. Отогнула угол ковровой скатерти, под которой оказалась потерятая клеенка, поставила хлеб и капусту. Потом опять исчезла и вернулась с полной тарелкой горячих — прямо из печи — щей. Я облегченно вздохнул и схватил ложку; Вера не села к столу, а отошла к дверям и прислонилась к косяку.

— Отбивных нет. Кончились. Уж извините.

— Это вы меня, — расслабленно и невразумительно сказал я. — За восемь лет первый раз домашнего поел.

— За этим и шли?

— За этим стоит, — я улыбнулся, но она оставалась серьезной и неприветливой. — В Москве весь день протрчал.

Я замолчал и не зря. Вера оттолкнулась от косяка, шагнула к столу и села напротив, с настороженным ожиданием (так мне показалось) глядя на меня. И несмотря на некоторую размягченность, вызванную щами, теплом и серыми глазами, я сумел собраться и продолжил как можно безразличнее:

— Гармошка их интересовала.

— Почему?

Не спросила ни кого это «их», ни какая гармошка. Я понял, что беспокоит ее сейчас только то, чего она не знает: следовательно, о гармошке она знала все. И чья она, эта гармошка, и кто подарил...

— Так ведь немецкая гармошка-то, — специально подчеркнул я. — Немецкая губная гармошка, а таких в магазинах не продают.

— Господи, да подарили ему! — неожиданно с раздражением вырвалось у Веры.

— Это дурачку-то? Кто же это, интересно, расщедрился?

— Кто? Милорд, вот кто, — с вызовом пояснила она.

Тут меня сразу бросило в жар: «Милорд, сказала она?..» Я ведь мог и ослышаться, а потому переспросил:

— Как вы сказали?

— Милорд, — ясно выговорила девушка. — Он требовал, чтобы Вовочка его милордом величал.

— Да кто он-то?

— Был тут один... гастролер, — она недобро усмехнулась

и встала.— Кому — колечко, кому — словечко, кому — гармошку...

Вера злилась и расстраивалась одновременно: как ни молод я тогда был, а это двойственное отношение ощутил. Догадался и о причине: девичье увлечение уже перемешалось с женской обидой, но борьба в душе Верочки еще не закончилась. Я почувствовал эту борьбу, из которой вытекал единственный вывод: Милорд и Юрий были единым существом, «гастролером», как обозначила Вера.

— А вам что досталось: словечко или колечко?

— А вот это милиции не касается. Поели-попили? Ну, а мне спать пора.

Я сразу вскочил, пробормотал «спасибо» и пошел к дверям. Но остановился, потому что девушка спросила сердито:

— Чего же не интересуетесь-то?

— Чем не интересуюсь?

— Ведь не ради же вчерашних щей девушку навещали? Ну так можете не волноваться: на работу я оформилась. Завтра с утра выхожу, так что вычеркните меня из вашего списка и — приветик.

С этими словами она подошла к большой никелированной кровати и демонстративно вытащила из-под нее коврик, подчеркивая, что вот-вот уляжется спать и что мне пора уходить. А я смотрел на коврик и не двигался с места. Не мог двинуться: коврик оказался меховым. Из старого вытертого снежно-белого кролика.

— Вы шапку Пухова видели? — тихо спросил я.— В крови кролик был. Потому что именно в него и целились.

— В него?..— она закрыла лицо руками, видно, представив себе, как выглядела эта шапка после выстрела.

— Вы пришили Володе заплатку? Когда? Кто просил пришить?

— Просил сам Вовочка,— вздохнула Вера и вытерла слезы.— Осенью еще, до морозов. Принес шапку, говорит: дует мне...

Она задыхнулась слезами, вновь закрыла лицо.

— Вовочку-дурачка жалко? — тихо спросил я.— Помните, он у вас хрустик просил. За что?

— Сказал, где Милорд меня ждать будет.

— На Центральном телеграфе в семь вечера?

— Все-то вы знаете. Даже неинтересно.

— Встретились?

— И расстались,— она невесело усмехнулась.— Он, как Люську увидел, так на меня — ноль внимания. Ну, пожалуйста, ради бога! Та расфуфырилась, юбкой завертела. Только зря все.

— Зря? Что зря?

— Отвалил,— Вера махнула рукой.— Две ночки рядышком погрелся — и ищи теперь! Люська мне даже телеграмму отбила.

— Вот тогда-то вы в Москву и помчались,— догадливо сказал я.— Где искали Милорда?

— Никого я не искала, я эту дуру утешала,— вздохнула Вера.— Я же говорю: гастролер. Кому словечко, кому колючко. Больше нет вопросов у милиции? Тогда, как говорится, пока.

Девушка помахала рукой и закрыла за мною дверь. Было это сделано в момент неподходящий: разговор складывался легко, я готовился, между прочим, узнать, что Вере известно о матрасной истории, нет ли у Юрия значка мастера спорта и канадской куртки, не хвастался ли он своей стрельбой, как он выглядит, наконец. Но дверь захлопнулась, слышно было, как рыдает за нею Вера, и тут уж стало не до вопросов.

Вырабатывание характера продолжалось, и на следующий день я вновь оказался первым в родимом отделении милиции. А следом вошел Сорокопут.

— Болезнь тебе отменяю,— с торжеством объявил он.— Вчера сверху звонили: взяли они убийцу Пухова. Глупое, понимаешь, дело: караульный с проходящего эшелона бабахнул. Показалось ему, дураку, будто лезет кто-то на охраняемый им вагон...

— А пятьдесят семь метров? — тихо перебил я.

— Не усложняй! — закричал начальник.— У караульного карабин со свежим нагаром, патрона в магазине не хватает, свидетели имеются и добровольное признание. Какого еще рожна тебе надо, Минин? Мало тебе, да?

— Мало,— я очень, помню, разозлился тогда.— Мне пятидесяти метров не хватает больше всех добровольных признаний.

— Все! Дело закрыто, приступай к своим обязанностям,— старший лейтенант сказал это уже, правда, без всякого торжества в голосе.— И без самодеятельности у меня, понял?

— Есть,— я пошел к дверям, постоял, вернулся к столу и тихо сказал: — По убийце они стреляли, караульные со свидетелями, это вы понимаете? Стреляли да промазали, а он спрыгнул и ушел. И все довольны: и бдительный караульный, и свидетели, и областная милиция — «дело об убийстве» закрыли, кто за дурачка-то заступится, когда у него никого нет, кроме больной матери-подсобницы? И вы тоже довольны: «мокрое дело» с отделения сняли. Но знаете,

кто больше всех доволен? Тот, кто Вовку-дурачка убил, Веру Звонареву обманул и у Люськи два раза ночевал, а потом в Москве растворился. Уцепили мысль?

Я громил версию, которая устраивала Сорокопута как начальника отделения и не устраивала как недавнего и весьма опытного оперативника. Он молчал, хмурился, но сделал привычную, годами отработанную стойку на новое имя:

— Какая еще Люська?

— Людмила Ивановна Мызина, кассирша в сберкассе.

— Кассирша?..

Возникла пауза, во время которой я вдруг сел, а старший лейтенант встал. Походил по тесному, жарко натопленному кабинетику с подслеповатым деревенским окошком, подумал.

— С караульным, конечно, туфта, ты прав, Минин, но туфта удобная, и за нее зубами держаться будут. А тут, понимаешь, матрасы, кассирши, сберкассы: уцепил мысль? Ну и болей еще дня три и все — вокруг кассы. Вальсом, понимаешь, вальсом!

И опять я трясся в звонком холодном вагоне. Вчера — от обилия свежей информации, что ли? — я как-то не придавал серьезного значения тому факту, что Людмила Ивановна Мызина, соседка Полины Григорьевны Чупренко, тетки Веры Звонаревой, работает кассиршей в сберкассе на довольно-таки пустынной улочке. А ведь именно этот факт мог оказаться тем решающим преимуществом, во имя которого меняют прехорошенькую восемнадцатилетнюю влюбленную по уши девицу на крашеную двадцатипятилетнюю женщину.

С Ярославского я позвонил в Сокольники знакомому участковому. Сберкасса была в полном порядке; я попросил приглядывать за нею, прикинул в вокзальной милиции основные места расположения тиров и для начала поехал в Парк имени Горького.

Отсюда началась моя «тировая» эпопея: я одурел от пальбы, прицеливаний, напряжения, а особенно — от длинных обстоятельных разговоров, ради которых, собственно, и затевалась эта попытка. Завсегдатаев — и не только мальчишек — в те времена хватало, потому что особых развлечений не было, а любители пострелять еще не перевелись, не огузрили, не спились и даже не успели особенно повзреть. В тирах не только существовали заманчивые призы, но и денежные пари, и полуполигальные тотализаторы, которые организовывали некие странноватые личности. Но я ходил в привычном для того времени полугражданском одеянии, спорщиками и держателями закладов «Рупь за Федю мажу!..» не интересовался, а лишь осторожно, окольными путями выяснял имя местного чемпиона. Таковой,

естественно, имелся, но пока что-то на этом чемпионе не сходило: то он оказывался слишком уж известным, то не Юрием, то вообще обладал массой примет, исключаящих его из возможного круга. Но я пока не унывал.

Пальба стоила денег, приходилось «мазать», чтобы не выделяться, а зарплата моя в те времена была более чем скромной. Я уже начал пересчитывать, сколько у меня осталось до полочки и от чего можно еще отказаться, как вдруг мне наконец-таки повезло: в тире Измайловского парка я наткнулся на приз, который доселе не попадался мне ни в одной из обследованных точек. На самом видном месте висела немецкая губная гармошка — родная сестра той, которую вытащил из кармана задержанный нами Вовочка-дурачок.

— Куда мне за эту гармошку целить? — спросил я, стараясь говорить как можно обычнее и равнодушнее.

— Дорогой призок, — сказал хозяин, именуемый заведующим. — Двойной выстрел, понял? Я тебе заряжаю два ружья, и ты сперва попадаешь в этот вот желтый кружок. Коли попадешь, кружок упадет, и от тебя начнет уезжать вот этот красный кружочек. Тут ты хватаешь второе ружье и бьешь вдогон по красному.

Я просадил трояк, но в красный кружок так и не попал. В желтый попадать случалось; он тут же падал, но пока я хватал второе ружье, красный кружок успевал исчезнуть в плохо освещенной глубине тира. Но я стрелял и стрелял, разыгрывая азарт, а сам все время думал, что Милорд вышиб губную гармошку именно в этом тире. Кругом уже собрались болельщики, какая-то небритая личность уже «мазала» пятерку против рубля, что я ни за что не попаду; мальчишки бурно переживали промахи, а я испытывал состояние необъяснимого, граничащего с восторгом подъема. И подчиняясь скорее ему, чем логике и расчету, с возмущением отбросил ружье.

— Специально заманиваешь, из него попасть невозможно!

— Возможно, — сказал хозяин. — Свидетели есть, что возможно, если кто стрелок, а не трепач.

— Кто ж это, интересно, такой стрелок?

Я разыгрывал громкое возмущение, не сдерживаясь ни в выражениях, ни в эмоциях. Мне нельзя было ни спрашивать открыто, ни даже задавать наводящих вопросов: мне необходимо было услышать подтверждение собственной догадки со стороны. Публика и впрямь зашумела, и я готов был поклясться, что расслышал, как небритый пробормотал то ли соседу, то ли про себя:

— За Юрашу я червонец хоть сейчас замажу...

Сказал он так на самом деле или мне просто хотелось это услышать, сразу ведь не сообразишь, а ошибаться нельзя. Поэтому я сделал вид, что ничего не расслышал, швырнул ружье и послал завтиром по-мужски. С расчетом послал, чтобы он разозлился, потому что разозлившийся, да еще лично оскорбленный человек слов своих как бы и не слышит и во всяком случае не контролирует их. Ну, получил я, естественно, отпасовку с еще более солидной приправой, но вместе с этой шелухой ясно донеслось до меня и то, чего я уже ждал:

— Да Юрий у меня на спор две гармошки сорвал!

— Это какой Юрка? — переспросил я. — Который в канадке, что ли? Ну так чего ж сравнивать, он ведь — мастер спорта.

— Насчет мастера он мне не докладывал, а стреляет классно, — признал завтиром. — И канадка у него имеется.

Тут уж меня не то, что в жар, меня в пот бросило: такое ощущение возникло, что укололся я об иголку в стог сена. Я папиросы достал, мужиков угостил и начал им байки про армейскую службу заливать. Почему, спросите? А потому, что нельзя собеседников на своем интересе фиксировать, если хотите до истины докопаться. Не потому, конечно, что люди неискренни, а потому, что вас они не знают, а того, о ком вы расспрашиваете, могут знать, и ваша настырность их скорее насторожит, чем вызовет на откровение. Что я им там наплел, я уж и не помню, а только в конце сумел-таки вывести на тему:

— Чтоб так стрелять, каждый день тренироваться надо.

— Это точно, — говорит завтиром: я к нему в основном обращался, к нему да к пьянчуге небритому, что «мазать» всем предлагал. — Только что-то я давно уже Юрашу не вижу.

— Ну как давно? — спрашиваю как бы между прочим.

— Да с неделю, пожалуй.

— Вот это он зря.

Сказал я так, а сам думаю: смылся Юраша этот подальше от тира, где его в лицо знают. Мог вообще из Москвы уехать, мог в другом районе обосноваться — ищи теперь заново. А чтобы искать, для начала хотя бы фамилия нужна. Ну, это я вам длинно рассказываю, а когда работаешь, у тебя в голове с такой скоростью процесс идет, что за тобой никакой компьютер не угонится.

— Это он зря, — вздыхаю. — Если человеку талант природой отпущен, он о нем забывать права не имеет.

Не знаю, что бы я еще набормотал, а только перебил

меня голос из угла. Там парнишки — болельщики кучкой держались:

— А дядя Юра в отпуск уехал. На лосей охотиться.

Глянул я: мальчонка лет двенадцати. Серьезный такой, остроглазый и, видать, умный. И врать, кажется, не умеет. Прикинул я это и — сразу в лоб:

— Вот совпадение: и я в прошлое воскресенье лося завалил под Загорском.

— А он не в Загорск, он в Завидово всегда ездит.

— Где лучше, это еще вопрос...

Словом, завел я разговор об охоте, но так, чтобы в него мальчика втянуть. О следах, о зверях, о загонах: я, когда еще на должности «куда пошлют» числился, раза три, что ли, начальство на охоту сопровождал. Болтаю, сам тем временем за выстрелы расплачиваюсь и тихо-тихо вместе с разговорами увожу этого мальчика из тира. За нами трое или четверо его приятелей увязалось, что очень мне на руку было.

С мальчишками разговаривать просто, если держать их все время в неослабном интересе. И прошли-то мы всего от парка до метро, а я уже знал, что егеря, к которому часто ездит Юрий, зовут дядя Миша, что Юрий любит говорить по-английски («Милорд!») и что живет он в переулке за Первомайской. Не узнал, правда, ни фамилии его, ни где он работает или учится, ни с кем проживает, но это все уже были мелочи. Я даже знал, что тащил он с собою рюкзак такого объема и веса, что мой серьезный малец по его просьбе вызывал этому охотнику такси.

А вот ружья при нем паренек не заметил. Ни в чехле, ни на плече, как говорится. Любопытно, правда? И не только в этом был вопрос: меня вообще смущала эта охотничья страсть предполагаемого убийцы Владимира Пухова. Не укладывалась она в тот образ, который я себе создал. Образ убийцы — интеллигента, такого образованного, развитого, эрудированного мерзавца, такой «белой бестии» нашего общества. Такой пойдет на хладнокровное убийство, на тщательно продуманное и организованное ограбление сберкассы, инкассатора или даже банка, но за лосем по рыхлому снегу... Не должен он выносить, как мне казалось, трех вещей: пота, дурного запаха и крови. Издалека пулю всадить — это пожалуйста, но в упор ножом ударить — это уж извините. Вот какого противника я себе нарисовал, но главное заключалось не в том, какого, а в том, что нарисовал я его для себя неожиданно. Вдруг и впервые, и с той поры это стало для меня законом: я обязательно создавал живой образ своего противника, прежде чем его брать,

потому что способ, как его брать, напрямую зависит от его характера, привычек, уровня культуры, жизненного опыта и так далее. Всегда ли угадывал, спросите? Конечно, не всегда, но старался — всегда, и если угадывал, дело обходилось без пальбы, погони и мордобития. Я знал, кого беру, а потому знал и как его следует брать без шума и риска.

И вот здесь мне просто повезло: я встретил человека, который не только поверил мне, но и понял меня. А встреча состоялась потому, что я счел себя обязанным доложить о результатах своей самостоятельности, но пошел не в свое отделение и даже не к областному начальству, прикрывшему «дело»: я в МУР пошел и все рассказал полковнику Осипову Андрею Николаевичу, которого и считаю своим крестным. Он все точно уловил, принял все меры, чтобы люди не пострадали, а меня благословил действовать, как я наметил.

Думаете, я на квартиру к Милорду помчался или к егерю дяде Мише? Никак нет, я к гражданке Мызиной Людмиле Ивановне в Сокольники поспешил. Теперь уж я не прятался, объяснил, кто я и зачем явился, напомнил о суммах, которые вокруг нее ежедневно вращаются, и таким путем расположил ее к откровенности. И в полчаса выяснил, что Юрий, с которым ее познакомила Вера Звонарева, ночевал у нее, Мызиной, ровно две ночи, а потом сгинул в неизвестности. Но за эти две ночи он детально выяснил, как устроена сигнализация в сберкассах, охраняется ли в обеденный перерыв помещение и какова, в среднем, сумма, которой располагает кассирша. Выяснил и исчез без следа, и именно это обстоятельство подтвердило для меня тот образ, который я себе создал. Милорд выяснил, как проще ограбить кассу, в той кассе, которую грабить не собирался.

Пока я этим занимался, наш подопечный вернулся с охоты с пустым рюкзаком.

— ...Придется тебе поохотиться, — вздохнув, сказал полковник (к тому времени он уже добился, чтобы меня временно прикомандировали к нему). — Выясни, чем занимался в Завидово наш подопечный и что именно он вез туда в своем рюкзаке.

Дядя Миша оказался таким крепышом лет за сорок и типичным хитрованом. Знаете, есть такие, которые всеми правдами и неправдами подбирают себе не столько выгодную, сколько неконтролируемую работу, на которой можно не просто бездельничать, но и стричь с этого безделья купоны в виде бутылок, десятков и прочих необременительных подношений. Частично в этом направлении меня просветил Осипов, частично я сообразил сам, как только заглянул в маленькие, хитренькие, благодушно-настороженные

глазки. Такие глазки не любят ссор с законом, потому что кое в чем грешны, а это значит, что дядя Миша будет изо всех сил хитрить и изворачиваться. Допрос тут больше напортит, чем поможет, по душам с таким не поговоришь, и остается одно: действовать по наитию, учитывая, что ты знаешь, о чем спрашивать, а твой собеседник не знает, что именно тебя интересует.

— Это как же ты меня отыскал, парень?

Дядя Миша был несокрушимо улыбчив и столь же несокрушимо недоверчив. Он не спешил отказывать, но не торопился и приглашать и, как мне показалось, всеми силами избегал говорить что-либо определенное. К примеру, «да» или «нет».

— Через Юру, дядя Миша, через Юру, — говорю я, сразу же доставая бутылку: что поделаешь, коли ситуация складывается не в пользу сухого закона. — Юра — мой старый кореш, вместе стрельбой занимаемся, в одной, так сказать, сборной. Чего сидишь, дядя? Капустку тащи, огурчиков, грибочков. Сейчас согреемся!

— Это мы мигом!

В мою задачу входило довести егеря до «теплой» кондиции, но ни в коем случае не позволить ему перебрать: перебор зачастую приводит к агрессивной недоверчивости, а мне требовалась дружеская разговорчивость. Поэтому я налегал на капустку, похваливал грибочки и неспешно подливал дяде Мише, расспрашивая его пока о достопримечательностях заказника.

— Грибов тут — что ты! Кабаны обжираются. Ягода, конечно, всякая, бери — не хочу. Ну, зверь, конечное дело, жирует. Что лось, что кабан, что косуля. У тебя на кого лицензия-то?

— На Юрку! — смеюсь я. — Как он тогда с рюкзачком-то, а? Ведь я ему еле-еле тот рюкзак до электрички допер!

— Парень он крепкий... — задумался егерь (или мне показалось?). — Стрельбой, говоришь, вместе занимаетесь? Ручку набить, конечное дело, всегда пригодится. Это, как говорят, не помешает...

Он что-то еще мямлил и пил, а мне вдруг показалось, что он запуган. Запуган, как запуган был Вовочка-дурачок, и чтобы проверить эту свою догадку, я взял да и брякнул:

— А зря это Юрка: ну какой из него охотник? Бегать не любит, крови не любит...

— Бойтся! — шепотом перебил дядя Миша и, перегнувшись через стол, схватил меня за руку. — Поверишь ли, я свежатины принес — ну, впервой, как познакомились тут! — хотел подарок ему. А она теплая, свежатинка-то, кровит.

Так, поверишь ли, затрясся он, побелел и...— егерь перешел на совсем уж сдавленное сипенье,— револьвер вытащил. «Становись, говорит, к стенке!» Ну, конечное дело, я... Стал я. Где велел.

— Шутил он! — усмехнулся я, а у самого в голове такая пляска пошла: «кровь», «револьвер», «к стенке». — Давай выпьем, дядя Миша.

Всего ожидал, прямо скажу, но тогда, что случилось, и в бреду бы не предположил. Егерь вдруг поднялся, ткнул меня рукой, сказал с обидой: «Шутил, значит? Шутил, да?..» И, качнувшись, подошел к бревенчатой стене, на которой вразнобой висели вырезанные из «Огонька» картинки. встал под ними, глянул на меня и сорвал вдруг правой рукой аляповатую типографскую копию Суриковской «Боярыни Морозовой».

— А ну, поди сюда. Глянь, пока обратно не завесил!

Я подошел: в темном бревне отчетливо виднелась дырка. От пули. На уровне лба дяди Миши, покрытого сейчас крупными каплями пота.

— Во, как шутил,— он вздохнул и снова старательно завесил пулевое отверстие «Боярыней». — Веселый он у тебя парнишка.

Что-то он еще бормотал, я не вслушивался. Я воочию видел дырку в бревне, дырку от пули, и она казалась мне почему-то необычной. Не так-то много в те годы я повидал оружия, но все-таки кое-что представлял себе, и эта дырка не вписывалась в мое тогдашнее представление. И поэтому спросил егеря, прямо скажем, не о том — и глуповато:

— Один раз выстрелил?

— С меня хватит,— буркнул дядя Миша и пошел к столу.— Я на фронте пулеметчиком был, посмотрелся, как говорится, и наслушался. Но, чтоб зазря подыхать...

— Что он привез в рюкзаке? — спросил я.

Зря спросил, не подумав: опыта было маловато. Егерь медленно поднял тяжелую голову, повторил отдельно и трезво:

— Чтоб зазря подыхать?..

Тут я сообразил, что у него ко мне отношение двойственное. Он считает меня то приятелем Милорда, то его конкурентом, а то и врагом. Спьяну он пытался играть сразу на всех клавишах, но запутался, наболтал лишнего и, кажется, решил молчать вглухую. Это никак меня не устраивало, подливать дяде Мише было опасно: он мог воспользоваться этим и разыграть пьяного, и я решил открыться. Риск тут был: если дядя Миша успел по уши влезть в уголовные дела Юрия, он будет в лучшем случае отмалчи-

ваться, если не попытается навсегда избавиться от меня: оружия у него достаточно, а лес глухой. Но кроме риска имелся и добрый шанс: он не только боялся Милорда, он его ненавидел. И действия его в случае, если я представлюсь ему официально, впрямую вытекали из борьбы этих двух крайностей: какая победит, за той он и пойдет.

Честно говоря, я стараюсь по возможности работать под любой крышей, кроме своей собственной. Дело не в том, любят у нас милицию или не любят: милиция — не девушка, ей не любовь нужна, а искренняя и четкая помощь. И вот в искренности я, честно говоря, сомневаюсь, потому что милиции побаиваются и связываясь с нею избегают всеми силами. А какова гарантия искренности при таком отношении? Нет никакой гарантии, поскольку люди пытаются угадать, что тебе хочется узнать да услышать, если дело, естественно, не касается преступления непосредственно. Мундир (а удостоверение — тот же мундир) невольно заставляет отвечать «так точно» да «никак нет» куда чаще, чем размышлять, высказывать свои предположения, сомневаться или, упаси бог, спорить. Такова объективная реальность, которую следует учитывать, хотя и никоим образом не отрицаю и ценности свидетельских показаний, данных с полной искренностью человеку в мундире. У каждого — свой метод, и я, к примеру, изо всех сил избегаю официальных представлений, вопросов и допросов. Но в том конкретном случае раздвоенность в душе егеря заставляла меня отбрасывать привычные методы, хотя и не было еще у меня ничего привычного. Подумал я, покурил, дал дяде Мише успокоиться и положил перед ним милицейское удостоверение. Он сперва долго глядел в него, потом взял в руки, повертел, во все печати всмотрелся, чуть ли не на зуб попробовал.

— Не врешь?

— Младший лейтенант милиции Валерий Минин. Удостоверение подлинное, я — тоже подлинный.

Могли бы вы его поведение предсказать? Человек не просто существо сложное — человек существо непредсказуемое. Понимаю, что преувеличиваю, только егеря дядя Миша заплакал. Здоровенный детина, хитрован, стригущий червонцы, а то и сотенные с любого, кого бог пошлет, выпивоха и пулеметчик Великой Отечественной заплакал над моим удостоверением личности, и я даже испугался, что его слезы тушь в нем размоют. Да не пьяными слезами заплакал, которым грош цена в базарный день, а самыми что ни на есть искренними, облегчающими и очищающими. У меня даже руки задрожали, и я снова закурил, чтобы успокоиться.

Курю, его не трогаю, а он шепчет: «Спасен. Слава тебе, господи, спасен...» Потом утерся, сказал, не глядя:

— Тут человека убить, что комара раздавить. Убил, зарыл, и никакая милиция тебя никогда не отыщет. А Юрка меня с осени на мушке держит: приезжает вдруг, выслеживает, спрашивает. Может, и сейчас где затаился, только вдвоем мы теперь, поостережется.

— Что он в рюкзаке возит?

— Поверишь ли, лейтенант, консервы. Какие, сказать не могу: не видел я их, а щупал. Юрка до ветру вышел, ну, я и пощупал: банки. Похоже, тушенка.

— А куда прячет?

— Не знаю, — виновато вздохнул егерь. — Видно, тайник где-нибудь. Я следить не решился: оплошаешь — и пуля меж глаз. Без разговору и промаху.

— Сколько раз он привозил консервы?

— Раз шесть, что ли. Килограмм, я думаю, по двадцать зараз, если не все двадцать пять. Приезжает вечером без всякого предупреждения, ставит мне бутылку, а сам — ни-ни. Ни грамма. С рассветом надевает рюкзак, берет мои лыжи и — в лес. До обеда.

— Часов, значит, восемь пропадает?

— Выходит, что так. Возвращается пустой, ничего в рюкзаке. Пообедаем, и он сразу же идет на электричку.

Я считал. Восемь часов на два конца — четыре часа ходьбы: это если дойти, развернуться и — назад. Но, во-первых, ему надо рюкзак выгрузить, груз припрятать, возможно, и следы убрать. А во-вторых, туда и обратно силы у него неравны: туда — двадцать килограмм на горбу, обратно — налегке. Если все учесть, все факторы, то больше двух — двух с половиной часов на дорогу в один конец брать нельзя. Нереально: это ведь не эстафета, не биатлон. Это переброска груза на собственном горбу и не по лыжне, а по целине, по чистому снегу.

— С какой скоростью можно идти по лесу на лыжах?

— Ну километра четыре в час, и то взопреешь. И снег рыхлый, и лыжи у меня тяжелые.

Взопреешь... Нет, ничего подобного Милорд допустить не мог, как я считал. А из этого вытекало, что более трех километров в час он не делал. Трижды два — шесть, от силы — семь километров, ну пусть даже — семь с половиной. Я взял карту, которой снабдил меня Осипов, нашел домик егеря и отмерил от него два кольца: в пять с половиной и в семь с половиной километров. Где-то внутри этой двухкилометровой «баранки» и должен был находиться тайник, в который зачем-то регулярно отвозит съестные припасы

меткий стрелок Юрий. Это могло оказаться ямой, старой медвежьей берлогой, крутояром, еловым выворотнем, наконец: везде можно было организовать склад и замаскировать его.

Да, но — цель? Зачем молодому парню, по натуре горожанину и «милорду», а отнюдь не лесному бирюку, хранить где-то в дебрях склад с консервами? С целью продать когда-нибудь? Но дешевая спекуляция — не Юрия дело. Он до этого не унижится. Тогда остается одно: он прятал еду для себя! Чтобы никому не быть обязанным, чтобы ни от кого не зависеть. А это означало, что он готовился на какое-то время затаиться. На какое же? Ответ однозначен: на время наиболее горячего розыска его после удачного и выгодного «дела». Ну, к примеру, возьмет он кассу или ограбит инкассатора с приличной суммой, оторвется от преследования, уйдет в эти дебри и заляжет, пока розыск не прекратит напрасных хлопот, пока не спишут «нераскрытое» в архив. А если рассуждения мои верны, то в тайнике должно быть не только место для тушенки, но и для самого хозяина. Значит, тайник может оказаться оборудованной землянкой, пещерой или, скажем, развалинами какого-либо солидного строения, в котором можно устроить бункер.

Пока я до этого вывода додумывался, дядя Миша окончательно пришел в себя и даже заметно протрезвел. Уже с чаем суетился, мед на стол тащил, стаканами гремел. Подозвал я его, расстелил карту, показал «баранку», в которой надеялся отыскать тайник, объяснил, до чего додумался, и спросил его мнение. А он ткнул корявым пальцем в карту и говорит:

— Вот тут до войны дом лесника стоял. Добротный домина, с каменным погребом.

Вышли мы на поиски, когда рассвело: пошли вдвоем и потому, что дядя Миша дорогу к развалинам знал, и потому еще, что один он никак не хотел оставаться: Милорда побаивался. Дом егеря стоял на поляне, от него тропинка шла к дороге и к электричке. От дома тянулись следы от лыж, но то его самого были следы, он на них и внимания не обратил, а вот на громоздкую еловую ветку обратил:

— Юрий всегда с собой из леса привозит. Цепляет сзади и волочит, чтоб лыжню замести.

Сказал он так, а я сразу матрасы вспомнил: тот же способ заметания следов. Еще одна улика, но опять — косвенная, а вот прямой пока ни одной у нас не было.

— Снежок во вторник сыпал, теперь уж и не поймешь, откуда и куда Юрий в понедельник шел,— говорил тем

временем дядя Миша, оглядываясь. — Знаешь, лейтенант, как он стреляет?

— Лучше тебя.

— Ну так не дай нам бог в лесу с ним встретиться. И охнуть не даст.

Я этого разговора поддерживать не стал, хотя мог успокоить егеря. А не успокаивал я дядю Мишу из тех соображений, что мне не покой его был нужен, а обостренное внимание. Мы искали, а не прогуливались, и шансов отыскать тайник у егеря было куда больше, чем у меня. Он и места эти знал, и смотреть умел, и, кроме того, должен был находиться в состоянии полной готовности, а отнюдь не благодущия.

Шли мы неспешно, прислушивались да присматривались. В направлении егерь не ошибся, потому что в лесу, с километр от дома отойдя, мы наткнулись на припорошенную, но кое-как и кое-где еще заметную лыжню. Видно, надоело Милорду волочь за собою тяжелый еловый сук: не любил он пота, я правильно вычислил.

А развалины довоенного дома лесника оказались прямо в лесу: лес за эти годы вплотную к ним подобрался, и если не знать, где они находятся, эти развалины, на них только чудом можно было бы наткнуться. Мы постояли, поглядели, послушали, осторожно кругом обошли: все ведь могло случиться, правда? Но никаких свежих следов не обнаружили, а вот старая лыжня опять сквозь снежок в двух местах проглянула, и я окончательно уверовал, что шли мы не зря.

Все точно егерь сказал: в погребе тайник оказался. Если б мы не знали, где он должен быть, этот погреб, никогда бы не нашли: ловко его Юрий под развалины замаскировал, дверь завалил, а вход сделал совсем с неожиданной стороны. И когда нашли мы этот вход, я понял и то, зачем запугивал егеря Милорд, и то, что он непременно пристрелил бы его, прежде чем залечь в свою берлогу: дядя Миша был единственным, кто знал про это убежище.

Кстати, оно было отлично оборудовано: Юрий, конечно же, ходил сюда и напрямую, минуя егеря. Ходил, пока не выпал снег, пока лыжи не потребовались: таскал рюкзаки и оборудовал свою отсидку. Сделал топчан с двумя спальными мешками, полки с консервами, сухарями, сахаром, стол с фонарем «летучая мышь», бидон керосина — всего и не перечислишь, если учесть, что он даже о книгах позаботился, в том числе и на английском языке. А самой главной нашей находкой после систематического и очень тщательного обыска был револьвер системы «наган», немецкий валь-

тер, малокалиберка и куча патронов ко всем трем «игрушкам».

— Вот из него он меня пугал, — вздохнул дядя Миша и потыкал в наган.

— Он из него не только пугал...

Я сразу о Володе-дурачке вспомнил, как только наган увидел. Из него Милорд стрелял с насыпи под грохот товарного состава, целясь в белую заплатку на шапке. В мозжечок, почему пуля и ушла насквозь, а гильза осталась в барабане. Но трогать оружие я не стал и егерю не позволил: мы его аккуратно в тряпки завернули для экспертизы. Отпечатки пальцев — это уже не косвенные, это прямое доказательство, а они вполне могли на рукоятках остаться, если, конечно, Милорд не протер эти рукоятки.

Вернулся я в Москву ночью, полковника Осипова с постели телефонным звонком поднял. Не потому, что похвастаться хотел, а потому, что действий Милорда боялся. Полковник так и понял: приехал сонный, но — улыбался. Я ему все рассказал (полковник тотчас же в лес опергруппу отрядил), и он мне все рассказал.

За это время выяснилось о Милорде многое. Дело не в фамилии, конечно, а в том, что работал Юрий переводчиком в серьезном научном учреждении, снимал комнату в Измайлове, жил скромно, аккуратно и одиноко. В последнее время стал проявлять повышенный интерес к сберкассе в районе Щелковского шоссе, в глухом переулке: открыл там счет, несколько раз вносил понемножку денег и подолгу оформлял вклады, делая это всегда перед самым обедом.

— Оружия у него при себе нет, — сказал Осипов. — На счет этого почти стопроцентно. Поэтому перед ограблением он обязательно должен поехать в Завидово, где его и накроют в тайнике с поличным.

— А если у него еще есть оружие, которое он прячет где-то в городе? — спросил я. — Должны мы учитывать такую возможность, как бы мала она ни была?

— И что же ты предлагаешь?

— Милорд — чистоплюй. Дайте мне фотографии трупа Володи Пухова, его губную гармошку и наган после того, как отпечатки снимут. Убежден, что не выдержат у него нервы, товарищ полковник, не могут выдержать, и выдаст он себя с головой.

Словом, уговорил я полковника Осипова. К полудню получили мы данные экспертизы: отпечатки на револьвере и вальтере оказались идентичными и, по всей вероятности, принадлежали Юрию. Взял я фотографии этих отпечатков, наган без патронов, губную гармошку Вовочки-дурачка и

целую пачку снимков трупа, в том числе и один лицевой: то есть, того, что там после пули осталось. Жестокое фото, прямо скажу, и я его отдельно положил. Как козырной туз.

К семи вечера, когда Милорд вернулся домой, наши на всякий случай меня подстраховали, как могли. Я сознательно шел без оружия, знаете, все могло случиться: драка, свет погас, непредвиденные обстоятельства, и снабжать преступника служебным пистолетом не следовало. Тогда я шел безоружным на свое первое задержание из этих соображений, а потом постарался ввести это в принцип. Ничто так не провоцирует стрельбы, как размахивание пистолетом, это я вам, как профессионал, говорю. А хуже стрельбы в городе трудно себе что-либо представить по возможным последствиям. Нет уж, если вы преступника правильно вычислили...

Кстати, вам известно, сколько, условно говоря, «портретов» у человека, никогда над этим не задумывались? Ну, давайте считать: семейный — каков он в семье; служебный — каков на службе; социальный — каков в обществе; словесный — как выглядит, рост, вес, цвет; еще мелочей на пять портретов наберется, но главное — духовный портрет преступника. Что, не нравится сочетание слова «духовный» с понятием «преступник»? А мы забудем словесные стереотипы и глянем непредвзято. И тогда выяснится одна аксиома: преступник — всегда человек. Всегда. А это значит, что к нему применим тот же анализ, что и к любому из нас: его можно, условно говоря, вычислить. Определить пределы его возможностей, четко представить, как он поведет себя в момент задержания, то есть в ситуации для него особо экстремальной. И продумать план задержания, исходя не столько из топографии местности, сколько из рельефа души: каковы там вершины и сколь глубоки пропасти.

Но это все потом пришло, позже, с ошибками и опытом. А тогда, повторяю, я пошел к Милорду безоружным, исходя совсем из иных соображений.

— К тебе, Юра! — с нервным восторгом пропела предупрежденная нами хозяйка. — А я в магазин пошла!

И опрометью из квартиры, раньше, чем Милорд поинтересовался, кто к нему пожаловал. Она выскочила на лестничную площадку, а я, для порядка, стукнув в дверь комнаты, открыл ее без приглашения и вошел туда, где жил Юрий. Милорд. Гражданин Икс.

Тут-то я впервые и увидел его. Тогда не было заведено съемок скрытой камерой, фотография, которую наши сотрудники изыали из отдела кадров, была серой и нерезкой (возможно, специально нерезкой), и я видел того, кого так долго вычислял, воочию, в глаза, в первый раз. Передо мною

стоял хорошо сложенный и, видимо, тренированный парень лет двадцати, с правильными и даже красивыми чертами лица, холеными, но и на вид сильными руками и — без глаз. Нет, они, естественно, существовали, но как бы без взгляда, без выражения, без души, какой бы она у него ни была. Его глаза скорее были похожи на отверстия в черепе, чем на орган зрения человека и, помню, это настоялко меня поразило, что первым задал вопрос он, а не я, хотя инициатива разговора должна была исходить от меня.

— В чем дело?

Это было крупной промашкой: я ее про себя отметил и больше никогда в жизни не повторял. Оказалось, что знать своего противника в лицо до встречи с ним просто необходимо, иначе рискуешь испытать нечто вроде того шока, который тогда испытал я. Объяснимо испытал, конечно: ведь я впервые в жизни встречался с убийцей, которого преследовал, настиг и сейчас должен был взять, но взять не физически, а морально, что ли. Заставить его растеряться, забыть о вечной настороженности, совершить ошибку, которая принудит его сознаться как в содеянном, так и в запланированном преступлениях. А он перехватил меня и холодно поинтересовался:

— Так в чем же дело?

— Я вам привет привез, — не совсем по разработке (сбила меня с толку эта встреча лоб в лоб!) сказал я и сел к столу, но уже по плану: и чтобы между нами преграда оказалась, и чтобы он мимо меня к двери не рванул, хотя и ждали его там.

— Какой еще привет? — он сразу насторожился: по документам ведь никаких родственников у него не числилось, он круглым сиротой проходил. — От кого? Вы, гражданин, адрес спутали.

— Да нет, не должно, — говорю я, все еще играя такого наивного и старательного недотепу из провинции.

И положил на стол большой старый портфель: знаете, полуучительский, полупредседательский, в общем, потрепанный, пухлый и неофициальный. Мы специально такой мирный реквизит подобрали, чтобы наш подопечный как можно менее агрессивно держался: недотепы ведь расслабляют, замечали? А тут не только я — недотепа, но и портфель какой-то древний, и в квартире — полная тишина. А я что-то болтаю — про железные дороги, про погоду в Пензе, про дождь в Саратове и перекладываю из портфеля на стол сверток, роюсь, будто шахтер, и жду, когда он начнет выходить из себя.

— Какого черта...

— Вот оно! — радостно воскликнул я тогда и подал ему очень тщательно упакованный пакет.

— От кого?

— Видать, внутри указано.

Он взял; на пакете стоял его адрес, имя, отчество, фамилия. Марки имелись, штемпеля, печати — все, как положено. Мы предполагали, что он все очень внимательно изучит, прежде чем вскрыть, и не ошиблись: долго он его вертел. Я за это время успел фразочку вставить. Тоже для его расслабления.

— Потом расписочку попрошу. Когда ознакомитесь.

— Расписочку?

Тут он начал пакет вскрывать: надо же хоть глянуть, за что с тебя расписку требуют. А пока он продирался сквозь все наши упаковки, я достал из кармана губную гармошку и пропиликал тот романс, который мне Вовочка-дурачок играл в нашем отделении милиции: «Я встретил вас, и все былое...»

Видели бы вы, как он дернулся! Смотрит на меня, глаза вытаращив, а я себе пиликаю и на него, как говорится, ноль внимания. Самозабвенно так, знаете, подвываю. Усердно. Чудак я, повзрослевший Вовочка-дурачок. Это его окончательно вышибло из колеи, он снова пакет теревить начал, но уже по-иному. Руки выдавали, что его уже не так пакет интересуется, как я со знакомой ему гармошкой и его же романсом: «Я встретил вас...»

Вскрыл он, наконец, последнюю обертку и все от себя отбросил, будто гадюку ему в конверте подсунули. Побелел, губы задрожали, и весь стол оказался усыпанным фотографиями трупа у железнодорожной насыпи: мы их по три экземпляра ему в пакет положили. Тут я гармошку спрятал, достал ту, жестковатую фотографию, где остатки лица, пулей развороченного, и положил ее поверх остальных.

— Вот вам, Милорд, личный привет от Володи Пухова.

Признаться, думал, что за врачом бежать придется, так его перевернуло. И что любопытно: не может он глаз от этого снимка отвести. Хочет и не может, вот какая психологическая гримаса. Смотрит, губами дергает, а по лбу пот ползет. Тот самый, которого он не любил, брезговал которым. И пока он этой попытке подвергался (ей-богу, мне почти жалко его тогда стало, только я все время про Вовочку-дурачка помнил), я наган достал и на стол положил.

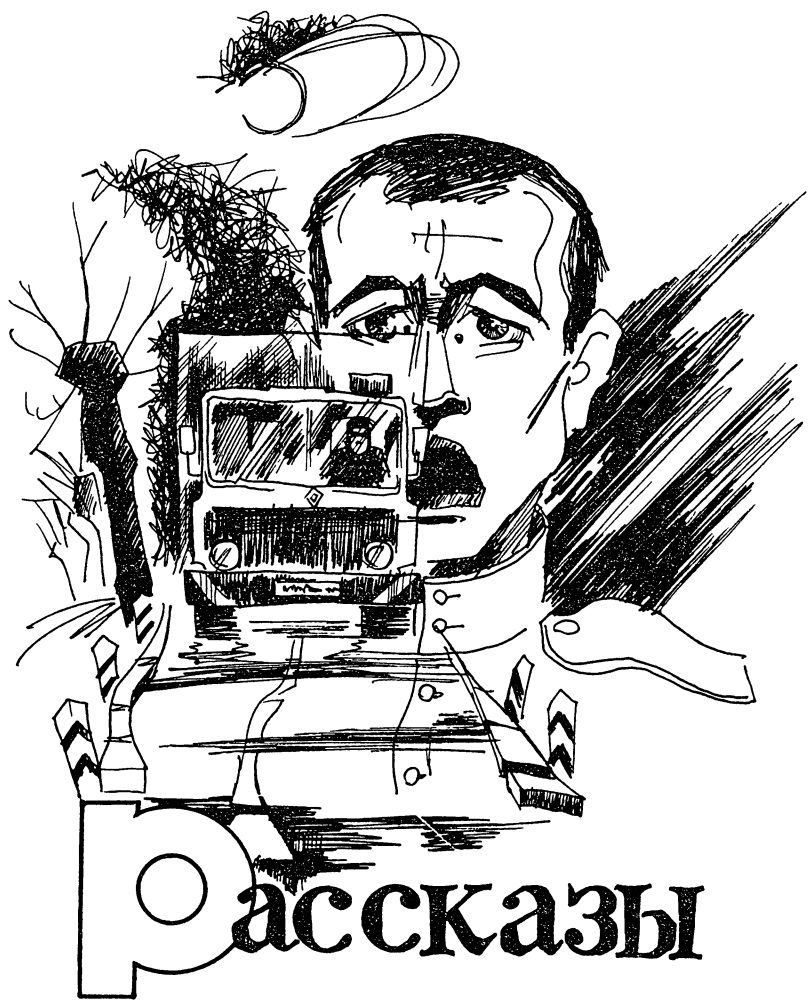
— Из этого нагана, Милорд, вы и убили гражданина Пухова Владимира Пантелеймоновича. А это — фотографии отпечатков пальцев, оставленных вами на рукоятке револьвера. Тайник в Завидовском лесу нами обнаружен, как вы

уже догадались, дырка в стене дома егеря имеется, как и его показания. Относительно сберкассы мы вам обвинения не предъявляем, поскольку ограбить ее вы не успели, но в убийстве гражданина Пухова я вам сознаюсь советую. Легче будет. И нам волокиты меньше, и судом чистосердечное признание тоже может быть учтено.

Завыл этот супер-герой. Упал на стул, закрыл лицо и — завыл. Я полковника Осипова позвал, дали мы Юрию прийти в себя и подписал он чистосердечное признание в домашней обстановке за собственным столом. Тихо и аккуратно, без пальбы и беготни, как и положено при чистом задержании.

Ну, остальное — детали, как говорится. После этого эпизода взяли меня на работу в МУР, где и прослужил я свыше тридцати лет. И первым моим делом было найти владельцев личного оружия, обнаруженного в тайнике. Собственно, они нам стали известны из показаний Милорда: покойный Вовочка-дурачок и вправду оружие на дачах разыскивал, а матрасы потрошил в поисках денег. Он был жаден, а Милорд наплел ему, что деньги всегда прячут в матрасах да подушках. Наврал он с дальним прицелом, чтоб нас, милицию, этими матрасами запутать. Расчет у него был точный: припугнуть владельцев оружия уголовниками, заставить их вытащить это оружие из тайников, взять его руками запуганного дурачка и на сто процентов быть при этом уверенным, что потерпевшие в нелегальном хранении огнестрельного оружия никогда не сознаются. И расчет его, увы, почти оправдался: только генерал Пашнев признался, что старый офицерский наган, из которого был убит Владимир Пухов, принадлежит ему еще со времен гражданской войны. А владельца вальтера найти так и не удалось: от него решительно отрекся весь Офицерский поселок.

Следствие мы провернули буквально в считанные дни, даже премии получили, а на последнем допросе — его, естественно, не я вел, я только присутствовал, опыта набирался — я все-таки спросил Милорда о цели, о так сказать, сверхидее, о мечте его, что ли. А она заключалась в том, чтобы взять по весне кассу, убрать егеря, уйти в тайник, где и отсидеться, пока милиции искать не надоест. Потом уехать на юг, затеряться, изображать из себя отдыхающего, раздобыть побольше хороших книг, читать и никогда не работать. Вот вам и вся мечта, весь идеал: читать и не работать. И во имя этого он одного убил, другого намеревался убить, а скольких бы он при ограблении кассы на тот свет спровадил, это только предположить можно. И все ради того, чтобы только читать, путешествовать по югу, жить в полное удовольствие и — не работать. Не потеть...



Рассказы

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ШЕСТЕРКА

Кони мчались в густом сумраке. Ветви хлестали по лицам всадников, с лошадиных морд капала пена, и свежий нешоссейный ветер туго надувал рубашки. И никакие автомашины, никакие скутера, никакие мотоциклы не шли сейчас ни в какое сравнение с этой ночной скачкой без дорог.

— Хелло, Вэл!

— Хелло, Стас!

Пришпорь, Роки, своего скакуна! Погоня, погоня, погоня! У тебя заряжен винчестер, Дэн? Вперед, вперед, только вперед! Вперед, Вит, вперед, Эдди! Приготовь кольт и вонзи шпоры в бока: мы должны уйти от шерифа!

Что может быть лучше топота копыт и бешеной скачки в никуда? И что из того, что худым мальчишеским задам больно биться о костлявые хребты неоседланных лошадей? Что из того, что лошадиный галоп тяжел и неуверен? Что из того, что лошадиные сердца выламывают ребра, из пересохших глоток рвется насадный хрип, а пена стала розовой от крови? Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?

— Стой! Да стой же, мустанг, тпру!.. Ребята, отсюда — через овраг. Дырка за читалкой, и мы — дома.

— Ты молодец, Роки.

— Да, клевое дельце.

— А что делать с лошадьми?

— Завтра еще покатаемся.

— Завтра — конец смены, Эдди.

— Ну так что? Автобусы наверняка придут после обеда!

Автобусы из города пришли за второй лагерной сменой после завтрака. Водители торопили со сборами, демонстративно сигналив. Вожатые отрядов нервничали, ругались, пересчитывали детей. И с огромным облегчением вздохнули, когда автобусы, рывкнув клаксонами, тронулись в путь.

— Прекрасная смена, — отметила начальник лагеря Кира

Сергеевна.— Теперь можно и отдохнуть. Как там у нас с шашлыками?

Кира Сергеевна не говорила, а отмечала, не улыбалась, а выражала одобрение, не ругала, а воспитывала. Она была опытным руководителем: умела подбирать работников, сносно кормить детей и избегать неприятностей. И всегда боролась. Боролась за первое место, за лучшую самодеятельность, за наглядную агитацию, за чистоту лагеря, чистоту помыслов и чистоту тел. Она была устремлена на борьбу, как обломок кирпича в нацеленной рогатке, и, кроме борьбы, ни о чем не желала думать: это был смысл всей ее жизни, ее реальный, лично ощутимый вклад в общенародное дело. Она не щадила ни себя, ни людей, требовала и убеждала, настаивала и утверждала и высшей наградой считала право отчитаться на бюро райкома как лучший руководитель пионерского лагеря минувшего сезона. Трижды она добивалась этой чести и не без оснований полагала, что и этот год не обманет ее надежд. И оценка «прекрасная смена» означала, что дети ничего не сломали, ничего не натворили, ничего не испортили, не разбежались и не подцепили заболеваний, из-за которых могли бы снизиться показатели ее лагеря. И она тут же выбросила из головы эту «прекрасную смену», потому что прибыла новая, третья смена и ее лагерь вступил в последний круг испытаний.

Через неделю после начала этого завершающего этапа в лагерь приехала милиция. Кира Сергеевна проверяла пищеблок, когда доложили. И это было настолько невероятно, настолько дико и нелепо применительно к ее лагерю, что Кира Сергеевна рассердилась.

— Наверняка из-за каких-то пустяков,— говорила она по пути в собственный кабинет.— А потом будут целый год упоминать, что наш лагерь посещала милиция. Вот так, мимоходом беспокоят людей, сеют слухи, кладут пятно.

— Да, да,— преданно поддакивала старшая пионервожатая с бюстом, самой природой предназначенным для наград, а пока носившим алый галстук параллельно земле.— Вы абсолютно правы, абсолютно. Врываться в детское учреждение...

— Пригласите физрука,— распорядилась Кира Сергеевна.— На всякий случай.

Покачивая галстуком, «бюст» бросился исполнять, а Кира Сергеевна остановилась перед собственным кабинетом, сочиняя отповедь в адрес бестактных блюстителей порядка. Подготовив тезисы, оправила идеально закрытое, напоминающее форму темное платье и решительно распахнула дверь.

— В чем дело, товарищи? — строго начала она.— Без

телефонного предупреждения врывается в детское учреждение...

— Извините.

У окна стоял милицейский лейтенант настолько юного вида, что Кира Сергеевна не удивилась бы, увидев его в составе первого звена старшего отряда. Лейтенант неуверенно поклонился, глянув при этом на диван. Кира Сергеевна посмотрела туда же и с недоумением обнаружила маленького, худого, облезлого старичка в синтетической, застегнутой на все пуговицы рубашке. Тяжелый орден Отечественной войны выглядел на этой рубашке столь нелепо, что Кира Сергеевна зажмурилась и потрясла головой в надежде все же увидеть на старике пиджак, а не только мятые штаны да легкую рубаху с увесистым боевым орденом. Но и при вторичном взгляде ничего в старике не изменилось, и начальник лагеря поспешно уселась в собственное кресло, дабы обрести вдруг утраченное равновесие духа.

— Вы — Кира Сергеевна? — спросил лейтенант. — Я участковый инспектор, решил познакомиться. Конечно, раньше следовало, да все откладывал, а теперь...

Лейтенант старательно и негромко излагал причины своего появления, а Кира Сергеевна, слыша его, улавливала лишь отдельные слова: заслуженный фронтовик, списанное имущество, воспитание, лошади, дети. Она смотрела на старого инвалида с орденом на рубашке, не понимая, зачем он тут, и чувствовала, что старик этот, в упор глядя беспрестанно моргающими глазками, не видит ее точно так же, как она сама не слышит милиционера. И это раздражало ее, выбивало из колеи, а потому пугало. И она боялась сейчас не чего-то определенного — не милиции, не старика, не новостей, — а того, что испугалась. Страх нарастал от сознания, что он возник, и Кира Сергеевна растерялась и даже хотела спросить, что это за старик, зачем он здесь и почему так смотрит. Но эти вопросы прозвучали бы слишком по-женски, и Кира Сергеевна тут же задавила робко трепыхнувшиеся в ней слова. И с облегчением расслабилась, когда в кабинет вошли старшая пионервожатая и физрук.

— Повторите, — строго сказала она, заставив себя отвести глаза от свисающего с нейлоновой рубашки ордена. — Самую суть, коротко и доступно.

Лейтенант смешался. Достал платок, вытер лоб, повертел форменную фуражку.

— Собственно говоря, инвалид войны, — растерянно сказал он.

Кира Сергеевна сразу почувствовала эту растерянность, этот чужой страх, и ее собственная боязнь, ее собственная

растерянность тут же исчезли без следа. Все отныне встало на место, и разговором теперь управляла она.

— Скучно выражаете мысли.

Милицционер посмотрел на нее, усмехнулся.

— Сейчас богаче изложу. У почетного колхозного пенсионера, героя войны Петра Дементьевича Прокудова угнали шестерых лошадей. И по всем данным, угнали пионеры вашего лагеря.

Он замолчал, и молчали все. Новость была ошарашивающей, грозила нешуточными осложнениями, даже неприятностями, и руководители лагеря думали сейчас, как бы увернуться, отвести обвинение, доказать чужую ошибку.

— Конечно, кони теперь без надобности,— вдруг забормотал старик, при каждом слове двигая большими ступнями.— Машины теперь по шаше, по воздуху и по телевизору. Конечно, отвыкли. Раньше вон мальчонка собственный кусок недоедал — коню нес. Он твой хлебушко хрумкает, а у тебя в животе урчит. С голодухи. А как же? Все есть хотят. Это машины не хотят, а кони хотят. А где же возьмут? Что дашь, то и едят.

Лейтенант невозмутимо выслушал это бормотание, но женщинам стало не по себе — даже физрук заметил. А был он человеком веселым, твердо знал, что дважды два — четыре, а потому и сохранял в здоровом теле здоровый дух. И всегда рвался защищать женщин.

— Чего мелешь-то, старина? — добродушно улыбнувшись, сказал он.— «Шаше», «шаше»! Говорить бы сперва выучился.

— Он контуженый,— глядя в сторону, тихо пояснил лейтенант.

— А мы не медкомиссия, товарищ лейтенант. Мы — детский оздоровительный комплекс,— внушительно сказал физрук.— Почему считаете, что наши ребята угнали лошадей? У нас современные дети, интересуются спортом, электроникой, машинами, а совсем не вашими одрами.

— Шестеро к деду ходили неоднократно. Называли друг друга иностранными именами, которые я записал со слов колхозных ребят...— Лейтенант достал блокнот, полистал.— Роки, Вел, Эдди, Ден. Есть такие?

— В первый раз...— внушительно начал физрук.

— Есть,— тихо прервала вожатая, начав буйно краснеть.— Игорек, Валера, Андрей, Дениска. Это же великолепная шестерка наша, Кира Сергеевна.

— Этого быть не может,— твердо определила начальница.

— Конечно, бред! — тотчас подхватил физрук, адресуясь непосредственно к колхозному пенсионеру.— С похмелюги,

отец, поблазнилось? Так с нас где сядешь, там и слезешь, понял?

— Перестаньте кричать на него,— негромко сказал лейтенант.

— Поди, пропил коняг, а на нас отыграться хочешь? Я тебя сразу раскусил!

Старик вдруг затрясся, засучил ногами. Милиционер бросился к нему, не очень вежливо оттолкнув при этом вожатую.

— Где у вас уборная? Уборная где, спрашиваю, спазмы у него.

— В коридоре,— сказала Кира Сергеевна.— Возьмите ключ, это мой личный туалет.

Лейтенант взял ключ, помог старику подняться. На диване, где сидел инвалид, осталось мокрое пятно. Старик дрожал, мелко переставлял ноги и повторял:

— Дай три рубля на помин, и господь с ними. Дай три рубля на помин...

— Не дам! — сурово отрезал милиционер, и оба вышли.

— Он алкоголик,— брезгливо сказала вожатая, старательно повернувшись спиной к мокрому пятну на диване.— Конечно, прежде был герой, никто не умаляет, но теперь...— Она сокрушенно вздохнула.— Теперь алкоголик.

— А ребята и вправду лошадей брали,— тихо признался физрук.— Мне перед отъездом Валера сообщил. Что-то он еще тогда про лошадей говорил, да отозвали меня. Шашлыки готовить.

— Может быть, признаемся? — ледяным тоном поинтересовалась Кира Сергеевна.— Провалим соревнование, потеряем знамя.— Подчиненные примолкли, и она сочла необходимым пояснить: — Поймите, иное дело, если мальчики украли бы общественную собственность, но они же не украли ее, не так ли? Они покатались и отпустили, следовательно, это всего лишь шалость. Обычная мальчишеская шалость, наша общая недоработка, а пятно с коллектива не смоешь. И прощай знамя.

— Ясно, Кира Сергеевна,— вздохнул физрук.— И не докажешь, что не верблюд.

— Надо объяснить им, что это за ребята,— сказала вожатая.— Вы же недаром называли их великолепной шестеркой, Кира Сергеевна.

— Хорошая мысль. Достаньте отзывы, протоколы, Почетные грамоты. Быстренько систематизируйте.

Когда лейтенант вместе с притихшим инвалидом вернулись в кабинет, письменный стол ломился от раскрытых папок, Почетных грамот, графиков и схем.

— Извините деда,— виновато сказал лейтенант.— Контузия у него тяжелая.

— Ничего,— великодушно улыбнулась Кира Сергеевна.— Мы тут обменялись пока. И считаем, что вы, товарищи, просто не в курсе, какие у нас ребята. Можно смело сказать: они — надежда двадцать первого века. И в частности, те, которые по абсолютному недоразумению попали в ваш позорный список, товарищ лейтенант.

Кира Сергеевна сделала паузу, дабы работник милиции и непонятно для чего привезенный им инвалид с так раздражающим ее орденом могли полностью уяснить, что главное — в прекрасном будущем, а не в тех досадных исключениях, которые пока еще кое-где встречаются у отдельных граждан. Но лейтенант терпеливо ждал, что последует далее, а старик, усевшись, вновь вперил тоскливый взор свой куда-то сквозь начальницу, сквозь стены и, кажется, сквозь само время. Это было неприятно, и Кира Сергеевна позволила себе пошутить:

— Бывают, знаете, пятна и на мраморе. Но ведь благородный мрамор остается благородным мрамором и тогда, когда на него падает тень. Сейчас мы покажем вам, товарищи, на кого пытаются бросить тень.— Она зашуршала бумагами, разложенными на столе.— Вот, например... Например, Валера. Прекрасные математические данные, неоднократный победитель математических олимпиад. Здесь копии его Почетных грамот, можете ознакомиться. Далее, скажем, Славик...

— Второй Карпов! — решительно перебил физрук.— Блестящая глубина анализа, и в результате — первый разряд. Надежда области, а возможно, и всего Союза — говорю вам как специалист.

— А Игорек? — робко вставила вожатая.— Поразительное техническое чутье. Поразительное! Его показывали даже по телевизору.

— А наш изумительный полиглот Дениска? — подхватила Кира Сергеевна, невольно заражаясь восторженностью подчиненных.— Он уже овладел тремя языками. Вы сколькими языками владеете, товарищ милиционер?

Лейтенант серьезно поглядел на начальницу, скромно кашлянул в кулак и тихо спросил:

— А ты сколькими «языками» овладел, дед? За шестого ордена-то дали, так вроде?

Старик задумчиво кивнул, и весомый орден качнулся на впалой груди, отразив позолотой солнечный лучик. И опять наступила неудобная пауза, и Кира Сергеевна уточнила, чтобы прервать ее:

— Товарищ фронтовик вам дедом приходится? .

— Он всем дедом приходится, — как-то нехотя пояснил лейтенант. — Старики да дети — всем родня: этому меня бабка еще в зыбке учила.

— Странно вы как-то объясняете, — строго заметила Кира Сергеевна. — Мы понимаем, кто сидит перед нами, не беспокойтесь. Никто не забыт, и ничто не забыто.

— Мы каждую смену проводим торжественную линейку у обелиска павшим, — поспешно пояснила вожатая. — Возлагаем цветы.

— Мероприятие, значит, такое?

— Да, мероприятие! — резко сказал физрук, решив опять защитить женщин. — Не понимаю, почему вы иронизируете над средствами воспитания патриотизма.

— Я, это... Я не иронизирую. — Лейтенант говорил негромко и очень спокойно, и поэтому все в комнате злились. Кроме старого фронтовика. — Цветы, салюты — это все правильно, конечно, только я не о том. Вот вы о мраморе говорили. Мрамор — это хорошо. Чисто всегда. И цветы класть удобно. А что вот с таким дедом делать, которого еще в мрамор не одели? Который за собой ухаживать не может, который в штаны, я извиняюсь, конечно... да к водке тянется, хоть ты связывай его! Чем он тех хуже, которые под мрамором? Тем, что помереть не успел?

— Простите, товарищ, даже странно слышать. А льготы инвалидам войны? А почет? Государство заботится...

— Вы, что ли, государство? Я же не о государстве, я о ваших пионерах говорю. И о вас.

— И все-таки! — Кира Сергеевна выразительно постучала по столу карандашом. — И все-таки я настаиваю, чтобы вы изменили формулировку.

— Что изменил? — переспросил участковый.

— Формулировку. Как неправильную, вредную и даже аполитичную, если смотреть в корень.

— Даже? — переспросил милиционер и опять неприятно усмехнулся.

— Не понимаю, чего усмехаетесь? — пожал плечами физрук. — Доказательства есть? Нету. А у нас — есть. Получается, что клевету поддерживаете, а это знаете чем пахнет?

— Плохо пахнет, — согласился лейтенант. — Скоро почувствуете.

Он говорил с горечью, без всяких угроз и намеков, но тем, кому он это говорил, слышалась не горечь, а скрытые угрозы. Им представлялось, что участковый темнит, что-то сознательно недоговаривает, и поэтому они опять замолча-

ли, лихорадочно соображая, какие козыри выкинет противник и чем эти козыри следует бить.

— Конь — он как человек, — неожиданно вклинился старик и опять задвигал ногами. — Он только не говорит, он только понимает. Он меня спас, Кучум звать. Статный такой Кучум, гнедой. Счас, счас.

Инвалид встал и начал суетливо расстегивать пуговицы рубашки. Тяжелый орден, обвиснув, раскачивался на скользкой ткани, а дед, бормоча «счас, счас», все еще возился с пуговицами.

— Он что, раздевается? — шепотом спросила старшая пионервожатая. — Скажите, чтоб перестал.

— Он вам второй орден покажет, — сказал лейтенант. — На спине.

Не совладав со всеми пуговицами, старик стащил рубашку через голову и, не снимая с рук, повернулся. На худой, костлявой спине его под левым плечом был виден бурый полукруглый шрам.

— Это зубы его, зубы, — все еще стоя к ним спиной, говорил дед. — Кучума, значит. Контузило меня на переправе, так в воду оба и упали. Я, это, соображения не имел, а Кучум — вот. Зубами за гимнастерку да вместе с мясом, чтоб покрепше. И выволок. И упал сам. Осколком у него ребра выломало, и кишки за ним волочились.

— Какая гадость, — сказала вожатая, став пунцовой, как галстук. — Кира Сергеевна, что же это такое? Это же издевательство какое-то, Кира Сергеевна.

— Одевайся, дед, — вздохнул лейтенант, и опять никто не почувствовал его боли и заботы: все своей боли боялись. — Простудишься, так тебя никакой Кучум больше не вытащит.

— Ах, коник был, ах, коник! — Старик надел рубаху и повернулся, застегиваясь. — Мало живут они, вот беда. Все никак до добра дожить не могут. Не успевают.

Бормоча, он заталкивал рубаху в мятые штаны, улыбался, а по морщинистому, открытому седой щетиной лицу текли слезы. Желтые, безостановочные, лошадиные какие-то.

— Одевайся, дедушка, — тихо сказал милиционер. — Дай я тебе пуговку застегну.

Он стал помогать, а инвалид благодарно уткнулся ему в плечо. Потерся и вздохнул, будто старая, усталая лошадь, так и не дожившая до добра.

— Ах, Коля, Коля, дал бы ты мне три рубля...

— Родственник! — вдруг торжествующе выкрикнула Кира Сергеевна и резко хлопнула ладонью по столу. — Скрывали, путали, а сами привели юродствующего родственника.

С какой целью? Под фонарем ищите, чтобы виноватого обелить?

— Конечно же это ваш собственный дед! — тотчас подхватил физрук. — Это ж видно. Невооруженным глазом, как говорится.

— Мой дед в братской под Харьковом лежит, — сказал участковый. — А это не мой, это колхозный дедушка. А кони, которых ваша великолепная шестерка угнала, то его были кони. Колхоз их, коней этих, ему, Прокудову Петру Дементьевичу, передал.

— Насчет «угнали», как вы употребили, доказать еще придется, — внушительно отметила Кира Сергеевна. — Я не позволю чернить вверенный мне детский коллектив. Можете официально заводить «дело», можете, а сейчас немедленно покиньте мой кабинет. Я подчиняюсь непосредственно области и буду разговаривать не с вами и не с этим колхозным дедом, а с соответствующими компетентными товарищами.

— Вот, значит, и познакомились, — невесело усмехнулся лейтенант. Надел фуражку, помог старику подняться. — Пойдем, дед, пойдем.

— Дал бы три рубля...

— Не дам! — отрезал участковый и обернулся к начальнице. — Не беспокойтесь, не будет никакого дела. Кони были списаны с колхозного баланса, и иск предъявлять некому. Ничейные были кони.

— Ах, кони, коники, — завздыхал старик. — Теперь машины ласкают, а коней бьют. И никак им теперь не дожить до жизни своей.

— Позвольте. — Кира Сергеевна растерялась едва ли не впервые в своей начальнической практике, поскольку поступок собеседника не укладывался ни в какие рамки. — Если нет никакого «дела», так зачем же... — Она медленно встала, выростая над собственным столом. — Как вы смели? Это недостойное подозрение, это... У меня нет слов, но я так не оставлю. Я немедленно поставлю в известность вашего начальника, слышите? Немедленно.

— Ставьте в известность, — согласился лейтенант. — А потом пошлите кого-нибудь конские трупы зарыть. Они за оврагом, в роще.

— Ах, кони, коники! — опять заныл старик, и слезы капали на нейлоновую рубашку.

— Они, значит, что... умерли? — шепотом спросила вожатая.

— Пали, — строго поправил лейтенант, глядя в доселе такие безмятежные глаза. — От голода и жажды. Ваши ребята, накатавшись, их к деревьям привязали, а сами уехали.

По домам. Кони все объели, до чего дотянуться смогли: листву, кусты, кору древесную. А привязаны были высоко и коротко, так что и пасть им не удалось: висят там на уздечках.— Он достал из кармана несколько фотографий, положил на стол.— Туристы мне завезли. А я — вам. На память.

Женщины и физрук с ужасом смотрели на оскаленные, задранные к небу мертвые лошадиные морды с застывшими в глазницах слезами. Корявый дрожащий палец влез в поле их зрения, ласково провел по фотографиям.

— Вот он, Сивый. Старый меринок был, хворый, а глянь, только справа все обглодал. А почему? А потому, что слева Пулька была привязана, древняя такая кобылка. Так он ей оставлял. Кони, они жалеть умеют...

— Пойдем, дед! — звенящим голосом выкрикнул лейтенант.— Что ты им объясняешь?!

Хлопнула дверь, затихло старческое бормотанье, скрип милицейских сапог, а они все еще никак не могли оторвать глаз от облепленных мухами лошадиных морд с навеки застывшими глазами. И только когда крупная слеза, сорвавшись с ресниц, ударилась о глянцевою бумагу, Кира Сергеевна очнулась.

— Этих,— она потыкала в фотографии,— спрятать... то есть закопать поскорее, нечего зря детей травмировать.— Порылась в сумочке, достала десятку, протянула, не глядя, физруку.— Инвалиду передайте, он помянуть хотел, уважить надо. Только чтоб милиционер не заметил, а то... И намекайте помягче, чтоб не болтал понапрасну.

— Не беспокойтесь, Кира Сергеевна,— заверил физрук и поспешно вышел.

— Я тоже пойду,— не поднимая головы, сказала жога-тая.— Можно?

— Да, конечно, конечно.

Кира Сергеевна дождалась, когда затихнут шаги, прошла в личный туалет, заперлась там, изорвала фотографии, бросила клочки в унитаз и с огромным облегчением спустила воду.

А почетный пенсионер колхоза Петр Дементьевич Прокудов, бывший разведчик кавкорпуса генерала Белова, тем же вечером умер. Он купил две бутылки водки и выпил их в зимней конюшне, где до сей поры так замечательно пахло лошадьми.

ЭКСПОНАТ №...

Игорек уходил ранним утром 2 октября 1941 года. В повестке значилось, что он «должен явиться к семи ноль-ноль, имея при себе...»

— Ложку да кружку, больше ничего не бери,— сказал сосед Володя.— Все равно либо потеряешь, либо сопрут, либо сам бросишь.

Володя был всего на два года старше, но уже успел повоевать, получить тяжелое ранение и после госпиталя долечивался дома у отца с матерью. А у Игоря отца не было, только мама, и поэтому мужские советы давал бывалый сосед:

— Ложку, главное, не забудь.

Этот разговор происходил накануне, вечером, а в то раннее утро Игоря провожала мама да женщины их коммуналки. Мама стояла в распахнутых дверях, прижав кулаки ко рту. По щекам ее безостановочно текли слезы, а из-за плеч выглядывали скорбные лица соседок. Неделей раньше ушел в ополчение отец Володи; сам Володя, чтобы не смущать, уже спустился, уже ждал в подъезде, а Игорь вниз по лестнице уходил на войну, и женщины в бессловесной тоске глядели ему вслед. На мальчишеский стриженный затылок, на мальчишескую гибкую спину, на мальчишеские узкие плечи, которым предстояло прикрыть собой город Москву и их коммунальную квартиру на пять комнат и пять семей.

— Холодно,— гулко сказал снизу Володя.— Главное, не дрейфь, Игорек. Но пасаран.

Было сумрачно, синий свет слабенькой лампочки в подъезде странно освещал маму, которая так хотела проводить его до военкомата, но не могла оставить работу, потому что сменщиц уже не было, а работа еще была. И она потерянно стояла в дверях, отчаянно прижимая кулаки к безмолвному перекошенному рту, а из-за ее судорожно сведенных плеч страшными провальными глазами глядели соседки: по два

лица за каждым плечом. Игорь оглянулся в конце первого лестничного марша, но улыбнуться не смог, не до улыбок было в октябре того сорок первого. Но сказал, что все они тогда говорили:

— Я вернусь, мама.

Не вернулся.

И письмо Анна Федотовна получила всего одно-единственное: от 17 декабря; остальные — если были они — либо не дошли, либо где-то затерялись. Коротенькое письмо, написанное второпях химическим карандашом на листочке из ученической тетрадки в линейку.

«Дорогая мамочка!

Бьем мы проклятых фрицев и в хвост и в гриву, только ключья летят...»

И об этой великой радости, об этом великом солдатском торжестве — все письмо. Кроме нескольких строчек:

«...Да, а как там поживает Римма из соседнего подъезда? Если не эвакуировалась, спроси, может, письмо мне напишет? А то ребята во взводе получают, а мне совершенно не с кем вести переписку...»

И еще, в самом конце:

«...Я здоров, все нормально, воюю как все. Как ты-то там одна, мамочка?»

И последняя фраза — после «до свидания», после «целую крепко, твой сын Игорь»:

«...Скоро, очень скоро будет и на нашей улице праздник!»

Праздник был не скоро. Скоро пришло второе письмо. От сержанта Вадима Переплетчикова: «Уважаемая Анна Федотовна! Дорогая мама моего незабвенного друга Игоря! Ваш сын был...»

Был.

Был Игорь, Игорек, Игоречек. Был сыном, ребенком, школьником, мальчишкой, солдатом. Хотел переписываться с соседской девочкой Риммой, хотел вернуться к маме, хотел дождаться праздника на нашей улице. И еще жить он хотел. Очень хотел жить.

Три дня Анна Федотовна кричала и не верила, и коммуналка плакала и не верила, и сосед Володя, который уже считал дни, что оставались до медкомиссии, ругался и не верил. А еще через неделю пришла похоронка, и Анна Федотовна перестала кричать и рыдать навсегда.

Каждое утро — зимой и осенью еще затемно — она шла на Савеловский вокзал, где работала сцепщиком вагонов, и каждый вечер — зимой и осенью уже затемно — возвращалась домой. Вообще-то до войны она работала счетоводом, но в сорок первом на железной дороге не хватало людей,

и Анна Федотовна пошла туда добровольно да так потом там и осталась. Там давали рабочую карточку, кое-какой паек, а за усталой, рано ссутулившейся спиной стояла коммуналка, из которой никто не уехал и в осень сорок первого. И мужчин не было, а дети были, и Анна Федотовна отдавала всю свою железнодорожную надбавку и половину рабочей карточки.

— Аня, все-то зачем отдаешь? Ты сама на себя в зеркало глянь.

— Не вам, соседки, детям. А в зеркало мы с вами и после войны не глянемся. Отгляделись.

Отгляделись, да не отплакались. Еще шли похоронки, еще не тускнели воспоминания, еще не остыли подушки, и вместительная кухня горько справляла коммунальные поминки.

— Подружки, соседки, сестрички вы мои, помяните мужа моего Волкова Трофима Авдеевича. Я патефон его премиальный на сырец сменяла, на что мне теперь патефон. Поплачь и ты со мной, Аня, поплачь, родимая.

— Не могу, Маша. Сгорели слезы мои.

А от Трофима Волкова трое «волчат» осталось. Трое, и старшему — девять. Какие уж тут слезы, тут слезы не помогут, тут только одно помочь способно: плечом к плечу. Живой женской стеной оградить от смерти детей. Валентина (мать Володи) плечом к Полине, проживавшей с дочкой Розочкой в комнате, где прежде, еще при старом режиме, находилась ванная: там прорубили узенькое окошко, света не хватало, и вся квартира Розочку Беляночкой звала. А Полина — плечом к Маше Волковой, за которой — трое, а Маша — к Любе — аптекарше с близнецами Герой да Юрой: пятнадцать лет на двоих. А Люба — к Анне Федотовне, а та — опять к Валентине, к другому ее плечу, и хоть некого ей было прикрывать, да дети — общие. Это матери у них разные и отцы, если живы, а сами дети — наши. Общие дети коммунальных квартир с переделанными под жилье ванными и кладовками, с заколоченными парадными подъездами еще с той, с гражданской войны, с общими коридорами и общими кухнями, на которых в те годы собирались вместе чаще всего по одной причине.

— Вот и моему срок вышел, подруги мои дорогие, — давилась слезами Полина, обнимая свою всегда серьезную Розочку, которую полутемная ванная да темные дни войны окончательно превратили в Беляночку. — Муж мой Василий Антонович пал храброй смертью, а где могила его, того нам с дочкой не писали. Выходит, что вся земля его могила.

Выпивала Анна Федотовна поминальную за общим сто-

лом, шла к себе, стелила постель и, перед тем как уснуть, обязательно перечитывала оба письма и похоронку. Дни складывались в недели, недели — в месяцы, месяцы — в годы; пришел с войны еще раз покалеченный Владимир, и это был единственный мужчина, кто вернулся в их коммуналку на пять комнат и пять вдов, не считая сирот. А за ним вскоре пришла Победа, возвращались из эвакуации, с фронтов и госпиталей москвичи, оживал город, и оживала вместе с ним коммуналка. Опять зазвучал смех и песни, и сосед Владимир женился на девушке Римме из соседнего подъезда.

— Как ты мог? — сквозь слезы сдавленно спросила Анна Федотовна, когда он пригласил ее на свадьбу. — Ведь с нею Игорек переписываться мечтал, как же ты мог?..

— Прости нас, тетя Аня, — сказал Владимир и виновато вздохнул. — Мы все понимаем, только ты все-таки приходи на свадьбу.

Время шло. Анна Федотовна по-прежнему утром уходила на работу, а вечером читала письма. Сначала это было мучительно болезненной потребностью, позже — скорбной обязанностью, потом — привычной печалью, без которой ей было бы невозможно уснуть, а затем — ежевечерним неприменнейшим и чрезвычайно важным разговором с сыном. С Игорьком, так и оставшимся мальчишкой навсегда.

Она знала письма наизусть, а все равно перед каждым сном неторопливо перечитывала их, всматриваясь в каждую букву. От ежевечерних этих чтений письма стали быстро ветшать, истираться, ломаться на сгибах, рваться по краям. Тогда Анна Федотовна сама, одним пальцем перепечатала их у знакомой машинистки, с которой когда-то — давным-давно, еще с голоду двадцатых — вместе перебрались в Москву. Подруга сама рвалась перепечатать пожелтевшие листочки, но Анна Федотовна не разрешила и долго и неумело тюкала одним пальцем. Зато теперь у нее имелись отпечатанные копии, а сами письма хранились в шкатулке, где лежали дорогие пустяки: прядь Игоревых волос, зажим его пионерского галстука, значок «Ворошиловский стрелок» ее мужа, нелепо погибшего еще до войны, да несколько фотографий. А копии лежали в папке на тумбочке у изголовья: читая их перед сном, она каждый раз надеялась, что ей приснится Игорек, но он приснился ей всего два раза.

Такова была ее личная жизнь с декабря сорок первого. Но существовала и жизнь общая, сосредоточенная в общей кухне и общих газетах, в общей бедности и общих праздниках, в общих печалях, общих воспоминаниях и общих шумах. В эту коммунальную квартиру не вернулся не только Игорь: не вернулись отцы и мужья, но они были не просто

старше ее сына — они оказались жизненнее его, успев дать поросль, и эта поросль сейчас шумела, кричала, смеялась и плакала в общей квартире. А после Игоря остались учебники и старый велосипед на трех колесах, тетрадка, куда он переписывал любимые стихи и важные изречения, да альбом с марками. Да еще сама мать осталась: одинокая, почерневшая и разучившаяся рыдать после похоронки. Нет, громкоголосые соседи, сплоченные роковыми сороковыми да общими поминками, никогда не забывали об одинокой Анне Федотовне, и она никогда не забывала о них, но темная ее сдержанность невольно приглушала звонкость подраставшего поколения, либо уже позабывшего, либо вообще не знавшего ее Игорька. Все было естественно, Анна Федотовна никогда ни на что не обижалась, но однажды серьезная неприятность едва не промелькнула черной кошкой за их коммунальным столом.

Случилось это, когда Римма благополучно разрешилась в роддоме первенцем. К тому времени умерла мать Владимира, отец еще в ноябре сорок первого погиб под Сходней в ополчении, и Владимир попросил Анну Федотовну быть вроде как посаженной матерью и бабкой на коммунальном торжестве. Анна Федотовна не просто сразу согласилась, но и обрадовалась — и потому, что не забыли о ней на чужих радостях, и потому, конечно, что знала Володю с детства, считала своим, почти родственником, дружила с его матерью и очень уважала отца. Но, радостно согласившись, тут же и почернела, и хотя ни слова не сказала, но Владимир понял, что подумала она при этом об Игоре. И вздохнул:

— Мы нашего парнишку Игорем назовем. Чтоб опять у нас в квартире Игорек был.

Анна Федотовна впервые за много лет улыбнулась, и коммунальное празднество по поводу появления на свет нового Игорька прошло дружно и весело. Анна Федотовна сидела во главе стола, составленного из пяти разнокалиберных кухонных столиков, и соседи говорили тосты не только за младенца да молодых маму с папой, но и за нее, за названую бабу, и — стоя, конечно, — за светлую память ее сына, в честь которого и назвали только что родившегося гражданина.

А через неделю вернулась из роддома счастливая мать с младенцем на руках и с ходу объявила, что ни о каком Игоре и речи быть не может. Что, во-первых, она давно уже решила назвать своего первого Андреем в память погибшего на войне собственного отца, а во-вторых, имя Игорь теперь совершенно немодное. К счастью, все споры по этому поводу между Риммой и Владимиром происходили, когда

Анна Федотовна была на работе; в конце концов, Римма, естественно, победила, но молодые родители, а заодно и соседи решили пока ничего не говорить Анне Федотовне. И дружно промолчали; спустя несколько дней Владимир зарегистрировал собственного сына как Андрея Владимировича, к вечеру опять устроили коммунальную складчину, на которой Римма и поведала Анне Федотовне о тайной записи и показала новенькое свидетельство о рождении. Но Анна Федотовна глядела не в свежие корочки, а в счастливые глаза.

— А Игорек мой, он ведь любил тебя,— сказала.— Переписываться мечтал.

— Да чего же переписываться, когда я в соседнем подъезде всю жизнь прожила? — улыбнулась Римма, но улыбка у нее получилась несмелой и почему-то виноватой.— И в школе мы одной учились, только он в десятом «Б», а я — в восьмом «А»...

— Будьте счастливы,— не дослушала Анна Федотовна.— И пусть сынок ваш никогда войны не узнает.

И ушла к себе.

Напрасно стучались, звали, просили — даже двери не открыла. И почти полгода с того вечера малыша старалась не замечать. А через полгода — суббота была — в глухую и, кажется, навеки притихшую комнату без стука ворвалась Римма с Андрейкой на руках.

— Тридцать девять у него! Володя на работе, а он — криком кричит. Я за «скорой» сбегая, а вы пока с ним тут...

— Погоди.

Анна Федотовна распеленала ребенка, животик ему пощупала, вкатила клизму. Когда доктор приехал, Андрейка уже грохотал погремужкой у не признававшей его названной бабки на руках.

— Не умеешь ты еще, Римма,— улыбнулась Анна Федотовна, когда врач уехал.— Придется мне старое вспомнить. Ну-ка показывай, где сын ест, где спит да чем играет.

И с этого дня стала самой настоящей бабкой. Сама забирала Андрейку из яслей (сдавала его Римма, ей по времени получалось удобнее), кормила, гуляла с ним, купала, одевала и раздевала и учила молодую мамашу:

— Игрушек много не покупай, а то он всякий интерес потеряет. И на руки пореже бери. В крайнем случае только: пусть наш Андрейка к самостоятельности привыкает. Себя развлекать научиться — это, Римма, огромное дело.

— Анна Федотовна, бабушка наша дорогая, следующего мы непременно Игорьком назовем. Честное комсомольское!

Следующей родилась девочка, и назвали ее Валентиной

в честь матери Владимира — на этом уж Анна Федотовна настояла. А сама все ждала и ждала, а ее очередь все не приходила и не приходила.

А время шло себе и шло. Росли дети — уже не просто названные, уже самые что ни на есть родные внуки Анны Федотовны Андруша и Валечка; выросли их родители Владимир Иванович и Римма Андреевна; старела, темнела, таяла на глазах и сама Анна Федотовна. Менялись жильцы в некогда плотно населенной коммунальной квартире: получали отдельное жилье, менялись, уезжали и переезжали, и только две семьи — Владимира и Риммы да одинокой Анны Федотовны — не трогались с места. Владимир и Римма понимали, что Анна Федотовна ни за что не уедет из той комнаты, порог которой навсегда переступил ее единственный сын, а дети — да и они сами — так привязались к осиротевшей старой женщине, что Владимир решительно отказывался от всех вариантов, настаивая дать им возможность улучшить свои жилищные условия за счет освободившейся площади в этой же квартире. И к началу шестидесятых им в конце концов удалось заполучить всю пятикомнатную квартиру с учетом, что одну из комнат они вновь переделают в ванную, которой у них не было чуть ли не с гражданской войны, одна — большая — остается за Анной Федотовной, а три они получают на все свои четыре прописанных головы. К тому времени, как было получено это разрешение, после всех перепланировок и ремонтов, связанных с восстановлением ванной комнаты, Анна Федотовна оформила пенсию, хотела пойти еще поработать и...

— А внуки? — строго спросил на семейном совете Владимир Иванович. — Андрейке — девять, Валюшке — пять: вот она, самая святая твоя работа, тетя Аня.

— А жить нам вместе сам бог велел, — подхватила Римма. — У нас родители погибли, у вас — Игорек, так давайте всю вашу пенсию в один котел, и будем как одна семья.

— А мы и есть одна семья, — улыбнулся муж, и вопрос был решен.

Да, все менялось в жизни, менялось, в общем, к лучшему, но одно оставалось неизменным: письма. Письмо Игоря, сохранившее для нее не только его полудетский почерк, но и его голос; и письмо однополчанина и друга, звучавшее теперь как последний рассказ о сыне. Время коснулось и писем, но не только тленом, а как бы превратив слова в звуки: теперь она все чаще и чаще совершенно ясно слышала то, что аккуратно перечитывала перед сном. Знала наизусть и слышала наизусть, а все равно внимательно вглядывалась в каждую строчку и ни за что не смогла бы

уснуть, если бы по какой-либо причине этот многолетний ритуал оказался бы нарушенным.

Два перепечатанных письма и похоронка, которую она тоже знала наизусть, но которая тем не менее всегда оставалась безмолвной. В ней не звучало ни единого слова, да и не могло звучать, потому что похоронка всю жизнь воспринималась Анной Федотовной копией могильной плиты ее сына, превращенной в листок казенной бумаги, но сохранившей при этом всю свою безмолвную гробовую тяжесть. И, читая ее каждый вечер, осиротевшая мать слышала только холодное безмолвие могилы.

А самая главная странность заключалась в том, что Анна Федотовна до сей поры так никому и не призналась в своей странной привычке. Сначала от острого чувства одиночества и не менее острого желания сбросить это одиночество, потому что совсем не одинока была она в горе своем в то черное, горькое время. Потом, когда притупилась первая боль, ее ровесницы-соседки — те, которые испытали то же, что испытала она, у кого не вернулись сыновья или мужа, — уже успели либо помереть, либо переехать. В коммунальной квартире исчезали вдовы, а молодежи становилось все больше, и потому все чаще звучал смех, все веселее становились голоса и громче — разговоры. Привычная родная коммуналка, из которой тусклым промозглым рассветом навсегда ушел ее Игорек, молодела на ее глазах, и Анна Федотовна уже не решалась признаться этой помолодевшей квартире в своей укоренившейся за это время привычке. А потом все это вместе стало ритуалом, почти священнодействием со своей уже сложившейся последовательностью, ритмом, торжественностью и только ею одной слышимыми голосами, и старая одинокая женщина уже вполне сознательно скрывала свою странность от шумного, звонкого, столь далекого от тех роковых сороковых подрастающего населения.

И так продолжалось из года в год. Жили в бывшей коммунальной квартире единой семьей: старшие работали, младшие учились. Анна Федотовна как могла помогала им работать и учиться, взяв на себя домашние хлопоты: сготовить, накормить, убрать. После ужина смотрела с Владимиром и Риммой телевизор — старенький, с крохотным экраном «КВН», — а когда заканчивались передачи, уходила к себе, укладывалась в постель, доставала письма, и в ее сиротской комнате начинали звучать голоса сорок первого года...

«...Скоро, очень скоро будет и на нашей улице праздник...»

В 1965-м, к юбилею Победы, по телевидению начали передавать множество фильмов о войне — художественных и документальных, смонтированных из военной хроники тех

лет. Обычно Анна Федотовна никогда их не смотрела: еще шли титры, а она уже поднималась и уходила к себе. Не могла она заставить свое насквозь изъеденное тоской сердце обжигаться гибелью мальчиков, ровесников ее сына, даже если это был фильм художественный и наземь красиво падали красивые актеры. Для нее это было не столько свидетельством смерти, сколько знаком смерти, ненавистным ей реальным отгиском реального убийства ее единственного сына. И она уходила, ничего не объясняя, потому что и объяснять-то было некому: Владимир и Римма и без слов ее отлично понимали.

Только однажды задержалась она в комнате дольше обычного. Уже шел на крохотном кавээновском экране какой-то фильм о войне — сам по себе, собственно, шел, никто его не смотрел. У одиннадцатилетней Валечки начало вдруг прогрессировать плоскостопие, ее срочно показали специалисту, и тем вечером родители и Анна Федотовна горячо обсуждали рекомендации этого специалиста. И так этим увлеклись, что забыли про телевизор, на экране которого с приглушенным звуком (дети уже спали) демонстрировался какой-то документальный фильм.

Анна Федотовна совершенно случайно глянула на экран — все ее помыслы вертелись тогда вокруг Валечкиного плоскостопия, — но глянула и увидела уходящую от нее узкую мальчишескую спину в грязной шинели, с винтовкой и тощим вещмешком за плечами.

— Игорек!.. Игорек, смотрите!..

Но Игорек (если это был он) снова ушел, как ушел почти четверть века назад — навсегда и без оглядки. И никто не знал, что это был за фильм, как он назывался и в какой рубрике телепрограмм его следует искать. Ничего не было известно и ничего невозможно было узнать, и поэтому Анна Федотовна отныне целыми днями сидела у телевизора, придвигаясь почти вплотную к малюсенькому экрану, как только начинались военные передачи. Теперь она смотрела все, что касалось войны, — фильмы, хронику и даже телеспектакли, потому что в любой момент могла мелькнуть на экране мальчишеская спина в грязной шинели с винтовкой и вещмешком. Пережаривались на кухне котлеты, выкипали супы, ревела Валечка из-за неглаженного фартука, хватал двойки уловивший вольготную полосу Андрейка, а Анна Федотовна, не отрываясь, все смотрела и смотрела старенький громоздкий телевизор.

Не появлялась больше спина, ушедшая тревожной осенью сорок первого прикрывать Москву. А может, не его это была спина, не Игорька? Мало ли их, этих мальчишеских

спин, ушло от нас навсегда, так и не оглянувшись ни разу? Это было вероятнее всего, это спокойно и рассудительно доказывал Владимир, об этом осторожно, исподволь нашептывала Римма, но мать, не слушая доводов, упорно вглядывалась в экран.

— Ну что ты смотришь, что ты смотришь, это же сталинградская битва!

— Оставь ее, Володя. Тут наши уговоры не помогут.

Все вдруг изменилось в доме, но одно осталось без изменения, как обещание возврата к прежнему размеренному покою, как надежда если не на светлое, то на привычное будущее. Не претерпел никаких новшеств ежевечерний ритуал: целыми днями с небывалым напряжением вглядываясь в экран телевизора, Анна Федотовна по-прежнему перечитывала перед сном заветные письма. Так же неторопливо, так же внимательно, так же слыша голоса двух из трех полученных ею весточек с войны: живший в ней голос Игорька и второй — его друга сержанта Вадима Переплетчикова, которого она никогда не видела и не слышала, но голос которого ясно звучал чистым мальчишеским альтом. Они были очень похожи, эти два голоса: их объединяли молодость и дружба, война и опасность, общая жизнь и, как подозревала Анна Федотовна, общая смерть, которая настигла одного чуть раньше, другого — чуть позже, только и всего. И несмотря на полную братскую схожесть, она отчетливо разделяла эти голоса, потому что их более не существовало: они продолжали жить только в ее сердце.

Уже отметили юбилей Победы, уже телевидение начало резко сокращать количество военных передач, а Анна Федотовна продолжала сидеть перед телеэкраном, все еще надеясь на чудо. Но чудес не существовало, и, может быть, именно поэтому она как-то впервые за много лет запнулась на письме друга. Должна была следовать фраза: «Ваш Игорь, дорогая Анна Федотовна, всегда являлся примером для всего нашего отделения...», а голос этой фразы не произнес. Замолк голос, оборвался, и Анна Федотовна растерялась: ритуал неожиданно дал сбой. Вслушалась, но голос не возник, и тогда она начала лихорадочно просматривать письмо сержанта, уже не надеясь на его голос и собственную память. Напрягая зрение, она то приближала, то отдаляла от себя затертый листок с машинописным текстом, поправляла лампу, чтобы ярче высветить его, но все было напрасным. Она не видела ни одной буквы, слова сливались в строчки, строчки — в неясные черточки, и Анна Федотовна со странным, зябким спокойствием поняла, что многодневные сиде-

ния перед тусклым экраном телевизора не прошли для нее даром.

Она не испугалась, не растерялась и никому ничего не сказала: зачем зря беспокоить людей? Но на другой день, проводив детей в школу, собралась в районную поликлинику. Оделась, проверила, не забыла ли паспорт, вышла на улицу и, качнувшись, испуганно остановилась; все предметы казались размытыми, люди и машины возникали вдруг, точно из непроницаемого тумана. В квартире она не замечала ничего подобного, то ли потому, что все было знакомым и память корректировала ослабевшее зрение, то ли потому, что все расстояния были ограничены. Ей пришлось постоять, чтобы хоть как-то свыкнуться с новым ударом, и до поликлиники она не дошла, а доплелась.

Очки, которые прописал окулист, помогли ходить, но читать Анна Федотовна уже не могла. Но все равно каждый вечер перед сном она брала письма и неторопливо вглядывалась в них, слушая голоса или вспоминая навечно врубившиеся в память строки: «...ваш сын рядовой Силантьев Игорь Иванович пал смертью храбрых...»

Это помогало, пока Анна Федотовна еще замечала хотя бы черточки строчек. Но год от года зрение все ухудшалось, мир тускнел, уходя в черноту, и хотя теперь в семье был новый телевизор с большим экраном, она и его не могла смотреть, и узкая мальчишеская спина вновь ушла от нее навсегда. Но это происходило постепенно, позволяя ей если не приспособливаться, то примиряться, и Анна Федотовна воспринимала все с горечью неизбежности. Но когда в бесценных ее листочках стали исчезать последние штрихи, когда перед ее окончательно ослабевшими глазами оказались вдруг однотонные серые листы бумаги, она испугалась по-настоящему. И впервые за все десятилетия рассказала о священном своем ритуале единственному человеку: Валечке. Не только потому, что Валя выросла на ее руках, звала бабушкой и считала таковой: к тому времени Валя уже стала студенткой Первого медицинского института, и это окончательно убедило Анну Федотовну, что доверить такую тайну можно только своей любимице. И хотя Вале не всегда удавалось читать ей письма регулярно — то отъезды, то ночные дежурства, то непредвиденные молодые обстоятельства, — привычная жизнь в общем своем потоке вернулась в свое русло.

И продолжала неумолимо нестись вперед. Женился и переехал к жене молодой инженер-строитель Андрей; Валя заново перепечатала тексты всех трех писем (оригиналы по-прежнему хранились в заветной шкатулке); в середине

семидесятых скончался от старых фронтовых ран Владимир Иванович, Валентина без всякого замужества родила девочку, и Анна Федотовна ослепла окончательно.

Но помощи ей почти не требовалось. Она свободно передвигалась по квартире, в которой практически прожила жизнь, знала, где что стоит да где что лежит, быстро научилась ухаживать за собой и продолжала стирать на всю семью. Вытянув руки и шаркая тапочками, бродила по бывшей коммуналке, в которой опять остались одни женщины, и думала, как странно устроена жизнь, коли с таким упорством возвращает людей к тому, от чего они хотели бы убежать навсегда.

Но главной ее заботой, ее последней радостью и смыслом всего ее черного существования стала теперь голосистая безотцовщина Танечка. Анна Федотовна не могла дождаться, когда бабушка Римма приведет ее сначала из яслей, потом — из детского садика, а затем и из школы, тем более что вскоре школ оказалось две, поскольку Танечку параллельно заставили учиться еще и в музыкальной. Анна Федотовна играла с ней куда больше, чем занятые работой, магазинами и хозяйством мать и родная бабка; рассказывала ей сказки, которые когда-то рассказывала своему сыну; отвечала на бесчисленные «почему?», а в пять лет впервые познакомила с заветными письмами, показав не только копии, но и оригиналы и подробнейшим образом растолковав разницу между этими бумажками. А еще через год Танечка научилась читать и заменила маму у постели Анны Федотовны. Правда, из-за этого Анне Федотовне пришлось ложиться раньше Танечки, но и это было к лучшему: она старела, начала быстро уставать, задыхаться, просыпаться до света и долго лежать без сна.

Она любила эти внезапные пробуждения среди ночи. Было как-то особенно тихо, потому что спала не только вся квартира, но и весь мир, а шум редких автомашин лишь скользил по стенам дома, касался стекол в окнах, заставляя их чуть вздрагивать, и исчезал вдали. Темнота, вечно окружавшая ее, делалась беззвучной и ощутимой, как бархат; Анне Федотовне становилось покойно и уютно, и она неторопливо начинала думать о своем Игоре.

Она вспоминала его совсем крохотным, беспомощным, целиком зависящим от ее тепла, внимания и ласки, от ее груди и ее рук — от нее, матери, будто их все еще соединяла пуповина, будто живые токи ее тела питали его и наливали силой и здоровьем для завтрашних невзгод. Вспоминала, как ежедневно купала его, и до сей поры ощущала то величайшее счастье, которое испытывала тогда. Вспоминала, как он

радостно тарашил на нее круглые, доверчивые глаза, как отчаянно взбивал крепкими ножками воду в ванночке, с каким самозабвением колотил по ней кулачками и как при этом не любил и даже побаивался мыла.

Она вспоминала, как он начал сам вставать в кровати, цепко хватаясь руками за перила. И как сделал... нет, не сделал — как совершил первый шаг и сразу упал, но не испугался, а засмеялся; она подняла его, и он тут же шагнул снова, снова шлепнулся и снова засмеялся. А потом зашагал, затопал, забегал, часто падая и расшибаясь, часто плача от боли, но сразу же забывая эту боль. Ах, сколько синяков и шишек он наставил себе в это время!

Ванночка уже не вмещала сына. Это было на прежней квартире; там всегда почему-то дуло, и она боялась, что простудит Игорьку во время этих купаний. И все время хотела куда-нибудь переехать, разменяться с кем-либо на любой район и любую площадь.

Нет, не только потому она стремилась обменять комнату, что сын перестал уместиться в ванночке и его теперь приходилось мыть по частям. Она решила на этот обмен потому, что сын настолько вырос, что однажды задал вопрос, которого она так ждала и так боялась:

— А где мой папа?

А они даже не были расписаны, и папа уехал навсегда, когда Игорьку исполнилось три года. И матери все время казалось, что сын помнит канувшего в небытие отца, что сама эта комната, соседи, вещи, стены — все рассказывает ему то, о чем не следовало бы знать. И как только сын заинтересовался отцом, Анна Федотовна тут же обменяла свою большую удобную комнату с балконом и оказалась в коммуналке, где сразу же объявила себя вдовой. Вот в этой самой комнате, из которой ушел Игорек и в которой ей, может быть, посчастливится окончить свою жизнь.

Школьный период в коротенькой биографии сына Анна Федотовна вспоминала реже. Нет, она отчетливо помнила все его рваные локти и сбитые коленки, все «очень плохо» и «очень хорошо», все радости и горести. Но тогда он уже не принадлежал ей одной, безраздельно; тогда школа уже вклинилась между нею и сыном, уже успела создать для него особый мир, в котором не оказалось места для нее: мир своих друзей и своих интересов, своих обид и своих надежд. Игорь-школьник принадлежал матери только наполовину, и поэтому она предпочитала помнить его малышом.

Правда, один случай любила вспоминать часто и в подробностях и тогда, кажется, даже чуть улыбалась.

Игорек бежал в Испанию. Мальчики, обреченные на

безотцовщину, растут либо отчаянными неслухами, либо тихонями, и ее сын склонялся к последнему типу. Тихони из дома не бегают, зато с удовольствием подчиняются тем, кто бегают, а в том испанском побеге коноводом был соседский Володька, сын Валентины и Ивана Даниловича. Он рвался еще в Абиссинию защищать эфиопов от итальянских фашистов, но по полной географической необразованности запутался в направлении и опоздал. Потом начались испанские события, а в их квартире — строительство баррикад. Баррикады воздвигались совместно с Игорем, соседи ругались, потирая зашибленные места, а по всей коммуналке гремело звонкое «Но пасаран!».

Через год атмосфера в Испании накалилась настолько, что без Володьки республиканцы обойтись никак уже не могли. Одному двигаться было сложно (опять проклятая география!); Володька с трудом уломал Игорька смотаться в Мадрид, разгромить фашистов и вернуться к Майским праздникам в Москву. Однако бежали приятели почему-то через Белорусский вокзал, где их и обнаружил сосед Трофим Авдеевич, поскольку вся квартира была брошена на поиски, но повезло именно ему:

— Марш домой, огольцы!

Но каким бы Анна Федотовна ни представляла себе сына — беспомощным, ползающим, топающим, убегаящим в Испанию или решающим непонятные ей задачи, — в конце концов он непременно вставал перед ней медленно спускающимся с первого лестничного марша. И каждый вечер она видела его узкую мальчишескую спину и слышала одну и ту же фразу:

— Я вернусь, мама.

И еще она отчетливо помнила дыхание соседок за спиной, тогдашних солдаток, постепенно в порядке непонятной страшной очереди превращавшихся из солдаток во вдов. Перебирала в воспоминаниях коммунальные поминки, общую беду и общую бедность, серую лапшу с яичным порошком, карточки, лимитные книжки для коммерческих магазинов, на которые никогда не хватало денег, и — огороды. У всех тогда были огороды: с них кормилась, на них поднималась послевоенная Москва.

Участки распределялись предприятиями, но выращивали картошку всей коммуналкой сообща. Выходными, а то и просто вечерами по очереди ездили сажать, окучивать, копать. И знали, чью картошку едят сегодня за общим столом: у Любы-аптекарьши она поспевала раньше, у Маши была особенно рассыпчатой, а оладьи лучше всех получались у Валентины. Теперь нет такой картошки. Теперь есть только

три сорта: рыночная, магазинная да какая-то кубинская. А тогда был только один: коммунальный. Один для всех, кто пережил войну.

Вот так в привычных дневных делах, вечернем чтении писем, предрассветных воспоминаниях и вечной непроглядной тьме и проходила ее жизнь. Время текло с прежним безразличием к судьбам людским, равномерно отсчитывая падающие в никуда мгновения, но Анна Федотовна уже не замечала своего уходящего времени. Пережив где-то в шестьдесят прозрение в неизбежности скорого разрушения и скорого ухода из жизни,— то, что привычно именуется старостью,— она сохранила ясность ума и способность обходиться без посторонней помощи, потому что весь смысл ее жизни был в прошлом. Все настоящее было преходящим и быстротечным: тот небольшой объем домашней работы, который она оставила за собой; все истинное, то, ради чего еще стоило жить и терпеть, начиналось с вечернего чтения Танечки, короткого сна и заканчивалось бесконечно длинными и прекрасными воспоминаниями о сыне. Там, в этих воспоминаниях, она ощущала свое могущество: могла останавливать само время, поворачивать его вспять, вырывать из него любые куски и перетасовывать их по собственному желанию. Это было ее личное, всею жизнью выстраданное царство, и если к ней допустимо применить понятие счастье, то Анна Федотовна была счастлива именно сейчас, на глухом закате своей жизни.

Ей уже торжественно справили восьмидесятилетие, на которое собралась не только вся семья, но пришли сыновья и дочери тех, кто когда-то жил с нею бок о бок в голодной коммуналке. Кто если и не помнил, так по крайней мере мог хотя бы видеть живым ее Игорька, поскольку семенил, пищал и ползал в то первое военное лето. И поэтому им, практически уже незнакомым, посторонним людям она обрадовалась больше всего.

— Погоди, погоди...— проводила кончиками сухих невесомых пальцев по лицу, осторожно касалась волос.— Так. Полина дочка, что в ванной жила. Роза. Помню, помню.— Голова у Анны Федотовны уже заметно тряслась, но держала она ее прямо и чуть выше обычного, как держат головы все слепые.— Ты без солнышка росла тут, недаром мы тебя Беляночкой звали. Замужем?

— Дайте руку, тетя Аня.— Бывшая Беляночка, а ныне весьма солидная дама взяла сухую старческую ладонь и приложила ее к щеке своего соседа.— Мой муж Андрей Никитич. Знакомьтесь.

— Здравствуй, Андрей. Детишки-то есть у вас?

— Одна детишка со стройотрядом уехала, второй — в армии, — сказал муж. — Мы уж с Розой старики...

Жена сердито дернула его за рукав, и он сразу же виновато примолк. А Анна Федотовна без всякой горечи подумала, какая же тогда она древняя старуха, если дети детей служат в армии и уезжают в неведомые ей стройотряды. Что служат и уезжают — это ничего, это хорошо даже, только бы войны не было. Только бы мальчишки не уходили от матерей, медленно спускаясь по лестничным маршам навсегда.

Такие мысли частенько посещали ее: она принимала окружающую ее жизнь очень близко, потому что эта такая непонятная с виду, а по сути такая обыкновенная жизнь представлялась ей теперь вроде большой коммунальной квартиры. Где все рядом, где все свои, где горюют общим горем и радуются общим радостям, где едят общую картошку после общих трудов и откуда могут вдруг снова начать уходить сыновья. Вниз по лестнице в никуда. И до боли страдала за всех матерей.

— А меня узнаете, тетя Аня?

Бережно коснулась рукой:

— Гера. А Юрка где? Не пришел?

Напутала старая: Юрий стоял сейчас перед нею, а не Гера. Но никто не стал уточнять, только поулыбались. А Юрий неуверенно кашлянул и уверенно сказал:

— Юрка-то? Юрка, тетя Аня, гидростанции на Памире строит, привет вам просил передать. И поздравления.

— За стол, ребята, за стол! — скомандовала Римма. — Ведите именинницу на почетное место.

За столом как расселись, так сразу и повели непрерывные разговоры о том далеком времени. Гости вспоминали его и вместе и поодиночке, но вспоминали как-то очень уж общо, точно прочли несколько статей о Москве сорок первого прежде, чем идти сюда. Но Анна Федотовна ничего этого не замечала и была бесконечно счастлива, а сидя, расплывшаяся, год назад ушедшая на пенсию Римма могла быть довольна и была довольна, потому что всех этих гостей она не просто привела на торжество, но и хорошенько проинструктировала. Она была очень умной женщиной, и Игорек недаром мечтал с нею переписываться. Она заранее подобрала в библиотеке книжки, но каждому гостю велела прочитать что-то одно, чтобы все вместе могли говорить о разном и даже спорить, а сама Римма, зная об Игоре все, лишь подправляла эти воспоминания вовремя уточненными деталями. И все тогда прошло замечательно: бывшая ком-

муналка отметила восемь десятков осиротевшей женщины так, как редко кто отмечает.

А затем пришел 1985 год. Год сорокалетия великой Победы.

К празднику готовились, его ждали, им заслуженно гордились. И снова по телевидению — только теперь несравненно больше, чем двадцать и десять лет назад, — пошли фильмы и хроника, песни и стихи, воспоминания и документы войны. И все, кроме Анны Федотовны, смотрели передачи цикла «Стратегия победы», а Анна Федотовна уходила к себе. Ей было больно и горько: только она, она одна могла узнать родную мальчишескую спину из далекого сорок первого, но слепота навеки лишила ее этой возможности. Возможности последнего чуда: увидеть перед смертью давно погибшего сына.

А может, тогда, в шестьдесят пятом, и вправду мелькнул не ее Игорек? Тем более что видела она ту спину всего мгновение, видела неожиданно, не успела взглядеться... И внутренне, где-то очень, очень глубоко, почти тайком от себя самой, понимала, что это — не он. Не сын, не Игорек, но не хотела прислушиваться к трезвому голосу рассудка, а хотела верить, что Игорь хоть и погиб, но как бы не окончательно, как бы не весь, что ли. Не исчез бесследно, не истлел в братской могиле, не распался, а остался навеки в бледном отпечатке пленки, когда камера оператора снимала не его специально, а саму фронтовую жизнь, и в той фронтовой реальной жизни реально жил, двигался, существовал теперь уж навсегда ее сын. В это хотелось верить, в это необходимо было верить, и она верила. Только верила, не пытаясь ничего проверить.

— Бабуля, это к тебе, — громко и радостно объявила Танечка, входя в квартиру в сопровождении двух очень серьезных девочек и одного еще более серьезного мальчика. — Ты покажи им все и расскажи, ладно? А я побежала, я в музыкальную школу опаздываю. — И умчалась.

А слепая Анна Федотовна осталась на пороге кухни, не видя, но точно зная, что трое ребятишек застенчиво жмутся у порога.

— Раздевайтесь, — сказала. — И проходите в комнату прямо по коридору. Я сейчас приду к вам.

Гости чинно проследовали в ее комнату, а она вернулась на кухню. Привычно домыла тарелки, с привычной осторожностью поставила их на сушилку и прошла к себе. Дети стояли у дверей, выстроившись в шеренгу; проходя, она легонько коснулась каждого пальцами, определяя, какие же они, ее внезапные гости, обнаружила, что стоявшая

первой девочка выше и крепче очень серьезного мальчика, а последняя — маленькая и живая: она все время качалась, шепталась и переминалась с ноги на ногу, поскрипывая туфельками. «Значит, очень уж ей туфельки нравятся, наверно, обновка,— подумала Анна Федотовна.— А высокая, видать, у них за старшую, потому-то парнишка и пыжится. Да еще и волнуется, лоб у него в испарине». И, сразу же выяснив все, села в кресло, которое досталось ей по наследству от матери теперь уж тоже покойного Владимира.

— Садитесь, кому где удобнее. И говорите, зачем пришли, по какому такому делу.

Кажется, дети так и не сели, но долго шушукались, подталкивая друг друга. Наконец мальчика, видать, вытолкнули в ораторы.

— Ваша внучка Таня со своей музыкальной школой выступала на сборе нашей пионерской дружины. А мы взяли почин: «Нет неизвестных героев». А она тогда сказала, что у вас фашисты убили сына Игоря и что он вам писал письма.

Мальчик выпалил все единым духом и замолчал. Анна Федотовна обождала, но девочки молчали тоже, и тогда она уточнила:

— Игорь успел написать всего одно письмо. А второе написал после его смерти его товарищ Вадим Переплетчиков.

Протянула руку, взяла с привычного места — с тумбочки у изголовья — папку и достала оттуда листы. Зачитанные и еще не очень зачитанные. Протянула высокой девочке — Анна Федотовна ясно представляла, где она стоит сейчас, эта самая главная девочка.

— Здесь еще уведомление о смерти.

Папку взяли и сразу же сгрудились над ней: Анне Федотовне показалось даже, как при этом стукнулись все три лба, и она улыбнулась. Пионеры пошушукались, но недолго, и большая девочка сказала с нескрываемым недоверием:

— Это же все ненастоящее!

— Правильно, это копии, потому что настоящими письмами я очень дорожу,— пояснила Анна Федотовна, хотя ей не очень-то понравился тон.— Девочка... Та, которая маленькая, ты стоишь возле комода. Правда?

— Правда,— растерянно подтвердила маленькая.— А ваша внучка говорила, что вы ослепли от горя.

— Я научилась чувствовать, кто где стоит,— улыбнулась Анна Федотовна.— Открой верхний левый ящик. Там есть деревянная шкатулка. Достань ее и передай мне.

Опять раздалось шушуканье, потом скрип выдвигаемого

ящика, и тут же кто-то — Анна Федотовна определила, что мальчик, — положил на ее руки шкатулку.

— Идите все сюда.

Они сгрудились вокруг: она ощутила их дыхание, теплоту их тел и точно знала, кто где разместился. Открыла шкатулку, бережно достала бесценные листочки.

— Вот, можете посмотреть. Здесь письмо моего сына Игоря, письмо его друга Вадима и... И похоронка. Так называлось тогда официальное уведомление о гибели человека на войне.

Дети долго разглядывали документы, шептались. Анна Федотовна слышала отдельные фразы: «А почему я? Ну почему? Ты — звеньевая...», «А потому, что у нее сын, а не дочь, понятно тебе? Если бы дочь, то я бы сама или Катя, а так ты должен...». Еле уловимый, но, видимо, горячий спор закончился тем, что мальчик нерешительно откашлялся и сказал:

— Вы должны передать эти документы нам. Пожалуйста.

— То есть как это? — почти весело удивилась она. — Эти письма касаются моего сына, почему же я должна передать их вам?

— Потому что у нас в школе организуется музей. Мы взяли торжественное обязательство к сорокалетию великой Победы.

— Я с удовольствием отдам вашему музею копии этих писем.

— А зачем нам ваши копии? — с вызывающей агрессией вклинилась вдруг звеньевая, и Анна Федотовна подивилась, каким официально-нечеловеческим может стать голос десятилетней девочки. — Нет, это даже очень интересно! Ведь копии — это же так просто, это же бумажка. В копии я могу написать, что моя бабушка — героиня «Молодой гвардии», ну и что? Возьмет такую копию музей?

— Не возьмет. — Анне Федотовне очень не понравился этот вызывающий, полный непонятной для нее претензии тон. — И вы не берите. И, пожалуйста, верните мне все документы.

Дети снова возбужденно зашептались. В обычном состоянии для Анны Федотовны не составляло никакого труда расслышать, о чем это они там спорят, но сейчас она была расстроена и обижена и уже ни к чему не могла да и не хотела прислушиваться.

— Верните мне в руки документы.

— Бабушка, — впервые заговорила самая маленькая, и голосок у нее оказался совсем еще детским. — Вы ведь очень, очень старенькая, правда ведь? А нам предстоит жить и

воспитываться на примерах. А вдруг вам станет нехорошо, и тогда все ваши патриотические примеры могут для нас пропасть.

— Вот когда помру, тогда и забирайте,— угрюмо сказала Анна Федотовна.— Давайте письма, долго еще вам говорить?

— А если вы не скоро...— опять задиристо начала большая, но осеклась.— То есть я хочу сказать, что вы можете не успеть к сорокалетию великой Победы, а мы не можем. Мы взяли торжественное обязательство.

— Хочешь, значит, чтобы я до девятого мая померла? — усмехнулась Анна Федотовна.— Кто знает, кто знает. Только и тогда я не вам эти документы велю переслать, а в другую школу. Туда, где мой Игорь учился: там, поди, тоже музей организуют.

Они молча отдали ей письма и похоронку. Анна Федотовна ощупала каждый листок, удостоверилась, что они подлинные, аккуратно сложила в шкатулку и сказала:

— Мальчик, поставь эту шкатулку в левый ящик комода. И плотно ящик задвинь. Плотно, чтобы я слышала.

Но слушала она сейчас плохо, потому что предыдущий разговор сильно обеспокоил ее, удивил и обидел. Это ведь была не детская безгрешная откровенность: ее совсем не по-детски, а крепко, по-взрослому прижимали к стене, требуя отдать ее единственное сокровище.

— Трус несчастный,— вдруг отчетливо, с невероятным презрением сказала большая девочка.— Только пикни у нас.

— Все равно нельзя. Все равно,— горячо и непонятно зашептал мальчик.

— Молчи лучше! — громко оборвала звеньевая.— А то мы тебе такое устроим, что наплачешься. Верно, Катя?

Но и этот громкий голос пролетел мимо сознания Анны Федотовны. Она ждала скрипа задвигаемого ящика, вся была сосредоточена на этом скрипе и, когда наконец он раздался, вздохнула с облегчением:

— Ступайте, дети. Я очень устала.

— До свидания,— три раза по очереди сказали пионеры и направились к дверям. И оттуда мальчик спросил: — Может быть, надо вызвать врача?

— Нет, спасибо тебе, ничего мне не надо.

Делегация молча удалилась.

Горечь и не очень понятная обида скоро оставили Анну Федотовну. «Да что с несмышленишей спрашивать,— думала она.— Что хочется, то и говорится, души-то чистые». И, примирившись, опять перебралась на кухню, где теперь проходила вся ее деятельная жизнь: старалась не только

мыть да прибирать, но и готовить, и была счастлива, когда все ее дружно хвалили. И не догадывалась, что Римма тайком перебивает всю посуду и как может улучшает сваренные ею супы и борщи. Но сегодня Римма с утра уехала к старшему сыну Андрею, у которого заболел один из сорванцов, и поэтому кулинарные творения Анны Федотовны никто не корректировал.

Конечно, виной ее теперешних промахов была не столько слепота, сколько возраст. Она забывала привычные дозировки и рецепты, сыпала много соли или не сыпала ее вообще, а однажды спутала кастрюли, одновременно кипящие на плите, и домашние получили довольно загадочное, но абсолютно несъедобное варево. Но старую женщину никто не обижал, и она пребывала в счастливом заблуждении, что и до сей поры не только не обременяет своих, но и приносит им существенную пользу.

Она вскоре позабыла о визите старательных пионеров — она вообще часто забывала то, что только что происходило, но прошлое помнила ясно и цепко, — но чем ближе к вечеру скатывался этот день, тем все более явно ощущала она некую безадресную тревогу. И оттого, что тревога ощущалась безадресно, оттого, что Анна Федотовна никак не могла припомнить никакой даже косвенной ее причины, ей делалось все беспокойнее. Уже примчалась из музыкальной школы Татьяна, уже Анна Федотовна старательно покормила ее, отправила заниматься, перемыла посуду, а тревожное беспокойство все нарастало в ней.

— Переутомление, — определила Римма, когда по возвращении услышала смутную жалобу Анны Федотовны. — Ложись в постель, я сейчас Таньку пришлю, чтоб почитала.

— Не трогай ты ее, Римма. Она только уроки учить села.

— Ну, сама почитаю. И о внуке расскажу. Простуда у него, в хоккей набегался, а панику развели...

К этому времени странность Анны Федотовны уже давно перестала быть тайной. То, чего она боялась, оказалось настолько тактично принятым всеми, что Анна Федотовна уже ничего не скрывала, а, наоборот, просила того, кто был посвободнее, десять минут почитать ей перед сном. Чаще всего это была Танечка, так как Валентина работала на полторы ставки, чтобы содержать семью с двумя пенсионерками и одной пионеркой, а Римма была по горло занята не только собственной семьей, но и вечно простуженными мальчишками Андрея, жившего в новом районе, как назло, довольно далеко от их квартиры.

— «Я здоров, все нормально, воюю как все, — читала

Римма, тоже наизусть выучив все письма за эти длинные годы.— Как ты-то там одна, мамочка?..»

На этом месте с благоговейным спокойствием воспринимавшая ритуальное это чтение седая старуха вдруг подняла руку, и Римма удивленно смолкла. Спросила после напряженного странного молчания:

— Что случилось?

— Он чего-то не хотел, а они грозились,— невразумительно пробормотала Анна Федотовна, то ли всматриваясь, то ли вслушиваясь в себя.

— Кто он-то?

— Мальчик. Мальчик не хотел, а девочка его пугала. Он вроде отказывался — «не буду, мол, не буду», а та — «трус, мол, только скажи...» Римма! — Анна Федотовна вдруг привстала с кровати.— Римма, загляни в шкатулку. Загляни в шкатулку...

Не очень еще понимая, но и не споря, Римма встала, выдвинула ящик комода, открыла шкатулку. Старуха напряженно ждала, подавшись вперед в судорожном напряжении.

— Нету? Ну? Что ты молчишь?

— Нету,— тихо сказала Римма.— Похоронка на месте, фотографии, значки, а писем нет. Ни Игорька, ни второго, друга его. Только одна похоронка.

— Только одна похоронка...— прохрипела Анна Федотовна, теряя сознание.

«Неотложка» приехала быстро, врачи вытащили Анну Федотовну из безвременья, объявили, что функции организма, в общем, не нарушены, что больной следует с недельку полежать и все придет в норму. Анна Федотовна молчала, ни на что не жаловалась и глядела невидящими глазами не только сквозь врачей, сквозь Римму, сквозь оказавшую ей первую помощь Валентину и перепуганную Танечку, даже не только сквозь стены родной и вечно для нее коммунальной квартиры, но казалось, и сквозь само время. Сквозь всю толщу лет, что отделяли ее сегодняшнюю от собственного сына.

— Я вернусь, мама.

Нет, не слышала она больше этих слов. Она ясно помнила, где, как и когда произнес их Игорь, но голос его более не звучал в ее душе.

— Идите,— с трудом, но вполне четко и осознанно произнесла она, по-прежнему строго глядя в существующую только для нее даль.— Я засну. Я отдохну. Идите.

— Может, почитать...— робко начала Римма, но дочь одернула ее: читать было нечего.

Они выключили свет и тихо вышли из комнаты. Потом угасли шаги, голоса, проскрипели двери, и все стихло.

Анна Федотовна прикрыла слепые глаза, затаила дыхание, напряженно прислушалась, но душа ее молчала, и голос сына более не звучал в ней. Он угас, умер, погиб вторично, и теперь уже погиб навсегда. И, поняв это, старая, почти на полстолетия пережившая смерть единственного сына мать ощутила вдруг на дряблых, изрубленных глубокими морщинами щеках что-то теплое. С трудом поднесла непослушную руку, коснулась щеки и поняла, что это — слезы. Первые слезы с того далекого, отступившего на добрых пять десятков лет дня получения похоронки. Официального клочка бумаги со штампом и печатью, бесстрастно удостоверяющего, что ее единственный сын действительно погиб, что нет более никаких надежд и что последнее, что еще осталось ей, — это память о нем.

А от всей памяти оставили только похоронку. Разумом Анна Федотовна еще понимала, что память нельзя украсть, но то — разум, а то — действительность, и в этой действительности одновременно с исчезновением писем сына и его друга исчезли и их голоса. Они более не звучали в ней, как ни напрягала она свою память, как ни прислушивалась, как ни умоляла сжалиться над нею и позволить еще хотя бы разочек, один-единственный раз услышать родной голос.

Но было глухо и пусто. Нет, письма, пользуясь ее слепотой, вынули не из шкатулки — их вынули из ее души, и теперь ослепла и оглохла не только она, но и ее душа.

— Господи...

И вдруг отчетливо и громко зазвучал голос. Не сына, другой: официальный, сухой, без интонаций, тепла и грусти, не говоривший, а докладывающий:

— ...уведомляем, что ваш сын рядовой Силантьев Игорь Иванович пал смертью храбрых восемнадцатого декабря одна тысяча девятьсот сорок первого года в бою под деревней Ракитовка Клинского района Московской области.

«Нет! Нет! Нет! Не надо! Не хочу!» — беззвучно кричала она, но голос продолжал все нарастать и нарастать в ней, заглушая ее собственные беспомощные слова: «...что ваш сын рядовой Силантьев Игорь Иванович пал смертью храбрых... что ваш сын Игорь пал...» Голос уже гремел в ней, а по морщинистым щекам без перерыва, точно стремясь наверстать упущенное, текли слезы.

И даже когда она умерла и перестала ощущать все живое, голос еще долго, очень долго звучал в ее бездыханном теле, а слезы все медленнее и медленнее текли по

щекам. Официальный холодный голос смерти и беспомощные теплые слезы матери.

А письма оказались в запаснике школьного музея. Пионерам вынесли благодарность за активный поиск, но места для их находки так и не нашлось, и письма Игоря и сержанта Переплетчикова отложили про запас, то есть попросту сунули в долгий ящик.

Они и сейчас там, эти два письма с аккуратной пометкой: «ЭКСПОНАТ № ...» Лежат в ящике стола в красной папке с надписью: «ВТОРИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ».

1986

НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...

По окончании училища Галю Анисимову распределили в совхоз «Светлый путь». Район был глухоманным, и никто в него особо не рвался. Если сказать честно, то из города вообще никто не хотел уезжать: три девочки вышли замуж, еще трое куда-то пристроились, а одна так совсем поступила не по-комсомольски, взявшись торговать квасом. И как раз все они были из колхозов (те, кто устроился), а Галя — из города, но именно Галя проявила сознательность. Это ведь очень важно, что человек имеет, а чего — не имеет; так вот, Галя имела жилплощадь, комсомольский билет и две общие тетради: в одну она переписывала любимые стихи, в другую — важные мысли, и первой была записана такая: «ЧЕЛОВЕК — ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО». И поэтому Галя, проплакав ночь с мамой, утром получила документы и направление воспитательницей младших классов. Так ей и написали, потому что кончила она училище дошкольного воспитания, но детских садов в совхозе не было, а учителей не хватало, вот ей и написали в путевке такое хитрое назначение, что вроде она воспитатель, но вроде и учитель, и это Гале очень понравилось. И отцу понравилось:

— Молодец, дочка, так держать! Назад не вертаться?

— Ни за что!

— Ну, давай на полный ход.

От станции до центральной усадьбы совхоза ходил автобус, и Галя отметила интересную деталь, что расписание его было согласовано с прибытием поездов. Такая забота о приезжающих ей очень понравилась, всякие страхи рассеялись, и Галя прибыла к месту первой в своей жизни работы в состоянии улыбки. И сразу пошла к самому директору, потому что считала, что он тут всему голова. Перед директорским кабинетом сидело много народа, но Галя показала чемодан, и ее пропустили без очереди.

— Здравствуйте. Я — Анисимова.

Директор оказался на директора не похожим: был худ и очкаст. Молча выслушал, покрутил головой:

— Неужто добровольно?

— Я — комсомолка, — с достоинством сказала она.

— Ну, дуй тогда напрямиком в школу, там сейчас энтузиазм требуется.

В школе шел ремонт своими силами: белили, красили, клеили, чистили, мыли, и всем руководила директриса Антонина Кондратьевна. Кроме нее в учительской бригаде трудились историчка Анна Петровна, литераторша Прасковья Ивановна, математичка Зоя Леонтьевна и физкультурница Алла. Галю встретили как родную: расспросили, накормили, устроили в комнате вместе с Аллой в пятиэтажном доме и дали день на ознакомление. Галя оттащила вещи, распаковалась и пошла погулять по поселку. А в центре оказался магазин, в котором без всякой очереди, толкотни и знакомств продавались замечательные и сравнительно не очень дорогие сапожки. И Галя так была потрясена первым днем, что вечером написала маме восторженное письмо: «Мамочка, это прямо праздник!»

— Мамочке, значит, строчишь, — отметила Алла, заглянув через плечо. — А парня нет у тебя?

— Никого у меня нет, — с вызовом сказала Галя, но слегка покраснела.

— Значит, одна будешь по вечерам гулять, — вздохнула Алла. — По средам и пятницам с семи до одиннадцати.

— А почему такая точность?

— А потому, что ко мне исключительно точно приходит один человек.

— Ну и пусть приходит, а я в уголке почитаю.

— А потому, что он — женатый, — тем же очень противным тоном продолжала Алла, будто и не слышала о Галином намерении скромно почитать в уголке.

— Как ты можешь? — тихо спросила Галя. — Нет, как ты можешь, Алла? Ты же подрываешь семью, подрываешь нашу мораль, и вообще... И вообще, где твое человеческое и женское достоинство?

— Ты психичка? И откуда ты взялась такая? Да холостые либо в армии, либо на стройках, а кто тут задержался, тот давно уж себе присмотрел кого-либо. А мне двадцать шесть, поняла? Вот и будешь гулять по средам и пятницам!

Выпалив, Алла вдруг разревелась, хотя ростом и тренированной фигурой совсем не подходила для этого. Ревела громко и горько, и жалостливая Галя тут же кинулась поить ее валерьянкой, уверяя, что непременно будет гулять по

средам и пятницам. Потом и сама заплакала, и они славно поревели в четыре глаза и подружились.

— Знаешь, Аллочка, мне мама всегда говорила: «Не имей, Галя, сто рублей, а имей сто друзей». Вот съедутся учителя, будем у нас собираться, проводить диспуты, обсуждать книги любимых авторов.

— Директорша тебе пообсуждает, — усмехнулась Алла. — Знаешь, как ее в совхозе зовут? Царь-Кондратьевна. Как скажет, так и будет, и никаких тебе диспутов.

На другое утро они вместе побежали в школу, и Галя сразу включилась в работу, с некоторой опаской поглядывая на «царя». Но Антонина Кондратьевна не просто всем указывала да приказывала, а сама бралась за самую тяжелую работу, первой приходила и последней уходила, и все ее слушались исключительно из уважения. Конечно же Алла стущала краски, никакая Кондратьевна не царь, а буквально главная рабочая лошадь. Это Галя поняла быстро, перестала бояться и даже начала петь. Она очень любила комсомольские песни, и голос у нее был как будто специально создан для таких песен. Да и сама Алла, между прочим, ни капельки «царя» не боялась, а приставала больше всех, требуя денег на спортивный инвентарь.

— Ну не дает совхоз, Алла, не дает, — вздыхала Антонина Кондратьевна. — Вот уберутся...

— А вы потребуйте, — наседала Алла. — Стукните кулаком по столу, покричите на директора.

— Ну ладно, ну потом, ну докрасим...

Потом наступила среда, и Алла выставила Галю ровнехонько в половине седьмого. Вечер был теплым, Галя немного погуляла, а когда стемнело, пошла в кино. Смотрела что-то про разведчиков, фильм кончился в двенадцатом часу, и она побежала домой. Алла лежала в постели, глядела в потолок и улыбалась.

— Уже спишь? — спросила Галя.

— Еще сплю.

— Как так — еще? Он... Ну, то есть... Не пришел, значит?

— Нет, ты все-таки психичка, — рассмеялась Алла. — Потому и сплю, что пришел.

Галя перестала спрашивать и стала краснеть, потому что кое-что сообразила. Для нее любовь еще упрямо ассоциировалась со вздохами на скамейке, поскольку в этом важном вопросе не имелось решительно никакого опыта. Она быстренько разделась, юркнула под одеяло, сказала: «Спокойной ночи!» — отвернулась к стенке и долго еще краснела.

— Спокойной ночи, малыши! — громко сказала Алла, когда Галя еще продолжала краснеть, но уже начала засыпать. — Ох, и посплю же я сегодня!

Она и вправду спала как убитая, а Галя вздыхала, ворочалась и думала. И чем больше думала, тем больше убеждалась, что обязана вмешаться. Что ее соседка по комнате, товарищ по комсомолу и работе в школе обманывает неизвестную женщину, обрекая ее на горе, а семью на распад. Но с Аллой говорить было бесполезно (Галя с трудом, но допускала, что физкультурница влюбилась), и, движимая благородным беспокойством, Галя решила познакомиться с «ним» и спокойно, по-товарищески все ему объяснить, что это нехорошо и что пусть уж он лучше все откровенно расскажет жене и разведется, хотя развод — явление исключительное. Ну и еще обязательно про честь и достоинство женщины, имеющей абсолютно равные права.

В пятницу Алла опять выставила ее, но Галя на сей раз в кино не пошла, а, нагулявшись, стала кружить возле дома и действительно около одиннадцати заметила мужчину, вышмыгнувшего из их подъезда. Но она не рассчитала, оказалась сзади, а он шагал широко, и настичь его не удалось. Но разведка прошла удачно, и Галя ждала следующей среды со все возрастающим охотничьим азартом.

А жизнь шла своим чередом. Ремонтировали, белили, красили, уставали, ворчали, но — делали, и, как всегда, неугомонная Царь-Кондратьевна делала больше всех, ворочала больше всех, уставала больше всех, но никогда ни на что не жаловалась. И Галя в нее непременно бы влюбилась, если бы не эта история с разрушением семьи. Сначала следовало навести порядок, и это Галя ощущала как свой личный долг. И в очередную среду, промокнув под дождем и продрогнув под ветром, перехватила подлеца-двоелюба, ринулась навстречу да так с открытым ртом и окаменела. А он обошел ее и поспешно затрусил дальше, пригнувшись и подняв воротник. А Галя со всех ног бросилась в дом. Влетела в комнату, где опять тихо и расслабленно блаженствовала в теплой постели Алла, и выпалила:

— Да он же... Он же старый! Ему же лет сорок!

— Он — мужчина, — странным тоном сказала Алла и так потянулась всем своим физкультурным телом, что Галю сразу же бросило в маков цвет.

Ей стало так стыдно и от слова «мужчина», и от того, как потянулась тугая физкультурница, что она разревелась. Ревела в голос, всхлипывала и кричала:

— Стыдно, стыдно! Да у него дочка, наверно, старше меня! Как ты можешь, где твоя девичья гордость, где твое

женское достоинство! Нет, или ты немедленно порвешь с этим ужасным стариком, или я пойду к его жене. Или... или напишу в «Комсомолку»!

— Или получишь,— сказала Алла.— Спать, зануда!

И Галя тотчас же легла в постель, давясь слезами и тихонечко всхлипывая, потому что испугалась. То ли глаза у Аллы сверкнули, то ли кулак она сжала, то ли голос был обещающим, а только Галя затихла, как мышка. Долго жалобно вздыхала, думала, как же ей теперь бороться, а потом уснула. А слезы катились по спящему лицу.

Проснувшись, она сразу поняла, что с этого дня началась война: Алла ушла на работу одна. Огорченная Галя выпила чаю и побежала в школу, но в почтовом ящике обнаружила перевод. И сразу заулыбалась, подумав, какая у нее заботливая мама и как это она умудрилась изыскать эти сто рублей.

— По двадцать пять выдам,— сонно сказала девушка на почте.— Все равно других нет.

— Конечно, конечно! — обрадовалась Галя.

Ей очень нравились четвертные, потому что она никогда не держала их в руках. Впрочем, полусотенные и сотенные она тоже не держала, но считала, что все следует познавать постепенно. И, получив четыре двадцатипятирублевки, старательно уложила их в маленький кармашек сумки и даже застегнула кармашек на булавку. И так волновалась, что забыла листок почтового перевода в окошке почты. А там мама сообщала, что очень за нее рада и что посылает деньги на сапожки, которых у Гали никогда в жизни еще не было.

В школе все работали, но объяснять ничего не пришлось, потому что не явилась сама Антонина Кондратьевна. Галя швырнула сумку, надела рабочий халатик и начала помогать. А вскоре пришла и сама Царь-Кондратьевна и с порога закричала:

— Не так, не так, мыть сперва надо! Господи, да подождите, я покажу!

Забегала в комнату, переделась, схватилась работать — только поспевай. И все схватились: Галю три раза к питьевому бачку за водой посылали. Все исправили, заново отмыли, а пока сохло, сошлись в чистой комнате передохнуть.

— И как это я про купорос забыла,— сокрушалась историчка.

— Хорошо, я вовремя поспела,— улыбнулась директриса.— Кручусь по кабинетам, а сердце не на месте. Ну да ладно, главное — выдали нам обещанное. Покупай, Алла, свои футболы.

Полезла в свою огромную сумку и — замерла. И улыбка вдруг с лица сошла, руки судорожно закопошились, все в сумке переворачивая. Потом Антонина Кондратьевна руки вытащила, оглядела всех суровым взглядом и сказала:

— Анну Петровну, как профорга, прошу остаться. Остальным выйти.

— А что случилось? — спросила Алла, которой только что пообещали долгожданные футболы.

— Я сказала, выйти! Буду вызывать, когда сочту нужным.

Все, толкаясь, вышли, и Галя подумала, что никогда еще не видела директрису такой сердитой. Алла шепталась с математичкой и литераторшей. Галю в разговор не включали, она выбралась во двор и села на скамейку. Ветра не было, солнышко грело вовсю: Галя сладко жмурилась и подставляла ноги, чтоб загорели. А потом Алла крикнула, что велено; Галя вошла вместе со всеми, но была разморенная и очень ласковая, а тут сразу спросили, сколько у нее при себе денег. Она растерялась, забыла про перевод и сказала:

— У меня с собой семнадцать рублей до получки.

Это она успела подумать, что, может, кто-нибудь остро нуждается, хотела по-товарищески помочь, но предупредила, что «до получки».

— Это твоя сумка? — спросила суровая Царь-Кондратьевна. — Вытряси из нее все на стол.

Галя послушно раскрыла сумочку, перевернула ее и встряхнула. И первыми вылетели сто рублей четырьмя двадцатипятирублевками. Галя очень удивилась: она хорошо помнила, что положила деньги в маленький кармашек и застегнула на булавку. И сказала:

— А почему они вывалились? Ведь я их спрятала.

— Ах, она спрятала! — громко объявила Анна Петровна. — Прошу всех запомнить: она созналась, что прятала.

— Вот твои деньги, Алла, — вздохнула директриса. — На футболы и баскетболы.

И брезгливо, двумя пальцами взяла четвертные и протянула их Алле. А потом повернулась к Гале всем телом и молча стала на нее глядеть. Остальные тоже на нее глядели, и Галя, еще ничего не успев сообразить, покраснела и заплакала.

— Еще стыд есть, — вздохнула литераторша.

— Ну, Анисимова, — сказала Царь-Кондратьевна. — Что будем делать, Анисимова?

— Это мои деньги, — размазывая слезы, сказала Галя. — Мне мама прислала.

— Врет,— сказала Алла.— Похвасталась бы, если бы прислали. Или ты такая богачка, что для тебя сто рублей — тьфу, да? А еще морали мне читала!

— Эти сто рублей я сегодня получила в совхозной кассе,— с похоронной торжественностью сказала Антонина Кондратьевна.— У меня есть свидетель — кассир, которые выдал мне четыре купюры. Вот эти самые. А у тебя есть свидетели, Анисимова?

— Мама,— начала Галя, со страху забыв про сонную девчонку на почте, про перевод и собственную расписку на нем.— Мама мне...

— Значит, ты — воровка,— убежденно сказала историчка Анна Петровна.— Вот, товарищи, какое пополнение получил наш коллектив, полюбуйте.

— Нет! — отчаянно закричала Галя.— Нет же, нет, нет!..

— Стыдится,— вздохнула литераторша Прасковья Ивановна.— Не все еще потеряно.

— Ну в этом милиция лучше нас разберется,— сказала директриса.— Алла, сходи за участковым.

— Нет! Я умоляю! Я прошу, прошу, прошу! — Галя упала на колени, захлебываясь слезами.— Прошу!..

Интуитивно она чувствовала, что утверждать, будто это ее деньги, сейчас не только бессмысленно, но и опасно: все были твердо убеждены, что она украла эту несчастную сотню. Любое ее упорство еще больше обозлило бы их, и тогда они могли натворить ужасные вещи: потребовать, чтобы ее арестовали, уволили из школы, исключили бы из комсомола, с позором отдали бы под суд. И она только просила и плакала, плакала и просила, и они добрели на глазах.

— Нет, не все еще потеряно.

— Да, она очень искренна.

— Что вы хотите — девчонка. Взяла по глупости, как ребенок игрушку.

— Страдает.

— Можно взять на поруки. Как вы считаете?

— Тишина! — Антонина Кондратьевна постучала по столу.— Выбирай, Анисимова, какой суд тебя устраивает: народный или наш, товарищеский.

— Ва-ваш,— захлебываясь в слезах, проговорила Галя.

— Как, товарищи, поступим? — обратилась к педагогам директриса.— Перед нами — факт хищения общественных денег, однако признание было добровольным.

— Учень,— сказала математичка Зоя Леонтьевна.

— Простить,— вздохнула литераторша Прасковья Ивановна.

— Наказать, чтоб запомнила,— предложила историчка Анна Петровна.

— Алла, выведи подсудимую в коридор,— распорядилась Царь-Кондратьевна.

Дрожащая Галя и тихо торжествующая Алла вышли. Алла закрыла дверь комнаты, где совещались старшие, и яростно потрясла перед покрасневшим Галиным носом очень крепким кулачком.

— У, зануда! Моя бы воля — сдала бы в милицию, и пусть она сажает в тюрьму.

— Не надо,— всхлипывала преступница.— Что угодно, только не в милицию.

Совещание закончилось быстро, поскольку не возникло ни прений, ни сомнений. Антонина Кондратьевна велела войти и запереть дверь на крючок. Галя, робко всхлипывая, осталась у порога, глядя, как математичка и историчка деловито очищают длинный канцелярский стол. Когда все было готово, директриса коротко пояснила, сколь безнравственно воровство, а в заключение сказала:

— По закону тебя следовало бы направить в исправительную колонию. Однако учитывая твоё прилежание, молодость и, главное, то, что ты сразу же созналась в преступлении, мы сочли возможным ограничиться домашним наказанием. Ты согласна на домашнее наказание, Анисимова?

— С-согласна...

— Тогда ложись на стол и подними халат. Каждая нанесет тебе десять ударов деревянной линейкой.

— Плашмя,— уточнила историчка.— Это символическое наказание.

А потом все пошли работать, и работали очень дружно, а под конец даже запели, и Галя несмело подпевала. Все оказалось сразу же забытым, и хотя Гале до слез было жалко мамины сто рублей, она считала, что поступила правильно. «Ну что же делать, раз так вышло,— думала она, старательно помогая всем, кто просил и кто не просил.— Зато меня все теперь жалеют, а потом и любят. А гордечек никогда не любят ни в одном коллективе. И все уже кончилось, все страхи позади...»

Страхи и вправду были позади, но все кончилось совсем не так, как представлялось Гале, и об истинном конце знала одна Антонина Кондратьевна. Вечером того же дня, снимая перед сном увесистые потайные доспехи, в глубокой чаще лифа она обнаружила промокшие от пота сто рублей. Четыре купюры по двадцать пять.

— Господи, когда же это я их туда засунула? — обалдело сказала она, рыхло опускаясь на заскрипевшую кровать.

— Ты меня? — крикнул из другой комнаты муж.

— Нет, нет, это я так!

Антонина Кондратьевна не спала до рассвета. Вздыхала, ворочалась, мешая спать мужу. Ее глодала одна мысль: когда же она сунула эти несчастные деньги в свой объемистый бюстгальтер? Это представлялось самым главным: казалось, что стоит вспомнить, когда же она, аккуратно сложив пополам, заправляла купюры за вырез платья, как все остальное осветится каким-то особым светом. Но она так и не смогла ничего припомнить. Ну, решительно ничего, вот кошмар!

К утру она кое-как успокоилась и поняла, что ни одна живая душа не должна знать об этом деле: авторитет директора школы диктовал лишь одно решение. И как только она приняла его, так тут же подумала, что совет мужу насчет премии и купит лично себе люстру с блестящими звонкими подвесками.

Галя имела все основания считать себя прозорливой, ибо сама директриса, сама Царь-Кондратьевна очень ее любила. Строго-настрога запретила говорить о товарищеском суде («Кто проболтается, выгоню! Ты слышала, Алла?»), поддерживала советами, опекала и угощала сладеньким и даже один раз пригласила к себе отметить приобретение очень красивой люстры. А когда начался учебный год, то могла составить план занятий и лично присутствовала на ее первом уроке.

Только вот сапожек Галя так и не купила и зиму пробегала в туфлях. До школы еще ничего, а по средам и пятницам, прямо скажем, трудновато. Надо большую выдержку иметь, силу воли и характер. И Галя очень гордилась собой.

«ХОЛОДНО, ХОЛОДНО...»

Издалека донесся глухой натужный стон. Он рос, выравнивался, наполнялся мощностью, постепенно перерождаясь в строгий, выверенный рев сотен лошадиных сил. Тяжко задрожала земля, с придорожных елей посыпались иглы, смолкли птицы и звери, и из тумана показалась машина. Она не рвалась вперед, пожирая километры, не вздыхала, похрустывая от перегрузки,— она надвигалась солидно и неотвратно, точно было явлением стихии, а не результатом человеческого труда. Тупое широкое рыло равнодушно взидало на мир зарешеченными глазницами фар, кабина напоминала кафе, а за нею вырисовывалось огромное сооружение без окон и продухов, зашитое в алюминий и выкрашенное сверкающей серебристой краской.

Это был всего-навсего гигантский холодильник, а как-то не верилось, что такое чудовище может быть предназначено для мирной перевозки продуктов. Скорее можно было предположить, что это — передвижная бойня, цех по убийству скота, что в него не грузят замороженные туши, а сами туши — еще живые, теплые, еще умеющие страдать и бояться смерти — покорно идут в оцинкованное нутро, едва переступая дрожащими от ужаса ногами...

Рефрижератор показался из плотного мокрого тумана хмурым октябрьским вечером на пустынном шоссе. Машина двигалась неспешно, держась ближе к осевой линии, но сразу притерлась к правой обочине, как только одинокий пешеход неуверенно поднял руку. Это был солдат-первогодок в выгоревшем за лето мятом мундире. На обветренном лице кое-где и кое-как рос белый пушок, светлые глаза смотрели сквозь толстые очки с юношеской готовностью.

— Защитникам отечества! — весело приветствовал солдата шофер. — Далеко собрался?

— До Михнева не подвезете?

— Садись.

Солдат живо взобрался на высокую подножку. Глянул на водителя, улыбнулся виновато:

— Знаете, у меня денег нет.

— Обижаетесь.— Хлопнула дверца, заурчал, наращивая обороты, мотор.— Я так считаю, что дорога вообще должна быть бесплатной. А я еще и по соседу стосковался: напарника моего аппендицит прихватил. Ну, сняли с рейса в больницу, вот шесть сотен кеме один и пилю. С непривычки петь начал, чтоб не заснуть. Напарник у меня — мировой мужик, мы с ним на этом крокодиле, считай, пол-Европы изъездили. А знаешь, где человека легче всего проверить? За кордоном, усек? Ежели он — дерьмо, так там сразу себя проявит. Жлобиться станет, пенензы считать, на спичках экономить — я таких не люблю. Надо все в меру, так, что ли? И напарник мой в этом плане в полном порядке. А в рейсе, я тебе прямо скажу, хорошо, когда справа от тебя стоящий мужик сидит: мало ли, что может случиться. Усек, солдат?

— Да, да, конечно. Вы правы.

Шофер был приветлив и добродушно словоохотлив; солдат поддакивал, но слушал вполуха. Он осторожно, искоса, но очень внимательно разглядывал водителя, и водитель нравился ему: сильный, уверенный в себе бывалый человек с кажущейся небрежностью вел тяжелую машину, и она покорно подчинялась каждому его движению. Юноша умилялся сноровке мастера, не подозревая, что сам он вызвал в мастере как раз обратные чувства. Шоферу не понравилось в солдате все: и толстые стекла очков, и беспомощные близорукие глаза, и мятый мундир, и сутуловатая, совсем не военная фигура. «Защитничек,— презрительно отметил он про себя.— Маленький сынок, сразу видать». Но спросил вполне благожелательно:

— Мама, поди, тоже в очках?

— В очках,— почему-то обрадовался солдат.— Она библиотекой заведует.

— А папа?

— Не знаю,— суховато сказал пассажир.— Он бросил нас. Давно, я его и не помню.

— Да, поездил я по Европам, поездил,— начал вдруг шофер, неуклюже пытаясь сгладить возникшую неловкость.— Сперва-то я на маршруте Варшава — Москва работал, а сейчас на длинный, на Афины — Стокгольм, перешел. Маршрут правильный: дороги отличные — раз, стран побольше — два. У меня в Афинах приятель, в Стокгольме приятель: нормально живут, добротню. Я им — сувенирчик, они мне — сувенирчик. Юрген и Христо. Хорошие ребята, с

пониманием, сами — шоферы-дальнорейсовики: сутки дома, семь — в пути. Да. Пятый год на сухомятке, а брюхо еще держится. У всех моих корешей язвы — ну вповалку! — а у меня — тьфу, тьфу! У меня докторишко знакомый, точнее даже — родственник. Ну, родня родней, а сувенирчик сувенирчиком, точно? Все-таки загранрейсы — это возможности. Вот он меня и научил: первое, говорит, режим, второе — термос. Да не с чаем, там, не с кофеем: с бульончиком, усек? И я — в полном порядке, и он — в полном порядке: сигареты «Кент» не переводятся. Да, режим — это главное дело... Во, как раз наше время. Ты как, солдат, насчет перекусона? Солдат спит — служба идет, солдат ест — служба бежит, так, что ли? У меня и кофе найдется, не только бульон.

— Спасибо, я сыт.

— Ладно, помалкивай, дорога дружбой держится. А с солдатом куском не поделиться — это, брат, не по-нашенски, не по-рабочему.

Говоря без умолку, шофер плавно причалил к обочине. Вылез, обошел машину, привычно пнул ногой в скаты, проверил пломбы на воротах холодильной камеры. Солдат герпеливо ждал в машине.

— У меня тоже вроде как служба, — сказал водитель, взбираясь на место. — Я ведь не только рулило, я еще и охранник. Немного, правда, в этот рейс мяса, но и за ним надо приглядывать, верно, солдат?

Солдат издал нечто среднее между смешком и покашливанием. Он был застенчив, предпочитал помалкивать и всегда соглашался.

— Сейчас свет включим, терпеть не могу в темноте жевать. Вроде как сам от себя тайком.

Зажглась лампочка, и случайные попутчики смогли впервые как следует рассмотреть друг друга. Солдат оказался совсем неказистым воином: худым, длинношеим, узкоплечим и чересчур уж тихим. А добродушно-болтливый шофер выглядел довольным жизнью плотным здоровяком, любившим, вероятно, вкусно поесть, сладко поспать и уютно поковыряться в какой-нибудь несложной домашней технике. И если в солдате чувствовалось неуменье быстро завязывать знакомства, то водитель, наоборот, был чрезвычайно общителен. Они были противоположностью, но противоположностью не дополняющей друг друга, а как бы вычитающей что-то. И поэтому разговор не вязался, несмотря на общую еду.

— Ешь, ешь, нажимай, — скорее уже по привычке угощал водитель. — Солдату всегда жрать охота, по себе знаю.

— Мне, знаете, хватает в армии.

— Хватает? — Шофер покосился. — В институт, что ли, срезался?

— Я вообще не сдавал.

— Что ж так? Хлипкий ты для рабочего человека. Тебе в интеллигенцию надо.

— Я в Суриковское хочу, — нехотя признался солдат.

— Кого же это из него выпускают?

— Там живописи учат. И валяню.

— Живописи... — разочарованно повторил водитель. — А что же не сдавал, если живописи хочешь?

— Как вам сказать? — Солдат помолчал. — Чтобы творить, надо многое знать. Не из книжек, а из жизни. Я, например, Попкова люблю: вот он знал, что писал.

— Кто такой?

— Виктор Попков. Художник.

— Художник, — протянул шофер. — От слова «худо», так, что ли? Да ты пей кофе, пей.

— Спасибо, не хочется. Вы как-то нехорошо сказали про Попкова. А он — серьезный художник, большой. И нет его уже, погиб.

— Да пустое это все, — проворчал шофер, убирая еду. — Художники, живописи. Сейчас техника все решает. Я, например, слайды уважаю, а пленку — нормальный «кодак», заметь, — за кордоном беру. Кто — шмутье, а я — пленку Класная пленочка! Выбрал видок, щелкнул — ну и какая живопись сравнится? Видел я этих художников: сидят целый день, срисовывают, срисовывают, а я щелк — и пожалуйста.

— Вы не правы. — Солдат сердито поправил очки и начал краснеть. — Вы совершенно, абсолютно не правы сейчас, извините.

— Что-то больно ты вежливый: извиняюсь да извиняюсь. Ты с рабочим человеком говоришь, нечего вежливостью пугать. Крой правду-матку: она и есть самая вежливая.

— Извините, я так не умею, но относительно вашей идеи заменить живопись слайдами все же скажу. Это очень наивное мнение, что художник пишет натуру как она есть. Это как раз слайды копируют природу, а живопись никогда копированием не занималась и не должна заниматься. Живопись...

— Ладно, живопись — это к примеру, не заводись. Искусство служит народу, слышал? Я с работы прихожу, так ты мне отдохнуть дай, отвлеки, юморок там, Леонова или Райкина. А то мы вкальваем как звери, а артисты эти для себя всякие трагедии в постановках разыгрывают. Знаешь, как это называется? Это называется искусство для искусства, усек?

— Извините, искусство для искусства — это же совсем иное. Это...

— Ну, будет, будет тебе баллон на меня катить, — решительно перебил шофер. — Я ведь просто так сказал, со своей точки.

Разговор вел к взаимному охлаждению, а впереди ждала дорога, и старший первым забил отбой:

— Лучше расскажи, из-за кого в самоволку сорвался.

Солдат, строго нахмуренный, уже изготовившийся для спора, заулыбался всем лицом, как улыбаются в любви и в детстве.

— А как вы угадали, что я в самоволке?

— А я, брат, Штирлиц, — засмеялся шофер. — Мундирчик на тебе хреноватый, в таком через капепе не выпустят. Так или не так?

— В общем, так. Знаете, удивительное сочетание обстоятельств: штаб считает, что я — в роте, а рота — что я в штабе лозунги к Октябрьским пишу. Раньше двух дней ни за что не хватятся, а я за это время Наташку повидаю и назад.

— Вот, значит, из-за кого солдаты через забор сигают, — усмехнулся водитель. — «Вы служите, мы вас подождем», так, что ли?

— Ну, как сказать, — засмутился солдат. — В общем, в школе учились вместе. Она способная девчонка, в медицинский с ходу поступила, а их курс как раз в Михнево на картошку послали. То-то удивится, когда появлюсь!

— Точно! — Водитель вздохнул. — У меня тоже Наташка. Дочка. В прошлом году школу кончила да так без дела и болтается. Дурная молодежь пошла.

— Извините, а зачем же вы обобщаете? Молодежь разная.

— Разная? — Шофер покрутил головой. — Один кричит: неси, неси! Второй: вези, вези! Вот и вся разница. Я за кордоном воды стакан выпить не решаюсь, а ей все мало.

— Кому — ей? Молодежи?

— Ладно, кончили! — жестко отрубил шофер. — Все вы хороши, когда вам тряпки понадобятся.

Взревел мотор, машина плавно отвалила от обочины, расстилая в густеющем сумраке шлейф черного дыма. Она шла легко, играючи, подрагивая от избытка клокочущих в ней сил. А люди недружелюбно молчали, уже жалея, что судьба свела их на этой дороге.

— Хороший автомобиль, — неуверенно похвалил солдат только для того, чтобы хоть что-то сказать.

— Да, класс, — без особого энтузиазма отозвался шофер.

И опять нависло молчание. Уютно урчал мотор, чуть покачивались сиденья, веяло расслабляющим теплом.

— А вы часто за границей бываете?

Солдату было не очень интересно, часто ли бывает шофер за границей: просто он испытывал большое неудобство от молчания и считал себя виноватым. И неожиданно вопрос его попал в точку: водитель довольно заулыбался, вновь благосклонно поглядев на пассажира.

— По графику положено два раза в месяц. Ну, я подсчитал, прикинул возможности и предложил встречный план за счет увеличения средней скорости и сокращения стоянок. Приняли, назвали почином, и теперь за кордоном я уже три раза в месяц буду бывать. Вот так, усек? Не покумекаешь — не подработаешь.

— Вы не шутите? — Солдат недоверчиво посмотрел на него. — Знаете, я первый раз живого инициатора вижу, не обижайтесь, пожалуйста. Вы, можно сказать, тот самый положительный герой, которого я изучать должен, если хочу всерьез живописью заняться. А я хочу, потому что это не детское увлечение, а мечта всей жизни.

Юная горячность пассажира понравилась водителю. Он был человеком отходчивым и с готовностью откликнулся на искреннюю заинтересованность случайного спутника.

— Изучай, дело хорошее. Я тебе так скажу, что дураков много кругом. Болтают: за границей, мол, заработок. Ну, заработок — это точно, только за этот заработок там такую работенку требуют, что и лоб не утрешь. А наши крикуны о чем мечтают? О том, чтоб работать как при социализме, а получать как при капитализме. Нет, милый друг, хочешь хорошо получать — хорошо и повкальвай, так, что ли?

— Абсолютно с вами согласен! — с комсомольской готовностью подтвердил солдат.

— Раньше-то и я дураком был: искал, как бы словчить, — с удовольствием продолжал шофер. — А потом понял: самое выгодное — это нормально работать. Ну, сперва, конечно, пришлось повкальвывать, поработать на авторитет: перевыполнял, соревновался, на собраниях не отмалчивался, как некоторые, по общественной линии тоже. Трудный был период, ничего не скажу, зато теперь — полный порядок. Теперь авторитет на меня работает, усек?

Говорил он с таким самодовольством, что солдату стало не по себе. Наивный энтузиазм его таял с каждой фразой собеседника, но юноша из деликатности изо всех сил улыбался.

— Да, конечно, конечно.

— И все нормально. Кому премия? Мне. Кому квартиру без очереди? Между прочим, на троих трехкомнатную дали,

представляешь? Кому путевку на курорт, когда захочу? Обратно мне. И рейсы, заметь, я сам выбираю, и почин этот опять же. И им выгодно, и мне выгодно: на этом почине я полтора оклада буду иметь и, главное, дополнительную валюту, усек? В какой загранице ты такие блага получишь? Да ни в какой, ответственно тебе говорю. А что от меня требуется? Нормально работать да мораль соблюдать. Ну, там, не опаздывать, не халтурить, не пить, с женой, к примеру, чтоб все путем. Я все соблюдаю, и я — главной директора: тот место боится потерять, а я ни хрена не боюсь. Я — представитель рабочего класса, усек? Вот кем надо быть: представителем.

— Трудно, наверно.

— Да чего там! Конечно, сорваться боязно: среди представителей тоже, знаешь, конкурс. Как чуть оступился, так сразу шансы получаешь навывлет просквозить. Народ злой стал, завистливый...

И опять между ними точно кошка мелькнула: солдат замкнулся, насупился, даже голову в плечи втянул. Его угнетали развязные откровения шофера: он считал его очень глупым, втайне удивляясь, как такого терпят на работе. А между тем водитель был далеко не глуп: он прошел превосходную школу и точно знал, с кем надо помолчать, кому — поддакнуть, а кого и анекдотом развеселить. Перед случайным попутчиком, который через полчаса сойдет с машины, не имело смысла играть. А вот похвастать перед ним уменьем жить, преподавать, так сказать, урок хотелось, ибо его собственная дочь подобных уроков не выносила и тут же кричала: «Заткнись!» И в этом разговоре водитель брал реванш и за отбившуюся от рук дочь, и за пренебрежение коллег, и за всю очкастую, хилую, никчемную интеллигенцию, которая куда чаще ставила трагедии для себя, чем комедии для него.

Однако даже сейчас, туманным октябрьским вечером, в разговоре со случайным попутчиком на пустынном шоссе шофер осторожничал. Роль, избранная им, — роль энтузиаста-передовика, целиком и полностью разделяющего мнение начальства еще до того, как начальство само сформулирует это мнение, — требовала высшей дипломатии, иезуитского притворства и крысиной приспособляемости к обстоятельствам. Он давно уже выдрессировал самого себя, привыкнув не только слышать каждое свое слово, но и по-звериному чутать, как это слово воспринимает собеседник. И поэтому, чутко ощущая растущее неприятие солдата и получая от самоутверждения сладчайшее удовлетворение, не зарывался, вовремя выравнивая крен.

— Вообще-то я, конечно, сгущаю, усек? Коллектив у нас здоровый, как говорится. Вон по спорту все призы взяли, я сам золотой значок имею. Ты спортом-то увлекаешься?

— Не очень, знаете,— нехотя признался солдат.— Правда, если международная встреча, то я смотрю.

— Болеешь, значит?

— Болею. За наших.

— А я — за «Спартачок». Но и сам занимаюсь. Спорт, он очень полезный и в смысле здоровья, и для самообороны. Лет десять назад случай был. Иду я вечером с работы и — трое под банкой. Дай закурить, то да се, ну, и накидали мне полное рыло. Думаешь, защитил кто? Милиция там, дружинники? Какое! Вот с той поры я и понял, что за меня только один человек вступится: я сам. Самбо изучил, штангу регулярно толкаю, зарядка каждый день. И — в форме: кто ко мне сейчас сунется и кто мне мои сорок семь даст? Не курю, выпиваю только по праздничкам, режимчик и — нормальный вид. Так что зря ты этим пренебрегаешь. Поверь, зря.

— Возможно.— Солдат пожал плечами.— Мама говорит, что сейчас все о теле заботятся, а о душе забыли. А прежде о душе больше думали.

— Чего?..— Шофер с искренним изумлением уставился на пассажира.— Да ты никак сектант, что ли? Что ты мелешь, какая душа...

Машина не ощутила сопротивления, не вздрогнув, не звякнув, солдат ничего не расслышал, и только водитель опытным ухом и чуть дернувшимся рулем уловил неладное. И сразу нажал на тормоз.

— Что такое?..

Вылез, хлопнув дверцей. Ровно урчал на холостых оборотах мотор. Солдат выглянул, но на пустынной, затянутой туманом дороге никого не было. Спрыгнул на асфальт, поеживаясь от пронзительной сырости.

— Где вы? Что-нибудь случилось?

Никто не отозвался, и звуков никаких не слышалось, только работал двигатель да по козырьку фуражки шелкали редкие и тяжелые дождевые капли. Солдат постоял, послушал и пошел вдоль огромного серебристого чрева рефрижератора. Обогнул его и в нескольких шагах на шоссе увидел размытую туманом фигуру.

— Вот вы где! Я уж думал...

И замолчал: на мокром асфальте у ног водителя неподвижно лежала девушка в светлом плаще. Рядом ручкой вверх валялся пестрый складной зонтик, чуть раскачиваясь то ли от ветерка, то ли еще по инерции.

— Что с ней?

— Что?..— испуганно переспросил шофер.— Я не видел ее, не видел. Туман, ни хрена не видно. Я на тебя глядел, подонок ты, сволота, гад...

— Она... Она дышит!..— Солдат стал на колени рядом с девушкой, не решаясь прикоснуться.— Она жива, она без сознания просто! — Он вскочил в крайнем возбуждении, в стремлении что-то немедленно делать, куда-то бежать, звать на помощь.— Ее надо в больницу. Немедленно в больницу, слышите?

— В больницу? — Водитель все еще находился в растерянности и все время переспрашивал.— Да, да, в больницу. А никого нет. Нет ведь никого.

— Так сами же и отвезем! — Солдат суетился, бегал вокруг девушки, дергал шофера за куртку.— Сами, сами отвезем, понимаете?

— Да. Сами. Сами отвезем,— бормотал шофер.— В машину. В машину ее. Берись.

Они подняли девушку, неуклюже семеня и толкая друг друга, понесли к рефрижератору. У тупого, вагонного зада водитель остановился.

— Клади. Клади, говорю!

Растерянность его прошла, как только появилось действие. И действовал он быстро, точно зная, что должен делать. Они опустили девушку на дорогу, шофер сорвал пломбы, распахнул тяжелые ворота холодильной камеры. Внутри вспыхнула лампочка, нестерпимо ярко отразившись в ослепительно белых стенах.

— Бери. За ноги ее, ну!

— Зачем?..— со страхом спросил солдат, увидев мороженые туши и ощутив ледяной выдох холодильника.— Сюда нельзя, нельзя! Надо к вам в кабину, там диван, я видел...

— Дурак. Дурак ты.— Водитель зачем-то схватил его за мундир, затряс.— Она же помрет в кабине. Кровью изойдет, усек? А здесь — прохлада, врачи всегда травмы замораживают, видал по телевизору? Бери, ну? Бери же!

Они опять подняли девушку, положили на розовые стывшие глыбы мяса. В ярком свете солдат видел ее мертвенно-белое лицо, залитое кровью платье, рассыпавшиеся волосы.

— Нельзя ей здесь,— приглушенным шепотом сказал он, и в голосе его послышалось готовое взорваться отчаяние.— Это мертвых замораживают, а не живых. Мертвых!

— А мы не виноваты, не виноваты! — вдруг истерически закричал шофер.— Это она во всем виновата, она! — Он бил машину кулаками, пинал, плевал на нее, продолжая выкрикивать: — Сволочь! Гадина! Падла!..

Потом утомился. Стоял, упершись лбом в мокрую стену холодильника, громко всхлипывал, вздрагивая всем телом.

— Ехать надо, — сказал солдат. — Ну, что вы? Ну, будет вам, будет. Надо ее спасти. Спасать, слышите?

Водитель глубоко вздохнул, вытер ладонями лицо. Посмотрел на неподвижную девушку, старательно оправил сбившуюся на коленях юбку.

— Садись.

Захлопнул дверь камеры, задвинул засовы, сгорбившись, прошел на место. Не глядя на солдата, включил передачу.

— Тут больница должна быть. Недалеко тут.

Он разгонял машину, не щадя двигателя, точно бежал с того места, где тупое рыло рефрижератора зацепило ненароком идущую по шоссе девушку. Видно, пожалела туфельки, не захотела месить грязь на обочине. А тут туман и дождь в лицо, и зонт, которым загоразивалась она от дождя и из-за которого не видела дороги. Только ведь не объяснишь же все это суду, ничего не расскажешь и ничего не докажешь. Одно мгновение, миг один, и не вернуть его, не переиграть, не исправить. Господи, почему же тебя нету? Не знаю, что бы отдал, только бы не было этого беспомощного тела на пустынном шоссе. Полжизни бы отдал. Полжизни...

Ехали молча, уставившись в прорезанную лучами фар призрачную мглу за ветровым стеклом. Выл, захлебываясь, мотор, машину било на невидимых ухабах, и при каждом толчке солдат судорожно жмурился, ясно представляя, как подпрыгивает на каменных заледенелых тушах беспомощное девичье тело. Но от того, что он жмурился, видения не исчезали, а шофер гнал и гнал, и все ревело сейчас в кабине. «Надо сказать, что нельзя ей там, — лихорадочно думал солдат. — Надо остановить, потребовать...» И ничего не говорил, не требовал, а лишь изо всех сил зажмуривал глаза...

— Я сойду! — не выдержав, крикнул он неожиданно для самого себя. — Остановите. Остановите!..

— Тебе в Михнево, — не глядя, буркнул шофер. — Рано еще. Сиди.

— А ее куда? Куда? Там же холодно. Холодно там, понимаете?

— В поликлинику, — тупо бормотал водитель. — В поликлинике тепло, врачи. Скоро должен быть, я знаю, травмопункт.

Солдат заплакал. Он плакал по-детски, вслух, сняв сразу запотевшие очки и ладонями размазывая слезы. Плакал от ужаса, от не оставляющего его видения нежного тела на

мороженом мясе, от беспомощности и жалости. И за слезами не заметил, как стих мотор и остановилась машина.

— Ну, чего ты, чего? — Водитель потряс его за плечи. — Утрись-ка. Страшно? Ну, тогда иди. Я сам ее сдам. Один. Иди.

Солдат глубоко вздохнул, достал платок, долго сморкался, шепча что-то. Водитель сидел молча, уронив голову на скрещенные на руле руки.

— Холодно ей там. Холодно.

— Иди.— Шофер поднял голову, уставив на солдата странно отрешенный взгляд.— Иди, говорю.

— Да, да.— Солдат суетливо записал в карман платок.— Я пойду. Я сейчас.

Он вылезал боком, нащупывая рукой выход и не решаясь оторвать глаз от тяжелого, оплывшего лица водителя. Выбравшись на шоссе, не захлопнул дверцы, а начал пятиться от машины, беспрестанно повторяя:

— Спасибо вам. До свидания. Спасибо вам. До свидания.

Вдруг повернулся и побежал, не оглядываясь, втянув голову в узкие плечи. И сразу же закричал. Закричал еще до того, как шофер выпрыгнул из кабины.

Так они и бежали по шоссе, оставив позади приглушенно пофыркивающую машину с девушкой за двойными стенами холодильной камеры. Солдат кричал непрерывно, кричал не слова, а сам крик: «А-а-а!..» Кричал в смертельной тоске, уже ничего не соображая. А шофер бежал молча, и, слышав его грузные шаги за спиной, солдат сам упал на обочину.

— Зачем же ты побежал, дурачок? Зачем? Ах, дурачок, дурачок...

Шофер неторопливо взял солдата за плечи, проволока по грязи и рывком сбросил в переполненный водой кювет. Солдат попытался встать, забился, и они оба оказались в воде. Но водитель был сильнее и потяжелее: пригнул солдата, записал под воду, навалился. Обождал, когда с бульканьем выдет воздух, когда окончательно перестанет содрогаться тело, и выбрался на шоссе.

— Ты зачем побежал? — задыхаясь, бормотал он.— Ты наступать на меня побежал? Ах ты, дурачок, дурачок...

Солдат лежал на дне кювета настолько мелкого, что из воды торчал обтянутый потертыми брюками худой мальчишеский зад, а носки сапог упирались в обочину. Беспрестанно бормоча, водитель снял башмаки, вылил из них воду, кое-как отжал мокрые штанины.

— Сейчас подружку тебе рядом положу. Под бочок, чтоб не скучно.

Носком столкнул в воду отлетевшую фуражку, тяжело шаркая мокрыми ботинками, пошел к машине. Постоял у кормы, осмотрелся, прислушался и распахнул двухстворчатые ворота.

И обмер: на мороженных тушах сидела девушка, судорожно кутаясь в перепачканный плащ. Синие губы ее мелко дрожали.

— Х-холодно,— с трудом выговорила она.— Холодно, холодно, холодно...

Шофер с грохотом захлопнул створки ворот. Придавил всем телом, точно ожидая, что изнутри вот-вот начнут литься;

— Ы-ых!..

Никто не ломился в тяжелые ворота, и в холодильнике было глухо, как в склепе. Шофер обождал немного, торопливо, сбивая в кровь руки, вогнал штыри в пазы затворов, тяжко, со стоном вздохнул. Постоял, долго и настороженно вслушиваясь в туман. Пустынно и тихо было на дороге.

Шофер еще раз осмотрел запоры, медленно побрел вдоль кювета. Остановился у мертвого солдата, долго тупо смотрел на него. Потом громко икнул и прошел на свое место. Хлопнула дверца.

Взревел мотор, и огромная серебристая машина, набирая скорость, скрылась в густых октябрьских сумерках. И только рев сотен лошадиных сил долго еще доносился из тумана, все слабей, переходя в стон и наконец замолкнув навсегда.

КОРРИДА В БОЛЬШОМ ПОРЯДКЕ

(Больничный рассказ)

Что это вы все так слепо телевидению верите? Ах, по телевизору то-то сказали, ох, по телевизору то-то показали... А вот однажды по этому самому телевизору объявили, будто быку что красное, что черное — все едино, лишь бы оно двигалось. Ну так ерунда это, псевдотеория, а практика — вот она, эта коечка, и я при ней. По теории-то я через два месяца священный долг должен исполнять, а на практике что вышло? А вышло то, что я в семнадцать лет десятилетку закончил, на экзаменах в институт срезался, и мама меня в деревню отправила к дальним родственникам. И оказался я в Большом Порядке.

Но сперва поясню, а то еще не так поймете. Большой Порядок — это так село наше называется. Когда-то два порядка были — Большой Порядок и Малый Порядок. Ну, Малый долго не продержался: родственник рассказывал, что продавщица там глупая попалась. За трезвость боролась в те еще времена, когда все чувство законной гордости испытывали. Ну и, конечно, упустила весь Малый Порядок. Разбежался он по иным точкам, и частично к нам, в Большой. И с того времени во всей округе остался только Большой Порядок, а на месте Малого один бурьян да крапива под два метра.

Между прочим, на первой моей работе — меня для начала в мастерские определили — говорили, что от крапивы тоже балдеют, как от мака или конопли. Если, говорили, в баньке как следует напариться, а потом вместо озера голым в крапиву сигануть — сильное средство. Чумеешь и вырубаетесь. Конечно, сейчас разные способы испытывают, так что удивляться нечему. У нас в мастерских один испытатель ведро из-под мазута на голову, бывало, напялит и ходит часов пять, как пес-рыцарь. Потом падает и — балда балдой. Я лично убежден был, что не столько от мазута,

сколько от грохота, но доказать не успел: меня в пастухи перевели. Мама, видите ли, решила, что я должен укреплять свое здоровье перед армией, и упросила нашего председателя перевести меня на природу. Тут еще родственничек наш помог, Сергей Владимирович — ну, о нем разговор особый — и меня перекинули на скотину.

Это все как-то быстро произошло, и мне пришлось опыт насчет влияния грохота на организм ставить в коровьем обществе. И я его осуществил, и могу смело поспорить кое с кем. Я нормальное ржавое, правда, ведро надел и пошел коров пасти. Ну, что сказать? Во-первых, конечно, жарница, как в домне, а во-вторых, всякий звук возрастает в невыносимой степени. Овод в железо врежется, а у тебя — шары из глаз. Но я терпел ради опыта, пока на корову не налетел. А она мне — хвостом по кумполу. А на кумполе — ржавое ведро. Так я вам скажу, что никакого наркотика мне не потребовалось: я сразу свой кайф поймал и минут сорок из него не вылезал. Не мог никак, ведро сильно погнулось.

Ну я же не про то, не про кайф. Я про быков теперь теорию оспариваю, потому что имею все основания, исходя из практики. И когда мне официально по телевизору мозги пудрят, что быку, мол, что красное, что белое — без разницы, что нету у него в глазах каких-то колбочек, а потому на цвет он и не реагирует, я это опровергаю всей своей искалеченной ногой.

А дело было так. Когда я, значит, опыт с ведром ставил, а корова мне его хвостом погнула, я, конечно, лег. Минут тридцать пять лежал в густой траве и балдении, а потом малость в себя вернулся и начал это погнутое ведро как резьба образовалась и напрямую оно уже никак не слезало. А в какую сторону вертеть, чтоб себя самого отвинтить? Непонятно, вот я с этим ведром и ковыряюсь, как медведь, а в мозгах от кайфа гудит, мысли, как сметана, бултыхаются, и я сам себя до хрипа заворачиваю. То ли путаю, то ли резьбу сорвало, а только хреновое получается похмелье. Не знаю, сколько бы времени я под этим ведром балдел, как вдруг рванули его с моей головы вместе с куском кожи, и сразу посветлело в природе. Проморгался, а надо мной — наш председатель Валентин Лукьянович.

— Чего ты, говорит, Салагаев, ржавое ведро нацепил? От армии прячешься?

Ну, я ему обстоятельно стал объяснять про мужика, который пес-рыцарь и про свой опыт, которым я надеялся опровергнуть. Только это я разошелся, а он:

— А коровы твои где?

А коровы мои в рапсе. Не столько жрут, сколько топчут. Вскочил я, заорал, побегал, тоже рапсу потоптал: но — выгнал.

— Исправил, говорю, ошибку, Валентин Лукьянович.

Тут я должен сказать, что рапс этот нашему председателю навязали волевым решением, о чем он сам признался на общем собрании. Знаете, оно, конечно, перестройка, демократизация, гласность, но когда кому-то из поверхглеждающих кукуруза понравится, вика с клевером или рапс — конец всякой демократии. Обязательно тебе эту монокультуру всучат, как бы ты ни брыкался. Вот нашему Валентину Лукьяновичу этот рапс и привязали к хвосту, как пустую банку собаке, и очень он с ним начал беспокоиться. Прямо аж зеленеет, когда с его навязанным рапсом какие-либо непорядки. И так мне говорит:

— А теперь, говорит, я исправлю свою ошибку и избавлю несчастную эту скотину от твоих дурацких экспериментов. Будешь числиться на временных работах, пока тебя какая-нибудь бригада к себе не пригласит. Хотя сомневаюсь, дураков в колхозе сильно убыло в связи с новой системой оплаты.

Вот как оно все обернулось. Конечно, надо бы опыт не в рабочее время ставить, это я потом понял. Или хотя бы подальше от рапса. Или от председателя Валентина Лукьяновича. Но сделанного не воротишь: сдал я свое орудие производства — это кнут, значит, — и отбыл на скамейку запасных «куда пошлют и что велят».

На той запасной со мною еще двое профессиональных алкашей маялись, Толик и Ван Саныч. Толику было под пятьдесят и знал он одной лишь думы власть: где бы перехватить стакашек. Можно даже неполный. Перехватив, выпивал с трепетом, чмокал и тут же погружался в небытие на ближайших восемь часов. А Ван Саныч был вдвое моложе, и, приняв дозу, не спал, а куда-либо мчался. Не куда-либо вообще, а туда, где больше юбок: в правление, клуб, дискотеку, кружок вышивания или в магазин. Такая у него была потребность: повертеться. И вертелся, пока его не прогоняли.

Жуткая у меня началась полоса: ни друзей, ни плана, ни отдыха, ни зарплаты. Один день чего-то закапываем, другой — его же откапываем. В голове пусто, в душе — тоска, в животе — равнодушие. Стоишь до обеда, на лопату опершись, и понимаешь, что ты потерял вместе с коровами. Свободу ты потерял, радужность мыслей и экологию окружающей среды. То есть все, что имел, о чем мечтал и чего ничего не делал.

Словом, совсем я изнемог на этой своей должности и с этими своими сотрудниками. Никто меня никуда не берет, но все посылают. И я постепенно постигаю, что так оно и будет всю оставшуюся жизнь, если я сам не приму мер. Мол, под лежащий камень... Все я взвесил, прикинул, просчитал и решил идти в правление и христом-богом молить, чтоб меня куда-нибудь.

А в правлении Валентина Лукьяновича нет, но суеты навалом. Девчата красивые, глаза горят, чего-то пишут, репетируют, разучивают.

— Чего, говорю, девоньки, за радость такая? Или разом всю нашу армию демобилизовали?

— Глупости не болтай, говорят. Ишь чего захотел, пацифист зеленый. Нет, у нас мероприятие серьезное: через неделю нашему Валентину Лукьяновичу сорок стукнет, как одна копейка! Включайся, говорят, в инициативную группу, может, он тебе свое ржавое ведро простит.

Юбилей! Сорок годков! Инициативная группа! Ну, думаю, землекоп, пробил твой час. Если не уцепишься за секундную стрелку — копать тебе канавы вкуче с Толиком и Ван Саньчем до собственной могилы. Включайся, сочини стишата, малюй лозунги, разучивай трепака!..

Только хотел врубиться, да вовремя на девчат глянул. А они — хоть прикуривай. Хихикают да пируэты всякие — что тебе аэробика! Что тебе аэробика, когда председателю — всего сорок, ровеснички девчат наших все сплошь в священном долге на два года, а остальные либо женатики, либо уже лунатики вроде того, чокнутого с ведром. Нет, думаю, девоньки, мне средь вашего макового цвета что конскому щавелю: несъедобен я для председательского глаза, а скорее даже наоборот. И сообразив, я тихо подался, а меня и не заметили.

Однако сорок лет. Добреет мужик в такой день, и если к нему с умом... Стоп, а где он, ум-то? Кто у нас в колхозе этим рудиментом похвастать может? Да зоотехник Сергей Владимирович, мой дальний родственничек, больше просто некому, хоть в соседнюю область беги.

Сергей Владимирович — человек исторический. Он всю нашу историю прожил, и ни разу его никуда не заносило. Лысенко с Мичуриным хвалить? Пожалуйста, со всех трибун, прилагательных не жалея. Вейсманистов-морганистов клеймить вкуче с низкопоклонством перед растленным Западом? Сколько угодно, на всех собраниях, снова прилагательных не щадя. Америку по молоку и мясу догонять? С полным нашим удовольствием. Квадратно-гнездовым сажать? Спасибо, что надоумили. Кукурузу на завоевание

Заполярья? Правильно, давно пора. Совнархозы? Точно совершенно, как сами до этого недодумались. Не надо совнархозов? Точно совершенно, ну их... Коммунизм за двадцать лет? Навались, братцы, аккуратно к олимпиаде и откроем, Лысенко ругать? Да с радостью! Рапс организовывать, а Рапо сажать? Ах, наоборот! Простите старика, недослышал, но всегда готов. Всегда.

Вот каков был Сергей Владимирович. Всем очень нравился и все его награждали. При Сталине, при Хрущеве, при Брежневe всегда в пример ставили, как самого чуткого к прогрессу и политически активного товарища. И сейчас ставят тоже, хоть он малость что-то с чем-то путает, но человек нужный. Великий дока насчет всяких веяний. Раньше флюгера направление показывает. И не стареет при этом. Беркутом на трибуну взлетает...

— Почему у нас, товарищи, сельское хозяйство все время падает? Потому оно падает, что мы его очень часто поднимаем. Поднимем, подержим, сколько силенок хватит, в затылке почешем и обратно роняем. И так всю дорогу, весь тернистый путь. А те, которые там, на Диком Западе, те сельское свое хозяйство ни разу еще не поднимали. Оно у них до сих пор на земле стоит.

Вот какие речи он нам, трем землекопам, за свинофермой произносил. И стакан держал очень красиво. От плеча, как гусар.

— Так выпьем же за очередной подъем...

Ну, это, конечно, в узком кругу, со стаканом и без трибуны. А когда случалось наоборот, то и звучало в том же направлении:

— В свете новейших указаний нам всем стало ясно видно, дорогие товарищи, что старое название «дояр» есть полная абракадабра в век технического прогресса. Оператор машинного доения рогатого скота — вот что поднимет нас к новым высотам!..

Ну и в таком разрезе — еще минут двадцать, пока аудитория окончательно не обалдеет. Тогда замолкает, ему с радости — овацию, и он — опять на коне. Опять скачет вдоль истории и ни разу — поперек. Такой был уникальный человек. Пример селекционного отбора, как я всегда думал. Но выпить любил при всей своей селекции, а может, и благодаря ей. И тогда в благодарность давал дельные советы.

Ну, а где, спрашивается, эту самую благодарность раздобыть, если у нас год назад в Большом Порядке первый за всю историю Государства Российского трезвый сход был? И — со злости, что ли? — постановил: пьянству — бой. И Сергей наш Владимирович тут же на трибуну спланировал.

— Надоело, говорит, пьянство, товарищи! Правильно и очень даже своевременно указали нам, куда может завести нас пристрастие. В пропасть, у которой и дна нет, товарищи! Вот почему я категорически предлагаю с сей минуты начать строгую трезвую жизнь. Трезвость есть норма существования белковых тел! И я горячо призываю дорогих моих односельчан сдать милиции все ненужные самогонные аппараты. Покаемся, дорогие товарищи, и пусть земля горит под нашими ногами!

Покаялись. Сдали ненужные самогонные аппараты. Нужные оставили. Акт был добровольным, все умилялись, и сдатчиков металлолома показывали по телевидению. И закрывали все питейные точки. Сперва возникла паника, но потом все само собой образовалось. Вместо двух гласных точек появилось восемь согласных: я, например, покупал нормальную казенную кашинского розлива исключительно по согласию в промтоварном магазине в отделе уцененной резиновой обуви.

Майя Ивановна продавала резиновые сапоги всем желающим, но всовывать в них следовало не ногу, а руку, и всяк получал то, что желал. А сапог относил к служебному входу и клал его в ящик. И сапог тот таким образом вновь шел в дело, как упаковочный материал.

Нет, не подумайте, я не употребляю. Но, во-первых, учтите, что мои коллеги без стакана натошак и лопаты нащупать не могли, а во-вторых, возникают обстоятельства. Это у них — там, на Диком Западе — слышал я, День Благодарения один раз в году, а у нас почти что круглогодично. Тракторист участок под картошку вскопал — благодарение. Бригадир навозу подбросил — еще благодарение. А там — дрова, комбикорм, рассады да разная хозяйственная мелочишка — сплошные благодарения. Вот и бегают все к Майе Ивановне: «Майя Ивановна, кормилица, два резиновых сапога нормального размера». И — десятку за каждый, условно говоря, сапог. Ровнехонько десятку, без сдачи: плата за риск. Жить трезво стало веселее в основном продавцам, потому как остальные трезво жить давно уже разучились. Их нужно сорок лет по безводной пустыне водить, как Моисей евреев, чтобы они окончательно протрезвели, и то — сомневаюсь. И времена не те, и Моисея нету, и сорок лет, боюсь, мы уже не продержимся.

Ну, это так, отступление, чтобы было понятно, где я в условиях свирепой борьбы за всенародную трезвость пол-литра кашинской надыбал. Пароль: «У вас продается резиновый сапог?» Отзыв: «Размер обычный?» — потому что иногда бывает двойной. Редко, правда, в цене нынче обувка.

Но за ценный совет я ничего не пожалею, а потому и потопал от Майи Ивановны к Сергею Владимировичу с кашинской у самого сердца.

— Кашинская — водка нашенская! — заорал исторический человек, потер руки и засуетился насчет закуски.

А я, признаться, приуныл. В мире, вспомнил вдруг, доллары вращаются, фунты, гульдены, франки всякие. Вращаются вместе с иенами и лирами и все вокруг себя вращают. И все идет путем. Богатство и безработица, процветание и коррупция, благоденствие и преступность. Потому что есть вращение, от которого все работает. А у нас — никакого вращения. У нас коловращение, после которого единственная валюта наша вместе с бульканьем исчезает в утробах.

Пока я уныло размышлял о вращениях и коловращениях, Сергей Владимирович сотворил натюрморт. Русский, летний, конца двадцатого столетия — хлеб, соль, лук да какая-то никому неведомая рыба в томате.

— Что за беда? — спросил Сергей Владимирович, с чувством выкушав первую стопочку.

Я излагаю, как на духу. И что в армию осенью, и что изгнан из пастырского сословия в запсостав «куда пошлют», и что сию без доходов и ем в кредит, и что, наконец, грядет сорокалетний юбилей, то есть, по моему разумению, время максимального доступа к сердцу. Пока я все это неторопливо рассказывал, Сергей Владимирович успел еще три стопаря опрокинуть, несъедобную тварь в томате дочиста подскрести — и подобрать тоже успел.

— Жалко тебя до слез, говорит. Надо искать справедливость. Что больше всего уважают в сорок лет?

А черт их знает, что они, сорокалетние то есть, уважают. Может, «Жигули», может, руководящее кресло, а может, и отдых с шашлыками. Я в этом возрасте не был, опыта у меня нет, а догадки — штука опасная в моем положении. Угадаешь — слава тебе! — а если не угадаешь? Я ж, собственно, сюда и пришел, чтоб самому не гадать.

— Не знаю, говорю. В этом возрасте не состоял.

— Мясо, — говорит Сергей Владимирович и очень значительно поднимает палец.

Теперь-то я понял, почему он тогда о мясе заговорил. Когда в тебе четыре стопаря, так ничего важнее мяса и быть не может. В этом случае не человек управляет ферментами, а ферменты человеком. Но это я сейчас такой умный, когда к больничной койке прикован, а тогда, понятное дело, я ничего не соображал, а вбирал его мечты о жратве как откровение.

— Мясо! — повторяет он со вздохом. — Свежее, парное, желательнее непережаренное. При таком наличии не устоит. Дрогнет он.

— Ага! — говорю, хотя не вполне еще сообщаю. — А где же его взять в нашем колхозе, это мясо?

— Оно мычит, — объявляет Сергей Владимирович и хлещет еще стопочку. — И будет жрать наши корма, покуда будут эти корма. А когда они кончатся, мы займемся сверхплановыми мясоставками.

— К тому времени Валентину Лукьяновичу уж не сорок стукнет, а сорок с гаком.

— Исключительно трезвая мысль! — восторгается Сергей Владимирович и снова поднимает палец. — Но меня учили не ждать милостей от природы, а тебя учили ждать, и ты не шурупишь.

— А что я должен шурупить?

Я, честно говоря, спросил уныло, потому что перегорел. Зря, думаю, я это затеял, зря последнюю десятку прохиндею-родственничку скормил, зря время теряю. Но, как выяснилось, недоучел я его ума.

— Если мясо, которое покуда мычит и, значит, является частью природы, получает внешний дефект, я как зоотехник могу его со спокойной совестью из природы вычеркнуть. И тогда это уже не субъект инвентарного списка, а объект гастрономии.

Чего, думаю, он мне буровит? Объект, субъект, природа. Хитрит, старый черт, стажу в этом смысле у него — почти полвека. А у меня — нуль, и мне не аллегории нужны, а совет, чего мне делать, чтобы опять войти в милость. И поэтому я говорю с некоторым неудовольствием:

— Я, — говорю, — дорогой вождь и учитель, и сам с дефектом. Но как мне этим своим дефектом корову заразить?

— Только не корову! — вскричала вдруг зоотехническая совесть. — Только не корову, так как корова для нас не столько мясо, сколько молоко. А бык — тот только мясо. Исключительно гора мяса, и я ее тебе, фигурально выражаясь, дарю ради сорокалетия нашего председателя.

— То есть как так? — спрашиваю, поскольку слегка ошалеваю от такой щедрости.

— Просто, — говорит, — как два пальца. Есть у меня бычок, которого давно пора съесть, если рассуждать научно. Самое бы время его сейчас съесть всем миром, но — запрещено, покуда имеются корма. А он жрет, паразит, за восемь коров и портит мне всю отчетность. И будет только справедливо, если мы из него сделаем бифштекс к сорокалетию.

— Так ведь нельзя же бифштекс,— говорю.

— Нельзя, покуда бычок цел и невредим. А если он сам себе чего повредит, то мы аккуратненько составим акт за тремя подписями и купим его сами у себя за наличный расчет.

— Ага,— говорю,— а как это он, интересно, сам себе что-нибудь повредит?

— А так повредит,— с презрением отвечает мне Сергей Владимирович,— так, значит, повредит, что ты возьмешь дрын и загонишь его на наше овощехранилище.

— Зачем?

— Затем,— говорит,— что на нашем овощехранилище не только что бычок — черт ногу сломит. И как только сломит, мы его тут же заактируем, как непригодного к дальнейшей жизни. Он отдельно содержится, в сарае, и замок там сроду не запирается. Возьмешь дрын, откроешь замок и погонишь того бычка спозаранку на крышу овощехранилища. Все понял? Тогда ступай. А я докушаю да спать лягу.

Сказал я «спасибо» и подался к выходу. Сергей Владимирович забулькал бутылкой и говорит мне вдогонку:

— Фугасом его зовут.

Вот тут бы мне, дураку, смикитить насчет фугаса, но я не смикитил. Не от тупости, а от радости, которая тоже есть тупость, если разобраться. А радость меня настигла потому, что уж больно простой, ну прямо гениально простой показалась мне диспозиция зоотехника и дальнего родственника. В самом деле, я гоню бычка на крышу овощехранилища, он там проваливается, я по-тихому сматываюсь, а Сергей Владимирович списывает бычка на мясо. А потом во время застолья, когда наш сорокалетний юбиляр размоляет от парного оковалка, Сергей Владимирович ему ласково укажет на меня. И намекнет, что негоже допризывнику торчать в резерве «куды пошлют» и лентяев. И тогда ласковый председатель Валентин Лукьянович призовет меня к столу и станет заботливо расспрашивать, в каких войсках и в каких краях я мечтаю нести армейскую службу. И уж тут все будет зависеть от меня, и дай, как говорится, мне боже красноречия на тот решающий момент.

Просто, правда? Гениально, если забыть, что бычка почему-то называли Фугасом. А я — забыл. Напрочь из башки вылетело, потому что радость — первая ступенька тупости.

Дрын я загодя заготовил. И маршрут лично три раза прошел от загона, где бычок стоял, до овощехранилища, где он должен был пасть. Все изучил, все взвесил, все предусмотрел, и в ночь перед операцией спал, как младенец. И на радостях, и в предвкушении проспал самый что ни на есть спозаранок, и вышел на дело с заметным опозданием.

И вот тут самое время мне признаться о наиболее существенном моем промахе. За два дня до этого по телевизору про быков передача была, и я ее очень внимательно посмотрел для собственного развития. В этой передаче участвовали Песков, Дроздов и еще пропасть разных специалистов, и все они согласно утверждали, что бык есть домашнее животное, а потому человека очень уважает еще с доисторических времен. Как наш Толик с полстакана. И что красный цвет на него абсолютно никак не влияет, потому что бык есть полный дальтоник от природы и реагирует только на размахивания перед носом. А хитрецы тореадоры на своих корридах употребляют красный цвет не для быка, а для публики. Очень авторитетные люди выступали, и я под их воздействием в тот боевой день надел красную рубашу. Мол, если быку все равно, а рубаша легкая, то лучше бегать в ней, чем в черной, но тяжелой. И поперся на свидание с будущим бифштеком с опозданием, но зато в красной рубаше и с дрыном поперек живота. Как канатоходец.

Сергей Владимирович, дай бог ему чекушку каждый день, все объяснил точно, и я без осложнений нашел темницу, в которой томился сюрприз для председателя. Ржавый замок действительно отроду не запирался, но ворота оказались двустворчатými, и я решил заранее, не тревожа бычка, обеспечить его выгон из привычного стойла в непривычный мир. С этой целью я прислонил дрын к стене и последовательно, одну за другой распахнул створки ворот. Мол, сейчас с дубиной зайду с тыла, огрею бычка по заду, и он рванет в ворота. А дальше, как говорится, дело техники: с коровами же я справлялся...

Это я так планировал, когда оттащил створку и начал открывать вторую. Внутри была полная тьма, створка кое-что все же весила, и я волок ее, не отвлекаясь. И уж почти доволоч, когда совсем рядом ощутил горячее сопенье. И оглянулся.

Неперспективный бычок с дефектом? Возможно, я не увидел. Я увидел носорога килограммов на восемьсот, лоб — метр на ноль-пять, красные глазищи и, по-моему, пламя из ноздрей. За последнее не ручаюсь, потому что разглядывать времени не было: я с места рванул с рекордной скоростью, забыв об оружии, но зато в красной рубаше.

Царица небесная, как я летел! Я запросто побил все олимпийские и мировые рекорды на все дистанции разом, поскольку в сантиметре за моей спиной начинался лоб (метр на ноль-пять, ей-богу!) подарка к сорокалетию, и жар, который вылетал из его ноздрей, жег меня, как два сопла.

И одна из немногих истин, которые я пока успел проверить личным опытом, вполне согласуема с современной наукой: в человеческом организме таятся воистину непостижимые возможности.

Знаете, что такое экстремальные условия? Ну, в общих чертах все знают: заблудился в тайге, оказался посреди океана, попал в снежную лавину. Все, конечно, так, но не конкретно. Конкретно, это когда бык за спиной. А ты бежишь на полсантиметра от его восьмисот килограммов и почему-то терзаешься не страхом, а идиотским вопросом: «Как твоя, гад, фамилия?..» И вдруг припоминаешь, что фамилия этой скотине Фугас и что при такой фамилии существует только один финиш. И я в отличие от законов спорта бегу не к финишу, а от него.

Все-таки, если честно, телевидение в нашей культурной жизни играет роль. Даже кино с ним не сравнится по силе внушения, не говоря уже о театре. Ну где, скажите, в каком спектакле мне покажут португальскую корриду в самом натуральном виде? Да нигде, ведь это вам не два притопа — три прихлопа, не калинка с малинкой, а натуральная игра со смертью для всех, кто этого пожелает.

Как это у них происходит? Откармливают, не экономя на кормах, стадо быков, привозят в город и объявляют, что, мол, завтра состоится народная радость. Время оговаривается точно, нормальные люди, старики, женщины и дети сидят в своих домах возле окон, а на улице остаются любители острых ощущений. Быков злят всю ночь, а в назначенный час распахивают ворота, и все эти их Фугасы взрываются одновременно. И мчатся по улицам. А впереди летят португальские психи вроде меня, и все это, вместе взятое, называется древней национальной игрой. Корридой по-португальски.

Ну, это у них. Не в смысле, что у них — всегда лафа, а у нас — всегда почему-то кругом шестнадцать, а в смысле техники безопасности этого народного развлечения. Все, кто не готов драпать со скоростью, превышающей скорость разъяренной скотины, сидят дома и любят на традицию. Бегают только те, кто знает, что будет бегать, и — главное — знает, куда ему бежать. Маршрут разработан, путь расчищен, и в сторону быкам не свернуть: либо грузовиками все перекрыто, либо заборами огорожено. И вся эта экстремальная система мчит по уготованному ей направлению, где есть всякие спасительные боковые забегаловки в прямом смысле этого слова. Это, так сказать, коррида в коридоре.

А у нас коррида оказалась не в коридоре, а в Большом Порядке. Утром я проканителлся, вышел с опозданием да

еще с воротами навозился. И когда Фугас этот взорвался в благодарность за дарованную мной свободу, наш Большой Порядок проснулся, закопошился и начал неторопливо перемещаться к точкам приложения сил. И на улице оказались не португальские добровольцы, а наше мирное население, по многолетней привычке еще не очень-то соображающее со сна.

А тут — я. С Фугасом вместо реактивного двигателя.

Что было — описать слов не хватит. Seriously все было в такой степени, что не только что ни одной шутки не прозвучало — вообще ничего не звучало. Все драпали с озабоченными лицами, в чем сказалось принципиальное отличие темперамента жителей Большого Порядка от южной шумливости экспансивных португальцев. В экстремальных ситуациях мы молчим, как подпольщики.

А потом, честно говоря, я мало что видел. Я схватывал общее направление, чтобы мне с разбегу в какой-либо тупик не залететь, и целеустремленно слушал, как этот набор мышц пыхтит за моей спиной. Остальное фиксировал боковым зрением и боковым слухом, то есть урывками. Но поскольку я по Большому Порядку промчался ровнехонько четыре полных круга, то урывков накопилось достаточно.

Ну, о главном удивлении я потом расскажу, когда, так сказать, до него добегу. А сперва, помню, передо мною минут семь наш главный бухгалтер бежал. Петр Семенович Воропайко. Полный, даже я бы сказал, рыхлый был мужчина, на сердце и на жену все время жаловался. Кто-то из них его жал, а кто-то — колол, но кто — что, я уже не помню. Да это и не существенно, потому что после того дня Петр Семенович похудел на восемь триста и больше ни на что уже не жалуется. Только радуется, что ноги унес.

А вот на втором круге в забег сам председатель Валентин Лукьянович включился. Как его под наш с Фугасом тандем поднесло, этого я сказать не могу, но два круга мы с ним сделали, как братья Знаменские. Он с кейсом бежал, и я ему крикнул, чтоб он этот свой кейс бросил к чертовой матери. Но он вместо этого ко мне повернулся и спросил в три приема: «Ты почему... канаву у конторы... не зарыл?..» Я эту свою промашку ему объяснять не стал, но во спасение его все время орал, чтобы он свернул, что ли, а я быка за собой уведу. Но он, не сворачивая, поинтересовался вдруг: «Тебе... когда... в армию?..» В ноябре!.. — кричу. «Жалко, говорит. Еще квартал мучиться...»

Ну, тут его как-то отнесло, о плетень садануло, и мы с быком промчались мимо. И он, заметьте, меня в больнице ни разу не навестил, из чего я делаю вывод, что то был не

плетень, а бетонный забор, которым огорожен наш детский комплекс.

Дальше у меня — цветные пятна вместо конкретных воспоминаний. Так думаю, что доконал бык мое первое дыхание, и некоторое время я лидировал без всяких вдохов и выдохов, пока не допер до второго дыхания. Открывалось оно во мне не сразу, и у меня на этот период не воспоминания, а видения. Какие-то очень серьезные девчата с лицами неприступными и целеустремленными. Знакомый завлукбом с аккордеоном, два механизатора, библиотекаря Раиса Михайловна, кто-то еще... Все это возникало и пропало, а я покида еще существовал.

Но долго лидировать мне бы все равно не удалось: разные у меня с быком весовые категории. И если бы не луч света, то встретились бы мы с вами через неопределенное время, но во вполне определенном месте. Ведь если все спокойно проанализировать и разложить по полочкам, то выяснится четкая картина: Фугас бежал исключительно за мной. Он напрочь игнорировал суету вокруг нашего забега, никого не желал замечать и держался точнехонько за моей спиной, хотя я ничего ему не успел еще сделать дурного. Наоборот, я лично выпустил его на свободу, но он об этом сразу же забыл и шпарил согласно своей собственной идее-фикс. Почему, спросите? Да потому, что в тот день я оказался единственным жителем Большого Порядка в красной рубахе. Хорошенькой такой.

На четвертом круге я малость прозрел, поскольку открылся во мне вентиль второго дыхания. И воля моя здесь, честно говоря, совершенно ни при чем. Я напрочь растерял все человеческое и только держал дистанцию. И так думаю, что эта метаморфоза и спасла меня на четвертом этапе забега.

Но силы таяли, это я отчетливо соображал. То есть не это я соображал: я соображал, что мне полная хана, а силы исчезали без всякого осознания с моей стороны. Я понимал, что пятого круга мне ни за что не выиграть, потому что третьего дыхания нам не дано, и что паду я под рога и копыта весом в восемь центнеров. И так я все четко себе представил, что даже не паниковал. Сил у меня на панику уже не хватало, и собственную кончину я воспринимал как конец забега. Только и всего, хотите верьте, хотите нет. Кроток я стал, терпелив и покорен, потому что за мною не бык мчался, а рок, и при выходе на четвертый круг я это осознал всем существом. И даже подумывать стал, а не пасть ли мне добровольно? Все равно спасения нет, так чего зря мучиться?

К счастью, эта паническая идея не успела мною овладеть. По той простой причине, что я среди остатков цветных вкраплений ясно разглядел, что на данном отрезке впереди меня драпает сам Сергей Владимирович. И тут вдруг меня осенило: овощехранилище! Овощехранилище, где сам черт ногу сломит! Ведь я должен был по диспозиции загнать туда этого бешеного Фугаса, чтобы он там... А я вместо этого, как последний псих, бегаю кругами по центральной усадьбе! Так уж коли не удалось мне быка загнать на овощехранилище с хвоста, то я наведу его туда с морды. Как ведущий ведомого!

Пронеслось это в моей голове во мгновение, но я все успел сообразить. Все, весь путь к спасению. И круто свернул напрямик к заветной крыше, которая начиналась прямо от земли, как шатер. Сделал я этот маневр для быка неожиданно: Фугас по инерции проскочил поворот. Но тут же развернулся и опять за мною ринулся, хотя на этом я кое-какое расстояние все же выиграл.

Вот эти полтора метра и позволили мне взлететь на крышу овощехранилища — крутизна все-таки. Взбежал я наверх, подивился, почему это за спиной никто не проваливается и никто не сопит, обнаглел и оглянулся. И последнее, что я четко увидел, так то я увидел, что Фугас стоит перед крышей, как вкопанный, и на меня смотрит из-под своего лбища метр на ноль-пять плюс рога по бокам.

— Ага, скотина! — заорал я. — Сдрейфил?.. Шкуру свою бычину спасает?..

И тут подо мною вдруг все затрещало, и я полетел вниз... Не знаю, сломит ли черт ногу в нашем овощехранилище, но я сломал. В двух местах, почему и лежу вместе с вами в этой палате.

Вчера, если помните, меня Сергей Владимирович навещал. Фруктов принёс и новость: наш председатель Валентин Лукьянович после этого забега Фугаса за валюту продал. В Португалию, что ли. Вот уж где португальцы побегают...

ЖИВАЯ ОЧЕРЕДЬ

С зимнего солнцеворота прибавилось три минуты дню, но светлее не стало. Зима выдалась особо сырой и тягостной. Густые липкие туманы сползали в город каждое утро, волоча за собой хмарь и копоть всех окрестных предприятый, по улицам клубилось нечто зыбкое, промозглое и угольно-горькое на вкус. Старожилы не помнили такой погоды.

— Климат-то как изменился.

— Это после Чернобыля. Точно говорю.

Да, сорок лет назад в этом самом городе был совсем иной климат.

— Помнишь, Лидочка?

— Помню, Ванечка. Все я помню, дорогой.

Лидия Петровна и Иван Степанович Костыревы поженились, отвоевав и отлежавшись в госпиталях в среднем столько, сколько выпало на долю всем уцелевшим фронтовикам. И случилось это ровно четыре десятилетия назад, и праздновали они свою свадьбу в ночь под Новый 1948 год в общезитии технологического института, где и познакомились. И на всю студенческую ораву, голодную и веселую, пришлось пять бутылок кагора «Араплы», шампанское, два торта и гора винегрета.

— Какой же праздник у нас счастливый был, Ванечка.

— И картошку в мундире ребята с третьего курса прислали. Совсем незнакомые ребята. До чего же вкусная картошка была! До чего вкусная...

Вздыхал Иван Степанович и грустно улыбался. Не потому, что закончить институт не довелось ни ему, ни жене: пошли дети, а родных война прибрала. И даже не потому, что годы их пролетели, дети разъехались, а сами они доживали век пенсионерами при младшей дочери. Нет, иная тут имелась причина, которую Иван Степанович и не смог бы высказать, если бы кто-нибудь его спросил. Ну, конечно, если бы, допустим, местное телевидение, тогда, возможно,

Костырев бы рискнул. Тогда бы он сказал для голубого экрана примерно так:

— Жалко что? Годá? Чего же жалеть, природа это. Жалко, что вам, молодые вы мои друзья, никто котелка картошки вареной не подарит в день свадьбы. Последней своей картошечки, от собственного живота оторванной, ради чужого счастья. Вот чего мне очень даже жалко.

Но никто Ивана Степановича ни о чем не спрашивал, никто им не интересовался. Ни им, ни родной его Лидией Петровной, у которой как раз под этот Новый год исполнялось ровно сорок лет счастливой семейной жизни. Старику Костыреву, естественно, то же исполнялось, но женщины такие даты куда больше ценят. Но туманному городу не было до их дат никакого дела: город слухи тревожили.

— Еще три точки закроют...

— После Нового года?

— Нет, до. Отчитаться им в нашей трезвости надо. Так что с наступающим вас, как говорится...

Иван Степанович эти слухи игнорировал. Во-первых, он привык все приветствовать, а во-вторых, к выпивке относился с полным равнодушием. Детей у него было трое, а потому даже дешевое вино было всегда не то чтобы не по карману — в обрез. И Костыревы на это денег не тратили. По возможности, конечно, потому что все мы живем «по возможности» и навсегда приучены жить так.

А слухи катились, как утренний туман.

— По одной будут давать.

— Водки?

— По одной бутылке, понял? Водки, бормотухи, шампанского — чего тебе выйдет. Хоть сгори, хоть утопись — такое распоряжение к наступающему.

— Но почему? Почему? Самоуправство какое-то!

— Область обязательства по трезвости желает перевыполнить. Чтоб, значит, нос утереть всему Союзу.

Младшая дочь Татьяна, с которой жили старики, имела семилетнего сына, скромные алименты и профессию учительницы начальных классов. Жили, в общем, дружно, хотя Татьяна порой и выдавала от всей застоявшейся невезучести. Старики ее понимали, жалели, любили больше других и потихоньку баловали внука. И все катилось, как и положено катиться, к известной станции назначения, до которой никто не знает, сколько ему еще осталось. Дни бежали, декабрь завалился на последнюю декаду, и в городе уже привычно слышалось:

— С наступающим!..

Уже открылись новогодние базары, уже Татьяна репе-

тировала праздничный концерт со своими второклашками, и на балконе хранилась елка, когда, проснувшись однажды ночью, Иван Степанович увидел, что его Лидочка смотрит в потолок.

— Свадьба мне наша приснилась, Ванечка. И сорок лет в этом году. Это ж еще десять лет, и мы с тобой — золотые жених да невеста.

— Да, Лидочка, это точно.

— И не заметишь, как пролетят...

Иван Степанович только головой покачал, но Татьяна, которой мать слово в слово сон пересказала, решила:

— Да отметьте вы свое сорокалетие! Это же и вправду праздник ваш, может, и мои занятые брат с сестрицей пожалуют. Отметьте, осилим как-нибудь.

Честно говоря, Ивану Степановичу не хотелось затевать этого праздника. Он намеревался устроить своей Лидочке небольшой сюрприз, поскольку тайком приобрел подарок на сэкономленные деньги. И улыбка, которой отблагодарила бы его Лидия Петровна, была бы во сто крат дороже той шумихи и суеты, которая неминуемо возникнет от самой подготовки их юбилея. Запланированная радость всегда превращается в мероприятие: в этот закон Иван Степанович верил безусловно, поскольку прожил достаточно долгую и трудную жизнь в стране с неперменным планированием всех праздников, торжеств и юбилеев. Но в данном случае он ничего не сказал, потому что очень уж Лидия Петровна обрадовалась возможному приезду остальных детей, которые редко баловали их посещениями.

— Может, дети приедут. Юрочка и Маришка.

— Так ведь картошки вареной все равно нам с тобой уж никто не пришлет, — улыбнулся муж.

— Не пришлет, — согласилась Лидия Петровна. — А того шампанского можно достать? И кагору бы. «Араплы» он назывался, я все помню!

— Сделаем, — сказал Иван Степанович. — Для такого случая, Лидочка, ничего не жалко.

Он хорошо знал все законы и постановления и неукоснительно, с подчеркнутой старательностью соблюдал их во всех случаях жизни. Это был его собственный способ борьбы с повсеместно укоренившимся разгильдяйством и наглым ничегонеделанием: Иван Степанович личным примером как бы укорял и стыдил всех тех, кто позволял себе не исполнять, нарушать и обманывать. И чуточку гордился этим своим личным вкладом в общее дело.

Но просьба жены требовала официальных разрешений, чтобы это не выглядело нарушением. Конечно, никто не

объявлял сухого закона, и все же Иван Степанович терзался, не нарушает ли он тем самым... Но ответ могли дать только в официальном учреждении, и он, взяв старое, пожелтевшее свидетельство о браке, пришел в загс.

— Видите ли, тут такое деликатное дело. Мы с супругой хотели бы отметить...

— Это сорок лет получается? — почему-то с невероятной брезгливостью спросила молодая сотрудница. — Ишь, чего захотели. Положено пятьдесят, и ждите.

— Но... десять лет ждать, могу и не дожить, — вдруг заискивающе сказал Иван Степанович, но девица перебила:

— Вот если кто из вас помрет, то по свидетельству о смерти могу дать разрешение на десять бутылок водки.

— Не нужна нам водка. — Иван Степанович чувствовал собственную угодливую интонацию, негодовал, но сменить ее не решался. — Нам бы шампанского и кагору «Араплы». Так, для памяти...

— Араплы! — презрительно повторила девица. — У нас нет никакого кагора с шампанским, а есть алкогольные единицы. Доживете до своей золотой, и я вам лично десять единиц...

— Я понял, понял, хорошо! — вдруг суетливо и виновато заговорил Иван Степанович, взял свидетельство и вышел из загса с большой поспешностью.

Конечно, его неприятно кольнуло, что сотрудница так бестактно намекала на их невеселый возраст, делая это с особо настырной бесцеремонностью. И все же не это было самым обидным. Зависимость — вот что оказалось нестерпимо оскорбительным. Глупейшая зависимость от скверного настроения, каприза, дурного характера, сиюминутной обиды тех, от которых зависело, дать ему право исполнить просьбу жены или — не желаю, и все! — не давать такого права. «Господи, ведь я же и тогда непьющим был, — с глубокой обидой думал Иван Степанович. — А теперь к алкашам приравняли. На пенсии, на старости лет...»

Да, никто больше не посылал последнюю свою картошку на чужой праздник. Никто...

А праздник все равно должен был состояться непременно таким, каким хотелось видеть его Лидочке — расплывшей, усталой, одышливой. А хотелось ей, чтобы на праздничном столе в честь сорокалетней годовщины ее великой радости стояли две бутылки — бутылка шампанского и бутылка кагора «Араплы», которых ни она, ни ее Ванечка заведомо не тронут, поскольку это им давно уже запретили врачи. Но тронут их дети. По глоточку, как причастие. И непременно все трое.

А идти было некуда. И жаловаться не на кого. Потоптался Иван Степанович возле загса, повздыхал, кое-как зализал ссадину в душе своей и решил сходить в последнюю инстанцию, которая еще занималась нуждами и правами фронтовиков.

— Ты что это, Костырев, постановление общего нашего собрания, которым мы на историческое решение откликнулись, позабыл? — с упреком спросил его председатель городского Совета ветеранов. — Мы же единогласно решили, что негоже участникам Великой Отечественной войны без очереди получать водку. Не к лицу это нам, которые всегда, с ранней юности громко откликались. Да ты же помнишь!

— Помню, — удрученно согласился Иван Степанович. — Но тут такой случай. Сорокалетие свадьбы фронтовика с фронтовичкой. Может быть, в порядке исключения, а?

— Тем более! — воскликнул председатель. — Два фронтовика вдвойне повышают ответственность, какие тебе еще исключения? Это ж позор, если вдуматься, а не исключение. Форменный позор всем тем, кто кровь свою...

— Верно, верно ты говоришь, правильно, — торопливо забормотал Костырев, вставая — Виноват, признаю свою ошибку. Счастливо оставаться.

Лидия Петровна и Иван Степанович числились «на заслуженном отдыхе», то есть с раннего утра стояли в разного рода очередях, таская в дом то, что удавалось выстоять, что, на их счастье, «выбросили» в продажу и что они успели ухватить. Их семье еще очень повезло, и все кругом завидовали им тайно или явно. А повезло потому, что они имели два удостоверения ветеранов Великой Отечественной войны и хоть отпускали по этим удостоверениям мало, они и эту малость получали в двойном размере, а значит, в глазах всего многоквартирного блочного дома жили припеваючи, то есть так, как — в чем были уверены все жильцы — живут только в Москве. В той самой легендарной, ломящейся от продуктов Москве, из которой оказавшиеся там привозили сумки, набитые мороженым мясом, безвкусными сосисками и осклизлыми колбасами в целлофановой упаковке.

— Ну, Москва живет! — вздохали. — Постоять, конечно, приходится, но сами-то москвичи в очередях не стоят. Им, говорят, заказы на дом развозят. Ну все, что только душа пожелает — на дом!..

Костыревы в Москву не ездили и разговоров подобных не опровергали, хотя относились к ним неодобрительно. А Иван Степанович имел собственную теорию, которая как

бы сглаживала уж чересчур бросающуюся в глаза несправедливость:

— В Москве иностранцев полно. Что они о нашей державе там у себя напишут, если в магазинах будет, как у нас? Клевету они напишут. И вот, чтобы не было у этих заграничных писаек почвы для клеветы, мы и свозим в столицу все, что имеем.

А с винной эпопеей произошла какая-то странность. Поначалу практически все искренне приветствовали борьбу за трезвость и радовались, ощущая первые результаты этой борьбы. А они были: перестали пить на производстве, в подворотнях, на улицах и просто так. Прекратилось пьяное бахвальство, в парках, кинотеатрах и даже на танцплощадках стало вполне пристойно, и матери перестали дрожать за дочек. Город трезвел на глазах, милиция энергично хватала любого, от кого хоть чуточку пахивало, а по вечерам молодые женщины уже отваживались гулять по главной улице. Утихли вопли и драки, меньше стало матерщины, и городские власти с удовлетворением констатировали заметное снижение преступности. И это было правдой, но некий червячок уже начал подтачивать трезвое благополучие города.

Беда заключалась в том, что резкое сокращение продажи винно-водочного веселья не могло не войти в конфликт с уже сложившимся стереотипом «хватай, пока дают». Бутылка, приобретенная с невероятной затратой времени, как бы аккумулировала в себе это время, повышая собственную стоимость, пока не стала вполне осмысленной валютой. Валютой, которой можно оплатить любую услугу, выгодно перепродать в часы, когда официальная продажа запрещалась; которая никогда не теряла своей стоимости, а наоборот, неуклонно росла в цене, скромно спрятавшись в темном уголке кухонного шкафа. И поняв это, в очередь за «валютой» встали не только отпетые алкоголики, но и вполне трезвомыслящие жители. И очереди стали расти изо дня в день, а вместе с ними росла и цифра абсолютного потребления алкоголя городом. Росла, вместо того чтобы падать.

— Картину портим, — сокрушенно вздохнуло очень влиятельное лицо. — Подработайте этот вопрос.

Подработали. По городу поползли свинцовые слухи:

— Магазины закроют...

— Время продажи сократят...

— По одной в руки...

Позже, когда в торговую сеть города спустили распоряжения и указания, слухи стали более конкретными. Это

не означает, что они перестали быть слухами, нет, никто ничего не объяснял, ни в одном магазине не появилось ни одного объявления и ни в одной газете — ни строчки информации. Для горожан привычно соблюдалась тайна, и жители города привычно компенсировали ее фантастическими домыслами.

— Вообще все закроют...

— Не надо, Ванечка,— почему-то виновато вздохнула Лидия Петровна.— Бог с ним, с праздничком нашим.

Не скажи она «с праздничком нашим», Иван Степанович согласился бы — против жизни, как говорится, не попрешь. Но его жена думала о их наступающем сорокалетии как о празднике, и Костырев не мог допустить, чтобы этот праздник не состоялся. Слишком многое они пережили, слишком часто от многого отказывались, слишком мало сил осталось, слишком уж хотелось увидеть сына со старшей дочкой, чтобы рассудительно готовиться еще десять лет к точно такому же событию, но с иной, официально признанной датой.

— Надо! — строго и торжественно сказал муж, точно произнося клятву.— Будет и на нашей улице праздник, Лидочка.

— Так ведь очереда...

— Правильно отец сказал, мама,— вмешалась Татьяна.— Ну, постоит, может, как фронтовику...

— Как фронтовику не положено. Отказались мы от льгот в этом направлении.

— А вот назло! — непонятно, но горячо объявила дочь.— Обязательно даже, и все!

Продажа спиртного начиналась в два часа: это Иван Степанович знал из многочисленных объявлений в печати и по телевидению. Но поскольку сам он в этих очередях не стоял, то и понятия не имел, по сколько бутылок отпускают в одни руки. В этом вопросе он опирался только на слухи, а они авторитетно утверждали, что перед Новым годом есть распоряжение «ровнехонько одну на нос», а пессимисты поговаривали, что вполне возможна комбинация «одна на два носа». Как бы там ни было, а Иван Степанович здраво предполагал, что «одну на рыло» — распределение вполне реальное.

— Придется, Лидочка, выбирать: либо шампанское, либо кагор. Две сразу, так думаю, что не позволят.

— Гулять так гулять, Ванечка,— бесшабашно улыбнулась Лидия Петровна.— Вместе мы с тобой жизнь прожили, вместе и за вином постоим. Назло, как Татьяна говорит.

— Точно, мама! — крикнула дочь из комнаты: — Чем

больше запретов, тем дети злее: этот закон мне еще в педучилище растолковали.

— Постоим, Лидочка,— Иван Степанович озабоченно покивал.— Только ведь долго стоять придется, часа два, не меньше, говорят.

— Подменимся. Я постою — ты посидишь, а потом наоборот. И выйдем пораньше: день-то рабочий, а мы с тобой пенсионеры.

Вышли они к одиннадцати, за три часа до начала, но от магазина «Вино» уже вилась длинная очередь, во многих местах обозначенная ящиками, перевернутыми ведрами и даже складными стульями.

— Люди это, люди,— сердитой скороговоркой пояснила сухонькая старушонка с колючими глазками.— Они все загодя пришли, загодя, знаю.

— За час все явятся,— сказал полный мужчина далеко не пенсионного возраста, занявший очередь за ними.— У нас закон железный: за час до открытия не появился, значит, не стоял.

А люди все подходили и подходили, и очередь росла на глазах. Хвост ее удлинялся, шевелясь и изгибаясь, и от этого непрерывного шевеления она казалась живой сама по себе, автономно, вне зависимости от людей, и, глядя на нее, можно было бы, пожалуй, более точно понять выражение «зеленый змий», хотя змий был скорее скучно-серым. И еще он хрустел снегом, беспрестанно переступая сотнями ног.

— С наступающим!..

Стоявшие в очереди были людьми вежливыми, и предновогоднее приветствие парило над растущим змием. Хвост его уже завернул за угол, уже потерялся, пропал из поля зрения, но не мог пропасть из сознания, ибо каждый из стоявших в очереди ни на мгновение не переставал ощущать себя частичкой единого целого. У всех были равные возможности, единая цель и одинаковый способ ее достижения: по двадцатке в магазин. Двадцатку эту отсчитывали милиционеры, пропускали ее внутрь, к прилавку, а остальных задерживали, пока продавщица не кричала: «Давай следующих!» Тогда определялась очередная двадцатка, очередь передвигалась на двадцать шагов и послушно замирала до следующего крика.

— Порядок,— подытожил полный, объяснявший Костыреву технологию приобретения спиртного.— Конечно, если у кого знакомство, тогда другой коленкор. Тогда без очереди пригласят: мол, Сидор Иваныч, проходи.

— И никто не спорит? — скорее из вежливости, чем из любопытства, спросил Иван Степанович.

— Себе дороже! Поспорь, попробуй, а она тебя спекулянтом объявит. Мол, ты уже сегодня покупал. И ори не ори — все равно милиция выведет. А то и привлечет. Сейчас те, кто на водке, — большая сила.

— С наступающим, граждане!

К ним подошли двое мужчин неувливаемого возраста, неувливаемой профессии, неувливаемого семейного положения: их различали только рост и масть. Один был черен и высок, другой — тощ, белес и мелковат. Ко времени их появления очередь уже разбилась на крохотные микрообщества из двух-трех особей, объединенных территориально, и эти двое шли сейчас вдоль очереди, перекатываясь от группы к группе.

— А, вот и знакомый! — радостно объявил чернявый, увидев полного. — Мы же за тобой занимали, точно?

— Точно, мужики, — без особого энтузиазма отозвался полный, стоявший за Костыревыми. — Че слышать?

— А то слышать, что народ всегда правду режет, — сказал, шикарно сплюнув, чернявый. — На Первомайской — ку-ку водяра, у трамвайного кольца — тоже ку-ку, а на Водопьяновской — переучет.

— Мордуют, — вздохнул полный.

— Вот! — Чернявый опять сплюнул. — И потому здесь сегодня не змея тебе, а удав будет. — Он сурово оглядел стариков Костыревых и неожиданно мягко добавил: — Катитесь отсюда, старички, а особо ты, мамаша. Бока намянут, это я те точно говорю.

— Сорок лет нам, сынок, — почему-то с некоторым заискиванием сказала Лидия Петровна. — Отметить хочется, дети приедут.

— Ну, гляди, мамаша. Я ведь от души.

И пошли, перекатываясь к следующим группам и везде завязывая разговор, везде находя если не знакомых, то завсегдаев очередей. А старуха с пронзительными глазками, что стояла впереди, пояснила:

— Нарочно пугают, нарочно. Чтоб, значит, на твое место впереться. А денег у них — куры не клюют. Потому-то и проспали.

— Не проспали, а ночь работали, — поправил ее полный. — Это таксисты, у них смена по двенадцать часов.

— Спекулянты они, а не таксисты. Спекулянты! Я их тут...

— И я тебя, — с угрюмой угрозой перебил мужчина. — Сколько мест в очереди заняла сегодня, старая карга? И за тройка каждое продаешь за час до открытия.

— Чего врешь, чего врешь-то...

— Ладно, не егози, пока я про твое занятие людям не рассказал. А то ведь взащей вытолкают и очень даже правильно сделают.

— Вытолкают...— вдруг тихо согласилась старуха, и слезы градом посыпались из воспаленных остреньких глазок.— А пенсию ты мою знаешь? Знаешь? Можно на нее жить, коли у меня дочка — инвалид полный с самого детства, а муж помер давно.

— Это у тебя-то муж помер? Ты мне баки-то не заливай, старая.

— Ну нету мужа, нету. А дочка-то есть? Есть. И всю свою жизнь — инвалид.— Она громко всхлипнула и обратилась непосредственно к Лидии Петровне.— Поверишь ли, милая моя, не накормишь, так и не поест. И в двадцать один годочек — все дитя дитей.

— А ты где ее заделывала, вспомни. При буфете на пристани за полбутылки с любым сезонником...

До сих пор старики Костыревы застенчиво помалкивали. Они не стояли в подобных очередях, не слышали обычных для этих очередей перебранок, не привыкли к крепким выражениям. Им было так неуютно, что они старались не глядеть не только по сторонам, но и друг на друга. Но последнего заявления не выдержала Лидия Петровна.

— Постыдились бы,— негромко сказала она.— Гражданочка в матери вам годится, а вы...

— В матери? — вдруг озлобился полный мужчина.— Нужна мне...

— Ну, хватит, хватит,— миролюбиво и чуть заискивающе зачастил Иван Степанович.— Не надо ругаться, не надо ссориться. Свой же люди, советские, в одной очереди стоим.

Воспользовавшись переключением внимания, старуха, шепнув Лидии Петровне: «Я на минуточку...», выскользнула из очереди бесшумно и незаметно, как мышка. А полный мужчина, занятый разговором с Костыревым, смущенно крякнул:

— Извиняюсь, конечно, просто достала она меня. И так обид у нас накопилось — на три Франции хватит, а тут эта...

— Мы понимаем, понимаем,— согласно закивал Иван Степанович.— Очень уж стояние в очередях нервы выматывает. И обидно, конечно, вы правы. Мы фашисту голову скрутили, двадцать миллионов жизней не пощадили, а очереди — больше довоенных. Может, вредительство какое?..— Он вдруг спохватился, что ляпнул нечто из прошлых формулировок, испугался, потоптался немного и сказал вдруг: — Может, пойдем отсюда, а, Лидочка? Ну их, бутылки эти.

— Нет уж, Ванечка, столько стояли, а теперь — домой? Нет уж, достойно. Мы ведь с тобой и не такое выдерживали...

А очередь тем временем жила своей жизнью, жизнью отдельных людей, добровольно выстроившихся друг за другом в стремлении к общей цели. Цель эта была равно достижима для каждого, и поэтому здесь не было ни особых ссор, ни сведения счетов, ни попыток поставить себя в положение исключительное. Нет, все добровольцы знали, на что они шли, а потому и запаслись достаточным терпением. И если очередь гудела — так сдержанно, если вздыхала — то разом, а если топталась, то на месте, только чтобы размять ноги. Она была несравненно больше обычных очередей за мясом, колбасой, сыром или маслом, но в отличие от них — женских, истерично крикливых, недоверчивых, суетливых — обладала внутренним порядком, спокойной выдержкой и даже известным достоинством. И когда Иван Степанович осознал эту разницу, удивился:

— Знаешь, Лидочка, люди-то у нас больно хороши. В такой очереди, а стоят себе смирно, покойно. И никакие не алкаши мы: просто судьба на нас всю жизнь сбоку глядит.

— Точно, Ванечка, — вздохнула жена, — сбоку, это точно.

— Ведет! — сказал полный, стоявший за ними. — А я что говорил?

К ним приближались оскорбленная старуха и солидный мужчина в дубленке. Лицо у мужчины было хмуро отрешенным и одновременно брезгливым, точно он делал очереди невесть какое одолжение.

— Это вместо меня, значит, — поспешно сказала старуха. — Сосед мой. А мне и вина вашего не надо. Не надо!..

И поспешно засемила прочь. А полный весело поинтересовался:

— Эй, сосед, сколько бабуле за очередь отвалил?

— Вы ко мне? — дубленка с достоинством, всем телом повернулась. — А вам что за дело? Я же, кажется, у вас не спрашиваю?

— Чего, например? — грубовато отозвался мужчина. — Ты, дядя, тут не рыпайся, тут все равны, это тебе не в кабинете сидеть. Тут, чтоб ты знал, полная демократия с гласностью уже выполнены и перевыполнены.

— Но вы таким тоном спросили...

— Товарищи, пожалуйста, прошу, прошу, — зачастил миролюбивый Иван Степанович. — Знаете, как-то даже неудобно, честное слово. За таким, можно сказать, продуктом стоим, дружно стоим, чинно и мирно.

Засмутились его соседи. Переглянулись, дубленка полного сигаретой угостила, усмехнулись почти по-приятельски.

— Я ведь только ценой за место поинтересовался.

— Три рубля,— вздохнула дубленка.— Думаете, я из-за этого трояка расстроился? Да наплевать, я из-за спекуляции расстроился. Сами же ее и порожаем, сами, добровольно! То, понимаете ли, дефицитом, то неритмичным снабжением, то вот такими не очень продуманными мерами по борьбе с пьянством накануне праздника.

— Тут они — мастаки,— угрюмо согласился полный.— Что им очередь наша, им ведь в ней не стоять: в спецбуфете либо в спецзаказе наверняка бутылек-другой подсунут.

— Чего не знаю, о том не говорю,— строго определила свою позицию дубленка.— Но ведь всем известно, что существуют народные и государственные праздники, так зачем же усложнять населению жизнь? Надо усложнять, когда нет никаких праздников, когда в очереди, как правило, либо употребляющие регулярно, либо бездельники, либо спекулянты. Это был бы разумный государственный подход.

— Усложнять никогда не надо,— не согласился полный.— Упрощать надо, и так все заусложняли — ни вздохнуть, ни пер... Извиняюсь, мамаша, конечно, сорвалось.

Он пытался порою вовлечь в общий разговор застенчиво помалкивающих стариков. То ли симпатичны они ему были, то ли жалел он их, то ли, наоборот, с трудом выносил их инородные в этой очереди смущенные лица. Как бы там ни было, а обращался он к ним с неизменным грубоватым добродушием.

— А ведь раньше, до войны, не пили, правду я говорю, Ванечка? — сказала Лидия Петровна, даже в этой лишенной сентиментальности очереди не утратив привычного обращения к мужу.— Это ведь вы, молодые, не помните, а мы помним.

— Дешевая тогда была водка — ну, прямо, копейки, — поддержал ее супруг.— Но чтоб так вот, как сейчас, или, особо если, как пять-шесть годков назад, так, конечно, не употребляли. Не было этого в привычке.

— А потом сто граммов наркомовских ввели — и сразу привычка образовалась? — насмешливо спросил мужчина в дубленке.— Упрощаете вы социальную нашу болезнь, уважаемые товарищи фронтовики.

— У нас это не социальная болезнь,— негромко, но с неколебимой уверенностью сказал Иван Степанович.— У нас не может быть социальных болезней, потому что у нас бесклассовое общество. У нас распущенность нравов из-за периода застоя.

— Опять в исключительность играем? — усмехнулась

дубленка.— У них все пороки, у нас все добродетели. Удобно!

— Бред — ежу ясно,— поддержал его полный.— Лапшу на уши полвека людям вешают.

— Полвека полнейшей дезинформации и разухабистого вранья,— серьезно, даже строго сказал мужчина в дубленке.— Помните знаменитую рубрику «Их нравы»? А выяснилось, что это заодно и наши нравы: и взяточничество, и преступность, и наркомания, и проституция, и алкоголизм, и казнокрадство, и даже, представьте себе, мафий разного рода у нас оказалось предостаточно. Вот ведь какова объективная реальность, а вы и до сей поры, как страусы, головы в песок: ничего не вижу, ничего не слышу, ничего и знать не хочу.

— Нельзя же огульно охаивать наши достижения,— тихо, но крайне твердо сказал Иван Степанович.— Мы, между прочим, фашизм разгромили..

— Милиция!..— вдруг прокатилось по очереди.— Милиция приехала! Становись в затылок друг другу! Становись в затылок!

— И никого не пускать! — закричало сразу несколько женских голосов.— Живая очередь! Живая!..

Очередь и впрямь ожила: задвигалась, загомонила, выстраиваясь строго в затылок друг другу, прижимаясь к стене дома и от этого заметно отступая назад. Иван Степанович заботливо поставил перед собой Лидию Петровну. Она оказалась за дубленкой, а за спиной самого Костырева сопел и ворочался полный мужчина:

— Через полчаса пускать начнут. Первую двадцатку.

— А почему через полчаса? — удивился Костырев.— До открытия всего десять минут осталось. Ровно десять: сейчас тринадцать пятьдесят.

— Разобраться должны,— прогудел полный.— Кому где стоять, кого куда пускать.

— Разобраться? — живо откликнулась дубленка.— Разобрать, а не разобраться. Кому сколько бутылок сегодня принести поручено.

— А вы злой,— вздохнула Лидия Петровна и виновато улыбнулась.

— Я не злой. Прощать мне надоело, понимаете?

— И напрасно. Прощение — великая сила.

— Прощение — великое равнодушие. Вот когда все мы, весь народ, как в войну, научимся ничего никому не прощать, тогда и случится то, что называется перестройкой. А будем прощать, как прощали, так и останемся на том же месте. Догнивать на передовых идеях.

— Хана, мужики! Хана! Еще раз вздрючили, гады!..

С этими непонятными криками вдоль очереди семенили давешние знакомцы, которых полный мужчина назвал таксистами — черный и белесый. Вид у них был настолько взволнованный, что полный, не утерпев, схватил белесого за рукав:

— Здесь вы стоите, за мной. Чего орешь?

— А то, что водки в два раза меньше обычного, понял? Двадцать ящиков вместо полста!

— И вина тоже урезали, — возмущенно подтвердил чернявый. — Мы точно знаем, сами грузчиков спрашивали.

— Что хотят, то и делают. Ну, что хотят, то и делают!..

С этими патетическими возгласами оба таксиста стали энергично втискиваться в уже чинно выстроившуюся очередь.

— Вы тут не стояли!

— Стояли! Вон, у мужика спроси! Мужик, поддержи!

— Стояли они, стояли, — подтвердил полный, потому что они влезали как раз за его спиной, и он не хотел напрасных осложнений.

— Не видела я их! Не видела! — истерично кричала женщина сзади. — Не пускайте их! Не пускайте, граждане, что ж это делается!..

— Молчи, тетка. Мы в разведку ходили.

— Милиция! Милицию позовите!..

Участок очереди, где смирно стояли Костыревы, вдруг ожил, зашевелился, задвигался, качаясь и выпучиваясь. Люди испуганно хватали друг друга за одежду, за плечи, за пояса, чтобы только удержаться в строю, чтобы случаем не вылететь из него.

— Милиция!..

— Не пускайте никого! Не пускайте!..

— Держитесь друг за друга! Плотнее, плотнее!..

— Никого не пускать! Никого! Живая очередь! Живая!..

Очередь оживала все энергичнее, хотя таксистам уже удалось в нее вклиниться, и они теперь тоже крепко держались за соседей. Начавшаяся в этом месте суета, толкотня и неразбериха, перекачивалась в обе стороны: удав просыпался, и дрожь его тела ощущалась во всех звеньях. И все цеплялись друг за друга, ворочаясь одновременно, слепо и бессмысленно. И чем дальше происходила подвижка от центра возмущения, тем все больше она теряла конкретный смысл, заменяясь интересами всеобщими.

— В два раза меньше, говорят.

— Говорят! А в четыре не хотите?..

— Борьба за нашу трезвость. Лучше бы за свою поборолась.

— На скольких же сегодня хватит, а? Нам-то хоть достанется?

— Может и не достаться.

— Как это то есть, может? Я четыре часа стою!..

— Эй, милиция! На сколько человек завезли?

— Продавца сюда! Давайте продавца, пусть объяснит!

— И пусть по одной бутылке в руки!..

— Это еще почему? А если у меня гости?..

— В порядке живой очереди!..

— Живой!..

В это время открылась одна из створок магазинных дверей: вторая была заделана наглухо да еще дополнительно укреплена. Так было легче сдерживать напор очереди, легче бороться с попытками проникнуть в магазин сбоку, легче отсчитывать двадцатки счастливых, которых допускали внутрь. Это была вполне разумная мера, рассчитанная на спокойную, «мертвую» очередь, но сегодня очередь оказалась «живой».

— Открыли!..

Никто потом не мог объяснить, почему вдруг привыкшая к безмолвному послушанию, выстроенная строго в затылок друг другу очередь именно в этот миг безудержно устремилась вперед. Половина двустворчатых дверей была уже распахнута настезь, двух милиционеров и продавщицу смели с порога, отбросили в тамбур, прижали к стене, и уже не очередь, а охваченная единым движением толпа повалила в магазин, в считанные секунды до отказа переполнив его. Затрещали прилавки, закричали женщины, зазвенели стекла.

— А-а-а-а!..

Рев возник сам собою, как выдох из множества зажатых, стиснутых, смятых грудных клеток. Звериный рев вместе с истошными, полными ужаса женскими криками, громогласной матерщиной, треском ломаемых перегородок. Ни о каких покупках, естественно, и речи идти не могло: распикивая окружающих, наиболее сильные прорывались за разгромленные прилавки, хватали из ящиков столько бутылок, сколько успевали, и начинали тут же яростно прорываться к единственному выходу — к служебным подсобкам, где были двери на улицу. Уже кто-то кого-то ударил, уже всю работу кулаками, плечами, ногами, уже никого и ничего не видели, кроме заветных бутылок, и уже никто никого не жалел и не щадил.

— Что ж вы делаете, что де-е!..

— Тише!.. Тише!..

— Люди!..

— Спаси-и!..

Гулко треснуло и со звоном вылетело витринное стекло. Кого-то бросали на него, кого-то прижимали к его осколкам: брызнула первая кровь, упали первые люди, но и по крови, и по людям неудержимо, с бессмысленной силой и яростью топали новые семенящие ноги. Конечно, большинство шло не по своему желанию и вопреки своей воле, но у толпы свои законы, не подчиняться которым не может ни один самый отчаянный одиночка: его сомнут и раздавят. С толпой есть лишь один способ борьбы: не допустить ее возникновения. Но здесь она уже вышла из-под контроля.

В тесном магазинчике — местные власти сделали все, чтобы затруднить жителям приобретение спиртного, — был ад. Кричали, дрались, топтали упавших, рвали за одежду, за волосы, визжали от ужаса, матерились и били, били, били, прорываясь то ли к ящикам с водкой, то ли просто на волю. Но улица, слыша вопли и топот, не представляла себе истинного положения дела, а если бы и представляла, уже ничего не смогла бы сделать. Массовый психоз, превращающий нормальных, спокойных, даже выдержанных людей в одичавших громил, не знающих ни жалости, ни милосердия, уже поразил ее. Все стремились только к одной цели: попасть в магазин, и даже те немногие, которые уже не хотели этого, поделаться ничего не могли. Они могли лишь подчиниться законам толпы, то есть идти туда, куда она вела...

— А-а-а!..

— Люди!.. Товарищи-и!..

— Лидочка!.. Лидочка, держись за дубленку товарища!.. Держись, Лидочка!..

Сам Иван Степанович за свою Лидочку держаться не решался. Он изо всех сил оберегал ее от толчков, и его мотало в толпе, как щепку. Старики все время пытались выбраться из очереди (бог с ним, с шампанским и кагором «Араплы»!), но чинная очередь давно сломалась, давно образовала несколько параллельных рядов, а задние все нажимали и нажимали, и приходилось старательно семенить, чтобы не упасть, не споткнуться, не позволить оторвать себя от стены, вдоль которой они когда-то выстраивались, потому что с этой стороны никто не давил, не жал, не дергал.

— Лидочка, держись!..

— Ванечка, обопрись на меня. Ванечка, обопрись...

— Люди, опомнитесь! — кричала дубленка, покорно семеня к входным дверям под напором сзади стоящих. — Что же вы делаете, люди?!.

Торопливо семенящая очередь — уже не в один, а в два-три ряда! — втягивалась в узкую дверь магазина, как в воронку. Вторая, наглухо заделанная створка, в которую

беспрестанно ударялись то плечами, то грудью, то головами те, кого несло с перекосом, мимо открытой двери, вздрагивала под этими ударами, но пока стояла несокрушимо, заблаговременно укрепленная железными полосами. Здесь было самое узкое место, резкий перепад, за которым следовал относительно свободный тамбур и еще одни двустворчатые двери, ведущие непосредственно в магазин. Эти двери, ничем не укрепленные, были сметены первым же людским потоком, разбиты и распахнуты настежь. Таким образом, сразу же за узким выходом движение на некотором промежутке ускорялось, чтобы затем тупо упереться в неразбериху, крики, стоны, слезы, матерщину, звон посуды и треск ломаемых переборок.

— Держись, Лидочка!..— отчаянно закричал Иван Степанович.

А закричал он, потому что сильным нажимом пристроившейся «незаконной» очереди его оторвало от Лидии Петровны. Между ним и его женой вклинились широкие суконные спины, кто-то локтем двинул Костырева в лицо, но он не почувствовал боли. Он весь был впереди, он думал только о ней, о своей Лидочке, унесенной человеческим потоком, пытался увидеть хотя бы ее платок, но Лидия Петровна была маленького роста, и суконные спины напрочь перекрывали ее.

— Говорил, держись за старуху! — зло кричал над ухом полный, приклеившийся к Костыреву, как пластырь.— Скольких вперед пропустил, дерьмач старый!

— Лидочка!.. Лидочка!..— не слушая, надрывно кричал старик, покорно семеня к дверям в объятиях полного соседа.

Крик потонул в отчаянном женском вопле, полном боли и ужаса, и Костырев не то чтобы узнал — животный крик этот узнать было уже немислимо,— Костырев, понял, кто это кричит.

— Лидочка!.. Тише!.. Прошу, товарищи, милые, прошу...

А впереди в узком проеме дверей творилось нечто непонятное. Очередь вдруг заметалась, многие неожиданно начали подпрыгивать у самого порога, резко усилились крики, но, кроме мата да отдельных междометий, ничего нельзя было разобрать.

— Лидочка!..

Костырева уже поднесло к двери, и он увидел ее. Свою жену, с которой прожил сорок лет без четырех дней, женщину, родившую ему троих детей. Боевого товарища, фронтовую радистку, раненную за неделю до конца войны.

— Лидочка...

Она лежала ничком на самом пороге, платок сбился с

седой головы, и на этой седине особенно ярко проступила кровь. Видно, ударило Лидию Петровну виском о косяк, видно, уронили ее те, кто давил сзади, видно, отшатнулся в естественном порыве тот, в дубленке, и она упала лицом вниз, а правая, неестественно вывернутая рука пересекла порог. И на какую-то долю секунды, сдержав чудовищный напор толпы собственным старческим телом, Иван Степанович с необычайной, неестественной ясностью увидел и окровавленную голову, и растоптанную откинутую руку, и тут силы покинули его, и он рухнул на ее тело...

1988

ЖУТКОЕ ДЕЛО

Начальник райотдела милиции майор Пронин чистил сапоги на служебном крыльце. Раньше он чистил их дома, но с той поры, как его жена начала выписывать журнал «Здоровье», ее измучила аллергия. И майор теперь драил обувь исключительно на службе.

Светило солнце. Город осторожно начинал трудиться. А только что заступивший на дежурство сержант милиции Николай Муховоз вслух читал свежие газеты:

«...но старший лейтенант мгновенно понял коварный замысел преступника. Прием, и матерый бандит взвыл от боли, лежа на земле...»

— Кто взвыл? — весело спросил зам по угро капитан Холмов.

— В Костроме старший лейтенант голыми руками рецидивиста повязал, — вздохнул сержант. — Везет же людям.

Он был молод и мечтал о подвигах. А майор был в средних летах и мечтал, чтобы не было осложнений. Никаких, никогда, ни на службе, ни дома. И начал в этом смысле воспитывать подчиненного, когда в воротах появилась очень взволнованная дама средних лет и средней упитанности в кудряшках времен покорения целины.

— Здесь милиция?

С этого все и началось. И потом майор часто ловил себя на мысли, что тогда, в то солнечное утро не сделал элементарного упреждающего выпада: не сказал солидной гражданке, что никакая это не милиция...

Не сказал. С того все и началось. И через три минуты майор сурово слушал, капитан слушал жадно, а сержант протоколировал показания и потому слушал вполуха. Возникал —

ДОКУМЕНТ № 1

«Я, Корноухова Стелла Трофимовна, учительница литературы и зоологии, прибыла вчера из совхоза «Подсол-

нечный» для товарищеского обмена опытом, после которого опоздала на автобус и была доставлена сослуживцами в местную гостиницу для переночевания. И уже находясь в постели в процессе засыпания, совершенно ясно услышала разговор в соседнем номере:

— Ты сдала Пернатого мусорам? Молчать, девочка, твоя песня спета! Облом, сделай так, чтобы она исчезла без следа. Ты меня понял, Облом?

— Нет проблем, Пах Пахыч.

— Волоки ее в мою машину...»

Протокол не зафиксировал, что в этом месте со свидетельницей произошла легкая истерика. Однако, выпив воды и будучи дружески охлопанной майором Прониным лично, дама сумела взять себя в руки.

— Исчезай, говорит. А я, говорит, жду гостей.

Она вновь задохнулась, но майор вовремя охлопал ее.

— Ну, а дальше? Дальше?

— Дальше? Дальше отчетливо помню глухой стон, волочение тела. Подчеркиваю, женского.

— Его что, по-другому волокут? — спросил начугро Хохлов.

— Разный звук. Абсолютно разный, прошу зафиксировать. Значит, волочение женского тела... Потом дверь хлопнула, потом... Потом я сидела, не шевелясь: знаете, какие замки в номерах? И если бы они услышали мое дыхание, они бы... — Она вновь отерла слезы и завсхлипывала. — Это просто ужас, что я пережила, ужас.

— Дальше, — сурово разомкнул губы майор и опять хотел охлопать.

— Дальше машина отъехала. Дальше... Дальше тихо так стало, а я — вся внимание, вся внимание! И слышу за стеной — знаете, какие стены в номерах? — слышу приглушенные голоса, ничего не разберешь. А потом мужчина сказал: «С делом покончено». И опять хлопнула дверь и все стихло, а я до утра не спала, думала: вернутся — прикончат, только к утру задремала, а потом бегом к вам.

— Подпишите показания, — майор решительно скрипнул начищенными сапогами. — Сержант Муховоз, проводите гражданку на автобус и доставьте сюда ночную дежурную Дома колхозника... То есть ныне гостиницы «Ивушка плакучая».

— Да она поди спит.

— Разбудить!

Сержант и заплаканная дама вышли. Майор поскрипел сапогами и горестно вздохнул:

— Вот и влипли. Радуйся, угро!

— Банда может быть проездом,— задумчиво сказал капитан.— Но девушка несомненно местная. Приезжали мстить. Закон мафии. Лев прыгнул. Считаю необходимым проверить, кто из девушек не ночевал дома.

— Сегодня, что ли? — недовольно переспросил начальник: ему не хотелось никаких расследований.

— На проверку уйдет дня три. Будем просить сообщать, кто находится в отсутствии. Вычислив девушку, установим ее связи, круг друзей и знакомых, и захлопнем капкан. Дело обещает быть весьма...

И вошла немолодая дежурная под конвоем сержанта.

— На вокзале взял,— пояснил сержант не без гордости.

— Не спала я, не спала! — с порога почти с натуральным возмущением закричала дежурная.— Я никогда на работе не сплю, разве что глаза закрываю.

— Спокойно, гражданка Бессонова,— сказал майор.— Отвечать будете только на вопросы. Сержант, веди протокол.

Так появился —

ДОКУМЕНТ № 2

«В о п р о с. Кто ночевал в гостинице в эту ночь?

О т в е т. Мужчина. И женщина. Но в разных номерах, как положено.

В о п р о с. Имена?

О т в е т. Да что они, познакомились со мной, что ли?

В о п р о с. Как записаны в регистрации: ФИО, паспортные данные, откуда, куда, зачем, почему?

О т в е т. Это... Не записывала я. На одну ночь, чего записывать-то? Вон, газеты критикуют.

Р е п л и к а к а п и т а н а т о в. Х о л м о в а. А денежки, небось, взяла.

О т в е т. Не докажете.

В о п р о с. Опишите наружность.

О т в е т. Женщины, что ли? Полная, солидная, учительница из совхоза Стелла Трофимовна. Так спешила, что хозяйственную сумку в номере оставила, и я ей ту сумку отнесла на автостанцию, а этот ваш...

В о п р о с. Спокойно. Опишите мужчину.

О т в е т. Не наш.

В о п р о с. Почему так думаете?

О т в е т. Одет во все заграничное.

Р е п л и к а к а п и т а н а т о в. Х о л м о в а. Вот!..

В о п р о с. Словесный портрет.

О т в е т. У нас в коридоре портрета не видно. Мы электричество экономим.

Реплика капитана тов. Холмова. Ну, роста, роста он какого?

О т в е т. Снизу все они высокие.

В о п р о с. Что значит снизу?

О т в е т. Так ведь я сижу, а они стоят.

В о п р о с. Один был мужчина?

О т в е т. Один. Или два? Вроде за ним заходил кто-то.

Реплика капитана тов. Холмова. Спала!

О т в е т. Не докажете. Я только сижу с закрытыми глазами, а так не сплю.

В о п р о с. Ну, ладно, ладно. Когда мужчина ушел?

О т в е т. Не знаю. Ночью, видать. Или заехали за ним. Я глаза открыла, а передо мною — ключ от номера.

Реплика капитана тов. Холмова. Сбежал? Ха! Вот работнички.

В о п р о с. Прекрати.

О т в е т. Глаза, только прикрыла. А все слышала.

В о п р о с. Что именно?

О т в е т. Значит, так. Перья какие-то сдавали. В мусор, что ли.

Реплика капитана тов. Холмова. Так-так-так! Дальше что?

О т в е т. Песня, говорит, спета. Твоя. Обком, говорит, ты этакий.

В о п р о с. Откуда шел голос?

О т в е т. Из номера. Из него. Который мужчина. А потом глаза открыла — батюшки, а ключ-то на столе!

Реплика капитана тов. Холмова. Трудовая дисциплина называется!

О т в е т. Не докажете.

В о п р о с. Хватит! Сколько времени было, когда слышали голоса, и сколько, когда увидели ключ?

О т в е т. У меня часов нету. А те, которые висят, те стоят.

В о п р о с. Ясно. Подпиши и распишись. Тайну не разглашать, из города не отлучаться. Пока свободна.

О т в е т. Пока?!.»

Подписав протокол, дежурная ушла. Все были в нервно приподнятом настроении. Хромовые сапоги майора источали аллергический дух.

— Значит, что получается,— сказал майор Пронин.— Дело открываем на основании двух идентичных показаний — это раз. Немедленно всеми наличными силами осу-

ществуем наличие отсутствия молодых женщин — это два. Докладываем прокурору, райкому и наверх, поскольку дело жуткое — это три.

— Запрос! — воскликнул капитан. — Пернатый — кличка редкая, может, в прошлом летчик. Надо запросить, не проходил ли когда по мокрым делам.

— За работу, товарищи! Руководство операцией беру на себя. Капитану Холмову — поиски исчезнувшей жертвы и запрос о Пернатом. Две ниточки — это две наших вожжи! Сержанту Муховозу дежурить в отделении, покуда лично не отменю приказ. Вечером — совещание. Все.

И в спокойном районном центре, где отродясь никто никого... разве что колом по башке... закружилась бурная сыскная жизнь. Майор лично посетил прокурора, райком партии, школу и совхоз «Подсолнечный», из которого вернулся с особым скрипом сапог и иным запахом гуталина. Капитан Холмов тщательно осмотрел все четыре номера гостиницы «Ивушка плакучая» (быв. Дом колхозника), отправил найденный окурок на экспертизу в Центр вместе с запросом о Пернатом и договорился с райкомом комсомола о помощи в поисках исчезнувшей жертвы. А бессменный дежурный сержант Муховоз пошел в городскую библиотеку, откуда на мотоцикле с коляской привез неполное Собрание Сочинений Героя Социалистического Труда и начал изучать его с первого тома, часто прикрывая глаза по рецепту дежурной Бессоновой.

— Идея! — вскричал капитан Холмов на вечернем заседании. — Где в нашей конкретной местности можно быстро и без труда спрятать убитый труп девушки? В озере Темном: глубокое, вокруг пустынно, а шоссе рядом. Прошу разрешения опросить работников рыбнадзора.

— Это версия, — поддержал начальник. — Отрабатывать будем все версии, не считаясь со временем и затратой сил.

На другой день начугро Холмов умчался в рыбнадзор на единственном служебном мотоцикле. Правда, рыбохрана не заметила ничего подозрительного, но, введенная в курс дела, обещала бдеть. Сержант Муховоз перешел ко второму тому, а майор вновь укатил в совхоз «Подсолнечный». На райкомовской «Волге» вместе с прокурором и двумя березовыми венниками.

К вечеру следующего дня поступило официальное сообщение Центра. Там работали четко, и появился —

ДОКУМЕНТ № 3

«На ваш иск. №... отвечаем, что кличка Пернатый в наших картотеках, а также в памяти ЭВМ не значится.

Для ориентировки сообщаем, что десять дней назад органами задержан известный рецидивист по кличке Патлатый. Ведется следствие».

— Вот кого сдала нам несчастная,— майор Пронин горестно покачал головой.— Пернатый и Патлатый — одно лицо, это и ежу ясно. Просто бабы нечетко расслышали со сна.

— Свидетельница Корноухова не спала,— подчеркнул капитан.

— Она обмирает. Иногда,— загадочным голосом сказал начальник.

Наступило молчание, изредка прерываемое невразумительным бормотанием. На диване спал бессменно дежурящий третьи сутки сержант Коля Муховоз, положив под голову тома сочинений.

— Не пришла ли пора задействовать прессу? — осторожно спросил начугро.

— И я постоянно думаю о гласности,— сказал майор.— Только не о нашей, районной: делать — так по-большому. Свяжись с областью. Но аккуратно, чтобы местные товарищи не сделали неправильных выводов.

Капитан связался. Майор опять уехал в совхоз «Подсолнечный» («для отработки версии»). Сержант Муховоз, которому теперь жена регулярно носила передачи, приступил к третьему тому.

А «дело» застопорилось. Никаких новых данных не поступало, но и старых никто не опровергал. Начугро осторожно намекнул, что дело обещает быть жутким, но областная пресса отнеслась к этому намеку скептически:

— Вы сперва преступников поймайте.

В этом был резон и, трясаясь из области на выделенном персонально ему КамАЗе, капитан детально рассматривал свои козыри. Их было не так-то много: два идентичных заявления, явно сданный милиции Патлатый, никому неизвестный Облом и еще менее известный главарь по кличке (или имени?) Пах Пахыч. «Пахом Пахомыч? — размышлял Холмов, подсакивая на ухабах.— А, может, Пал Палыч, переделанный для конспирации? Или уменьшительное от Пахан Паханович? Крепкий орешек...»

Так думалось начальнику угрозыска капитану Холмову после разговора с заместителем редактора областной газеты, на которую бумаги в стране всегда хватало. Заместитель проявил разумную осторожность, предложив сначала поймать бандитов. И трясущаяся от путешествия в пустом КамАЗе по районным дорогам голова капитана была целиком занята дедуктивным и индуктивным анализом обстановки.

Дома, то бишь, в родном Отделе, ждала нечаянная радость.

— Дружинники принесли, — расслабленно пояснил сержант Муховоз. — Достал меня классик...

Взгляд у него был мутноватый, голова плохо держалась на шее, язык с трудом оформлял мысли в некое подобие знакомых звуков. Но начугро презрел страдания подчиненного, сразу же цапнув бумагу.

ДОКУМЕНТ № 4

«Докладываю, что согласно донесениям в городе не ночевали дома последние четыре дня по невыясненным причинам сто восемнадцать (118) гражданок в возрасте от 14 до 32-х лет.

Начштаба Народной Дружины
(подпись неразборчива)
Комиссар штаба
(подпись неразборчива).
«Подтверждаю»
Участковый инспектор младший лейтенант
БЕРНАДОТТ»

— Сто восемнадцать, — с отчаянием прошептал капитан Холмов, тяжело опускаясь на стул. — В возрасте от четырнадцати. Какое растление Западом...

— А у меня Востоком, — с усилием произнес сержант, прорабатывающий пятый том собрания сочинений (неполного).

Наступило отчаянное молчание, в котором беззвучно трещали две головы. Но тут распахнулась дверь, запахло гуталином, и знакомый голос оптимистично пропел:

— Ночевала тучка золотая на груди... — Начальник помолчал, обвел взглядом подчиненных и запел иное: — Что ж вы, нули, все заснули? Шевелись, гляди! Вороны, удалые, гривачи мои! И-эх!..

Он сел за стол и с победным видом уставился на зама по угро. Капитан угнетенно молчал, а сержанта как раз в этот момент свалил приступ целительного сна.

— Бездельники, — констатировал начальник. — Один читает третьи сутки, другой катается на казенных машинах. А я тем временем разработал версию, проверил цепочку, вышел на свидетелей, с их помощью опознал преступников и лично повязал после яростного сопротивления начальника рыбнадзора.

— Где?! — капитан вскочил, опрокинув стул.

Сержант Муховоз, проснувшись от грохота, схватился за книгу. Майор глядел на подчиненных победоносно и покровительственно.

— Не мог же я их без охраны везти? Оставил в рыбнадзоре, вопреки капризам рыбинспектора. Он ведь...

— Сколько их? — нетерпеливо перебил Холмов.

— Двое. Работники леспромхоза. Характеризуются пока положительно и — не привлекались.

— А труп?

— Вот с него-то я и начал, — с удовольствием отметил майор. — Твоя догадка, что труп — в озере, послужила отправной точкой. Раз озеро, так кто мог видеть момент утопления?

— Рыбнадзор, — капитан опять скис. — А они не видели.

— Они — нет, так другие — да. Что такое озеро? Вода с берегами, так? А какие берега у Темного озера? Земли совхоза «Подсолнечный». Значит, кто мог заметить? Правильно, парочки, поскольку совхоз сдал клуб под общежитие ученым из области, которые у них второй месяц косят сено.

— Ну? — начугро не терпел отвлечений, когда вопрос касался профессии. — При чем тут ученые косари?

— Парочки. А раз парочки, то следует действовать через женщин, — майор почему-то закашлялся и сам себя постукал по спине. — Женщины наблюдательны, а учительницы литературы и зоологии хорошо знают бывших воспитанниц. Дальнейшее — дело техники. Стеллоч... кхм... Стелла Трофимовна собрала четырнадцать возможных свидетельниц, объяснила им, что и почему мы ищем, и тут же девять человек припомнили все обстоятельства.

— Видели? — с замиранием сердца спросил капитан.

— Кто говорит, что троих, кто — двоих, но двое реальнее. Значит, двое. Ночью. Выгребли на лодке из кустов. Постояли. А затем тихо опустили в воду тяжелый предмет.

— Чесать! — заорал капитан. — Прощупать все озеро с целью обнаружения!

— Уже, — ухмыльнулся начальник. — Договорился с совхозным руководством, что завтра вместо уборки сена начнут чесать все озеро. А ты, капитан, бери мотоцикл и шпарь в рыбнадзор. И начинай допрашивать преступников, пока они еще тепленькие. Расколешь — покупай себе погоны с двумя просветами!

Капитан Холмов оседлал мотоцикл и с ревом умчался в густеющие сумерки. Сержант Коля Муховоз закончил очередной том и плаксиво запросился домой.

— Читай, читай, — майор вздохнул, и победоносная легкость покинула его. — Домой придется идти мне.

Задержанные оказались не столько тепленькими, сколько перепуганными. Рядом с богатырем мотористом и громиллой

рабочим рыбнадзора они выглядели неказисто. Сам инспектор рыбохраны принципиально ушел домой.

— Фамилия? — грозно спросил капитан, входя.

— Антиповы, — тихо сказал тот, что выглядел чуть плотнее.

— Оба — два?

— Вся деревня.

— Деревня... А числитесь в леспромхозе.

— Сучкорезы мы и пожогщики. Нам в армию осенью, подработать хотелось.

— Подработать?.. — глаза начугро блеснули поисковым огнем. — Так-так. Увести этого.

Рыбнадзорные амбалы увели разговорчивого, капитан и мелковатый кандидат в убийцы остались тет-а-тет. Начугро посадил кандидата точно под лампой (жаль, настольной не было на тысячу свечей!), а сам оседлал стул напротив в глубокой тени. И наступило молчание.

— В молчанку играть будем? — спросил Холмов через сорок семь минут.

— Как скажете, — шепотом ответил Антипов-два.

— Где тело спрятали? — вдруг заорал капитан, подавшись вперед и чудом не опрокинув стул, на котором сидел верхом. — Смотреть мне в глаза!

Хоть он и дослужился до чина и должности, но допрашивать до сего случая ему приходилось только мелкую сошку. Скандальных баб, хулиганов районного звена да пьяных забулдыг. Но он много лет выписывал журнал «Советская милиция» с приложением и очень вдумчиво их читал.

— Ты мне горбатого не лепи! — кричал он на онемевшего от ужаса паренька. — Живую топили или мертвую? Отвечать!

— Чего? — еле слышно спросил преступник и всхлипнул, рукавом утерев слезы. — Нам бригадир рыбы велел наловить. И сеть дал. Чтоб тихо, говорит. А тут — моторка, и мы ту сеть утопили со страху.

— Утопили, значит? И не знаешь, мертвой она была или еще живой? Смотреть мне в глаза! Где душили — в машине Пах Пахыча или на берегу? Нам все известно! Исключительной захотел? Смотреть мне в глаза, я сказал!

Через час, не ответив ни на один из вопросов, преступник зарыдал в голос. Капитан вытер обильный пот и позвал моториста.

— Срочно рву в область. Крепкие орешки, тертые калачи. Профессионалы. Стеречь в оба и не давать сговариваться.

К началу работы начугро вновь предстал пред очами заместителя редактора областной газеты. Невыспавшийся, небритый, с глазами, сверкающими сыскным огнем.

— Задержали? От души поздравляю. И кем же они оказались?

— Профессиональные убийцы,— утомленно сказал капитан.— Я сел на хвост разветвленной преступной организации, построенной по классическому примеру американских мафиозных синдикатов. Естественно, я дожду хвост, но нас могут опередить. Как только Москве станет известно, сюда ринутся сотни борзописцев, и вы останетесь с носом. Вкопайте заявочный столб, а то столица все приберет к рукам.

— Но ведь еще не было не только суда, но и следствия,— осторожно заметил зам.

— Преступление было? Было. Непосредственные исполнители обезврежены? Обезврежены. Уличены в потоплении девушки, которую они на своем жаргоне обозначают «сеть»? В основе — да. Что вам еще нужно для заявочного столба?

— Так-то оно так...

— Москва стесняться не будет,— дожимал Холмов.— Знаете, какие там хваты? Примчатся Ваксберг, Щекочихин, братья Вайнеры, Ольга Чайковская...

— Так-то оно так...

— Поймите, это же в интересах области. Кто знает, к чему приведет раскрутка преступных цепочек в эпоху сенсационных коррумпированных разоблачений? Хотите оказаться в числе теневого заслонов? Да я сейчас в обком...

— Не надо! — встрепенулся зам.— Вот в обком не надо, сами разберемся. Идемте к редактору: если даст «добро», напишем вместе.

— Мне пока не следует фигурировать,— капитан отсекся от славы, но зарделся от удовольствия.

— А что, вовремя заявить тему — значит проявить понимание момента и журналистскую хватку,— сказал редактор, когда они ему рассказали о предполагаемых наметках.— Оперативно, откровенно, в духе гласности и плюрализма.

Сенсационную статью сварганили за два часа. Шеф читал, одобрительно кивая.

Три дня капитан с начальником мотались по району, тралили совхозными силами озеро Темное, допрашивали вдвоем и поодиночке леспромхозовских сучкорезов. Тела обнаружить не удалось, но зато бригадир, на которого ссылались подозреваемые, категорически отверг само существование браконьерской сети:

— Да чтобы я, советский человек...

Отсутствие сети служило веским доказательством неискренности сучкорезов-пожогщиков, а тут приспела областная газета с громким подвалом «ТАК ЛИ УЖ НАДЕЖНО СПРЯТАНЫ КОНЦЫ В ВОДУ?», и никто во всем районе более не сомневался, что двое таких тихих с виду допризывников утопили в Темном озере неизвестную девушку. Розыски девушки взяла на себя прокуратура, ее тела — лично майор, а начугро неумоимо допрашивал подозреваемых оптом и в розницу. Поскольку на работе поймать его было невозможно, заместитель редактора доверительно переслал запись телефонного разговора между обкомом и редактором:

ДОКУМЕНТ № 5

«— Зачем вы подняли волну?

— Сознательно. Теперь Москва собственными задами прочувствует состояние наших дорог.

— Хе-хе. Остроумный ход. Остроумный!..»

Начальник отдела майор Пронин не успел порадоваться такому резонансу, как и в его адрес поступила срочная телеграмма:

ДОКУМЕНТ № 6

«Просим считать материал убийства юной Джульетты собственностью киностудии имени Горького. В условиях новой модели советского кинематографа...»

— Устроим усилия! — воскликнул капитан.

Устроили. Район лихорадило, все спали урывками, а совхоз окончательно прекратил уборочную, бросив все силы на ежедневный борботаж озера Темного. А тут еще майору Пронину вздумалось устроить очную ставку преступников со Стеллой Трофимовной. Естественно, она не видела их, но — слышала, и очная ставка была организована как следственный эксперимент: учительница литературы и зоологии заперлась в том же номере гостиницы в присутствии понятых, а сучкорезов Антиповых заставили несколько десятков раз произнести зловещую фразу: «Нет проблем, Пах Пахыч». И к концу следственного эксперимента Стелла Трофимовна безошибочно узнала оба голоса.

А на следующий день Холмов получил по почте увесистый пакет. Сопроводительная гласила:

ДОКУМЕНТ № 7

«Ув. тов. Холмов! Препровождаем Вам многочисленные письма трудящихся, со всею душою откликнувшихся на статью. Никогда доселе наша газета не получала столько

сердечных граждански зрелых и плюралистически гневных писем читателей. «Сорную траву — с поля вон!» — единогласно требуют наши перестроившиеся люди. Наконец-то народ перестал безмолвствовать, и редакция областной газеты со всей душой присоединяется к этому чистому порыву.

С глубокой благодарностью в адрес нашей родной милиции.

Редактор

(подпись неразборчива).»

От нетерпения капитан прочел сопроводительную на почте, огласив ее работникам последнюю строчку. Но писем читать там не стал, решив насладиться совместно с начальником.

Однако майора в Отделе не оказалось: то ли искал тело, то ли уже нашел. Начугро слегка расстроился, но все же решил почитать граждански зрелые послания сержанту Муховозу.

— Потрясающие отклики простых советских, — начал он, высыпая на стол груды писем из толстого пакета. — Глас народа, а народ, как известно, никогда не ошибается. Сейчас я тебе зачту...

— Классовый враг не дремлет, — замогильным голосом сказал сержант. — Необходимо беспощадно уничтожить. Всех.

— Всех?.. — растерянно переспросил Холмов.

— Всех! — глаза Муховоза странно сверкнули. — Кулаков и подкулачников. Гнилую интеллигенцию и оппортунистов. Шпионов и наймитов.

— Коля, — начугро торопливо налил стакан воды, на всякий случай отнес тяжелый графин в дальний угол, а уж потом подошел к Муховозу. — Коля, попей водички. Глотни, Коля.

Сержант жадно осушил стакан, Холмов подождал, пока он не проглотил остатки, и шепотом осведомился:

— Что, уже поступили указания?

— Восемь томов вопят о бдительности, — Коля нежно погладил книги. — Не будем терпеть врагов народа...

— Не будем, Коля, не будем, — начугро бережно уложил сержанта на диван. — Ты только поспи сперва. Сил подкопи.

Муховоз мгновенно провалился в горячий сон. Холмов дождался храпа, остервенело пнул ногой подвернувшийся том, сел к столу и развернул первое письмо.

Нет смысла пересказывать все послания. Надо экономить время и бумагу, а потому сведем отдельные выдержки в

ДОКУМЕНТ № 8

«Мы, труженики районного отделения по учету, до глубины души возмущены отдельными коррумпированными элементами, перешедшими в атаку в период, когда вся наша страна от мала до велика...»

«Земля должна гореть под ногами убийц!

Общество «ТРЕЗВОСТЬ»

«Вот яркий пример, куда заводит преклонение перед сатанинской музыкой растленного Запада...»

Ветераны.»

«Доколе?!»

Жильцы.»

«Вот вам реальности оголтелой травли Великого Вождя. Так вам, перестройщикам, и надо!»

Без подписи.»

«Нет сомнений, что к этому зверскому убийству русской девушки приложили свою грязную лапу жидо-масоны. Расстрелять этих инородцев без суда и следствия, как бешеных собак!»

ПАМЯТЬ.»

«Во всем виновато кино. Требуем категорического запрета разлагающего фильма «Маленькая Вера» и сурового наказания для актрисы!»

Неформальное объединение «СИНИЙ ЧУЛОЧЕК.»

«...а в магазинах — хоть шаром покати...»

Подпись неразборчива.»

«Дальше так жить нельзя!»

Многодетные матери.»

«Меня в третий раз выпихнули из очереди на квартиру.»

Водитель автобуса Пеле Карлушкин.»

«Призываю вспомнить забытый ныне глагол «бдеть»!»

Персональный пенсионер.»

«Требуем закрыть все гостиницы, а заодно и рестораны, как рассадники...»

Группа «ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ.»

Всех писем капитан просмотреть не успел, поскольку открылась дверь и возник гуталиновый аромат. Вид у владельца его был суров.

— Читаешь?

— Письма трудящихся...

— Москва запросила «Дело» и преступников, а незавершенку отправлять — сам понимаешь.

— Дожму, — сурово обронил начугро.

Новость была столь ошеломляющей, что капитан сразу же запихал письма в пакет, даже не предложив ознакомиться с ними своему непосредственному. Москва запросила, а что ей могли предложить сыщики районного звена? Догадки? Домыслы? Версии? На худой конец — показания двух женщин? Мало, мало и мало! Это для них — достаточно, а для САМОЙ столицы? Грош цена всей работе, если... Если она не будет подкреплена хотя бы личными признаниями сучкорезов.

И Холмов, взгромоздившись на мотоцикл, резанул в рыбоохрану, где содержались потенциальные убийцы без всякого оформления бумажек, чтобы не привлекать прокурорского глаза. Не в следственном изоляторе, не в отделении — так что, товарищ прокурор, в чем собственно дело? А?..

Инспектор рыбнадзора вел себя вызывающе. Сперва учинил скандал, что, мол, не позволит превращать погреб рыбоохраны в камеру предварительного заключения, а потом вообще взял отпуск и укатил в неизвестные края. Но остался моторист — человек, понимающий тонкости, и главное — крепыга-рабочий, запросто рвущий цепи голыми руками, если светила поллитра. Вот на них-то, на их гражданскую сознательность и полагался сейчас капитан Холмов.

— Сделаем,— сказал работага.

Моторист был осторожнее. Подумал, поулыбался, подмигнул:

— А насчет законности как осмыслим?

— А как хочешь?

— А бумажку. Есть бумажка — есть допрос, нет бумажки — есть вопрос. Новое мышление, капитан.

Страсть, как не хотелось Холмову оставлять следы, но моториста уже просквозило новыми веяниями. И, подумав, намучившись и навздыхавшись, капитан сочинил

ДОКУМЕНТ № 9

«Сердечно прошу провести с задержанными для проверки гражданами Антиповыми работу о пользе признания в духе тех установок, когда человек человеку был друг, товарищ и брат.»

— Работу — письменно,— строго сказал он, передавая бумагу.— Я — письменно, и вы — письменно. И вполне добровольно, чтоб, значит, без этого... Без следов, но искренне.

— А куды денутся? — с ленцой спросил амбал.— Хочь со следами, хочь нет.

— Хочь нет,— еще раз уточнил капитан.

Погано было на капитанской душе, когда она возвращалась домой. Так погано, что капитан, заглушив лживые

доводы рассудка, решил выпасть. Аккуратно этак вывалиться из всей этой истории с госпитализацией на неделю, как минимум, а там видно будет. И вывалился, как только вырулил на шоссе и приметил вдали целое стадо КамАЗов. — Помогите!..

Помогли. Доставили в больницу, где переломов не обнаружили (удачно выпал!), но зато обнаружили легкое сотрясение мозга и приказали лежать. «Теперь Москва повернется!» — злорадно подумал начугро сотрясенным мозгом, засыпая здоровым сном на больничной койке.

На следующий день ближе к вечеру его посетил непосредственный начальник. Спросил о самочувствии, но как-то мельком, словно бы отбывая повинность. А спросив, покивал головой и перешел на микшированные тона:

— Рыбнадзор вчера посещал?

— Сложно сказать, — капитан прикидывал с ходу. — С одной стороны, вроде бы — да, а с другой вроде бы — нет.

— Что значит, с одной да с другой! Ты не финти, а докладывай, я тебя по службе спрашиваю!

— Вот я и докладываю по службе, — вздохнул Холмов. — По службе-то я был, но во внеслужебном состоянии. С сотрясением мозга. Все — как в тумане: что говорил, кому говорил... Кажется, упрасивал сознаться для их же блага. И, это... даже плакал.

— Вот в чем причина! — с облегчением воскликнул майор. — Слезы их достали, Холмов. Когда милиция — и слезы горькие, редко, какой убийца устоит. Редко. И вот доказательство.

И подал сотрясенному капитану

ДОКУМЕНТ № 10

«Сознаемся, что нанялись в убийцы с окладом в 120 рэ.»

Строчки прыгали перед глазами, читать было трудно. Кроме того, начугро упорно казалось, что мир населен людьми с исключительно сотрясенными мозгами. И вернул он «Искреннее признание» молча.

— Молодец! — с чувством сказал майор. — Покупай погоны с двумя просветами.

Через два дня капитана Холмова выписал лично главврач. Выписывал сердито, называя кого-то круглыми идиотами, и на осторожные намеки начугро, что с невылеченным дефектом он не может, как должно, исполнять служебные обязанности, буркнул:

— От дефектов вас теперь начальство лечит. Во всеобщем масштабе.

Расстроенный таким оборотом капитан, помыкавшись до

позднего времени, прокрался в родной Отдел. Расчет был тонок: в такое время начальник обычно уже пребывал в семейном гнездышке, а всякие подробности можно было выяснить у бессменного Муховоза.

— Здорово, серж...— бодро начал Холмов с порога, но осекся.

На диване не было ничего, кроме груды книг. А за столом сидел сам майор Пронин.

— Подлечили?

— Добровольно. Решил выйти для несения...

— Молодец! — начальник от души пожал руку капитану.— Сержанта Муховоза на «Скорой» в психиатричку отравили. Нервное потрясение с синдромом классовой нетерпимости. Теперь, видишь, сам дежурю: вот-вот Москва должна позвонить. Отправили ей голубчиков под усиленным конвоем.

— А не?..— осторожно спросил Холмов.

Что-то его тревожило. Может быть, незалеченное сотрясение мозга.

— Не,— бодро улыбнулся майор.— Эпоха требует энергии. Будем ждать вместе или тебе постельный режим прописан? Аккурат и полночь.

— Полночь,— начугро включил местную трансляцию и сел к столу напротив майора.

Он хотел заглушить голос начальника (уж слишком бодро звучал) и собственную тревогу. И жаждал легкой полуночной музыки, но динамик загадочно молчал.

— Непременно консультантом в кино пойду на нашу съемку,— мечтательно сказал начальник.— Может, за границей снимать будут.

— Это про нас-то — за границей?

— Ну и что, что про нас? Ведь «Мать» Горького снимают?

— Ее потому снимают, что у нас нигде трущоб не нашли,— пояснил капитан.— А наше жуткое дело надо снимать на месте преступления с максимальным фактическим материалом.

— Не скажи,— упорствовал Пронин.— Там, понимаешь, мафия. Есть где развернуться.

Тут в динамике что-то закашляло, забулькало, заклокотало. А потом задушевный женский голос сообщил:

— Добрый вечер, дорогие друзья-радиослушатели! Начинаем передачу для тружеников третьей смены. По многочисленным просьбам трудящихся повторяем радиоспектакль «Убийство на десерт». Роли исполняют артисты народного театра.

Опять хрюкнуло что-то в динамике, опять квакнуло. И наконец хриплый баритон угрожающе спросил:

ДОКУМЕНТ № 11

«— Ты сдала Пернатого мусорам? Молчать, девочка, твоя песня спета! Облом, сделай так, чтобы она исчезла без следа. Ты меня понял, Облом?

— Нет проблем, Пах Пахыч...»

Районные детективы сидели, боясь шевельнуться, точно надеялись наконец-то узнать, кто и кого убил. Потом майор сказал неодобрительно:

— Вот психи, а? Да у нас во всем районе вообще третьей смены нет, а они энергию тратят и спать не дают.

И, привстав, рванул шнур динамика на самом интересном месте...

ПОРОДА ТАКАЯ

Костя Солдаткин открыл глаза без четверти семь в смутном настроении. Понедельник, как известно, день тяжелый сам по себе, а тут еще зятек затеял в воскресенье отмечать День танкистов, хотя в их семье такого рода войск ни за кем не числилось. Оно конечно, этот зятек-Витек за любой род душу успокоит, однако, как Костя подозревал, именно вчера заводилой оказалась родимая сестра Любка, а вовсе не ее муж. За Любкой тоже водилась слабость, но если зятек-Витек клевал на любую наживку, абы выпить, то супруга его и, стало быть, Костина сестра желала как можно скорее оженить единственного брата. Лишить его холостяцкой безмятежности, посадить на прикол, стреножить ребенком и тем успокоить себя, а заодно и его, поскольку после смерти родителей оставалась старшей и решала за всех разом. Но Костя до сей поры держался, на сестриных подружек не реагировал и всегда старался пить осмотрительно, чтобы, не дай бог, не прижать какую в углу. И все шло путем, подружки менялись, Костя пил задарма, а зятек-Витек льготно, и мужики были довольны. А вчера сестра такую длинноногую да губастую откопала, что Константин слетел с тормозов. И пил, и длинноногой в глаза заглядывал, и в коридорчике ее малость пошуровал. Но — малость, больше не далась и при расставании простилась у подъезда.

— Все, Костик, все. Ко мне ни шагу, папочка с мамочкой не велят.

— Да что ты буровишь, Ларка!

— Чао, Костик!

Исчезла, зараза. Так исчезла, что Константин остался на улице дурак дураком, будто не был классным шоферюгой, не жил самостоятельно, не зарабатывал когда и повыше двух сотняг в месяц. И Костя уныло потянул в свою комнату, что от родителей ему досталась, да загудел по дороге то ли с досады, что отшила длинноногая, то ли с радости, что такая нашлась. В какой-то ресторан ломился, швейцару десятку совал, но проснулся дома. Без синяков, в полном комплекте — только минус сорок в кармане. И это мучило, как всякая загадка: ну ладно, червонец хрену в позументах

отвалил, но где тридцатник? Ответа не было, и Костя страдал всю дорогу, хотя на работу прибыл вовремя.

— Что-то тебя, Константин, в общем наряде нет,— сказал диспетчер Иван Федорович.

Иван Федорович был из старых шоферов, три года назад кинул собственный КамАЗ в кювет, спасая нежные «Жигули», отделался инвалидностью и навсегда сменил баранку на диспетчерское застекленное стойло. Быстро научился покрикивать, отбирал для своих выгодные маршруты (конечно, не за здорово живешь), Костю ценил, а тут — на тебе, прокололся.

— Это без меня провернулось. Иди к начальству.

Пошел Костя. Куда денешься-то?

— Слушай, как тебя... Солдаткин,— сказало с утра замотанное неразберихой начальство.— Значит, это... В субботу комиссия городскую ТЭЦ шуровала, а там — полный бардак, как и везде. Главный ихний звонил: машина нужна. Мусор им срочно приказано вывезти, что ли.

— Ну, а меня-то за что? Я — на хорошем наряде, нормально работаю. Чего меня-то вычислили?

— Не гуди, Солдаткин. Невыгодная ездка, понимаю, но ты войди в мое положение.

— Да что я, спекулянт, что ли? Я — работяга, у меня тыщи в хате не валяются.

— А у ребят валяются? Дети у них валяются, а на этом мусоре потерь — полста в месяц, как ни гони. Но опять же я к совести твоей, Солдаткин, обращаюсь. Ты все-таки парень холостой, сознательный, ты родной коллектив не обижай. Договорились? Ну и порядок, ну, держи петуха, ну, без обиды, ну, крой на ТЭЦ.

Костя пожал начальственную пятерню и пошел к диспетчеру, лелея по дороге скверные мысли. Мол, что же ты, олень, делаешь, я ли тебе трояков с наряда не сую? Но сказать ничего не успел, потому что Иван Федорович перехватил инициативу:

— Хреновая там дорога, Константин.

— Где — там? На централи, что ли?

— До свалки. Пилить тридцать восемь кеме по буграм да ямам.

— Ты мне это дельце подсуропил, Федорыч? Только не крути, свои люди, чего уж.

— Не я, Константин, совет трудового коллектива тебя вычислил, как холостяка. Понял? Я туда-сюда...

— Ладно, верю. Давай наряд.

— Рессоры береги. Много груза не хапай, лучше пару лишних ездов.

Совет этот настроения не исправил. Костя ехал на ТЭЦ злой, дороги не разбирал и грохотал пустым кузовом на всю округу. «Это ж надо так нарваться,— раздраженно думал он.— Совет родного коллектива... Сороковку вчера протряс, полста сегодня отстегнули. Это ж полполучки, мать их...»

С такими невеселыми размышлениями он подкатил к

воротам ТЭЦ. На сигнал вышел мятый («С похмельюги, что ли?..») вахтер и после короткого препирательства согласился пропустить на подопечную территорию Костю, но без машины. Машину не пропустил.

— Да что я, киловатты у вас сопру, что ли?

— Не положено в зону без особого.

— Наряд у меня, наряд. Или неграмотный?

— У тебя — наряд, а у меня — объект. Давай, давай, а то и пехом не пуцу. Отгони машину на стоянку.

— Развели мы вас, охранничков, на свою голову! — заорал Костя, машину отгонять не стал, а, отодвинув мятого вохровца, вошел «в зону».

В административном здании его долго гоняли с этажа на этаж в поисках какого-то «товарища Храмцова». Никто то ли не хотел знать, то ли и вправду не знал о скопище мусора, специалистом по которому все считали означенного товарища.

— С дерьмом у нас однозначно, — хмуро заметил узкий специалист, когда Константин наконец-таки разыскал его. — Гадить — это природа, а убирать — товарищ Храмцов. И что получается? Получается, я — всегда крайний.

Храмцов пребывал в привычном недовольстве. И изливал это недовольство всю дорогу, а Костя шел молча.

— Уголь привезли — узнать бы, какая зараза его рубала. По виду — полный антрацит, только что не горит. Но ведь принимаешь по разнарядке, вагонами, а в этих вагонах — вот этой вот сволочной породы... Ну, отвалили мы ее в сторонку, а тут — комиссия, директору — выговорец, а с меня — премию. А что ему этот выговор? Сегодня влепили, завтра снимут, а я — на одной зарплате. А рубль, сам знаешь, сколько стоит на старые деньги. Столько же, сколько стоил — во, сколько напечатали. Всем зарплату повысили: кому — на рупь двадцать, а кому — ровно вдвое, сечешь, кто в стране главный? Сами себе врем всю дорогу до светлого будущего: бумажки вместо денег, порода вместо угля.

Тут он замолчал, не без эффекта ткнув в гору черными изломами играющих каменюг. Омытые недавними дождями, они сверкали антрацитовыми бликами столь убедительно, что Константин спросил недоверчиво:

— Липуху клеишь, спец?

— Порода такая, — удрученно вздохнул Храмцов. — Теперь-то я насобачился, но ведь каждый вагон не перещупаешь. Не веришь? Объясню.

Крайний по мусору взял первый попавшийся кусок и ювелирно завертел его перед Костей. Зеркальные блики то возникали, то пропадали, и Константин никак не мог сообразить, где тут игра природы, а где — рук Храмцова.

— Погоди ты. Не верти.

— Мертвый блик у нее, — с торжеством первооткрывателя пояснил специалист. — У антрацита он живой, а у этого дерьма — мертвый. Вот приглядишься без суеты. Приглядишься.

— Да хрен с ним.— Костя уже приглядывался не к частностям, а к целому.— Это же полмесяца возить.

— Пошустри, а я тебе пятнадцать смен хоть сейчас закрою. Ну что, гнать экскаватор? Топай за машиной, а вертухаю скажи: Храмцов, мол, велел.

Пока экскаватор искали, пока экскаваторщика уговаривали, пока он грузил, дело к обеду подкатилось. Но Костя обедать не стал, а, посулив экскаваторщику на бутылку, коли дождется его возвращения, погнал на свалку.

Прав был Федотыч: дерьмовая дорога. Костю швыряло на ухабинах так, что вылетел бы в ветровое стекло, если бы не руль. В него он вцепился, как во спасение, вертел без передыху, выбирая поровнее, но скорость старался не сбавлять, помня о — это кровь из носу! — еще одной сегодняшней езде. «Распатронили, гады,— обиженно думал он.— Сороковку вчера да полста на вывозе этом, чтоб ему... Порода такая! А во сколько мне длинноногая встанет, об этом никто и не подумает...»

Злился, тряся за рулем, но рессоры, однако, сохранил: шофер был что надо. А живот довел до полного вакуума, аж засосало в нем. И пришлось на двадцать втором километре свернуть к обочине у грязно-желтого домишки с надписью «БУФЕТ».

В супе, что дали, крупинка за крупинкой гонялась с дубинкой, но горячо было, и Костя свой вакуум ублагоустроил. Закусил макаронами с компотом и вышел на улицу, привычно нашаривая беломорину в измятой пачке (слава богу, сеструха на своей непыльной работенке могла не только супруга, но и брата папиросами снабжать при полном нынешнем бестабачьи). И встал у выхода, увидев, что в кузове его машины копошится какой-то старикан.

— Чего потерял, отец?

— Андрацыд! — громко возвестил неизвестный, любовно взвешивая на ладони добрый кусок породы.

— Ну? — настороженно сказал Костя, не отрицая, но и не подтверждая радостной догадки старика.

— Куда везешь? — Старик слез на землю, стукнул ладонью о ладонь и отер их о старенький ватник.

— Куда следует.

— За сотнягу бы отдал?

— Ну? — с той же настороженностью повторил Константин.

— Цены заскакали, а чутье, видать, притупилось,— вздохнул собеседник.— Третьего дня такую машину за сто рублей купил, да не андрацыд. Не андрацыд, а жидкий такой уголек. Чаду много, а жару нет.

— Бывает,— заметил Костя, прикуривая.

— Обмишурился,— старик огорченно покивал.— Кабы знал, что тебя встречу.

— Следующий раз в оба гляди.

— Постой, слышишь? Я обмишурился, так то — я. А тут

еще три бабки покуда наличествуют. Надо бы им помочь, а? Есть такая возможность?

— У шофера всегда возможность.

— Бабок жалко, совсем одинокие бабки при пенсии. От людей тепла им нету, пусть хоть от андрацыда, а?

— Крутишь, отец?

— Я, парень, не кручу.— Старик вздохнул.— Я этих бабок с детства знаю, росли вместе. Только я с войны пришел, а другие нет, только я, значит, женился, а другие в девках остались. Я их солдатскими невестами зову, соображаешь? И обидно мне за них, сильно обидно.

— Чего это я запутался.

— Подвези ты им андрацыду, а, парень? Прояви заботу о солдатских невестах.

— Так это ж...— Костя замаялся, хохотнул.— Да... Неудобно это, папаша.

— Чего тут неудобно, чего? Старым людям помочь неудобно тебе? Где они в зиму тепла-то возьмут? У государства? Так бастует наше государство аккуратно по угольной части. Так что окажи такую милость.

Что-то еще жужжал старик — Костя не слышал. Грызлись в нем сейчас два человека: один кричал: «Стольник вернешь!», второй что-то насчет какого-то там неудобства. Какого именно, Константин не хотел разбираться, но так вышло, что неудобство это вроде сапога, который жмет. Жмет, зараза, и жать будет... А, может, разнесится?..

— Далеко?

Нехотя спросил, через силу. Себя перебарывая.

— Да за поселком направо, три километра. Я покажу, покажу!

Заботливый фронтовичок тут же вскарабкался в кабину, сияя беззубой улыбкой. Костю воротило от этой улыбки, но тот, что в душе вел спор настырнее, мигом подкинул: «А длинноногая во сколько станет? А дерьма там, на ТЭЦ, возить — не перевозить? А свалка — тридцать восемь кеме? А червончик каждый божий экскаваторщику, а то ведь враз сломается, гад? А...» Много, очень много таких «А» наплодила жизнь за все Костины неполных четверть века.

— Ну кому повезет! — радовался шустрый фронтовик.— Какая первая на нас выбегет, той, значит, и андрацыд.

Первой выбегла рыхлая, с заметными усиками над старческим ртом. Фронтовичок заорал, Костя притормозил.

— Здорово, Петровна, как живешь-можешь? Угольку тебе нашуровал, понимаешь ли, андрацыду! Цени мои заботы-хлопоты.

Костя молчал, как утюг. Молчал, когда Петровна радовалась, всплескивая рыхлыми руками. Молчал, когда о цене толковали («За сто он отдаст, отдаст! — кричал фронтовик.— Он парень нашенький, понимающий...»). Молчал, когда сгружал породу эту чертову, куда старуха велела.

— Вот спасибо тебе, сынок, вот уважил! — растроганно

приговаривала Петровна, отсчитывая сотню мятыми старушечьими троячками да пятерками.— Может, еще пособишь, а? Две подружки у меня, солдатские невестушки, им бы уголечку, а? Спровору там, а? Мы все лето с пенсий своих откладывали, недоедали, недопивали, зима-то, говорят, лютая будет...

— Завтра,— прервал Костя.

Стреб деньги и — к машине. Взревел мотор, загрохал на ухабах опустевший кузов. И помчал, помчал Константина в город, убегая то ли от обманутой бабки, то ли от себя самого. «А я при чем? А я ни при чем! Это все дед-шустряк, фронтовик всезнающий: андрацид, андрацид! А я что ж? Я стольник на дороге подобрал, только и делов. И дурак был бы, если бы не подобрал...» И в таких спорах — весь путь от рыхлой усатой старухи до удивленного экскаваторщика:

— Ну ты, брат, ракета «Энергия». И ресурсы целы?

— Грузи.

А про себя твердо решил: сквозь тот поселок с буфетом — только на предельной скорости. Хватит старушек обманывать, а что стольник себе вернул, так то — по справедливости. Коли его — так, то и он — так, а теперь сумма прописью сошлась, и ставим точку. Не барыги мы, не фарца, не кооператоры: мы — трудяги. Нашими руками...

— Готов!

— До завтра, кореш!

Константин рекордно домчал до свалки: было бы ГАИ позорче — штрафанули бы законно. Однако повезло, и в понедельник Костя, все успев, разыскал длинноногую у собственной сестры. И длинноногую, и сеструху, и накрытый стол, и зятка-Витька в светлом предвкушении.

— Что за шум намечается?

— Да вот Ларка юбилей празднует. Сутки назад с женишком познакомилась.

Га! Гы! Гу! Грохочут, черти, весело им. Сел к столу, а чем кончилось? Выпивки не хватило, пришлось в ресторане бабкин столик в обмен на шампанское оставить, а Ларка опять не далась. Распалила да и вывернулась, как змея.

— Чао — какао!

— Погоди. Завтра как, а? Тащить шампанское?

Только зубами сверкнула, а у Константина пульс — под двести семьдесят. Взрывпакет, а не девка... Но домой он возвращался, улыбаясь, и даже спал, улыбаясь, и никаких таких глупых мыслей уже не возникало. Одна осталась, цепкая и прохладная: в двадцати двух километрах стольники выдают. Ни за так. Как лист с ольхи. Не для себя — для взрывпакета. Варенки бы ей достать, больно уж ножки хороши.

— Насыпай, кореш!

Вместо вчерашней рыхлой усатой Петровны Костю поджидала Анна Федоровна — строгая, седая, в очках. Константин сразу же вычислил в ней учительницу и сробел. А тут еще — шустряк-фронтовичок:

— Андрацъд — как сахар, верно говорю, Анюта? Калорий в нем, как в ракетном топливе.

Анна Федоровна долго и строго разглядывала «андрацъд». Костя молчал, но сердце было не на том месте, где положено.

— Высокий класс, — изрекла, наконец. — Таким и отапливаться обидно, это — питание промышленности.

Константин хотел было ответить, что коль обидно, так и не берите, но смолчал. А фронтовичок отметил солидно:

— Учительница калории чувствует!

Тут подбежала еще одна «солдатская невеста». Маленькая, одышливая, но бойкая.

— Что, Ань, сомневаешься? Ну так я не сомневаюсь, я по теплу стосковалась. Гни ко мне, сынок!

— Подожди, Зинаида, зачем же? — строго поджала губы учительница. — Моя очередь, уж извини.

— Я вам к вечеру привезу, — с облегчением сказал Костя бойкой бабке Зинаиде.

Пока подруливал к дому Анны Федоровны, пока сгружал — хозяйка рта не закрывала. О топливном дефиците, забастовках шахтеров, общей неразберихе, растерянности, озлобленности. Перестройку она не одобряла, считая, что уж больно влево завернул Горбачев.

— Теряем ценности социализма, — строго говорила она. — Капитализм бездушен и эгоистичен, а мы его — как пример, забывая, что мы — люди особой породы. Другой группы крови, я бы сказала. Сто рублей, конечно, для нас, пенсионерок, дороговато, но еще дороже ваша инициатива, молодой человек. Помогать старым людям, подвезти им топливо — это дорогого стоит, как у Островского сказано.

«И здесь лекцию читает, — с неприязнью думал Костя. — Мало, значит, я с тебя запросил...»

К вечеру он доставил самосвал бабке Зинаиде, а она заказала еще два машины для родственников, да и шустрый фронтовик позарился на одну про запас. Два дня ушло на эти короткие денежные рейсы, и Костина совесть, обвыкнув, уже не тревожила его. В четверг и пятницу он гонял на свалку, в субботу, заплатив четвертной экскаваторщику, подреб остатки, а в воскресенье через знакомую фарцу раздобыл длинноногой варенки. И в понедельник пришел на работу с песнями в душе, потому как длинноногая Ларка, оценив заботу, проявила чуткость и полное понимание.

— Мы с тобою, Костик, одной породы. Одной группы крови, как это называется.

А Костя вздохнул невесело, вспомнив не столько болливую учительницу, сколько всех «военных невест», так стосковавшихся по теплу.

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА. Роман	3
ЖИЛА-БЫЛА КЛАВОЧКА. Повесть	119
КОРОТКАЯ РОКИРОВКА. Повесть	203
КРАСНЫЕ ЖЕМЧУГА. Повесть	245
ГИБЕЛЬ БОГИНЬ. Повесть	289
РОСЛИК ПРОПАЛ. Повесть	319
СУД ДА ДЕЛО. Повесть	367
ПОТРОШИТЕЛЬ МАТРАСОВ. Повесть	449
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ШЕСТЕРКА. Рассказ	497
ЭКСПОНАТ № ... Рассказ	507
НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ. Рассказ	531
«ХОЛОДНО, ХОЛОДНО...» Рассказ	540
КОРРИДА В БОЛЬШОМ ПОРЯДКЕ. Рассказ	552
ЖИВАЯ ОЧЕРЕДЬ. Рассказ	566
ЖУТКОЕ ДЕЛО. Рассказ	584
ПОРОДА ТАКАЯ. Рассказ	601

Борис Васильев

Собрание сочинений в восьми томах

Том 3

Редактор *Г. Меркин*
Художник *А. Макаренков*
Технический редактор *Т. Андреева*
Корректор *В. Шполянская*

Лицензия ЛР № 070781 от 9.12.92. Сдано в набор 11.05.94. Подписано к печати 21.07.94. Формат 84×108¹/₃₂. Гарнитура Таймс. Печать высокая. Усл. п. л. 31,92. Бумага тип. № 2. Тираж 25 000 экз. Заказ № 1077.

Смоленская областная ордена «Знак Почета» типография им. Смирнова.
214000, г. Смоленск, пр. им. Ю. Гагарина, 2.

